



ХАНС КРИСТИАН АНДЕРСЕН  
СКАЗКИ И ИСТОРИИ

II

ХАНС КРИСТИАН  
АНДЕРСЕН



СКАЗКИ  
И ИСТОРИИ

HANS CHRISTIAN  
ANDERSEN

---

ХАНС КРИСТИАН  
АНДЕРСЕН

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ  
ПОДГОТОВЛЕНО СОВМЕСТНО  
С ЮБИЛЕЙНЫМ КОМИТЕТОМ  
«ХАНС КРИСТИАН  
АНДЕРСЕН –  
2005»

# ХАНС КРИСТИАН АНДЕРСЕН

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ  
В ЧЕТЫРЕХ ТОМАХ

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

А. ЧЕКАНСКИЙ,

А. СЕРГЕЕВ,

О. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ

# ХАНС КРИСТИАН АНДЕРСЕН

ТОМ ВТОРОЙ

## СКАЗКИ И ИСТОРИИ

ПЕРЕВОД С ДАТСКОГО:

О. ДРОБОТ,  
А. НЕСТЕРОВА,  
Н. ФЕДОРОВОЙ,  
Т. ЧЕСНОКОВОЙ

ИЛЛЮСТРАЦИИ  
ХУДОЖНИКА  
Н. ПОПОВА

МОСКВА «ВАГРИУС» 2005



УДК 860-312.6  
ББК 84 (4 Дан.)  
А 65

Дизайн В.Гусейнова

**Андерсен Х.К.**  
А 65 Собрание сочинений в 4 т. / Ханс Кристиан Андерсен. — М.: Вагриус, 2005

Т. 2. : Сказки и истории. Предисловие А.Сергеева. Составление А.Чеканского, А.Сергеева, О.Рождественского. — 688 с. : ил.

ISBN 5-9697-0001-0

ISBN 5-9697-0028-2 (Т. 2)

Ханс Кристиан Андерсен (1805—1875) — великий датский писатель, чье творчество навечно вошло в золотой фонд мировой культуры.

В 2005 году по решению ЮНЕСКО весь мир отмечает юбилей — 200 лет со дня его рождения. К этой знаменательной дате подготовлено данное 4-томное собрание сочинений Х.К.Андерсена.

Во второй том вошли его сказки и истории (1858—1874).

УДК 860-312.6  
ББК 84 (4 Дан.)

Охраняется Законом РФ об авторском праве

ISBN 5-9697-0001-0

ISBN 5-9697-0028-2 (Т. 2)

© Н.С.Andersen 2005 Fonden, 2005

© А.Чеканский, А.Сергеев, О.Рождественский, составление, 2005

© О.Дробот, А.Нестеров, Н.Федорова, Т.Чеснокова,

перевод на русский язык, 2005

© Издание на русском языке,

оформление. ЗАО «Вагриус», 2005

© Н.Попов, иллюстрации, 2005

---

## ДОЧЬ БОЛОТНОГО КОРОЛЯ

**М**ного сказок рассказывают аисты своим птенцам — все про топи да болота. Сказки, конечно же, подбираются по возрасту и смьшлености деток. Малышам довольно сказать: «Крибле, крабле, плурремурре!» — и они радуются; но старшие хотят услышать что-нибудь посерьезнее, или по крайней мере о своих собственных родичах. Одну из двух сказок, самых старых и длинных у аистов, знаем мы все: в ней рассказывается о Моисее, которого мать пустила в корзинке по волнам Нила, а дочь фараона нашла его и воспитала. Он стал великим мужем, но никому не известно, где он похоронен. Впрочем, так обычно и бывает!

Другой сказки еще никто не знает, может быть, потому, что она наша, местная. Тысячи лет переходит она из уст в уста, от одной аистихи к другой, и каждая мамаша рассказывает ее все лучше и лучше, а мы теперь расскажем ее лучше всех!

Первая пара аистов, сочинившая сказку и сама ставшая ее героями, проводила лето на крыше бревенчатого дома викинга, близ Дикого болота, в Венсюзеле, это в провинции Ёринг, возле Скагена, в Ютландии, если уж говорить точно. Там по-прежнему огромное болото, и оно указано в местном справочнике. Земли эти были некогда морским дном, но потом поднялись, как написано в том документе. Болото

тянется на много миль, и со всех сторон его окружают топкие луга и торфяники, поросшие морошкой да жалкими деревцами. Над местностью почти всегда клубится туман; а лет семьдесят тому назад тут еще водились волки. Дикое болото действительно заслужило свое название, и можно представить себе, какая топь расстилалась здесь тысячу лет назад! Конечно, в те времена кое-что выглядело так же, как и теперь: таким же высоким был тростник с длинными листьями и лилово-коричневыми султанчиками; на березках белела такая же кора и кудрявились листочки; что же до всякой живности, то мухи и тогда щеголяли в своих кисейных платицах того же фасона, а любимыми цветами аистов были, как и теперь, белый с черным, и чулки они носили такие же красные; только люди в те времена одевались иначе. Но кто бы ни ходил по этим болотам, будь то раб или охотник, тысячу лет назад, он тогда, как и теперь, мог провалиться в трясины и оказаться во владениях болотного короля, как его звали, — он правил на дне своего обширного болотного королевства. Его можно было бы назвать и трясиным, но «болотный король» звучит как-то лучше. Так величали его и аисты. Мало что было известно о его правлении, но это, пожалуй, и к лучшему.

Вблизи болота, прямо у Лим-фьорда, стоял трехэтажный бревенчатый дом викинга, с каменным подвалом и башней. На его крыше аисты свили себе гнездо. Аистиха сидела на яйцах, ожидая прибавления в семействе.

Однажды вечером папа-аист вернулся домой позднее обычного; он был какой-то взъерошенный и испуганный.

— Я расскажу тебе ужасную вещь! — заявил он аистихе.

— Оставь! — возразила она ему. — Не забывай, что я сижу на яйцах, мне нельзя волноваться!

— Нет, ты послушай! — сказал аист. — Она все-таки явилась сюда, дочка нашего египетского хозяина! Отважилась на такое путешествие! И тут же пропала без следа!

— Как, она самая, из рода фей? Говори же! Ты ведь знаешь, как вредно заставляешь меня ждать, когда я сижу на яйцах!

— Понимаешь, она поверила доктору, что болотный цветок исцелит ее больного отца, помнишь, ты сама рассказывала мне об этом? И она прилетела сюда, в одежде из перьев, вместе с двумя другими принцессами, которые каждый год прилетают на север купаться, чтобы помолодеть! Прилетела она да и пропала!

— Как же ты многословен! — сказала аистиха. — Ведь яйца могут остыть! Мне нельзя волноваться!

— Я все видел собственными глазами! — продолжал аист. — Нынче вечером я ходил в тростнике, где не очень топко, как вдруг появились три лебедки. Да только заметил я по их полету, что они не настоящие, а нарядились в лебяжьи перья! Ты ведь понимаешь, мамочка, о чем я говорю! Ты, как и я, сразу чувствуешь, где истина!

— Это верно! — сказала аистиха. — Ну, рассказывай же скорее про принцессу, надоело слушать про перья!

— Посреди болота, ты знаешь, есть что-то вроде озера, — продолжал папа-аист. — Ты увидишь его краешек, если чуть взлетишь. Там, у тростника, торчит из трясины большой ольховый пенёк. На него-то и уселись три лебедки, захлопали крыльями и огляделись кругом; потом одна из них сбросила лебединые перья, и я узнал нашу египетскую принцессу. На ней не было одежды, лишь длинные черные волосы укрывали ее, как плащом. Я слышал, как она просила двух других присмотреть за ее перьями, пока она нырнет за цветком, который привиделся ей под водою. Те пообещали, а сами схватили ее оперение и взвились с ним в воздух. «Что это они делают?» — подумал я. Должно быть, и она спросила о том же. Ответ был яснее ясного — они взвились в воздух с ее перышками и крикнули ей: «Ныряй, ныряй! Не летать тебе больше лебедкой, не видать Египта! Посиди-ка себе в болоте!» И они разорвали ее оперение в клочья, пушин-

ки так и запорхали в воздухе, словно снежинки, а гадкие принцессы улетели!

— Вот ужас-то! — воскликнула аистиха. — Сил нет слушать!.. А что было дальше?

— Принцесса принялась плакать и сетовать на судьбу! Слезы ее катились по ольховому пню, и вдруг он зашевелился — это был сам болотный король, тот, что живет в трясине. Я видел, как пенёк повернулся, глядь — он уже и не пенёк! Он протянул свои длинные илистые ветки, будто руки, к принцессе. Бедняжка перепугалась и побежала по зыбкой трясине, но не тут-то было! Мне там не пройти, не то что ей. И она провалилась вниз, а за ней ольховый пенёк. Это он затащил ее туда. Только пузыри пошли по черной воде, и все! Теперь принцесса погребена в Диком болоте, не вернуться ей уже более с цветком в Египет. Ты бы не вынесла этого зрелища, женушка!

— Тебе вовсе не следовало рассказывать мне такие ужасы! Ведь это может сказаться на птенцах!.. Принцесса-то выпутается из беды! Ее обязательно выручат! Случись такое со мной, с тобой или с кем-нибудь из наших, тогда пиши пропало!

— Я буду только наблюдать! — пообещал аист и так и сделал. Прошло много времени.

Вдруг в один прекрасный день аист увидел, что со дна болота тянется кверху зеленый стебелек; потом на поверхности воды вырос листочек, он становился все шире и шире. Рядом с ним показался бутон, а когда аист однажды утром пролетал над тем местом, он увидел, что бутон распустился в лучах солнца и в чашечке цветка лежит восхитительное дитя, крошечная девочка, словно свежeweымытая. Девочка была так похожа на египетскую принцессу, что аист сначала подумал, будто она сама и сделалась маленькой, но, поразмыслив, решил, что, скорее всего, это дочка принцессы и болотного короля. А иначе с чего бы она оказалась в кувшинке.

«Нельзя же ей тут оставаться! — подумал аист. — В моем гнезде и без того много птенцов! Погоди-ка! У жены ви-







кинга нет детей, а она так хотела иметь ребенка... Обо мне все равно идет молва, что я приношу в дом младенцев. И правда, нужно принести эту девочку к жене викинга, пусть порадуются!»

И аист взял малышку, полетел к дому викинга, проткнул клювом дыру в оконном пузыре, положил ребенка на грудь жене викинга, а затем вернулся в гнездо и рассказал обо всем аистихе. Птенцы тоже слушали — они ведь уже подросли.

— Вот видишь, принцесса не умерла! Она прислала со дна болота свою крошку, а я ее пристроил!

— Я говорила тебе об этом с самого начала! — отвечала аистиха. — А теперь подумай-ка лучше о своих детках! Скоро отправляться в полет, у меня даже под крыльями зачесалось! Кукушки и соловьи уже улетели, а перепела поговаривали, что скоро подует попутный ветер. Птенцы наши справятся, уж я-то их знаю!

Как же обрадовалась жена викинга, найдя утром на своей груди крошечную прелестную девочку! Она принялась целовать и гладить малышку, но та начала громко кричать и отбиваться ручками и ножками; ласки, видимо, были ей не по вкусу. Наплакавшись, она наконец уснула и была так очаровательна во сне. Жена викинга никак не могла нарадоваться на девочку, ей стало легко и весело на сердце, но потом она вспомнила, что ее муж с дружиной может явиться так же внезапно, как появилась у нее малышка. Она поставила весь дом на ноги, чтобы успеть приготовиться к возвращению мужа. Стены украсили длинными цветистыми тканями ее собственной работы и ее служанок, с вытканными изображениями богов — Одина, Тора и Фрейи. Рабы начистили старые щиты и тоже развесили их по стенам. На скамьях разложили подушки, а в очаг, расположенный прямо посреди дома, подбросили сухих поленьев, чтобы сразу же можно было развести огонь. Жена викинга трудилась не покладая рук и под вечер так устала, что легла и тотчас уснула.

Проснувшись еще до восхода солнца, она страшно перепугалась: малышка исчезла! Она вскочила, зажгла лучину и осмотрелась: на ее постели, в ногах, вместо девочки лежала большая противная жаба. Жена викинга содрогнулась от отвращения и, схватив увесистую палку, хотела было убить эту жабу, но та взглянула на нее такими странными, скорбными глазами, что она не смогла ее ударить. Снова она осмотрелась кругом, а жаба издала тихое, жалобное кваканье. Тогда жена викинга бросилась от постели к оконцу и распахнула его. В эту минуту как раз взошло солнце, лучи его упали на постель и на жабу, и в тот же миг широкий рот ее сузился и стал хорошеньким розовым ротиком, все тело вытянулось и преобразилось, и перед ней вместо безобразного существа оказалось ее очаровательное дитя.

— Что это? — подумала жена викинга. — Не кошмарный ли сон мне приснился? Ведь здесь лежит мое дитя, моя чудесная фея!

И она поцеловала девочку и прижала ее к сердцу, но та цапалась и кусалась, как дикий котенок.

А викинг не вернулся домой ни в этот день, ни на следующий, хотя он и был в пути. Его задержал ветер — он дул в южную сторону, помогая аистам. Ветер всегда попутный для одних и встречный для других.

Через несколько дней жена викинга поняла, что над ребенком тяготеют злые чары. Днем крошка была прелестна, как светлый эльф, но отличалась злым, диким нравом, а ночью становилась гадкой жабой, но тихой и жалкой, с печалью во взгляде. В ребенке соединились две натуры, сменяя друг друга: днем девочка, принесенная аистом, наружностью походила на мать, а характером была в отца; ночью же, наоборот, приобретала отцовский облик, в котором светились душа и сердце матери. Кто же мог освободить ребенка из-под власти злых чар? Жена викинга печалилась и горевала, но сердцем привязывалась к бедному созданию все больше.

Она решила ничего не рассказывать о колдовстве мужу, когда тот вернется домой, ибо он, по обычаю, сразу же выбросит бедняжку на проезжую дорогу — пусть ее забирает, кто хочет. Жена была порядочной по натуре и не посмела бы допустить этого, и она придумала, что будет показывать мужу ребенка только днем.

Однажды утром над крышей дома раздалось хлопанье крыльев: сотни пар аистов отдыхали ночью после больших маневров и теперь все они взлетели в небо, отправляясь на юг.

— Все мужья готовы! — раздалось в воздухе. — Жены и дети тоже!

— Как нам легко! — говорили молодые аисты. — Так и щекочет у нас внутри, будто мы набиты живыми лягушками! Как же прекрасно отправиться за границу!

— Держитесь в стае! — говорили им отцы и матери. — Да не болтайте так много, это затрудняет дыхание!

И они улетели.

В тот же миг над пустошью раздались звуки рога, и к берегу пристал викинг с дружиной. Они вернулись с богатой добычей от галльских берегов, где люди, как и в Британии, в ужасе молились: «Боже, спаси нас от диких норманнов!»

Жизнь закипела в крепости викинга у Дикого болота! В залу вкатили целую бочку меда, разожгли костер, закололи лошадей; их надо было хорошенько зажарить. Главный жрец окропил теплой лошадиной кровью всех рабов. Трещали дрова в костре, дым повалил к потолку, с балок падала сажа, но к этому здесь привыкли. Гостей богато одарили; распри, вероломство — все было забыто; подвыпившие гости швыряли друг в друга обглоданными костями в знак хорошего настроения. Скальд, который был и воином, и чем-то вроде сказителя, ходил вместе с дружиной в поход, а потому знал, о чем петь: он сочинил вису о всех их сражениях и славных победах; каждый стих сопровождался припевом: «Скот



мрет, сродник мрет, не умрет только славное имя!» При этом все били в щиты и стучали ножами или обглоданными костями по столу, поднимая жуткий грохот.

Жена викинга сидела на почетном месте, на ней было шелковое платье, руки ее украшали золотые обручья, на шее висели крупные янтарные бусы. Она красовалась в своем лучшем наряде, и скальд не забыл упомянуть ее в своей песне, прославляя сокровище, которое она подарила своему знатному супругу. Тот обрадовался прелестному ребенку; правда, видел он девочку только днем, во всей ее красе. Необузданный нрав ее тоже пришелся ему по душе. Из нее выйдет, как он сказал, храбрая воительница, которая сумеет одолеть врага. Она и глазом не моргнет, если умелая рука одним взмахом острого меча сбреет у нее шутки ради густую бровь.

Бочка с медом опустела, вкатили новую — да, эти люди умели пить! Но и в те времена ходила пословица: «Скот знает, когда нужно оставить пастбище и повернуть домой, а человек неразумный никогда не насытится». Истина известная, но одно дело — знать, а другое — поступать по-своему! Знали и то, что «и дорогой гость надоест, если засидится допоздна». Но все равно сидели себе да сидели: мясо да мед — славные вещи! Веселье так и кипело! Ночью рабы, улегшись на теплой золе, раскапывали жирную сажу и облизывали пальцы. Славное было время!

В том же году викинг еще раз отправился в поход, хотя и начались уже осенние бури. Он со своей дружиной собрался пристать к берегам Британии, это ведь рядом. «Только через море махнуть», — сказал он. Жена его опять осталась дома с малышкой, и скоро несчастная жаба с кротким взглядом, испускавшая глубокие вздохи, стала ей почти милее очаровательной крошки, которая царапалась и кусалась.

Сырой осенний туман, как его зовут, «беззубый дед», что гложет листву, окутал леса и равнины; «бесперые птички»,

как называют снежинки, запорхали в воздухе — близилась зима. Воробьи завладели гнездами аистов и все чирикали, радуясь отсутствию хозяев. А где же были они сами, где были теперь аист с аистихой и их птенцы?

\*

Аисты были в Египте, и солнце там светило и грело, как у нас в летний день. Повсюду цвели тамаринды и акации, на куполах храмов сверкали полумесяцы, на узких минаретах сидели аисты, отдыхая после долгого перелета. Гнезда большой стаи лепились друг возле друга на величественных колоннах и разрушенных арках забытых храмов. Финиковые пальмы тянулись к небу своими верхушками, похожими на зонтики от солнца. Сероватые пирамиды представляли темными силуэтами в прозрачном воздухе пустыни, где бегал быстроногий страус, где лежал лев, большими и умными глазами посматривая на мраморного сфинкса, наполовину погребенного в песке. Воды Нила снова вошли в берега, которые так и кишели лягушками, а для семейства аистов не было приятнее зрелища в этой стране. Молодые аисты просто глазам своим не верили, что бывает такая благодать!

— Вот как нам здесь хорошо, так всегда в этих теплых краях! — сказала аистиха, и у ее чад даже в брюшке защекотало.

— А больше мы ничего не увидим? — спрашивали они. — Мы разве не полетим в глубь страны?

— Там нечего смотреть! — отвечала аистиха. — За этими роскошными берегами — лишь дремучий лес, где деревья растут чуть ли не друг на друге и опутаны колючими вьющимися растениями. Одни толстоногие слоны могут проложить там себе дорогу. Змеи там чересчур велики для нас, а ящерицы — слишком прытки. Если же вздумаете пробраться в пустыню, то засыплет песком глаза, а еще хуже — попадете в песчаную бурю... Нет, здесь куда лучше! Вдоволь лягушек и кузнечиков! Я останусь тут, и вы тоже!

Они и остались. Родители-аисты сидели в гнездах на узких минаретах, отдыхали, чистили перышки и терлись клювами о красные чулки. Покончив со своим туалетом, они вытягивали шеи, важно раскланивались и гордо поднимали головы с высоким лбом, покрытые тонкими, гладкими перьями; умные карие глаза их так и поблескивали. Молоденькие аистихи чинно прогуливались среди сочного тростника, поглядывали на юношей-аистов, знакомились и чуть ли не на каждом шагу глотали по лягушке или расхаживали, держа в клюве змейку и помахивая ею, — это им к лицу, думали они, а уж вкусно-то было! Молодые аисты заводили ссоры, били друг друга крыльями, клевались, даже до крови; потом, глядишь, и этот уже помолвлен, и тот, помолвлены все юные аисты и аистихи: ради этого они и были созданы. Молодые принимались вить себе гнезда, и тут снова не обходилось без ссор, ибо в жарких странах кровь у всех становится горячее, а вообще жизнь текла приятно, особенно для стариков: родители не нарадуются на своих деток! Изо дня в день светило солнце, еды было вдоволь, можно было думать только об удовольствиях. Но в пышном дворце египетского хозяина, как звали его аисты, царила вовсе не радость.

Богатый и могущественный владыка лежал на кушетке в своих просторных покоях с расписными стенами; он лежал, словно в чашечке тюльпана, члены его были неподвижны, и сам он напоминал мумию. Вокруг ложа стояли родичи и слуги. Мертвым его назвать еще нельзя было, но и живым тоже. Та, что любила его больше всех и полетела в северную страну, чтобы отыскать целительный болотный цветок, не вернулась назад. Его юная красавица дочь улетела в обличье лебедки через моря и земли, далеко на север и никогда не вернется домой. «Она погибла!» — сказали ему две другие лебедки, что вернулись обратно. Они сочинили о гибели принцессы целую историю.

— Мы втроем летели высоко в небе, как вдруг нас заметил охотник и пустил свою стрелу. Она попала в нашу подругу, и бедняжка медленно, с прощальной лебединой песнью опустила на воды лесного озера. Там, на берегу, под душистой плакучей березкой, мы ее и схоронили! Но мы отомстили за ее смерть: подвязали пучки зажженной соломы под крылья ласточкам, жившим под крышей охотничьей избушки, крытой тростником, — избушка сгорела, а с нею и сам хозяин. Зарево пожара осветило берега озера и плакучую березку, где покоится прах нашей подруги. Не вернуться ей больше в родной Египет!

И обе заплакали, а папа-аист, услышав их речи, громко защелкал клювом.

— Ложь и выдумки! — воскликнул он. — Так и хочется вонзить им клюв прямо в грудь!

— И сломать его! — добавила аистиха. — Хорошенький вид был бы у тебя тогда! Думай-ка лучше о самом себе и о своей семье, а все остальное побоку!

— Я все-таки хочу усесться завтра на краю открытого купола и посмотреть на ученых и мудрецов, которые будут держать совет о болезни хозяина. Может, они приблизятся к истине!

Ученые и мудрецы собрались и повели длинные, пространные речи, из которых аист не понял ни слова; не могли помочь эти речи ни больному, ни его дочери на Диком болоте. И все же нам стоит немного послушать ученых — нужно выслушивать мнения многих!

Лучше, однако, узнать сперва предысторию, тогда мы по крайней мере будем в равном положении с аистом.

— Любовь порождает жизнь! Высшая любовь порождает и высшую форму жизни! Лишь благодаря любви больной может спасти свою жизнь! — изрекли в итоге мудрецы, и их мысль была необычайно мудрой и складной, как они сами заверили.

— Прекрасная мысль! — тут же подхватил аист.

— А я ее не понимаю! — сказала аистиха. — И дело не во мне, а в этой самой мысли. Впрочем, мне все равно, у меня своих забот хватает!

Потом ученые завели разговор о том, что любовь бывает разная: любовь между мужчиной и женщиной, определенно, отличается от любви между родителями и детьми или между светом и растениями, когда солнечный луч целует тину и из нее выходит росток. Речи их были столь витиеваты и глубокомысленны, что аист был не в силах даже следить за ними, не то что пересказать их. Тут он задумался, прикрыл глаза да так и простоял на одной ноге весь день. Ученость оказалась для него непосильной ношей.

Зато аист понял, что болезнь владыки была для всей страны и народа большим несчастьем — об этом толковали и бедняки, и богачи; исцеление его, напротив, стало бы великой радостью. «Но где же растет целебный цветок?» — спрашивали все друг у друга, заглядывали в ученые книги, вопрошали звезды в небе, гадали по погоде и ветру, словом, искали ответ всевозможными путями, и вот ученые и мудрецы, как уже было сказано, изрекли: «Любовь порождает жизнь и возродит владыку!» Они и сами не совсем верили своим словам, но все равно повторяли их и даже записали вместо рецепта: «Любовь порождает жизнь!» Но как приготовить по этому рецепту лекарство, они не ведали. И в конце концов единодушно признали, что помощи следует ждать от принцессы, всем сердцем любившей своего отца. Придумали и то, как выполнить задачу. Ровно год тому назад ночью, после новолуния, принцесса отправилась в пустыню к мраморному сфинксу, расчистила от песка дверцу в цоколе и прошла по длинному коридору внутрь одной из больших пирамид, где покоилась мумия древнего фараона в окружении роскоши и великолепия. Там принцесса должна была склонить голову на грудь умершего, и тогда ей откроется, как спасти жизнь отца.



Она все исполнила в точности, и во сне ей случилось откровение, что она должна полететь к глубокому болоту в датской земле — место было указано — и принести домой цветок лотоса, который коснется ее груди, когда она нырнет в глубину. Тогда отец исцелится.

Вот почему принцесса и полетела в лебедином оперении из родного Египта на Дикое болото. Видите, аист с аистихой давно знали об этом, а теперь и мы узнали обо всем в подробностях. Мы знаем, что болотный король утянул ее за собой в трясины и что дома ее считают погибшей. Лишь мудрейший из мудрецов повторял, как и аистиха: «Она выпутается из беды!» И людям ничего больше не оставалось, как верить и ждать.

— Право же, я стащу лебединые перья у этих обманщиц принцесс! — сказал аист. — Тогда они не сумеют прилететь на болото и причинить кому-нибудь зло. Перья же я там припрячу, может, на что сгодятся!

— Где это там? — спросила аистиха.

— В нашем гнезде, возле Дикого болота! — ответил аист. — Наши птенцы помогут мне перенести их; если же будет очень тяжело, то найдем по дороге местечко, где их можно припрятать до следующего перелета. Принцессе хватило бы, пожалуй, и одного оперения, но два лучше; в северной стране не худо иметь с собой лишнюю одежду!

— Тебе и спасибо за это не скажут! — заметила аистиха. — Но ты ведь глава семьи! Я имею голос, только когда сижу на яйцах!

\*

Девочка, жившая в доме викинга близ Дикого болота, куда весной прилетали аисты, получила имя, ее нарекли Хельгой, но имя это было слишком нежным для ее нрава, столь жестокого у такого милого создания. Месяц за месяцем, год за годом, пока аисты совершали все те же перелеты: осенью — к берегам Нила, весной — к Дикому болоту, девоч-

ка подрастала, и не успели опомниться, как она стала прелестной девицей в свои шестнадцать лет. Прекрасной была оболочка, но жестокой и грубой сама сердцевина; нрав девушки был необузданнее, чем у многих других в те суровые, мрачные времена.

Она тешилась, погружая свои белые руки в дымящуюся кровь только что зарезанной жертвенной лошади; перекусывала в диком порыве горло черному петуху, приготовленному в жертву богам, а своему приемному отцу сказала однажды совершенно серьезно:

— Приди ночью твой враг, поднимись по веревке на крышу дома, сними саму крышу над твоей комнатой, я и тогда не разбудила бы тебя, если бы даже могла! Я ничего бы не услышала — так звенит у меня в ушах пощечина, которую ты дал мне много лет назад! Я не забыла ее!

Но викинг не поверил ее словам; он, как и все остальные, был очарован ее красотой и не знал ничего о двойственности души и тела Хельги. Без седла девушка скакала, словно приросшая, и конь ее мчался во весь опор, но она не соскакивала на землю, даже если он начинал кусать других диких лошадей. Не раздеваясь, бросалась она с обрыва в быстрые воды фьорда и плыла навстречу ладье викинга, направлявшейся к берегу. Из своих прекрасных длинных волос она отрезала самую длинную прядь и сплела из нее тетиву для лука.

— Делать самой — лучше выйдет! — сказала она.

Годы и привычка закалили душу и волю жены викинга, но в сравнении с дочерью она казалась робкой, слабой женщиной. Между тем она знала, что ужасный ребенок был околдован.

Хельге часто доставляло удовольствие помучить мать просто из злорадства: увидев, что та стоит на крыльце или вышла на двор, она садилась на край колодца, болтая там руками и ногами, а потом вдруг бросалась в узкую глубокую яму и, точно лягушка, ныряла и снова выныривала на поверх-

ность, затем, как кошка, карабкалась вверх и являлась в пиришествленную залу вся мокрая, с нее текла вода, смывая зеленые листья, устилавшие пол.

Одно только сдерживало Хельгу — наступление сумерек. Под вечер она утихала, словно задумывалась, откликалась на зов и слушалась мать, к которой ее влекло какое-то неведомое чувство. Солнце заходило, и совершалось внешнее и внутреннее преображение: девушка становилась тихой, печальной, съеживалась до размеров жабы, но все равно ее тело было немного больше, чем у обычной жабы, и тем ужаснее на вид. Она походила на жалкую карлицу с жабьей головой и перепонками между пальцами. Во взгляде ее сквозила невыразимая грусть, говорить она не могла и издавала лишь жалобные звуки, будто ребенок, всхлипывающий во сне. Тогда жена викинга могла посадить ее к себе на колени, и забывая о ее уродстве, глядела в эти печальные глаза и повторяя:

— Я готова желать, чтобы ты всегда оставалась моей бессловесной дочкой-жабой! Ведь ты гораздо ужаснее, когда бываешь в обличье красавицы!

И она чертила руны от колдовства и болезней, перебрасывала их через голову несчастной, но лучше от этого не становилось.

\*

— Кто бы поверил, что она была совсем крошечной и умещалась когда-то в чашечке кувшинки! — заметил папаяист. — Теперь она выросла и лицом — вылитая мать, египетская принцесса, которую мы больше так никогда и не видели! Не удалось ей выпутаться из беды, как вы с мудрецами предсказывали. Я из года в год облетаю все Дикое болото, но она до сих пор не подала ни малейших признаков жизни! Я знаю, о чем говорю: ведь все эти годы я прилетал сюда раньше тебя, чтобы починить наше гнездо, подправить кое-что, и ночами, словно филин какой или летучая мышь, кружил над болотом, но все без толку! Не пригодились и два лебединых оперения,

которые мы с птенцами еле-еле перетащили сюда с берегов Нила, и потребовалось нам тогда три перелета. Вот уже много лет лежат они в нашем гнезде, а случись пожар, загорись этот бревенчатый дом, и от них не останется и следа!

— И от нашего славного гнездышка тоже! — добавила аистиха. — О нем-то ты думаешь меньше, чем о всяких перьях да о болотной принцессе! Отправлялся бы и сам к ней в трясины. Плохой ты отец семейства, я говорила об этом еще тогда, когда впервые сидела на яйцах. Вот погоди, эта шальная дочка викинга еще подобьет кому-нибудь крыло своей стрелой! Она ведь не ведает, что творит. Ей следовало бы припомнить, что мы живем здесь дольше нее; и мы никогда не забывали о своих обязательствах: ежегодно уплачиваем за проживание пером, яйцом и одним птенцом, как положено. Думаешь, когда она на дворе, мне придет в голову слететь вниз, как в былые годы или как и нынче в Египте, где я со всеми на дружеской ноге — нисколько не забываясь, впрочем, — и могу заглядывать во все котлы и горшки? Нет, я сижу наверху и злюсь на эту девчонку! И на тебя тоже! Оставил бы ее в кувшинке, пускай бы погибла!

— Ты сама более достойна уважения, чем твои речи! — сказал аист. — Я знаю тебя лучше, чем ты себя!

И он подпрыгнул, тяжело взмахнул два раза крыльями, вытянул ноги назад, воспарил с распростертыми крыльями к небу; потом опять сильно взмахнул крыльями и полетел дальше. Солнце освещало белоснежные перья, шея и голова вытянулись вперед... Вот это был полет!

— Он до сих пор красивее всех! — проговорила аистиха. — Но ему я об этом не скажу.

\*

В ту осень викинг вернулся домой рано. Привез он с собой много добычи и пленных. Был среди них и молодой христианский священник, из тех, что отвергали языческих богов

севера. В последнее время в доме викинга — и в главных покоех, и на женской половине — все чаще заговаривали о новой вере, которая распространилась во всех южных странах и благодаря святому Ангару достигла Хедебю, у Сlienфьорда. Даже Хельга слышала в детстве о вере в белого Христа, который пожертвовал собой из любви к людям и ради их спасения. Но все эти рассказы она, как говорится, в одно ухо впускала, а из другого выпускала. Слово «любовь» она, похоже, понимала лишь тогда, когда в уродливом жабьем обличье сидела, съезжившись, в запертой комнате. Но жена викинга прислушивалась к рассказам и преданиям, ходившим о Сыне единого истинного Бога, и они будили в ней неведомые прежде чувства.

Воины, вернувшись из похода, рассказывали о величественных храмах, высеченных из ценных камней, воздвигнутых во имя того, чьим заветом была любовь. Они привезли домой два тяжелых сосуда из чистого золота, искусной работы, от которых исходил удивительный аромат, — это были две кадиланицы, и христианские священники совершали с ними каждение алтаря, где никогда не лилась кровь, но где вино и освященный хлеб пресуществлялись в Его кровь и тело, отданные ради спасения людей, даже еще не родившихся поколений.

Молодого священника связали по рукам и ногам веревками из лыка и посадили в глубокий каменный подвал дома. Как он был прекрасен! «Словно Бальдр!» — сказала жена викинга, тронутая бедственным положением пленника, а Хельге хотелось, чтобы ему продернули под коленками веревки и привязали его к хвостам диких быков.

— Я бы выпустила на них собак! Вот бы травля пошла: по болотам да прямо на равнину! Повеселилась бы я тогда, а еще лучше — самой нестись за ним по пятам!

Но викинг желал пленнику иной смерти: как вероотступник и богохульник, тот должен быть принесен им в жертву.



Завтра на жертвенном камне в священной роще впервые прольется человеческая кровь.

Юная Хельга испросила разрешение окропить идолов и народ кровью жертвы. Она наточила сверкающий нож, а потом взяла да и всадила его в бок огромному свирепому псу, пробежавшему мимо нее по двору.

— Для пробы! — сказала она, и жена викинга сокрушенно взглянула на дикую, злую девушку. Ночью же, когда телесная красота дочери обратилась духовной, мать обратилась к ней со словами горячей укоризны, которые исторгла ее наболевшая душа.

Гадкая жаба, похожая на тролля, устремила на нее свои печальные карие глаза и, казалось, понимала ее, как разумный человек.

— Никогда и никому, даже своему мужу я не проговори-лась о том, что терплю из-за тебя! — говорила жена викинга. — И не думала я, что так жалею тебя! Велика любовь матери, но твоя душа не знает любви! Сердце твое словно холодный комок тины, из которой ты и явилась в мой дом!

Безобразное существо как-то странно задрожало, будто эти слова затронули невидимые нити, соединявшие тело с душой, и на глазах жабы выступили крупные слезы.

— Настанет время и твоего испытания! — продолжала жена викинга. — Много горя придется тогда изведать и мне!.. Лучше бы тебя бросили на дороге, когда ты была еще младенцем, и ночной холод усыпил бы тебя навеки!

Тут жена викинга горько заплакала и ушла, полная гнева и печали, за занавеску из звериной шкуры, подвешенную к балке и заменявшую в комнате перегородку.

Жаба, съезжившись, сидела в углу одна; мертвая тишина время от времени прерывалась ее тяжелыми вздохами; казалось, что новая жизнь в муках рождалась из сердца жабы. Вдруг она сделала шаг вперед, прислушалась, снова шагнула к двери и схватилась своими беспомощными лапками за тяжелый засов. Бесшумно отодвинув его, она осторожно вытаци-

ла болт из щеколды. За дверью в комнате горел светильник; жаба взяла его и пошла дальше, будто какая-то могучая сила влекла ее вперед. Она вынула железный болт из запора и прокралась в подвал к пленнику. Он спал. Тогда она дотронулась до него своей холодной скользкой лапкой, и он проснулся; увидев безобразное существо, пленник содрогнулся, словно перед страшным видением. Но жаба достала нож и перерезала веревки, а потом сделала ему знак следовать за нею.

Пленник сотворил молитву и крестное знамение, но видение не исчезло; тогда он произнес слова из Библии:

— «Блажен тот, кто разумно относится к малым сим, — Господь спасает его в день несчастья!» — И добавил: — Кто ты? Как может скрываться под звериной оболочкой душа, полная милосердия?

Жаба вновь махнула ему лапкой, провела его по укромному проходу, занавешенному коврами, в конюшню и указала на одну из лошадей. Пленник вскочил на лошадь, но вслед за ним вскочила и жаба, примостившись впереди него и уцепившись за конскую гриву. Пленник понял ее намерение и пустил лошадь вскачь по дороге, которой он сам никогда бы не нашел и которая вела к равнине.

Он уже позабыл о безобразном облике жабы, ощутив, что она была орудием милости Божией; из уст его полились молитвы и священные псалмы. Жаба задрожала — под влиянием ли молитв и песнопений или от предрассветного холода? Что ощущала она в душе? Вдруг она приподнялась на лошади, как бы желая остановить ее и спрыгнуть на землю; но христианский священник силой удержал жабу и громко запел псалом, надеясь победить злые чары, тяготевшие над уродливым созданием. Лошадь неслась все дальше; небо заалело, первый луч пробился сквозь облако, и при свете солнца произошло превращение: жаба стала юной красавицей с демонически злой душой. Священник ужаснулся, держа в объятиях красивую девушку; он остановил лошадь и соско-

чил на землю, думая, что свершилось новое колдовство. Но и Хельга тотчас же спрыгнула на землю. Короткое детское платье едва доходило ей до колен. Выхватив из-за пояса острый нож, она бросилась на пораженного христианина.

— Пстой! — крикнула она. — Пстой, я проткну тебя ножом! Что, побледнел? Раб! Безбородый!

Она теснила его, между ними завязалась нелегкая борьба, но христианину, казалось, помогали невидимые силы. Он крепко ухватил ее, а старый дуб, росший поблизости, помог ему победить ее окончательно: Хельга поскользнулась на корнях дерева, вылезавших из земли, и дуб связал ей ноги. Рядом протекал источник, и священник окропил водой грудь и лицо девушки, повелев нечистому духу выйти вон, и благословил ее по христианскому обычаю, но крещение водой не имеет настоящей силы, если в душе не бьет источник веры.

И все-таки священник оказался сильнее. Во всех его действиях чувствовалась какая-то сверхчеловеческая власть, дающая победу над злыми духами, и это покорило Хельгу. Она опустила руки и, побледнев, удивленно взирала на этого человека, который казался ей могущественным волшебником, сведущим в колдовстве и тайных учениях. Ведь он читал над ней таинственные руны, чертил в воздухе загадочные линии! Она не моргнула бы глазом перед блестящим топором или острым ножом, занесенным над ней, но когда он начертал на ее челе и груди крест, она закрыла глаза, опустила голову на грудь и присмирела, как прирученная птичка.

И он кротко заговорил с ней о подвиге любви, совершенном ею в эту ночь, когда она в образе отвратительной жабы явилась освободить его от уз и вывести к свету и жизни. Он говорил, что она сама опутана еще более крепкими узами, но теперь он выведет ее к свету и жизни. Он отвезет ее в Хеддебу, к святому Ансгару; там, в этом христианском городе, чары с нее будут сняты. Но он уже не смел везти ее на лошади перед собою, хотя она и села покорно в седло.

— Ты сядешь позади меня, а не впереди! Твоя колдовская красота обладает злой силой, и я боюсь ее... Но во имя Христа победа все-таки будет за мной!

Он преклонил колена и горячо помолился. Безмолвный лес как будто превратился в святой храм; запели птицы, словно они были прихожанами, дикая мята источала благоухание, как бы желая заменить амбру и ладан. Громко провозгласил священник слова из Священного Писания:

— «Народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране и тени смертной воссиял свет!»

И он стал рассказывать Хельге о вечной жизни всего живого, и пока он говорил, лошадь, что прежде неслась вскачь, мирно стояла и потряхивала мордой разросшиеся ветки ежевики, так что спелые, сочные ягоды падали в руку Хельги, словно предлагая ей подкрепить силы.

Она покорно дала усадить себя на круп лошади. Девушка была будто во сне. Христианин связал лыком две ветки, образующие собой крест, и высоко держал в руке. Затем они поскакали через лес, в самую его чащу; дорога становилась все уже и уже, а кое-где и вовсе пропадала. Терновые кусты преграждали путь, точно шлагбаумы, — приходилось объезжать их. Источник превратился не в быстрый ручей, а в стоячее болото — и его тоже надо было объехать. Лесной воздух освежал и давал силы, но не меньше подкрепляли и кроткие слова, в которых звучали вера и Христова любовь, — слова священника, горевшего желанием вывести заблудшую из мрака к свету и жизни.

Говорят, дождевая капля точит твердый камень, волны морские со временем делают круглыми остроугольные обломки скал; так и роса милосердия Божьего, омывшая юную Хельгу, пронила жестокость, сгладила резкость. Но сама девушка еще не ведала о том, что в ней совершается, как не ведало зерно в земле, напоенное влагой и согретое солнцем, что скрывает в себе росток и будущий цветок.

Как колыбельная матери незаметно западает в душу ребенка, ловящего отдельные слова, не понимая их смысла, который станет ему ясен лишь с годами, так и на душу Хельги действовала животворящая сила Слова.

Они выехали из леса на равнину, потом снова углубились в лесную чащу и под вечер встретили на своем пути разбойников.

— Где ты подцепил такую красотку? — закричали разбойники, остановили лошадь и стащили путешественников; сила была на их стороне. У священника был для защиты только нож, который он отнял у Хельги, когда они боролись. Один из разбойников замахнулся на него топором, но молодой человек успел отскочить в сторону, иначе был бы убит. Топор же глубоко вонзился в шею лошади; хлынула кровь, и животное повалилось на землю. Тут Хельга словно очнулась от задумчивости и бросилась к издыхающей лошади. Христианин заслонил собой девушку, но другой разбойник нанес ему удар прямо по голове своим железным молотом, так что кровь и мозг брызнули во все стороны и священник упал замертво.

Разбойники схватили Хельгу за белые руки, но в этот миг солнце закатилось, угас последний его луч, и она превратилась в отвратительную жабу. Бледно-зеленый рот растянулся вполлица, руки стали тонкими и скользкими, а кисти их сделались веерообразными лапами, с перепонками между пальцами... Разбойники в ужасе отпустили ее. Безобразное создание стояло перед ними, а потом высоко подпрыгнуло, как и подобает жабе, и скрылось в лесной чаще. Разбойники поняли, что это Локи сыграл с ними злую шутку или же совершилось страшное колдовство, и в страхе убежали прочь.

\*

Взошла полная луна; она осветила все вокруг, и из кустов выползла Хельга в обличье уродливой жабы. Она остановилась у тела христианского священника, возле своей убитой

лошади, и глаза ее наполнились слезами. Из груди вырвалось горестное кваканье, похожее на плач ребенка. Жаба бросилась к одному, потом к другому, зачерпнула своей перепончатой лапкой воды и побрызгала на убитых. Но мертвые так и остались мертвыми! Она поняла, что скоро здесь появятся дикие звери и растерзают их тела. Нет, не бывать этому! И она принялась рыть для них глубокую могилу. Она рыла что есть сил, но у нее были всего лишь толстая ветка да ее перепончатые лапки, из которых вскоре пошла кровь. Она увидела, что ей не справиться с работой. Тогда она снова зачерпнула воды и обмыла лицо мертвого, прикрыла его свежими зелеными листьями, а потом наложила на тело больших веток с листвой; затем она завалила тела убитых тяжелыми камнями, какие только в силах была поднять, а все пустоты между ними заткнула мхом. Она надеялась, что насыпала надежный могильный курган. За этой тяжелой работой прошла вся ночь; взошло солнце — и Хельга снова превратилась в прекрасную девушку, но израненные руки ее были в крови, а по румяным нежным щекам впервые в жизни струились слезы.

В миг превращения в ней столкнулись два начала. Она задрожала и оглянулась вокруг, словно пробудясь от страшного сна, затем бросилась к стройному буку, крепко ухватилась за ветку, ища точку опоры, и тотчас, как кошка, вскарабкалась на вершину дерева. Там она примостилась на ветвях и сидела, как пугливая белка, весь день, одна-одинешенька, среди безмолвия леса, где царили тишина, неподвижность... да-да, даже неподвижность, только в воздухе кружились бабочки, играя или борясь друг с другом; муравьиные кучи кишели крохотными насекомыми, сновавшими взад-вперед; в воздухе плясали бесчисленные рои комаров, носились тучи жужжащих мух, божьих коровок, стрекоз и других крылатых созданий. Дождевой червяк выползал из сырой почвы, кроты выбрасывали комья земли — словом, тихо и неподвижно было вокруг, но лишь в обыденном смысле. Никто не обра-

щал на Хельгу внимания, кроме сорок: они с криком летали над вершиной дерева, где сидела девушка. Птицы даже прыгали с ветки на ветку, подбираясь к ней поближе, — такие они любопытные! Но довольно было ей взглянуть на них, как они разлетались — им так и не удалось разгадать ее, да и сама Хельга не могла разгадать себя.

С приближением сумерек, на закате солнца, грядущее превращение заставило девушку слезть с дерева. Последний луч погас, и она опять сидела на земле в обличье съезжившейся жабы, с разорванной перепонкой между пальцами. Но глаза ее сияли такой красотой, с которой вряд ли сравнились бы даже глаза красавицы Хельги. В этих нежных, кротких глазах уродливой жабы светились глубокая душа, человеческое сердце; ручьями лились из них слезы, облегчая скорбящую душу.

На кургане оставался крест из веток, перевязанных лыком, — последняя работа умершего священника. Хельга взяла его, и ей пришла в голову мысль, что надо утвердить крест между камнями над курганом. При воспоминании об убитом вновь хлынули слезы, и девушка, повинуясь душевному порыву, начертала знаки креста на земле вокруг могилы; вышла красивая ограда! Но едва она закончила чертить обеими лапками первый же крест, перепонки слетели с них, как разорванные перчатки. Она омыла их в воде источника и в изумлении посмотрела на свои изящные белые руки; тогда она вновь начертала знак креста в воздухе, между собой и умершим священником; губы ее задрожали, и с языка слетело имя, которое она столько раз слышала в пути, пока они скакали по лесу и священник молился и пел; Хельга произнесла: «Господи Иисусе Христе!»

Тут оболочка жабы слетела с нее, и она опять стала молодой прекрасной девушкой... Но голова ее устало склонилась на грудь, тело просило отдыха — и она уснула.

Однако сон ее был недолог; в полночь Хельга пробудилась; перед ней стояла убитая лошадь, вся окруженная сия-

нием, полная жизни; глаза ее горели, и из раны на шее тоже лился свет. Рядом же стоял убитый христианин священник; «прекраснее самого Бальдра!» — как сказала бы жена викинга. Его тоже окружало сияние.

Большие кроткие глаза его смотрели серьезно, это был взгляд праведного судьи, проникающий в самые сокровенные уголки души. Хельга затрепетала, память ее пробудилась мгновенно, как в день Страшного суда.

Все доброе, что было даровано ей, каждое ласковое слово, слышанное ею, — все ожило в ее памяти, и она поняла, что в дни испытаний ее, дитя живой души и болотной тины, поддерживала одна любовь. Она осознала, что следовала при этом лишь внутреннему побуждению, но ничего не сделала для себя сама. Ей все было дано, она все совершила по некоей высшей воле. И, сознавая свое ничтожество, полная стыда, она смиренно склонилась перед Тем, кто читал в глубине ее сердца. В этот миг она ощутила, как зажглась в ней, будто от удара молнии, Божественная искра, искра Духа Святого.

— Дочь тины! — обратился к ней христианский священник. — Из тины, из земли ты взята, из земли же ты и восстанешь! Солнечный луч в тебе самой весь устремлен к светлomu началу, но начало его не солнце, а Бог! Ни одна душа в мире не погибнет, но неспешен ее путь на земле — ведь это путь к вечности... Я явился к тебе из обители мертвых; однажды и ты совершишь переход через глубокие долины к светлым горным высям, где обитают милость и совершенство. Я поведу тебя не в Хедебю для принятия крещения — сперва ты должна пройти сквозь трясины, достать из болотных глубин живой корень своей жизни, своей колыбели, совершить свое дело, прежде чем будешь освящена!

И, посадив ее на лошадь, он протянул ей золотую кадильницу, похожую на ту, что девушка видела раньше в доме викинга; из кадильницы струилось сладкое сильное благоухание. Рана на лбу убиенного сияла, точно диадема.



Священник взял крест с могилы и высоко поднял его перед собой; они понеслись по воздуху, над шумящим лесом, над курганами, где были погребены воины верхом на своих же убитых конях. Их могучие тени поднялись, выехали на вершины курганов. Лунный свет играл на золотых обручах, сиявших на лбах героев; плащи их развевались по ветру. Дракон, страж сокровищ, поднял голову и смотрел путникам вслед. Карлики поглядывали на них из холмов, из борозд, проведенных плугом, мелькая красными, голубыми и зелеными огоньками, — словно множество искорок тлеет в золе, оставшейся после сгоревшей бумаги.

А путники пролетали над лесами, равнинами, реками и топями, направляясь к Дикому болоту. Долетев до него, они стали кружить над ним. Священник высоко поднимал крест, сверкавший, точно золотой, а из уст его лились молитвенные песнопения. Хельга вторила ему, как дитя вторит песне матери. При этом она кадила над трясиной, и из кадила струился такой сильный, чудодейственный фимиам, что на болоте зацвели осот и тростник, а со дна его поднялись зеленые ростки — все, что носило в себе зародыш жизни. На поверхности воды раскинулся ковер цветущих кувшинок, и на нем покоилась спящая женщина, юная и прекрасная. Хельга подумала, что видит в зеркале вод свое собственное отражение, но это была ее мать, супруга болотного короля, принцесса с берегов Нила.

Христианский священник повелел спящей сесть на лошадь, и та опустилась под новой тяжестью, будто была всего лишь саваном, висевшим в воздухе; христианин сотворил крестное знамение, и тень вновь окрепла. Все трое выехали на твердую почву.

Пропел петух на дворе у викинга, и видения растаяли в воздухе, как туман от дуновения ветра, а мать и дочь очутились лицом к лицу.

— Не себя ли я вижу в глубокой воде? — спросила мать.

— Не себя ли я вижу в зеркальном щите вод? — воскликнула дочь.

Они приблизились друг к другу и крепко обнялись. Сердце матери забилося сильнее, и она поняла, почему.

— Дитя мое! Цветок моего сердца, мой лотос из глубины вод!

Она опять обняла дочь и заплакала; слезы эти были для Хельги новым крещением, возрождавшим ее к жизни и любви.

— Я прилетела на болото в лебедином оперении и потом сбросила его с себя! — начала рассказывать мать. — Я провалилась в трясину, на самое дно болота, и тина сомкнулась надо мной. Но вскоре я почувствовала приток свежей воды; какая-то сила увлекала меня все глубже и глубже, веки мои отяжелели, и я заснула... Мне снилось, будто я снова лежу в египетской пирамиде, но передо мной по-прежнему стоял, покачиваясь, ольховый пенек, который так испугал меня на поверхности болота. Я рассматривала трещины на его коре, и вдруг они засветились и стали иероглифами — передо мной оказалась мумия. Пелены лопнули, и из них появился тысячелетний, древний властитель, черный как смоль, лоснящийся, как лесная улитка или как жирное илистое дно. Был ли передо мной болотный король или египетская мумия — я не знала. Он обвинил меня руками, и мне почудилось, что я умираю. Очнувшись, почувствовав на своей груди что-то теплое: то была маленькая птичка; трепещущая крылышками, она щебетала и пела. Потом она взлетела с моей груди кверху, к темному тяжелому своду, но длинная зеленая нить связывала ее со мной. Я поняла ее тоскливое щебетание: «На волю! К солнцу! К отцу!» Мне вспомнились мой отец, залитая солнцем отчизна, моя жизнь, моя любовь! И я отвязала нить, выпустив птичку на волю, домой, к отцу... С той поры я уже не видела снов, просто спала беспробудно и долго, пока меня не подняли со дна болота дивные звуки и аромат!

Где же теперь трепетала на ветру, где была теперь зеленая нить, связывавшая птичку с сердцем матери? Один лишь аист видел ее: нитью был зеленый стебель, узелком — сияющий цветок, колыбель малышки, ставшей прекрасной девушкой, которую мать наконец снова прижала к своему сердцу.

Они стояли обнявшись, а над ними кружил аист. Слетав в свое гнездо, он принес на болото лебединые оперения, давно припрятанные им, и бросил их матери с дочерью. А те накинули на себя перья и поднялись в воздух двумя белыми лебедками.

— Теперь поговорим! — сказал аист. — Теперь мы пойдем язык друг друга, хотя клюв у разных птиц не одинаков! Хорошо, что вы явились сюда сегодня ночью, ведь завтра мы все улетаем: и я, и моя женушка, и птенцы! Мы полетим на юг! Посмотрите на меня: я же ваш старый знакомый с берегов Нила, и жена моя тут, со мной; сердце-то у нее добрее, чем язык! Она всегда верила, что принцесса выпутается из беды. А я с птенцами перенес сюда лебединые перья!.. Ну, очень рад! Какое счастье, что я был еще здесь. На заре мы все улетаем! Все аисты! Мы полетим впереди, а вы за нами, тогда не собьетесь с пути; мы с птенцами будем за вами присматривать!

— И я принесу с собой домой цветок лотоса! — промолвила египетская принцесса. — Он летит со мной в лебедином оперении! Цветок моего сердца со мною — вот как все разрешилось! Летим же домой, домой!

Но Хельга сказала, что не может покинуть Данию, не поவிдаввшись со своей приемной матерью, добросердечной женой викинга. Хельга помнила ее доброту, каждое ласковое слово, каждую слезу, пролитую ею, и в эту минуту девушке даже показалось, что она любит сильнее приемную мать.

— Да, нам нужно слетать к дому викинга! — ответил аист. — Там ведь нас ждет аистиха с птенцами! То-то они

вытаращат глаза и затрещат! Жена, пожалуй, не много скажет! Она вообще говорит кратко и убедительно, а думает еще лучше! Сейчас я затрещу, чтобы они нас услышали.

И аист затрещал, защелкал клювом; потом вместе с лебедками он направился к дому викинга.

Все его обитатели были погружены в глубокий сон. Забылась сном и жена викинга, но только поздней ночью: она беспокоилась о Хельге, прошло ведь уже трое суток, как дочка исчезла вместе с христианским священником. Должно быть, это она помогла пленнику бежать — в конюшне недоставало именно ее лошади. Но как могло такое случиться? И жена викинга вспомнила рассказы о чудесах, которые творил белый Христос и веровавшие в Него. Мысли, бродившие в голове, облеклись во сне в живые образы, и ей привиделось, будто она еще не спит, сидя на постели и думая о Хельге, а снаружи все окутано тьмой. Надвигается буря; и с запада, и с востока, и с Северного моря, и со стороны Каттегата слышится грозный шум прибоя. Чудовищный змей, лежащий на дне морском, обвивая всю землю, бьется в судорогах. Приближается ночь гибели богов — Рагнарёк, — как древние язычники называли последний миг, когда рухнет мир и падут даже высшие боги. Вот раздались громкие звуки рога, и по радуге скачут верхом боги, закованные в доспехи; выезжают они на последнюю битву. Впереди летят крылатые валькирии, позади богов следуют тени павших героев. Все небо осветилось всполохами северного сияния, но тьма одержала победу. Близился страшный миг.

А рядом с трепещущей женой викинга сидит на полу Хельга в обличье уродливой жабы, дрожит от страха и жмет к своей приемной матери. Та берет жабу на колени, с любовью прижимает ее к себе, несмотря на ее отвратительную наружность. Вот воздух задрожал от ударов мечей и палиц; засвистели стрелы, словно град посыпался с неба. Настал тот

час, когда земля и небо должны рухнуть, звезды упасть с небосклона и все погибнет в пламени Сурта. Но жена викинга знала, что возникнут новое небо и новая земля, что хлебная нива заволнуется там, где прежде катило свои волны море по бесплодному песчаному дну. Она знала, что воцарится новый, неведомый Бог и к нему вознесется кроткий и светлый Бальдр, освобожденный из царства теней... И вот он пришел... Жена викинга видит его перед собой, узнает его: это тот христианский священник.

— Белый Христос! — воскликнула она и, произнеся это имя, поцеловала в лоб свое безобразное дитя-жабу. Тогда спала с жабы уродливая оболочка и перед женщиной очутилась красавица Хельга, кроткая, как никогда прежде, с сияющим любовью взглядом! Она поцеловала руки приемной матери, благодаря ее за все заботы и любовь, которыми та окружала ее в тяжелые дни испытаний, за добрые чувства, которые пробудила в ее душе, за произнесенное ею имя белого Христа! Хельга повторила это имя и вдруг поднялась в небо, как величавый лебедь; крылья ее выросли, расправились и зашумели так, будто взлетела целая стая птиц.

Тут жена викинга проснулась; на дворе и в самом деле слышалось шумное хлопанье крыльев. Она знала, что настала пора отлета аистов, и догадалась, что это они. Ей захотелось еще раз взглянуть на птиц и попрощаться с ними! Она встала, вышла на крыльцо и увидела их на крыше флигеля; над двором, над верхушками деревьев, кружили целые стаи, а прямо перед ней, на краешке колодца, где часто сидела Хельга, пугая свою приемную мать, сидели теперь две лебедки, устремив на жену викинга свой умный взгляд. И она вспомнила сон, который казался ей почти явью, вспомнила Хельгу в образе лебедя, вспомнила христианского священника и ощутила вдруг в сердце своем несказанную радость.

Лебедки захлопали крыльями и изогнули шеи, точно кланясь ей; тогда жена викинга в ответ протянула к ним руки и понимающе улыбнулась сквозь слезы.

Аисты, шумя крыльями и щелкая клювами, поднялись в воздух, готовясь лететь на юг.

— Не будем ждать этих лебедок! — заявила аистиха. — Хотят лететь с нами, так пусть поторопятся! Не оставаться же нам здесь до тех пор, пока не отправятся в путь ржанки! Гораздо приличнее лететь так, как мы, семьями, не то что зяблики или турухтаны: у тех мужья летят сами по себе, а жены — сами по себе! Это просто непристойно! Отчего это лебеди так хлопают крыльями?

— Каждый летает по-своему! — ответил аист. — Лебеди летят косою линией, журавли — клином, а ржанки — змейкой!

— Только не говори о змеях во время путешествия! — воскликнула аистиха. — У птенцов разыграется аппетит, а накормить их нечем!

\*

— Так вот они, эти высокие горы, о которых я столько слышала! — промолвила Хельга, летевшая в лебедином оперении.

— Нет, это плывут под нами грозовые тучи! — ответила мать.

— А что это за белые облака в вышине? — спросила Хельга.

— Ты видишь перед собой вершины гор, покрытые вечными снегами! — сказала мать, и они, пролетев над Альпами, продолжили путь к Средиземному морю, синевшему вдали.

\*

— Африка! Египет! — ликовала дочь Нила в обличье лебедки, завидев с высоты желтоватую волнистую полосу родного берега.

Заметили берег и аисты и ускорили полет.

— Я чувствую запах нильской тины и скользких лягушек! — сказала аистиха птенцам. — Ой, даже защекотало внутри! Да, теперь вы и сами попробуете эти лакомства; теперь вы увидите марабу, ибисов и журавлей! Все они нашего рода, но не такие красивые, как мы. И слишком уж важничают, особенно ибисы — их избаловали египтяне: они делают из ибисов мумии, набивая их пряными травами. А по мне — лучше быть набитой живыми лягушками, да и все тут! Лучше быть сытой живой птицей, чем красивым чучелом! Таково мое мнение, и я всегда права!

— Вот и аисты прилетели! — сказали обитатели дворца на берегу Нила.

В открытом покое на мягком ложе, застеленном шкурой леопарда, по-прежнему лежал владыка, ни жив ни мертв, в надежде на цветок лотоса из глубокого северного болота. Родичи и слуги окружали его ложе.

И вдруг во дворец влетели две прекрасные белые лебедки, которые путешествовали вместе с аистами. Они сбросили с себя ослепительное оперение и обернулись двумя красавицами, похожими друг на друга как две капли воды. Откинув назад свои длинные волосы, они склонились над бледным, увядшим старцем. Едва Хельга наклонилась к своему дедушке, щеки его окрасились румянцем, глаза заблестели, в неподвижное тело вернулась жизнь. Старец встал здоровым и помолодевшим! Дочь и внучка заключили его в объятия, словно желал ему доброго утра после долгого тяжелого сна.

Во дворце воцарилось ликование, и в гнезде аистов тоже радовались, впрочем, больше хорошему корму — обилию лягушек. Ученые спешно записывали историю о двух принцессах и целебном цветке, который стал поистине спасением и благословением для властителя и его страны; аисты же

рассказывали эту историю своим птенцам по-своему и не прежде, чем все наелись досыта, иначе у них нашлось бы занятие поважнее!

— Теперь и тебя не забудут! — шепнула аистиха мужу. — Уж не без этого!

— А чем я отличился? — сказал аист. — Что я, собственно, сделал? Ничего!

— Да ты сделал больше, чем все остальные! Без тебя и наших птенцов обеим принцессам вовек не видать бы Египта и не исцелить старика. Конечно, тебя не забудут! Удостоят степени доктора, и наши будущие детки будут рождаться уже в этом звании, а потом дети наших деток и так далее! В моих глазах ты и так уже вылитый египетский доктор!

Тем временем ученые и мудрецы продолжали развивать главную, по их словам, мысль этой истории: «Любовь порождает жизнь! — и толковали ее на разные лады: — Египетская принцесса, как солнечный луч, проникла во владения болотного короля, и от их встречи расцвел цветок...»

— Я не сумею пересказать их речи! — признался аист; он, сидя на крыше, слушал ученых, чтобы потом передать их слова своим домочадцам. — Они говорили так пространно, так мудрено, что их тут же осыпали чинами и подарками; даже повар получил большую награду — должно быть, за суп!

— Ну, а что получил ты? — спросила аистиха. — Не следовало бы им забывать самое главное лицо, то есть тебя! Ученые-то просто языком трепали! Дойдет еще очередь и до тебя!

Поздней ночью, когда счастливые обитатели дворца мирно почивали, не спала лишь одна живая душа. Это был не аист — он хотя и стоял на одной ноге, сторожа гнездо, но все равно уснул; бодрствовала Хельга. Она вышла на балкон и смотрела на ясное небо, усеянное большими сияющими звездами, они казались ей больше и ярче, чем на севере, но это были те же самые звезды. И Хельга вспомнила жену



викинга на Диком болоте, кроткий взгляд своей приемной матери, слезы, пролитые ею над бедной дочкой-жабой, которая теперь стояла в сиянии звезд на берегу Нила, вдыхая чудесный весенний воздух. Она думала о том, как умела любить эта женщина-язычница, как заботилась она о жалком создании, которое в человеческом образе скрывало звериную натуру, а в зверином было отвратительным с виду, так что противно на него и взглянуть, не то что дотронуться. Хельга смотрела на сияющие звезды и вспоминала свет на челе убитого священника, когда они вместе летели над лесом и болотом. В ушах ее вновь зазвучали те слова, которые она слышала от него тогда, сидя, как замороженная, на лошади, — слова о великом источнике любви, о высшей любви, обнимающей весь род человеческий.

Да, чего только не было ей дано, чего она не достигла! Денно и ночью думала Хельга о своем счастье, созерцая его, словно ребенок, который переводит взгляд с дарящего на подарки, на все эти чудесные дары. Она пребывала в блаженстве; совершившееся с ней чудо возносило ее к все большей радости и счастью, и она совсем забыла о том, кто даровал ей это блаженство. В ней кипела отвага молодости! Глаза ее сияли от радости! Но вот громкий шум на дворе отвлек ее от раздумий. Она выглянула туда и увидела двух сильных страусов, бегавших кругами. Никогда прежде Хельга не встречала этих огромных птиц, таких тяжелых и неуклюжих; крылья у них казались подрезанными, и страусы вели себя так, словно их кто-то обидел. Хельга спросил, что с ними случилось, и впервые услышала египетское предание о страусе.

Некогда страусы славились своей красотой; крылья их были большими, могучими. Однажды вечером другие лесные птицы сказали страусу: «Брат! Завтра, если будет угодно Богу, полетим к реке напиться!» И тот ответил: «Так угодно мне!» На заре птицы отправились в путь; все выше взлетали

они к солнцу, Божьему оку, все выше и выше, и впереди всех летел страус. Он горделиво взлетал к свету, надеясь только на свои силы, а не на их Подателя; он не говорил: «Если Богу угодно!» И тогда ангел возмездия сдернул покровы с пламенеющего светила, и в тот же миг крылья страуса опалило огнем, и он, бессильный, упал на землю. Никогда больше он и весь его род не могли подняться ввысь; страусы испуганно мечутся, описывая один и тот же узкий круг по земле. Они служат нам, людям, напоминанием о том, что все наши помышления, все дела должны начинаться словами: «Если будет угодно Богу!»

Хельга задумчиво опустила голову, взглянув на страусов, мечущихся то ли от страха, то ли от глупой радости при виде своей собственной огромной тени на белой, освещенной солнцем стене, и душой ее овладело серьезное настроение. Ей были даны богатая жизнь, счастливое будущее... Чего еще ждать, что будет дальше? А будет лучшее в жизни: «Если угодно Богу!»

\*

Ранней весной, перед отлетом аистов на север, Хельга взяла свой золотой браслет, начертала на нем свое имя, а затем, подзвав к себе аиста, надела ему браслет на шею, прося отнести украшение жене викинга: оно скажет ей, что приемная дочь ее жива, счастлива и помнит о ней.

— Тяжело это будет нести! — сказал аист, ощутив браслет на своей шее. — Но золото и честь не выбросишь на дорогу! Там, на севере, скажут, что аист приносит счастье!

— Тебе нести золото, а мне — яйца! — заявила аистиха. — Но ты-то принесешь его только раз, а я несу яйца каждый год! И ни один из нас не дождетса благодарности! Как обидно!

— Но есть ведь еще понимание, женушка! — возразил аист.

— Его не повесишь себе на шею! — ответила аистиха. — Оно не дает ни попутного ветра, ни корма!

И они улетели.

Маленький соловей, распевавший в кустарнике тамаринда, тоже собрался лететь на север; в былые времена Хельга часто слушала его трели возле Дикого болота. Дала она поручение и соловью — с тех пор как она летала в лебедином оперении, она понимала птичий язык и часто разговаривала с аистами и ласточками. Соловей тоже понял ее: она просила птичку слетать в буковый лес на Ютландском полуострове, где воздвигнут могильный курган из камней и веток; просила, чтоб соловей наказал другим птичкам ухаживать за могилой и петь над ней свои песни.

Соловей улетел, летело и время!

\*

Однажды осенью сидевший на пирамиде орел увидел пышный караван: двигались нагруженные сокровищами верблюды, гарцевали на горячих арабских скакунах разодетые вооруженные всадники. Их кони были серебристо-белыми, с красными раздувающимися ноздрями, с длинными шелковистыми гривами, ниспадавшими до тонких стройных ног. Знатные гости, и среди них — аравийский принц, прекрасный, каким и подобает быть принцу, подъехали ко дворцу владыки, где пустовало гнездо аистов. Птицы находились далеко на севере, но скоро должны были вернуться... И они вернулись как раз в тот день, когда во дворце радовались и веселились. Здесь праздновали свадьбу, невестой была Хельга, в шелках и драгоценных украшениях; женихом — молодой аравийский принц. Они сидели рядом за свадебным столом, между матерью и дедом.

Но Хельга не смотрела на смуглое мужественное лицо жениха, обрамленное черной курчавой бородой, не смотрела в его сверкающие черные глаза, устремленные на нее. Она обратила взор на яркие мерцающие звезды в небе.

Вдруг в воздухе послышалось шумное хлопанье крыльев; это вернулись аисты. И старые знакомые Хельги, как ни устали они от путешествия, как ни нуждались в отдыхе, тотчас же опустились на перила веранды, зная, что за праздник царит во дворце. Еще на границе страны они услышали, что Хельга велела нарисовать их изображение на стене дворца: аисты были ведь связаны с историей ее жизни.

— Мило придумано! — сказал аист.

— Слишком мало! — заявила аистиха. — Меньшего уже нельзя было и ожидать.

Увидев аистов, Хельга встала и вышла к ним на веранду погладить их по спине. Старые аист с аистихой склонили головы, а самые маленькие птенцы смотрели на это и чувствовали себя польщенными.

Хельга опять устремила свой взор к сияющим звездам, которые светили все ярче, и вдруг она заметила, что между небом и ею витает прозрачный образ, светлее самого воздуха и тем не менее различимый. Вот он приблизился к Хельге, и она узнала убитого христианского священника. И он явился к ней в этот праздничный день, явился из Царства Небесного.

— Небесный свет и красота превосходят все земное! — сказал он.

И Хельга стала просить его так смиренно, так сердечно, как никогда не просила прежде, взять ее с собой, в небесную обитель, к Отцу, чтобы взглянуть хоть на миг на это царство.

Тогда он вознесся с ней на небо, в сиянии и блаженстве, в потоке звуков и мыслей, которые звучали и светились не только вокруг Хельги, но и в ее душе. Чувств ее нельзя было выразить словами.

— Пора тебе возвращаться, тебя ищут! — сказал он.

— Еще одно мгновение! — умоляла она. — Один только миг!

— Пора вернуться на землю, гости уже разошлись!

— Еще один миг! Последний...

И вот Хельга снова очутилась на веранде... но все огни на дворе были потушены, во дворце не горели свечи, исчезли и аисты, и гости, и жених; всех словно ветром развеяло за три кратких мгновения.

Хельгу охватил страх, и она прошла через большой пустынный зал в следующую комнату, там спали чужеземные воины! Она отворила боковую дверцу, которая вела в ее собственные покои, и вдруг очутилась в саду — такого здесь не было раньше! Край неба заалел, наступал рассвет.

Всего лишь три мига на небе, и кончилась целая земная ночь!

Тут Хельга увидела аистов; она окликнула их и заговорила с ними на их языке. Аист, подняв голову, прислушался и подошел к ней.

— Ты говоришь по-нашему! — сказал он. — Чего тебе надо? Зачем ты пришла сюда, незнакомка?

— Да ведь это же я, Хельга! Ты не узнаешь меня? Три минуты назад мы разговаривали здесь, на веранде.

— Ты ошибаешься! — ответил аист. — Тебе, верно, это пригрезилось!

— Нет, нет! — воскликнула она и стала напоминать ему о доме викинга, о Диком болоте, о полете...

Аист заморгал глазами и произнес:

— А, это старинная история! Я слышал ее еще от моей прапрапрабабушки! Здесь, в Египте, была такая принцесса из Дании, но она исчезла в день своей свадьбы много-много веков тому назад и не вернулась! Ты можешь прочесть об этом на памятнике, что стоит в саду; там же высечены лебеди и аисты, а на пьедестале стоишь ты сама, изящная из белого мрамора.

Так оно и было. Хельга увидела памятник, поняла все и преклонила колени.

Взошло солнце, и как прежде с его появлением спадала оболочка жабы и Хельга становилась красавицей, так и те-

перь благодаря крещению светом вознесся к небу прекрасный образ, светлее, прозрачнее воздуха; солнечный луч вернулся к Отцу!

Телесная оболочка рассыпалась в прах — на месте ее лежал увядший цветок лотоса, из которого однажды восстала Хельга!

\*

— Новый конец истории! — сказал аист. — И совсем неожиданный! Но мне он, в общем-то, нравится!

— Что-то скажут о нем наши детки? — спросила аистиха.

— Это, пожалуй, важнее всего! — ответил аист.

---

## СКОРОХОДЫ

**Б**ыл назначен приз, и не один, а два — большой и малый — для самых быстрых, да только не в одном забеге, а в движении за целый год.

— Я получил первый приз! — сказал заяц. — Ведь справедливость всегда торжествует, если судят твои родители и друзья. Но то, что второй приз присудили улитке, считаю для себя прямым оскорблением!

— Ну уж нет! — возразил ему столб, свидетель присуждения призов. — Надо принять во внимание усердие и добрую волю, как отмечали многие уважаемые лица, и я согласен с их мнением. Улитке, правда, понадобилось полгода, чтобы переползти через порог, но она от усердия даже сломала себе бедренную кость! Она была просто поглощена своим бегом да еще таскала за собой свой домик! Это достойно уважения, потому она и получила второй приз!

— Меня бы тоже могли отметить! — сказала ласточка. — Думаю, что быстрее меня никто не летает, и где я только не побывала! Далеко-далеко!

— В том-то и беда ваша! — заявил столб. — Вы слишком много порхаете. Едва похолодает, как вы уже покидаете свою страну. Нет в вас патриотизма! Нечего вас и отмечать!

— А если бы я всю зиму пролежала в болоте? — спросила ласточка. — Если бы все время спала, то меня бы наградили за это?

— Принесите справку от болотной ведьмы, что проспали на родине полгода, тогда вас оценят!

— И все же я заслужила первый приз, а не второй! — сказала улитка. — Я-то знаю, что заяц бегаёт лишь из трусости, когда думает, что ему грозит опасность. Я же, напротив, вижу в движении цель жизни, к тому же получила увечье при исполнении служебных обязанностей! Если кто-то и достоин первого приза, так это я! Но я ненавижу похвастаться!

И она плюнула.

— Могу засвидетельствовать, что каждый приз был присужден по справедливости, по крайней мере когда я голосовала! — сказала старая лесная межа: она была членом судейской коллегии. — Я всегда придерживаюсь порядка, взвешенности и расчета. Уже восьмой раз я имею честь участвовать в присуждении призов, но сегодня впервые настояла на своем. При обсуждении я исхожу из логики. Все время голосую за первый приз для кандидата, чье имя начинается с первых букв алфавита, а за второй приз — для тех, кто стоит в конце алфавита. Вы можете заметить, что имя зайца оказалось в начале алфавита, вот я и подала свой голос за первый приз для него. А имя улитки начинается с последних букв — есть, правда, в конце алфавита буквы, обозначающие неприятные звуки, но через них я всегда перескакиваю; вот я и решила отдать улитке второй приз. В следующий раз первый приз я назначу тому, чье имя будет начинаться с буквы «и», а второй — тому, кто зовется на букву «т»! Во всем должен быть порядок! Важно делать свой выбор на какой-то основе!

— Не будь я в числе судей, я бы подал голос за самого себя, — сказал осел. — Надо принимать во внимание не только скорость, но и другие качества — например, выносливость: какой груз способен тащить кандидат. Мне, впрочем, не хотелось на этот раз выделять ни выносливость, ни заячий ум, ни ловкость, с которой заяц путает свои следы, скрываясь от преследователей. Нет, есть еще одно качество, и его не сле-



дует обходить вниманием: это красота. И я увидел ее, взглянув на замечательные длинные уши зайца: любо-дорого посмотреть на их длину! Мне показалось, будто я вижу самого себя в детстве, потому я и подал голос за зайца!

— Вздор! — сказала муха. — Не буду произносить речей, скажу лишь кое-что вдобавок! Я-то сама двигаюсь быстрее любого зайца, это мне хорошо известно. Недавно я даже раздробила одному зайчишке заднюю лапку. Сидела я на паровозе — я часто сажусь туда, чтобы лучше следить за собственной скоростью, — а какой-то зайчонок долго бежал впереди поезда, не подозревая о моем присутствии; наконец он был вынужден свернуть в сторону — тут паровоз и перерезал ему заднюю лапу, а на паровозе-то сидела я. Заяц упал, а я помчалась дальше. Так кто же победил? Впрочем, на приз я не претендую!

«А по-моему, — подумала дикая роза, но вслух она этого не произнесла, не в ее характере было высказываться, хотя лучше было бы не молчать, — по-моему, первый приз следовало бы отдать солнечному лучу, да и второй — ему же! Он в одно мгновение пролетает бесконечное пространство, отделяющее нас от солнца, и обладает такой силой, что пробуждает ото сна всю природу. Он так прекрасен, что мы, розы, аелем и благоухаем на его свету. Почтенные судьи, похоже, совсем не заметили его! Будь я лучом, я отплатила бы им солнечным ударом... Хотя нет, они бы тогда совсем спятили! Лучше промолчу! — думала дикая роза. — В лесу тишина и покой! Как чудесно цвести, благоухать и тянуться вверх, живя в легендах и песнях! И солнечный луч переживет всех нас!»

— А каков первый приз? — спросил дождевой червяк; он проспал присуждение призов и явился сюда только сейчас.

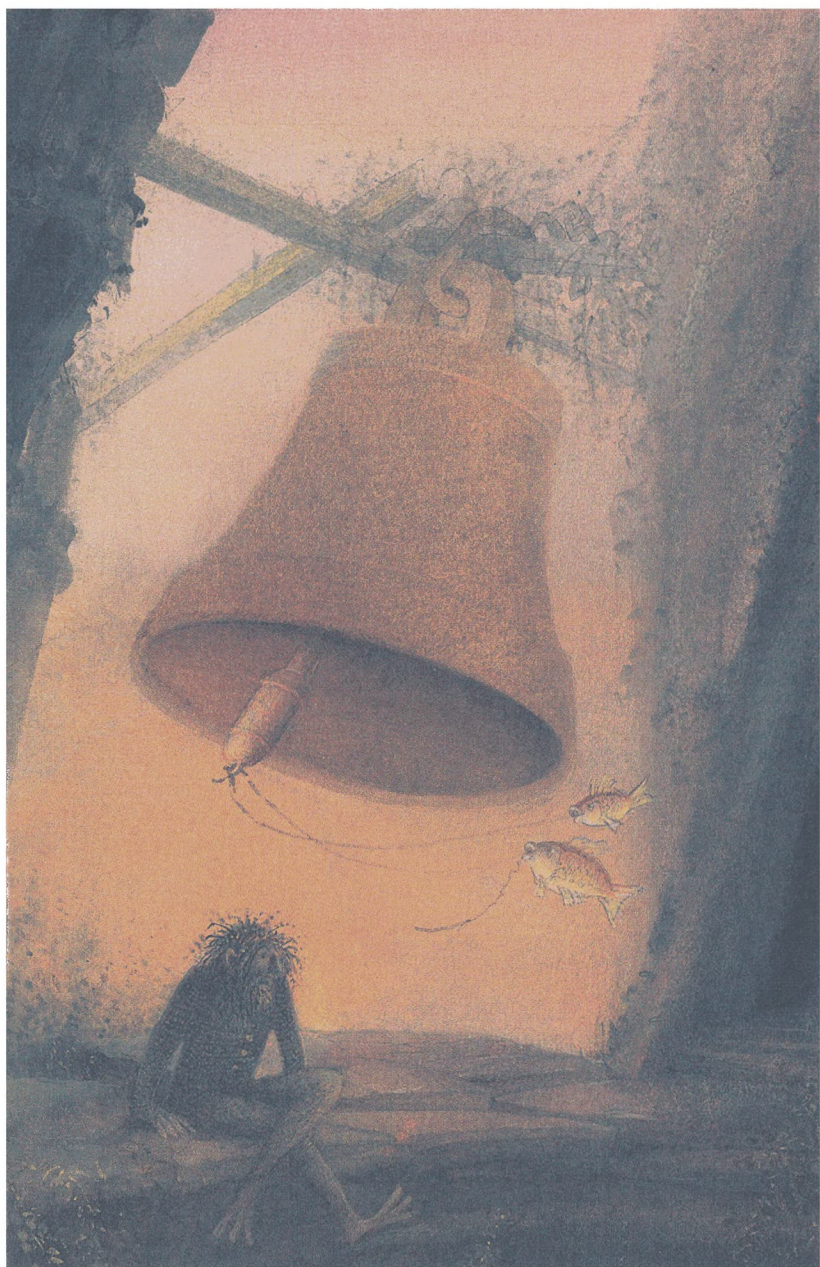
— Свободный вход в огород с капустой! — сказал осел. — Это я установил призы! Первый приз должен был получить заяц, и я, как мыслящий и деятельный член комиссии, обратил надлежащее внимание на удовлетворение заячь-

их потребностей: теперь он обеспечен. Улитка же получила право сидеть на каменной оgrade, греться на солнышке и лакомиться мхом. Кроме того, она избрана одним из главных судей состязания в скорости. Очень важно, чтобы специалисты участвовали в нашей комиссии, как называют ее люди! Скажу прямо, что я многого ожидаю от будущего после такого прекрасного начала.

---

## КОЛОКОЛЬНАЯ БЕЗДНА

«Динь-дон, динь-дон!» — раздается звон из колокольной бездны, со дна реки Оденсе. Что это за река? Ее знает каждый ребенок в городе Оденсе: она огибает сады и течет под деревянными мостами, устремляясь через шлюзы к водяной мельнице. Река поросла желтыми кувшинками, коричневым камышом, черным бархатистым рогозом, высоким и крепким. Над водой свесились старые, дуплистые, кривобокие ивы, растущие возле монастырского болота и белильного луга. По другому берегу тянутся сады, и все они разные. В одних растут прекрасные цветы, красуются чистенькие, словно игрушечные, беседки; в других виднеется одна капуста, а иных и вовсе не видно: раскидистые кусты бузины заполнили весь сад и свешиваются над самой рекой, которая местами так глубока, что веслом не достать до дна. Самое глубокое место — возле Девичьего монастыря, зовется оно колокольной бездной, и живет там водяной. Днем, когда солнечные лучи проникают в воду, он спит, а ночью, при свете луны и звезд, выплывает на берег. Он очень стар. Моя бабушка слышала еще от своей бабушки, что водяной живет в одиночестве и нет у него другого собеседника, кроме огромного старого церковного колокола. Когда-то колокол висел на колокольне, но теперь не осталось и следа ни от нее, ни от самой церкви, которая называлась Санкт-Альбани.





«Динь-дон! Динь-дон!» — звонил колокол, когда еще висел на колокольне, и однажды вечером, на закате, сильно раскачавшись, он сорвался и полетел вниз... Блестящая медь так и засверкала в пурпурных лучах заходящего солнца.

«Динь-дон! Динь-дон! Иду спать!» — запел колокол и упал прямо в реку Оденсе, на самую глубину, потому и зовется то место колокольной бездной. Но не стало колоколу ни сна, ни покоя! Он звонит на дне у водяного так, что иной раз слышно на берегу, и люди говорят, будто звон предвещает чью-нибудь смерть. Но это неверно, ведь колокол звонит, беседуя с водяным, который больше не одинок.

О чем же рассказывает колокол? Он очень старей, такой старей, что, как говорят, был еще до рождения бабушкиной бабушки, и все-таки он ребенок в сравнении с водяным, тихим диковинным стариком, в штанах из угриной кожи и в куртке из рыбьей чешуи, застегнутой вместо пуговиц на желтые кувшинки; его волосы опутаны тростником, борода вся в тине, и красавцем его не назовешь.

Чтобы пересказать все, о чем звонит колокол, понадобились бы годы. Говорит он обо всем, часто повторяет одно и то же, иногда вкратце, иногда подробно — как ему вздумается. Он рассказывает о былом, о мрачных, суровых временах.

— На колокольню церкви Санкт-Альбани, под самый колокол, взбирался монах, молодой, красивый, самый задумчивый из всех остальных. Он смотрел в слуховое оконце на реку Оденсе, русло которой было тогда гораздо шире, на озеро, впоследствии ставшее болотом, на зеленый холм, где возвышался Девичий монастырь; в келье одной монахини светился огонек... Он знал ее раньше... И сердце его билось сильнее при воспоминании о ней: «Динь-дон! Динь-дон!»

Вот о чем рассказывает колокол.

— Поднимался на колокольню и слабоумный послушник епископа. Когда я, медный колокол, тяжело раскачивался, я мог бы разбить ему лоб: он садился как раз подо мною и играл на

двух палочках, словно на струнах, напевая при этом: «Теперь я громко спою о том, о чем не смею и шептать, спою обо всем, что скрыто за замками и запорами! Там холод и сырость! Крысы пожирают людей живьем! Никто о том не знает, не слышит! Даже сейчас — ведь колокол звонит: «Динь-дон! Динь-дон!»

Жил-был король, его звали Кнуд. Он кланялся и епископам, и монахам, но когда стал обижать ютландцев тяжелыми поборами да грубым словом, они взялись за оружие, а то и просто за палки и прогнали его, как дикого зверя. Он укрылся в церкви, запер ворота и двери. Разъяренная толпа окружила церковь, я слышал, что там творилось; сороки, вороны и галки испугались криков и воплей, они то взлетали на колокольню, то улетали прочь, видя внизу толпу, заглядывали в окна церкви и громко кричали о том, что видели. Король Кнуд лежал, распростершись, перед алтарем и молился; братья его, Эрик и Бенедикт, стояли на страже с обнаженными мечами; но королевский слуга, вероломный Блаке, предал своего господина. Толпа узнала, где находится король, и в окно был брошен камень, убивший его на месте... Ревела дикая толпа, кричали птицы, и я гудел и звонил: «Динь-дон! Динь-дон!»

Церковный колокол висит высоко, видит далеко вокруг! Его навещают птицы, и он понимает их язык; для него шумит ветер, врываясь в слуховые оконца, во все отверстия и щели, а ветер знает обо всем от воздуха: воздух окружает собой все живое, проникает в легкие человека, и ему ведомы каждый звук, каждое слово, каждый вздох... Воздуху ведомо все, ветер рассказывает об этом, а колокол внимает его речам и звонит на весь мир: «Динь-дон! Динь-дон!»

— Но слишком уж много пришлось мне выслушать и узнать, сил совсем не осталось звонить обо всем! Я устал, отяжелел, балка обломилась, и я полетел сквозь сияющий воздух вниз, прямо в речную глубину, где живет водяной! Он одинок, и я рассказываю ему из года в год о том, что слышал и знаю: «Динь-дон! Динь-дон!»

Вот и звонит колокол из колокольной бездны реки Оденсе, как рассказывала о том бабушка.

Но наш школьный учитель говорит: «Как может звонить на дне колокол? Нет там никакого колокола!.. И водяного там нет — их не бывает!» Когда же так славно звонят церковные колокола, он говорит, что мы слышим не их, а сам воздух; воздух рождает звук...

То же говорила и бабушка со слов церковного колокола; в этом они единогодушны — значит, так оно и есть. «Будь внимателен, не зевай!» — говорят они оба — и бабушка, и учитель.

Воздуху все известно! Он вокруг нас и в нас, он разглашает наши мысли и наши деяния, разносит весть о них дальше, чем колокол, что лежит на дне реки Оденсе, где живет водяной. Воздух разглашает все в бескрайней небесной выси, далеко-далеко, в веках, пока не раздастся колокольный звон из Царства Небесного: «Динь-дон! Динь-дон!»



---

# ЗЛОЙ ПРАВИТЕЛЬ

(ЛЕГЕНДА)

**Ж**ил некогда злой и заносчивый правитель, который помышлял лишь о том, чтобы подчинить себе все на свете страны и одним своим именем наводить на них ужас. Все и вся предавал он огню и мечу, солдаты его топтали хлеб на полях, поджигали крестьянские дома, так что багровое пламя опаляло листву деревьев и спекшиеся плоды висели на обугленных черных ветвях. Иной раз несчастная мать с голеньким младенцем пыталась спрятаться подле дымящейся стены, но солдаты шныряли повсюду и, отыскивая горемычных страдальцев, устраивали себе дьявольскую потеху. Нечистая сила и та не могла бы совершить больших злодеяний, но правитель считал, что именно так и должно поступать. Его могущество росло день ото дня, имя его повергало всех в трепет, и удача неизменно сопутствовала ему во всем. Из покоренных городов он вывозил золото и несметные сокровища, в престольном его городе скопились баснословные богатства, нигде таких не сыскать. И повелел он строить роскошные дворцы, церкви, аркады, и люди, видевшие это великолепие, говорили: «Поистине он великий правитель!» Не задумывались они, сколько бедствий принес он другим странам, не слышали тяжких вздохов и жалоб из разоренных городов.

Глядя на свое золото, на роскошные постройки, правитель думал точь-в-точь, как все: «Поистине я великий правитель!»

Но мне нужно больше! Много больше! Ни одна держава не вправе стать ровней моей державе, а уж тем паче достичь большего могущества!» И он пошел войной на своих соседей и всех победил. А покоренных королей велел приковать золотыми цепями к карете, в которой ездил по улицам; когда же он садился за трапезу, они лежали у его ног и у ног его придворных, хватая куски хлеба, которые им бросали.

Дальше — больше: правителю заблагорассудилось установить собственные изваяния на рыночных площадях и в королевских дворцах, мало того, еще и в церквях, у алтаря Господня, но тут священники сказали:

— Правитель, ты велик, однако Господь превыше тебя, мы не смеем.

— Ну что ж, — отвечал злой правитель, — тогда я одержу верх и над Богом!

И в гордыне своей и безрассудности приказал он построить хитроумный корабль, чтобы летать на нем по воздуху. Красивый корабль, разноцветный, как павлиний хвост, и весь словно усеян тысячью глаз, но не глаза это были, а ружейные дула; правитель сидел внутри, и стоило ему нажать на пружину, как сей же миг вылетали тысячи пуль, а ружья заряжались снова. Сотню могучих орлов впрягли в корабль, и полетел он навстречу солнцу. Земля осталась далеко внизу, сперва она с ее горами и лесами стала похожа на вспаханное поле, в бороздах которого виднелись пучки зелени, потом — на географическую карту, а вскоре исчезла из виду, скрытая дымкой и облаками. Выше и выше поднимались орлы, и тогда Господь послал одного из своих несчетных ангелов, которого злой правитель встретил тысячью пуль, но все они, точно градины, отскочили от сияющих крыл. Лишь одна капля крови, одна-единственная, скатилась с белоснежного пера и упала на корабль. Кровь прикипела к обшивке, придавила корабль тяжким грузом, словно многие пуды свинца, и он стремительно понесся к земле. Могучие крылья орлов сломались, ветер свистел в ушах злого правителя, а обла-

ка вокруг, возникшие из дыма спаленных городов, клубились, оборачиваясь грозными фигурами — исполинскими раками, тянущими к нему мощные клешни, падучими каменными глыбами, огнедышащими драконами. Ни жив ни мертв от страха лежал правитель в своем корабле, который в конце концов застрял в толстых сучьях лесных деревьев.

— Я одержу верх над Богом! — сказал правитель. — Так я поклялся, и да будет моя воля!

Семь лет кряду строились по его приказу хитроумные корабли, чтоб летать на них по воздуху; из прочнейшей стали ковали для него молнии, ибо он намеревался сокрушить небесную твердыню. Из всех покоренных земель собрал он огромные рати — стоя плечом к плечу, это воинство занимало пространство на несколько миль в округности. Солдаты погрузились на летучие корабли, и правитель тоже направился было к своему, но Господь послал к нему рой мошканы, один-единственный маленький рой, который с жужжаньем закружил вокруг него, кусая лицо и руки. В гневе правитель обнажил меч, но меч рубил пустоту, не поражая мошек. Тогда повелел он принести драгоценные покровы и закутался в них, чтобы ни одна мошка не могла достать его своим жалом. Увы, одна-единственная мошка спряталась под самым нижним покровом, заползла правителю в ухо и ужалила! Укус жег его огнем, отравы проникла в мозг. Он сорвал с себя покровы, в клочья разодрал одежды и голый метался в безумной пляске перед жестокой, грубой солдатней, а та насмехалась над потерявшим рассудок правителем, желавшим победить Господа и побежденным одной-единственной крохотной мошкой.

---

## ВЕТЕР РАССКАЗЫВАЕТ О ВАЛЬДЕМАРЕ ДО И ЕГО ДОЧЕРЯХ

**П**робежит ветер по лужайке — трава зыблется, словно зеленое озеро; пробежит по хлебной ниве — колосья волнуются, словно море. Такие вот у ветра танцы. А послушай, как он рассказывает, как поет свою песню, и звучит она везде по-разному: в лесу у нее один напев, в щелях, отдушинах да трещинах домов совсем другой. Глянь, вон как ветер гонит тучи над головою — словно пастух овечье стадо. Прислушайся, как он гудит в распахнутых воротах — будто стражник дует в рог! А до чего диковинно шумит в трубе и в камине! Огонь разгорается, сыплет искрами, ярко озаряет всю комнату, теплую, уютную, где так хорошо сидеть и слушать истории. Пусть же ветер поведаст свои сказки и были, он знает их куда поболее, чем все мы, вместе взятые. Слышишь его голос?

— У-у-у! В пу-уть лечу-у! — такая у него присказка.

\*

— На берегу Большого Бельта стоит старинная усадьба с мощными красными стенами, — рассказывает ветер. — Все тамошние камни я наперечет знаю, еще с той поры, когда из них была сложена твердыня маршала Стига. Потом ее сровняли с землей, камни опять стали просто камнями, а со временем новой стеною, новой усадьбой, в другом месте, и усадьба эта, Борребю, стоит поныне.

Много я повидал знатных дам и кавалеров, хозяев Борребю, не одно их поколение прошло передо мною, а расскажу я вам о Вальдемаре До и его дочерях.

Ходил Вальдемар До с гордо поднятой головой, недаром в жилах его текла королевская кровь. И умел он не только загнать оленя и осушить кубок, нет, он был способен на большее и частенько говаривал: «Дайте срок — сами увидите!»

Жена его, разодетая в золотую парчу, величаво расхаживала по вощеному наборному паркету господских покоев, убранных драгоценными гобеленами, обставленных резной мебелью. Немало золотой да серебряной утвари принесла она в этот дом! В здешних погребках лежали бочки с немецким пивом — увы, лишь до поры до времени; холеные вороные кони нетерпеливо били копытом и ржали в конюшнях — усадьба Борребю была полною чашей, и хозяева жили на широкую ногу, пока богатство не сгнуло.

И детей супруги имели — трех прелестных дочек; до сих пор помню их имена: Ида, Йоханна и Анна Доротея.

Богатое семейство, знатное, рожденное и выросшее в роскоши. У-у-у! В пу-уть лечу-у! — пропел ветер, после чего продолжил рассказ.

— Никогда я не видал, чтобы здесь, как в других старинных усадьбах, высокородная хозяйка сидела с дочерьми в парадном зале за прялкой. Она играла на звонкой лютне и пела, правда, не всегда и не только старинные датские песни, но и песни на чужих языках. Здесь бурлила жизнь, здесь что ни день пировали, здесь собирались важные гости со всей округи и из дальних краев, играла музыка, звенели кубки, даже мне было не под силу заглушить веселый шум! — вскричал ветер. — Здесь властвовал спесивый гонор со всем его хвастливым блеском, и в господах недостатку не было, только Господу не нашлось места!

И вот однажды, аккуратно в последний апрельский вечер, нагулялся я на Северном море, нагяделся на корабли, что

терпели бедствие у берегов Западной Ютландии, промчался над вересковой пустошью, над зелеными приморскими лесами, над островом Фюн, прошумел над Большим Бельтом да и прилег отдохнуть на зеландском берегу, поблизости от Борребю, где в ту пору еще стояла чудесная дубрава.

Местные парни как раз собирали там хворост, самые сухие и самые большие ветки, какие только могли отыскать. В поселке из этого хвороста запалили костер, и все девушки и парни принялись с песнями плясать вокруг огня.

Я было совсем притих, — сказал ветер, — но потом все же легонечко тронул одну из веток — пламя так и взметнулось к небу, высоко-высоко! Ветку эту положил в костер самый красивый из местных парней, его-то и выбрали королем майского праздника, а он первым делом выбрал себе среди девушек королеву — много было радости да веселья! В богатой борребюской усадьбе такого не видывали.

\*

В это время по тракту промчалась к усадьбе золоченая карета, запряженная шестеркой лошадей, а в карете сидели высокогородная хозяйка и три ее дочери, три прелестных, свежих, восхитительных цветка — роза, лилия и нежный гиацинт. Маменька же их была как роскошный тюльпан, она даже головой не кивнула молодым людям, которые, оставив свои забавы, учтиво ей поклонились, — не иначе как боялась, что головка отвалится.

Роза, лилия и нежный гиацинт... да, я видел всех трех и думал: чьими же майскими королевами им суждено стать? Их майскими королями наверняка будут гордые рыцари, а то и принцы! У-у-у, в пу-уть лечу-у!

Карета умчалась, крестьяне снова пустились в пляс. Так отмечали начало лета и в Борребю, и в Тьеребю, и вообще по всей округе.

А ночью, когда я опять поднялся, — рассказывал ветер, — высокородная дама легла в постель, а встать уже не

встала; настигло ее то, что уготовано всем и каждому и ни для кого не секрет. Вальдемар До помрачнел и задумался, правда, ненадолго, ведь внутренний голос твердил ему, что гордое дерево гнется, да не ломается! А дочери плакали, и челядь в усадьбе утирала слезы — ушла навеки госпожа До! И я тоже ушел-улетел! У-у-у!

\*

— Но я-то вернулся и бывал там часто, прилетал через остров Фюн, через водный простор Бельта, устраивался отдохнуть на борребюском берегу, в роскошной вековой дубраве. Там гнездились скопы, лесные голуби, сизоворонки и даже черный аист. Дело было в начале лета, одни птицы еще сидели на яйцах, другие уже вывели птенцов. Шум, гам, суматоха! А в лесной чаще стучали топоры — лесорубы валили деревья. Вальдемар До задумал построить великолепный корабль, военный корабль о трех палубах, который непременно купит сам король. Оттого-то и рубили лес, что был приметным знаком для мореходов и приютом для птиц. Перепуганный сорокопуд улетел прочь от разоренного гнезда; и скопа, и иные лесные птицы лишились дома, металась, как безумные, и кричали от страха и гнева — я хорошо их понимал. Воронье да галки насмешливо горланили: «Пр-ропал кров! Пр-ропал! Карр! Карр!»

А в глубине леса, где трудилась рабочая артель, стоял Вальдемар До с тремя своими дочками, и все они смеялись истошным птичьим крикам, только младшая, Анна Доротей, всем сердцем жалела птиц, и, когда лесорубы подступили к полузасохшему дереву, на голых сучьях которого примостилось гнездо черного аиста, да еще и с птенцами, она со слезами на глазах взмолилась, заклиная не трогать аистиное дерево, и упростила-таки, спасла. Пустяк, безделица.

Стучали топоры, звенели пилы — строился корабль о трех палубах. Главный корабель, хоть и был низкого рода,

внешность имел вполне благородную, глаза его и высокий, чистый лоб говорили о недюжинном уме, и Вальдемар До любил слушать рассказы мастера, как любила их слушать и старшая его дочка, пятнадцатилетняя Ида. Для ее отца молодой умелец строил корабль, для себя же — и для Иды — в мечтах строил дворец и, верно, поселился бы там с нею, будь этот дворец построен на самом деле, окружен валом и рвом, парком и садом. Но при всем своем уме корабел богатствами не владел, нищий же богачу не товарищ. У-у-у! Я улетел прочь, и он тоже, потому что остаться не посмел, а юная Ида волей-неволей с этим примирилась.

\*

— В конюшнях у Вальдемара До, — продолжал ветер, — били копытами и ржали красавцы вороные — загляденье, а не кони! И многие ими любовались... Адмирал, которого сам король послал произвести смотр новому военному кораблю и обсудить его покупку, уж так восхищался холеными рысаками, я хорошо слышал, потому что юркнул следом за ними в открытую дверь и рассыпал им под ноги золотые нити соломы. Вальдемар До домогался золота, адмирал — вороных коней, недаром до небес их расхваливал, однако столкнуться господа не сумели, так что и корабль остался непродан. Стоял-красовался на берегу под дощатым навесом — Ноев ковчег, которому вовек не добраться до воды. У-у-у, увы! В пу-уть лечу-у! Очень жаль.

Зимой, когда земля скрылась под снегом и в проливе теснились плавучие льдины, а я гнал их на берег и громоздил одну на другую, — рассказывал ветер, — огромными черными стаями налетело воронье, расселось на заброшенном, мертвом, сиротливом корабле, хрипло крича об исчезнувшей дубраве, о множестве погибших гнезд, об осиротевших птицах, старых и малых, о том, что виной всему эта несуразная посудина, этот гордый корабль, который никогда не выйдет в море.



Я затеял вьюгу, взбудоражил снег, замел корабль могучими волнами сугробов! И голос мой он услышал — голос ярой бури! Уж я-то свое дело сделал, показал ему, каково плавать по морям. У-у-у! В пу-уть лечу-у!

Зима миновала, зима да лето быстро проходят, летят вроде, как я лечу, как метелью летят снежинки и яблоневый цвет, как опадают листья! Все улетает, и люди тоже!

Но покамест дочери были совсем юными. Старшая, Ида, все та же прелестная роза, какую любовался корабел. Часто она задумчиво стояла в саду под яблоней и даже не замечала, как я играю ее длинными каштановыми волосами, раздуваю их, осыпаю лепестками цветов, — она смотрела на багряное солнце и золотой небесный свод меж темных кустов и деревьев.

Средняя сестра, Йоханна, вправду походила на прекрасную стройную лилию, горделивой статью вся в мать, лишней раз головкой не кивнет. Она любила прийти в парадный зал, где висели фамильные портреты. Дамы сплошь в шелках и бархате, на искусно заплетенных волосах крохотные шапочки, расшитые жемчугами, — глаз не оторвать! Мужья их красовались кто в стальных доспехах, кто в роскошном плаще с беличьим подбоем, с синей выпушкой по вороту, меч на бедре, а не на поясе. Где суждено висеть собственному портрету Йоханны и каков будет из себя ее благородный супруг? Вот о чем она думала, вот о чем говорила сама с собою, я слышал, когда пробегал по длинному коридору в парадный зал и обратно.

Анна Доротея, нежный гиацинт, была совсем дитя, четырнадцать лет только, тихая, задумчивая; большие голубые глаза смотрели серьезно, однако на губах играла детская улыбка, и изгладить ее я не мог, да и не хотел.

Я встречал Анну Доротею и в саду, и в овраге, и в поле, где она собирала травы и цветы, из которых ее батюшка умел приготовить настойки и целебные капли. Горд был Вальдемар До и заносчив, но и сведущ в науках, люди давно это приметили и шушукались меж собою. Огонь у него в камине





горел даже летом, а дверь комнаты он держал на замке, причем подолгу, целыми сутками, однако о занятиях своих предпочитал не распространяться. Силы природы должно исследовать в тиши, и недалек тот день, когда он достигнет цели, получит свое червонное золото.

Оттого-то курился дым из каминной трубы, оттого-то горел-потрескивал огонь! Да-да, я видел. Остынь! Уймись! — пел я в трубе. — Все обернется дымом, углями, пеплом да золой! Ты сам себя сожжешь! У-у-у! Уймись! Уймись! Но Вальдемар До не унялся.

Прекрасные кони на конюшне — куда они подевались? А старинная серебряная и золотая утварь из шкафов и кладовых, коровы на пастбищах, имущество и усадьба? Они способны расплавиться, растаять в тигле для золота, хотя золото от этого не появится.

Опустели амбары и кладовые, погреба и чердаки. Челяди убавилось, мышей прибавилось. Одно окошко треснуло, другое разбилось, теперь мне и двери оказались без надобности, — рассказывал ветер. — Где дымится труба, там готовится еда, но здесь вся еда, улетала с дымом в трубу — во имя червонного золота.

Я гудел в воротах, как стражник, дующий в рог, только стражника там в помине не было. Вертел я и флюгер на шпиле, он скрежетал, словно дозорный храпел на башне, только дозорного в помине не было — одни крысы да мыши. Бедность накрывала на стол, бедность поселилась в шкафах для одежды, в кладовых для провизии. Дверь слетела с петель, стены пошли щелями и трещинами. Я там на свободе летал, потому все и знаю.

Средь дыма и пепла, от забот и бессонных ночей посидели у рыцаря кудри и борода, кожа сморщилась, пожелтела, глаза алчно высматривали золото, желанное золото.

Я дул дымом в лицо Вальдемару До, осыпал пеплом его бороду; золота нет как нет, а вот долгов полным-полно. Я пел-свистал в разбитых окнах и сквозных щелях, задувал в постели

к дочерям, простыни вконец обветшали, протерлись чуть не до дыр, служили-то уже невесть сколько лет. Да, никто не думал не гадал, что детей ждет такая судьба. Барская жизнь обернулась нищетою. Один лишь я распевал в доме во весь голос! — рассказывал ветер. — Я замел усадьбу снегом, говорят, этак-то теплее, ведь дров у них не было — где их возьмешь, коли лес давно вырубил! Морозы стояли лютые, мне самому, чтоб не заоченеть, приходилось метаться по отдушинам и коридорам, скакать через крыши и ограды. Высокородных барышень холод загнал в постель, а батюшка их закутался в меховое одеяло. Есть нечего, топить нечем — вот тебе и барская жизнь! У-у-у! В путь лечу-у!.. Но Вальдемар До был прикован к своему золоту.

«Зима кончится, придет весна, — говорил он. — Нужда кончится, придут хорошие времена, надо подождать, набраться терпения! Сейчас усадьба кругом в долгах, заложена-перезаложена! Дальше уже некуда — получу я золото! К Пасхе!»

Я слышал, как он бормочет в паучьих тенетах: «Паук, шустрый, неутомимый ткач! У тебя я учусь терпению. Ведь когда паутина рвется, ты начинаешь все сначала, сплетаешь новую. Порвется опять — сызнова ткешь, не ведая усталости! Вот так и надо! Усилия вознаграждаются!»

Настало пасхальное утро, звонили колокола, солнце играло в небе. А Вальдемар До лихорадочно взвешивал, кипятил и охлаждал, смешивал и возгонял. Я слышал, как он вздыхает, словно неприкаянная душа, как молится, как задерживает дыхание. Лампа потухла, а он и не заметил, я дунул на уголья, они налились жаром, багряные отблески озарили белое как мел лицо, но глаза по-прежнему тонули в черных ямах орбит — и вдруг изумленно расширились.

Гляди! В алхимическом сосуде что-то блестит! Горячее, чистое, тяжелое! Дрожащей рукою Вальдемар До схватил сосуд, дрожащим голосом крикнул: «Золото! Золото!» — пошатнулся и упал бы от одного моего дуновения, но я подул лишь на раскаленные уголья и поспешил за ним в комнату, где

мерзли его дочери. Кафтан алхимика был перепачкан золой, борода и спутанные волосы в саже. Он выпрямился во весь рост, поднял вверх хрупкий сосуд с сокровищем. «Я нашел! Вот оно — золото!» С этими словами он взмахнул сосудом, который ярко блеснул на солнце. Рука у него дрогнула — склянка упала и вдребезги разбилась, последняя надежда на благополучие пошла прахом. У-у-у! В пу-уть лечу-у! И я улетел прочь из усадьбы алхимика.

На исходе года, когда дни коротки, когда туман повсюду развешивает свои мокрые пелены, роняя капли влаги на красные ягоды и голые ветки, я воспрянул, посвежел, разогнал тучи, расчистил небо, обломал трухлявые ветки — невелика работа, но делать-то ее все равно надо. И у Вальдемара До в Борребю тоже навели чистоту и порядок, правда, по-другому. Ове Рамель из Баснеса, недруг его, скупил все долговые расписки на усадьбу и прочее имущество и заявился к нему. Я стучал в разбитые окна, хлопал обветшавшими дверьми, свистал в щелях и дырах: у-у-у! Не захочется, ох не захочется Ове Рамелю здесь остаться! Ида и Анна Доротея горько плакали, Йоханна была бледна, но стояла не склонив головы, до крови прикусила руку, чтобы не разрыдаться. Ове Рамель милостиво сказал, что Вальдемар До может до конца своих дней оставаться в усадьбе, но благодарности за свое предложение не услышал, я-то знаю... Видя, как разоренный хозяин еще горделивей, еще надменной вскинул голову, сам я шквалом налетел на дом и на старые липы, даже сломал толстенный сук, вовсе не гнилой, и бросил у ворот вместо метлы — вдруг кто захочет навести чистоту, вымести все подчистую, и вышло по-моему.

Тяжкий день, суровая година, однако дух остался неколебим, голова не склонилась.

Из всего достояния у отца с дочерьми только и было что одежда на плечах да купленная намедни алхимическая склянка, в которую соскребли с полу остатки того сокровища, что сулило золотые горы, но обернулось прахом. Вальдемар До

спрятал склянку на груди и взял в руки посох — вот так некогда богатый господин и три его дочери покинули Борребю. Я дышал холодом на его горячие щеки, разглаживал бороду и длинные седые волосы, пел ему свою песню: у-у-у! В пу-уть! В пу-уть! Таков был конец богатства и славы.

Ида и Анна Доротея шли рядом с отцом, одна по левую руку, другая — по правую; Йоханна у ворот обернулась — только зачем? Счастье-то не воротишь. Она смотрела на красные камни из твердыни маршала Стига, думала о его дочерях:

Старшая дочка об руку с младшей  
В мир широкий ушла.

Может, ей вспомнилась эта песня? Здесь дочерей было три — и отец с ними! А шли они по тому же тракту, где некогда ездили в карете, — брели, как нищие, в Смидstrup. За десять марок в год сняли в этом поселке глинобитный домишко — новое господское жилье с голыми стенами да пустыми горшками. Воронье и галки кружили над ними, будто в насмешку крича: «Пр-ропал кров! Пр-ропал! Карр! Карр!» — так они кричали много лет назад, когда вырубали борребюский лес.

Вальдемар До и его дочери отлично их слышали, только много ли в этом проку? Вот я и дунул как следует им в уши.

И вот поселились они в глинобитном домишке на окраине Смидstrup, а я поспешил прочь, через поля и болота, через голые кусты живых изгородей и обнаженные леса, к открытому морю, в чужие края — у-у-у! В пу-уть лечу-у! И так всегда, из года в год!

\*

Как жилось потом Вальдемару До, как жилось его дочерям? Ветер рассказывает:

— Последней, и в самый последний раз, я видел Анну Доротею, нежный гиацинт, она тогда состарилась уже и со-

гнулась, ведь было это полвека спустя. Анна Доротея прожила дольше всех и знала обо всем.

На вересковой пустоши близ Виборга выстроили для соборного настоятеля новую нарядную усадьбу из красного камня, со ступенчатым щипцом. Густой дым валил из трубы. Добрая хозяйка и ее пригожие дочки, сидя в эркере, глядели по-над плакучими кустами дерезы на бурую пустошь — что они там видели? А вот что — гнездо аиста на ветхой лачуге. Большую часть обросшей живучкой да мхом крыши, если можно ее так назвать, занимало аистиное гнездо — единственное, что там не нуждалось в починке, аист содержал свое жильё в порядке.

На лачугу эту можно было только смотреть, а трогать — ни-ни, я и то остерегался дунуть посильнее, — сказал ветер. — Лишь ради аистиного гнезда ее и сохранили, ведь, по правде-то, вида она не украшала. Настоятель не хотел прогнать аиста, оттого и лачугу ломать не стал, и бедной старушке позволил там остаться — за это ей бы не мешало поблагодарить египетскую птицу или, быть может, так отблагодарили ее самое, потому что когда-то она упросила не трогать гнездо дикого черного аиста в борребюской дубраве? Бедняжка была тогда совсем дитя, хрупкий, нежный гиацинт в благородном саду. Анна Доротея не забыла об этом.

«Ох-хо-хо!» — да, порой люди вздыхают точь-в-точь, как я, ветер, вздыхаю в ситовнике и камышах. «Ох-хо-хо! Колокола не звонили над твоею могилой, Вальдемар До! Бедные мальчишки-школяры не пели над бывшим хозяином Борребю, когда его предавали земле!.. Ох-хо-хо! Всему приходит конец, и бедствиям тоже! Сестра Ида вышла за крестьянина, для батюшки это было тягчайшее испытание! Муж дочери — жалкий раб, которого хозяин может наказать, посадить на деревянную кобылу. Теперь-то и он, поди, лежит в сырой земле? Как и ты, Ида!.. Ах, еще не конец! Бедная я, несчастная старуха! Смилуйся надо мною, Господи Иисусе Христе!»



Так молилась Анна Доротея в убогой лачуге, которую не сломали ради аиста.

О самой же храброй из сестер я сам позаботился, — сказал ветер. — Йоханна по-своему решила: оделась бедным парнишкой да и нанялась матросом к шкиперу. Была она скупа на слова и строптивая нравом, но в работе усердна, только по вантам карабкаться не умела — вот я и сдунул ее за борт, пока никто не доведалься, что она женщина, и, пожалуй, я все-таки сделал правильно.

\*

— Пасхальным утром Вальдемар До решил, что нашел свое червонное золото, и таким же пасхальным утром услышал я под аистиным гнездом, в ветхих стенах, напев псалма — последнюю песню Анны Доротеи.

Окно в лачуге было без стекла, просто дыра в стене, и солнце сияло в ней, будто золотой слиток, — блеск такой, что глазам больно! И взор Анны Доротеи померк, сердце ее разбилось! Судьба! Не миновала бы ее чаша сия, если б солнце и не светило ей в то утро.

Аист дал ей крышу над головою до смертного часа! Я пел над ее могилой! — сказал ветер. — И над гробом ее отца тоже пел, ведомо мне, где они оба похоронены, а больше никто этого не знает.

Новые времена, иные времена! Давний проезжий тракт оборачивается огороженным полем, береженные могилы — торной дорогой, а скоро явится паровоз с вагонами, помчитсья над могилами, забытыми, как и имена погребенных, у-у-у! В путь!

Вот и вся история о Вальдемаре До и его дочерях. Расскажите ее лучше, коли сумеете! — С этими словами ветер улетел прочь.

Как его и не было.

---

## ДЕВОЧКА, КОТОРАЯ НАСТУПИЛА НА ХЛЕБ

**Т**ы, верно, слышал о девочке, которая, чтобы не запачкать башмачки, наступила на хлеб и тем навлекла на себя лихую напасть. Так вот, это чистая правда.

Девочка была бедная, но гордая и заносчивая, с гнильцой внутри, как говорится. Совсем маленькой она обожала ловить мух и обрывать им крыльшки, превращая в ползучих насекомых. Ловила и жуков, майских да навозных: поймает, наколет на булавку, а после подсунет под лапки зеленый листочек или обрывок бумаги и смотрит, как бедняга цепляется за него, вертит-крутит, стараясь слезть с булавки.

— Майский жук читает! — говорила маленькая Ингер. — Глянь, как он переворачивает листок!

Подрастая, она делалась скорее хуже, а не лучше, вдобавок, на свое несчастье, была пригожей, иначе-то, поди, ей бы не давали этак своевольничать.

— Палки на тебя нет! — сетовала ее родная матушка. — Маленькая была — частенько фартук мой ногами топтала, а станешь старше, боюсь, сердце мне растопчешь.

Так оно и вышло.

Через некоторое время Ингер поступила в услужение к важным господам и переехала в их загородную усадьбу. Хозяева души в девчонке не чаяли, любили, будто родную

дочку, наряжали, как картинку, и заносчивости у Ингер только прибавилось.

Минул год, и хозяева сказали ей:

— Надо бы тебе, Ингер, проведать родителей!

И девочка отправилась домой, но затем лишь, чтобы себя показать: пусть посмотрят, какая она красивая да нарядная — точь-в-точь благородная барышня! Вошла она в городские ворота и видит: на углу улицы стоят девушки и парни, болтают между собой, а рядом сидит на камне ее матушка с вязанкою хвороста, собранного в лесу, отдыхает с устатку. Ингер сей же час повернула обратно, стыдно ей стало, что у нее, такой нарядной, не мать, а сущая оборванка, подбирающая палки да щепки. И она ничуть не жалела, что ушла, только злилась.

Минуло еще полгода.

— Сходила бы домой, Ингер, навестила стариков родителей! — сказала ей хозяйка. — Вот тебе большой пшеничный хлеб, возьми его с собой, отнеси в гостинец отцу с матерью. Они будут рады повидать тебя.

Ингер надела свой лучший наряд и новые башмачки, ступала осторожно, приподнимая юбки и стараясь не запачкать башмачков, — тут ее упрекнуть не в чем. Но когда очутилась в том месте, где тропинка шла через болото и была мокрая, топкая, Ингер, не долго думая, бросила хлеб в грязь, чтобы наступить на него и не замарать башмачки. Но едва она стала одной ногою на хлеб и подняла другую, хлеб вместе с нею провалился в земную глубь. Ингер ужас как испугалась — кругом кромешная тьма да черная пузырчатая жижа.

Так-то вот.

Куда же она попала? К болотной ведьме-кикиморе, на пивоварню. Болотная ведьма доводится теткой девушкам-эльфам, их-то все хорошо знают, песни о них поют, картины пишут, однако о болотной ведьме народу только и ведомо, что летом, когда над лугами клубятся испарения, болотная ведьма варит пиво. В ее-то пивоварню и угодила Ингер, а чело-





веку там долго не выдержат. Выгребная яма — светлый чертог по сравнению с этой пивоварней! Каждый чан смердит так, что хоть в обморок падай, и чаны эти громоздятся один на другой, а где и есть малая щелка, в которую худобно можно протиснуться, все равно не сунешься — столько там скользких жаб да гладких ужей, целые клубки этой пакости. Вот в каком жутком месте очутилась Ингер, вдобавок мерзкие живые клубки были холодны как лед и она очень мерзла, прямо-таки коченела с каждой минутой. А стояла по-прежнему на хлебе, прилипла к нему, точно соломинка к янтарной пуговице.

Болотная ведьма-кикимора была дома, в тот день на пивоварню пожаловал сам черт со своею бабушкой, а эта престарелая и до крайности зловредная особа никогда не сидит сложа руки. Куда бы ни отправилась, она всегда берет с собой рукоделье и сюда тоже его прихватила. Колючие стельки мастерила, чтоб совать людям в башмаки, не давать им покоя, вышивала лживые измышления, сплетала опрометчивые слова, упавшие наземь, — всё на беду и погибель. Да, чертова бабушка была мастерица шить, и вышивать, и плести!

Заметив Ингер, она поднесла к глазам лорнет, присмотрелась и воскликнула:

— С задатками девочка! Не подаришь ли ее мне, на память о сегодняшнем визите? Из нее выйдет отличная статуя для передней моего внука.

Ведьма ей не отказала. Так Ингер очутилась в аду. Люди не всегда попадают в ад прямой дорогой — могут и окольным путем туда угодить, коли имеют задатки.

Здесь было преддверие бесконечности; вперед ли глянешь, назад ли — голова кругом идет! Огромная толпа изнемогающих ожидала, когда отворятся врата милости, а ждать придется ох как долго! Большущие толстые пауки вперевалку сновали подле них, оплетали ноги тысячетней паутиной, которая сковывала их, как испанский сапог, и была крепка,

как медные цепи. Вдобавок все души грызла вечная тревога, вечная мука. Скрыга, к примеру, терзался мыслью, что забыл ключ в замке денежного сундука. Никакого времени не хватит, чтобы перечесть всевозможные муки и пытки, какие терпели грешники. Ингер и сама жестоко страдала — не так-то легко быть статуей, да еще накрепко прилипшей к хлебу.

— Вот что бывает, когда не хочешь пачкать ноги! — говорила она себе. — Ой, как они на меня таращатся!

И правда, все смотрели на нее, скверные помыслы горели у них в глазах, безмолвной ухмылкой кривили губы — жуткое зрелище.

«Верно, глядеть на меня одно удовольствие! — подумала Ингер. — Я и лицом красива, и нарядом!» Она скосила глаза, шею-то повернуть не могла. Ой-ой, суцая замарашка, а ей и невдомек. На ведьминой пивоварне перепачкалась, все платье липкое от слизи, в волосах уж ползает, болтается на шее, из каждой складки на юбке выглядывает жаба, квакает, пыхтит, точно мопс. Экая досада! «Однако ж и остальные тут ничуть не краше», — утешала она себя.

Сильнее всего донимал Ингер жестокий голод — нагнуться бы да отломить кусочек от хлеба под ногами! Нет, спина оцепенела, плечи и руки тоже, все тело как камень, только глаза двигались, они и назад смотреть умудрялись — ужасная картина. Тут, откуда ни возьмись, нагрянули мухи, забегали по глазам. Ингер заморгала, но мухи не улетели — не могли, крылышки-то оборваны, стали мухи из летучих ползучими. Невыносимая пытка, будто мало ей муки голода! В конце концов ей почудилось, что нутро ее пожирает само себя, что внутри страшная пустота.

— Коли так будет продолжаться, я не выдержу! — твердила она, но пришлось терпеть, пытка-то продолжалась.

Как вдруг на голову ей упала жгучая слеза, скатилась по лицу, по груди вниз, на хлеб, потом еще одна, и еще, и еще. Кто плакал над девочкой Ингер? На земле у нее осталась

родная матушка. А слезы материнской печали, пролитые над ребенком, всегда достигают до него, но облегчения не приносят, жгут огнем, нагнетают муку. К тому же Ингер терзал адский голод, до хлеба-то под ногами не дотянуться! Ей впрямь казалось, будто внутри все съедено и сделалась она вроде как тонкой пустой трубкой, которая затягивала в себя каждый звук. Она отчетливо слышала все, что говорили про нее наверху, на земле, а были это слова резкие, суровые. Матушка ее вправду плакала от глубокой печали, однако же повторяла:

— Заносчивость оборачивается падением! От нее все твои беды, Ингер! Ах, как же ты сокрушила мне сердце!

И мать Ингер, и вообще все люди знали о ее грехе, о том, что она наступила на хлеб, провалилась сквозь землю и согнула, — коровий пастух рассказал, он все видел с косогора.

— Ах, как ты сокрушила мне сердце! — говорила мать. — И ведь я это предчувствовала!

«Лучше б мне вовсе не родиться! — думала Ингер. — Куда лучше! Что проку теперь в матушкиных сетованиях?»

Слышала она, и как ее хозяйева, люди добропорядочные, которым она была заместо родной дочери, говорили:

— Грешное дитя! Не дорожила она дарами Господа, попирала их ногами, трудно ей будет отворить врата милости.

«В строгости надо было меня держать! — думала Ингер. — Выбивать своевольные капризы, коли такие имелись».

Про нее, про заносчивую девчонку, которая, чтобы не замарать башмачки, наступила на хлеб, наверху, оказывается, даже песню сложили и распевали по всей стране.

«Сколько же приходится выслушивать! Сколько мук за это принимать! — думала Ингер. — Других тоже не мешало бы наказать за их грехи! Тут найдется, за что покарать! Ах, какая пытка!»

И нрав ее ожесточился еще больше прежнего.

«В здешней компании нипочем не исправиться! И я не хочу исправляться! Вон как они таращат глаза!»



Обозлилась она, осерчала на всех людей.

«Да уж, есть у них теперь о чем посудачить там, наверху!.. Ах, какая пытка!»

Она слышала, как ее историю рассказывают детям, а те называют ее безбожницей, говорят:

— Какая же она гадкая, какая скверная! Пусть ее хорошенько накажут!

Но однажды, когда голод и злоба грызлись в пустой голове нераскаянной грешницы, кто-то вновь произнес ее имя и поведал ее историю невинному ребенку, маленькой девочке, и девочка заплакала над историей о заносчивой, тщеславной Ингер.

— Неужто она никогда больше не выйдет на волю? — спросила малышка. И услышала в ответ:

— Нет, не выйдет. Никогда!

— А если попросит прощения и больше не станет так делать?»

— Но ведь она не хочет просить прощения!

— А мне бы очень хотелось, чтоб попросила! — сказала малышка, совершенно безутешная. — Я отдам свой кукольный шкафчик, только бы она вышла на волю! Бедняжка Ингер так страдает!

И эти слова проникли в самое сердце Ингер, прямо-таки пролились бальзамом. Впервые ее называли бедняжкой и даже не обмолвились о ее грехе; маленькое невинное дитя в слезах просило за нее — Ингер почувствовала себя так странно, она бы и сама заплакала, но не могла, и это тоже была пытка.

Наверху шли годы, а внизу ничего не менялось, все реже долетали до Ингер звуки верхнего мира, говорили о ней все меньше, и вот однажды она услышала вздох:

— Ингер! Ингер! Как же сокрушила ты мое сердце! Сколько раз я это повторяла! — То была ее мать, для которой пробил смертный час.

Порой и старые хозяева вспоминали Ингер, и с какою утешительной мягкостью хозяйка говорила:

— Может, и доведется мне свидеться с тобой, Ингер! Никто не ведает, что его ожидает!

Но к тому времени Ингер уже понимала, что ее добрая хозяйка никогда не попадет туда, где находится она сама.

Опять прошло время, долгое, горькое.

И снова услышала Ингер свое имя и увидала над головою словно две яркие сияющие звезды — два ласковых глаза, что закрылись на земле. Много лет минуло с того дня, когда маленькая девочка безутешно плакала над судьбою «бедняжки Ингер», — малышка состарилась, и теперь Господь призывал ее к себе, и в тот самый миг, когда всколыхнулись в ней помыслы всей ее жизни, вспомнила старушка, как маленькой девочкой горько плакала, услышав историю Ингер. Тот миг и те чувства как наяву ожили в смертный ее час, и она громко воскликнула:

— Господи Боже мой, ведь и я, как Ингер, не раз могла бездумно наступить на Твой благословенный дар, могла взлелеять в себе заносчивость, но Ты в милости Твоей не дал мне пасть, уберег меня! Не оставь же меня и в мой смертный час!

Глаза старушки закрылись, зато очи души открылись для сокровенного. Последние мысли ее были об Ингер, и она увидела грешницу, увидела, в какую бездну ее утянуло, и от этого зрелища набожная душа разрыдалась. В Царстве Небесном плакала она, как дитя, по бедняжке Ингер, и эти слезы и молитвы эхом отдавались в пустой голове безбожницы, в узилище истомленной, измученной души, которую так и захлестнуло явившейся сверху несказанной любовью: ангел Господень проливал над нею слезы! Как же сподобилась она такого счастья? Измученная душа как бы собрала в помыслах все дела своей земной жизни и содрогнулась в рыданье — никогда Ингер так не плакала. Печаль по себе самой заполонила ее, и мнилось ей, что никогда не отворятся перед нею врата милости, но едва лишь она сокрушенно это осознала, как в мрачную бездну проник луч куда ярче солнечного света, что растапливает снегови-

ка, слепленного мальчишками во дворе, и тогда — намного быстрее, чем тает снежинка, упавшая на теплые губы ребенка, — одепеневшее естество Ингер улетучилось, махонькая птичка молнией взмыла вверх, в людской мир. Она боялась и робела всего вокруг, стеснялась себя и всех живых созданий, а оттого поспешно схоронилась в темном проломе полуразрушенной ограды. Там она сидела, сжавшись в комочек, дрожа всем телом, не в силах издать ни звука — голоса не было, — сидела долго, но в конце концов успокоилась и смогла увидеть всю поднебесную благодать. Да-да, поистине благодать — воздух был свеж и ласков, ярко сияла луна, деревья и кусты дышали ароматами. И сидеть в укромном приюте, с чистыми и нежными перышками, было так хорошо! Ах, до чего же все сущее обласкано любовью и благодатью. Помыслы, переполнявшие грудь птички, стремились излиться песней, но петь птичка не могла, хотя мечтала петь, как поют по весне кукушки и соловьи. Господь, готорому внятны даже беззвучные хвалебные гимны змеи, услышал и ее осанну, аккордами помыслов звучащую в ней, как звучал в груди Давида псалом, прежде чем облекся в слова и музыку.

Многие дни и недели росли, поднимались эти безмолвные песни, и они непременно вырвутся на волю — с первым взмахом крыльев во имя благого дела, которое надлежало совершить!

И вот настал святой праздник Рождества. Крестьянин воткнул подле самой ограды жердину и привязал к ней пучок необмолоченного овса — пусть, мол, и птицы небесные весело встретят праздник и устроят радостную пирушку в честь Рождества Спасителя.

Рождественским утром солнце озарило снопик овса, и птицы, щебеча, слетелись к этой кормушке. Вот тут-то из пролома в ограде и донесся писк — мысль наконец излилась звуком, тихий писк был поистине ликующим гимном, помысел благого дела пробудился, и птичка выпорхнула из своего укрытия, а в Царстве Небесном знали, что это за птичка.

Зима залютовала всерьез, водоемы промерзли до дна, птицы и лесное зверье голодали. Маленькая птичка полетела на проезжий тракт, искала в санных колеях и нет-нет находила зернышки. Возле постоянных дворов она нашла несколько хлебных крошек, но склевала только одну, зато позвала других — оголодавших воробышков, чтобы они тоже подкрепились. Летала она в городки и поселки по всей округе и в тех местах, где добрая рука сыпала под окном крошки для птиц, ела сама чуточку, а все остальное отдавала своим сотоварищам.

За зиму птичка собрала и отдала столько хлебных крошек, что из них получился бы целый карвай, такой же, как тот, на который девочка Ингер наступила, чтоб не запачкать башмачков. И когда была найдена и отдана последняя крошка, серые птичкины крылышки побелели и выросли.

— Крачка! Крачка летит над морем! — закричали дети, заметив белую птицу, а она то ныряла в волны, то взмывала к яркому солнцу и так сверкала, что невозможно было разглядеть, куда она в конце концов подевалась, вот дети и решили, что улетела она прямо на солнце.

---

## БАШЕННЫЙ СТОРОЖ ОЛЕ

**-В**се на свете идет то вверх, то вниз, то вверх, то вниз! Я вот теперь аккурат на самом верху, выше некуда! — говорил башенный сторож Оле. — Вверх-вниз, вверх-вниз — так уж нам суждено; по сути, все мы в итоге становимся башенными сторожами, смотрим на жизнь и дела с высоты.

Так рассуждал старик сторож Оле, мой друг, человек веселый, словоохотливый; казалось, все-то он выкладывал без утайки, ан нет, много чего не шутя прятал в самой глубине души. Был Оле из простой семьи, хотя иные уверяли, будто он — сын действительного статского советника или, уж во всяком случае, вполне бы мог быть таковым. Ему довелось получить образование, и он учительствовал, состоял помощником у пономаря, только что проку? Когда Оле квартировал в пономарском доме, все ему полагалось даром, а был он тогда, как говорится, молод да пригож и непременно желал чистить свои сапоги хорошей дорогой ваксой, но пономарь ни в какую: мол, хватит с тебя и дешевой сапожной мази. Из-за этого они рассорились: один толковал о скаредности, другой — о тщеславии; из черной ваксы произросла черная вражда, и они расстались. Однако Оле и от мира требовал того же, что от пономаря: дорогой ваксы, а получал всегда лишь сапожную мазь; оттого-то он удалился от людей, стал

отшельником. Но в большом городе жить отшельником и при том иметь кусок хлеба можно только на церковной башне, куда он взбирался и там, на галерее, в одиночестве покуривал трубочку, смотрел вниз, смотрел вверх, размышлял и, по своему обыкновению, рассказывал о том, что видел и чего не видел, что вычитывал в книгах и в себе самом. Я часто давал ему книги, хорошие книги, а по тому, что человек читает, можно неплохо его узнать. Оле не любил слезливых английских романов, называл их дамским рукодельем и французских не любил, замешенных на легкомыслии, сквозняке да розовых лепестках, нет, ему подавай жизнеописания и книги о чудесах природы. Я навещал его по меньшей мере раз в году, обычно сразу после Нового года, и всегда у него было наготове что-нибудь связанное с его размышлениями по поводу наступления нового года.

Здесь я расскажу о двух посещениях и постараюсь по мере сил в точности передать его слова.

## ПЕРВОЕ ПОСЕЩЕНИЕ

Среди тех книг, которые я последний раз давал Оле, была книга о камнях — валунах, булыжниках, гальке, — она-то в особенности развлекла его и необычайно заинтересовала.

— Да, они вправду древние старики, камни-то эти! — сказал он. — А мы бездумно проходим мимо них! Я и сам ходил мимо, в поле и на берегу, где их превеликое множество. Все топчут ногами булыжники, эти обломки немыслимой древности! Я тоже их топтал. Но теперь отношусь к каждому булыжнику с величайшим уважением! Спасибо вашей книге, она захватила меня, оттеснила прежние мысли и привычки, вызвала необоримое желание прочесть что-нибудь еще в таком роде. Ведь повествование о Земле — самый удивительный из всех романов. Жаль, нельзя прочесть первые главы, они написаны на неведомом нам языке, читать на-

добно в земных пластах, в галечнике, во всех давних периодах жизни Земли, а действующие лица, Адам с Евой, появляются лишь в шестой главе, для многих читателей поздновато, им бы надо, чтоб сразу, ну а мне безразлично. Роман этот изобилует приключениями, и мы все в нем участвуем. Копшимся, суетимся на одном и том же месте, а шарик вертится, однако не заливаает нас Мировым океаном; кора, по которой мы ходим, прочна, мы не проваливаемся, и история сия продолжается миллионы лет, идет дальше и дальше. Спасибо за книгу о камнях! Эти крепкие ребята могли бы кое-что порассказать, если б умели! Разве не приятно иной раз ощутить собственную ничтожность, коли сидишь на верхотуре, как я, и вспоминаешь, что мы все, хоть с ваксой, хоть без оной, только бранные муравьи на земляной куче, пусть даже муравьи осанистые, с положением да с орденскими лентами. Рядом с этими почтенными камнями, чей возраст измеряется миллионами лет, чувствуешь себя сущим юнцом. Я читал вашу книгу новогодним вечером и так увлекся, что запомнил про свое обычное развлечение в ту ночь — поглядеть на «дикую амагерскую рать»! Вы-то, поди, не сыхали про нее?

Что ведьмы летают на помеле, всем известно, а летают они вечером накануне Иванова дня на гору Блоксберг, однако и у нас есть дикая рать, местная, современная, аккурат новогодней ночью она и слетается на Амагер. Поголовно все скверные поэты, поэтессы, музыканты, газетные репортеры и артистическая общественность, опять же никуда не годная, мчатся новогодней ночью в Амагер — летят по воздуху, верхом на своих кистях да перьях, но не на стальных, эти слишком жесткие, на них не полетаешь. Вот такое зрелище я и наблюдаю каждую новогоднюю ночь; большинство летунов я бы мог назвать поименно, только связываться неохота. Не по нраву им, чтоб народ прознал об их амагерских полетах верхом на перьях. У меня есть вроде как племянница, она рыбой торгует и снабжает, как сама говорит, бранными словами три уважае-

мые газеты; так вот, она сама побывала на этом собрании, гостила по приглашению, ее туда отнесли, ведь перьев она не держит и летать на них не умеет. Ну, рассказывала она, как там было. Половина, конечно, вранье, но и другой половины вполне хватит. Началось у них там с песен, каждый из гостей сочинил свою и пел ее, потому что считал самой лучшей, — впрочем, все они были, что называется, на один мотив. Затем небольшими группками подтянулись те, у кого язык ловко подвешен, — они обернулись этакими колокольцами, что звенели поочередно; за ними следом вышагивали маленькие барабанщики, которые громыхают дома, в семье... Понятно, были здесь и те, кто своих опусов не подписывает, выдает, стало быть, сапожную мазь за добрую ваксу. Явился и палач со своим подручным, куда более злобным, чем его патрон, иначе его бы и не заметили; присутствовал, конечно, и добрый мусорщик, который, опорожнив ведро, приговаривает «хорошо, очень хорошо, отлично!». А в разгар веселья, как водится, в яме проклюнулся росток, дерево, цветок-великан, исполинский зонтик вроде грибной шляпки — этакий изобильный стол для почтенной тамошней компании, и было там все, что они даровали миру в старом году. Из цветка сыпались огненные искры — заемные мысли и идеи, которыми все они пользовались вместо собственных, теперь освободились и фейерверком разлетались во все стороны. Потом затеяли играть в «холодно—горячо», но поэты поплотше предпочли «горелки»; остро-слова вовсю сыпали остротами, а то как же! Остроты отдавались гулким эхом, словно по двери стучали пустыми кастрюлями или горшками с торфяной золою. Ужас как весело, сказала племянница; вообще-то она еще много чего говорила, весьма зло, однако забавно. Повторять не стану, добрым людям резонерство не к лицу. Теперь вам понятно, что, зная про тамошнее празднество, я, само собой, всякую новогоднюю ночь стараюсь не пропустить полет дикой рати; иной год кой-кого недостает, зато являются новые, ну а в нынешнем году я напрочь запамя-



товал поглядеть на гостей, камнями увлекся, укатил с ними на миллионы лет вспять, увидел, как эти камни обрушивались с гор далеко на севере, уплывали на льдинах прочь задолго до того, как был построен Ноев ковчег, увидел, как они погрузились на дно и вновь поднялись вместе с песчаными отмелями, которые, восстав из вод, сказали: «Здесь будет Зеландия!» Увидел я, как они сделались приютом для неведомых нам птиц, приютом для диких племен, тоже нам неведомых, пока топор не вырубил на этих камнях руны и не сделал их частью истории, но сам я совершенно из истории выпал, как бы изничтожился. Тут с небосклона скатились три-четыре красивые падушие звездочки, ярко вспыхнули, и помыслы мои обратились к другому — вы ведь знаете, что такое падушая звезда? Вообще-то ученые люди редко об этом знают!.. У меня насчет них свои соображения, и вот почему: как часто втайне благодарят и благословляют тех, кто совершил что-либо прекрасное и доброе, нередко благодарность беззвучна, однако ж не пропадает втуне! Мне думается, солнечный свет подхватывает рожденную в тиши тайную благодарность и на своих лучах относит добродее. Порой целый народ шлет свою благодарность сквозь время, и она, словно букет, падушей звездой слетает на могилу добродее. Для меня вправду большая радость — видеть падушие звезды, особенно в новогоднюю ночь, и угадывать, кому предназначен благодарственный букет. Вот давеча сверкающая падушая звездочка скатилась по небу на юго-западе: благодарность и благословение за очень-очень многое! Кому же она предназначена? Наверное, думал я, упала она на крутой берег Фленсбургского залива, где Даннеброг реет над могилами Шлепегрелля, Лэссё и их товарищей. Еще одна звездочка упала посреди Зеландии, в Сорё, — букет на гроб Хольберга, благодарность нынешнего года от многих людей, благодарность за превосходные комедии!

Высокая мысль, радостная — знать, что к нам на могилу слетит падушая звезда, не ко мне, понятное дело, мне солнеч-

ный луч не принесет благодарности, потому как благодарить меня не за что, не дорос я до вакцины, — сказал Оле, — на этом свете мой удел — сапожная мазь.

## ВТОРОЕ ПОСЕЩЕНИЕ

На башню я наведалься в первый день нового года. Оле повел речь о бокалах, которые принято осушать, переходя от старой капли к новой, — каплями он называл годы. Вот так я услышал историю про бокалы, и в ней есть о чем поразмыслить.

— Когда в новогоднюю ночь часы бьют двенадцать, участники застолья, наполнив бокалы, стоя пьют за Новый год. Люди начинают год с рюмкой в руке — начало в самый раз для пьяниц, начинают с того, что ложатся спать, — начало в самый раз для лентяев, и весь год что сон, что рюмки будут играть немаловажную роль. А знаете, что живет в рюмках? — спросил Оле. — Здоровье там живет, и радость, и озорство! А еще зло и горькая беда! Когда веду счет рюмкам, я, разумеется, имею в виду разные степени опьянения.

Так вот, *первая* рюмка — это здоровье! В ней растут целебные травы, подвесь их к потолочным балкам и к концу года сиди себе в зеленой беседке здоровья.

Выпьешь *вторую* рюмку — из нее вылетит птичка, защебечет этак весело, бесхитростно, и, слушая ее, человек, глядишь, тоже запоет: жизнь хороша! Не будем вешать голову! Смело вперед!

Из *третьей* рюмки поднимется крылатый человечек, ангелочком его не назовешь, в нем гномья кровь и гномий нрав; невинные шуточки не по нем, он горазд учинять проказы. Пристроится у нас за ухом и мигом что-нибудь нашепчет, поддобьет на развеселую затею, а не то уляжется под сердцем, горячит его, вот мы и забавляемся от души и у всех вокруг слышем весельчаками.

В *четвертой* рюмке нет ни трав, ни птички, ни человека, там этакое тире, прочерк в разуме, и преступать эту черту никак нельзя.

Выпив *пятую* рюмку, заплачешь над собой, растрогаешься до слез умиления, а бывает, и по-другому жажнет: из рюмки с шумом выскочит принц Карнавал, шутник и проказник, потянет тебя за собою, и забудешь ты про свое достоинство, коли оно у тебя есть! Забудешь куда больше, чем можно и должно. Все — сплошь танцы, песни да музыка; маски терпят тебя, не отпускают, дочки дьявола, в дорогих прозрачных шелках, с распущенными волосами, красивые, гибкие, — вырвись, если можешь!

*Шестая* рюмка! О, в ней сидит сам сатана, щеголеватый, речистый, очаровательный, необычайно обходительный господинчик, который прекрасно тебя понимает, во всем с тобой соглашается, прямо-таки твое второе «я»! В руках у него фонарь, ведь он намерен увести тебя с собою. Старинное предание рассказывает, как некоему святому предложили на выбор один из семи смертных грехов и выбрал он, как ему казалось, самый незначительный — пьянство, а пьянствуя, совершил и остальные шесть. Человек и дьявол становятся неразлучными приятелями за шестой-то рюмкой, и тогда в нас идет в рост все дурное, каждый росток поднимается с такою же силой, как библейское горчичное зерно, вырастает деревом, накрывает весь мир, и у большинства впереди только плаvilная печь да переплавка.

— Вот и вся история про рюмки! — сказал башенный сторож Оле. — А преподнести ее можно, как говорится, и с ваксой, и с сапожной мазью! Я преподношу разом с тем и другим.

Так я побывал у Оле во второй раз. Если хочешь послушать еще, надо наведаться к нему снова.

---

## АННА ЛИСБЕТ

**Б**ыла Анна Лисбет ровно кровь с молоком, молодая, веселая, пригожая, зубки белые, глаза ясные, ноги легкие — в танце так и порхают, а нрав еще того легче! И что же из этого вышло? «Противный какой мальчишка!» Да, не красавец, что и говорить! Отдали его на воспитание жене землекопа, а Анна Лисбет оказалась в графском замке. Сидела в нарядной комнате, разодетая в шелк и бархат, никакой ветерок не смел подуть на нее, никто не смел сказать ей резкого слова — вдруг навредишь, а это совершенно недопустимо. Она ведь была кормилицей графского чада, нежного, как принц, красивого, как ангелок, и надышаться не могла на этого младенца! Родной ее сынок жил у землекопа, где в горшках не густо, а во рту пусто, зачастую мальчонку оставляли дома одного, он плакал, но чего никто не слышит, то никого и не колышет. Наплакавшись, он засыпал, а во сне не чувствуется ни голода, ни жажды, сон — замечательная штука! Шли годы — н-да, время идет, и сорняки растут, и мальчонка Анны Лисбет подрос, правда, ростом не вышел, говорил народ, но к землекопову семейству прирос целиком и полностью, тем более что им за это деньги заплатили. Анна Лисбет про сына своего вовсе думать забыла, горожанкой заделалась, жила себе в тепле да уюте, а выходя из дому, надевала шляпку. Но землекопово

семейство она никогда не навещала, очень уж далеко от города, да и делать ей там нечего. Мальчонка стал им как свой, говорила землекопова жена, и едок из него будь здоров, так что пускай зарабатывает на пропитание; вот он и пас рыжую корову Мадса Йенсена, за скотиной-то ходить умел, ну и получал кое-что взамен...

Цепной пес на господском белильном лугу в солнечные дни гордо сидит на крыше своей будки и лает на прохожих, в дождь он прячется в конуру, благо там сухо и тепло. Мальчонка Анны Лисбет в солнечные дни сидел на краю канавы, вырезая ножиком привязной колышек; по весне он заметил три цветущих кустика земляники, на них наверняка созреют ягоды, думал он с превеликой радостью, однако ж ягод не дождался. Так сидел он и в дождь, и в слякоть, вымокнув до нитки, а после хлесткий ветер высушивал одежку прямо на плечах; когда бедолага приходил в усадьбу, все знай его шпыняли. Противный, гадкий мальчишка, твердили служанки и работники, и он не удивлялся, привык, что никто его не любит.

Вот как жилось мальчонке Анны Лисбет! Что же с ним будет? Его удел — быть нелюбимым.

На суше места для него не нашлось, и отправился он в море, на утлом суденьшке, стоял у руля, а шкипер меж тем пьянствовал. Грязный, уродливый, мальчонка вечно мерз, вечно хотел есть, можно подумать, никогда не ел досыта, и ведь так оно и было.

Год близился к концу, погода стояла ненастная, ветреная, промозглая, ветер до костей пробирал, несмотря на теплую одежду, особенно в открытом море, а утлое суденьшко, где всей команды два человека, если не сказать полтора — шкипер да матрос, — аккуратно вышло в плавание. День выдался сумрачный, а ввечеру вовсе стемнело и заглодало пуще прежнего. Шкипер для сугреву тяпнул рюмочку. Фляжка была старая, рюмка тоже, верхушка у нее сохранилась в целости, а вот ножка отбилась, и вместо нее приспособили де-

ревянный чурбачок, выкрашенный в синий цвет. Одна рюмочка хорошо, а две еще лучше, решил шкипер. Матрос стоял у руля, сжимал его грязными мозолистыми руками; лицом неказистый, волосы дыбом торчат, забытый горемыка — землекопов парнишка, записанный в церковной книге как сын Анны Лисбет.

Ветер резал глаза, суденьшко резало волны. Парус наполнился, ветер подхватил суденьшко, помчал вперед — кругом буруны да ледяные брызги, но то ли еще будет! Стоп! Что такое? Что за толчок? Что-то словно схватило их посудину и держит, не отпускает! Она только кружится на одном месте! Неужто ливень, неужто волна поднялась? Парнишка у руля закричал: «Господи Иисусе!» Суденьшко напоролось на огромную подводную скалу и теперь шло ко дну, как рванный башмак в сточной канаве, шло ко дну, что называется, с мышами и с людьми; мышей там хватало, а вот людей было всего-то полтора человека — шкипер да землекопов парнишка. Никто этого не видел, кроме крикливых чаек и морских рыб, впрочем, и те ничего толком не разглядели, потому что, когда вода хлынула внутрь тонущего суденьшка, с перепугу бросились врассыпную. Оно и погрузилось-то неглубоко, всего на морскую сажень, но люди погибли, пропали оба, пропали! Только рюмка с синим деревянным чурбачком вместо ножки не утонула, чурбачок удержал ее на поверхности; волны унесли рюмку прочь, выбросили на берег и разбили вдребезги — где и когда? А что тут удивительного — она свое отслужила, ее любили, не то что мальчонку Анны Лисбет! Однако ж в царстве небесном ни одна душа не сможет более сказать, что ее никогда не любили.

\*

Анна Лисбет уже много лет жила в провинциальном городке, все называли ее «сударыня», и она особенно задирала нос, рассуждая о давних воспоминаниях, о графских време-

нах, когда разъезжала в карете и беседовала с графинями да баронессами. Ее милое графское чадо было-де прелестнейшим Божиим ангелочком, уж такой ласковой душенькой, он крепко любил ее, а она — его. И целовали-то они друг друга, и в ладушки играли, графский сынок был ей отрадой, счастьем жизни. Теперь он вырос, четырнадцать лет уже, красавец, светлая голова! Правда, она не видела его с тех пор, как носила на руках, долгие годы не бывала в графском замке, дорога дальняя — так просто не доберешься.

— Когда-никогда съездить все же надобно! — говорила Анна Лисбет. — Не мешало бы навестить мое сокровище, милого моего графеночка! Он, поди, тоже скучает по мне, думает обо мне, любит меня, как раньше, когда обнимал за шею ангельскими ручонками и лепетал: «Ан-Лис!» — ровно скрипочка пел. Нет, надобно съездить повидать его.

Сперва она ехала в телеге, потом шла пешком и добралась в конце концов до графского замка, большого, роскошного, как в давние времена, сад вокруг, как раньше, но челядь в доме сплошь незнакомая, никто слыхом не слыхал про Анну Лисбет, не ведал, какой важной персоной она была тут когда-то, но уж графиня их просветит, да и сынишка ее тоже. Ах, как она по нем соскучилась!

Стало быть, добралась Анна Лисбет до замка, но там пришлось ей ждать, а в ожидании время тянется долго! И вот перед тем, как господа сели за стол, призвали ее к графине, которая говорила с нею очень благосклонно. Любимца своего она увидит после трапезы. Наконец ее призвали снова.

Как он вырос — высокий, худенький, но глаза прежние, красивые, и ротик, словно у ангелочка! Мальчик смотрел на нее, однако не говорил ни слова. По всему видать, не узнал. Отвернулся, хотел уйти, но она схватила его руку, прижала к губам.

— Ну будет, будет! — сказал мальчик и вышел из комнаты, сокровище ее ненаглядное, единственное, свет в окошке, гордость ее жизни.

Вышла Анна Лисбет из замка на проезжий тракт, и было ей очень грустно: мальчик встретил ее как чужой, не вспомнил ее, словечка для нее не нашел, а она-то и прежде, и теперь только о нем и думала.

Тут большущий черный ворон слетел впереди нее на дорогу и закаркал.

— Ах ты, паскудник! — воскликнула она. — Беду накличешь!

Путь ее лежал мимо землекопова дома, хозяйка аккурат вышла на порог, и они завели беседу.

— Эх ты раздобрела! — сказала жена землекопа. — Гладкая да пышная. Видать, хорошо тебе живется!

— Да уж, грех жаловаться, — отвечала Анна Лисбет.

— Суденьшко-то их вместе с ними и сгинуло! — сообщила землекопова жена. — И шкипер Ларс, и мальчонка, оба утопли. Приказали долго жить. Я-то думала, мальчонка когда-нибудь пособит мне, подкинет скиллинг-другой. Тебе ведь он ни гроша не стоил, Анна Лисбет!

— Утопли, значит! — сказала Анна Лисбет, и больше они про это словом не обмолвились.

Анна Лисбет крепко горевала, что питомец ее, графский сынок, даже говорить с нею не стал, а ведь она так его любила, такую долгую дорогу одолела, чтоб сюда добраться, да и денег это стоило. Удовольствия ей досталось, прямо скажем, не много, но об этом она промолчала, не захотела облегчить душу землекоповой жене, вдруг та, чего доброго, решит, что она, Анна Лисбет, у графов боле не в чести. И опять ворон каркнул над нею.

— Этот черный крикун вздумал нынче нагнать на меня страху! — воскликнула Анна Лисбет.

Она захватила с собою кофе и цикорий; для землекоповой жены, поди, большой подарок — угоститься чашечкой, пусть сварит, да и сама Анна Лисбет от кофейку не откажется. Жена землекопа пошла на кухню, а Анна Лисбет села на



стул и ненароком задремала. И во сне привиделся ей тот, о ком она никогда раньше не думала, вот что странно. Снилось ей родной сын, который голодал в этом доме и плакал, бедовал и холодал, а теперь упокоился в пучине морской, Бог весть где. Снилось ей, будто сидит она на этом самом месте, будто землекопова жена варит на кухне кофе и она чует запах кофейных зерен, в дверях же стоит мальчонка, пригожий, не хуже графского чада, и говорит:

«Мир погибает! Держись за меня, крепко-крепко, ведь как-никак ты мне мать! Есть у тебя ангел в Царстве Небесном! Держись за меня!»

Он схватил ее за рукав, и в тот же миг раздался страшный грохот — видно, и впрямь миру пришел конец, — ангел воспарил ввысь, крепко держа ее за рукав, так крепко, что ей почудилось, будто она тоже оторвалась от земли, однако на ногах и на спине словно повис тяжкий груз, словно сотни женщин цеплялись за нее, повторяя: «Коли тебе спасение, то и нам! И нам! Хватайтесь! Хватайтесь!» И все они цеплялись за нее, но было их слишком много. Рукав с треском порвался, Анна Лисбет полетела наземь — и проснулась. Она едва не упала вместе со стулом, а в голове стоял такой туман, что всякую память о сне отшибло, только и помнилось, что был он дурной.

Женщины выпили кофе, поговорили о том о сем, и Анна Лисбет пошла дальше, в ближний городок, чтобы нанять возчика и этим же вечером выехать домой, однако возчик сказал, что до завтрашнего вечера ехать никак нельзя. Тут она призадумалась, во что ей обойдется этакая задержка, призадумалась о долгой дороге и решила, что, если идти берегом, а не проезжим трактом, путь-то будет мили на две покороче. Погода прекрасная, к тому же полнолуние — в общем, надо идти пешком, и назавтра она доберется до дому.

Солнце село, еще звонили вечерние колокола — нет, не колокола, лягушки квакали в болотах. Потом и они умол-

кли, все затихло, даже птиц не слышать, отдыхают, ну а сова улетела куда-то. Ни звука в лесу, ни звука на берегу, где она шла, слышны только ее собственные шаги по песку. На море был штиль, оно тоже молчало, и в пучине его все безмолвствовали, и живые, и мертвые.

Анна Лисбет шла, ни о чем, как говорится, не думая, от-решилась она от своих мыслей, но мысли никуда не ушли, они всегда при нас, просто иной раз дремлют — и уже воскресшие, и те, что еще не родились. Однако ж они проснутся, зашевелятся в сердце, в мозгу, а не то и набросятся на нас.

«Доброе дело приносит благодатный плод!» — написано в книгах. И еще: «Во грехе — смерть!» Много чего написано, много чего сказано, только люди этого не знают, не помнят, так было и с Анной Лисбет. Но у человека могут открыться глаза, бывает и так!

Все пороки, все добродетели сокрыты в нашем сердце — в моем, в твоём! Лежат там, словно крохотные невидимые зернышки, потом снаружи является солнечный луч или недоброе прикосновение, ты сворачиваешь за угол, направо или налево — да-да, порой достаточно и этого, — зернышко вздрагивает, набухает, лопается, выпускает тебе в кровь свои соки, и ты лишаешься покоя. Пугающие мысли, они отступают, когда шагаешь в забытьи, но шевелятся! Анна Лисбет шагала в забытьи, мысли шевелились! От Сретенья до Сретенья на сердце много чего накапливается, итог целого года, многое забыто, грехи в словах и в мыслях против Бога, против ближнего, против собственной совести; мы об этом не думаем, и Анна Лисбет не думала, законов она не нарушала, знала, что люди ее уважают, считают честной и порядочной. Вот так она шла по берегу... Но что это там? Она остановилась. Волны никак вынесли что-то на песок? Перед нею лежала старая мужская шляпа — видно, упала где-то за борт. Анна Лисбет подошла ближе, присмотрелась — ой, а это что? Она не на шутку перепугалась, хотя пугаться было не-

чего — водоросли да камыш обвились вокруг большого продолговатого камня, и все вместе очень напоминало человека, но эти водоросли и камыш изрядно нагнали на нее страху. И когда Анна Лисбет продолжила путь, ей вдруг вспомнилось многое из того, что она слыхала в детстве, всяческие поверья про береговой призрак, призрак непогребенного, которого волны вынесли на пустынный берег. Утопленник, то бишь само мертвое тело, никакой опасности не представляет, а вот призрак его преследует одинокого путника, крепко хватается за него, требует, чтобы тот отнес его на кладбище и похоронил в освященной земле. «Хватайся! Хватайся!» — твердил он. И едва только Анна Лисбет вспомнила эти слова, в ней сей же час ожил давешний сон, ожил ярко, будто наяву: как другие матери цеплялись за нее с этим самым криком «Хватайтесь! Хватайтесь!», как весь мир полетел в тартарары, как рукав ее платья порвался и она упала, не удержало ее родное дитя, желавшее в урочный час унести ее ввысь, спасти. Родное дитя, плоть от плоти ее, дитя, которого она никогда не любила, о котором даже не думала, — это дитя лежало теперь на дне морском и вполне могло явиться призраком на берегу и крикнуть: «Хватайся! Хватайся! Похорони меня в освященной земле!» От этих мыслей у Анны Лисбет мороз по спине пробежал, душа ушла в пятки, и она невольно ускорила шаг; холодная, влажная рука ужаса больно стиснула сердце. А когда Анна Лисбет глянула на море, оно словно бы нахмурилось, почернело, густой туман поднялся над волнами, обвил кусты и деревья, причудливо изменив их облик. Перепуганная женщина обернулась, чтобы посмотреть на луну за спиною, и луна была как бледный диск без лучей. Бедняге почудилось, будто тяжкий груз бременит ее существо; хватайтесь! хватайтесь! — мелькнуло в голове. Когда же она снова глянула на луну, показалось ей, что бледный лунный лик совсем рядом, а туман саваном обнимает плечи. «Хватайся! Положи меня в освященную землю!» —





вроде бы услышала она, и на самом деле до нее донесся голос, звучал он гулко и совсем рядом, но и лягушки болотные, и воронье тут ни при чем, их здесь не было. «Похорони меня! Похорони!» — эти слова звучали так отчетливо! Да, призрак сына, лежавшего на дне морском, не найдет покоя, пока не упокоится на кладбище, в освященной земле. Туда-то Анна Лисбет и пойдет, там выроет могилу. И едва она зашагала в сторону церкви, как тяжкий груз словно бы начал убывать и вовсе пропал; может, все ж таки повернуть и кратчайшею дорогой вернуться домой? Но не тут-то было: ее вновь придавила неимоверная тяжесть: хватайся! Хватайся! Точно кваканье лягушек, точно птичий клик, так отчетливо: «Похорони меня! Похорони!»

Туман дышал холодом и сыростью, лицо и руки у нее похолодели и взмокли от страха; снаружи она вся скорчилась, внутри же распахнулось бесконечное пространство для мыслей, каких прежде никогда не бывало.

Здесь, в северных краях, буковый лес способен за одну вешнюю ночь раскрыть все свои почки и утром, при свете солнца, явиться в яркой юной красе — вот так же, в одну секунду, способно прорасти и раскрыться помыслом, словом и делом зерно греха, посеянное нами раньше; оно оживает и вырастает в одну секунду, едва лишь пробуждается совесть, а Господь будит ее, когда мы ожидаем этого менее всего. И в оправданиях нет смысла, поступок говорит сам за себя, мысли облекаются в слова, и слова эти отчетливо звучат над миром. Мы ужасаемся тому, что, не терзаясь, носили в себе, ужасаемся тому, что натворили в заносчивости и бездумье. Сердце таит все добродетели, но и все пороки, и произрастать они могут даже на самой бесплодной почве.

Все, что мы здесь облекли в слова, роилось в мыслях Анны Лисбет и вконец ее сокрушило. Она пала наземь, поползла. «Похорони меня! Похорони!» — звучало в ушах, а она бы с радостью похоронила себя, ведь могила — вечное заб-

вение всего... В этот миг она и вправду всерьез пробудилась, с ужасом и страхом. Суеверный трепет бился в крови холодом и жаром; столько всего нахлынуло, о чем она никогда говорить не желала. Беззвучно, словно тень облака в ярком лунном свете, промчалось мимо видение, знакомое ей по рассказам. Совсем рядом во весь опор пронеслась четверка храпящих рысаков, огонь пыхал у них из глаз и ноздрей, и везли они раскаленную карету, а в ней сидел злодей помещик, который лет этак сто с лишним назад хозяйничал в здешней округе. В народе говорили, что каждую полночь он приезжает в свою усадьбу и сразу же поворачивает обратно, только был он не бледный, как все мертвецы, нет, черный точно уголь, жженный уголь. Он кивнул Анне Лисбет и помахал рукой: дескать, хватайся! Хватайся! Снова прокатишься в графской карете и забудешь свое дитя!

Опрометью устремилась она прочь и добралась наконец до кладбища, но черные кресты и черные вороны мельтешили перед глазами, вороны кричали в точности, как тот ворон днем, и теперь она понимала, о чем он кричал: «Я бросил свое дитя! Я бросил свое дитя! Жестокий я родитель!» Так наперебой кричали они все, и Анна Лисбет знала, это и про нее тоже, верно, превратится она в такую же черную птицу и будет кричать, как они, — если не выроет могилу.

Она пала наземь, принялась руками рыть твердую землю, все пальцы раскровенила.

«Похорони меня! Похорони!» — без умолку звучало в ушах, она страшилась петушиного крика и первой алой полоски на востоке, ведь, если не успеет она до тех пор закончить работу, все пропало. И петух закричал, и на востоке заалело... Могила была вырыта лишь наполовину, ледяная рука скользнула по ее волосам, по лицу — под сердце. «Только половина!» — прошелестел вздох и улетел прочь, на морское дно, да да, то был береговой призрак. Сама не своя, совершенно без сил, Анна Лисбет рухнула на землю и потеряла сознание.

Очнулась она уже днем. Двое парней подняли ее с земли, а лежала она не на кладбище, нет, на морском берегу, где выкопала в песке глубокую яму, до крови изранив пальцы об острые стекляшки, торчащие из синего деревянного чурбачка. Анна Лисбет захворала. Совесть перетасовала карты суеверий, разложила их, и сказали они, что теперь у Анны Лисбет только половина души, вторую половину сын ее унес с собою на морское дно и не взлететь ей к милости Царства Небесного, пока не вернет она себе эту вторую половину, что спрятана в пучине. Домой Анна Лисбет воротилась совсем другим человеком, мысли у нее перепутались, как путается пряжа, лишь одна из них была ясной, отчетливой и не оставляла ее ни на миг: надобно отнести берегового призрака на кладбище, вырыть могилу и так снова обрести цельность души.

В иные ночи она пропадала из дому, и находили ее всегда на берегу, где она ждала призрака. Так продолжалось целый год, и вот однажды ночью Анна Лисбет снова пропала, и найти ее не сумели, хотя весь следующий день потратили на тщетные поиски.

Под вечер пономарь пришел в церковь, чтоб колокольным звоном возвестить о заходе солнца, и увидел перед алтарем Анну Лисбет — она была здесь с раннего утра и лежала сейчас почти без сил, но глаза сияли, лицо порозовело; последние солнечные лучи озаряли ее, озаряли алтарь и блестящие застешки Библии, раскрытой на странице, где записаны слова пророка Иоила: «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу нашему!» — «Ну, это все случайность!» — сказали люди, случайностей-то на свете великое множество.

На лице Анны Лисбет, озаренном солнцем, читались умиротворение и блаженство. С нею все хорошо, сказала она. Свершилось! Нынешней ночью береговой призрак, родной ее сын, навестил ее и сказал: «Могилу ты мне вырыла лишь наполовину, зато ровно год назад целиком приняла меня



в свое сердце, схоронила в нем, а для ребенка нет приюта лучше, чем сердце матери!» И он вернул ей утраченную половину души и отвел в церковь.

— Наконец-то я в доме Господнем! — воскликнула она. — И здесь на человека нисходит благодать!

Когда солнце опустилось совсем низко, душа Анны Лисбет вознеслась ввысь, туда, где нет страха, коли ты победил его на земле. Анна Лисбет его победила.

---

## РЕБЯЧЬЯ БОЛТОВНЯ

**В** доме состоятельного коммерсанта собралась большая ребячья компания — дети богачей и важных господ. Дела у коммерсанта шли превосходно, и был он человек просвещенный, выдержал когда-то школьный экзамен по настоянию своего почтенного батюшки, который поначалу всего-навсего торговал скотом, но был честен и предприимчив и сколотил немалые деньги, а сынок успел изрядно их приумножить. К тому же коммерсант отличался недоужинным умом и сердечной доброю, да только про это говорили куда меньше, чем про его капиталы.

У него в доме постоянно бывали всякие важные персоны — и, как говорится, люди благородных кровей, и люди благородного ума, и те, что сочетали в себе благородство обоего толка, и те, кто вообще никаким благородством похвастать не мог.

Ну так вот, нынче собралась там ребячья компания, и разговоры велись ребячьи, а у ребятни что на уме, то и на языке, дети хитрить не умеют. И случилась в этой компании одна девчушка, прехорошенькая, но ужасно заносчивая; впрочем, разбаловала ее прислуга, а не родители, люди весьма и весьма разумные, недаром папенька ее имел звание камерюнкера, и она знала: тут есть чем гордиться.

— Я камерюнкерская дочка! — объявила девчушка. Но ведь никто не выбирает себе родителей, она вполне бы

могла оказаться и дочкой сторожа. Потом девчушка сообщила остальным детям, что в ней течет «хорошая кровь», а если нет в тебе хорошей крови, ничего из тебя не выйдет: сколько ни учишься, сколько ни старайся — не выйдет, и все. — А уж из тех, у кого фамилия кончается на «сен», — сказала она, — никогда в жизни толку не будет! Надо упереть руки в боки, пошире расставить локти и держать этих «сенов» от себя подальше! — С этими словами она уперла свои хорошенькие ручки в боки и отставила острые локотки, показывая, как это делается, — ручки впрямь были прехорошенькие. Прелесть что за малышка!

Однако ж маленькая дочка коммерсанта обиделась: ее папенька носил фамилию Мадсен, которая, как известно, кончается на «сен», вот почему она сказала со всею возможной гордостью:

— Зато мой папенька может на целую сотню ригсдалеров закупить конфет и бросить их в толпу! А твой папенька так может?

— Ну а мой папенька, — вставила дочка газетного редактора, — может обоих ваших папенек да и вообще всех пропечатать в газете! Маменька говорит, все люди его боятся, потому что он в газете самый главный! — При этих словах она сделала книксен, будто настоящая принцесса, которой полагается этак поступать.

А за приоткрытой дверью стоял, глядя в щелку, бедный мальчуган. Входить в комнату ему было заказано — не место бедняку среди богачей. Он крутил кухарке вертел и взамен получил разрешение поглядеть в щелку на игры господских детей — вот уж вправду счастье так счастье.

«Эх, как, наверно, замечательно быть одним из них!» — думал он, а услышав их разговоры, вовсе приуныл, и было отчего. Его-то родители капиталов не имели, ни единого скиллинга, подписаться на газету и то не могли, а уж писать в ней тем паче, но хуже всего обстояло с фамилией, ведь фа-

милия у его отца и, стало быть, у него самого кончалась на «сен»! Прямо беда! Но кровь у него все ж таки хорошая, думалось ему, вправду хорошая! Иначе просто быть не может.

Вот как оно было в тот вечер!

\*

Много лет прошло, дети выросли, стали взрослыми.

В городе меж тем возникло великолепное здание, полное дивных красот, всем хотелось его увидеть, даже из других мест посмотреть приезжали, — и кто же из тех детей, о которых мы рассказывали, мог назвать этот дом своим? Догадаться легче легкого! Впрочем, нет, не так уж и легко. Дом принадлежал бедному мальчугану, толк из него, что ни говори, получился, хоть его фамилия и кончалась на «сен» — Торвальдсен.

А как же те три девчушки? Дети благородных кровей, больших денег и тщеславной гордыни? Все они вполне стоили друг друга, дети есть дети, что с них возьмешь? И вышли из них хорошие, добрые люди, основа-то у всех была хорошая, а тогдашние их мысли и слова не более чем ребячья болтовня.

---

# ЖЕМЧУЖНАЯ НИТОЧКА

## I

**Ж**елезная дорога в Дании протянулась пока лишь от Копенгагена до Корсёра, это лишь малая часть богатого ожерелья, чьи нити раскинуты по всей Европе, а самые красивые жемчужины зовутся Париж, Лондон, Вена, Неаполь, хотя иные люди считают самыми красивыми не эти большие города, но, наоборот, какой-нибудь неприметный городишко, где они родились и выросли, где живут их близкие; зачастую это даже и не городишко, а просто усадьба, маленький домик, укрытый в зелени живых изгородей, пятнышко, промельк за окном мчащегося поезда.

Много ли жемчужин в этой ниточке, что тянется от Копенгагена до Корсёра? Мы рассмотрим шесть, которые наверняка привлекают внимание большинства людей. Памятники старины и сама поэзия придают этим жемчужинам особый блеск, озаряющий наши помыслы.

Неподалеку от холма, на котором высится замок Фредерика VI, где провел свои детские годы Эленшлегер, сияет укрытая от ветров лесами южного края одна такая жемчужина, ее называли Хижиной Филемона и Бавкиды, то бишь Домом любящих стариков супругов. Здесь жил Рабек со своей женой Каммой, под их гостеприимным кровом поколение назад собирались таланты из шумного Копенгагена, здесь был приют

мысли — а теперь! Не говори «ах, как все изменилось»! Нет, там по-прежнему уют мысли, теплица для чахлого растения! Цветочный бутон, которому недостает сил раскрыться, все же таит в себе зачатки листьев и семян. Здесь солнце мысли озаряет заповедный уют духа, оживляет, животворит. Окружающий мир заглядывает сквозь окна глаз в неисповедимую глубь души. Этот уют слабоумного, обвеванный человечностью, — место святое, теплица для чахлого растения, которое однажды будет перенесено в сад Господень и там расцветет. Слабейшие разумом собраны теперь здесь, где некогда встречались величайшие и сильнейшие, обменивались мыслями, возвышались духом, — так пусть же и здесь вспыхнет огонь души, что пылал в Хижине Филемона и Бавкиды.

Город королевских усыпальниц у источников Роара, древний Роскилле, лежит перед нами; стройные шпили церковей высются над приземистыми городскими постройками, отражаются в Исефьорде. Мы посетим здесь только одну могилу, поглядим на нее в жемчужное стекло, и речь пойдет не о могиле могущественной королевы-объединительницы Маргрете... Нет, на кладбище, обок белой стены которого мчится поезд, есть одна могила с небольшою плитой, где покоится властитель органа, творец датского романса. Напевами в нашей душе сделались старинные предания, поведавшие, как «прозрачные волны катились», как «жил-был в Лайре король», — Роскилле, город королевских усыпальниц, в твоей жемчужине мы бросим взгляд лишь на эту скромную могилу, где выбиты на камне лира и имя — Вайсе.

Теперь мы подъезжаем к Сигерстеду, что возле города Рингстед. Вода в реке стоит низко; желтые злаки растут там, где неподалеку от девичьей светелки Сигне причаливала лодка Хагбарда. Кто не знает песнь о Хагбарде, повешенном на дубу, и о Сигне, которая подожгла свою светелку, — песнь о крепкой любви.

«Прекрасный Сорё в опояске лесной!» — тихий монастырский город выглядывает из-за обомшелых деревьев; глаза у не-

го молодые, и смотрит он по-над озером на железную дорогу, слышит, как пыхтит летящий по лесу паровоз. Сорё, жемчужина поэзии, где покоится прах Хольберга! Точно огромный белый лебедь, красуется у глубокого лесного озера твоя обитель учености, а пониже на склоне — туда-то и устремлен наш взор — белеет, словно звездчатка в траве, маленький домик, на всю страну разносятся оттуда псалмы, долетают голоса, даже крестьянин прислушивается к ним и узнаёт о былых временах датской державы. Зеленый лес и птичьи напевы неразделимы, как неразделимы Сорё и Ингеманн.

Вперед, в Слагельсе! Что отражается здесь в гладкой жемчужине? Пропал монастырь Антворскоу, пропали богатые покои замка и даже стоявший поодаль заброшенный флигель, а вот одна примета старины пока уцелела, ее обновляют снова и снова — деревянный крест на холме, где в эпоху легенд пробудился святой Андерс, слагельский священник, в одну ночь перенесенный сюда из Иерусалима.

Корсёр — именно в Корсёре родился тот, кто подарил нам

...серьезность с шуткой пополам  
в напевах Зеландца Кнуда.

О мастер слова и шутки! Осевшие старые валы заброшенной крепости — последние зримые очевидцы твоего детства! Когда солнце садится, их тени указывают на то место, где стоял твой родной дом; с этих валов, глядящих на вершину острова Спрогё, ты ребенком видел, как «луна скользит за остров», и воспел ее в бессмертных стихах, а позднее воспел точно так же и горы Швейцарии, ты странствовал по мирскому лабиринту и пришел к выводу, что:

...ах, розы нигде не алеют так ярко,  
Нигде не увидишь столь малых шипов,  
Подушки нигде не покоят так мягко,  
Как в детстве невинном родительский кров.

Милый певец забав! Из душистой смолки мы сплетем тебе венок, бросим в море, и волны отнесут его в Кильскую бухту, на берегу которой погребен твой прах; венок — это привет от молодого поколения, привет от Корсёра, города, где ты родился и где кончается наша жемчужная ниточка.

## II

— И впрямь жемчужная ниточка — от Копенгагена до Корсёра, — сказала бабушка, выслушав все, что мы только что прочитали. — Совершенно согласна, правда, мне эта жемчужная ниточка знакома вот уж двадцать четыре с лишним года. Паровозов тогда не было, и на тот путь, какой вы одолеваете за несколько часов, мы тратили по несколько дней. Шел тысяча восемьсот пятнадцатый год, мне аккурат сравнялось двадцать один — прекрасный возраст! Впрочем, и шестьдесят — тоже возраст прекрасный, благословенный!.. В дни моей молодости поездки в Копенгаген, в город, которому нет равных, как мы считали, случались куда реже, чем теперь. Мои родители после двадцатилетнего перерыва решили снова съездить в столицу и меня с собой взять; разговоры об этой поездке велись не один год, и вот наконец она состоится! Мне казалось, начнется совсем новая жизнь, и, в общем-то, для меня действительно началась новая жизнь.

Шили обновки, собирали баулы и чемоданы, и, поскольку мы готовились к отъезду, множество друзей приходили попрощаться! Путь-то нам предстоял неблизкий. Около полудня мы выехали из Оденсе в голштинском экипаже родителей, и всю дорогу, почти до самых ворот Святого Йоргена, знакомые кивали нам из окон. Погода стояла чудесная, кругом пели птицы — сущее наслаждение, все думать забыли, что дорога до Ньюборга долгая и утомительная; добрались мы туда уже под вечер, но почту доставят только ночью, и до тех пор ни одно пассажирское судно не отчалит. Мы взошли на



борт, перед нами, сколько хватало глаз, раскинулся пролив, тихий такой, спокойный. Мы, не раздеваясь, прилегли и уснули. Утром, когда я поднялась на палубу, все вокруг тонуло в густом тумане, ничегошеньки не видать. Я слышала петушиные крики и колокольный звон, чувствовала, что солнце взошло, но где же мы находились? Мало-помалу туман поредел — оказывается, мы по-прежнему были в виду Ньюборга. Днем наконец-то подул легкий ветерок, но встречный, а не попутный; мы все плыли, плыли и только вечером, в начале двенадцатого, наконец благополучно приблизились к Корсёру — целых двадцать два часа одолевали четыре мили.

Так хорошо было сойти на берег, но кругом царила тьма, фонари светили тускло, и все казалось мне донельзя чужим — не удивительно, ведь я никогда раньше не покидала Оденсе.

«Смотри! Здесь родился Баггесен! — сказал мне папенька. — Здесь жил Биркнер!»

И мне вдруг почудилось, будто старый город с маленькими домишками разом стал светлее и больше; вдобавок мы были ужасно рады ступить на твердую землю. Ночью я глаз не сомкнула от избытка впечатлений — столько всего успела повидать и пережить с тех пор, как третьего дня выехала из дому.

Наутро мы поднялись рано, нас ожидало путешествие до Слагельсе по скверной дороге с опасными крутыми подъемами и множеством рыгвин, да и после было не намного лучше, а нам хотелось поскорее добраться в Сорё, до постоянного двора «Рачий дом», чтобы засветло навестить в городе Мельникова Эмиля, как мы его звали, это ваш дедушка, мой покойный муж, пробст, тогда он учился в Сорё и готовился к второму экзамену.

После полудня мы подъехали к «Рачьему дому», в те поры это было очень приличное заведение, лучший постоянный двор на всем пути, гостиница и посейчас превосходная, нельзя не признать, верно? Хозяйничала там мадам Пламбек, женщина прилежная, работающая, в доме все так и сверкало

чистотой. На стене, в раме под стеклом, висело адресованное ей письмо Баггесена — вот на что стоило посмотреть! Для меня это было просто чудо. Потом мы отправились в город и встретились с Эмилем. Можете мне поверить, он обрадовался нам, а мы — ему, такому милому и внимательному. Вместе с ним мы осматривали церковь с усыпальницей Абсалона и саркофагом Хольберга, разглядывали монашеские надписи, прокатились на лодке по озеру в «Парнас» — я отлично помню тот чудесный вечер! Мне в самом деле казалось, что если где на свете и можно сочинять стихи, так именно в Сорё, среди мирной здешней природы и красоты. В сиянии луны мы прогулялись по Философской аллее, так местные жители называли прелестную уединенную дорожку, что вела по берегу озера и речки в сторону проезжей дороги к постоялому двору. Эмиль остался на ужин, и родители мои решили, что он стал ужасно умным и выглядел замечательно. Он обещал дней через пять, на Троицу, приехать к своим в Копенгаген и побыть с нами. Эти несколько часов в Сорё и на постоялом дворе — из числа прекраснейших жемчужин моей жизни...

Следующим утром мы встали чуть свет, путь до Роскилле неблизкий, а нам надо было попасть туда пораньше, чтобы посмотреть церковь и чтобы папенька ближе к вечеру мог навестить своего старого школьного товарища. Все прошло благополучно, мы заночевали в Роскилле, а на другой день добрались до Копенгагена, правда, не спозаранку, а около полудня, потому что дорога была прескверная, совершенно разбитая. На весь путь от Корсёра до Копенгагена мы потратили около трех дней, у вас же на это уходит три часа. Жемчужины драгоценней не стали, это им не дано, а вот сама ниточка новая, удивительная. В Копенгагене мы с родителями гостили три недели. Эмиль провел вместе с нами целых восемнадцать дней, когда же мы поехали домой, на Фюн, он проводил нас из Копенгагена до самого Корсёра. Там перед его отъездом состоялась наша помолвка —

стало быть, вам понятно, что и для меня от Копенгагена до Корсёра тянется жемчужная ниточка.

Позже, когда Эмиль получил приход под Ассенсом, мы поженились и часто вспоминали эту поездку в Копенгаген, мечта совершить еще одну, но вскоре родилась ваша мама, потом ее братишки и сестренки, хозяйство вести надо, забот полон рот, а когда Эмиля повысили, назначили пробстом, зажили мы в благополучии, достатке и радости, только вот в Копенгаген так и не съездили. Не довелось мне побывать там снова, сколько мы об этом ни мечтали и ни говорили, теперь же я слишком стара, сил нет, чтобы ездить на поезде. Однако я рада железным дорогам — это великое благо! И вы ко мне куда быстрее приезжаете! Теперь Оденсе не намного дальше от Копенгагена, чем в моей юности от Ньюборга. Вы теперь можете до Италии домчаться за то же время, какое мы тратили на поездку в Копенгаген! Это вам не шутки! И все-таки я сию дома — пускай другие ездят, навещают меня. Но вам негоже смеяться, что я сиднем сию, у меня впереди путешествие куда поболее вашего да и намного стремительнее, чем по железной дороге. Когда будет на то воля Господня, я отправлюсь ввысь, к дедушке, и вы, закончив свои земные дела и насладившись этим благословенным миром, тоже придете к нам, я знаю, и коли доведется нам потолковать о днях земной нашей жизни — поверьте мне, дети! — я снова повторю: «И впрямь жемчужная ниточка — от Копенгагена до Корсёра».

---

## ПЕРО И ЧЕРНИЛЬНИЦА

**В** комнате поэта, глядя на чернильницу, что стояла на столе, кто-то сказал:  
— Удивительно, сколько всего может выйти из этой чернильницы! Что же на очереди теперь? Не да, удивительно!

— В том-то и дело. Непостижимо, как я не устаю повторять! — сказала чернильница, обращаясь к пишему перу и прочим вещицам на столе, которые могли ее слышать. — Удивительно, сколько всего может из меня выйти! Просто не верится! И я вправду сама не знаю, что появится дальше, когда человек примется черпать из меня. Одной моей капли хватает ни много ни мало на полстраницы — чего только не напишешь! Да, на меня не грех и подивиться! Ведь все создания поэта выходят именно из меня! Эти поистине живые люди, которые читателям кажутся хорошо знакомыми, и сердечные чувства, и доброе расположение духа, и прелестные описания природы — я сама дивую даюсь, потому что, хоть и не знаю природы, она почему-то вся во мне! Из меня выходили и выходят целые сонмы воздушных, прелестных девушек, отважных рыцарей на храпящих скакунах, Пер Девер и Кирстен Кимер! Не знаю, как у меня получается! Уверю вас, я же вовсе об этом не думаю.

— Тут вы правы! — сказала пишчее перо. — Вы впрямь не думаете, ведь если б думали, то смекнули бы, что всего

лишь даете чернила! Даете жидкость, чтобы я высказало, перенесло на бумагу, записало то, что ношу в себе. Пишет-то перо! В этом человек не сомневается, а в поэзии большинство людей смысляют не больше, чем старая чернильница.

— У вас просто нет опыта! — сказала чернильница. — Вы-то всего неделю на службе, а уже почти стерлись. Воображаете, будто вы и есть поэт! Но вы только слуга, таких у меня и до вас было много — что из гусяного семейства, что с английской фабрики! Мне знакомы и гусяные перья, и стальные! Сколько их было у меня в услужении и сколько еще будет, когда он, человек, который делает за меня движения, придет и станет записывать то, что извлечет из моего нутра. Хотелось бы мне знать, что он первым делом из меня достанет.

— Бочка чернильная! — буркнуло перо.

Поздно вечером домой вернулся поэт. Он ходил в концерт, слушал замечательного скрипача и был переполнен волнением и восторгом от его бесподобной игры. Дивные звуки потоком струились из его инструмента: то словно бы звонкие капли сыпались хрустальными бусинками, то словно бы щебетал птичий хор или буря шумела в елях. Поэту чудилось, будто он слышит рыдания собственного сердца, только пел в них нежный женский голос. Звучали не просто скрипичные струны, но гриф и даже колки и дека — изумительно! Однако и силы требовались немалые, хотя со стороны все выглядело сущей забавой, смычок с легкостью летал туда-сюда по струнам, словно любому по плечу такое. Скрипка звучала сама собою, и смычок двигался сам собою, они двое и творили музыку, про мастера как-то забывали, а ведь именно он вел смычок, вдыхал в скрипку жизнь и душу; про мастера забывали, однако поэт думал о нем, восхищался им и записал свои мысли:

«Сколь нелепо было бы смычку и скрипке кичиться своим деянием! А ведь мы, люди — поэты, художники, ученые, изобретатели, полководцы, — так часто кичимся, хотя все мы лишь инструменты в руках Господних! Лишь Он достоин славы!»

Вот что написал поэт, написал, как притчу, и назвал ее «Мастер и инструменты».

— Вот вы и получили свое, сударыня! — сказало перо чернильнице, когда они вновь остались одни. — Слышали ведь, как он прочел то, что мною записано?

— Что я позволила вам записать, — отозвалась чернильница. — Это камешек в ваш огород, за вашу спесь! Вы даже не способны уразуметь, что над вами насмеваются! Я бросила в вас камень, не пожалела своих чернил! Мне ли не знать своих каверз.

— Миска с чернилами! — фыркнуло перо.

— Оглодок писчий! — не осталась в долгу чернильница.

Оба они ничуть не сомневались, что ответили друг другу как подобает, а сознавать свою правоту очень приятно, и с такими вот мыслями перо и чернильница уснули. Поэт, однако, глаз не мог сомкнуть, мысли струились потоком, словно песня скрипки, звенели, словно жемчужные зерна, шумели, словно буря в лесу, он различал мелодию собственного сердца, видел живительный свет вечного Мастера.

Лишь Он достоин славы!

---

## У МОГИЛЫ РЕБЕНКА

**П**ечаль царила в доме, печаль в сердцах — умер младший ребенок, четырехлетний мальчик, единственный сын, радость и надежда родителей. У них были еще две дочери, девочки милые, добрые, старшей как раз в этом году предстояла конфирмация, но потерянный ребенок всегда самый любимый, тем более младший, тем более сын. Тяжкое испытание. Сестры горевали, как горюют юные сердца, в особенности тронутые болью родителей; отец с матерью были совершенно убиты великим горем. День и ночь мать не отходила от больного ребенка, ухаживала за ним, носила на руках; сынок был частью ее существа, и у нее в голове не укладывалось, что он умер, что его положат в гроб и похоронят в могиле. Не может Господь Бог отнять у нее это дитя, думала она, а когда это все же случилось, стало реальностью, сказала в своей неизбывной муке:

— Господь ничего не ведал! Здесь, на земле, у него бессердечные слуги, они действуют по собственному усмотрению и не внимают материнским мольбам.

В своей боли она отступилась от Господа, и тогда пришли черные мысли, мертвые мысли о вечной смерти, о том, что человек прахом возвращается в землю и тогда всему конец. Этакими мыслями лишили ее всякой опоры, и погрузилась она в бездонную пропасть отчаяния.

Не было у нее больше слез, чтобы плакать в самые тяжкие минуты, не думала она о своих дочерях и на мужа не смотрела, когда слезы его падали ей на лоб; все ее помыслы принадлежали умершему сыну, вся ее жизнь сосредоточилась на одном — до мелочей оживить в себе память о нем, каждое простодушное детское слово.

Настал день похорон, уже несколько ночей мать не смыкала глаз и под утро, сморенная усталостью, ненадолго задремала. Гроб тем временем вынесли в дальнюю комнату и там прибили крышку, чтобы она не слышала стука молотка.

Когда же бедняжка проснулась и пришла туда, желая увидеть свое дитя, муж сквозь слезы сказал ей:

— Мы прибили крышку, так надо!

— Коли Господь жесток ко мне, — воскликнула она, — можно ли от людей ждать пощады?! — И разрыдалась.

Гроб отнесли на кладбище и похоронили. Безутешная мать сидела подле дочерей, смотрела на них и не видела, помыслы ее вовсе отрешились от дома, она предалась скорби, и скорбь швыряла ее, как бурное море швыряет корабли, оставшиеся без руля и ветрил. Так минул день похорон, и потянулось за ним множество дней, преисполненных одной и той же безысходной боли. Печально, со слезами на глазах смотрели на нее горюющие родные, она не внимала их утешениям, да и что они могли ей сказать, сами слишком печалились.

Она словно бы и сна больше не знала, а ведь только он и стал бы ей лучшим другом, укрепил бы плоть, принес бы в душу покой. Ее уложили в постель, и она лежала тихо-тихо, будто спала. Однажды ночью муж прислушался к ее дыханию, и показалось ему, что она нашла покой и облегчение, оттого-то он сложил ладони, помолился и уснул крепким, здоровым сном. Не услышал он, что жена встала, торопливо оделась и тихонько вышла из дома, отправилась туда, куда день и ночь стремилась всеми помыслами, — к могиле, в которой лежало ее дитя. Поспешила через сад в поле, на тро-



пинку, что в обход поселка вела на кладбище. Никто ее не видел, и она никого не видела.

Стояла прекрасная звездная ночь, воздух теплый, ведь на дворе всего лишь сентябрь. Она прошла на кладбище, к могилке, похожей на огромный букет благоуханных цветов, села рядом, склонилась к холмику головою, будто могла сквозь толстый слой земли увидеть своего мальчика, чья улыбка помнилась ей как наяву. Ласковый взгляд, даже на одре болезни, забыть невозможно — как много говорили его глаза, когда она наклонялась к нему и брала маленькую ручку, которую он уже и поднять был не в силах. Вот так же, как сидела у его постели, сидела она теперь у могилы, и тут слезы ручьем хлынули у нее из глаз и закапали наземь.

— Ты хочешь уйти в землю, к своему ребенку? — слышался рядом чей-то голос, звучный, глубокий, проникший ей в самое сердце.

Она подняла голову: подле нее стояла фигура в просторном черном плаще с капюшоном, надвинутым низко на лоб, однако ж лицо, хотя и суровое, внушало доверие, а глаза сияли блеском молодости.

— Да, в землю, к моему сыночку! — подхватила мать с отчаянной мольбою.

— Дерзнешь ли последовать за мною? Ведь я — смерть!

Мать кивнула — и тотчас все звезды небесные заблестали, словно полная луна, и увидала она роскошные яркие цветы на могиле, а земля вдруг размякла, расселась, словно хлипкое сукно, и она провалилась в глубину. Смерть укрыла ее своим черным плащом, объяла мраком ночи, вечной ночи, и погрузилась она куда глубже, чем достигает заступ могильщика, кладбище стало крышей над ее головою.

Но вот плащ скользнул в сторону. Мать очутилась в огромном чертоге, величественном и все же гостеприимном; сумрак царил вокруг, а перед собою она увидела своего ребенка и вмиг прижала его к сердцу. Мальчик улыбался ей, и улыбка его бы-

ла прекрасна, как никогда. Она вскрикнула, однако же крика своего не услышала, ведь то совсем рядом, то вдалеке, то снова вблизи плескались волны прелестной музыки, никогда прежде не ласкали ее слух столь сладкогласные напевы, и звучали они по ту сторону плотной, черной как ночь завесы, отделявшей этот чертог от великой Страны Вечности.

— Милая моя маменька! Родная моя! — повторял ее сынок.

Голосок у него был прежний, хорошо знакомый, любимый; в бесконечном блаженстве она осыпала мальчика поцелуями, а он, показав на темную завесу, молвил:

— На земле вовсе не так красиво, как здесь! Ты только погляди, мама, на них на всех! Вот оно, блаженство!

Однако там, куда он показывал, мать не видела ничего, кроме черной ночи; она смотрела земными глазами, не так, как ребенок, которого Господь призвал к себе, она слышала звуки, слышала музыку, но не Слово, в которое должно верить.

— Я теперь могу улететь, мама, — сказал ребенок, — вместе с остальными детьми улететь прямо к Господу, и мне очень этого хочется, но, когда ты плачешь, как сейчас, я не могу покинуть тебя, хотя очень хочу! Отпусти меня! Ведь ты, милая мама, скоро соединишься со мною!

— Ах, останься, останься! — воскликнула она. — Еще на минуточку! Дай еще разок посмотреть на тебя, поцеловать, крепко обнять!

Она целовала его, крепко обняв. И тут сверху донеслось ее имя. Отчего оно прозвучало так жалобно? Что случилось?

— Слышишь? — сказал ребенок. — Это папенька зовет тебя!

А через секунду-другую до них долетели глубокие вздохи, словно дети всхлипывали от плача.

— Это мои сестры! — сказал ребенок. — Мама, ты ведь их не забыла?

И она вспомнила о тех, что остались наверху, и страх завладел ею, она смотрела прямо перед собой и видела, как ми-

мо летят какие-то существа, некоторые вроде бы знакомые. Они парили в чертоге смерти, направляясь к черной завесе, и пропадали. Вдруг сейчас появятся ее муж и дочери? Нет! И зов, и вздохи донеслись сверху. А она-то чуть не забыла их, думала только об усопшем.

— Мама, в Царстве Небесном бьют колокола! Мама, солнце восходит! — сказал ребенок.

Тут ее захлестнуло потоком могучего света — ребенок пропал, а ее повлекло ввысь. Вокруг стало холодно, она подняла голову и увидела, что лежит на кладбище, на могиле сыночка, но во сне Господь стал ей опорой, светочем разума, она преклонила колена и взмолилась:

— Господи Боже мой, прости мне, что хотела я удержать от полета вечную душу и что забыла я свой долг перед живыми, который Ты возложил на меня!

И как только мать произнесла эти слова, с сердца словно бы спала тяжесть. Солнце встало, малая пташка распевала у нее над головой, церковные колокола звонили к заутрене. Светло и торжественно было вокруг, светло и торжественно было у нее на сердце. Она узнала Господа, узнала свой долг и со всех ног поспешила домой. Склонившись к мужу, она разбудила его теплым, ласковым поцелуем, и оба сказали друг другу сердечные, ласковые слова, и в ней были та сила и мягкость, что подобают жене, все ее существо дышало утешением:

— Воля Господа всегда самая благая!

— Откуда же взяла ты эту силу, этот утешный дух? — спросил муж, и она, целуя его и дочек, ответила:

— От Господа, у могилы ребенка.

---

## ДВОРОВЫЙ ПЕТУХ И ПЕТУХ-ФЛЮГЕР

**Ж**или-были два петуха, один на навозной куче, другой на крыше, и оба ужас как заносились, но который же из двоих достиг большего? Скажи-ка свое мнение — впрочем, мы останемся при своем.

Дощатый забор отделял птичий двор от другого двора, где высилась навозная куча, а на ней рос большущий огурец, парниковый и прекрасно о сем факте осведомленный.

«Парниковым можно только родиться! — говорил он себе. — И огурцом не всякому дано родиться, ведь без разных других живых созданий опять же не обойтись. Куры, утки и прочие обитатели соседнего двора тоже, что ни говори, живые твари. Дворовый петух — вон он на заборе — вызывает у меня немалое уважение, другой-то петух, флюгер, хоть и забрался высоко на крышу, даже скрипеть не умеет, не то что кукарекать! Ни кур у него нету, ни цыплят, лишь о себе думает да потеет ярью-медянкой! Нет, дворовый петух — вот кто всем взял! Гляньте, как вышагивает, — ну чисто танцор! А как кричит — любой музыкант-трубач обзавидуется! Это всякому ясно! Вздумай он склевать меня целиком, вместе с листьями и стеблем, я бы за счастье почел — блаженная смерть, лучше не бывает!»

Ночью разбушевалась нешуточная непогода; куры, цыплята и петух искали, где бы укрыться! Ветер повалил забор

между дворами — грохот был несусветный! Черепица с крыши градом летела наземь, однако петух-флюгер стоял крепко, даже не повернулся ни разу — не мог! Он хотя и был молодой, недавно из литейной печи, но отличался благоразумием и солидностью, можно сказать, родился стариком и ничуть не походил на летучих небесных пташек, воробьев и ласточек, которых ни в грош не ставил: «Мелочь писклявая, смотреть не на что, поистине серость». Голуби, думал флюгер, птицы крупные, гладкие, переливчатые, словно перламутр, на вид они чем-то сродни петухам-флюгерам, только жирные и глупые, и на уме у них одна кормежка — прескучные создания! Его и перелетные птицы навещали, рассказывали истории про чужие края, про воздушные караваны да жуткие были и небылицы про хищных птиц. По первому разу все это было петуху-флюгеру внове, вызывало любопытство, однако позднее он понял, что они знай перепевают одно и то же, — вот скука! И птицы скучные, и вообще все скучно, поговорить не с кем, куда ни глянь — сплошь тоска зеленая.

— Мир никуда не годится! — твердил петух-флюгер. — Кругом глупость да вздор!

Этот петух был, что называется, большой сноб, и огурец, знай он об этом, непременно бы им заинтересовался, однако ж он смотрел только на дворового петуха, а тот как раз зашел к нему во двор.

Забор повалился, но гроза миновала.

— Что скажете о давешнем петушином крике? — спросил дворовый петух у квочек и цыплят. — Слишком грубый, никакого благородства!

Куры и цыплята устремились к навозной куче, петух величественно зашагал следом.

— Садовая штучка! — сказал он огурцу, и в этих словах тот распознал широчайшую петухову образованность и от восторга даже не почувствовал, как его расклеивают.

— Блаженная смерть!

Сбежались куры, за ними цыплята, куда один, туда и другие, и все они кудахтали, и пищали, и смотрели на петуха, и ужас как гордились — ведь он из их роду-племени.

— Кукареку! — закричал он. — По первому моему слову в мировом курятнике цыплята сей же час станут взрослыми курами!

А куры и цыплята тоже закудахтали-запищали.

Петух же провозгласил великую новость:

— Петух может снести яйцо! И знаете, что в этом яйце спрятано? Василиск! Вида его никто не выдерживает! Люди знают об этом, а теперь и вы знаете, что живет во мне! Знаете, что я всем петухам петух!

И дворцовый петух захопал крыльями, вскинул гребешок и кукарекнул еще раз. Куры с цыплятами прямо дрожмя задрожали, но ужас как возгордились: еще бы, ведь их кочет — всем петухам петух! Они так кудахтали и пищали, что и петух-флюгер наверняка услышал. Он и вправду услышал, но даже не пошевелился.

«Все это глупость да вздор! — сказал он себе. — Дворцовый петух никогда яиц не несет, а мне лень! Если б захотел, я бы сам снес яйцо, и даже без скорлупы! Но мир недостойн моего яйца! Все глупость да вздор! Мне теперь и сидеть неважно!»

И петух-флюгер обломился, сорвался с крыши, но дворцового петуха не зашиб, хотя, как говорили куры, задумал-то смертоубийство. А что говорит мораль?

Лучше кукарекать, чем быть снобом и сорваться с крыши.

---

## «ПРЕЛЕСТЫ!»

**Т**ы, наверно, знаешь скульптора Альфреда? Мы-то все его знали: он получил золотую медаль, ездил в Италию и вернулся на родину; тогда он был молод да и сейчас молод, хоть и стал на десять лет старше.

Стало быть, вернулся он на родину и поехал погостить в один из маленьких зеландских городков, весь город знал о приезде, знал, кто он такой. В его честь одно из богатейших тамошних семейств устроило званый вечер, пригласили всех, кто хоть что-то из себя представлял или кое-чем обладал. Этот вечер поистине стал огромным событием, и горожанам не требовалось барабанных оповещений. Мальчишки мастеровые, детвора и кое-кто из родителей стояли на улице, глядя на освещенные зашторенные окна. Сторожу было отчего задрать нос — вон сколько народу собралось, веселье хоть куда, а в доме и того пуще, ведь там был Альфред, скульптор.

Он говорил, он рассказывал, и все слушали его с радостью, с благоговением, но никто не слушал внимательнее, чем пожилая вдова-чиновница, которая буквально ловила каждое Альфредово слово, впитывала сказанное, как серая хлопчатая бумага, и просила еще, невероятно восприимчивая, невероятно невежественная, этакий Каспар Хаузер в юбке.

— Хотелось бы мне увидеть Рим! — сказала она. — Красивый, наверно, город, ведь туда столько иностранцев

съезжаются. Опишите нам Рим! Как там все выглядит, когдаходишь в ворота?

— Описать не так-то легко! — отвечал молодой скульптор. — Там находится большая площадь, а посредине стоитobelisk, которому четыре тысячи лет.

— Неужто органист! — ахнула чиновница, которая никогда раньше не слыхала слова «obelisk».

Кое-кто едва не расхохотался, в том числе и сам скульптор, но улыбка, мелькнувшая на губах, растаяла в созерцании, потому что рядом с чиновницей он увидел большие, синие, как море, глаза — это была ее дочь, а когда у человека такая дочь, он никак не может быть совсем уж простаком. Маменька так и сыпала вопросами, они прямо рекой из нее струились, а дочка, прекрасная наядя этой реки, слушала. Ах, какая прелесть! Отрада для глаз скульптора, но разве с нею заговоришь? И сама она ничего не говорила, а если и говорила, то очень мало.

— Велика ли у Римского Папы семья? — спросила чиновница.

И молодой человек отвечал, как если б вопрос был поставлен иначе, правильнее:

— Нет, он не из знатной семьи!

— Я не о том! Мне хочется знать, есть ли у него жена и дети.

— Папа не вправе жениться!

— Я этого не одобряю! — воскликнула чиновница.

Ей бы, конечно, не мешало говорить и спрашивать поумнее, но, если бы она не задавала вопросов и не говорила так, как все слышали, разве бы дочка льнула к ее плечу и улыбалась едва ли не трогательной улыбкой?

А господин Альфред все говорил, говорил — о многоцветье красок Италии, о голубеющих горах, о синем Средиземном море, о южной лазури, какую на севере превосходят красой лишь синие глаза здешних женщин. Это было сказано с особым намеком, но та, кому полагалось бы понять намек, даже виду не показала, что поняла, но и это было прелестно!



— Италия! — вздыхали одни.

— Путешествия! — вздыхали другие. — Прелесть, прелесть!

— Вот выиграю в лотерею пятьдесят тысяч ригсдалеров, — изрекла вдова, — тогда и съездим! Мы с дочкой и вы, господин Альфред! Будете нашим вожатым! Втроем поедем! И кой-кого из добрых друзей с собою возьмем! — И она привеливо кивнула собравшимся, каждый мог думать, что его-то как раз и пригласят. — Поедем в Италию! Только не туда, где разбойники, в Риме останемся, а ездить будем по большим трактам, в безопасности.

Дочь тихонько вздохнула. Как много можно сказать одним вздохом и как много в нем прочесть — молодой человек прочел много чего. Синие глаза, что осияли ему этот вечер, таили сокровища, сокровища души и сердца, богаче всей роскоши Рима, и, покидая общество, он был покорен — покорен этой девушкой.

В доме вдовы скульптор Альфред бывал теперь чаще всего. Люди, конечно, понимали, что ходит он туда не ради маменьки, хотя беседовала с ним всегда именно она, — нет, он, без сомнения, приходил ради дочки. Звали ее Калла, по правде-то, Карен Малена, но два имени соединились в одно — Калла. Прелесть девушка, однако ж с ленцой, говорили в народе, ведь по утрам она любит понежиться в постели.

— У нее с детства такая привычка! — объясняла маменька. — Она всегда была, что называется, дитя Венеры, хрупкая, нежная, а они так легко устают. Ну, залеживается она в постели, зато глазки от этого вон какие ясные.

Сколько же силы было в этих ясных глазах! В этих синих озерах! В этих тихих бездонных омутах! Кто-кто, а молодой человек хорошо это знал, недаром утонул в их пучине... Он все говорил да рассказывал, маменька же сыпала вопросами, оживленно, непринужденно, как при первой встрече.

Слушать господина Альфреда было сущее наслаждение. Он рассказывал о Неаполе, о восхождениях на Везувий

да еще и показывал на цветных картинках всякие извержения. Вдова никогда раньше ни о чем таком слыхом не слыхивала и думать не думала.

— Боже милостивый! — ахала она. — Огнедышащая гора! Он нее, поди, и люди пострадать могут?

— Два города она погубила — Помпеи и Геркуланум! — отвечал Альфред.

— Ох, горемычный народ! И вы сами это видели?

— Нет, извержений, тех, что на картинках, я не видел, но покажу вам свой рисунок извержения, которое видел собственными глазами.

С этими словами он достал карандашный набросок, а маменька, увлеченно разглядывавшая яркие цветные картинки, глянула на блеклый карандашный набросок и с удивлением воскликнула:

— При вас он изрыгал белый огонь!

На миг маменька сильно упала у глазах господина Альфреда, но вскоре, глядя на Каллу, он решил, что маменька ее лишена чувства цвета, вот и все, зато у нее есть самое лучшее, самое прекрасное — Калла.

И Альфред обручился с Каллой, что было вполне естественно, и городская газета сообщила об их помолвке. Маменька приобрела целых тридцать экземпляров, чтобы вырезать объявление и разослать в письмах друзьям и знакомым. Обрученные были счастливы, маменька тоже, она же породнится чуть ли не с самим Торвальдсенем.

— Ведь Альфред — его продолжатель! — объявила она.

Ее слова показались Альфреду весьма справедливыми. Калла не сказала ничего, но глаза ее сияли, на губах играла улыбка, каждое движение дышало прелестью. Она, и правда, была прелестна, можно без усталости твердить об этом.

Альфред взялся вылепить бюсты Каллы и ее маменьки. Обе сидели перед ним и смотрели, как он мнет и разглаживает пальцами мягкую глину.

— Ради нас, — сказала маменька, — вы сами делаете черную работу, а ведь могли бы поручить ее помощнику — пусть месит!

— Я должен лепить сам, иначе нельзя! — отвечал скульптор.

— Н-да, вы всегда невероятно учтивы! — воскликнула маменька, а Калла молча сжала его перепачканную глиной руку.

Он расписывал им великолепие всего сущего в природе, говорил, что живое превышает мертвого, растение превышает минерала, животное превышает растения, а человек превышает животного, что дух и красота открываются через форму и что скульптор помогает земным формам явиться во всем великолепии.

Калла молчала, обдумывая услышанное, а маменька ее призналась:

— Трудненько уследить за вашими рассуждениями! Мои мысли за вашими не поспевают, путаются, однако ж я истине околдована.

А скульптора околдовала прелесть, одолела его, заполонила, подчинила себе. Прелестью лучилось все существо Каллы — и ее взгляд, и губы, даже легкие движения пальцев, Альфред так и сказал, ведь кто-кто, а он, скульптор, знал толк в подобных вещах. Он говорил только о ней, думал только о ней, они как бы стали одним существом — значит, и она тоже говорила много, он-то вообще рта не закрывал.

Ну вот, сперва помолвка, а там пришел и день свадьбы, с невестиними подружками, с подарками, что были перечислены в благодарственной речи невесты.

В доме у невесты теща поставила на столе, у торца, бюст Торвальдсена, облаченного в шлафрок, — вздумалось ей представить его гостем. За столом пели песни, произносили тосты, пили. Свадьба вышла на славу, веселая, шумная, новобрачные — пара прелестная. «Галатею получил Пигмалион», — так пелось в одной из песен.

— Экая мифология! — заметила теща.

Наутро молодые уехали в Копенгаген, жить они будут там. Теща отправилась с ними, чтобы, как она сказала, взять на себя тяжелую работу, то бишь вести хозяйство. Калла поселится в таком кукольном домике. Все кругом новенькое, блестящее, прелестное — кукольный домик на троих. И Альфред, как говорится, зажил припеваючи.

Волшебство формы околдовало его, он любовался футляром и внутрь не заглядывал, а это супружеству не на пользу, ох не на пользу, ведь как только футляр расклеится и позолота облетит, придет сожаление. Очень неприятно, когда в многолюдном обществе вдруг замечаешь, что потерял пуговицы от обеих подтяжек и на ремень рассчитывать нельзя, его попросту нет, но гораздо хуже, когда в многолюдном обществе слышишь, что жена и теща говорят глупости, и не можешь придумать ничего мало-мальски остроумного, чтобы эти глупости загладить.

Частенько молодые супруги сидели рядышком, держась за руки, он говорил, изредка и она роняла словечко — все тот же мотив, те же две-три нотки. Свежестью веяло, только когда заходила Софи, подруга Каллы.

Красотой эта Софи не блистала, хотя и особых изъянов не имела, разве что сутуловата немного, говорила Калла, ну да этого никто, кроме подруг, не замечает. Очень разумная девушка, только вот не думала она не гадала, что окажется тут опасной. В кукольном домике она была свежим дуновением, а без свежего дуновения не обойтись, это они все понимали. Да, надо проветриться, на том и порешили — молодые супруги поехали в Италию вместе с тещей.

— Слава Богу, наконец-то дома! — сказали маменька и дочка, когда через год все трое, и Альфред тоже, воротились в Данию.

— Никакой радости эти путешествия не доставляют, — объявила теща. — Одна скука! Вы уж не взъщитесь, что я этак говорю. Я изнывала от скуки, хотя со мной были дети!

К тому же поездка стоит денег, бо-ольших денег! А сколько галерей надобно осмотреть! Сколько разных мест обегать! Иначе-то никак нельзя, ведь вернешься домой — сразу за-сыплют вопросами. И все равно услышишь, что как раз самое красивое посмотреть забыл. В конце концов эти вечные мадонны донельзя мне наскучили, того и гляди, сама такой станешь.

— А еда какая! — вставила Калла.

— Порядочного мясного супа не подадут! — подхватила маменька. — Горе, а не стряпня!

Каллу потешествование очень утомило, и усталость не оставляла ее, вот что хуже всего. Софи переехала к ним и оказалась весьма полезной.

— Нельзя не признать, — сказала теща, — Софи и в домашнем хозяйстве разбирается, и в художествах, и во всем, что ей самой было совершенно не по карману, вдобавок она девушка весьма достойная, преданная.

Софи вполне продемонстрировала эти качества, когда Калла слегла и стала чахнуть день ото дня.

Когда футляр — только футляр, он должен держаться крепко, иначе ему конец, а футляр не выдержал — умерла Калла.

— Она была прелесть! — говорила маменька. — Не то что всякие там древности, они же сплошь поломанные, разбитые! А она была целая-невредимая, без изъянов, как и положено красавице.

Альфред плакал, и маменька плакала, и оба они носили траур. Маменьке черное было к лицу, и она ходила в черном долго-долго, тем более что печали у нее прибавилось: Альфред женился снова, на Софи, на этой дурнушке.

— В крайности бросается! — воскликнула теща. — От самого прелестного к самому невзрачному. Забыл первую-то жену. Да, постоянством теперешние мужья похвастать не могут! Мой муж был другим! И умер прежде меня.

— «Галатею получил Пигмалион», — так пелось в свадебной песне, — сказал Альфред. — Я действительно влюбился в прелестную статую, ожившую в моих объятиях. Но родную душу, посланную небесами, ангела, который разделяет наши чувства, разделяет наши помыслы, ободряет, когда мы готовы склониться, — родную душу я нашел только сейчас. В тебе, Софи! Ты не взяла ни прелестью формы, ни блеском, но и без того хороша, краше не надо! Суть — вот что главное! Ты пришла и преподавала скульптору урок, объяснила, что его труд всего лишь глина, прах, глиняный оттиск внутренней сути, каковую нам и должно искать. Бедная Калла! Наша земная жизнь была словно путешествие! Там, в вышине, где царит любовь, мы, может статься, будем друг другу почти чужими.

— Нехорошо ты это сказал, не по-христиански! — воскликнула Софи. — Там, наверху, где нет супружества, но, как ты говоришь, души встречаются в любви, там, где все прекрасное раскрывается и возвышается, ее душа, быть может, зазвучит в полную силу и заглушит мою, а ты — ты снова невольно воскликнешь в порыве первой любви: прелесть, прелесть!

---

## ИСТОРИЯ, СЛУЧИВШАЯСЯ В ДЮНАХ

Эта история прилетела к нам с ютландских дюн, но началась она не там, а далеко на юге, в Испании; море — дорога из одной страны в другую! Представь себе, что ты в Испании! Там тепло, красиво, среди темнолистных лавров растут гранаты с огненно-красными цветами, свежий ветер с гор обвеивает апельсиновые рощи, золотые купола и многокрасочные стены мавританских дворцов, по улицам тянутся процессии детей со свечами и реющими флагами, а над ними вздымается небесный свод, высокий, чистый, полный мерцающих звезд. Шелкают кастаньеты, звучат песни, под цветущими акациями кружатся в танце юноши и девушки, а нищий попрошайка сидит на резной мраморной плите, освежается сочным арбузом, в безделье растрачивая свою жизнь. Все вокруг словно прекрасная греза, манящая вкусить от нее! Так и поступали двое юных новобрачных, одаренные вдобавок всеми земными благами — здоровьем, добрым нравом, богатством и почетом.

— Большого счастья поистине быть не может! — твердили они, ничуть в этом не сомневаясь, однако ж им суждено было подняться еще на одну ступень блаженства — Господь решил даровать им ребенка, сына, который душою и телом пойдет в родителей.

Счастливого дитя встретят ликованием, окружат величайшей заботой и любовью, всеми благами, какие способны предоставить богатство и состоятельная родня.

А дни летели за днями и были для них словно веселый праздник.

— Жизнь — щедрый дар любви, прямо-таки непостижимо огромный, — сказала жена, — а в другой жизни это великое блаженство, глядишь, еще приумножится, и так будет во веки веков! В голове не укладывается.

— Но подобная мысль, бесспорно, людская дерзость, — заметил муж. — В сущности, думать, что станешь жить вечно, будешь, как Бог, — дерзость и высокомерие! Ведь этак говорил змий-искуситель, а его уста лживы!

— Ты же не сомневаешься, что после этой жизни нас ожидает новая? — спросила молодая жена, и впервые словно бы тень пробежала в мире их светлых, солнечных мыслей.

— Так обещано верой, так говорят священники! — отвечал молодой муж. — Но именно сейчас, когда я безмерно счастлив, я чувствую и понимаю, что жаждать новой жизни и бесконечного блаженства — гордыня, дерзость! Ведь нам так много даровано в этой жизни, что можно и должно угомониться.

— Нам и вправду даровано много, но для скольких тысяч людей эта жизнь — тяжкое испытание, — возразила жена, — сколь много таких, кого попросту швырнули в мир нищеты, позора, болезней и злосчастья! Нет, коли не существует новой жизни после этой, то все земное бытие устроено слишком несправедливо и Господь Вседержитель несправедлив.

— У уличного попрошайки свои радости, и для него они ничуть не меньше тех, какими наслаждается король в своем роскошном дворце, — сказал муж. — По-твоему, что же, и рабочая скотина, которую бьют, морят голодом, заставляют надрываться до седьмого пота, вполне сознает тяжесть своего бытия? В таком случае она тоже, глядишь, возжаждает



другой жизни, сочтет несправедливостью, что ее не поставили на более высокую ступень творения.

— В Царстве Небесном, сказал Христос, много насельников, — отвечала молодая жена. — Царство Небесное беспредельно, как беспредельна Божия любовь! Скотина — тоже тварь Господня, и, по-моему, ни одна жизнь не погибнет, а обретет все блаженство, какое может принять и какого ей довольно.

— Мне довольно и этого мира, — сказал муж, заключив в объятия любимую красавицу жену.

Потом он выкурил сигарку на открытом балконе. Прохладный воздух дышал ароматом гвоздик и померанцев, с улицы долетали музыка и шелканье кастаньет, звезды мерцали над головой, и прекрасные любящие глаза, глаза жены, смотрели на него с вечно живой любовью.

— Ради одной такой минуты уже стоит родиться! И, вкусив этого блаженства, можно умереть!

Он улыбнулся, а жена с легким укором махнула рукой, и облачко развеялось, слишком они были счастливы.

Казалось, все для них складывалось благополучно, жили они в почете, радости и довольстве. Одна перемена, правда, намечалась — в местопребывании. Однако ж цветы удовольствий они срывали по-прежнему, и жизнь по-прежнему дарила им радость и счастье. Король решил направить молодого человека посланником в Россию, к императорскому двору. На этот почетный пост он имел право и по рождению, и по учености. Он владел огромным состоянием, да и молодая жена, дочка очень богатого, именитого коммерсанта, принесла в семью немалые капиталы. Один из самых больших и самых лучших кораблей коммерсанта как раз в этом году пойдет в Стокгольм, на нем-то возлюбленные чада, дочка и зять, отплывут в Петербург. Каюты на борту устроили по-королевски — мягкие ковры под ногами, вокруг шелка и роскошь.

Есть в Дании одна старинная песня, которую все отлично знают! Называется она «Английский королевич»: королевич

плывет на роскошном корабле, у которого даже якорь украшен червонным золотом, а канаты проплетены шелком; и этот корабль невольно приходил на ум при виде испанского судна — та же роскошь, та же прощальная мысль:

«Дай Господи жить в радости нам всем!»

Резвый ветер задувал от испанского берега, прощание вышло недолгое; через считанные недели они, наверное, доберутся до цели своего путешествия. Но в открытом море ветер улегся, искристая вода стала гладкой, как зеркало, в небе сияли звезды — суций праздничный вечер в богатой каюте.

В конце концов все уже только и мечтали, чтобы штиль прекратился и подул хороший попутный ветер, но увы! Если ветер и поднимался, то всегда встречный, а время шло — неделя, другая, третья. Целых два месяца миновало, пока задул ровный зюйд-вест, а находились они аккурат посредине меж Шотландией и Ютландией, и ветер крепчал, точь-в-точь как в старинной песне об английском королевиче:

И ветер окреп, потемнел оком,  
И люди напрасно глядели кругом  
И якорь напрасно пытались бросать —  
Их к Дании ветром попутным примчало\*.

Много времени минуло с тех пор. На датском троне тогда сидел молодой король Кристиан VII; много чего случилось с тех пор, много чего изменилось — озера и болота стали пышными лугами, пустоши — щедрыми нивами, в Западной Ютландии в затишье подле домов растут яблони и розы, только их не сразу увидишь, потому что они прячутся от шальных западных ветров. Там нетрудно мыслью перенестись в глубь времен, еще дальше, чем годы правления Кристиана VII; как тогда, так и теперь в Ютландии на многие мили простирается бурая пустошь с курганами, с миражами, с множеством кочковатых

\* Перевод В.Бакусева.

и тонущих в песке дорог. К западу, где большие реки впадают во фьорды, раскинулись луга и болота, окаймленные высокими дюнами, которые, словно зубчатая альпийская цепь, возвышались у моря, перемежаясь лишь высокими глинистыми обрывами, откуда море год за годом выгрызает огромные куски, так что склоны и пригорки обрушиваются будто от землетрясения. Таким предстает изо дня в день здешний пейзаж, таким он был и много лет назад, когда двое счастливицев проплывали мимо на своем роскошном корабле.

Сентябрь близился к концу, день был воскресный, солнечный, звон церковных колоколов разносился над Ниссумфьордом. Тамошние церкви похожи на резные каменные глыбы, на могучие утесы — им и богатырский напор Северного моря не страшен, выстоят. Колоколен у большинства нет, колокола просто подвешены меж двух балок. Обедня кончилась, прихожане вышли из церкви на погост, где и тогда не росли, и теперь не растут ни деревья, ни кусты; на могилах ни цветка, ни веночка, только бугристые холмики говорят, где лежат умершие. Жесткая, исхлестанная ветром трава заполнила все кладбище, на иной могиле, пожалуй, и стоит памятник, то бишь трухлявый обрубок бревна, формой напоминающий гроб. Дерево это принесено из лесов западного края, то бишь принесло их бурное море, именно там для прибрежных обитателей растут тесаные балки, доски и бревна, которые прибой выбрасывает на берег, но ветер и морские туманы быстро разрушают древесину. Такой вот обрубок лежал здесь на могиле ребенка, к которой и направилась, выйдя из церкви, одна из женщин. Она остановилась, устремив взгляд на полуистлевший кусок дерева; через минуту-другую к ней присоединился муж. Оба не проронили ни слова, он взял ее за руку, и они зашагали прочь от могилы, на бурую пустошь, через болота, к дюнам, по-прежнему молча.

— Хорошая была нынче проповедь, — наконец сказал муж, — без Господа мы бы ничегошеньки не имели.

— Да, — отвечала жена, — Он радуется, Он и печалится! Его воля!.. Завтра нашему мальчику исполнилось бы пять лет, если б нам дано было сохранить его.

— Что проку горевать, — сказал муж. — Вообще-то ему повезло! Ведь он на небесах, а нам еще молиться надо, чтобы туда попасть.

Разговор оборвался, они пошли дальше в дюны, к своему дому. Неожиданно со склона, где даже трава-песчанка не росла, поднялся словно бы густой дым — ветер зарылся в дюну, подняв облако мелких песчинок. Новый шквал — рыбины, развешенные на веревках, застучали по стене дома, и опять все стихло. Опять жарко припекало солнце.

Муж с женою вошли в дом, быстро переоделись и поспешили к морю, через дюны, похожие на исполинские песчаные волны, вдруг замершие в своем движении. Тростник да острые синевато-серые стебли песчанки — вот и весь цветной узор на белом песке. Подошли соседи, все вместе они оттащили лодки подальше от воды. Ветер крепчал, пронизывал холодом, а когда они возвращались по домам, бросал в лицо песок и мелкие камешки. Море все выше вздымало белогривые волны, ветер срывал их пенные верхушки, рассыпая тучи брызг.

Свечерело, ветер свистал все громче, воздух наполнился неистовым жалобным воем, будто сюда слетелись полчища неприкаянных душ. Этот свист и вой заглушал грохот прибоя, хотя дом рыбака стоял близко от берега. Буря швыряла в оконные стекла песок, порой до основания сотрясая стены. Кругом непроглядная тьма, луна взойдет лишь к полуночи.

Прояснилось, но шторм над черной морской пучиной бушевал во всю мощь. Рыбак с женой давным-давно улеглись в постель, но в такую адову непогоду о сне и думать нечего, глаз не сомкнешь. Вдруг в окно постучали. Они отворили дверь и услышали:

— Большой корабль сел на дальнюю мель!

Рыбак с женой мигом вскочили, оделись и выбежали из дома.

Светила луна, и все было бы видно, если б в глаза не мело песком. Ветер буквально с ног валил, и лишь с большим трудом, ковыляя вперед в промежутках меж шквалами, они перебрались через дюны, но тут в лицо, точно лебяжий пух, полетела соленая пена — кипящие морские волны набрасывались на берег. В самом деле, только наметанный глаз мог углядеть означенный корабль: роскошный двухмачтовик как раз снялся с мели, от донного наноса его отнесло на три-четыре кабельтова к берегу, потом он наткнулся на следующую отмель и снова застрял. Прийти на помощь было невозможно. Море слишком разбушевалось, волны бились о корабль, накрывали палубу. Рыбакам на берегу чудились крики о помощи, вопли смертельного страха, на борту царила бестолковая суета. И вот огромный вал с сокрушительной мощью обрушился на бушприт и сорвал его, корма поднялась высоко над водой. Двое людей прыгнули с борта в волну, на миг исчезли, а потом большущая волна устремила к дюнам и вынесла на берег тело женщины. Рыбаки было решили, что она утонула. Жены их засуетились вокруг нее, вроде как заметили признаки жизни и отнесли бедняжку через дюны в дом. До чего же красивая, нарядная, не иначе как важная дама.

Уложили ее в нищенскую постель, льняных простынь там не было, зато нашлась шерстяная подстилка — завернешься, так мигом согреешься.

Бедняжка ожила, но была в горячке и знать не знала, что случилось и где она находится, да оно и к лучшему, ведь все, чем она дорожила, лежало на дне морском, им выпала та же судьба, что и герою песни об английском королевиче:

И видеть было тяжело,  
Как судно в щепки разнесло\*.

Только обломки да щепки и выбросило на сушу, из всех людей уцелела она одна. Ветер еще завывал-свистал над побережь-

---

\* Перевод В.Бакусева.

ем. Считанные минуты бедная женщина лежала спокойно, вскоре пришли боль и крик, она открыла свои прекрасные глаза, произнесла несколько слов, но никто из здешних их не понял.

И вот после всех мук и страданий она была вознаграждена — заключила в объятия новорожденное дитя; ему бы лежать в роскошной постельке с шелковым пологом, в богатом доме, среди радости и благ земной жизни, а Господь привел ему родиться в бедняцкой хижине, и от матери сынок даже поцелуя не дождался.

Жена рыбака приложила младенца к материнской груди, но лежал он у сердца, которое перестало биться, — женщина умерла. Этот ребенок должен бы расти в богатстве и счастье, а попал в совсем другой мир, море забросило его в дюны, чтобы изведать он бедняцкую долю и тяжкие дни.

И вновь на ум приходит старинная песня:

У принца же слезы полились из глаз:  
Увы, к Боубьергу приплыл я как раз,  
В беду я теперь угодил, да в какую!  
Не к Бугге попал я под добрый покров,  
А жертвой грабителей стал, подлецов\*.

Корабль разбился чуть южнее Ниссум-фьорда, у того самого берега, который господин Бугге некогда называл своим. Давно миновали жестокие, бесчеловечные времена, когда обитатели западного побережья, как говорится, злоумышляли против потерпевших кораблекрушение; любовь, самоотверженность и сердечная доброта озаряли благородством лица людей и тогда, и в наши дни. Умирающая мать и горемычное дитя всюду, куда бы ни примчал их попутный ветер, нашли бы кров и опеку, но никто не позаботился бы о них с такой чуткостью, как бедная жена рыбака, еще вчера скорбно стоявшая у могилы собственного сына, которому нынче, если б Господь судил ему жить, сравнялось бы пять годков.

\* Перевод В.Бакусева.

Никто не знал, кем была чужая умершая женщина и откуда она родом. Обломки корабля да щепки об этом не говорили.

В Испании, в богатом доме, не получили ни письма, ни весточки о дочери и зяте. К месту назначения они не прибыли, в последние недели сильно штормило, ожидание длилось месяцами. «Корабль потерпел крушение, все погибли!» — вот и все, что они узнали.

А в дюнном Хусбю, в рыбацком доме, появился малыш.

Где Господь дает пропитание двоим, там и третий прокормится, а возле моря всегда найдется рыбка для голодного рта. Назвали мальчика Йоргеном.

— Не иначе как еврейское дитя, — говорили люди, — эвон какой чернявый!

— Так, может, он итальянец либо испанец! — возражал священник.

Жене-то рыбака что один народ, что другой, что третий, все едино. Она по-христиански окрестила ребенка, тем и утешилась. Мальчик окреп, благородная кровь даже при скромном питании набирала горячности и силы, так он и подрастал в бедной хижине. Датский язык, тот, на каком говорят в Западной Ютландии, стал ему родным. Гранатовое зернышко с испанской почвы взошло на ютландском берегу травой-песчанкой — вот как бывает с людьми! В эту землю мальчик крепко вцепился многолетними корнями своей жизни. Изведает он и голод, и холод, и нужду, и лишения, но и радости, что выпадают на долю бедняка.

У каждого человека случаются в детстве светлые минуты, озаряющие потом всю его жизнь. Простору для игр и забав у Йоргена было сколько угодно — все морское побережье, протянувшееся на многие мили, изобиловало игрушками: вон какая галечная мозаика, камешки красные, будто кораллы, желтые, будто янтарь, белые, округлые, будто птичьи яйца, разноцветные камешки, гладко отшлифованные морем. А вдобавок старые рыбы скелеты, высушенные ветром водоросли,

ослепительно белые, длинные, узкие, словно ленты, трепещущие среди камней, — сплошь игрушки да забавы для глаза и мысли. Мальчик оказался смысленный, в нем таились недюжинные способности. Он помнил все истории, все песни, какие слышал! И руки у него были на удивление ловкие да проворные: из камешков и ракушек он складывал целые корабли и картины, которые украсили бы любую горницу. «Он на любой щепочке все свои мысли расчудесно изобразит, — говорила приемная мать, — а годами-то совсем мал еще. И голос у мальчугана вон какой красивый, песни сами собой слетают с языка». В его груди было натянуто множество струн, и они зазвучали бы на весь мир, если б рос он в иных обстоятельствах, а не в рыбацьем домишке у Северного моря.

Как-то раз у здешних берегов разбился корабль, и к берегу прибило ящик с цветочными луковицами; люди взяли по нескольку штук и посадили в горшок, думая, что они съедобные; остальные же так и сгнили в песке, не довелось им исполнить свое назначение, явить миру заложенное в них многоцветье красок, дивную красоту... Ждет ли Йоргена более счастливая судьба? Цветочным луковицам быстро пришел конец, ему же предстояли годы испытаний.

Ни Йорген, ни другие рыбаки даже не задумывались никогда, как одиноко и однообразно проходит день, ведь столько всего надо было сделать, услышать, увидеть. Само море было великим учебником, всякий день открывал новую страницу — штиль, волнение, зыбь, шторм; кораблекрушения считались самыми главными событиями; посещение церкви — как праздничный визит, а вот из гостей, что навещали рыбацкий дом, особенно желанным был приезжавший дважды в год материн брат, крестьянин-угрелов из Фьяльтринга под Боубьергом. Подкатывал он на красной повозке, полной угрей, сверху повозка закрывалась, как ящик, и сплошь была разрисована синими да белыми тюльпанами, а тащили ее два пегих вола, и Йоргену позволяли ими править.



Дядюшка-угрелов был мужик смекалистый и нравом веселый, он всегда привозил с собой бочонок самогона, каждому подносил рюмочку, а не то и в кофейную чашку наливал, ведь стеклянных рюмок иной раз недоставало. Даже Йоргену, хоть он и малолеток еще, наливали наперсток, чтоб жирный угорь, как говорил дядюшка, в животе удержался. По таким случаям он непременно рассказывал одну историю, а коли народ смеялся, сей же час повторял ее сызнова, как водится у словоохотливых людей. И поскольку Йорген в отрочестве да и в юности сам частенько поминал эту историю и словечки из нее в разговор вставлял, нам тоже не грех ее послушать.

— Ну так вот: жили-были в реке угри, и однажды, когда дочки попросились сплавать чуть подальше от дома, мать-угриха сказала им: «Далеко не отлучайтесь! Не ровен час явится злодей-угрелов и всех вас погубит!» Но дочки не послушались, уплыли далеко, и из восьми только три воротились к матери, заливаясь горячими слезами: «Мы совсем недалеко отошли от дома, как вдруг явился скверный угрелов и заколол острой пята наших сестер!» — «Они вернутся!» — сказала угрих-мать. «Нет! — отвечали дочери. — Он же снял с них кожу, разрезал на куски и зажарил!» — «Они вернутся!» — повторила мать. «Но ведь он их съел!» — «Они вернутся!» — опять повторила мать. «А потом запил самогоном!» — сказали дочери. «Ой-ой-ой! — горестно вскричала мать. — Самогон усмиряет угрей!» Потому-то надобно непременно запивать это блюдо рюмочкой самогона! — такими словами заканчивал дядюшка-угрелов свой рассказ.

Эта история стала блескучей, бодрой ниточкой в жизни Йоргена. Ему тоже хотелось уйти за порог, «чуть подальше от дома», то бишь отправиться на корабле в широкий мир, а мать твердила, как угриха, что «там полным-полно дурных людишек, угреловов!». Однако ж выбраться из дюн на пустошь, правда, недалеко, ему довелось, что ни говори, а довелось. Четыре чудесных дня, самые замечательные в его детской жизни, — вся

прелесть Ютландии сосредоточилась в них, вся радость родного края и солнечный свет, хотя ехали они на поминки.

Скончался состоятельный родич рыбацкого семейства; усадьба его располагалась поодаль от побережья — «на восток и малость на север», так говорили. Отец с матерью собрались туда и Йоргена с собой взяли. Они оставили позади дюны, пустошь, болота и очутились среди зеленых лугов, там протекала Скьерумо, богатая угрями речка, та самая, где жила угриха-мать с дочерьми, которых дурные люди забили острогой и изрезали на куски; но ведь и со своими ближними люди зачастую обращались ничуть не лучше, ведь рыцарь Бутте, про которого в старину сложили песню и которого убили лиходеи, — этот рыцарь Бутте, хотя слыл добрым господином, сам хотел отправить на тот свет зодчего, построившего ему замок с башнями и толстенными стенами. Как раз на этом месте, где Скьерумо впадает в Ниссум-фьорд, и остановились Йорген и его приемные родители. Остатки крепостного вала еще сохранились, как и развалины красных стен. Здесь рыцарь Бутте, когда зодчий уехал, отдал слуге приказ: «Догони его и скажи: мастер, башня покосилась! Коли он обернется, убей его и заведи деньги, что я ему дал, а коли не обернется, отпусти с миром!» Слуга повиновался, и зодчий сказал ему: «Нет, не покосилась башня, но однажды придет с запада некто в синем плаще, вот он-то заставит башню покоситься!» Через сто лет именно так и случилось: Северное море ворвалось во фьорд, и башня рухнула, но хозяин замка, Предбьёрн Гюльденстьерне, отстроил повыше на берегу, где луга кончаются, новый замок, стоящий по сей день, — Нёрре-Восборг.

Путь Йоргена и его приемных родителей лежал мимо этого замка. Долгими зимними вечерами мальчуган слушал рассказы про здешние места, а теперь наяву увидел замок с двойным рвом, деревья, кусты, вал, заросший папоротником, но краше всего были высокие липы, они поднимались до самого конька крыши и наполняли воздух дивным благоуханием. В северо-западном углу сада рос большой куст —

снежно-белые цветы среди летней зелени, Йорген впервые видел, чтобы бузинный куст так цвел. Этот куст и липы навсегда запечатлелись в его памяти, благоухание и красота Дании западали в детскую душу и сохраняются до старости.

Путешествие продолжилось, причем с большим удобством, потому что аккуратно возле Нёрре-Восборга, где цвела бузина, они встретили других гостей, приглашенных на поминки, и те подвезли их на своей повозке, все трое как раз уместились сзади, на деревянном сундучке, окованном железом, — тесновато, но все-таки лучше ехать, чем идти пешком. Повозка катилась по кочковатой пустоши, порой волеы останавливались, углядев среди вереска свежую травку, солнышко пригревало, и было так чудесно наблюдать, как далеко впереди курится прозрачный дымок — посмотришь сквозь него, и кажется, будто лучи света пляшут над пустошью.

— Это Локи гонит своих овец! — говорили все, говорили для Йоргена, а ему чудилось, будто едет он напрямиком в сказочную страну, хотя кругом была реальность. До чего же тихо, до чего же спокойно!

Пустошь раскинулась далеко и широко, словно драгоценный ковер. Вереск стоял в цвету, темная зелень можжевельника и молодые дубки букетами поднимались над вересковым полем. Все так и приглашало побарахтаться среди зелени, если б не ядовитые гадюки, водившиеся здесь во множестве! Разговор пошел о змеях и о волках, которых здесь когда-то была тьма-тьмуца, оттого-то пустошь и прозвали Волчьей. Старик возница рассказывал про времена своего батюшки. Лошадям тогда частенько доводилось биться с ныне истребленными дикими зверями, и однажды утром вышел он и видит: одна из лошадей стоит и пинает копытом убитого волка, а ноги у нее дочиста обглоданы.

Путь через кочковатую пустошь и глубокие пески оказался на удивление коротким. Волеы остановились возле дома покойного, где кишмя кишели незнакомые гости. Повозки теснились

одна подле другой, лошади и волы щипали скудную траву. Высокие дюны, точь-в-точь как дома, у Северного моря, поднимались за усадьбой, куда ни глянь! Откуда они взялись тут, в трех милях от побережья, причем не менее высокие и мощные, чем у моря? Ветер перенес их сюда, у них своя история.

На поминках пели псалмы, кое-кто из стариков всплакнул, но, в общем, все было очень весело, как думал Йорген. Еды и питья вволю — великолепнейшие жирные угри, а к ним рюмочка самогона. «Он умирляет угря!» — говорил дядюшка-урелов, и здесь эти слова поистине сбылись.

Йорген мелькал повсюду — и в доме, и на улице. На третий день он чувствовал себя здесь как дома, в рыбацкой хижине среди дюн, где безвылазно жил до сих пор. Эта пустошь таила совсем другие богатства, что правда, то правда, — уйма цветущего вереска, и медвежьей ягоды, и черники, крупной да сладкой, ногу некуда поставить, непременно раздавишь ягоды, так что с вереска закаплет красный сок.

Тут и там виднелись курганы, столбы дыма поднимались в недвижимом воздухе — пожар на пустоши, говорили люди, вечером красиво так светится.

Настал четвертый день, поминки кончились — пора из здешних дюн отправляться домой, в дюны прибрежные.

— Наши-то настоящие, — сказал отец. — В этих мощи нету.

И разговор пошел о том, как здесь появились дюны, и дело оказалось вполне понятное. На берегу нашли покойника, крестьяне похоронили его на кладбище, тут-то дюны и двинулись. Море яростно хлынуло на сушу, и один знающий человек из прихожан посоветовал разрыть могилу и посмотреть, не сосет ли покойник большой палец. Если сосет, значит, похоронили они Водяного и море хочет забрать его. Ну, отрыли крестьяне могилу и видят: покойник впрямь сосет большой палец. Они спешно погрузили его на телегу, запрягли пару волов и сломя голову погнались через пустошь и болота, прямо

в море — пески тотчас замерли, а дюны остались поныне. Все это Йорген слушал и складывал в копилку памяти о счастливейших днях детства — днях поминок.

Так замечательно — выбраться из дома, увидеть новые места, новых людей, и ему предстояло выбраться снова, причем намного дальше. Мальчугану не было и четырнадцати, ребенок еще, однако ж он нанялся на судно, отправился узнать, каков мир, терпел и непогоду, и сильную волну, и дурной нрав да жестокость людей — стал юнгой. Скучные харчи, холодные ночи, тычки да побои ожидали его. Благородная испанская кровь вскипала обидой, злые слова просились на язык, но выпускать их не следовало, лучше проглотить, а от этого он чувствовал себя точь-в-точь как угорь, которого обдирают, режут на куски и швыряют на сковородку.

«Я справлюсь», — говорил ему внутренний голос. И вот увидел Йорген испанский берег, отчизну своих родителей, и сам город, где жили они в достатке и счастье, но не ведал он, что здесь его родные края, не ведал о родне, а родня и во все ничего о нем не знала.

Жалкому юнге не разрешили сойти на берег, однако в самый последний день перед выходом из порта он все ж таки ступил на сушу: надо было кое-что закупить, и его взяли за место носильщика.

В грязной одежде, которую словно окунули в сточную канаву и высушили в дымовой трубе, стоял Йорген на улице. Впервые он, дюнный житель, увидал вблизи большой город — высоченные дома, узкие, кишашие народом улочки! Люди спешат, напирают в разные стороны, поистине колдовращение — горожане и крестьяне, монахи и солдаты; гомон, крик, перезвон бубенчиков на сбруе ослов и мулов, бой церковных колоколов, пение и музыка, стук и лязг — чуть не каждый ремесленник устроил мастерскую в дверях или прямо на тротуаре. Вдобавок солнце палило зноем, воздух был тяжелый, казалось, ты угодил в горячую духовку, полную гу-

дящих навозных и майских жуков, пчел и мух. У Йоргена голова шла кругом. И тут он увидел прямо перед собою огромный портал собора, под сумрачными сводами горели свечи, изнутри веяло ароматом курений. Нищий попрошайка в лохмотьях и тот мог безбоязненно взойти по лестнице в этот храм. Матрос, которого сопровождал Йорген, вошел в святилище, мальчуган за ним. Красочные картины светились на золотом фоне. Богоматерь с младенцем Иисусом стояла на алтаре среди цветов и свечей; священнослужители в парадном облачении пели, а красивые, нарядные мальчишки-министранты помахивали серебряными кадильницами. Во все глаза смотрел Йорген на эту роскошь и великолепие, струившиеся ему в душу, заворожившие его. Родительская церковь, родительская вера захлестнули мальчика, и струны его души откликнулись аккордом, так что на глаза навернулись слезы.

Из церкви они пошли на рыночную площадь, и Йоргену пришлось нести купленную провизию. Путь был неблизкий, мальчуган устал и остановился передохнуть возле большого богатого дома с мраморной колоннадой, статуями и широкими лестницами. Но едва он прислонил свою ношу к стене, как перед ним словно из-под земли вырос привратник в ливрее с позументом, поднял окованную серебром трость и велел ему убираться прочь — ему, внуку хозяина дома, только ведь об этом никто здесь не подозревал, и он сам тем более.

Йорген воротился на судно, снова получал тычки и брань, спал мало, работал не покладая рук — много всякого натерпелся! Говорят, лучше терпеть худое в юности, тогда старость будет доброй.

Срок его контракта истек, судно снова причалило в Рингкёбинг-фьорде, Йорген сошел на берег, отправился домой, в Хусбю, но матушку уже не застал в живых, умерла она, пока он находился в плавании.

Настала суровая зима, снежные бури свирепствовали над морем и сушей, люди выбивались из сил. Как же неравно все

в мире распределено! Здесь ледяная стужа и снежные вьюги, а в Испании неимоверный, палящий зной, и все же ясным морозным днем, глядя, как с моря над Ниссум-фьордом в сторону Нёрре-Восборга большими стаями летят лебеди, Йорген подумал, что здесь дышится куда как привольно, хорошо, что здесь тоже гостит летняя краса. Мысленно он видел цветущий вереск на пустоши, множество сочных, спелых ягод, видел усыпанные цветом липы и бузину возле Нёрре-Восборга и подумал, что стоило бы наведаться туда еще разок.

Близилась весна, началась путина, Йорген пособлял рыбакам. За минувший год он вырос, возмужал, любая работа горела в руках. Жизнь в нем была через край, он и плавать умел, и стоять в воде, где ноги не достигают дна, и кувыряться, и барахтаться. Не раз его остерегали от косяков скумбрии: мол, эти рыбы самого лучшего пловца могут схватить, утащат под воду, слопают, и поминай как звали. Но Йоргена ждала иная судьба.

У соседей в дюнах был мальчонка, Мортен; с ним Йорген хорошо ладил. Оба они нанялись на судно, ходившее в Норвегию, а то и в Голландию, и размолвок меж ними никогда не случалось, хотя вообще-то разлад возникает легко, ведь коли натура у человека малость вспыльчивая, он и действует порой слишком опрометчиво. Однажды именно так произошло с Йорганом, когда он и Мортен повздорили из-за сущего пустяка. Сидя за полуютом, оба ели из глиняной миски, а в руке у Йоргена был складной нож, им-то он в сердцах и замахнулся на Мортена, лицо побелело как мел, в глазах злость. Мортен же только сказал:

— Ты, значит, из таких, что пускают в ход нож!..

Едва прозвучали эти слова, как Йоргенова рука опустилась, он молча доел свой обед и вернулся к работе, а вечером подошел к Мортену и говорит:

— Ударь меня! Бей прямо по лицу! Поделом мне будет! У меня словно котелок внутри, нет-нет да и вскипит ключом.

— Ладно, забудем! — отвечал Мортен, и с той поры дружба их стала чуть что не вдвое крепче, а когда они верну-

лись домой в ютландские дюны и принялись рассказывать про свое житье-бытье, упомянули и про тот случай: Йорген, мол, горазд выплыть, но все равно парень честный, настоящий.

— Нешто он ютландец? У настоящего ютландца натура спокойная! — пошутил Мортен.

Оба они были молодые, здоровые, рослые, крепкие, только Йорген половчей, поувертливей.

Норвежские крестьяне по весне поднимаются в горы, гонят скот на тамошние пастбища, а в Западной Ютландии среди прибрежных дюн стоят хижинки-временки, сколоченные из корабельных обломков и крытые торфом с пустоши да вереском, спальные лавки располагаются вдоль стен комнаты. Здесь-то ранней весной ночуют и живут-поживают рыбаки. У каждого, как говорится, есть своя прислуга за все, которая должна цеплять на крючки наживку, встречать рыбаков на берегу грым пивом и кормить их обедом, когда они, усталые, возвращаются домой. Девушки-служанки выгружают из лодок рыбу, потрошат ее, и вообще дел у них по горло.

Йорген, его приемный отец и еще несколько рыбаков вместе со своими служанками занимали одну такую хижину, а Мортен жил в соседней.

Среди служанок была девушка по имени Эльса, которую Йорген знал совсем еще маленькой девочкой, они превосходно ладили, потому что во многом смотрели на мир одинаково. Но внешне совсем друг на друга не походили! Он чернявый, она беленькая, с льяными волосами, с глазами синими, как море в солнечный день.

И вот однажды, когда они вместе шли куда-то и Йорген держал ее за руку, ласково и крепко, она сказала ему:

— Йорген, есть у меня к тебе одна просьба. Позволь мне быть твоею прислугой, ты ведь для меня как брат, а Мортен, который меня нанял, он мой суженый, только другим говорить об этом не стоит!



Йоргену почудилось, будто донные пески ползут под ногами, он не вымолвил ни слова, лишь кивнул, а это знак согласия, большего и не требовалось. Но внезапно он почувствовал, что терпеть не может Мортена, и чем дольше размышлял, чем дольше думал об Эльсе — прежде такое ему даже в голову не приходило, — тем отчетливей понимал: Мортен украл у него самое дорогое, единственное, сиречь Эльсу, тут нет никаких сомнений.

Когда море встревожено, гляньте, как рыбаки возвращаются домой, как они преодолевают песчаные отмели: один во весь рост стоит на носу, остальные глаз с него не сводят, сидят на веслах, но не гребут, пока он не подаст знак, что идет большая волна, которая подхватит лодку и перенесет через отмель; лодка и впрямь взлетает на гребне, да так высоко, что с берега видать ее днище, а в следующий миг исчезает из виду, ни ее самой не разглядеть, ни мачты, ни людей, словно море их поглотило, но мгновение спустя они появляются вновь — ни дать ни взять огромный морской зверь всплывает на верхушку волны, весла шевелятся, точно лапы. Так рыбаки минуют и вторую отмель, и третью, потом прыгают в воду, тащат лодку к берегу, набегающие валы помогают им, подталкивают вперед, пока они не выберутся из полосы прибойя.

Неверный знак перед отмелью, секундное промедление — и всем конец.

«Тогда и мне каюк придет, и Мортену тоже!» — такая вот мысль мелькнула у Йоргена в открытом море, когда приемный отец его вдруг не на шутку занемог. Лихорадка скрутила старика аккуратно на подходе к самой дальней отмели. Йорген бросился к нему.

— Отец, давай я! — воскликнул он, взглянув на Мортена, на волны, а пока весла готовились мощными ударами поднять лодку на высокий гребень, он увидел бледное отцово лицо — и не смог осуществить свое злое намерение. Лодка одолела отмели и благополучно добралась до берега, но злая мысль утеснилась в Йоргеновой крови, кипела там, воспаляя обрывки

мелких обид, застрявшие в памяти о дружеском времени; впрочем, веревки из них не совьешь, и он постарался об этом не думать. Мортен ему напакостил, он чувствовал, одно это достойно ненависти. Кое-кто из рыбаков заметил неладное, но не Мортен, тот вел себя по-прежнему — охотно всем помогал, охотно пускался в разговоры, даже чересчур охотно.

Приемный отец Йоргена слег и уже не поднялся, через неделю уснул вечным сном. В наследство Йоргену достался дом за дюнами, маленькая хибарка, но все ж таки кое-что, у Мортена и того не было.

— В матросы-то теперь, поди, наниматься не станешь, Йорген?! С нами останешься! — сказал один из старых рыбаков.

А Йорген и не думал сидеть на месте, наоборот, собирался снова посмотреть мир. У фьяльтрингского угрелова жил в Старом Скагене дядя по матери, рыбак, но к тому же коммерсант и судовладелец, человек в годах, по рассказам, весьма симпатичный, такому и послужить не грех. Расположен Старый Скаген на севере Ютландии, далеко от хусбюских дюн, на самом краю датской земли, и Йоргену это пришлось по душе, он и свадьбы Эльсы и Мортена не хотел дожидаться, хотя сыграют ее всего через неделю-другую.

Старый рыбак только головой покачал: глупо уезжать, ведь теперь у Йоргена есть дом, и Эльса, глядишь, предпочтет выйти за него.

Йорген отвечал коротко, сумбурно, сразу и не поймешь, к чему он клонит, однако ж старик привел к нему Эльсу, сказала она немного, но в том числе вот что:

— У тебя есть собственный дом. Тут стоит призадуматься. И Йорген призадумался.

На море бывает большое волнение, а сердце человека волнуется еще сильнее. Множество мыслей, и сильных, и робких, вихрем пронеслось у Йоргена в голове, и он спросил Эльсу:

— Что, если б у Мортена был дом, как у меня, кого бы из нас ты тогда выбрала?

- У Мортена дома нет и не будет.
- Давай представим себе, что есть!
- Ну, тогда бы я выбрала Мортена, как и сейчас! Но этим не проживешь!

Всю ночь Йорген обдумывал ее слова. Какая-то безотчетная мысль не давала ему покоя, но в конце концов у него родилось намерение, оказавшееся сильнее его любви к Эльсе! И вот он отправился к Мортену и все, что там было сказано и сделано, очень хорошо взвесил: он оставил Мортену свой дом на самых выгодных условиях, сам-то все равно решил наняться на корабль, так ему хочется. Эльса, услышав это, поцеловала его прямо в губы, потому что она любила Мортена.

Рано утром Йорген собрался в дорогу. Накануне, поздним вечером, ему вздумалось еще разок навестить Мортена, и по дороге, в дюнах, он встретил старого рыбака, который отъезда его не одобрял. У Мортена не иначе как утиный клюв в штанах зашит, на счастье, сказал он, коли девушки этак влюбляются. Йорген разговора не поддержал, попрощался и пошел к дому, где жил Мортен. За дверью слышались громкие голоса, Мортен был не один. Йорген помедлил в нерешительности, Эльсу ему видеть совершенно не хотелось, а если хорошенько подумать, снова выслушивать Мортеновы благодарности тоже ни к чему, и он повернул обратно.

Наутро, еще затемно, он собрал узелок, сунул туда коробку с харчами и зашагал через дюны к морю. По берегу идти легче, нежели по вязкой песчаной дороге, да и путь короче, ведь сперва он решил заглянуть во Фьяльтринг, что под Бюубьергом, там жил дядюшка-угрелов, которого он обещался проведать.

Море было спокойное, синее, панцири рачков и ракушки валялись на песке, игрушки его детства хрустели под ногами... Неожиданно у Йоргена пошла носом кровь, пустяк, конечно, но и пустяки имеют порой большое значение; несколько капель упало на рукав, он их смыл, остановил кровь и по-

думал, что, пожалуй, оно и к лучшему — в голове и на душе сразу полегчало. Кое-где в песке цвела морская капуста, он сорвал веточку и прикрепил к шляпе, хотел быть смелым и веселым, ведь путь его лежал в широкий мир, за порог да малость вверх по реке, как говорили угрята. «Берегитесь дурных людей, они заколют вас острогой, сдерут кожу, разрежут на куски и бросят на сковородку!» — добавил он про себя и засмеялся, ему-то наверняка ничего такого не грозит, добрый настрой — добрая защита.

Солнце поднялось уже высоко, когда он, подойдя к узкой протоке, соединявшей Северное море с Ниссум-фьордом, оглянулся и заметил вдали двух всадников, а за ними еще нескольких, они спешили, но ему-то что за дело?

Лодка паромщика была на той стороне, Йорген позвал, и паромщик приплыл за ним. Он сел в лодку, но не успели они добраться до середины протоки, как к берегу во весь опор подскакали те самые всадники, закричали, приказывая вернуться. Йорген не понял, что это значит, но решил, что лучше вернуться, сел рядом с паромщиком, и оба, налегая на весла, поплыли обратно. Едва лодка ткнулась в берег, как ожидавшие люди бросились к Йоргену и в мгновение ока связали ему руки.

— Ты жизнью заплатишь за свое лихое дело! — сказали они. — Хорошо, что мы тебя схватили.

Обвиняли его ни больше ни меньше как в убийстве. Мортена нашли мертвым, с ножом в горле, а один из рыбаков вчера поздно вечером как раз встретил Йоргена, когда тот направлялся к Мортену, вдобавок все знали, что он и раньше замахивался на Мортена ножом; наверняка он и убил, и теперь надобно поскорей доставить его в тюрьму, лучше всего — в Рингёбинг, но дорога туда была долгая, а ветер как раз дул прямо с запада. Словом, меньше получаса им понадобилось, чтобы пересечь фьорд и добраться до Скъерумо,

а оттуда оставалось каких-то четверть мили до Нёрре-Восборга, крепкого замка с валом и рвом. Среди стражников в лодке случился брат тамошнего управляющего, и он считал, что им не откажут в разрешении до поры до времени посадить Йоргена в восборгский застенок, где некогда дожидалась казни цыганка, Длинная Маргрета.

Йорген защищался, но никто его не слушал, следы крови на рубашке решительно свидетельствовали против него; он не знал за собою вины, однако оправдаться не мог и потому положился на судьбу.

Они сошли на берег возле старого вала, где в давние времена стоял замок рыцаря Бугте и где когда-то проходили Йорген и его приемные родители, направляясь на поминки, оставшиеся в памяти ребенка как четыре чудесных светлых дня. Тою же дорогой, лугом, вели его к Нёрре-Восборгу, а там в пышном цвету стоял бузинный куст, благоухали высокие липы, и почудилось ему, что был он здесь только вчера.

В западном флигеле под высокой лестницей есть еще одна лестница, ведущая в низкий сводчатый подвал, именно оттуда вывели на казнь Длинную Маргрету, которая съела сердца пятерых детей и верила, что если б съела еще два, то смогла бы летать и сделаться невидимкой. В стене было узкое оконце без стекла, скорее, просто отдушина, но живительное благоуханье лип в подземелье не проникало, здесь пахло гнилью и тленом и стояли только голые нары, однако тот, у кого совесть чиста, везде спит спокойно, и жесткие нары стали Йоргену мягкой постелью.

Толстая дощатая дверь была заперта на железный засов, но кошмары суеверий заползают в замочную скважину что в господской усадьбе, что в рыбацьем домишке, а уж проникнуть в застенок, где сидел Йорген, размышляя о Длинной Маргрете и ее злодействах, им вообще легче легкого. Последние мысли преступницы до сих пор наполняли это поме-

щение. Юноше вспомнились и чудеса, которые случались тут в старину, при помощи Сванведеле, ведь поныне всем хорошо известно, что собаку, которая стерегла мост, каждое утро находили подвешенной на ее же цепи к перилам. Этакие думы леденили Йоргену душу, лишь один солнечный лучик согревал его изнутри — воспоминание о цветущем бузинном кусте и липах.

Сидел он в Нёрре-Восборге недолго, вскоре его перевезли в Рингкёбинг, и тамошнее заключение оказалось не менее суровым.

Время тогда было не чета нынешнему, бедняку жилось ох как тяжело. Еще не забылось, как новые господские усадьбы поглощали крестьянские дворы и целые деревни; кучер и слуга в те поры частенько становились судьями и за пустячную провинность могли отсудить у бедняка имущество да еще и запороть до полусмерти; подобные судьи покуда не перевелись, а в ютландском краю, далеко от королевского Копенгагена и просвещенных, милостивых чиновников, закон нередко ковылял кое-как, так что надеяться Йоргену было почти не на что.

В тюремном застенке царил нестерпимый холод — когда же это кончится? Волею судьбы он повержен в несчастье, и теперь у него было время поразмыслить, что суждено ему в этом мире и почему с ним стряслась этакая беда. Что ж, «в другой жизни», которая, без сомнения, ждет каждого из нас, все уладится! Эту веру взрастили у него в бедном домишке; мысль, которая его отду в изобильной солнечной Испании даже в голову не приходила, стала для него в холоде и мраке светом утешения, милостью Божией, а она никогда не обманывает.

Но вот зашумели весенние бури. Гул Северного моря слышать за много миль от побережья, правда уже после шторма; кажется, будто тяжелые ломовые телеги сотнями катят по твердой кочковатой дороге. И Йорген в своей тюрьме тоже

слышал рокот волн — хоть малое, но разнообразие; никакие давние мелодии не трогали сердце глубже, чем этот напев — шум моря, привольного водного простора, который несет человека по свету, мчит с ветром, и где бы ты ни был, повсюду с тобою дом, как ракушка улитки, — ты всегда стоишь на родной почве, в родном доме, даже когда находишься на чужбине.

Как Йорген вслушивался в этот рокот, сколько воспоминаний он будоражил в мыслях! «Свобода, свобода! Какое счастье — быть свободным, пусть и в рваных башмаках, в латаной-перелатаной рубахе!» Порой он загорался гневом и с размаху бил кулаком по стене.

Шли недели, месяцы, целый год миновал, и вот схватили одного негодяя — Нильса Ворюгу, известного также под прозванием Конокрад, тогда-то и выяснилось, как несправедливо обошлись с Йоргеном, и судьба его переменялась.

К северу от Рингкёбинг-фьорда, в сельской корчме, повстречались Нильс Ворюга и Мортен, а было это аккурат накануне Йорганова отъезда, тем вечером, когда случилось убийство. Выпили, конечно, но от двух-трех рюмок мужичины не хмелеют, только вот язык у Мортена чересчур развязался, он болтал без умолку и похвастал, что приобрел усадьбу и скоро женится, а когда Нильс любопытствовал насчет денег, Мортен важно хлопнул себя по карману:

«Там они, где им должно быть!»

Это хвастовство стоило ему жизни: когда он пошел домой, Нильс последовал за ним и воткнул ему в горло нож, чтобы завладеть деньгами, которых не было.

Все было установлено подробнейшим образом, ну а нам достаточно знать, что Йорген вышел на свободу. И чем же возместили ему целый год страданий в тюрьме, в холоде, в отринутости от людей? Ему просто сказали, что, на его счастье, он невиновен и может идти. Бургомистр отсчитал десять марок на дорогу, а кое-кто из местных снабдил его пи-

вом и порядочными харчами — все-таки свет не без добрых людей! Не каждый колет острогой, режет на куски да швыряет на сковородку! Но самое замечательное вот что: скагенский торговец Брённе, тот, к кому Йорген год назад хотел наняться на службу, аккурат в это время приехал по делам в Рингкёбинг и узнал про Йоргеновы зловключения. Сердце у него было отзывчивое, он хорошо понимал и чувствовал, сколько юноша выстрадал, и решил хоть немного помочь ему, пусть знает, что не перевелись на свете добрые люди.

Из тюрьмы путь лежал к свободе, к Царству Небесному, к любви и доброте сердечной, хотя, понятно, будут и испытания. Ни одна чаша в нашей жизни не бывает горькой вся, до последней капли, ни один добрый человек не поднесет ее другому, а уж всемилостивый Господь тем паче!

— Давай-ка забудем обо всем об этом! — сказал Брённе. — Перечеркнем минувший год жирной чертой. Сожжем календарь, а через два дня отправимся в мирный, богатый и веселый Скаген! Его называют дальним углом, а это чудесный, теплый запечный уголок, с окнами, распахнутыми в широкий мир.

Ах, какое путешествие! Наконец-то дышать полной грудью! После промозглого тюремного холода порадоваться теплomu солнечному свету. Вереск на пустоши стоял в пышном цвeту, пастушонок сидел на кургане, играя на свистулке, которую смастерил из овечьей косточки. Фата-морганы, прекрасные пустынные миражи, с висячими садами и плавучими лесами, являлись взору, как и диковинное легкое волнение воздуха, про которое в народе говорят, что это Локи гонит своих овец.

Путь лежал по венсюссельским землям к Лим-фьорду и дальше, к Скагену, откуда в незапамятные времена началась дорога длиннобородых, сиречь лангобардов, когда в голодные годы при короле Снию они, по преданию, хотели перебить всех своих детей и стариков, но благородная женщина по имени Гамбарук, владевшая там землями, сказала, что будет луч-



ше, если молодежь покинет эти края. Йорген об этом знал, ведь кой-чему, что ни говори, выучился; а коли страна лангобардов за высокими Альпами и была ему незнакома, он все же знал, как ей положено выглядеть, ведь корабельным юнгой бывал на юге, в Испании, и хорошо помнил высоченные горы фруктов, алые цветки граната, немолчный гул и колокольный звон в огромном городском улье. Хотя лучше всего, конечно, дома, на родине, а родиной Йоргену была Дания.

И вот наконец добрались они до Вендильсаги — так в старинных норвежских и исландских рукописях именуется Скаген. Далеко-далеко, перемежаясь дюнами и полями, простираются поныне до самого маяка у мыса Гренен и простирались тогда Старый Скаген, Западный и Восточный город. Дома и усадьбы, как и теперь, были разбросаны меж наметенных ветром, изменчивых песчаных холмов, среди пустыни, где ветер играет в сыпучем песке, а чайки, крачки и дикие лебеди кричат так, что ушам больно. К юго-западу, в миле от Гренена, расположен Холм, или Старый Скаген, здесь-то и жил торговец Брённе, а отныне будет жить и Йорген. Постройки были смоленные, у небольших надворных сараев вместо крыш — перевернутые лодки, свинарник сколочен из корабельных обломков, забора нет и в помине, да и огораживать тут нечего. Только на веревках, протянутых одна над другой, длинными рядами висели потрошенные рыбы — вялились на ветру. Весь берег завален гнилой селедкой, ведь едва забросишь невод, он уже полнехонек, только успевай выгаскивать. Селедки было так много, что излишки опять бросали в море или оставляли гнить на песке.

Жена торговца, и дочка его, и вся домашняя челядь обрадовались, что отец вернулся домой, — рукопожатия, возгласы, все заговорили наперебой! А дочка-то, дочка — какое у нее милое личико и какие добрые глаза!

В доме было уютно, солидно; на стол выставили миски с рыбой, с камбалой, какую и король назвал бы роскошным

яством, подали вино из скагенских «виноградников», то бишь с великого моря, выжатый из гроздьев сок привозили сюда прямо в бочках и в бутылках.

Когда мать и дочь услышали, кто таков Йорген и как жестоко и безвинно он страдал, глаза у обеих засияли еще ласковей, в особенности у дочери, барышни Клары. В Старом Скагене он нашел чудесный дом, согревающий сердце, а сердце юноши многое испытало, в том числе и суровую бурю любви, которая ожесточает либо смягчает. Йоргово сердце было еще очень мягким, очень юным, и место в нем было не занято; пожалуй, как раз к счастью сложилось так, что ровно через три недели барышне Кларе предстояло отплыть в Норвегию, в Кристиансанн, в гости к тетушке, на всю зиму.

В воскресенье перед отъездом все пошли в церковь к причастию. Церковь была большая, нарядная, несколько веков назад выстроенная шотландцами и голландцами чуть поодаль от того места, где сейчас раскинулся город. Она несколько обветшала, и дорога вверх-вниз по глубоким пескам отнимала очень много сил, но люди даже не думали сетовать, шли в Божий храм, пели псалмы, слушали проповеди. Песок окружал и церковную ограду, но могилы пока что содержались в порядке, на кладбище пески не пускали.

Церковь эта была самая большая к северу от Лим-фьорда. Дева Мария на запрестольном образе как живая — в золотом венце, с младенцем Иисусом на руках; резные изображения святых апостолов украшали хоры, а на самом верху стены виднелись портреты давних скагенских бургомистров и советников, при всех регалиях; кафедра тоже покрыта богатой резьбой. Солнце ярко озаряло храм, блестящее медное паникадило и кораблик, подвешенный к потолку.

Йоргена охватило святое, детское чувство, как некогда в богатом испанском соборе, только здесь он чувствовал себя среди своих.

После проповеди все подошли к причастию, он тоже вместе с другими вкусил хлеба и вина, и случилось так, что колена он преклонил рядом с барышней Кларой. Но все помыслы его были обращены к Богу и священному таинству, поэтому, лишь поднявшись на ноги, он заметил, кто преклонял колена с ним рядом, и увидел соленые слезинки, бежавшие по щекам девушки.

Через два дня она уехала в Норвегию, а Йорген остался — помогал в усадьбе, выходил в море ловить рыбу, которой в ту пору водилось много больше, чем теперь. Косяки скумбрии так и поблескивали в ночном мраке, направляясь по своим делам, морской петух ворчал, а краб, когда его ловили, издавал жалобный вой — рыбы не такие немые, как про них говорят. Впрочем, Йоргена куда больше занимало то, что таилось у него в сердце, но однажды так или иначе выйдет наружу.

Каждое воскресенье, когда он сидел в церкви и смотрел на за престольный образ Девы Марии, взгляд его порой скользил к тому месту, где рядом с ним преклоняла колена барышня Клара, и он думал о ней, о ее добром к нему отношении.

Пришла осень с мокрым снегом и слякотью, вода хлюпала у скагенцев под ногами, песок не мог впитать столько влаги, приходилось брести по щиколотку в воде, чуть ли не на лодках плавать. Шторма швыряли корабли и лодки на смертоносные мели, налетали то снежные бури, то песчаные, наметали песок вокруг домов, так что горожанам приходилось выбираться наружу через дымовую трубу, хотя здесь такое не в диковинку. Но в комнатах царили тепло и уют, вересковый торф да плавник потрескивали в печи, а торговец Брённе читал вслух старинную хронику, читал про датского принца Амлета, который приплыл из Англии, высадился возле Боубьерга и дал сражение; могила его находилась всего в нескольких милях от Рамме, где жил крестьянин-угрелов. Сотни курганов стояли на тамошней пустоши — большущее кладбище, торговец Брённе сам побывал на Амлетовой могиле. Разговор шел о давних

временах, о соседях, англичанах и шотландцах, и Йорген иной раз пел песню об английском королевиче, о том, как был изукрашен его роскошный корабль:

От борта до борта он был позлащен,  
И Божий на досках начертан закон.

А нос корабля — просто пир для очей:  
Там принц нарисован с невестой своей\*.

В особенности эти стихи Йорген пел необычайно проникновенно, с блеском в глазах, они ведь от роду были у него черные и блестящие.

Пели песни, читали — в доме царило благополучие, все, вплоть до домашних животных, жили одной семьей, в ладу и порядке. Посудная полка сверкала начищенными оловянными тарелками, под потолком в изобилии висели колбасы, окорока и прочие зимние припасы. Такое по сей день можно увидеть в богатых крестьянских усадьбах Западного побережья: припасов — ешь не хочу, в комнатах чисто и красиво, хозяйва веселые, добродушные, в наше-то время они вошли в силу, и тамошнее гостеприимство ничуть не уступает арабскому.

Никогда прежде, если не считать тех четырех дней, когда ребенком побывал на поминках, Йорген не жил так весело и приятно, только вот барышня Клара находилась в отлучке, хотя постоянно присутствовала в мыслях и разговорах.

В апреле в Норвегию пойдет корабль, и Йорген тоже будет на его борту. Тут-то он совершенно воспрянул и укрепился духом.

— Приятно посмотреть на парня! — сказала матушка Брённе.

— И на тебя приятно! — заметил старый торговец. — Йорген добавил живости зимним вечерам и тебе, матушка, тоже. Ты в нынешнем году помолодела, вон как хорошо вы-

\* Перевод В.Бакусева.

глядишь, прямо красotka! Да ты ведь и была самой красивой в Виборге, а этим много сказано, потому как я всегда считал, что тамошние барышни краше всех.

Йорген ничего не сказал, негоже ему встреть, но думал он об одной скагенской девушке, к которой вскоре и отправился. Корабль причалил в Кристиансанне, с попутным ветром добрался он туда всего за полдня.

Однажды утром торговец Брённе пошел к маяку, стоявшему далеко от Старого Скагена, вблизи мыса Гренен; угли на поворотной жаровне давно остыли, а солнце успело подняться высоко, когда он наконец взобрался на башню. В миле от крайней оконечности суши тянутся подводные отмели, а за ними виднелось несколько кораблей, среди них торговец вроде бы разглядел в подзорную трубу свою «Карен Брённе». Так и есть, его судно на подходе. Клара и Йорген были на палубе, скагенский маяк и церковная башня являлись их взору, словно цапля и лебедь на голубых водах. Клара сидела у поручней и наблюдала, как потихоньку-полегоньку приближаются дюны. Если б дул ровный ветер, они бы уже через час добрались до дома. Дом и радость были так близко! Но столь же близко были смерть и ужас.

У корабля лопнула обшивочная доска, возникла течь, ее пытались заделать, воду откачивали, не жалея сил, подняли сигнал бедствия, до берега-то оставалась еще целая миля, они видели рыбацьи лодки, но очень далеко. Ветер дул в сторону берега, волна тоже им помогала, но недостаточно, корабль тонул. Правой рукой Йорген крепко обнял Клару.

Как она смотрела ему в глаза, когда он с именем Господа на устах бросился вместе с нею в море! У нее вырвался крик, но опасаться было нечего, он ее не выпустит.

Как поется в песне о королевиче, так поступил и Йорген в минуту страшной опасности. Очень ему пригодилось умение хорошо плавать: работая ногами и одной рукой — другою он

крепко держал юную девушку, — он вынырнул, немного отдохнул на поверхности, пошевелил ногами, испробовал разные движения, чтобы достало сил доплыть до берега. Девушка вздохнула, он почувствовал, как она вздрогнула, и еще крепче прижал ее к себе. Волна накрыла обоих, течение подхватило, воды были так глубоки, так прозрачны, на миг Йоргену почудилось, будто он видит внизу стаю скумбрии или, может, самого Левиафана, который хотел их проглотить? Тени облаков пробегали по волнам, потом снова ярко сияло солнце, огромные стаи птиц пролетали над головой, а дикие утки, осоловело и сонно качавшиеся на волнах, испуганно разлетались перед пловцом. Однако силы Йоргена убывали, он это чувствовал, до берега же оставалось еще несколько кабельтовых, и тут подоспела подмога, к ним приближалась лодка, но под водой юноша вдруг отчетливо различил какое-то существо, не сводившее с него неподвижных глаз, волна подняла его, существо придвинулось ближе, он ощутил под ногами опору, черная ночь объяла его, все исчезло.

На подводной мели стоял корабельный остов, вода целиком накрывала его, белая носовая фигура упиралась в якорь, чья острая железная лапа торчала из песка, почти достигая поверхности, на нее-то и оперся Йорген, а течение с удвоенной силой толкнуло его вперед. В беспамятстве он было ушел под воду вместе со своею ношей, но очередная волна вновь подняла и его, и девушку.

Рыбаки на лодке подобрали обоих. Кровь текла по лицу Йоргена, он был как мертвый, но крепко держал девушку в объятиях, пришлось разжать их силой. Бледная как смерть, лежала она в лодке, направлявшейся к мысу Гренен.

Чего только не делали — вернуть Клару к жизни не удалось, она была мертва. Йорген долго плыл, обнимая утопленного, плыл изо всех сил, спасая мертвую девушку.

Сам он еще дышал, и его отнесли в дюны, в ближайший дом. Здешний фельдшер, по совместительству кузнец и ме-

лочной торговец, перевязал ему раны, а на другой день привезли лекаря из Йёрринга.

Больного поразила мозговая горячка, он метался в бреду, испускал дикие крики, но на третий день впал в забытие. Жизнь его, казалось, висела на волоске, и лекарь сказал, что пожелал бы Йоргену умереть, так для него было бы лучше всего.

— Будем молить Бога, чтобы парень умер! Никогда ему не стать прежним.

Но Йорген выжил, волосок не порвался, только память порвалась, нити умственных способностей пресеклись, вот что ужасно, осталось только живое тело, которому еще предстояло выздороветь.

Жил Йорген по-прежнему в доме торговца Брённе.

— Он ведь захворал, стараясь спасти наше дитя, — говорил старик, — и теперь стал нам вместо сына.

Йоргена прозвали дурачком, но прозвище было неподходящее; скорее, он походил на музыкальный инструмент, струны которого ослабли и не могут звучать — лишь изредка, на считанные минуты, они вдруг натягивались, обретали голос, и тогда звучали давние мелодии, всего-навсего несколько тактов, образы наплывали, таяли, и Йорген опять сидел, бездумно уставясь в одну точку. Едва ли он страдал, лишь темные глаза тускнели, казались черным стеклом.

— Бедный дурачок Йорген! — говорили в народе.

А ведь родная мать носила его под сердцем для жизни в таком богатстве и счастье, что было высокомерием и страшной дерзостью не то что верить в другую жизнь после этой, но и просто желать оной. Что же, все великие дарования в душе пошли прахом? И выпали ему лишь суровые дни, боль да разочарования? Он был бесценной цветочной луковицей, вырванной из плодородной почвы и брошенной в песок, чтобы там сгнить! Неужто в мире Господнем не нашлось для него места получше? Неужто все было и есть только иг-

ра случая? Нет, Господь во всеобъемлющей своей любви непременно вознаградит его в другой жизни за все, что он здесь выстрадал и чего лишился. «Ты, Господи, благ и милосерд и многомилостив ко всем, призывающим Тебя», — этот стих из Давидова псалма повторяла с верой и надеждою набожная старушка, жена торговца, и в сердце своем молила Господа поскорее даровать Йоргену избавление, чтобы обрел он милость Божию, вечную жизнь.

На кладбище, где ветер наметал через стену песок, была похоронена Клара. Казалось, Йорген и думать о ней забыл, не было ей места в его воспоминаниях, которые лишь обрывками всплывали из глубин прошлого. Каждое воскресенье он вместе с торговцем и его женою ходил в церковь и тихо сидел, бездумно глядя в пространство. Однажды, когда пели псалмы, он вдруг глубоко вздохнул, глаза блеснули, глядя в сторону алтаря, туда, где больше года назад он преклонял колена обок своей умершей подруги, он произнес ее имя и побледнел как полотно, по щекам покатались слезы.

Его проводили из церкви на воздух, а он сказал, что чувствует себя хорошо и все с ним вроде бы в полном порядке, воспоминание ушло, как его и не было! Горемыка бездольный! Господь, Создатель наш, премудр и любит все чада свои — кто в этом усомнится? Сердцем и разумом мы знаем, а Библия подтверждает: Господь многомилостив ко всем.

В Испании, где среди апельсинов и лавров теплый ветерок обвеивает золотые мавританские купола, где звучат песни и кастаньеты, сидел в роскошном доме осиротевший старик, богатейший коммерсант; по улицам тянулись процессии детей со свечами и реющими флагами. Он бы никаких сокровищ не пожалел, только бы родные его дети были с ним, дочка или ее ребенок, который, может статься, вообще не увидел света этого мира, а значит, и света вечности, света рая! «Бедное дитя!»



Да, бедное дитя! Впрямь дитя, хоть и достигшее уже тридцатилетнего возраста, ведь ровно столько лет сравнялось Йоргену в Старом Скагене.

Песок заметал кладбищенские могилы, засыпал церковную стену, но ведь именно здесь, среди предков, среди родителей и возлюбленных, надобно хоронить умерших. Торговец Брённе и его жена тоже упокоились подле своих детей, под белыми песками.

Начало года, время штормов — дюны курились песчаными вихрями, на море большая волна, огромные птичьи стаи, словно тучи в бурю, с криком металась над песками; корабли один за другим терпели бедствие на прибрежных мелях — от скагенского Гренена до дюнного Хусбю.

Однажды под вечер, когда Йорген в одиночестве сидел в горнице, мысли его вдруг прояснились и он ощутил беспокойство, которое в юные годы гнало его в дюны и на пустошь.

— Домой! Домой! — твердил он, но никто его не слышал.

Он вышел из дома, направился в дюны, песок бил в лицо, вихрился вокруг. Шел он к церкви. Песок засыпал стену, до половины завалил окна, но притвор был расчищен, дверь не заперта. Йорген открыл ее и шагнул внутрь.

Ветер завывал-свистал над Скагеном, такого урагана здесь на людской памяти никогда не бывало — сущее светопреставление! Но Йорген находился в доме Божиим, и, меж тем как снаружи воцарилась черная ночь, внутри у него сиял огонь — свет души, который никогда не гаснет. Тяжелый камень, что бременил голову, вдруг с треском рассыпался. Йоргену почудилось, будто в церкви играет орган, но это был гул шторма и бурного моря. Он сел на скамью, и зажглись свечи, одна за другою, такое множество огней можно увидеть разве что в Испании, и портреты давних бургомистров и советников ожили, сошли со стены, где пребывали долгие годы, заняли места на хорах. Церковные ворота и двери распахнулись, и внутрь вошли все усоп-





шие, в нарядных одеждах своего времени, вошли под звуки прекрасной музыки, расселись по скамьям. Грянул псалом, точно гул прибора. Были здесь и его старые приемные родители из дюнного Хусбю, и старый торговец Брённе с женою, а обок них, подле Йоргена, сидела их милая, добрая дочка, она подала Йоргену руку, и оба подошли к алтарю, где когда-то преклоняли колена, и священник соединил их руки и благословил на жизнь в любви... Тут раздался трубный глас, дивный, как детский голос, полный томления и радости, он набрал мощь органа, обернулся бурей рокочущих, возвышенных звуков, ласкающих слух и все же способных сокрушить могильные плиты.

И кораблик, подвешенный к потолку, опустился перед ними двоими, стал большим великолепным кораблем с шелковыми парусами и золочеными реями, с якорями из червонного золота, с канатами, проплетенными шелковой прядью, точь-в-точь как в старинной песне. И жених с невестой поднялись на борт, а за ними и все прихожане — всем хватило места в этом великолепии. Стены и своды церкви оделись цветами, словно бузина и благоуханные липы; ветви и листья ласково шелестели, склоняясь и расступаясь, когда корабль поднялся и тронулся в путь — по морю, по воздуху, каждая свеча в церкви казалась звездочкой, а ветер затынул псалом, и все подхватили:

— С любовью — к славе!.. Ни одна жизнь не погибнет!.. Блаженство и радость! Аллилуйя!

Эти слова стали последними в жизни Йоргена, прервалась нить, что удерживала бессмертную душу, — лишь мертвое тело лежало в темной церкви, вокруг которой буря в неистовстве вздымала вихри летучего песка.

\*

Наутро, в воскресенье, прихожане и священник пришли на богослужение. Дорога была утомительная, ноги то и дело вязли в глубоком песке, а у самого церковного притвора вет-

ром намело целую гору. Священник прочел короткую молитву и сказал, что Господь закрыл двери этого Своего дома, надобно им уйти отсюда и построить Ему новый дом.

Они пропели псалом и разошлись по домам.

Йоргена искали и в городе, и в дюнах, но не нашли. Видно, могучие песчаные волны унесли его с собою, решили люди.

А его тело лежало в величайшем из саркофагов — в самой церкви; и Господь в бурю засыпал его гроб землею, тяжелый песок лежит там по сию пору.

Дюны укрыли могучие своды. Терновник и дикие розы растут над церковью, там, где путник ныне проходит к башне, которая поднимается из песка словно исполинское надгробие и видна за много миль. Ни один король не удостоился более великолепного памятника! Никто не тревожит покой усопшего, никто по сей день не ведал об этом и не ведает, а мне рассказал об этом ветер в дюнах.

---

## КУКОЛЬНИК

**Н**а пароходе встретился мне один пожилой пассажир с таким довольным лицом, что коли это не притворство, то он не иначе как самый счастливый человек на свете. Да так оно и есть, он сам говорил, я собственными ушами слышал, а был он датчанин, мой соотечественник, директор передвижного театра. Труппа путешествовала вместе с ним, в большом сундуке, потому что директорствовал он в театре марионеток. Он от роду отличался жизнерадостностью, вдобавок некий кандидат, большой знаток всевозможной техники, подверг его жизнерадостность очистке, и означенный эксперимент сделал его совершенно счастливым. Я не сразу понял, о чем речь, и тогда он подробно рассказал мне всю историю. Послушайте и вы.

— Случилось это в Слагельсе, — начал он, — я давал представление на почтовом дворе, зал превосходный, публика тоже, сплошь неконфирмованная, за исключением нескольких старушек. Как вдруг является некто в черном, с виду похожий на студента, садится, хохочет в нужных местах, аплодирует в нужных местах — замечательный зритель! Я заинтересовался, кто же он такой, и услышал, что это кандидат из политехнического учебного заведения, посланный в провинцию просвещать народ. В восемь часов представление мое закончилось, ведь детишек рано укладывают спать, а с удобством для

публики надобно считаться. Ровно в девять кандидат начал свои лекции и опыты, тут уж я стал ему публикой. И увидел и услышал много удивительного. Бóльшая часть оказалась для меня, как говорится, китайской грамотой, но я невольно подумал: коли мы, люди, способны изобрести такое, то, поди, и продержаться можем подольше, чем до гробовой доски. Показывал он лишь малые чудеса, но все у него получалось превосходно и совершенно естественно. Во времена Моисея и пророков такой ученый кандидат непременно бы прослыл у себя на родине мудрецом, а в Средние века его бы сожгли на костре. Я всю ночь не спал, а когда следующим вечером давал спектакль и кандидат опять был на месте, я пришел в великолепное расположение духа. От одного актера я слышал, что, играя любовников, он всегда выбирал какую-нибудь зрительницу и думал только о ней, а об остальной публике забывал; ученый кандидат стал для меня такой вот персоной, единственным зрителем, для которого я разыгрывал представление. По окончании спектакля устроили овадии, марионеток несколько раз вызывали на сцену, меня же ученый кандидат пригласил к себе на бокальчик вина. Он рассуждал о моей комедии, я — о его науке, и, по-моему, мы оба одинаково получали удовольствие от того и от другого. Правда, больше говорил я, ведь в своих рассказах он и сам много чего объяснить не мог. К примеру, почему кусок железа, пройдя сквозь спираль, намагничивается? Что, значит, на него нисходит гений? Откуда сей гений берется? Вот и с людьми, думаю, происходит на этом свете нечто подобное: Господь бросает их в спираль времени, и на них нисходит гений, глядишь, а перед нами Наполеон, Лютер или еще кто вроде того. «Весь мир — сплошь чудеса, — сказал кандидат, — но мы так к ним привыкли, что называем их будничными вещами». Он рассуждал, разъяснял, и напоследок мне почудилось, будто он хорошенько проветрил мне мозги, поэтому я честно признался, что, будь я помоложе, непременно бы сей же час поступил в политехническое заведение

и выучился видеть мир до тонкости, во всех деталях, хоть я вообще-то один из счастливейших людей на свете. «Один из счастливейших людей! — протянул он, словно смакуя эти слова, а потом спросил: — Вы вправду счастливы?» — «Да, — ответил я, — счастлив, и во всех городах, куда я приезжаю со своими актерами, меня ждет радушный прием. Впрочем, есть одно желание, этакий бесовский подвох, навязчивая мысль, которая нет-нет да и свербит в голове: заделаться директором настоящей актерской труппы, не кукольной, а живой». — «Вам, стало быть, хочется оживить своих марионеток, хочется, чтобы стали они настоящими актерами, — сказал он, — а сами вы были у них директором, тогда вы будете совершенно счастливы, да?» Он-то в это не верил, а вот я верил, так мы судили-рядили, но во мнениях не сходились, зато исправно чокались бокалами, благо вино было отменное. Хотя в него не иначе как подмешали колдовского зелья, в противном случае вся история сведется к тому, что я изрядно захмелел. Однако ж ничего подобного, я был, как говорится, ни в одном глазу. Комната вдруг словно наполнилась солнечным светом, которым лучилось лицо надидата, и мне невольно вспомнились вечно юные боги древности, странствовавшие по миру. Я так и сказал, кандидат засмеялся, а я еще и дерзнул поручиться, что он — переодетый бог или вроде того. Что ж, я не ошибся, сказал он, ведь мое заветное желание будет исполнено, марионетки оживут, и стану я директором живой актерской труппы. Мы выпили за это. Потом он сложил моих кукол в деревянный сундук, привязал его мне на спину и велел прыгнуть сквозь спираль. До сих пор слышу, как я плюхнулся, — лежал на полу, правда-правда, а вся компания высыпала из сундука. Гений низошел на них, марионетки сделались первостатейными артистами, а я — директором. Все было готово для представления; вся труппа желала говорить со мною, и публика тоже. Танцовщица объявила, что, если она не будет стоять на одной ножке, провал обеспечен, она тут главная и требует соответст-



вующего обхождения. Кукла, игравшая императрицу, желала и за кулисами быть таковою, иначе, мол, она потеряет навык. Фигурант, который появлялся на сцене всего-навсего как посылный с письмом, задавался не меньше первого любовника, ведь, по его словам, в художественном целом и малые, и большие одинаково важны. Герой потребовал, чтобы вся его роль состояла из одних только заключительных реплик, потому что их всегда встречают аплодисментами; примадонна желала играть лишь при красном освещении, ибо оно ей к лицу, а синий свет ее бледнит. Ну чисто мухи в банке, и я там же, директор как-никак. Дышать нечем, голова кругом идет, чувствовал я себя прескверно, хуже некуда. Да-с, нечего сказать, хороша компания, новая людская порода! Я бы предпочел отправить их назад в сундук, и директорства этого мне не надо. Когда же я напрямик сказал им, что, в сущности-то, все они — марионетки, труппа набросилась на меня с кулаками, отколотила до беспамятства. Очнулся я на кровати у себя в комнате. Как я туда попал от ученого кандидата, не знаю, но, может, ему это известно. Опрокинутый сундук валялся на полу, куклы разбросаны как попало, маленькие и большие, вся честная компания. Но я немедля вскочил с кровати и запихал их в сундук, кого вниз головой, кого вверх, захлопнул крышку и уселся на нее. Картинка, достойная кисти художника, прямо воочию ее вижу, а вы? «Тут вы теперь и останетесь, — сказал я, — никогда больше не пожелаю, чтобы вы обрели плоть и кровь!» На душе у меня было легко и весело, на всем свете не сыщешь человека счастливее; ученый кандидат очистил меня! Так я сидел в полном блаженстве на сундуке и в конце концов уснул, а наутро — по правде-то говоря, в полдень, спал я на удивление долго — проснулся тоже совершенно счастливый, потому что уразумел: заветное мое желание попросту глупость. Я спросил об ученом кандидате, но его не было, пропал, как греческие и римские боги. С тех пор я вполне счастлив. И директорствую счастливо: актеры мои не рассуждают, публика тоже, она весе-

лится от души. Я волен стряпать свои пьесы как заблагорассудится. Из всех комедий выбираю наилучшие, и никто на это не сердает. В больших театрах этими пьесами ныне пренебрегают, но лет тридцать назад публика валом на них валила и плакала навзрыд — они-то и составляют репертуар моего театра, я показываю их ребятишкам, и ребятишки тоже плачут в три ручья, как некогда их отцы и матери. Ставлю «Иоганну Монфонкон» и «Дюевеке», но в сокращении, малыши не любят долгих разговоров про любовь — пускай будут несчастные, только побыстрее, вот как им нравится. Я всю Данию объездил вдоль и поперек, всех знаю, и меня все узнают; сейчас в Швецию нацелился, коли повезет мне там и подзаработаю денег, подамся в панскандинависты, а иначе ни за что меня к ним не заманишь, это я вам говорю как земляку».

А я — как земляк, — разумеется, спешу пересказать эту историю, просто так.

---

## ДВА БРАТА

**Н**а одном из датских островов, где среди хлебных нив и могучих буковых лесов разбросаны старинные селенья, есть городок — низкие домики, красные кровли. В таком-то вот домике на жарких углях очага творились удивительные вещи: в склянках кипело и булькало, смешивалось и возгонялось, в ступках измельчались травы и корешки, а занимался этим некий пожилой мужчина.

— Надобно хорошенько следить за порядком! — говорил он. — Да-да, необходимо знать порядок, правильность, истинность, присущие всякой сотворенной частице, и неукоснительно их придерживаться.

В горнице, подле доброй маменьки, хозяйки дома, сидели двое его сыновей, совсем еще дети, но со взрослыми помыслами. Маменька тоже постоянно твердила им, что должно держаться истинного, ибо таков в этом мире замысел Господень.

Старший из мальчиков смотрел смело, с лукавинкой, любил читать о силах природы, о солнце и звездах — не было для него сказок чудесней! Какое счастье — отправиться в исследовательскую экспедицию или разгадать секрет птичьего полета, соорудить себе искусственные крылья и полететь самому! Это и означает найти истинное! Правы папенька с маменькой: истинное не дает миру рассыпаться, держит его в целости.

Младший братишка был потише, с головой ушел в книги. Читая об Иакове, который, чтобы походить на Исава и получить от отца право первородства, обернул себе руки кожей козлят, он от негодования на обманщика сжимал кулачки, а читая о тиранах, о несправедливости и злодействах, что творились на свете, чувствовал, как глаза наполняются слезами. Мысль о порядке, об истине, которая обязательно победит, владела всем его существом. Однажды вечером — он был уже в постели, но полог задернули не полностью и к нему проникал свет — он лежал с книгой, собираясь наконец дочитать историю про Солона.

И вдруг мысли неистово подхватили его и понесли. Казалось, кровать стала кораблем, мчащимся на всех парусах, — что это? Греза или нечто иное? Он скользил над волнами, над могучими валами времени, слышал голос Солона — понятно, хоть и на чужом языке, звучал датский девиз: «Законом строится держава!»

Гений рода человеческого явился в бедной комнатке, склонился над кроватью и запечатлел поцелуй на лбу мальчика: «Будь силен честью и стоек в битве жизни! С истиной в груди лети в Страну истины!»

Старший брат еще не ложился, стоял у окна, глядя, как над лугом поднимаются туманы. И вовсе это не танцующие девушки-эльфы, как внушала ему старая служанка, он-то знает, это испарения, они теплее воздуха и оттого поднимаются вверх. По небу чиркнула падучая звездочка, и мысли мальчугана сей же миг отрешились от земных испарений, обратились к яркому метеору. А звезды небесные мерцали, словно протянув в земле длинную золотую нить.

«Летим со мною!» — пело-звенело у мальчика в сердце, и могучий дух поколений, который стремительней и птицы, и стрелы, и вообще всего земного, что умеет летать, вынес его в пространство, где лучи, протянутые от звезды к звезде, соединяли светила и планеты, а наша Земля вращалась в раз-

реженном воздухе, и города лепились тесно друг к другу. И сквозь сферы звучал глас: «Что есть близко и что далеко, когда возносит тебя могучий гений!»

И вновь мальчик стоял у окна, смотрел наружу, меж тем как младший братишка лежал в постели. И маменька окликнула их по именам:

— Андерс и Ханс Кристиан!

Этих братьев знает вся Дания, знает весь мир, ведь это братья Эрстед.

---

# СТАРЫЙ ЦЕРКОВНЫЙ КОЛОКОЛ

(НАПИСАНО ДЛЯ «ШИЛЛЕРОВСКОГО АЛЬБОМА»)

**В** немецкой земле Вюртемберг, где возле тракта так красиво цветут акации, а яблони и груши по осени сгибаются под тяжестью изобильных плодов, уютился маленький городок Марбах. Он вправду совсем крошечный, но расположен очень уютно на берегу Неккара, который резво несет свои воды мимо городских домов, мимо старинных рыцарских замков и зеленых виноградников, чтобы в конце концов соединиться с гордым Рейном.

Год был на исходе, листья виноградных лоз оплеснуло багрянцем, шумели проливные дожди, крепчал холодный ветер — не самое приятное время для бедняков. Дни становились короче, темнее, а еще темнее было в старых домишках. Один из них выходил фасадом на улицу, окошки низенькие, сам домик бедный, невзрачный, и жили в нем люди бедные, но честные и работающие, а вдобавок в сердце своем богобоязненные. Вскоре Господь дарует им еще одного ребенка. И вот пришел срок, мать лежала в муках и боли, тут-то и донесся до нее с церковной башни звук колокола, низкий, величавый. Минута была торжественная, и гул колокола наполнил молящуюся благоговением и верою, мысли ее со всею искренностью вознеслись к Богу, и в тот же миг она родила сына и почувствовала бесконечную радость. Колокол на башне словно бы возвестил о ее радости всему городу, всей земле. Ясные

детские глаза смотрели на нее, волосы младенца сияли, будто позолоченные. Ребенок явился в мир сумрачным ноябрьским днем, со звуком колокола; мать и отец поцеловали дитя и записали в семейной Библии, что «ноября десятого дня 1759 года Господь даровал нам сына», а позднее добавили, что при крещении нарекли его *Иоганн Кристоф Фридрих*.

Кем же станет этот младенец, бедный мальчуган из крошечного Марбаха? В ту пору никто знать этого не знал, даже старый церковный колокол, хотя висел он высоко и первым пел-звенел для ребенка, который впоследствии сложит чудесную «Песнь о колоколе».

Мальчуган рос, и мир вокруг него тоже рос. Родители хотя и переехали в другой город, но любимые друзья остались в крохотном Марбахе, поэтому однажды мать с сыном поехали туда погостить. Мальчику только-только сравнялось шесть, но он уже был знаком с Библией и благочестивыми псалмами, а иной раз по вечерам, сидя на плетеном стульчике, слушал, как папенька читает басни Геллерта и «Мессиаду». И Фридрих, и сестренка, что была двумя годами постарше, проливали горючие слезы над Ним, принявшим во спасение всех нас смерть на кресте.

Когда они впервые гостили в Марбахе, там мало что изменилось, ведь и уехали они оттуда не так давно. Все те же домишки с острыми щипцами, покосившимися стенами и низенькими оконцами; только могил на кладбище прибавилось, а у церковной стены стоял в траве старый колокол. Он сорвался с колокольни, треснул и потерял голос, вместо него установили новый.

Мать с сыном вошли на кладбище, постояли перед старым колоколом, и маменька рассказала мальчику, что этот колокол не одну сотню лет верой-правдой служил людям, звонил, когда крестили младенцев, играли свадьбы, хоронили усопших, возвещал о веселых праздниках и об ужасах пожаров — словом, вызванивал всю человеческую жизнь. Мальчик навсегда запомнил маменькин рассказ, который жил у него в груди и спу-

стя годы, когда ребенок стал взрослым, стихами вырвался на волю. Поведала маменька ему и о том, как в тяжкую минуту старый церковный колокол подарил ей отраду и утешение, ведь под звуки его песни она родила сына, его, Фридриха. И мальчик едва ли не с благоговением посмотрел на большой старый колокол, наклонился и поцеловал его, хоть и стоял он теперь в траве и крапиве, старый, треснувший, заброшенный.

Мальчуган, подраставший в бедности, бережно хранил колокол в памяти. Внешность у него была самая обыкновенная: долговязый, худой, волосы рыжеватые, лицо в веснушках, но глаза оставались ясными, прозрачными, как глубокие воды. Как складывалась его жизнь? Хорошо, прямо на зависть! По высочайшему произволению его приняли в военную школу, на отделение, где обучались сыновья весьма благородных фамилий, — большая честь для него и удача. Ходил он в сапожках, в тугом галстуке и пудреном парике. Набирался учености, усваивал науки под зычные команды: «Марш! Стой! Становись!» Глядишь, что и получится.

Старый церковный колокол, сокрытый и забытый, когда-нибудь, скорей всего, угодит в плавильную печь, и что же из него в итоге получится? Никто не мог этого сказать, и столь же невозможно было сказать, что получится из колокола, хранимого в юной душе, из звонкой меди, которая могла бы зазвучать на весь мир. Чем сильнее давили школьные стены и чем оглушительней гремело «Марш! Стой! Становись!», тем настойчивей звучала песня в груди юноши, и он пел ее в кругу товарищей, и напев этот разносился по всей стране. Но не затем же его зачислили в школу, не затем одевали и кормили! Ему было назначено стать винтиком в великом механизме, где каждому из нас отведено свое место, ради практической пользы. До чего плохо мы понимаем сами себя! Как же тогда другие, пусть даже лучшие, могут нас понять? Впрочем, самоцвет рождается под давлением. И здесь было давление, да какое! Так, может стать, со временем миру явится самоцвет?



В герцогской столице шумел большой праздник — тысячи огней, сверканье фейерверка. Фридрих прямо воочию видел этот блеск, когда украдкой, со слезами и болью бежал на чужбину. Ему пришлось покинуть родину, маменьку и всех близких, иначе он бы погряз в болоте обыденщины.

Хорошо было старому колоколу — стоял себе в тиши у стены марбахской церкви, сокрытый и забытый! Ветер обвевал его и, быть может, рассказывал о том человеке, которому колокол звонил в час рождения, рассказывал, каким холодом обдавал его, когда он, изнемогая от усталости, упал в лесу в соседней стране, а все его достояние и надежды на будущее составляли исписанные страницы — «Фиеско». Рассказывал, наверное, и о единственных его заступниках, художниках и артистах, которые потихоньку удрали с чтений, чтобы поиграть в кегли. Поведал, возможно, и о том, как злополучный беглец неделями и месяцами жил на убогом постоялом дворе, где хозяйничал горластый пьянчуга и царило грубое веселье, а самто он слагал стихи об идеале. Тяжкие, мрачные дни! Сердцу должно выстрадать и на себе испытать все, что ему предстоит выразить в напевных поэтических строфах.

Мрачные дни, холодные ночи чередой проходили над старым колоколом, и он их не ощущал, но колокол в груди человека не может не чувствовать суровости времен. Как жилось молодому человеку? Как жилось старому колоколу? Колокол отправился далеко-далеко, много дальше тех мест, куда достигал его голос, когда он висел высоко на башне. А звуки колокола, поющего в груди молодого человека, разносились много дальше тех мест, куда ступала его нога и доставал взор, они звенели и звенят поныне над океанами, над всею Землей. Послушай-ка сперва про церковный колокол! Из Марбаха его увезли, продали на переплавку медным литейщикам в Баварию. Как же он туда попал и когда? Пусть сам колокол и расскажет, если сумеет, не очень-то это и важно. Доподлинно известно одно: попал он в столицу баварского короля, мно-

го лет минуло с тех пор, как он сорвался с колокольни, и теперь его ожидала плавильная печь, а пойдет он на отливку большого памятника, олицетворяющего величие немецкого народа и немецкой державы. А теперь послушай, как тут сложились обстоятельства, — чудные дела происходят порой на этом свете! В Дании, на одном из зеленых островов, где растут буки и повсюду рассыпаны курганы, жил мальчуган, бедный как церковная мышь. Ходил он в деревянных башмаках, носил еду в узелке из старой тряпицы своему отцу, резчику, который работал по заказу в разных местах острова. Этот бедный мальчуган стал гордостью родного края, ваял в мраморе великолепные фигуры, на удивление всему свету. Ему-то и доверили вылепить в глине образ величия и красоты, который затем отольют в металле, — портрет того, чье имя отец записал в семейной Библии: *Иоганна Кристофа Фридриха*.

И раскаленный металл заполнил форму, и старый церковный колокол — н-да, никто и не задумывался о его родине и умолкших звуках, — колокол тоже был в этом расплаве и стал головою и грудью статуи, которая ныне стоит в Штутгарте перед старинным дворцом, на площади, где тот, кого она изображает, ходил при жизни, полной борьбы, и мечтаний, и притеснений извне, марбахский мальчуган, воспитанник Карловой школы, беглец, великий бессмертный немецкий поэт, воспевавший освободителя Швейцарии и боговдохновенную французскую деву.

Стоял чудесный солнечный день, флаги реяли на башнях и на кровлях домов в столичном Штутгарте, церковные колокола звонили, возвещая радость и торжество, лишь один колокол молчал, сверкая на ярком солнце, сияя на лице и груди монумента. Ровно сто лет минуло с того дня, когда голос марбахского колокола даровал отраду и утешение страждущей матери, рожавшей на свет свое дитя, бедное дитя в бедном домишке, а впоследствии — богача, чьи сокровища славят весь мир, певца благородного женского сердца, певца возвышенного и прекрасного — *Иоганна Кристофа Фридриха Шиллера*.

---

## ДВЕНАДЦАТЬ ИЗ ПОЧТОВОЙ КАРЕТЫ

**Н**а дворе стоял трескучий мороз, ночь была ясная, звездная, безветренная. Бум! Об дверь разбили горшок. Пиф-паф! Пальбой встретили наступление Нового года; часы как раз пробили двенадцать. Тра-та-та-та! Почта едет. Большая почтовая карета остановилась у городских ворот, и привезла она двенадцать пассажиров, больше в ней не помещалось, все места были заняты.

— Ура! Ура! — распевали в домах, люди отмечали наступление Нового года, и в этот миг все встали, наполнив бокалы, чтобы осушить их в честь праздника.

— Здравья в новом году! — говорили они друг другу. — Удачной женитьбы! Побольше денег! И чтоб кончились неприятности!

Да, вот чего люди желали друг другу, чокаясь бокалами, а почтовая карета стояла меж тем у городских ворот со своими двенадцатью пассажирами, двенадцатью приезжими гостями.

Кто же они такие? У всех имелись паспорта и багаж, ну, и подарки для тебя, для меня, для всех горожан. Кто же такие эти приезжие? Что им нужно и что они привезли?

— Доброе утро! — поздоровались они с караульщиком у ворот.

— Доброе утро! — отвечал он, ведь часы уже пробили двенадцать, и спросил первого, что вышел из кареты: — Ваше имя? Звание?

— Загляните в паспорт! Я — это я! — отозвался приезжий, видный мужчина в медвежьей шубе и высоких теплых сапогах. — Именно на меня очень-очень многие возлагают надежды. Приходи завтра, получишь от меня новогодний подарок! Я бросаю в толпу скиллинги и далеры, раздаю подарки, даже балы устраиваю, ни много ни мало, тридцать один бал, ровно столько ночей в моем распоряжении. Корабли мои вмерзли в лед, но в конторе у меня теплым-тепло. Я — оптовый торговец и зовусь Январь. С собой у меня только счета.

Подошел следующий, этот был весельчак, директор комедий, маскарадов и всех развлечений, какие только есть на свете. Багаж его состоял из большущей бочки.

— Из нее мы на масленицу не только кошку выьем, а куда больше, — объявил он. — Уж я и себя, и других позабавлю, ведь из всей семьи мне назначен самый короткий срок, ровнехонько двадцать восемь дней, иной раз, правда, еще денек прибавляется, да разница невелика! Ура!

— Незачем этак кричать-то! — укорил караульщик.

— Мне можно, еще как можно! Я принц Карнавал, а путешествую под именем Февраль.

Настал черед третьего. С виду казалось, будто он только и знай постится, но голову держит высоко, ведь как-никак состоит в родстве с «Сорока мучениками» да еще и погоду предсказывает. Впрочем, предсказания — должность неприбыльная, оттого он и славил Великий пост. В петлице у него красовался букетик фиалок, правда очень мелких.

— Март, марш! — вскричал четвертый, толкнув третьего. — Март, марш! В караульню, там найдется пунш! Я чую запах!

Но это была неправда, апрельская шуточка, с которой четвертый и явился из кареты. Он и смотрел озорником, явно охочим до всяких розыгрышей, особо себя не утруждал, любил попраздновать.

— Настроение скачет то вверх, то вниз! — сказал он. — Дождь и солнце, переезды и отъезды! Я ведь и комиссар пе-

реездов, и похоронщик, я и смеюсь, и плачу. В сундуке у меня летние наряды, но надевать их было бы чистым безумием. Вот он я! Для красоты ношу шелковые чулки да муфту!

За ним из кареты вышла дама.

— Барышня Май! — представилась она.

В волосах у нее белели анемоны, а одета она была по-летнему, в шелковое платье цвета буковых листьев, однако ж обута в калоши и вдобавок распространяла такой крепкий аромат яминника, что караульщик невольно чихнул.

— Благослови вас Господь! — так она поздоровалась со всеми.

Красавица! Глаз не отведешь! И петь мастерица, но не в театре, а в лесу, не в шатрах, нет-нет, в свежем зеленом лесу распевала она для собственного удовольствия. В мешочке для шитья у нее лежали «Гравюры» Кристиана Винтера, ведь они, право же, точь-в-точь как сам буковый лес, а еще «Короткие стихотворения» Рикардта, похожие на душистый яминник.

— Теперь черед жены, молодой жены! — послышалось из кареты, и тотчас оттуда выпорхнула молодая женщина, изящная, горделивая, прелестная. Сразу видно, что рождена праздновать «Семь отроков». В самый длинный день года устраивает она пир, чтоб хватило времени отведать все великое множество яств. Ей было вполне по карману ездить в собственной карете, но тем не менее приехала она вместе со всеми в почтовой карете, хотела показать, что чужда высокомерия. Да и путешествовала не в одиночку, а в сопровождении младшего брата, Июля.

Он был крепкого сложения, в летнем костюме и в панаме. И багажа вез мало, лишние вещи в жару очень обременительны. Купальная шапочка да купальный костюм — вот и вся кладь.

Затем вышла маменька, мадам Август, она занимается оптовой торговлей фруктами и владеет множеством рыбных садков. Эта крестьянка в огромном кринолине, пышная, теплая, лично за всем следила, сама с бочонком пива ходила к работникам в поле.

— «В поте лица твоего будешь есть хлеб», так написано в Библии, — сказала она. — А после можно справить лесной бал и праздник урожая.

Вот какова была маменька — настоящая хозяйка.

Потом опять явился пассажир-мужчина, по профессии художник, колорист, — лес хорошо его знал, по его воле листва меняла цвет, но, коли он того желал, оставалась красивой. Лес быстро преображался, становился багряным, желтым, бурым. Мастер насвистывал скворцом, трудился споро, прилежно, а свою пивную кружку обвивал коричнево-зеленым побегом хмеля, получалось красиво, ведь по части красоты он был большой искусник. Вот и стоял тут с банкой краски, каковая и составляла его багаж.

За ним последовал помещик, этот думал о сроках сева, о пахоте, об осенних полевых работах и, конечно, немножко об охотничьих забавах. Он имел при себе собаку и ружье, а в сумку насыпал орехов, крик-крак! Багажа у него было ужас сколько, в том числе английский плут, и рассуждал он об агрономии, только вот расслышать его было трудно — кашляя и пыхтя, из кареты выбрался Ноябрь.

Он был простужен, мучился сильнейшим насморком, так что поневоле пользовался не носовым платком, а целой простынею. Простуда ему не с руки, ведь надобно препроводить служанок на новое место. Ну да ничего, сказал он, как поколешь дров, хворь мигом пройдет, именно так он и поступит, даром, что ли, значится мастером в гильдии пыльщиков. Вечерами только и делает, что режет из дерева коньки, потому что знает: через неделю-другую начнутся веселые конькобежные забавы.

Последней из кареты вышла старушка с жаровней в руках. Она зябко поеживалась, но глаза сверкали, словно яркие звезды. Еще при ней был цветочный горшок с маленькой елочкой.

— Буду холить ее и лелеять, чтобы к Рождеству выросла она большая, от пола до потолка, и расцвела горящими свечами, золочеными яблоками и вырезными картинками. Жаровня

греет не хуже изразцовой печи, я достаю из кармана книжку сказок и читаю, дети в комнате сидят тихонечко, и куклы на дереве оживают, и восковой ангелок на самой верхушке встряхивает мишурными крыльшками, слетает с зеленой елочной макушки и целует всех в комнате, от мала до велика, не забывает поцеловать и бедных ребятишек, что стоят под окнами, распевая рождественскую песнь о вифлеемской звезде.

— Что ж, можете ехать! — сказал караульщик. — Все двенадцать на месте. Пусть подъезжает следующая карета!

— Ты сперва впусти-ка в ворота этих двенадцать гостей! — сказал капитан, начальник караула. — Одного за другим! Паспорта я оставляю у себя, каждый действителен в течение месяца, и когда месяц кончится, я отмечу там, кто как себя вел. Прошу вас, сударь мой Январь, входите!

И Январь вошел в город...

Когда год подойдет к концу, я скажу тебе, что эти двенадцать принесли нам с тобою и всем вокруг. Сейчас мне это еще неизвестно, да и им самим, поди, тоже — ведь живем мы в удивительное время.

---

## НАВОЗНЫЙ ЖУК

**К**оню императора пожаловали золотые подковы; по одной на каждую ногу.

С какой стати золотые?

Конь был необычайно красив: стройные ноги, умные глаза и шелковистая грива, спадавшая ему на шею. Он носил своего господина в пороховом дыму, под свист и град пуль; он отбивался, рвался вперед, когда их теснил неприятель; как-то одним прыжком он перескочил через упавшую лошадь врага и этим спас императорскую корону из червонного золота, спас жизнь своего императора, а она-то стоила дороже червонного золота. Поэтому коню и пожаловали золотые подковы, по одной на каждую ногу.

Тут выполз навозный жук.

— Сперва великие, а потом уж малые! — сказал он. — Впрочем, размеры тут ни при чем.

И он протянул кузнецу свои тощие лапки.

— Чего тебе надо? — спросил кузнец.

— Золотые подковы! — ответил навозный жук.

— Ты, видно, не в своем уме! — сказал кузнец. — Золотых подков захотел?

— Именно так! — заявил жук. — Чем я хуже этой здоровенной скотины, за которой еще ухаживать надо, чистить ее, пасти, кормить да поить. Ведь я тоже из императорской конюшни!



— За что коню пожаловали золотые подковы? — спросил кузнец. — Ты что же, не понимаешь?

— Да чего понимать-то? Я понимаю, что меня обошли, — сказал навозный жук, — что меня оскорбили! Отправлюсь-ка я странствовать по белу свету.

— Ну и проваливай! — сказал кузнец.

— Грубиян! — воскликнул навозный жук, а потом выполз из конюшни, отлетел немножко в сторону и оказался в прелестном цветнике, где благоухали розы и лаванда.

— Здесь превосходно, не правда ли? — сказала жуку маленькая божья коровка, красная, с черными крапинками на крыльях. — Как сладко пахнет, какая красота!

— Я привык к лучшему! — отвечал ей навозный жук. — И вы еще называете это красотой? Тут ни одной навозной кучи.

И он переполз дальше, в тень пышного левкоя. По стеблю цветка ползла гусеница.

— Как прекрасен мир! — восхитилась она. — Солнышко греет! Все вокруг чудесно! А когда усну или, как говорят, умру, то проснусь уже бабочкой.

— Много о себе воображаешь! — заявил навозный жук. — Полетишь бабочкой! Я вот из императорской конюшни, но там никто не мечтает о таких вещах, даже любимый конь императора, donaшивающий мои золотые подковы. Отрастишь крылья! Полетишь! Как же, это я сейчас улечу!

И жук улетел. Не хотел злиться, да все же рассердился.

Он шлепнулся на широкую лужайку, полежал на ней немного да и заснул.

И вдруг хлынул дождь, да какой! Навозный жук проснулся от плеска воды и хотел было скорее уползти в землю, но не тут-то было. Он упал, его разворачивало то на брюшко, то на спинку, о том, чтобы улететь, нечего было и думать. Живым ему с лужайки, наверное, не уйти; он так и остался лежать, где лежал.

Когда ливень поутих, навозный жук смахнул капли с глаз и заметил что-то белое. Это был холст, его разложили бе-

лить. Жук добрался до холста и заполз в его мокрую складку. Конечно, это было не то, что лежать в теплой навозной куче в конюшне, но выхода не было, и жук остался в холсте: дождь лил целые сутки. Утром навозный жук выполз. Он был так сердит на погоду.

Видит — сидят на холсте две лягушки; глаза их поблескивают от удовольствия.

— Благословенная погода! — сказала одна. — Как она бодрит! А холст прекрасно задерживает воду! У меня даже задние лапки зачесались — так бы и поплыла!

— Хотела бы я знать, — сказала другая, — найдет ли ласточка, что далеко летает и видит разные страны, климат лучше нашего? Такую же слякоть, такую сырость! Кажется, будто лежишь в сырой канаве! Кто не радуется такой погоде, тот не любит свое отечество.

— Вы никогда не бывали в императорской конюшне? — спросил лягушек навозный жук. — Там не просто сыро, но еще тепло и ароматно! Вот к чему я привык. Там климат по мне, только в дорогу его с собой не возьмешь. Нет ли здесь в саду парника, где знатные особы вроде меня могли бы найти приют и чувствовать себя как дома?

Но лягушки его не поняли или не захотели понять.

— Я никогда не переспрашиваю! — заявил навозный жук, но повторил свой вопрос трижды, так и не добившись ответа.

Жук пополз дальше и наткнулся на черепок от горшка. С чего бы черепку оказаться здесь, но раз уж он тут лежал, то мог послужить приютом. Под ним жили несколько семейств ухверток. Много места им не требовалось — лишь бы было общество. Ухвертки — любвеобильные матери, своих чад они считали самыми красивыми и самыми умными.

— Наш сынок помолвлен, — сказала одна мамочка. — Он сама невинность! Его заветная мечта — заползти однажды в ухо к священнику. Совсем ребенок, но помолвка удержит его от шалостей. Какая это радость для матери!

— А наш сыночек, — сказала другая, — не успел вылупиться, так сразу же и расшалился. Потом остепенится. Огромная радость для матери! Не правда ли, господин навозный жук!

Они узнали незнакомца.

— Вы обе правы! — сказал жук, и его пригласили зайти, если только он сможет подползти под черепок.

— Теперь вы увидите и наших малюток, — сказали третья и четвертая мамыши. — Такие милые детки, а какие забавные! Они всегда ведут себя хорошо, если только у них не болит животик, но ведь в их возрасте это дело обычное.

И каждая мамаша рассказывала о своих детках, а детки вмешивались в разговор и маленькой вилочкой на своих хвостиках цепляли жука за усы.

— Чего только не придумают наши проказники! — восклицали мамыши, потев от избытка чувств.

Но вот жуку это надоело, и он спросил, далеко ли до парника.

— Далеко-далеко, на другом берегу канавы, — ответили хувертки. — Очень далеко, и мы надеемся, что никто из наших деток не отправится туда, иначе мы умрем от горя.

— Я все же попробую туда добраться, — сказал им навозный жук и ушел, не прощаясь, — верх галантности.

У канавы он встретил многих своих сородичей, тоже навозных жуков.

— Мы здесь живем! — сказали они. — У нас весьма уютно! Позвольте пригласить вас в нашу жижу! Путешествие наверняка утомило вас.

— Так и есть, — отвечал им навозный жук. — Пока лил дождь, я лежал в складках холста, а там до того чисто, что мне стало противно; к тому же я схватил ревматизм в крыльях, пока находился на сквозняке под глиняным черепком. Поистине целительно действуют на меня.

— Вы, наверное, из парника? — спросил старший жук.

— Подымай выше! — ответил навозный жук. — Я прибыл из императорской конюшни, где и родился с золотыми подкова-

ми на ногах. Путешествую я по секретному поручению, но о нем вы меня не спрашивайте, все равно ничего не скажу.

И навозный жук сполз в жирную грязь. Там сидели три молодые жучихи и хихикали, не зная, что сказать.

— Они еще не сосватаны, — заявила их мать, а те снова хихикнули, на этот раз от смущения.

— Более хорошеньких я не видел даже в императорской конюшне! — признался жук-путешественник.

— Не испортите мне моих девочек! И не заговаривайте с ними, если у вас нет серьезных намерений, — сказала мать. — Но вы ведь господин серьезный, и я даю вам свое благословение.

— Ура! — закричали сородичи, и жук стал женихом. Сперва помолвка, и сразу свадьба — чего же ждать!

Следующий день прошел хорошо, второй — похуже, а на третий уже пришлось задуматься о пропитании жены, а может быть, и детей.

— Вот как они меня провели! — сказал навозный жук. — Надо и мне ответить тем же...

Так он и сделал. Он просто ушел. День нет жука, ночь нет жука, и осталась его жена вдовой. Другие навозные жуки объявили, что приняли в семью обыкновенного бродягу и жена его теперь сидит у них на шее.

— Пусть она снова считается девицей, — сказала ее мать, — и живет у меня как дочь. Плюнем на этого негодяя, который бросил ее.

А жук тем временем был в пути: на капустном листе он переплывал канаву. В этот утренний час пришли к канаве два человека и, увидев жука, подняли его и стали вертеть в руках и рассматривать. Оба были высокообразованными, особенно младший.

— Аллах прозревает черного жука на черном камне черной скалы! Не так ли написано в Коране? — спросил он и назвал навозного жука по-латыни, сказав, к какому роду и виду он относится.

Тот, что постарше, не хотел брать жука домой, ведь у них уже были такие же отличные экземпляры. Навозному жуку слова эти показались неучтивыми, а потому он взял да и вылетел из рук ученого. Крылья у него высохли, и он улетел довольно далеко. Долетел он наконец до теплицы, где одно окошко было открыто, так что жук легко проскользнул в него и зарылся в свежий навоз.

— Здесь превосходно! — обрадовался он.

Вскоре жук уснул, и приснилось ему, будто конь императора пал, а он, господин навозный жук, получил его золотые подковы да еще обещание о двух новых в придачу. Приятный сон, что и говорить, и когда жук проснулся, он выполз и огляделся. Какая роскошь повсюду в теплице! Огромные веерные пальмы устремились ввысь, сквозь их листья просвечивало солнце, а под ними зеленела травка и сияли цветы — огненно-красные, янтарно-желтые и белые, словно выпавший снег.

— Бесподобная растительность! Как будет вкусно, когда все это сгниет! — сказал навозный жук. — Отличная кладовая! Здесь живет, верно, кто-нибудь из моих родственников. Надо бы найти кого-нибудь, с кем можно пообщаться. Я горжусь этим!

И он пополз дальше, думая о своем сне, о павшем коне и золотых подковах.

Вдруг чья-то рука схватила жука, стиснула его и покрутила.

В теплице были сынишка садовника с товарищем; они заметили навозного жука и решили поиграть с ним. Положили его в виноградный лист, и сынишка засунул его в карман штанишек. Жук вертелся и так, и сяк, но мальчик сжал его рукой и побежал в конец сада, к большому озеру. Там жука посадили в старый, стоптанный деревянный башмак, укрепили в середине его палочку вместо мачты, привязав к ней жука шерстяной ниточкой. Теперь он стал шкипером, пришлось ему отправиться в плавание.

Озеро было такое большое, что навозному жуку казалось, будто он в океане; ошеломленный, он упал на спинку и задрыгал ножками.





Башмак плыл по течению, но едва этот корабль заплывал слишком далеко, один из мальчиков закатывал штанишки, входил в воду и подтягивал его обратно. Но когда корабль отплыл снова, мальчиков позвали домой, да так строго, что они убежали, бросив впопыхах деревянный башмак. А того уносило все дальше и дальше от берега, вот ужас-то, ведь жук взлететь не мог, он был крепко привязан к мачте.

Тут его навестила муха.

— Прекрасная погода сегодня, — сказала она. — Здесь я могу отдохнуть! Погреться на солнышке! У вас очень мило!

— Не болтайте чепухи! Разве вы не видите, что я привязан.

— А я не привязана, — сказала муха и улетела.

— Теперь я узнал мир, — сказал навозный жук, — как он низок! Я единственный порядочный господин в нем! Сначала меня обходят, не дав золотых подков, потом мне приходится лежать на мокром холсте, стоять на сквозняке, и, наконец, мне навязывают жену. Как только я делаю смелый шаг в мир, приглядываюсь к нему да прикидываю, что мне нужно, появляется мальчишка и пускает меня, связанного, в открытое море. А конь императора тем временем щеголяет в золотых подковах! Это досаднее всего. Впрочем, сочувствия в этом мире ждать не приходится! Мой жизненный путь весьма интересен, но что толку, если о нем никто не знает! Мир недостоин узнать о нем, иначе мне пожаловали бы золотые подковы в императорской конюшне, когда конь протягивал к ним ноги. Получи я золотые подковы, я стал бы украшением конюшни, но для нее я потерян, и мир лишился меня. Все кончено!

Но конец еще не наступил: на озере появилась лодка, а в ней сидели несколько девушек.

— Вон плывет деревянный башмак, — сказала одна из них.

— А в нем — маленькая букашка, — проговорила другая.

Они поравнялись с башмаком и выловили его, а потом одна девушка достала ножницы и обрезала шерстяную ниточку,



не причинив вреда навозному жуку. Когда же они доплыли до берега, девушка посадила жука в траву.

— Ползи, ползи! Лети, лети, если можешь! — сказала она. — Свобода прекрасна.

И навозный жук влетел прямо в открытое окно какого-то большого строения и там устало шлепнулся на мягкую длинную гриву любимого коня императора; конь стоял в конюшне, она была домом для него и для навозного жука. Жук крепко вцепился в гриву, пытаясь прийти в себя.

— Вот и сижу я верхом на любимом коне императора! Сижу, словно всадник! Ну что я говорил? Теперь-то мне все ясно! Хорошая была мысль, и к тому же верная. С какой стати получил конь золотые подковы? Кузнец-то тоже спрашивал меня об этом. Теперь понимаю! Конь получил их благодаря мне.

К жуку сразу вернулось хорошее настроение.

— В путешествии становишься рассудительнее, — сказал он.

Солнце проникало в конюшню, освещая все вокруг.

— Мир все же не так плох, — продолжал навозный жук. — Надо только уметь взять над ним верх!

А стал мир прекрасен только потому, что любимый конь императора получил золотые подковы лишь благодаря своему всаднику — навозному жуку.

— Теперь я сойду вниз, к другим жукам, и поведаю им, как меня вознаградили. Я расскажу им о всех прелестях заграничного путешествия и сообщу, что останусь дома до тех пор, пока конь не износит своих золотых подков.

---

## ЧТО МУЖЕНЕК НИ СДЕЛАЕТ, ТО И ХОРОШО

**Я** расскажу тебе одну историю, которую слышал в детстве, и всякий раз, когда вспоминал о ней позже, мне казалось, что она становится все лучше. Ведь истории — как люди, они с возрастом становятся только лучше, и это очень приятно!

Ты, конечно, бывал в деревне? Там ты мог увидеть настоящий старинный крестьянский дом, крытый соломой. Крыша его поросла мхом и травой, на коньке свил гнездо аист — без аиста не обойтись; стены покосились, окна низенькие, и лишь одно из них открывается. Печка выпирает, словно пузо, а через изгородь свешивается куст бузины, а в крохотной лужице под узловатой ивой плавает утка с утятами. Еще есть там цепной пес, и лает он на всякого встречного.

Именно такой крестьянский дом стоял в деревне, и жили в нем крестьянин да его жена. Как ни бедно они жили, кое-что у них было лишнее — лошадь, что паслась у придорожной канавы. Хозяин ездил на ней в город, иногда ее брали соседи, расплачиваясь услугой за услугу, но выгоднее было бы продать лошадь или выменять ее на что-то более нужное. Что же получить взамен?

— Ты, отец, смейся в этом больше моего! — сказала жена. — Сейчас как раз ярмарка в городе, езжай туда и продай или обменяй нашу лошадку. Ты ведь чего ни сделаешь, так и хорошо. Поезжай в город!

И она повязала мужу платок на шею — уж это она умела лучше его; завязала двойным узлом, получилось очень изящно. Потом она ладонью почистила его шляпу, поцеловала его прямо в горячие губы, и он уехал на лошади, которую нужно было продать или обменять. Да, отец знал в этом толк!

Припекало солнце, в небе не было ни облачка! На дороге клубилась пыль, ведь на ярмарку отправлялось много народу: кто на телеге, кто верхом, а кто и пешком. Стояла жара, тени нигде не сыскать.

Один человек шел по дороге и гнал корову, да такую отличную, о какой можно только мечтать. «Должно быть, она дает вкусное молоко!» — подумал крестьянин и решил выменять ее.

— Эй ты, с коровой, знаешь что?! — крикнул он. — Давай обсудим одно дельце! Лошадь, конечно, стоит дороже коровы, да так уж и быть. Мне нужнее корова. Поменяемся?

— Пожалуй! — ответил владелец коровы, и они обменялись.

Дело сделано, и крестьянин мог бы теперь повернуть назад, но раз уж он задумал ехать на ярмарку, то надо было там побывать во что бы то ни стало, хотя бы взглянуть, что там происходит. И он со своей коровой двинулся вперед. Шел он быстро, корова поспевала за ним, и вскоре они поравнялись с человеком, который вел овцу. Хорошая была овца, упитанная и с густой шерстью.

«Вот бы мне такую! — подумал крестьянин. — Корму ей хватит и на нашем лугу, а на зиму можно брать ее в дом. Если подумать, то лучше держать овцу, чем корову. Может, поменяться?»

Хозяин овцы согласился, и они обменялись, а крестьянин отправился дальше уже с овцой. Вдруг у плетня видит он человека с жирным гусем под мышкой.

— Знатный у тебя гусь! — сказал ему крестьянин. — И пера, и жира предостаточно! Вот бы привязать его возле нашей лужицы! Да и матушке будет для кого очистки собирать! Она как раз говорила: «Если бы у нас был гусь!» Теперь у нее может быть гусь — и он у нее будет! Хочешь поменяться? Я дам тебе овцу за гуся да спасибо скажу в придачу!

Хозяин гуся согласился, и они поменялись. Так крестьянин получил гуся. Город был уже близко, на дороге становилось все теснее, ее заполнили люди и скот: они брели по дороге и по обочине, вдоль картофельного поля, принадлежащего сборщику дорожных пошлин; тут же была привязана его курица, чтобы не убежала. Это была короткохвостая курица, выглядела она довольной и моргала одним глазом. «Куд-кудах!» — кудахтала она; что она думала при этом, не могу сказать, но вот крестьянин, увидев ее, сразу же подумал: «Нет ничего лучше этой курицы, она даже лучше наседки нашего пастора. Хотел бы я, чтобы у меня была такая! Курица всегда найдет себе зернышко — сама себя прокормит. Хорошо бы выменять ее за гуся».

— Поменяемся? — спросил он.

— Меняться? Ну что же, пожалуй! — ответил хозяин.

И они поменялись. Сборщик дорожных пошлин остался с гусем, а крестьянин — с курицей.

Много он переделал дел по пути к городу; стояла жара, и он утомился. Захотелось ему пропустить рюмочку да перекусить. Поблизости оказался трактир, и крестьянин завернул туда, но в дверях столкнулся с работником, который нес туго набитый мешок.

— Что у вас там? — спросил крестьянин.

— Гнилые яблоки! — ответил тот. — Целый мешок — для свиней.

— Да их там пропасть! Видела бы это моя старуха. В прошлом году мы сняли всего одно яблочко с нашей старой яблони, что возле торфяного сарая! Хотели яблоко-то припрятать, положили его в комод, а оно подгнило. Но моя старуха все-таки говорила: «Какой ни есть, а достаток!» Вот бы она посмотрела, какой бывает достаток! Вот бы показать ей целый мешок.

— А что вы дадите мне взамен? — спросил работник.

— Что дам? Курицу.

И он отдал курицу, и, получив взамен яблоки, вошел в трактир и направился прямо к стойке. Мешок с яблоками он при-

слонил к печке, не заметив, что она топится. В трактире было много посетителей — барышники, торговцы скотом, а среди них — два англичанина, да такие богатые, что карманы их лопались от золота. Стали они биться об заклад, вот послушай-ка!

Сусс! Сусс! Что за звуки раздались возле печки? Это яблоки испеклись.

— Что там такое?

Вскоре англичане узнали всю историю про лошадь, которую обменяли на корову, и так далее, пока не остались одни гнилые яблоки.

— Ну и ну! Достанется же тебе от жены, когда вернешься домой! — сказали англичане. — Стоит ей только узнать об этом!

— Достанется мне от нее поцелуй, — заявил крестьянин. — Моя жена всегда говорит: «Что муженек ни сделает, то и хорошо!»

— Давай поспорим! — ответили на это англичане. — Ставим бочку золотых монет! Сто фунтов!

— И четверика хватит! — возразил крестьянин. — Я могу выставить только четверик яблок да себя самого со старухой, и это больше чем достаточно!

— Согласны! Согласны! — заявили англичане.

Так они и поспорили.

Все погрузились в повозку трактирщика — и англичане, и крестьянин с гнилыми яблоками, — и поехали к дому крестьянина.

— Добрый вечер, мать!

— Спасибо, отец!

— Ну, обменял я нашу лошадь!

— В этом ты знаешь толк! — сказала жена и обняла его, позабыв о мешке и о гостях.

— Выменял я на лошадь корову!

— Слава Богу за молоко! — обрадовалась жена. — Теперь у нас на столе появятся и молоко, и масло, и сыр. Выгодный обмен!

— Да, но корову-то я обменял на овцу!

— Еще лучше! — согласилась жена. — Ты всегда был смекалистым. Для овцы у нас корму предостаточно. Будет овечье молоко, овечий сыр да шерстяные чулки и даже ночные рубашки! С коровы-то шерсти не соберешь. Какой же ты умница!

— Так-то оно так, но овцу я обменял на гуся!

— Ах, отец, выходит в этом году у нас будет гусь ко дню святого Мартина! Ты всегда умеешь меня порадовать! Отлично придумал! Гусь подкормится и разжиреет как раз к празднику!

— Только гуся-то я обменял на курицу, — сказал муж.

— Курицу! Удачная сделка, — обрадовалась жена. — Курица несет яйца, у нас будут цыплята, заведем целый курятник! Именно этого я и хотела!

— Так-то оно так, да курицу я обменял на мешок гнилых яблок!

— Дай-ка я тебя расцелую! — воскликнула жена. — Вот спасибо, муженек! Я тебе сейчас кое-что расскажу. Когда ты уехал, я собралась приготовить тебе обед повкуснее: яичницу-болтушку с луком. Яйца у меня были, а лука не хватало. Тогда пошла я к учителю школы: у них всегда есть лук, я знаю, но жена его скупая, как ни притворяется! Я попросила у нее займы луковицу. «Займы? — сказала она. — У нас в саду ничегошеньки не растет, нет даже гнилого яблочка!» А я теперь могу дать ей не одно, а десять гнилых яблок, а то и целый мешок! Вот смеху-то будет, отец! — И она поцеловала мужа прямо в губы.

— Здорово! — вскричали англичане. — Как ей ни туго приходится, она всегда довольна! Для нее и денег не жалко!

И они заплатили крестьянину золотом, ведь от жены ему достались не тумачи, а поцелуи.

Если жена говорит, что ее муженек умнее всех и все, что он ни сделает, то и хорошо, — она всегда будет вознаграждена.

Вот такая история! Я слышал ее еще в детстве, а теперь и ты тоже услышал ее и знаешь: что муж ни сделает, то и хорошо.

---

## СНЕГОВИК

**Н**у и мороз, я весь потрескиваю! — сказал снеговик. — Ветер так и кусает! А глазастое уставилось и смотрит! Это он про солнце говорил, оно как раз заходило.

— Ни за что не заставишь меня моргнуть, удержусь! Вместо глаз у него были два больших треугольных осколка черепицы; вместо рта — обломок старых граблей, а потому он был с зубами.

Родился он под радостные крики мальчишек, звон бубенчиков на санях да щелканье кнутов.

Солнце зашло, и в небе появилась полная луна, круглая, ясная и чудесная.

— Снова оно светит, теперь с другой стороны, — сказал снеговик. Он-то думал, что это солнце вновь показалось. — Я отучил-таки его глазеть! Ему остается лишь висеть себе да светить, чтобы я мог видеть самого себя. Знать бы только, как сдвинуться с места! Так хочется побежать! Если бы мог, покатался бы на льду, как те мальчишки, но я не умею передвигаться.

— Прочь! Прочь! — залаял старый цепной пес. Он немножко охрип с непривычки — ведь когда-то он жил в доме да грелся у печки. — Солнце, пожалуй, научит тебя бегать! Я-то

видел, что стало в прошлом году с таким, как ты, да и с его предшественником тоже. Прочь! Прочь! Все убрались прочь!

— Не пойму я тебя, приятель! — сказал снеговик. — Та, наверху, научит меня бегать? — Снеговик говорил про луну. — Да она сама от меня убежала, когда я посмотрел на нее в упор, а теперь подкралась с другой стороны.

— Много ты смыслишь! — сказал цепной пес. — Тебя ведь недавно вылепили! То, что ты видишь, называется луна, а то, что закатилось, — солнце, и завтра утром оно вернется на небо; вот тогда оно и научит тебя передвигаться — прямо в ров убежишь. Погода вскоре переменится, я чую — левая лапа заныла. Переменится.

— Трудно его понять, — сказал снеговик, — но сдается мне, что он говорит недоброе. А та, что плячется на меня и закатывается за край неба — он называет ее солнцем, — тоже мне не друг, чую.

— Прочь! Прочь! — залаял цепной пес, трижды повернулся вокруг себя и забрался в конуру спать.

Погода и в самом деле переменилась. К утру вся окрестность была окутана густым влажным туманом; на рассвете подул ледяной ветер и затрещал мороз. Но что за красивое зрелище предстало при восходе солнца! Все деревья и кусты засверкали от инея, точно лес из белых кораллов, их ветви были словно усыпаны белоснежными цветочками. Мельчайшие веточки, которых летом и не видно из-за густой листвы, теперь стали заметны: они составили ослепительно белое кружево, и от каждой ветки лилось сияние. Плакучая береза покачивалась на ветру, она ожила, как летом. Это было несравненное великолепие! И когда солнечные лучи осветили все вокруг, как же засверкал иней на деревьях, точно их осыпали алмазной пылью, а на снегу переливались крупные бриллианты. Можно было подумать, это загорелись бесчисленные крошечные огоньки, блеее самого снега.

— Что за прелесть! — сказала девушка, выйдя с молодым человеком в сад. Они остановились как раз около снеговика



и залюбовались сверкающими деревьями. — Летом такого великолепия не увидишь! — сказала она, и глаза ее засияли.

— И такого молодца — тоже, — сказал молодой человек, показывая на снеговика. — Какой красавец!

Девушка рассмеялась, кивнула снеговику и закружилась со своим другом по снегу; под ногами у них поскрипывало, точно они ступали по крахмалу.

— Кто эти двое? — спросил у пса снеговик. — Ты ведь живешь на дворе дольше меня, знаешь их?

— Конечно! — ответил пес. — Она гладила меня, а он давал мне косточки. Таких я не кусаю.

— А что они собой представляют? — спросил снеговик.

— Парр-рочку! — прорычал цепной пес. — Переедут они в конуру и будут вместе глотать кости. Прочь! Прочь!

— Они такие же знатные, как ты и я? — спросил снеговик.

— Да они же господа! — ответил пес. — Как же мало знает тот, кто только вчера родился! Это я по тебе вижу! Я так умудрен и возрастом, и знаниями, со всеми знаком! Знал я и иные времена, когда не мерз тут на цепи. Вон! Вон!

— Отличный мороз, — сказал снеговик. — Рассказывай дальше! Только не греми цепью, это грохот мне надоел.

— Прочь! Прочь! — пролаял пес. — Я был щенком, маленьким и хорошеньким, как они говорили, и полеживал на бархатных креслах в доме, и на коленях у знатных господ. Меня целовали в мордочку и вытирали лапки вышитыми платками. Звали меня лапулей, малышом, но потом я подрос и стал для них слишком большим. Отдали тогда меня ключнице, и попал я в подвал. Ты можешь заглянуть туда, с твоего места он виден. Можешь заглянуть в каморку, где я зажил хозяином, именно хозяином у ключницы. Там хоть и пониже было, да зато лучше, чем наверху: меня больше не тискали и не мучали дети. Кормили меня по-прежнему хорошо, даже еще вкуснее! У меня имелась своя собственная подушка,

и еще там была изразцовая печь, чудеснейшая вещь в такие холода! Я целиком заползал под нее, так что меня не было видно. О, об этой печке я тоскую до сих пор! Прочь! Прочь!

— Разве печка так хороша? — спросил снеговик. — Она похожа на меня?

— Ни капельки! Черна как уголь! У нее длинная шея и медное брюхо. Пожирает она дрова, да так, что из пасти у нее пышет огонь. Быть рядом с ней, поближе, под ней — настоящее блаженство! Загляни в окно и сам ее увидишь!

Снеговик посмотрел туда и действительно увидел черную блестящую штуку с медным брюхом; внизу горел огонь. Снеговика охватило вдруг странное чувство; он никак не мог объяснить его, но ощутил нечто неведомое, что, однако, знакомо всем людям, ведь они не снеговики.

— Зачем же ты оставил ее? — спросил снеговик у пса. Он чувствовал, что печка должна быть существом женского пола. — И ты мог покинуть такое место?

— Пришлось поневоле, — сказал цепной пес. — Они вышвырнули меня и посадили на цепь. Дело в том, что я укусил за ногу младшего барчука — он отнял у меня кость. Кость за кость, — подумал я... Но они рассердились, и с тех пор я на цепи, к тому же потерял голос... Слышишь, как охрип? Прочь! Прочь! Так все и закончилось.

Но снеговик уже не слушал пса; он не сводил глаз с подвала, так и заглядывал в каморку ключницы, где стояла на четырех железных ножках печь величиной с самого снеговика.

— Во мне что-то странно поскрипывает, — проговорил он. — Неужели я никогда не попаду туда? Это ведь такое невинное желание, а невинные желания сбываются. Это моя самая заветная, моя единственная мечта, и будет несправедливо, если она не сбудется. Мне надо туда, я хочу прижаться к печке, даже если придется разбить окно.

— Тебе туда не попасть, — сказал цепной пес. — Если приблизишься к печке, тебе конец! Конец!

— Мне и так скоро конец, — возразил ему снеговик. — Того и гляди, развалюсь.

Целый день стоял снеговик и смотрел в окно. В сумерках каморка выглядела еще соблазнительнее: печка светила так ласково, как не светить ни луне, ни даже солнцу. Нет, так может светить только огонь в печке. Когда открыли дверцу, из печки привычно взметнулось пламя; красный отсвет его упал на белое лицо и грудь снеговика.

— Я больше не выдержу, — сказал он. — Ей так идет высовывать свой язычок!

Ночь выдалась долгая, но не для снеговика; он стоял, погруженный в свои прекрасные мечты — они так и трещали от мороза.

К утру окна подвала замерзли, покрылись чудесными ледяными узорами; лучшего снеговик и пожелать не мог, но они скрывали печку. Оконные стекла не оттаивали, и он не видел ее. Мороз стоял трескучий, вот бы радость для снеговика, но он не радовался. Вот, вроде бы, сколько счастья привалило, но он был несчастен, тосковал о печке.

— Опасная болезнь для снеговика, — сказал цепной пес. — Я тоже страдал ею, но поправился. Прочь! Прочь! Погода переменится.

И погода переменилась, началась оттепель.

Тепла прибавилось, а снеговика поубавилось. Он ничего не говорил, не жаловался, и это плохой признак.

В одно прекрасное утро он рухнул. На месте его торчало нечто вроде палки от метлы, на ней-то мальчишки и укрепили его.

— Теперь я понимаю, почему он тосковал, — заявил цепной пес. — У снеговика внутри была кочерга! Она-то в нем и шевелилась, но все прошло. Прочь! Прочь!

А вскоре и зима прошла.

— Прочь! Прочь! — лаял цепной пес.

А девочки на дворе пели:

Расти, яминник! Нежною листвою  
Склоняйся, ива, над рекою.  
Кукушки, жаворонки — все  
Весну воспойте в феврале!  
Я подпеваю птичкам этим!  
Пусть солнышко почаще светит!

А о снеговике никто и не вспоминал.

---

## НА УТИНОМ ДВОРЕ

**И**з Португалии — а кто говорит, из Испании, но это все равно — привезли утку; прозвали ее Португалкой. Она несла яйца, потом ее зарезали, приготовили и подали на стол. Такова ее судьба. Утят же ее тоже звали Португальцами, и это кое-что значило. И теперь из всего ее потомства осталась на утином дворе лишь одна-единственная Португалка. На этот двор допускались и куры, а петуху неизмеримо важничал, расхаживая вместе с ними.

— Он оскорбляет меня своим диким криком! — говорила Португалка. — Но он красив, в этом ему не откажешь, хотя и не сравнится с селезнем. Ему следовало бы вести себя посдержаннее, но ведь искусство сдерживать себя доступно только в высшей степени воспитанным личностям. Таковы певчие птички, что живут на липах в соседском саду! Как мило они поют! В их пении есть что-то волнующее, португальское, как я это называю! Будь у меня такая певчая птичка, я стала бы ей как мать, была бы с ней ласкова и добра, ведь это у меня в крови, в моем португальском происхождении.

И как раз в этот миг к ней свалилась с крыши певчая птичка. За бедняжкой охотился кот, но птичка отделалась сломанным крылышком и упала прямо на утиный двор.

— Как это похоже на этого негодяя кота! — сказала Португалка. — Я знаю его с той поры, как у меня самой бы-

ли утята! Подумать только, такому созданию позволяют жить и бегать по крышам! Не думаю, что подобное случается в Португалии.

И она принялась жалеть певчую птичку, а другие утки, не португальские, тоже жалели ее.

— Бедняжка, — говорили они, подходя к ней одна за другой. — Сами мы, конечно, не певчие птички, но и в нас есть внутренний резонатор или что-то вроде того; мы чувствуем это, хотя и не говорим о том вслух.

— Тогда я скажу! — вмешалась Португалка. — И я помогу ей, ведь это наш долг!

С этими словами она подошла к корыту и зашлепала по воде крыльями, так что чуть не потопила маленькую птичку под ливнем брызг, но от чистого сердца!

— Вот так творят добро! — сказала Португалка. — Пусть другие смотрят и берут пример.

— Пип! — пискнула птичка; сломанное крылышко не позволяло ей стряхнуть воду, но она понимала, что ей просто желали помочь. — Вы очень добры, мадам! — сказала она, но искупаться больше не захотела.

— Я никогда не думала о том, что добра, — ответила Португалка, — но я точно знаю, что люблю всех своих ближних, кроме кошки, и уж этого от меня требовать не вправе! Она съела двух моих утят... Ну, будьте же здесь как дома! Сама я из дальних стран, что вы, конечно, видите по моей осанке и оперению. А мой селезень здешний, не моей крови, но я не спесива!.. Если вас вообще кто-нибудь сможет здесь понять, то, смею предположить, только я.

— У нее Портулакия в зубу! — сострил один местный утенок; остальные простые утки нашли шутку бесподобной: «Портулакия» звучала совсем как «Португалия». И, подталкивая друг друга, закричали:

— Кряк! Вот остряк!

Потом они заговорили с певчей птичкой.

— Португалка — мастерица порассуждать! — сказали они. — У нас-то в клюве нет таких громких слов, но мы принимаем в вас не меньшее участие; и если мы ничего не делаем для вас, то не кричим об этом; по-нашему, так благороднее!

— У вас прекрасный голос, — сказала одна из старых уток. — Должно быть, приятно сознавать, что многие радуются вашему пению! Впрочем, я мало смыслю в этом, оттого и помалкиваю; так будет лучше, нежели болтать глупости, какие вам наговорили другие.

— Не надоедайте ей! — вмешалась Португалка. — Птичке нужны покой и уход. Не искупать ли вас снова, маленькая певунья?

— О нет, позвольте мне остаться сухой! — попросила птичка.

— Водолечение — единственное, что мне помогает! — заявила Португалка. — Развлекаться тоже полезно! Скоро к нам пожалуют с визитом соседки куры. Между ними есть две китаянки: они ходят в панталончиках, очень образованны, хотя и здешние, это подымает их в моих глазах.

Пришли куры, явился и петух; в этот раз он был весьма учтив и совсем не грубил.

— Вы настоящая певчая птичка, — сказал он. — И сделали из своего слабенького голоска все, что только можно. Но надо иметь гудок посильнее, чтобы слышно было, что говорит настоящая птица.

Обе китаянки пришли от певчей птички в восторг; она была вся взъерошенная после купания и напоминала им китайского цыпленка.

— Как мило! — воскликнули они и вступили с птичкой в беседу. Говорили они шепотом, а звук «п» произносили как настоящие китаянки. — Мы ведь вашей породы! А утки, даже сама Португалка, принадлежат к водоплавающим птицам, как вы, вероятно, заметили. Вы нас еще не знаете, но многие ли здесь знают нас или дают себе труд узнать! Никто, даже из кур никто, хотя мы и рождены для более высо-

кого насеста, чем большинство... Да нам все равно, мы молча идем своим путем меж других, у нас свои принципы: мы видим только хорошее, говорим только о хорошем, хотя и трудно найти его там, где вообще ничего нет. За исключением нас обеих и петуха, во всем курятнике нет больше одаренных натур, а уж о порядочности на утином дворе и говорить не приходится. Мы предостерегаем вас, милая птичка! Не верьте вон той куцей утке, она коварная! А вон та пестрая, с косым узором на крыльях, страшная спорщица, никому не дает сказать последнее слово и сама всегда не права!.. Та жирная утка обо всех отзывается дурно, а это противно нашей природе: если нельзя сказать ничего хорошего, лучше промолчать. Одна лишь Португалка отличается некоторой воспитанностью, с ней можно общаться, однако нрав у нее горячий да слишком уж много она говорит о Португалии.

— Эти китайки шепчут не переставая! — сказали две утки. — Нам они порядком наскучили; мы с ними и не разговариваем.

И вот появился селезень. Он принял певчую птичку за воробья.

— Я их не различаю, — сказал он. — Мне это ни к чему. Все они шарманки; раз уж есть они у тебя, пусть остаются!

— Пусть себе говорит, не обращайтесь на него внимания! — шепнула птичке Португалка. — Он весьма уважаем в делах, а дела — это главное. Ну, а теперь я прилягу отдохнуть; надо заботиться о себе, если хочешь разжиреть и быть нафаршированной яблоками и черносливом.

И она, подмигнув, улеглась на солнышке. Лежала она так славно, и сама была славная, и уснула очень славно. Певчая птичка почистила сломанное крылышко и прилегла к своей покровительнице. Солнышко пригревало так чудесно, тут было уютное местечко.

Соседские куры принялись рыться в земле; они, в сущности, и приходили сюда только ради корма. Первыми ушли



китайянки, а потом и остальные. Остроумный утенок сказал про Португалку, что старушка скоро впадет в «утиное детство». Другие утки рассмеялись:

— Утиное детство! Нет, он непревзойденный остряк! — И повторили его прежнюю остроту: — Портулакия!

Так они забавлялись, но потом утомонились и они.

Прошло немного времени, как вдруг на утиный двор выплеснули кухонные отбросы. От этого звука вся спящая компания проснулась и забила крыльями. Проснулась и Португалка, перевалилась на другой бок и сильно придавила певчую птичку.

— Пип! — пискнула та. — Вы наступили на меня, мадам!

— А вы не валяйтесь под ногами! — отрезала Португалка. — Нельзя быть такой чувствительной! У меня тоже есть нервы, но я никогда не пишу!

— Не сердитесь, — сказала маленькая птичка, — писк у меня вырвался невольной!

Но Португалка уже не слышала этого; она кинулась к отбросам и отлично пообедала. Насытившись, она снова улеглась, а певчая птичка опять подошла к ней и хотела было доставить ей удовольствие своим пением:

Далеко полечу,  
Я о сердце твоём  
Рассказать всем хочу!  
Песней этой я всех захвачу!

— Теперь мне надо отдохнуть после обеда! — сказала Португалка. — Вы бы узнали получше здешние порядки! Я спать хочу!

Певчая птичка совсем растерялась, она ведь запела от чистого сердца. Когда мадам снова проснулась, птичка стояла перед ней, желая угостить ее найденным зернышком. Но Португалка не выспалась как следует и была, разумеется, не в духе.

— Отдайте это цыпленку, — буркнула она. — И не стойте у меня над душой!

— Вы сердитесь на меня, — сказала птичка. — Что же я сделала?

— Сделала! — повторила Португалка. — Выражение не самое изящное, позвольте вам заметить!

— Вчера светило солнышко, — сказала птичка, — а сегодня темно и пасмурно! Мне так грустно!

— Вы не сильны в летоисчислении, — отметила Португалка. — День еще не кончился! Не будьте же так глупы!

— Вы смотрите на меня сердито, совсем как смотрели те злые глаза в тот момент, когда я упала с крыши на двор.

— Какое бесстыдство! — воскликнула Португалка. — И вы сравниваете меня с кошкой, этой хищницей? Да в моей крови нет ни единой капли зла. Я приняла в вас участие, и придется научить вас приличному обхождению!

И она откусила певчей птичке голову — бедняжка упала замертво.

— Что такое? — сказала Португалка. — И этого не смогла перенести? Ну, значит, она не создана для этого мира! Я была ей как мать, уж я-то знаю! У меня есть сердце.

Соседский петух просунул голову на двор и закукарекал громко, как оглашенный.

— Вы изводите меня своим криком! — воскликнула Португалка. — Это вы во всем виноваты: птичка потеряла голову да и я была близка к этому!

— Немного-то места занимает теперь невеличка, — сказал петух.

— Говорите о ней почтительнее! — возразила Португалка. — У нее был голос, она умела петь, была образованна! Она была ласкова и нежна, а это так же приличествует животным, как и так называемым людям!

Вокруг маленькой мертвой птички собрались все утки. Утки вообще сильно выражают свои чувства — будь то зависть или жалость. Завидовать тут было нечему, так что они жалели. Появились и обе курицы-китаянки.

— Такой певчей птички у нас никогда больше не будет! Она была почти что китаянка.

И они всплакнули; другие куры тоже, а утки ходили с красными глазами.

— Сердце-то у нас есть! — говорили они. — Этого отрицать нельзя.

— Сердце! — повторила Португалка. — Да, уж этого-то здесь столько же, сколько и в Португалии!

— Подумаем-ка лучше, чем бы набить зобы! — заметил селезень. — Это поважнее будет! Если и разбилась одна шарманка, то их еще довольно осталось.

---

## МУЗА НОВОГО ВЕКА

**М**уза нового века, которую узрят наши правнуки, а может, и еще более далекие поколения, но не мы, — когда же явит она себя? Какова она будет? О чем споет? Каких струн души она коснется? На какую высоту поднимет она свой век?

Столько вопросов в наше хлопотное время, когда поэзия стала чуть ли не помехой, когда ясно сознают, что от многих «бессмертных» творений современных поэтов останется в будущем что-то вроде надписей углем, встречающихся на тюремных стенах и привлекающих внимание случайных любопытных!

Поэзии приходится играть роль хотя бы пыжа в борьбе партий, когда проливаются кровь или чернила.

Это односторонний взгляд, скажут многие: поэзия не забыта и в наше время.

Нет, находятся еще люди, которые в свободную минуту испытывают потребность в поэзии, и тогда, чувствуя урчание от духовного голода в благородных частях своего организма, они, конечно же, посылают слугу в книжный магазин купить поэзии на целых четыре скиллинга, да той, что больше всего рекомендуется. Некоторые же довольствуются и той поэзией, которую можно получить в придачу к покупкам, или удовлетворяются чтением листков, в которое им заворачивают товар в бакалейной лавке. Это дешевле, а в наше хлопотное время нельзя забы-

вать о материальной выгоде. Довольствуйся тем, что имеешь, чего ж еще желать! А поэзия будущего, как и музыка будущего, — всего лишь донкихотство; говорить о них — все равно что говорить об экспедиции на Уран.

Время слишком дорого, чтобы тратить его на фантазии, и что такое, собственно, поэзия, если рассуждать трезво? Эти звонкие излияния чувств и мыслей — только колебания и трель нервов. Восторг, радость, страдание, даже материальные устремления — все это, по словам ученых, просто трепет нервов. Каждый из нас — натянутая струна.

Но кто же касается этих струн? Кто заставляет их колебаться и дрожать? Дух, незримый божественный дух, ибо эти струны передают его трепет, его голос; он понятен другим струнам, так что они или звучат единым аккордом, или образуют мощный диссонанс. Так было и так будет на великом пути человечества к осознанию свободы.

Каждый век, можно даже сказать — каждое тысячелетие, являет нам свое величие в поэзии; рожденная в конце одной эпохи, она выступает и царствует только в следующую.

Итак, Муза нового века рождена в наше хлопотное время, под грохот машин. Мы шлем ей свой привет! Она услышит его или, может быть, однажды прочтет среди упомянутых нами надписей углем.

Ее колыбель раскачивалась между Северным полюсом, крайней точкой, исследованной человеком, где ступала его нога, и «черно-угольной бездной» полярного неба, куда человек устремлял свой взгляд. Мы не слышали, как покачивалась ее колыбель, из-за свиста паровозов, грохота машин, рушащихся скал материализма и сбрасываемых прежних духовных оков.

Она родилась на большой фабрике нашего времени, где царит энергия пара, где мастер Бездуховный и его подручные трудятся денно и нощно.

У нее большое любящее женское сердце, в ней горят пламя весталки и огонь страсти. Она одарена ярким, точно

вспышка света, умом; как сквозь призму, отражает он изменчивые краски тысячелетий, где господствовал то один, то другой модный оттенок. Лебединое оперение фантазии — это великолепие мощь Музы, оно соткано наукой, а силу сообщает ей «первобытная природа».

Она дитя народа по отцу, здравомыслящая, с серьезными глазами и улыбкой на устах. Мать же ее — дочь знатных, высокообразованных эмигрантов, хранящих память о золотой эпохе рококо. Муза нового века плоть и кровь их обоих.

Крестные положили ей в колыбель прекрасные дары. В изобилии были насыпаны туда, словно лакомства, загадки природы с их разгадками; из водолазного колокола высыпали ей чудесные «безделушки» со дна моря. На пологие колыбели отпечаталась карта неба, этого бесшумного океана с мириадами островов-миров. Солнце рисовало ей картинки; фотография же станет ей игрушкой.

Кормилица пела ей песни скальда Эйвинда и Фирдоуси, песни миннезингеров и песни, что исторгала истинно поэтическая душа шаловливого Гейне. Много, очень много рассказывала ей кормилица. Муза знает «Эдду», наводящие ужас саги далеких предков, где слышится шум кровавых крыльев проклятий. За четверть часа она прослушала все восточные сказки «Тысячи и одной ночи».

Муза нового века — еще дитя, но она уже выпрыгнула из колыбели; она полна желаний, не зная, к чему же ей стремиться.

Она пока играет в своей просторной детской, наполненной сокровищами искусств, украшенной в стиле рококо. Там есть и греческая трагедия, и римская комедия, изваянные в мраморе; по стенам развешаны, словно засушенные растения, национальные песни разных народов: один поцелуй — и растения эти распустятся, свежие и благоухающие. Слух Музы ловит бессмертные аккорды Бетховена, Глюка, Моцарта, других великих мастеров — их мысли в музыке. На книжной полке стоят произведения многих авторов, считавшихся

в свое время бессмертными. Здесь есть место и для других, чьи имена звучат по телеграфному проводу бессмертия, но умирают с передачей телеграммы.

О, сколько она прочла, даже слишком много, но она ведь родилась в наше время, многое стоит забыть, и Муза сумеет это.

Она еще не помышляет о собственной песне, которая будет жить в новом тысячелетии, как живут теперь писания Моисея и золотые басни Бидпая о хитром и удачливом лисе. Она не задумывается о своей миссии, своем будущем, она пока играет под шум борьбы народов, сотрясающей воздух, порождающей то там то сям неясные образы с гусиными перьями или пушками, — руны, которые трудно разгадать.

Она носит гарибальдийскую шапочку, читает Шекспира, и у нее мелькает мысль: «А ведь его еще можно будет ставить, когда я вырасту!» Кальдерон покоится в саркофаге своих произведений; надпись на саркофаге свидетельствует о славе писателя. Хольберга же — да, Муза ведь космополитка — она переплела в один том с Мольером, Плавтом и Аристофаном, но все-таки больше читает Мольера.

Она свободна от того беспокойства, которое гонит альпийскую серну, но и ее душа жаждет соли жизни, как серны — соли гор; в душе ее царит покой, словно в преданиях древних иудеев, в нем слышится голос кочевников с зеленых равнин в тихие звездные ночи, и все же в песне сердце ее бьется сильнее, чем у вдохновенного воина с фессалийских гор, Чем в Древней Греции.

Как обстоит дело с ее христианской верой? Она изучила все философские системы, сломала себе молочный зуб на происхождении материи, но у нее вырос новый; еще в колыбели она вкусила плода познания и стала так умна, что бессмертие воссияло перед ней как гениальнейшая мысль человечества.

Когда же наступит новый век поэзии? Когда мы узнаем его Музу? Когда мы услышим ее?

В одно прекрасное весеннее утро она примчится на паровозном драконе, с шумом пронесется по туннелям и по виадукам, или по бурному морю, верхом на фыркающем дельфине, или по воздуху, на птице Рух, созданной Монгольфье, и спустится на землю, откуда и раздастся ее божественный голос, впервые приветствующий род человеческий. Откуда же? Не из земли ли Колумба, страны свободы, где туземцы стали гонимыми зверями, а африканцы — выючными животными, из страны, откуда мы услышали «Песнь о Гайавате»? Или из другой части света, нам противоположной, что лежит золотым слитком в южном море, из страны контрастов, где наша ночь — это день, где в зарослях мимозы поют черные лебеди? Или же из той страны, где звучит колосс Мемнона, хотя мы и не понимаем пения сфинкса в пустыне? А может, с каменноугольного острова, где со времен Елизаветы господствует Шекспир? Или из отечества Тихо Браге, которое его отринуло, или из сказочной страны Калифорнии, где возносит свою крону к небу король лесов — Веллингтоново дерево?

Когда же воссияет звезда с чела Музы, когда распухнет цветок, на лепестках которого будет начертан образ прекрасного в новом веке — красота форм, красок и благоухание?

«Какова программа новой Музы? — спросят сведущие депутаты нашего времени. — Чего она сама хочет?»

Спросите лучше, чего она не хочет!

Она не хочет выступать тенью былых времен! Не хочет мастерить драмы из устаревших сценических эффектов или прикрывать убожество драматической композиции ослепительными лирическими драпировками! Полет новой Музы напомнит нам о расстоянии между колесницей Феспида и мраморным амфитеатром. Она не будет дробить естественную человеческую речь на кусочки и потом склеивать их в затейливые колокольчики с вкрадчивыми звуками времен состязаний трубадуров. Не захочет она и видеть в поэзии дворянку, а в прозе — мещанку! Обе они равны по звучанию,



полноте и силе. Не захочет она и ваять старых богов из глыбы исландских саг! Те боги умерли, у нового времени нет к ним сочувствия, они чужды ему! Не захочет она занимать мысли своих современников французскими дешевыми романами! Не захочет и усыплять хлороформом обыкновенные истории! Она желает принести современникам эликсир жизни! Ее песнь и в стихах, и в прозе будет сжатой, ясной, насыщенной. Биение сердца каждой нации явится для нее лишь буквой в великой азбуке развития, и она возьмет каждую букву с равной любовью, составит из них слова, и слова эти сольются в мелодии гимна, который она воспоет своему веку!

Когда же придет это время?

Для нас, еще живущих здесь, на земле, оно наступит не скоро, а для тех, кто улетел вперед, — очень быстро.

Вскоре рухнет Китайская стена; железные дороги Европы достигнут недоступных культурных архивов Азии — и два потока культуры сольются. Тогда, возможно, эти потоки загрохочут так громко, что мы, пожилые современники, затрепещем, как перед наступлением Рагнарёка, когда пали старые боги, но мы забываем, что эпохи и поколения человеческие исчезают, что от них остаются только миниатюрные образы, заключенные в оболочку слова, которые и плывут по потоку вечности, словно цветы лотоса, говоря нам, что все мы — плоть от плоти тех поколений, только в иных одеждах. Образ жизни древних иудеев сияет нам в Библии, греков — в «Илиаде» и «Одиссее», а где же наш образ? Спросите у Музы нового века времен Рагнарёка, когда восстают новые Гимле, преображенные небеса.

Вся сила пара, сама современность послужат для Музы рычагами! Мастер Бездуховный и его хлопотливые подмастерья, которые казались могучими повелителями нашего времени, явятся лишь слугами, черными рабами; они украшают залу, подносят сокровища, накрывают столы для великого празднества, на котором Муза, невинная, как дитя, востор-

женная, как юная девушка, и спокойная, рассудительная, как зрелая женщина, поднимет дивный светильник поэзии, этот божественный огонь, горящий в щедром, переполненном чувствами человеческом сердце.

Привет тебе, Муза поэзии нового века! Привет наш вознесется и будет услышан, как бессловесный гимн червя, перерезанного плугом. Настанет новая весна, и плуг опять будет бороздить землю и перерезать нас, червей, чтобы вошло благословение для грядущего поколения.

Привет тебе, Муза нового века!

---

# ЛЕДЯНАЯ ДЕВА

## I. МАЛЫШ РУДИ

Отправимся вместе в Швейцарию, эту дивную горную страну, где прямо на отвесных скалах растут леса; выберемся на сверкающие снегом равнины, спустимся на зеленые луга, где шумят реки и ручьи, словно боясь опоздать слиться с морем. Солнце припекает и внизу, в долинах, и в вышине, над тяжелыми снежными массами; с годами они подтаивают и сплавляются в ослепительные ледяные глыбы, лавинами катятся вниз, громоздятся глетчерами. Два таких глетчера образовалось в широком ущелье под Шрекхорном и Веттерхорном, близ горного городка Гриндельвальда. Зрелище весьма примечательное, а потому летом сюда приезжают много иностранцев со всех концов света. Они совершают переход через высокие, покрытые снегом горы, являются снизу, из глубоких долин, и тогда им приходится подниматься ввысь несколько часов. По мере того как они восходят, долина опускается все ниже, и они любуются ею с высоты, точно из корзины воздушного шара. Над вершинами гор частенько висят тучи, как плотная, тяжелая дымовая завеса, а внизу, в долине, где разбросаны многочисленные бревенчатые домики, еще светит солнце, и в его лучах зеленый клочок земли кажется прозрачным. Вода наверху журчит и звенит; ручьи выются по скалам, будто серебряные ленты.

По обеим сторонам дороги, ведущей вверх, стоят бревенчатые дома, и возле каждого есть картофельные грядки; здесь это необходимо, ведь в доме много ртов, целая куча ребятишек, и все есть просят. Дети толкаются на дороге, обступают туристов, и пешеходов, и приехавших в экипажах. Детвора занята торговлей: малыши продают искусно вырезанные из дерева домики, столь похожие на настоящие здесь, в горах. И в дождь, и в солнце ребятишки выходят сюда со своим товаром.

Лет двадцать тому назад стоял тут иногда, чуть поодаль, один мальчуган. Он тоже выходил торговать, но стоял с таким серьезным видом и так крепко сжимал в руках корзинку, словно не желал расставаться с ней. Именно эта серьезность да еще крохотный возраст ребенка привлекали к нему всеобщее внимание: его подзывали, и он часто торговал успешнее своих товарищей, сам не зная, почему. Выше, на горном склоне, жил его дедушка, который и вырезал все эти изящные, чудесные домики. В комнате у них стоял старый шкаф, битком набитый всякими резными вещицами; там были щипцы для орехов, ножи, вилки, шкатулки, украшенные резьбой — завитушками и скачущими сернами. Там было все, что могло бы порадовать ребенка, но Руди, так звали малыша, больше заглядывался на старое ружье, подвешенное к потолку. Дедушка обещал, что со временем ружье будет принадлежать мальчику, но не раньше, чем тот подрастет и окрепнет настолько, что сумеет обращаться с ним.

Как ни мал был Руди, ему уже приходилось пасти коз, и он был отличным пастухом, потому что умел лазать по горам вместе с ними. Он забирался даже выше коз, влезал на верхушки деревьев за птичьими гнездами — таким он был смельчаком. Но улыбку на его лице видели лишь в те минуты, когда он прислушивался к шуму водопада или к грохоту лавины. Никогда не играл он с другими детьми, а бывал вместе с ними, только если дедушка отправлял его продавать разные поделки, что вовсе не радовало Руди. Он больше любил ка-

рабкаться один по горам или сидеть возле деда и слушать его рассказы о старине и о народе, живущем по соседству, в Майрингене, откуда тот сам был родом. Народ этот не жил здесь с сотворения мира, рассказывал дедушка, но пришел и поселился в этих местах. А пришел он с севера, где живут его родичи, называемые шведами. Такие сведения узнавал Руди, но еще больше знаний он получал другим путем — от домашних животных. У них были большая собака, Айола, оставшаяся в наследство от отца Руди, да еще кот. Последний имел особое значение для Руди — он выучил мальчика лазать.

— Пойдем со мной на крышу! — призывал кот, и язык его был ясен и понятен, ибо ребенок, еще не умеющий говорить, прекрасно понимает кур и уток, кошек и собак; они говорят так же понятно, как отец с матерью, надо только быть очень маленьким! Тогда и дедушкина палка может заржать, став лошадь, настоящей лошадь с головой, ногами и хвостом! Иные дети утрачивают такую способность понимания позже других, и потому сливуют отстающими; о них говорят, что они слишком долго остаются детьми. Но мало ли что говорят!

— Пойдем со мной на крышу, Руди! — Вот первое, что сказал кот, и Руди понял его. — Говорят, что можно упасть, — ерунда! Не упадешь, если не будешь бояться. Иди! Одну лапку ставь сюда, другую — туда! Упирайся передними лапками! Гляди в оба и будь половчее! Встретится трещина — перепрыгивай да держись крепко, как я!

Так Руди и сделал; после этого он сживал часто с котом на крыше, сживал с ним на верхушках деревьев и даже высоко на уступе скалы, куда кот не мог забраться.

— Выше! Выше! — твердили деревья и кусты. — Видишь, как мы стремимся вверх! Как высоко мы забрались, как крепко держимся, даже на самом крайнем, остром выступе!

И Руди часто взбирался на гору еще до восхода солнца и пил там свое утреннее питье — свежий, укрепляющий горный воздух, — питье, которое может приготовить лишь Гос-

подь Бог, а люди просто читают рецепт: «Свежий аромат горных трав да благоухание мяты и тимьяна, растущих в долине». Всю духоту впитывают в себя облака, а ветер развеивает их потом над еловыми лесами, и аромат цветов смешивается с воздухом, становится все легче, все свежее; воздух этот и был утренним питьем для Руди.

Солнечные лучи, благословенные дети солнца, целовали Руди в щеки, а Головокружение выжидало момент, но пока не осмеливалось подойти поближе. Ласточки, жившие под крышей дедушкиного дома — там лепилось не меньше семи гнезд, — взлетали на гору к Руди и его козам и щебетали: «Мы и вы! Вы и мы!» Они приносили мальчику привет из дома, даже от двух кур, единственных домашних птиц, с которыми Руди, между прочим, не водился.

Как ни мал он был, ему уже довелось путешествовать, и далеко для такого малыша. Родился он в кантоне Вале, по ту сторону гор, и был перевезен сюда еще младенцем. А недавно он ходил пешком к водопаду Штауббах, который веет в воздухе серебристой вуалью перед ослепительной белоснежной вершиной Юнгфрау. Побывал мальчик и на большом леднике Гриндельвальда, но с этим связана грустная история: мать его нашла там свою смерть; там же, по словам деда, маленький Руди стал не по-детски серьезным. Когда мальчику не было еще и года, он больше смеялся, чем плакал, как писала о нем дедушке мать, но с тех пор, как Руди больше часа пролежал в ледяном ущелье, характер его совершенно переменялся. Дед не любил много говорить об этом, но все соседи в горах знали о происшествии.

Отец Руди был почтальоном; большая собака всегда сопровождала его в переходах через Симплонский перевал к Женевскому озеру. В долине Роны, в кантоне Вале, все еще жили родственники Руди по отцу. Дядя его слыл отважным охотником за сернами и известным проводником. Руди был всего год, когда умер его отец и мать собралась пересе-

литься с малышом к своим родичам, в Бернское нагорье. В нескольких часах ходьбы от Гриндельвальда жил ее отец, занимавшийся резьбой по дереву и с лихвой зарабатывавший себе на жизнь. Мать с ребенком пустилась в путь, когда настал июнь, и сопровождали ее два охотника за сернами, чтобы провести через перевал в Гриндельвальд. Путники прошли уже почти всю дорогу, перебрались через гребень горы на снежную равнину, и молодая женщина увидела перед собой родную долину с разбросанными по ней знакомыми домиками; оставалось только преодолеть последнее препятствие — большой глетчер. Недавно выпавший снег припорошил расселину, которая хотя и не доходила до самого дна пропасти, где шумела вода, но все же была довольно глубокой, больше человеческого роста. Молодая женщина, несшая на руках ребенка, поскользнулась, провалилась в снег и исчезла. Путники не услышали даже крика, только плач малютки. Прошло больше часа, пока им удалось принести из ближайшего дома веревки и шесты, при помощи которых они с большим трудом извлекли из ледяного ущелья два мертвых тела, как им показалось сначала. Были пущены в ход все средства, и ребенка удалось вернуть к жизни, но мать умерла. Так старый дедушка принял в свой дом только внука — малыша, который прежде больше смеялся, чем плакал, а теперь, похоже, совсем разучился радоваться. Перемена эта произошла в нем, наверное, оттого, что он побывал в ледяном ущелье, в холодном необычном ледяном царстве, где, по поверьям швейцарских крестьян, томятся души грешников в ожидании Судного дня.

Словно быстрый водопад, превратившийся в лед и застывший зеленоватыми стеклянными скалами, высится глетчер; одна ледяная глыба громоздится на другую. В глубине пропасти ревет бурный поток, образовавшийся из растаявшего снега и льда. Глубокие ледяные пещеры, огромные ущелья являют собой диковинный стеклянный дворец, в котором живет Ледя-

ная дева, королева глетчеров. Губительная, всесокрушающая, она наполовину дитя воздуха, наполовину могущественная повелительница вод, поэтому она может с быстротой серны взлететь на снежную вершину горы — туда, где отважнейшие из горных проводников должны вырубать себе ступеньки во льду. Она переплывает ревущие потоки на тонкой еловой веточке, перепрыгивает со скалы на скалу, причем ее длинные белоснежные волосы и сине-зеленое, блестящее, как воды глубоких швейцарских озер, платье развеваются по ветру.

— Раздавлю, захвачу! Здесь все в моей власти! — говорит она. — У меня украли прелестного мальчугана; я уже отметила его своим поцелуем, но не успела зацеловать до смерти. Теперь он снова среди людей, пасет коз в горах, карабкается вверх, все вверх, хочет уйти от других, но от меня ему не уйти! Он мой, доберусь до него!

И она попросила Головокружение помочь ей; Ледяная дева чувствовала, как летом ей становится душно среди зеленой растительности, где благоухает мята, а Головокружения так и ныряют в горах; то одно появится, то целых три. Их ведь много, сестер, целая стая. Ледяная дева выбрала из них самую сильную, что повелевает и в домах, и в горах. Головокружения сидят по перилам лестниц и по перилам башен, скачут белками по краю скал, спрыгивают, плывут по воздуху, как пловцы по воде, и заманивают своих жертв в пропасть. И Головокружение, и Ледяная дева хватают людей, как полипы хватают все, что плывет мимо них. И вот Головокружению предстояло поймать Руди.

— Да, поди-ка поймай его! — сказало Головокружение. — Я не могу! Этот дрянной кот научил его всяким премудростям! Ребенка оберегает какая-то сила, и она отталкивает меня; я не могу схватить этого мальчишку, даже когда он висит, держась за ветку, над пропастью, а мне так хотелось пощекотать его за пятки или заставить его нырнуть прямо в бездну! Но нет, не могу!



— Мы сможем сделать это! — сказала Ледяная дева. — Ты и я! Я! Я!

— Нет, нет! — зазвучало им в ответ, словно в горах раздалось эхо колокольного звона, но это было пением, речью, это было хором духов природы, — кротких, любящих, добрых детей солнца. Они, как венком, окружают по вечерам горные вершины, простирая над ними свои розовые крылья, пламенеющие по мере того, как садится солнце, и вот высокие Альпы пылают; люди называют такую картину «альпийским заревом». Когда же солнце закатывается, духи природы взлетают на горные вершины, укрытые снегом, и спят там до восхода солнца. С первыми его лучами они снова встают. Они больше всего любят цветы, бабочек и людей; из последних же они избрали и особенно полюбили Руди.

— Вам его не поймать! Вам его не поймать! — говорили они.

— Я ловила людей и постарше, и посильнее! — отвечала Ледяная дева.

Тогда дети солнца спели о путнике, с которого вихрь сорвал плащ.

— Ветер унес покров, но не самого человека! Вы, дети жестокой силы, можете лишь схватить его, но не удержать. Он сильнее даже нас, духов! Он взбирается на горы выше солнца, нашей матери! Он знает волшебное слово, которому покорны ветер и воды, так что они должны служить ему и повиноваться. Не властна над ним ваша тяжкая, грубая сила, он стремится ввысь!

Так чудесно пел этот хор, будто звенели колокольчики.

И каждое утро светили солнечные лучи в единственное оконце дедушкиного дома, озаряя спящего мальчика. Дети солнца целовали его; они хотели растопить его печаль, согреть его, стереть ледяные поцелуи королевы глетчеров, которые она запечатлела на его челе, пока ребенок лежал в объятиях умершей матери в глубокой ледяной расселине, откуда спасся чудом.

## II. ПЕРЕЕЗД В НОВЫЙ ДОМ

Руди исполнилось восемь лет. Его дядя по отцу, живший в долине Роны, по ту сторону гор, решил взять мальчика к себе — у него ребенок мог бы лучше выучиться и зарабатывать себе на жизнь. Дед согласился с этим и отпустил внука.

Руди собрался в путь. Ему надо было со многими попрощаться, не считая дедушки, и прежде всего со старым другом, собакой Айолой.

— Отец твой был почтальоном, а я — почтовой собакой, — сказала ему Айола. — Мы часто ходили через горы, и я знаю живущих там — и собак, и людей. По натуре я немногословна, но теперь нам осталось недолго разговаривать, так что я скажу больше обычного. Хочу рассказать тебе одну историю, которая из головы у меня не выходит. Никак я ее не пойму, не поймешь и ты, ну и пусть! Но я-то сделала из нее вывод, что не всем собакам и не всем людям достается на свете одинаковая доля! Не всем суждено лежать у господ на коленях да лакать молоко. Я к такой жизни не привыкла, но видела раз одного щеночка, он ехал в почтовом дилижансе, где занимал пассажирское место! Дама, хозяйка щенка — или, вернее, та дама, которой повелевал сам щенок, — поила его молоком из бутылочки; предложила она ему и сладкий хлебец, но он не захотел этого лакомства, лишь понюхал его, и дама съела хлебец сама. А я бежала по грязи рядом с дилижансом, голодная, как настоящая собака, и в голове крутились одни и те же мысли: несправедливо это было, да мало ли бывает несправедливостей! Хорошо, конечно, нежиться на господских коленях и ездить в карете, но зависит это не от нас самих; таких благ мне не досталось, хотя я и мухи не обидела.

Так сказала мальчику Айола, и тот обнял собаку за шею и поцеловал прямо во влажный нос. Потом Руди взял на руки кота, но тот изогнулся дугой.

— Ты стал сильнее меня, и царапаться мне что-то не хочется! Лазай себе по горам, ведь я научил тебя этому! Только не бойся, что упадешь, тогда все получится!

И кот убежал, ибо ему не хотелось, чтобы Руди заметил, как печальны его глаза.

Куры бегали по полу; одна была бесхвостая; какой-то путешественник, возомнивший себя охотником, отстрелил ей хвост, приняв курицу за хищную птицу.

— Руди-то собирается за горы! — сказала одна курица.

— Он вечно спешит! — сказала другая. — А я не люблю прощаться!

И обе засемили дальше.

Руди же простился с козами, и они жалобно заблеяли:

— И мы! И мы! Ме-е!

Случилось так, что двум опытным проводникам из окрестности понадобилось перейти через горы возле Гемми, и Руди отправился пешком вместе с ними. Это был нелегкий переход для такого малыша, но силы у него хватало, да и смелости ему было не занимать.

Ласточки провожали его часть пути, распевая над мальчиком: «Мы и вы! Вы и мы!» Дорога пролегла через быструю реку Лючине, которая разбивается здесь на множество мелких потоков и низвергается из черного ущелья Гриндельвальдского ледника. Мостами служат стволы деревьев и камни. Вот путешественники достигли ольховой рощицы и начали подниматься в гору, как раз вблизи от того места, где ледник отделился от горного склона; дальше они шли по самому леднику, то шагая прямо по ледяным глыбам, то обходя их. Руди приходилось и карабкаться, и идти; глаза его блестели от удовольствия, и он так твердо ступал своими коваными башмаками, словно хотел отпечатать каждый след своих шагов. Черный земляной нанос, оставленный горными потоками, придавал леднику цвет известняка, но из-под корки все же сиял зеленовато-голубой,

хрустальный лед. То и дело приходилось обходить маленькие озера, образовавшиеся между ледяными торосами. Путники проходили и мимо огромного камня, качавшегося на краю ледяной расщелины; потеряв равновесие, камень покатился вниз, в глубокое ущелье, где долго не смолкало эхо.

Дорога вела все выше и выше. Глетчер тоже тянулся ввысь, напоминая собой русло реки из беспорядочно нагроможденных друг на друга ледяных глыб, зажатых между отвесными скалами. Руди припомнил на миг рассказы о том, как они с матерью лежали в одной из таких расщелин, дышащих холодом, но вскоре мысли его приняли другой оборот — эта история была для него не важнее всех остальных, которые он слышал. Время от времени проводникам казалось, что такому мальчугану, как Руди, тяжело будет карабкаться вверх, и они протягивали ему руки, но он без устали шел вперед, держась на скользком льду прочно, как серна. Теперь путешественники шли по скалистому грунту, то между валунами, где нет мха, то через низкорослый ельник, то вновь выходя на зеленое пастбище; вокруг высились снежные горы, и Руди, как и любой другой мальчик в округе, знал их названия: Юнгфрау, Менх, Айгер. Никогда еще Руди не взбирался на такую высоту, никогда прежде не видел он перед собой безбрежного снежного моря. Повсюду застыли неподвижные снежные волны, с которых ветер сдул отдельные гребни, как он сдувает клочья пены с морских волн. Глетчеры стояли тут тесной толпой, будто держась за руки; каждый из них являлся хрустальным дворцом для Ледяной девы; в ее власти и воле было заманить человека и погубить его. Ярко светило солнце, под его лучами ослепительно сверкал снег, словно усеянный голубоватыми искрящимися бриллиантами. Местами на снегу лежали бесчисленные мертвые насекомые, особенно бабочки и пчелы; они отважились подняться слишком высоко, а может, это ветер занес их

сюда, и они погибли от холода. На Веттерхорне, словно клочок черной шерсти, висела грозовая туча. Она опускалась все ниже, разбухала, тая в себе ураганный ветер, фен, неистовый в своей силе, когда он начинает бушевать. Впечатления этого путешествия навсегда врезались в память Руди: ночлег в горах, дорога, глубокие горные ущелья, где с незапамятных времен вода точила каменные глыбы.

Покинутая каменная постройка по ту сторону снежного моря дала путникам приют на ночь. Они нашли в ней древесный уголь и еловые ветки. Вскоре запылал костер, путники устроились на ночлег поудобнее. Мужчины сели возле огня, курили трубки и попивали горячий пряный напиток, который сами же приготовили. Руди тоже получил свою порцию, и стали проводники рассказывать о таинственных существах, живущих в Альпах, о диковинных исполинских змеях, скрывающихся в глубине озер, о ночном народце, привидениях, которые переносят спящего по воздуху в чудесный город на воде — Венецию; о диком пастухе, пасущем своих черных овец на горных пастбищах. Если никто и не видел этих овец, то по крайней мере слышал звон их колокольчиков и злоещее бляение стада. Руди слушал рассказы с любопытством, но без страха — его он не знал, — как вдруг ему почудилось, что он действительно слышит таинственное глухое бляение... Да, оно становилось все явственнее, мужчины тоже услышали его, смолкли, прислушались и сказали Руди, чтобы он постарался не засыпать.

Это задул фен, дикий ураганный ветер, который несется с гор в долины и в своем неистовстве ломает деревья, как тростинки, переносит деревянные домики с одного берега реки на другой, словно шахматные фигуры.

Прошел час, тогда проводники сказали Руди, что все кончилось и теперь он может уснуть. Уставший от перехода, мальчик уснул, как по приказу.

Рано утром они снова пустились в путь. В этот день солнце освещало для Руди новые горы, новые глетчеры и снежные равнины. Путники вступили в кантон Вале, оставив за собой горный хребет, который виднелся из Гриндельвальда, но до нового дома было еще далеко. Иные ущелья, иные пастбища, леса и горные тропы предстали взору мальчика; показались иные дома, иные люди. Но каких людей он увидел! Это были уроды с ужасными, жирными, желтоватыми лицами, с зобастыми толстыми шеями. Это были кретины; они еле таскали ноги и тупо посматривали на незнакомцев. Особенно безобразными выглядели женщины. Таковы ли обитатели нового дома Руди?

### III. ДЯДЯ

В дядином доме Руди, слава Богу, увидел таких же людей, к которым привык в своих краях. Тут был всего лишь один кретин, слабоумный бедняга, один из тех несчастных созданий, которые живут в нищете и одиночестве в кантоне Вале, а потому их берут на время другие семьи и они проводят по очереди пару месяцев в каждом доме. Когда явился Руди, слабоумный Саперли жил как раз у его дяди.

Дядя был все еще искусный охотник да к тому же знал ремесло бондаря. Жена его — маленького роста, живая, с каким-то птичьим лицом: глаза как у орлицы, шея длинная, покрытая пушком.

Все было тут ново для Руди — и одежда, и обычаи, и сам язык, но с ним как раз ухо ребенка быстро освоилось, и мальчик стал понимать окружающих. В сравнении с домом деда здесь царил достаток. Комната, где они жили, была гораздо просторнее, стены украшены рогами серн, ружьями с прикладами, отполированными до блеска, а над дверью висел образ Божьей матери, перед ним стояли свежие рододендроны и горела лампада.

Дядя, как уже было сказано, слыл лучшим охотником в округе и к тому же самым опытным проводником. Руди вскоре сделался любимцем семьи, хотя здесь и до него уже был таковой — старый, ослепший и тугоухий пес. Когда-то он был отличной охотничьей собакой, но больше не приносил пользы, как раньше, однако хозяева помнили его подвиги былых времен и поэтому считали его членом семьи, так что собаке жилось прекрасно. Руди гладил ее, но она не сразу подружилась с чужаком. Впрочем, мальчик довольно скоро завоевал сердца всей семьи.

— Не так-то плохо жить в кантоне Вале! — говорил дядя. — У нас водятся серны, они еще не вымерли, как горные козлы. Теперь здесь даже лучше, чем в старину; как бы ее ни нахваливали, наше время все равно лучше, когда прорезали дырку в нашем мешке, впустили свежего воздуха в нашу замкнутую долину. На смену старому, отжившему всегда приходит что-то лучшее!

Так говорил он, а уж если дядя разговорится, то заводит рассказ о своем детстве, об отце в его лучшие годы, когда Вале, по его словам, и был тем самым глухим мешком, набитым больными, жалкими кретинами.

— Но вот явились французские солдаты; они, как настоящие доктора, быстро победили болезнь, а заодно и больных людишек. Французы умели сражаться, причем на разные лады, и девушки их умели это не хуже!

При этих словах дядя кивал в сторону своей жены, родом француженки, и посмеивался.

— Французы умели рубить камни, так что те поддавались! Они прорубили в скалах Симплонский туннель, проложили такую дорогу, что я могу теперь сказать трехлетнему ребенку: ступай в Италию, только держись проезжей дороги, и ребенок дойдет до Италии!

А дядя затягивал французскую песню и провозглашал «ура» Наполеону Бонапарту.

Так Руди впервые услышал о Франции, о Лионе, большом городе на берегу реки Роны, где довелось бывать его дяде.

Через несколько лет Руди предстояло превратиться в искусного охотника за сернами; дядя считал, что мальчик имеет хорошие задатки, и учил его держать ружье, прицеливаться и стрелять. Он брал его с собой на охоту в горы, давал ему пить теплую кровь серны, чтобы будущий охотник не знал головокружения. Он учил его узнавать время, когда по разным склонам гор скатятся лавины, — в полдень или вечером, смотря по тому, когда на них светило солнце. Он учил его наблюдать за сернами и подражать им в прыжке: падать прямо на ноги и стоять твердо, а если в скалистом ущелье не окажется опоры для ног, то удерживаться локтями, цепляться каждым мускулом в бедрах и икрах; если понадобится, держаться даже затылком. Серны умны и выставляют стражу, но охотник должен быть умнее их и заходить с подветренной стороны. Дядя умел обманывать серн: вешал на альпеншток свои плащ и шляпу, а серны принимали чучело за человека. Эту ловушку дядя использовал раз на охоте, когда Руди был вместе с ним.

Горная тропа была очень узка, можно даже сказать, ее не было вовсе, имелся лишь узкий карниз прямо над пропастью. Снег, покрывавший его, подтаял, камни сыпались из-под ног; тогда дядя растянулся во весь свой рост и пополз вперед на животе. Каждый камешек, отрывавшийся от скалы, падал и катился вниз, подскакивая на горном склоне, пока не замирал в черной бездне. Руди оставался шагах в ста от дяди; мальчик стоял на последнем прочном уступе скалы, как вдруг увидел, что в воздухе над дядей парит огромный ягнятник, собравшийся ударом крыла сбить ползущего червяка в пропасть и там пожрать его. А дядя следил только за серной и ее козленком по ту сторону ущелья. Руди не спускал глаз с птицы; он понял ее намерения и держал ружье наготове... Тут серна сделала скачок — дядя выстрелил и сразил животное пулей;



козленок же убежал, как будто всю жизнь только и делал, что спасался от погони. Огромная птица, испуганная выстрелом, улетела, и дядя только от Руди узнал о грозившей ему беде.

В отличном настроении они возвращались домой, дядя напевал песенку своих детских лет; вдруг неподалеку послышался странный шум. Охотники оглянулись, подняли головы и увидели, что в вышине, на горном склоне, вздымается снежный покров; он заколыхался, будто вздымаемый ветром широкий кусок холста. Хребты снежных волн треснули, словно мраморные плиты, полопались и помчались вниз пенистым потоком, издававшим громовые раскаты. Это была лавина, и она сходила в горах хоть и не прямо на Руди и его дядю, но близко, слишком близко от них.

— Держись крепче, Руди! — крикнул дядя. — Изо всех сил!

И Руди схватился за ствол ближайшего дерева, дядя же вскарабкался на дерево и крепко ухватился за ветку. Лавина катилась довольно далеко, в нескольких саженях от них, но поднявшийся вокруг ураган ломал и выдергивал деревья, кустарники, будто они лишь сухие тростинки, и швырял их в разные стороны. Руди лежал, прижавшись к земле; ствол, за который он держался, как будто перепилили, и крону дерева отбросило далеко в сторону. Там, среди изломанных веток, лежал дядя с разбитой головой; рука его была еще теплая, но лицо неузнаваемо. Руди стоял над ним, бледный, дрожащий. Впервые в жизни он испугался, впервые испытал ужасные мгновения страха.

Поздно вечером он принес весть о смерти дяди домой, который отныне стал домом скорби. Дядина жена стояла безмолвно, без слез, и только когда труп принесли, горе ее вырвалось наружу. Бедный кретин заполз в свою постель, и целый день его не было видно. Под вечер он явился к Руди.

— Напиши от меня письмо! Саперли не умеет писать! Саперли отнесет письмо на почту!

— Письмо от тебя? — спросил Руди. — Кому же?

— Господу Христу!

— Кому?!

Дурачок, как они звали кретина, посмотрел на Руди трогательным взглядом, сложил руки и торжественно, кротко произнес:

— Иисусу Христу! Саперли хочет послать ему письмо, попросить его, чтобы умер Саперли, а не хозяин!

Руди пожал ему руку.

— Письмо не дойдет! Оно не вернет нам умершего!

Трудно было Руди объяснить дурачку, почему это невозможно.

— Теперь ты опора дома! — сказала его приемная мать, и Руди стал такой опорой.

#### IV. БАБЕТТА

Кто лучший стрелок в кантоне Вале? Серны знают это. «Берегись Руди!» — сказали бы они. А кто самый красивый стрелок? «Руди!» — сказали бы девушки, но они не говорили: «Берегись Руди!» Не говорили этого и почтенные матери, ибо юноша кланялся им так же приветливо, как и молоденьким девушкам. Он был смелым и веселым, со смуглым лицом, белизной сверкали зубы, а глаза были черные, как уголь. Красивый он был парень в свои двадцать лет! Он не боялся плавать в ледяной воде и делал это не хуже рыбы; карабкался по горам, как никто, лепился, как улитка, к отвесным скалам — у него были крепкие мускулы и жилы, поэтому он и прыгал так ловко; первым его учителем был кот, а потом серны. Лучший проводник, которому можно довериться, — это тоже Руди, и он мог бы заработать своим занятием целое состояние. О бондарном же ремесле, которому обучил его дядя, он и не думал; его страстью была охота на серн, и она тоже приносила доход. Так что Руди считался хорошей партией, только бы он не занесся

слишком высоко! Да и танцор он превосходный, о котором мечтали девушки, и то одна, то другая заглядывались на него.

— А меня он поцеловал во время танцев! — сказала своей лучшей подруге Аннетта, дочь школьного учителя. Но о таких вещах не стоит говорить даже лучшей подруге. Подобные секреты трудно хранить про себя, они просачиваются, словно песок из дырявого мешка. Вскоре все узнали, что Руди, каким бы порядочным и честным он ни был, целуется на танцах; а он хоть и поцеловал, да не ту, которую ему больше всего хотелось.

— Ишь ты! — сказал один старый охотник. — Поцеловал Аннетту! Начал с буквы «А» и теперь, верно, перецелует всех по алфавиту.

Один поцелуй во время танцев — вот и все; больше болтать о Руди было нечего. Он хоть и поцеловал Аннетту, но сердце его было занято не ею.

Возле города Бе среди больших ореховых деревьев, на берегу быстрого горного потока жил богатый мельник. У него был просторный дом, в три этажа, с маленькими башенками, обшитый тесом и крытый листовым железом, так и сиявшим при солнечном и лунном свете. На самой высокой башенке флюгером служило яблоко, пронзенное блестящей стрелой, — в память о выстреле Вильгельма Телля. Мельница тоже выглядела добротной и нарядной, так и просилась на картинку или в описание; но дочку мельника нельзя было ни нарисовать, ни описать — по крайней мере так сказал бы Руди, и все-таки образ ее был запечатлен в его сердце! Глаза ее зажгли в юноше целое пламя, и вспыхнуло оно внезапно, как вспыхивает всякий пожар. Удивительнее же всего было то, что сама дочка мельника, прелестная Бабетта, и не подозревала об этом, ведь они с Руди едва обменялись парой слов!

Мельник был богат, поэтому Бабетта казалась недостижимой высотой; но нет такой высоты, как сказал себе Руди, кото-

рой нельзя достичь. Надо карабкаться вверх, и не думать о том, что можешь упасть. Руди научился этой мудрости еще дома.

Случилось так, что Руди понадобилось навеститься в Бе, а путь туда был неблизкий, и железной дороги в то время еще не существовало. От Ронского ледника до подножия Симплонской горы между многочисленными и разнообразными горными вершинами тянется широкая долина Вале; по ней протекает величественная Рона, которая часто выходит из берегов, затопляя поля и дороги, разрушая все на своем пути. Между городами Сьоном и Сен-Морисом долина образует дугу, буквально сгибается, как локоть, и ниже Сен-Мориса становится такой узкой, что на ней остается место лишь для русла реки да тесной проезжей дороги. Старинная сторожевая башня кантона Вале, который здесь и заканчивается, стоит на горном склоне и смотрит через каменный мост на здание таможи, что на другом берегу. Там начинаются кантон Во и ближайший город — Бе. На этой стороне путешественник видит изобилие и плодородие: идешь точно по саду, где сплошь каштановые и ореховые деревья; там и сям выглядывают кипарисы и гранаты; тут по-южному жарко, словно попал в Италию...

Руди добрался до Бе, уладил свои дела, а потом прогулялся по городу, но не встретил ни одного работника с мельницы, не то что Бабетту. А ведь он ожидал другого!

Наступил вечер, воздух был напоен благоуханием тимьяна и цветущей липы; на поросшие зелеными лесами горы словно легла мерцающая голубоватая дымка; воцарилась тишина, но не сонная, не мертвая, нет! Вся природа как будто затаила дыхание, притихла, словно перед объективом фотоаппарата, на фоне синего небосклона. То там, то тут среди деревьев и на зеленом поле стояли столбы, а на них висели телеграфные провода, проведенные через эту тихую долину. К одному из столбов прислонился вроде бы какой-то предмет, до того неподвижный, что его можно было принять за сухое бревно, но это

был Руди. Он стоял тихо, как тиха была в этот час и окружающая его природа. Он не спал и уж тем более не умер, но как по телеграфным проводам летят известия о мировых событиях или о событиях жизни, имеющих значение для отдельного человека, и провода не выдают этого ни малейшим колебанием или звуком, так и в мозгу Руди проносились мысли, могучие, всепоглощающие мысли о счастье всей его жизни, ныне постоянно преследовавшие его. Взгляд его был прикован к одной точке среди листвы, к огоньку в доме мельника — то светилось окно Бабетты. Глядя на неподвижного Руди, можно было подумать, что он целится в серну, но он сам в эту минуту казался серной, которая может застыть на месте, будто каменное изваяние, и вдруг, заслышав шум от скатившегося камня, делает прыжок и мчится прочь. То же случилось и с Руди — внезапная мысль заставила его встрепенуться.

— Никогда не сдавайся! — сказал он себе. — Пойди на мельницу! Поздоровайся с мельником и Бабеттой! Не упадешь, если сам об этом не думаешь! Ведь должна Бабетта увидеть меня, коли я буду ее мужем.

И Руди рассмеялся, ободрился и пошел на мельницу; он знал, чего хотел, а хотел он жениться на Бабетте.

С шумом катила свои желтоватые воды река, над ней свесились ивы и липы. Руди шел по тропинке, как о том поется в старой детской песенке:

К дому мельника он шел,  
Кроме бедного котенка,  
Никого там не нашел!

И тут тоже на лестнице дома стояла кошка, изгибала спину и мяукала, но Руди не обратил на нее внимания и постучал в дверь. Никто не отозвался, никто не открыл. «Мяу!» — сказала кошка. Будь Руди маленьким, он бы понял ее язык, кошка говорила ему: «Никого нет дома!» Теперь же ему пришлось

узнавать о хозяевах на мельнице. Там ему рассказали, что хозяин в отъезде, что уехал он далеко, в город Интерлакен — «inter lacus, то есть между озерами», как объяснял школьный учитель, отец Аннетты. Так вот куда отправился мельник, а с ним и Бабетта. Завтра там начинается большое состязание стрелков, и продлится оно целую неделю. На этот праздник стекаются люди из всех немецких кантонов Швейцарии.

Что ж, беднягу Руди можно пожалеть! Не вовремя прибыл он в Бе, пришлось ему повернуть обратно; так он и сделал — отправился в родную долину, к родным горам через Сен-Морис и Сьон, но он не унывал. На следующее утро, задолго до восхода солнца, он уже пребывал в отличном настроении, да оно никогда и не портилось.

«Бабетта в Интерлакене, в нескольких днях пути отсюда! — сказал он сам себе. — Далеко, если идти по проторенной дороге, но гораздо ближе, если пуститься через горы, а это и есть настоящий путь для охотника! Я ходил по нему прежде; там, за горами, мой родной край, там я жил ребенком у дедушки. Значит, в Интерлакене праздник стрелков! Я хочу быть там первым среди них, как и в сердце Бабетты, когда познакомлюсь с ней!»

С легкой котомкой за плечами, где лежал его праздничный наряд, с ружьем и охотничьей сумкой, двинулся Руди через горы, выбрав кратчайший путь. Все равно он был долгов, но праздник стрелков только что начался и продлится больше недели, и все это время, как сказали на мельнице, отец и дочь пробудут у родственников в Интерлакене. Руди пошел через Гемми, намереваясь спуститься к Гриндельвальду...

Весело, бодро шагал он вперед, вдыхая свежий, легкий, живительный горный воздух. Долина спускалась все ниже и ниже, горизонт все расширялся; стали попадаться заснеженные вершины, и вскоре перед ним засияла вся белоснежная цепь Альп. Руди была знакома здесь каждая гора; он на-

правлялся напрямик к Шрекхорну, высоко вздымавшему к синему небу свой будто припудренный каменный перст.

Наконец Руди перешел горный хребет; зеленые пастбища спускались к его родной долине, воздух был легкий, на душе у него тоже было легко. Долину и горы покрывала цветущая растительность, и сердце юноши ликовало: он никогда не состарится, никогда не умрет! Только жить, царствовать, наслаждаться! Он чувствовал себя свободным, как птица, легким, как птица! И ласточки кружили над ним, щебеча, как во времена его детства: «Мы и вы! Вы и мы!» Казалось, он парил над всем миром.

Внизу расстился бархатисто-зеленый луг, на нем виднелись там и сям коричневые деревянные домики; гудела и шумела река Лючине. Руди увидел глетчер, его зеленовато-хрустальные края, выделявшиеся на грязном снегу; увидел он и глубокие трещины между верхним и нижним языками ледника. До его слуха донесся звон церковных колоколов, точно приветствовавших его возвращение в родные места; сердце Руди забило сильнее, переполнилось воспоминаниями, так что Бабетта на мгновение совсем забылась.

Он снова шел той дорогой, где, бывало, в детстве с другими ребятами у обочины продавал резные деревянные домики. Вон там, за елями, еще виднеется дом его дедушки; теперь здесь живут чужие. Ребяташки выбежали на дорогу, желая продать ему что-нибудь; один мальчик протянул ему рододендрон, и Руди взял у него цветок, усмотрев в этом добрый знак, и вспомнил о Бабетте. Вскоре он перешел через мост, под которым сливались два потока Лючине; лиственные деревья встречались все чаще, густые орешники давали тень. И вот Руди увидел развевающийся флаг — белый крест на красном поле, — флаг швейцарцев и датчан. Прямо перед юношей лежал Интерлакен.

Красивее этого города и быть не могло, как считал Руди. Этакий швейцарский городок в праздничном наряде; он был не то

что другие провинциальные города, со сбившимися в кучу неуклюжими каменными домами, тяжелыми, неприветливыми, надменными! Нет, здесь деревянные домики как будто сами сбегали с гор в зеленую долину, к чистой стремительной речке, и расположились в ряд, местами неровный, чтобы образовать улицу, причем прекраснейшую из всех улиц; как же она разрослась с тех пор, как Руди еще мальчиком видел ее в последний раз! Казалось, что она состояла из всех тех чудесных игрушечных домиков, которые некогда вырезал его дедушка и которыми был набит их шкаф; только домики с тех пор подросли, как и старые каштаны. В каждом домике была гостиница — отель, как это называлось; окна и балконы были украшены резьбой, крыши нависали над фасадами. Домики выглядели такими чистенькими и изящными; перед каждым красовался цветник, обращенный к широкой, покрытой щебнем проезжей дороге. Дома стояли вдоль дороги, но лишь по одной стороне, иначе они заслонили бы собой пышный зеленый луг, где паслись коровы с колокольчиками на шее, звучащими так же, как и на высокогорных альпийских пастбищах. Луг окружали высокие горы; прямо посередине они точно расступались и открывали вид на сияющую снежную вершину Юнгфрау, красивейшую из швейцарских гор.

Какое множество разодетых господ и дам из чужеземных стран, какое столпотворение сельчан из разных кантонов! На украшенных венками шляпах стрелков красовались номера, чтобы каждый знал свою очередь. Музыка, пение, звуки шарманок и духовых инструментов, крики и шум! Все здания и мосты украшены стихами, эмблемами; всюду развевались флаги и знамена, раздавался выстрел за выстрелом, и это было лучшей музыкой для Руди! За всем этим он совершенно забыл про Бабетту, ради которой явился сюда.

Стрелки толпились перед мишенями, и Руди тоже присоединился к ним; он оказался самым искусным, самым удачливым — без промаха попадал в самое яблочко.



— Кто этот незнакомец, этот юный охотник? — спрашивали все.

— Он говорит по-французски, как говорят в кантоне Вале! Но он хорошо объясняется и по-нашему, по-немецки! — говорили некоторые.

— Он жил ребенком в окрестностях Гриндельвальда! — сказал кто-то.

Жизнь была в парне ключом, глаза его блестели, глаз и рука были тверды, а потому он стрелял без промаха! Счастье придает смелости, а Руди и так был смел. Скоро вокруг него образовался целый кружок друзей, его чествовали, хвалили, и Бабетта почти совсем вылетела у него из головы. Вдруг на плечо его легла тяжелая рука и грубый голос спросил по-французски:

— Вы из кантона Вале?

Руди обернулся и увидел перед собой красное довольное лицо какого-то толстяка; это оказался богач мельник из Бе. Своей широкой фигурой он закрывал изящную, прелестную Бабетту; вскоре, однако, ее лучистые темные глазки показались из-за его спины. Богатый мельник был польщен, что лучшим стрелком, героем праздника стал охотник из его родного кантона. Руди и в самом деле был счастливецом: те, ради кого он прибыл сюда и кого почти позабыл, сами отыскали его.

Случись двум землякам встретиться на чужбине, они сразу узнают друг друга и разговариваются. Руди был здесь на празднике стрелков первым, а мельник был первым у себя в Бе благодаря своим денежкам и славной мельнице. Оба пожали друг другу руки, чего никогда не делали прежде. Бабетта тоже доверчиво протянула Руди ручку, и он, пожав ее, так поглядел на девушку, что она вся вспыхнула.

Мельник принялся рассказывать о том, какой длинный путь им пришлось проделать, чтобы добраться сюда, какие большие города они видели, — вот это было путешествие! Они и на пароходе плыли, и в почтовом дилижансе ехали!

— А я шел кратчайшей дорогой! — сказал Руди. — Перешел через горы; высокогато, правда, но все-таки взобраться можно.

— Да, и сломать себе шею! — подхватил мельник. — И однажды такой смельчак, как вы, сломает себе шею!

— Не упадешь, пока не думаешь об этом! — ответил Руди.

Родственники мельника, у которых он с Бабеттой гостил в Интерлакене, пригласили Руди зайти к ним — он ведь был земляком их родичей. Приглашение это пришлось Руди по душе; удача не покидала его, как и всякого, кто полагается на свои силы и помнит, что «Господь дает нам орехи, но не колет их для нас».

И вот Руди был принят по-семейному у родичей мельника; подняли тост за лучшего стрелка, Бабетта тоже чокнулась с юношей, и тот поблагодарил за поздравления.

Вечером все отправились гулять по красивой улице, вдоль нарядных гостиниц, под сенью старых ореховых деревьев. Там было столько людей, такая толкотня, что Руди предложил Бабетте руку. Он говорил, что очень рад встрече с земляками из Во: ведь кантоны Во и Вале — добрые соседи! И он высказал свою радость столь искренне, что Бабетта решилась пожать ему руку в ответ. Так они и гуляли, точно старые знакомые; она была презанятной, эта очаровательная крошка Бабетта! Руди находил, что она очень мило вышучивала смешные и экстравагантные наряды и манеры иностранных дам; при этом она вовсе не насмехалась над ними, ведь они могли быть почтенными людьми и даже весьма милыми и любезными! Бабетта хорошо знала это, у нее самой была крестная мать — такая же знатная дама, англичанка. Восемнадцать лет тому назад, когда Бабетту крестили, дама эта жила в Бе; она-то и подарила крестнице дорогую булавку, которую Бабетта носила теперь на груди. Крестная мать писала им два раза, и в нынешнем году они должны были встретиться

с ней в Интерлакене, куда она собиралась приехать со своими дочерьми, старыми девами; им уже было под тридцать, сказала Бабетта, а ей самой всего восемнадцать.

Хорошенький ротик не закрывался, и все, что ни говорила Бабетта, казалось Руди необычайно важным, и он рассказал ей все, о чем хотел рассказать: как часто он бывал в Бе, как хорошо знакома ему мельница, как часто он смотрел на Бабетту, а она, наверное, и не замечала его. Рассказал он и о том, как недавно пришел на мельницу, о переполнявших его мыслях, которые он не смел высказать; как не застал дома ни ее, ни ее отца и узнал, что они уехали очень далеко, но не так далеко, чтобы нельзя было перелезть через стену, разделявшую их!

Да, он сказал ей все это, и даже больше: он сказал, что любит ее... и что явился сюда только ради нее, а вовсе не ради состязания в стрельбе!

Бабетта умолкла: пожалуй, он поведал ей слишком много!

Пока они гуляли, солнце село за высокие горы, но Юнгфрау еще сияла своим великолепием, обрамленная зеленым венком лесов на соседних горах. Люди в молчании созерцали дивное зрелище; Руди и Бабетта тоже замерли при виде этого величия.

— Нигде на свете нет ничего прекраснее! — сказала Бабетта.

— Нигде! — отозвался Руди и взглянул на Бабетту. — Завтра мне пора отправляться домой! — прибавил он немного спустя.

— Навести нас в Бе! — шепнула Бабетта. — Отец будет очень доволен.

## V. НА ПУТИ ДОМОЙ

Много же пришлось нести Руди, когда на следующий день он двинулся в путь через горы! Да, ноша немалая: три серебряных кубка, два отличных ружья и серебряный кофейник: он-то приго-

дится, когда Руди заведет собственное хозяйство! Но не это было главное. Что-то более важное и могущественное нес он с собой, вернее — оно несло его домой через высокие горы. Погода стояла сырая, пасмурная, дождливая и тяжелая; тучи спускались над горными вершинами траурным крепом, заволакивая сверкающие снежные шапки. Из лесной чащи доносились удары топора, и вниз по горному склону скатывались стволы деревьев; сверху они казались щепками, а вблизи было видно, что это настоящие мачтовые деревья. Монотонно шумела Лючине, выл ветер, плыли по небу тучи. Вдруг рядом с Руди оказалась молодая девушка; он заметил ее только тогда, когда она поравнялась с ним. Ей тоже надо было перейти через горы. В ее глазах светилась какая-то притягательная сила, заставлявшая смотреть в них; они были удивительно прозрачные, глубокие, просто бездонные.

— Есть у тебя жених? — спросил ее Руди; ни о чем другом он теперь думать не мог.

— Никого у меня нет! — ответила она и рассмеялась, но было заметно, что она лукавит. — Давай не пойдем в обход! — продолжала она. — Возьмем левее, так будет короче!

— Да, чтобы потом провалиться в расселину! — сказал Руди. — Так-то ты знаешь дорогу, а еще в проводники набиваешься!

— Именно я и знаю дорогу! — возразила она. — И у меня голова на плечах, а ты потерял свою в долине. Здесь, в горах, надо помнить о Ледяной деве, говорят, она не очень добра к людям.

— Я ее не боюсь! — сказал Руди. — Ей не удалось схватить меня, когда я был еще ребенком, а теперь я и подавно смогу уйти от нее!

Между тем стемнело, полил дождь, закружился снег; он блестел и слепил глаза.

— Дай мне руку, я помогу тебе взобраться! — сказала девушка и дотронулась до него холодными, как лед, пальцами.

— Ты сможешь мне?! — воскликнул Руди. — Я и без женской помощи умею ходить по горам!

И он ускорил шаг, оставив ее позади. Метель окутывала его плотной завесой, ревел ветер, а за своей спиной Руди слышал смех и пение девушки; голос ее звучал так странно! Наверное, то была троллиха, прислужница Ледяной девы! Руди слышал о подобных вещах, когда ребенком заночевал в горах, на пути от дедушки к дяде.

Снегопад утих, тучи остались далеко внизу Руди; он оглянулся назад — никого уже не было видно, но по-прежнему доносились смех и залиvistое пение; звучали они странно, не по-человечески!

Когда Руди наконец достиг вершины горы, откуда тропа спускалась в долину Роны, он увидел, как на чистой голубой полоске неба над долиной Шамони горит две яркие звездочки. Они так сияли и переливались, и он вдруг снова вспомнил о Бабетте, о себе самом и своем счастье; на сердце у него стало тепло.

## VI. В ГОСТЯХ У МЕЛЬНИКА

— Знатные вещи принес ты с собою в дом! — сказала Руди его старая тетка, и ее странные орлиные глаза засверкали, а худая шея заворочалась еще быстрее. — Счастливчик же ты, Руди! Дай я расцелую тебя, милый мой мальчик!

И Руди позволил себя поцеловать, хотя по лицу его было видно, что он просто мирится с обстоятельствами, мелкими домашними условностями.

— Какой же ты стал красавец, Руди! — прибавила старуха.

— Ну что ты придумываешь! — откликнулся Руди и засмеялся, однако вид у него был довольный.

— А я все-таки повторю, — сказала она. — Ты счастливчик!

— Да, согласен! — ответил он, подумав о Бабетте.

Никогда еще он так не скучал по глубокой долине.

— Теперь они, верно, уже дома! — говорил он себе. — Ведь прошло два дня, как они должны были вернуться. Надо наведаться в Бе!

И Руди явился в Бе. Хозяева оказались дома. Его приняли очень радушно, передали поклоны от родственников из Интерлакена. Бабетта говорила мало, сидела молча; зато говорили ее глаза, и Руди этого было довольно. Мельник же обычно любил поговорить сам; он привык, что над его выдумками и шутками всегда смеются: он ведь был богат! Но теперь он предпочел послушать рассказы Руди о его охотничьих приключениях, о трудностях и опасностях, подстерегавших охотников за сернами на высоких скалах, о том, как приходится ползти по ненадежным снежным карнизам, которые образуют на краю скал ветер и метель; как приходится пробираться по шатким мосткам, наметенным вьюгой через глубокие пропасти. Руди выглядел настоящим смельчаком, его глаза блестели, когда он рассказывал о жизни охотника, о смышленности серн, об их отчаянных прыжках, о неистовом фене и о сходе лавин в горах. Он заметил, что с каждым новым рассказом все больше и больше завоевывает расположение мельника; особенно же понравились тому истории о ягнятниках и бесстрашных беркутах.

Неподалеку оттуда, в кантоне Вале, находилось орлиное гнездо, хитроумно свитое под выступом скалы; в гнезде был птенец, но просто так его не возьмешь! На днях один англичанин предлагал Руди целую горсть золота, чтобы тот достал живого птенца. «Но всему есть границы! — ответил ему Руди. — Орленка достать нельзя, надо быть сумасшедшим, чтобы взяться за такое дело!»

Вино текло, текла и беседа, но вечер показался Руди слишком коротким, а между тем он простился с хозяевами далеко за полночь.

Свет еще некоторое время мелькал в окошке и виднелся среди листвы. Из открытого слухового оконца вышла на крышу комнатная кошка, а по водосточной трубе туда забралась кошка кухонная.

— Знаешь новость на мельнице? — спросила комнатная кошка. — У нас в доме тайная помолвка! Отец ни о чем еще не догадывается; Руди и Бабетта весь вечер наступали друг другу на лапки под столом. Они и на меня наступили два раза, но я не мякнула, чтобы не привлечь к этому внимание!

— А я бы непременно мякнула! — сказала кухонная кошка.

— Что прилично на кухне, то не прилично в комнате! — возразила комнатная кошка. — Хотелось бы знать, что скажет мельник, когда он услышит о помолвке!

Да, Руди тоже хотел бы знать, что скажет мельник, и долго ждать ответ он не мог; и вот через несколько дней по мосту через Рону, соединявшему кантоны Вале и Во, катился омнибус, а в нем сидел Руди, отважный, как всегда, и предавался прекрасным мечтам о согласии, которое он получит сегодня же вечером.

Когда же настал вечер и тот же омнибус катился обратно, в нем опять сидел Руди, а комнатная кошка опять разнесла по мельнице новость:

— Эй, ты, из кухни! Послушай-ка, мельник теперь все узнал. Славный же вышел конец! Руди явился в дом под вечер и о чем-то долго шептался с Бабеттой, стоя под дверью в комнату мельника. Я лежала у их ног и все слышала.

— Я пойду прямо к твоему отцу! — сказал Руди. — Это дело чести.

— Не пойти ли и мне с тобой? — спросила Бабетта. — Я поддержу тебя!

— Меня поддерживать не надо! — ответил Руди. — Но если мы пойдем вместе, то он волей-неволей будет поговорчивее!

И они вошли в комнату. При этом Руди больно наступил мне на хвост! Он ужасно неуклюж! Я мякнула, но ни он,

ни Бабетта и ухом не повели. Они отворили дверь, вошли оба в комнату, а я прошмыгнула вперед и вспрыгнула на спинку стула — я ведь не знала, что Руди тут станет топтаться в нерешительности. Но мельник так топнул! Вот это был удар! Вон из дома, в горы, к сернам! Пусть Руди метит в серн, а не в женихи нашей крошки Бабетты!

— И что же говорил Руди? — спросила кухонная кошка.

— Что говорил? Да все то же, что обычно говорится при сватовстве: «Я люблю ее, а она меня! Раз в кринке хватает молока на одного, то хватит и на двоих!» — «Но она слишком хороша для тебя! — сказал мельник. — Она сидит на такой вершине, на мешке с крупой, с золотой крупой, если хочешь знать! Тебе ее не достать!» — «Любую вершину можно взять, если захочешь!» — ответил Руди, он ведь смелый такой. «А орленка-то достать не смог, сам же рассказывал! Бабетта для тебя еще выше!» — «Я достану обоих!» — сказал Руди. «Так я подарю тебе Бабетту, когда ты подаришь мне живого орленка! — сказал мельник и захохотал, так что слезы покатались по щекам. — А теперь спасибо за визит, Руди! Приходи опять завтра, нас не будет дома. Прощай!»

Бабетта тоже сказала «прощай», да так жалобно, словно котенок, потерявший свою мамочку. «Давши слово — держись! — молвил Руди. — Не плачь, Бабетта, я добуду орленка!» — «И, надеюсь, сломаешь себе шею! — добавил мельник. — А мы избавимся от твоей назойливости!»

Это я и называю — топнуть! Теперь Руди нет, Бабетта сидит и слезы льет, а мельник напевает немецкую песенку: он выучился ей во время поездки! Не стану я больше горевать — все равно не поможет!

— Ну, хотя бы для виду! — сказала кухонная кошка.



## VII. ОРЛИНОЕ ГНЕЗДО

С горной тропинки неслись веселые, громкие звуки песенки; в ее переливах слышались бодрость духа и отвага. Это пел Руди, и направлялся он к своему другу Везинану.

— Ты должен помочь мне! Возьмем с собой еще Рагли, мне надо достать орленка с края скалы!

— Не хочешь ли сперва снять пятна с луны, это так же легко! — сказал Везинан. — Ты, верно, в хорошем настроении сегодня!

— Да, я ведь собираюсь сыграть свадьбу! Ну, а если говорить серьезно, я расскажу, как у меня обстоят дела!

И скоро Везинан и Рагли узнали, чего хотел Руди.

— Отчаянный ты парень! — сказали они. — Но дело дрянь! Сломаешь себе шею!

— Не упаду, если не буду думать о высоте! — ответил Руди.

Около полуночи они отправились в путь, захватив с собой шесты, лестницы и веревки. Дорога шла между кустарниками, через скатывающиеся камни, все круче и круче. Ночь была темной, вода шумела внизу, журчала где-то наверху; в небе собирались дождевые тучи. Охотники добрались до крутого края скалы; здесь было еще темнее, отвесные скалы почти смыкались, и лишь на самом верху через узкую щель виднелось небо. Внизу же, у ног охотников, разверзлась бездна, где шумела вода. Тихо сидели все трое в ожидании рассвета, когда из гнезда вылетит орлица; сперва надо было застрелить ее, а потом уже думать о том, как добыть птенца. Руди сидел на корточках так неподвижно, словно сам был из камня. Ружье он держал наготове и не сводил глаз с верхнего уступа, под которым пряталось орлиное гнездо. Долго пришлось ждать троице охотникам.

Но вот в вышине над ними послышался шум крыльев, и какой-то большой, парящий в воздухе предмет заслонил им свет. Два оружейных дула было нацелено на черную орлицу в ту же минуту, когда она вылетела из гнезда. Раздался выстрел. Од-

но мгновение распростертые крылья еще двигались, затем птица стала медленно падать; казалось, что огромных размеров орлица, с ее размахом крыльев, заполнит собой все ущелье и в своем падении увлечет за собой и охотников. Наконец она исчезла на дне пропасти; снизу донесся треск веток деревьев и кустарников, которые обломало при падении тело птицы.

Тогда закипела работа: связали вместе три самые длинные лестницы, чтобы взобраться по ним наверх; укрепили их на краю обрыва, но оказалось, что они не достигали гнезда. Скала наверху была гладкой, как стена, и под ее верхним выступом как раз и пряталось гнездо. Посовещавшись немного, остановились на том, что лучше всего будет спустить сверху в ущелье две связанные вместе лестницы и прикрепить их к трем остальным, которые уже установлены снизу. С большим трудом втащили две лестницы на самую вершину и крепко связали их веревками. Затем лестницы были спущены с уступа и свободно повисли в воздухе над пропастью. А Руди уже ступил на нижнюю ступеньку. Утро выдалось холодное, из черного ущелья поднимался густой туман. Руди сидел, как муха на покачивающейся от ветра соломинке, которую обронила на краю высокой фабричной трубы птица, вьющая себе гнездо; но муха-то может улететь, если соломинку сдует ветром, а Руди в таком случае оставалось только сломать себе шею. Ветер свистел у него в ушах; внизу, в пропасти, с шумом бежала вода, вытекавшая из подтаявшего глетчера, дворца Ледяной девы.

Вот Руди раскачал лестницу, как паук раскачивает свою длинную колеблющуюся паутину, чтобы поймать кого-нибудь. Коснувшись в четвертый раз края лестницы, закрепленной снизу, он поймал ее, и вскоре все лестницы были связаны вместе твердой, крепкой рукой; между тем они продолжали покачиваться, словно дверь на истертых петлях.

Колеблющейся тростинкой казались пять длинных соединенных лестниц: теперь они доставали до гнезда и вертикаль-

но упирались в стену скалы. Предстояло самое опасное — вскарабкаться по ним, как кошка, но Руди умел и это — кот научил его. Головокружения он не знал, а оно плыло по воздуху позади него, протягивая к нему свои щупальца. Руди добрался уже до верхней ступеньки, но и оттуда не мог заглянуть в самое гнездо; он мог только достать до него рукой. Тогда он попробовал, прочно ли держатся нижние толстые ветки, из которых сплетено гнездо, выбрал из них самую надежную, уцепился за нее и подтянулся. Теперь его голова и грудь были выше гнезда, но навстречу ему ударил удушливый, зловонный запах падали; в гнезде лежали растерзанные, гниющие останки овец, серн, птиц. Головокружение, не в силах схватить юношу, дунуло эти ядовитые испарения прямо ему в лицо, чтобы обескуражить его; а внизу, в черной, зияющей глубине, на шумящих водах восседала сама Ледяная дева с длинными зеленоватыми волосами, не сводя с Руди своих мертвящих глаз, словно два оружейных дула.

— Вот теперь ты у меня в руках!

В углу гнезда Руди увидел большого, сильного орленка, который еще не умел летать. Юноша впери́л в него свой взор, крепко ухватился одной рукой за ветку, а другой набросил на орленка петлю. Орленок был пойман живым! Петля затянулась на его лапе; Руди вскинул веревку с птицей себе на плечо, так что добыча висела ниже его ног; сам же с помощью спущенной ему со скалы веревки опять укрепился на верхней ступеньке лестницы.

«Держись крепко! Не думай, что можешь упасть, и тогда не упадешь!» Юноша следовал этой старой мудрости, держался крепко, карабкался, был уверен, что не упадет, — и не упал.

Раздалась громкая, торжествующая переливчатая песнь. Руди с орленком в руках стоял на твердой скалистой почве.





## VIII. У КОМНАТНОЙ КОШКИ ОПЯТЬ НОВОСТИ

— Вот вам то, что просили! — сказал Руди, прибыв в Бе и войдя в дом к мельнику. И он поставил на пол большую корзину, снял с нее тряпку, а оттуда выглянуло два желтых, с черным ободком глаза; они дико сверкали, точно хотели испепелить, впиться в тех, на кого смотрели; короткий сильный клюв раскрывался, собираясь укусить; красная шея была покрыта пухом.

— Орленок! — воскликнул мельник.

Бабетта вскрикнула и отскочила в сторону, но не могла глаз оторвать от Руди и от орленка.

— Да, тебя не запугаешь! — сказал мельник.

— А вы всегда держите слово! — ответил ему Руди. — У каждого своя особенность!

— Но почему ты не сломал себе шею? — спросил мельник.

— Потому что держался крепко! — ответил Руди. — Так я и дальше буду крепко держаться за Бабетту!

— Получи ее сперва! — сказал мельник и засмеялся; Бабетта знала, что это было добрым знаком.

— Ну, давай-ка вытащим орленка из корзины! Страх просто, как он таращится! Как же ты добыл его?

И Руди пришлось обо всем рассказать, а мельник только все шире раскрывал глаза.

— С твоей отвагой и удачей ты и трех жен прокормишь! — заметил мельник.

— Спасибо! Спасибо! — воскликнул Руди.

— Да, а Бабетту ты все-таки еще не получил! — прибавил мельник и шуточно похлопал молодого охотника по плечу.

— Знаешь новости на мельнице? — спросила комнатная кошка кухонную. — Руди принес нам орленка и взамен получил Бабетту. Они поцеловали друг друга прямо на глазах у отца! Это почти что помолвка! Старик больше не топал ногами, спрятал когти и соснул после обеда, а молодежь оста-

вил полюбезничать; им ведь надо столько рассказать друг другу — они не успеют и до Рождества!

К Рождеству они и не успели. Ветер закружил увядшую листву, снег повалил и в долине, и в горах. Ледяная дева сидела в своем величественном замке. Скалы покрылись коркой льда, на них повисли толстые сосульки — это застыли горные потоки, которые ниспадают вуалью в летнее время. Припудренные снегом ели сверкали гирляндами из фантастических ледяных кристаллов. Ледяная дева верхом на шумящем ветре объезжала долины. Снежный ковер покрывал всю местность вплоть до Бе, так что она могла явиться туда и увидеть, что Руди стал домоседом — так и сидел у Бабетты. К лету собирались сыграть свадьбу, и у них уже в ушах звенело от того, что друзья не переставали толковать об этом. Веселая, радостная Бабетта сияла, как солнышко, цвела, как альпийская роза, была прекрасна, как сама весна, с приходом которой все птички должны были запеть о лете и о свадьбе.

— И как только эти двое могут вечно сидеть и шушукаться друг с другом? — удивлялась комнатная кошка. — Мне их мяуканье просто надоело!

## IX. ЛЕДЯНАЯ ДЕВА

Весна зацвела сочной зеленью гирлянд из ореховых и каштановых ветвей; пышнее всех выглядели кроны деревьев от моста близ Сен-Мориса и до берегов Женевского озера, вдоль Роны, которая стремительно несла свои воды из-под зеленого глетчера, ледяного дворца, жилища Ледяной девы. Буйный ветер носит ее над заснеженными равнинами, она нежится на залитых солнцем, мягких пуховиках из снега; сидит она и всматривается в глубокие долины, где, словно муравьи на освещенном солнцем камне, хлопчут люди.

— Вы, сильные духом, как называют вас дети солнца! — говорила Ледяная дева. — Козьявки вы! Покатись на вас снежный ком, и вы будете раздавлены, уничтожены со всеми вашими домами и городами!

И она гордо вскидывала голову и озираала своим мертвящим взором все вокруг. Снизу, из долины, доносился грохот — это люди взрывали скалы, прокладывая пути и туннели для железных дорог.

— Они играют в кротов! — говорила Ледяная дева. — Роют себе ходы, вот откуда эта пальба. А стоит мне слегка двинуть свои дворцы — раздастся грохот посильнее громовых раскатов!

Из долины поднимался дымок; он двигался вперед вьющейся лентой — это был султанчик локомотива, мчащего по новехонькой железной дороге поезд, точно извивающуюся змею, тело которой составляли вагоны. Змея ползла вперед с быстротой стрелы.

— Они считают себя владыками мира, эти сильные духом! — говорила Ледяная дева. — Но силы природы могущественнее их!

Она рассмеялась и запела, так что эти звуки грохотом отдались в долине.

— В горах сходят лавины! — сказали люди.

А дети солнца еще громче запели о человеческом разуме: он господствует в мире, покоряет моря, передвигает горы, поднимает низины. Человеческий разум — вот повелитель природы!

В тот самый миг через снежную равнину, где сидела Ледяная дева, шла компания путешественников. Они были связаны друг с другом прочной веревкой, чтобы надежнее двигаться по скользкой ледяной поверхности у края пропасти.

— Козьявки! — сказала Ледяная дева. — И вам быть хозяевами природы?!

Отвернувшись от них, она с насмешкой посмотрела вниз, в долину, где грохотал поезд.



— Вон они сидят, эти умы! Они же во власти сил природы! Я вижу каждого! Один сидит в одиночестве, гордый, словно король! Другие сгрудились в кучу, да половина из них спят! Когда же паровой дракон остановится, они выйдут и разбредутся кто куда. «Умы» разбредутся по свету!

И она рассмеялась.

— Снова сходит лавина! — говорили друг другу люди в долине.

— Нас она не накроет! — сказали двое путешественников, сидевших в чреве дракона. Они были, как говорится, «одной душой, одной мыслью». Это ехали на поезде Руди и Бабетта; ехал с ними и мельник.

— Как багаж! — говорил он. — Меня взяли с собой по необходимости!

— Вон эта парочка! — сказала Ледяная дева. — Сколько серы я раздавила, сколько миллионов рододендронов я сломала, вырвала с корнем! Сотру и их в порошок! Умы! Сильные духом!

И она засмеялась.

— Снова гремит лавина! — сказали люди в долине.

## Х. КРЕСТНАЯ МАТЬ

В Монтрё, одном из ближайших городков, который вместе с городами Клараном, Верне и Креном образует гирлянду вокруг северо-восточной части Женевского озера, остановилась крестная мать Бабетты, англичанка, знатная дама, со своими дочерьми и молодым родственником. Они только что прибыли туда, но мельник уже успел навестить их и сообщить о помолвке Бабетты; он рассказал им о Руди, об орленке, о поездке в Интерлакен — словом, всю историю. Она очень понравилась дамам и расположила их к Руди и Бабетте да и к самому мельнику. Вот их троих и пригласи-

ли в Монтрё, и они приехали — надо же было Бабетте по-видаться с крестной.

На пароход мельник с дочкой и Руди садились у маленького городка Вильнёва, в конце Женевского озера, откуда полчаса езды до Верне, близ Монтрё. Берег этот воспет поэтами; здесь в тени ореховых деревьев, возле глубокого сине-зеленого озера Байрон сочинил свою поэму о Шильонском узнике, заточенном в мрачном замке на скале. Здесь же, где отражаются в воде плакучие ивы Кларана, бродил Руссо, вынашивая замысел «Элоизы». Рона течет у подножия высоких заснеженных гор Савойи; недалеко от того места, где река впадает в озеро, лежит островок, такой маленький, что с берега кажется просто суденышком. Это, собственно говоря, скала, которую столетие назад одна дама велела обложить камнями, засыпать землей и посадить там три акации. И теперь их кроны давали тень всему островку. Бабетта пришла в восторг от этого клочка земли, он показался ей чудеснее всего, что они видели за все плавание, и ей захотелось побывать там; она считала, что там будет замечательно! Но пароход проследовал мимо и пристал, как и положено, к Верне.

Оттуда маленькая компания отправилась в городок Монтрё; дорога шла в гору, между белыми, залитыми солнцем каменными стенами, которыми были обнесены виноградники; перед домами крестьян в Монтрё росли тенистые фиговые деревья; в садах зеленели лавры и кипарисы. На полпути между Верне и Монтрё находился пансион, где жила крестная мать.

Гостям был оказан самый радушный прием. Крестная мать была высокой приветливой дамой с круглым улыбающимся лицом. В детстве она, наверное, походила на настоящего рафаэлевского херувима; теперь же херувим успел состариться: вьющиеся волосы отливали серебристой сединой. Дочери ее были нарядно одетые, изящные, высокие и стройные девицы. Их молодой кузен, одетый с ног до головы во все белое, с зо-

лотистыми волосами и такими же золотистыми пышными бакенбардами, что их хватило бы на трех джентльменов, выказал Бабетте величайшее внимание.

На столе лежали книги в роскошных переплетах, ноты и рисунки; дверь на балкон была распахнута, и оттуда открывался чудесный вид на широкое озеро, такое чистое и тихое, что Савойские горы со всеми своими городками, лесами и снежными вершинами отражались в нем, как в зеркале.

Руди, всегда такой бодрый, жизнерадостный и непосредственный, чувствовал себя тут не в своей тарелке; он неуклюже двигался по гладкому полу, словно по нему был рассыпан горох. Как долго тянулось здесь время! Оно казалось бесконечным, а тут еще вздумали отправиться на прогулку! Она выдавалась такой же долгой; Руди делал два шага вперед и один назад, чтобы держаться рядом с остальными. Они спустились к Шильону, к старинному мрачному замку на скале, собираясь взглянуть на позорный столб, на темницу, на ржавые цепи, ввинченные в стену скалы, каменные нары для осужденных на смерть, на люки, в которые проваливались несчастные, падая прямо на железные зубцы, торчавшие из волн. И смотреть на все это называлось удовольствием! Ужасное место казни, воспетое поэтическим гением Байрона. Но Руди видел здесь лишь место казни; он облокотился на широкий каменный выступ окна и смотрел вниз, на глубокие сине-зеленые воды, на уединенный островок с тремя акациями. Как ему хотелось туда, прочь от всей этой болтливой компании! Но Бабетте было необычайно весело. Она развлекалась превосходно, как она же призналась потом. Кузена она нашла безупречным.

— Да уж, настоящий хвастун! — заметил Руди. И Бабетте впервые не понравилось то, что сказал ее жених. Англичанин подарил ей на память о Шильоне маленькую книжечку; это была поэма Байрона «Шильонский узник» в переводе на французский язык, так что Бабетта могла прочесть ее.

— Книга-то, может, и хороша, — сказал Руди, — но этот прилизанный субъект, что подарил ее тебе, мне не по душе.

— Он точно мешок без муки! — прибавил мельник и сам захохотал над своей шуткой. Руди тоже рассмеялся, соглашаясь с метким словом.

## XI. КУЗЕН

Явившись через пару дней на мельницу, Руди обнаружил там молодого англичанина; Бабетта как раз угощала его вареной форелью, которую собственноручно украсила петрушкой, чтобы блюдо смотрелось аппетитнее. Это уже было лишнее! Что нужно было здесь англичанину? Чего он хотел? Чтобы Бабетта угощала его, любезничала с ним? Руди ревновал, и это забавляло Бабетту; ей доставляло удовольствие наблюдать в нем все стороны характера — и сильные, и слабые. Любовь была для нее все еще игрой, вот она и играла с сердцем Руди, хотя он был, можно сказать, ее счастьем, мечтой ее жизни, лучшим и прекраснейшим человеком во всем мире! Но чем мрачнее он глядел, тем веселее смеялись ее глазки; она готова была поцеловать белокурого англичанина с золотистыми бакенбардами, только бы посмотреть, как Руди в ярости убежит прочь: это показало бы ей, как сильно он ее любит! Неумно это было со стороны Бабетты, но ей ведь исполнилось всего девятнадцать! Она не задумывалась о том, как поступает, еще меньше предполагала, как ее поведение будет истолковано молодым англичанином: он-то мог принять благонравную, только что помолвленную дочку мельника за особу более веселую и легкомысленную, чем она была на самом деле.

Мельница стояла у проезжей дороги, бежавшей от Бе у подножия горной вершины, покрытой снегом; на местном наречии место это прозвали «дьявольской бездной»; неподалеку от мельницы шумел горный поток, пенясь, как белоснеж-

ная мыльная вода. Но двигал мельницу не он, а другой поток, поменьше; он низвергался со скалы на другой стороне реки, потом пробегал по каменной трубе под дорогой, собственной силой выбивался наверх и протекал по закрытому деревянному виадуку, вроде широкого желоба, проведенного через реку, с одного берега на другой. Этот-то поток и вращал большие мельничные колеса. Желоб всегда так переполнялся водой, что поверхность его представляла собой мокрый, скользкий мост для того, кто вздумал бы побыстрее добратся до мельницы; такая затея и пришла в голову молодому англичанину. Одетый во все белое, словно работник мельника, он скользил по желобу в сумерках, ориентируясь по освещенному окошку Бабетты. Но удержаться он не сумел и чуть было не упал вниз головой в воду, да отделался тем, что замочил рубашку и штаны. Вымокший и перепачканный, он приблизился к окну Бабетты, вскарабкался на старую липу и давай кричать по-совиному — другой птице он подражать не умел. Бабетта услышала крик и посмотрела на двор через тоненькие занавески, но, увидев человека в белом и догадавшись, кто это, испугалась да и рассердилась в придачу. Она поспешно потушила свечку и, убедившись, что все окна заперты, предоставила англичанину выть и реветь сколько угодно.

Вот ужас, если Руди находился бы сейчас на мельнице! Но Руди не было там; хуже — он был как раз внизу, на дворе! Последовал громкий разговор, прозвучали гневные слова... Пожалуй, дело дойдет до драки, а может, и до убийства!

Бабетта в страхе открыла окно, окликнула Руди и попросила его уйти — не позволять же ему остаться!

— Не хочешь, чтобы я остался! — воскликнул он. — Значит, вы сговорились! Ты поджидаешь дружка получше, чем я! И не стыдно тебе, Бабетта?

— Противный! — выкрикнула Бабетта. — Ненавижу тебя! — И она расплакалась. — Уходи! Уходи сейчас же!

— Не заслужил я такого! — сказал он и ушел; щеки его пылали, сердце жгло как огнем.

Бабетта бросилась на кровать, заливаясь слезами.

— Я так люблю тебя, Руди! А ты думаешь обо мне плохо!

Она рассердилась, ужасно рассердилась на него; но и хорошо, иначе она бы совсем расстроилась. Теперь же она заснула здоровым сном юности.

## ХII. ЗЛЫЕ СИЛЫ

Руди покинул Бе и бросился в горы, домой, в этот свежий, холодный воздух, в царство снегов, где господствовала Ледяная дева. Далеко внизу виднелись лиственные деревья; они казались отсюда картофельной ботвой; ели и кустарники становились все мельче, прямо в снегу росли рододендроны, и снежный покров местами напоминал разложенный для белины холст. Руди попалась синяя горечавка; он смял ее ружейным прикладом.

В вышине показались две серны. У Руди заблестели глаза, мысли приняли другое направление. Но он был слишком далеко, чтобы попасть наверняка. Руди поднялся выше, где между каменными глыбами пробивалась одна лишь жесткая трава. Серны спокойно расхаживали по снежной равнине. Руди прибавил шагу, но туман вокруг него все сгущался, и внезапно юноша очутился перед отвесной скалой; начался проливной дождь.

Руди чувствовал жгучую жажду, голова его горела, а во всем теле ощущался озноб. Он схватился за свою охотничью фляжку, но она была пуста; он и забыл наполнить ее, когда бросился в горы. Никогда еще он не хворал, а теперь чувствовал что-то похожее на болезнь — им овладела усталость, хотелось упасть и забыться сном, но вокруг лил дождь, и Руди попытался взять себя в руки. Все вокруг странно прыгало перед его глазами, и вдруг он увидел низенькую, только что

сложенную хижину, которой не замечал здесь прежде. Хижина лепилась к скале; в дверях стояла молодая девушка, похожая, как ему показалось, на Аннетту, дочь школьного учителя, которую он раз поцеловал на танцах. Но это была не Аннетта; и все-таки он видел девушку прежде, может, в Гриндельвальде в тот вечер, когда возвращался домой с состязания стрелков в Интерлакене.

— Как ты попала сюда? — спросил он.

— Я тут живу! — ответила она. — Пасу свое стадо!

— Где же пасется твое стадо? Здесь только снег да скалы!

— Какой умный! — рассмеялась она. — Тут позади, немного ниже, есть чудесное пастбище! Там и пасутся мои козы! Я стерегу их строго! Ни одна не пропадет; что мое — моим и останется!

— Храбрая же ты! — сказал Руди.

— Ты тоже! — ответила она.

— Если у тебя есть молоко, дай мне! Меня жажда замучила!

— У меня найдется кое-что получше молока! — сказала она. — Сам увидишь! Вчера тут были путешественники со своими проводниками; они забыли полбутылки вина. Ты никогда не пробовал такого. Они за ней не вернуться, сама я не пью, так выпей ты!

И она принесла вино, налила его в деревянную чашку и подала Руди.

— Славное вино! — молвил он. — Такого горячего, жгучего мне не доводилось пробовать!

И глаза его заблестели, он ожил, огонь пробежал по его жилам, все печали позабылись. Он снова ощутил в себе бодрость, кипение силы.

— Да ведь это и правда Аннетта, дочка школьного учителя! — произнес он. — Поцелуй меня!

— А ты дай мне за это красивое колечко, что у тебя на пальце!

— Мое обручальное кольцо?

— Вот именно! — сказала девушка, налила в чашку еще вина и поднесла ее к губам юноши, он выпил. В крови заиграла радость жизни; казалось, весь мир — в его власти, так стоит ли горевать! Все манит к счастью и наслаждению! Река жизни — это река радости; броситься в нее, отдаться ее течению — вот блаженство! Он взглянул на юную девушку: это была Аннетта и все же не она, но никак и не призрачная троллиха, какой она показалась ему при встрече близ Гриндельвальда. Здешняя девушка была свежа, как только что выпавший снежок, пышна, будто роза, проворна, точно детеныш серны. И все же она была создана из ребра Адама, была человеком, подобно Руди. И он обвил ее руками, заглянул в ее удивительные ясные глаза всего на одно мгновение — да, объясните это, найдите для этого подходящее слово! — исполнилась ли его душа силы духа или почувствовала прикосновение смерти; взлетел ли он ввысь или низвергнулся в глубокую, смертельную ледяную бездну? Он видел перед собой стены из льда, точно из зеленовато-голубого стекла; бесчисленные ущелья зияли вокруг него; словно колокольчики, журчали и звенели струи воды, жемчужно-ясные, сияющие бело-голубым пламенем... Ледяная дева поцеловала Руди, и холод сковал его члены; он вскрикнул от боли, рванулся, зашатался и упал; в глазах у него померкло, но вскоре он открыл их опять. Злые силы снова сыграли с ним шутку.

Девушка исчезла, укромная хижина тоже, с голой скалы бежала вода, кругом — лишь снег. Руди дрожал от холода; он промок до костей, кольцо пропало — его обручальное кольцо, подаренное ему Бабеттой! Ружье валялось в снегу возле него; он подобрал его, хотел выстрелить — оно дало осечку. Темные тучи залегли в ущелье, словно плотные снежные сугробы; там сидело Головокружение и стерегло обессиленную жертву, а внизу, в глубине, слышался гул, точно ру-



шила скала, давя и увлекая за собой в пропасть все, что попадалось ей на пути.

А на мельнице все плакала Бабетта; Руди не показывался уже целых шесть дней! Но виноват-то был он, и ему следует просить прощения, ведь она любила его всем сердцем!

### ХIII. В ДОМЕ МЕЛЬНИКА

— Вечно неприятности с этими людьми! — сказала комнатная кошка кухонной. — У Бабетты с Руди опять все врозь пошло! Она плачет, а он и думать про нее забыл!

— Терпеть этого не могу! — заявила кухонная кошка.

— И я тоже! — подхватила комнатная. — Горевать уж не стану! Бабетта может стать невестой другого — того, с рыжими бакенбардами! Впрочем, он не бывал здесь с тех пор, как собирался влезть на крышу.

Злые силы играют и вовне, и внутри нас. Руди испытал это на себе и теперь задумался: что же случилось с ним, что творилось в его душе там, в горах? Было ли это наваждение или горячечный бред? Но ведь он никогда прежде не знал ни лихорадки, ни других болезней. Осуждая Бабетту, он заглянул в глубь собственной души. И ему вспомнилась дикая ярость, жгучий фен, который вырвался из души наружу. Мог ли он открыть Бабетте каждую свою мысль, которая в миг искушения могла стать делом? Он потерял ее кольцо, но благодаря этой потере Бабетта вновь обрела Руди. А она, могла бы она открыться ему? Сердце его разрывалось, когда он думал о ней; в нем просыпалось столько воспоминаний! Он видел ее перед собой, как живую — смеющуюся, по-детски шаловливую! Ласковые слова, которые она говорила ему от полноты сердца, прокрались в его душу солнечными бликами, и вскоре образ Бабетты засверкал солнечным светом.

Она наверняка могла открыть ему душу — и должна сделать это.

И вот он пришел на мельницу. Приступили к исповеди: начали поцелуем, а закончили тем, что виноватым был признан Руди. Его ужасная ошибка состояла в том, что он позволил себе усомниться в верности Бабетты, — как отвратительно! Такое недоверие, такая вспыльчивость могли погубить их обоих. Конечно! И потому Бабетта прочитала ему маленькое нравоучение; это доставило ей удовольствие и очень шло ей. Но в одном Руди оказался прав: родственник крестной матери — просто болтун! Бабетта даже хотела сжечь книгу, которую он подарил ей, чтобы ничто больше не напоминало ей о нем.

— Теперь все уладилось! — сказала комнатная кошка. — Руди опять здесь, они с Бабеттой понимают друг друга и говорят, что это величайшее счастье!

— А я, — заявила кухонная кошка, — слышала сегодня ночью от крыс, что величайшее счастье — это пожирать сальные свечи и иметь полным-полно прогорклого сала! Кому же верить — крысам или влюбленным?

— Никому! — изрекла комнатная кошка. — Это вернее всего!

Но величайшее счастье для Руди и Бабетты было еще впереди; их ожидал прекраснейший день в их жизни — день свадьбы.

Свадьбу собирались справлять не в церквушке Бе и не в доме мельника. Крестная пожелала, чтобы свадьбу сыграли у нее, а венчание должно было проходить в чудесной маленькой церкви в Монтре. И мельник решил уважить просьбу крестной матери; он один знал, что та собиралась подарить молодым, и посчитал, что этот свадебный подарок стоил маленькой уступки. День был назначен. Накануне вечером мельник, жених и невеста должны были выехать в Вильнев, а с утренним пароходом заблаговременно прибыть в Монтре, чтобы дочери крестной матери успели одеть невесту к венцу.

— Может, хоть на второй день они попируют здесь, в доме! — сказала комнатная кошка. — Иначе я не дам и одного «мяу» за всю эту историю!

— Обязательно будет пир! — ответила кухонная кошка. — Зарезали столько уток и голубей, а на стене висит целая косуля. У меня даже зубы зачесались при виде такого угощения! Завтра они уедут!

Да, завтра! Сегодня же вечером Руди и Бабетта последний раз находились на мельнице как жених и невеста.

В небе пылало альпийское зарево, звонили вечерние колокола, и дети солнца пели: «Да будет все к лучшему!»

#### XIV. НОЧНЫЕ ВИДЕНИЯ

Солнце зашло, облака опустились в долину Роны, мешающую среди высоких гор; ветер дул с юга, из Африки. Он носился над вершинами Альп, этот порывистый фен, и разрывал облака в клочья; когда же ветер долетал в долину, он ненадолго утихал. Разорванные облака, будто фантомы, висели над поросшими лесом горами, над стремительной Роной; в их причудливых формах угадывались то первобытное морское чудовище, то парящий в небе орел, то прыгающие по болоту лягушки. Облака эти спускались вниз, к ревущему потоку, будто плывя по нему, но все-таки плыли по воздуху. А поток нес в своих водах вырванную с корнем елку; перед ней кружился водоворот — это водили хороводы Головокружения, танцуя в бурлящем потоке. Луна освещала снежные вершины гор, темные леса, белые причудливые облака, видения ночи, духов природы; жители гор видят их за окном, они толпами плывут впереди Ледяной девы. А она вышла из своего хрустального дворца, села на это утлое суденышко — вырванную елку, — и талые воды глетчера понесли ее прямо на середину озера.

— Собираются гости на свадьбу! — шумело и пело в воздухе и на воде. Видения и на дворе, и в доме. Снится Бабетте удивительный сон.

Ей привиделось, будто она уже много лет замужем за Руди. Отправился он поохотиться на серн, а она осталась дома, и сидел у нее в гостях молодой англичанин с золотистыми бакенбардами. Он смотрел на нее пылким взглядом, слова его имели над ней колдовскую власть; он протянул ей руку, и она последовала за ним. Они оба ушли из дома, спускаясь все ниже и ниже... На сердце у Бабетты было тяжело и с каждой минутой становилось все тяжелее — грех это был против Руди, грех против Бога! Внезапно она оказалась одна, всеми покинутая; платье ее было изорвано терновником, волосы покрывала седина. Горестно взглянула она наверх и на краю скалы увидела Руди... Она простерла к нему руки, не смея окликнуть его или молить о прощении; да это и не помогло бы, ибо скоро она заметила, что был это вовсе не Руди, а лишь его охотничья куртка и шляпа, повешенные на альпеншток, — чучело, поставленное охотником, чтобы обмануть серн. Охваченная бесконечной скорбью, Бабетта взмолилась: «О, лучше бы мне умереть в день свадьбы, счастливейший день моей жизни! Господи Боже, это было бы для меня милостью, счастьем всей жизни! Так было бы лучше и для меня, и для Руди! Никто не знает своего будущего!» И в порыве отчаяния она бросилась в пропасть. Оборвалась струна, раздался скорбный звук!..

Бабетта проснулась; сон кончился и забылся, но Бабетта помнила, что ей снилось что-то страшное, снился молодой англичанин, которого она не видела вот уже несколько месяцев и о котором даже не вспоминала. Неужели он все еще в Монтрё? Пожалуй, она увидит его на своей свадьбе. Тень улыбки мелькнула на изящных губках, брови нахмурились, но скоро глаза вновь повеселели — солнышко светило так ярко, и завтра ее с Руди свадьба!

Сойдя вниз, Бабетта уже нашла там Руди; вскоре все отправились в Вильнёв. Жених и невеста были так счастливы, а мельник просто сиял весь, пребывая в прекраснейшем расположении духа, — он был добрый отец, честная душа!

— Теперь мы хозяева в доме! — сказала комнатная кошка.

## XV. КОНЕЦ

Трое счастливых прибыли в Вильнёв еще до наступления вечера. Отобедав, мельник уселся в кресло со своей трубкой и задремал. Новобрачные вышли под руку из города и направились по проезжей дороге, окруженной поросшими кустарником скалами, прогуляться по берегу глубокого сине-зеленого озера. В чистой воде отражались серые стены и тяжелые башни мрачного Шильонского замка. Маленький островок с тремя акациями лежал совсем близко и казался букетом на воде.

— Там должно быть чудесно! — сказала Бабетта. Ей снова страшно захотелось туда, и желание это могло быть тотчас исполнено. У берега качалась лодка, ее легко можно отвязать. Просить позволения было не у кого, и жених с невестой, не долго думая, сели в лодку, ведь Руди умел грести.

Весла, точно рыбы плавники, захватывали послушную воду; она была легко поддающейся и в то же время сопротивлялась — чего только она не носит на хребте своих волн, чего только не поглощает ее пасть! Она мягко улыбается, на вид — сама нежность, и все же внушает людям страх своей сокрушающей силой. За кормой пенилась вода; через несколько минут молодые люди пристали к островку и вышли на берег. Там можно было даже устроить танцы, но только для одной пары.

Руди сделал с Бабеттой два-три тура; затем они сели на скамеечку в тени развесистых акаций и взялись за руки, не сводя друг с друга глаз. А вокруг них горел закат; еловые леса в горах приняли розовато-сиреневый оттенок цветущего

вереска; там же, где деревья отсутствовали, голые камни скал горели огнем. Облака в небе окрасились в алый цвет, озеро походило на свежий розовый лепесток. Но вот на снежные вершины Савойских гор стали ложиться темно-синие тени; только самые верхние зубцы еще горели, словно раскаленная лава, напоминая о времени образования самих гор, когда эти раскаленные массы поднялись из недр земли и еще не успели остыть. Руди и Бабетте казалось, что они никогда не видели подобного альпийского зарева. Покрытая снегами вершина Дандю-Миди сияла, будто полная луна, встающая на горизонте.

— Какое великолепиие! Какое счастье! — воскликнули оба.

— Большого счастья земля не может мне дать! — сказал Руди. — Такой вечер, как сегодня, стоит целой жизни! Как часто я ощущал такой же прилив счастья, как теперь, и думал: даже если все сейчас кончится, сколько же счастья я испытал в жизни! В этом благословенном мире! Проходил день, наступал новый и казался мне еще лучше прежнего! Господь бесконечно благ, Бабетта!

— Я так счастлива! — сказала она.

— Большого счастья земля мне не может дать! — воскликнул Руди.

С Савойских гор, Швейцарских гор, донесся колокольный звон; на западе высились в золотом сиянии темно-синие Юрские горы.

— Да устроит Господь твою жизнь еще лучше и прекраснее! — произнесла Бабетта.

— Устроит! — сказал Руди. — И это будет завтра! Завтра ты станешь моей! Моей милой, прелестной женой!

— Лодка! — воскликнула вдруг Бабетта.

Лодка, на которой они должны были вернуться обратно, отвязалась и отплыла от острова.

— Я догоню ее! — сказал Руди, сбросил куртку и сапоги, кинулся в воду и быстро поплыл к лодке.

Прозрачная сине-зеленая вода, вытекавшая из горного глетчера, была холодна, как лед, и глубока. Руди посмотрел в глубину, бросил туда всего один взгляд и увидел, как там словно кружится, поблескивает, переливается золотое кольцо — то самое, которое он потерял! Кольцо стало расти, расширилось в сверкающий круг, а в середине его блеснул глетчер. Вокруг зияли бездонные пропасти, журчала вода, звеня, как колокольчики, и сияя голубоватым пламенем. Все, что нам пришлось долго описывать словами, Руди увидел в мгновение ока. Молодые охотники, девушки, мужчины и женщины, некогда провалившиеся в ущелья ледников, стояли перед ним, как живые, широко раскрыв глаза и улыбаясь, а из глубины, из погребенных под лавинами городов, доносился колокольный звон; прихожане преклоняли колени под сводами церкви, льдины образовывали трубы органа, горные потоки пели... На чистом, прозрачном дне восседала Ледяная дева; она поднялась к Руди, поцеловала его ноги, и по телу его пробежали смертельный холод, электрический ток... Лед и пламя! При мимолетном прикосновении их ведь не отличишь друг от друга.

— Мой! Мой! — зазвучало вокруг Руди и в нем самом. — Я целовала тебя, еще маленького! Целовала тебя в уста! А теперь целую твои стопы — ты весь мой!

И Руди исчез в прозрачной синей воде.

Все замерло; церковные колокола умолкли, их звуки исчезли с последним отблеском алеющих облаков.

— Мой! — звучало в глубине. — Мой! — звучало и в вышине, в бесконечности.

Как дивно вознестись от любви к любви, от земли — к небу!

Оборвалась струна, раздался скорбный звук; ледяной поцелуй смерти подчинил себе брненное тело; пролог кончился, чтобы драма жизни могла начаться, диссонанс разрешился гармонией.

И ты назовешь эту историю печальной?

Бедняжка Бабетта! Для нее настал ужасный час! Лодку относило все дальше и дальше. Никто на берегу не знал, что молодые отправились на островок. Смеркалось, низко повисли тучи, стало темно. Несчастливая, испуганная, Бабетта осталась одна. Над ее головой сгустились тучи; вспышки молнии раздавались над Юрскими горами, над Савойей. Со всех сторон блистали они, и удары грома так и раскатывались в небе на несколько минут. Молнии сверкали, как солнечные лучи, временами становилось светло, как днем, и можно было различить отдельную виноградную лозу, но затем все опять погружалось во мрак. Молнии вспыхивали в небе петлями, клубками, зигзагами, ударяли прямо в озеро, сверкали повсюду; раскаты грома нарастали из-за гулкого эха. Люди вытаскивали лодки на берег; все живое спешило куда-нибудь укрыться!.. И вот хлынул ливень.

— Где же Руди и Бабетта в такую непогоду? — проговорил мельник.

Бабетта сидела, сжав руки, уронив голову на колени, онемев от горя, обессилев от жалобных криков.

— Там, на дне! — сказала она самой себе. — Он там, глубоко под водой, как подо льдом!

Ей вспомнились рассказы Руди о смерти его матери, о том, как его спасли, вытащив безжизненным из ледяного ущелья. Он снова во власти Ледяной девы!

Сверкнула ослепительная молния, будто солнце озарило белый снег. Бабетта вскочила; озеро на мгновение поднялось, словно сияющий глетчер; на нем стояла Ледяная дева, величественная, окруженная голубоватым сиянием, а у ног ее лежало тело Руди.

— Мой! — произнесла она, и все вокруг опять потонуло в крошечной тьме, в льющейся с неба воде.

— Как жестоко! — стонала Бабетта. — Отчего же он умер, если настал наш счастливейший в жизни день? Господи!



Просвети мой ум! Просвети мое сердце! Не уразуметь мне твоих путей, не постичь твоего всемогущества и мудрости!

И Господь просветил ее сердце. Как луч Божественного милосердия, мелькнуло в голове воспоминание — ее последний сон, как живой, встал перед ее глазами; она припомнила каждое слово, сказанное ею: желание «лучшего» для себя и Руди.

— Горе мне! Неужели плевелы греха проросли в моем сердце? Неужели мой сон предвещал будущее и струна нашей жизни должна была порваться ради моего спасения? О я, несчастная!

Так просидела она, скорбя, всю эту ненастную ночь. Ей казалось, что в глубокой тишине звучат еще последние слова Руди: «Большого счастья земля не может мне дать!» Они были сказаны от полноты радости, теперь же они повторялись от избытка скорби.

\*

Прошло несколько лет. На озере и на берегах — благодать; виноградная лоза украсилась сочными гроздьями; пароходы с развевающимися флагами проплывают мимо; прогулочные лодки с поднятыми парусами летят, точно белые бабочки, по зеркальной поверхности воды. Открыта железная дорога через Шильон; она ведет далеко в глубь долины Роны. На каждой станции выходят путешественники-иностранцы и, доставая свои путеводители в красных переплетах, справляются о местных достопримечательностях. Посещают они и Шильон, смотрят из замка на озеро, на крохотный островок с тремя акациями и читают в путеводителе о женихе и невесте, которые однажды вечером 1856 года отправились туда на лодке, о смерти жениха и о том, что «лишь на следующее утро с берега услышали крики отчаявшейся невесты».

Но путеводитель ничего не сообщает о тихой жизни Бабетты у своего отца — не на мельнице, там живут теперь

другие, а в чудесном домике близ вокзала. Вечерами она сидит у окна и смотрит через верхушки каштановых деревьев на снежные горы, по которым когда-то карабкался Руди; смотрит в час заката на альпийское зарево — дети солнца поют в вышине о страннике, с которого вихрь сорвал плащ: оболочку унес он, но не самого человека.

Розовый отблеск зари горит на снежных вершинах; отблеск зари есть и в каждом сердце, которое верит: «Бог устраивает все к лучшему для нас!» Но не всегда нам бывает это открыто, как открылось Бабетте во сне.

---

## МОТЫЛЕК

**М**отылек надумал жениться, и, конечно, ему хотелось выбрать в невесты хорошенький цветочек. Он посмотрел вокруг: цветочки сидели на своих стебельках тихо и скромно, как и подобает еще не просватанным барышням. Их было так много, что выбрать среди них невесту оказалось трудно. Мотылек не знал, на что решиться, и тогда полетел он к маргаритке. Так называют ее французы, зная, что она умеет гадать; влюбленные обрывают у нее лепесток за лепестком, вопрошая при этом: «Любит? Не любит? Плюнет? Поцелует? Ни капли?» — или что-нибудь в этом роде. Каждый ведь спрашивает на своем языке. Мотылек тоже обратился к маргаритке, но он не стал обрывать ее лепестки, а перецеловал их, полагая, что лучше действовать лаской.

— Милая маргаритка! — сказал он. — Вы мудрейшая из женщин-цветов! Вы умеете гадать! Скажите мне: кто моя невеста? Кого мне выбрать? Как только я узнаю об этом, я сразу же посватаюсь к ней!

Но маргаритка не отвечала мотыльку. Ей не понравилось, что он назвал ее женщиной, ведь она была девушкой. Мотылек спросил ее еще раз, потом еще, но так и не услышал от нее ни единого слова. Ему это надоело, и он полетел свататься.

Дело было ранней весной, всюду цвели подснежники и крокусы.

— Очень милые! — сказал мотылек. — Хорошенькие! Только еще совсем зеленые.

Мотылек, как и все юноши, искал девушек постарше. Затем подлетел он к анемонам и нашел, что они горьковаты; фиалки показались ему слишком мечтательными, тюльпаны — слишком эффектными, нарциссы — простоватыми, липовые цветы — слишком маленькими, да еще с бесчисленной родней; цветы яблони, правда, похожи на розы, но сегодня они есть, а завтра подует ветер, и они облетят. Очень уж коротким окажется брак с ними. Душистый горошек понравился мотыльку больше всех: бело-розовый, нежный и изящный, этот цветок относился к домовитым девицам, не только красивым, но и расторопным на кухне. Мотылек собрался было посвататься, как вдруг увидел совсем рядом стручок с увядшим цветком.

— Это... кто же? — спросил мотылек.

— Сестрица моя! — прозвучал ответ.

— Значит, и вы станете такой же!

Мотылек испугался и улетел прочь.

Через изгородь перевешивались цветы жимолости, там было полным-полно барышень, длиннолицых и желтых; такие, однако, не в его вкусе. Но что же было ему по вкусу? Подите-ка узнайте у него сами!

Весна прошла, прошло и лето; настала осень, а мотылек все еще не посватался. Расцвели новые цветы в роскошных нарядах, но что толку, ведь в них не было свежей, благоухающей юности. С годами сердце тоскует все больше по этому аромату, которого нет у георгинов и штокроз. И мотылек полетел к кудрявой мяте.

«Сейчас на ней нет цветов, но она благоухает от корней до самой макушки, каждый ее листочек источает аромат. Ее я и возьму в жены!»

И он наконец посватался.

Однако мята стояла неподвижно, безмолвно, а потом сказала только:

— Дружить я согласна, но не больше! Я стара, вы стары! Мы прекрасно можем жить рядом, но пожениться?.. Нет, зачем нам быть посмешищем на старости лет!

Так мотылек и улетел ни с чем. Он выбирал слишком долго, а это не дело. И остался он старым холостяком.

Поздней осенью начались дожди и слякоть, подул холодный ветер, заскрипели старые ивы. Плохо порхать в летнем одеянии в такую непогоду, приходится, как говорится, расплачиваться. Но мотылек и не порхал; ему случайно удалось залететь в дом, где топилась печка и было тепло, как летом. Он мог бы там жить.

— Но такая жизнь мне не нужна! — сказал он. — Нужны солнечный свет, свобода и маленький цветочек!

Он взлетел и ударился об оконное стекло. Его увидели, восхитились его красотой и посадили на булавку в ящичек с разными редкими экземплярами. Ничего больше сделать для него не могли.

— Теперь и я сижу на стебельке, как цветочек! — сказал мотылек. — Не очень-то приятно! Пожалуй, это похоже на женитьбу: сидишь прочно на своем месте!

Этим он и утешался.

— Слабое утешение! — говорили комнатные цветы.

«Ну, комнатным цветам не следует особенно верить, — думал мотылек. — Они слишком близки к людям».

---

## ПСИХЕЯ

**Н** а рассвете в румяном небе горит крупная, яркая звезда; луч ее дрожит на белой стене, словно хочет записать на ней все, что знает, все, что тысячелетиями видела эта звезда на нашей вращающейся земле.

Послушайте же одну из ее историй!

Недавно — хотя это «недавно» означает у людей столетнюю давность — мои лучи следили за одним молодым художником; он жил в папской столице, в городе мира, Риме. Много там изменилось с течением времени, хотя и не так быстро, как человек из ребенка превращается в старика. Императорский дворец уже тогда был в развалинах; между поверженными мраморными колоннами и над разрушенными золочеными стенами великолепных терм росли фиговые и лавровые деревья. Колизей тоже лежал в руинах. Звонили церковные колокола, курился ладан, по улицам шествовали процессии со свечами и роскошными балдахинами. Там церковь дышала святостью, высоким и священным почиталось и искусство. В Риме жил величайший художник мира Рафаэль; здесь жил и лучший ваятель того времени Микеланджело. Сам Папа восхвалял их обоих, удостаивал их своими посещениями. Искусство признавали, чттили и вознаграждали. Однако не все великое и талантливое было замечено и оценено по достоинству.

На маленькой, тесной улочке стоял старый дом, бывший некогда храмом. Здесь жил молодой художник, бедный, безвестный. Конечно, у него были друзья, такие же художники, юные душой, надеждами, помыслами. Они говорили ему, что у него большой талант и способности и что он глупец, если сам этому не верит. Дело в том, что он постоянно разбивал созданное им из глины; ничто его не удовлетворяло, он никогда не завершал работы, а это было необходимо, иначе кто же ее увидит, оценит и заплатит за нее деньги.

— Ты мечтатель! — говорили ему друзья. — И в этом твое несчастье! А все потому, что ты еще не жил, не вкусил жизни, не пил большими, жадными глотками наслаждения. Ведь именно в юности можно и нужно наслаждаться! Взгляни на великого мастера Рафаэля: его чтит Папа, им восхищается мир, и он не отказывает себе ни в хлебе, ни в вине!

— Вкушает их вместе с женой пекаря, прелестной Форнариной! — сказал Анджело, самый веселый из молодых друзей.

Да, много еще чего они наговорили по молодости и своему неразумению. Им хотелось увлечь юного художника в круговорот веселья, дурачества, даже сумасбродства. Временами он и сам испытывал желание повеселиться; кровь у него была горячая, воображение его искало выхода, и он мог вести шутливую беседу, смеяться от души вместе с другими; и все-таки то, что они называли «веселой жизнью Рафаэля», исчезало в его глазах, как утренний туман, и он видел божественное сияние картин великого мастера. Когда он стоял в Ватикане перед прекрасными творениями, изваянными из мрамора тысячи лет назад, его грудь волновалась и он ощущал в себе нечто возвышенное, священное, вдохновляющее, великое и чудесное; тогда его посещало желание создать из мрамора такие же образы. Он жаждал выразить то чувство, которое стремилось из его сердца к бесконечному, но как это сделать? Мягкая глина послушно принимала

прекрасные формы под его пальцами, но на другой день, как и всегда, он уничтожил свое творение.

Однажды он проходил мимо одного из роскошных дворцов, которых так много в Риме, остановился перед большими открытыми воротами и увидел маленький садик, окруженный расписанными галереями; там повсюду цвели красивейшие розы. Крупные белые белокрыльники с зелеными, сочными листьями распускались в мраморной чаше, наполненной прозрачной водой. И здесь же перед ним промелькнуло видение — юная девушка, дочь знатного господина. Как она была изящна, воздушна, восхитительна! Никогда в жизни он не видывал такой женщины! Нет, видел в одном из римских дворцов, написанную Рафаэлем, в образе Психеи. Там она была написана красками, здесь явилась ему живая.

Она осталась жить в его мыслях и сердце. Вернувшись в свою бедную каморку, он вылепил Психею из глины — знатную молодую римлянку, и впервые остался доволен своей работой. Образ Психеи имел для него особое значение. Друзья, увидев ее, возликовали; эта работа стала настоящим откровением художника, явила собой его талант, который они признавали и прежде теперь его признает мир.

Глина очень мягкая и живая, но она не обладает белизной и прочностью мрамора. Психея должна была ожить в мраморе, у художника имелся этот драгоценный материал; глыба мрамора много лет лежала у него во дворе, она досталась ему от родителей. На ней громоздились осколки битого стекла, очистки от артишоков, пачкавшие ее, но сам мрамор был белее снега в горах. Из этой глыбы и должна будет восстать Психея.

В один прекрасный день случилось так — звезда об этом умалчивает, она ничего не видела, но мы-то знаем, — что узенькую скромную улочку посетило знатное римское семейство. Карету оставили неподалеку, а сами гости пришли посмотреть на работу молодого художника; они случайно услышали



о ней. Кто же были эти знатные посетители? Бедный юноша! Или лучше сказать — счастливый! В его комнатке появилась она, та самая девушка; и как она улыбнулась, когда ее отец сказал: «Да ведь это ты, как живая!» В глине невозможно было передать ни ее улыбку, ни взгляд — этот удивительный взгляд, которым она смотрела на юного художника; взгляд ее возвышал, облагораживал... и повергал во прах!

— Психею нужно извять из мрамора! — сказал богатый посетитель. И слова его вдохнули жизнь и в мертвую глину, и в тяжелую мраморную глыбу; вдохновили эти слова и влюбленного молодого человека. — Когда работа будет выполнена, я куплю ее! — прибавил знатный господин.

Словно новое время настало в бедной мастерской: в ней воссияли жизнь и веселье, закипела работа. Яркая утренняя звезда видела, как дело продвигается вперед. Сама глина, казалось, ожила, с тех пор как здесь побывала та девушка, и послушно принимала возвышенные, прекрасные формы, передавая знакомые черты.

— Теперь я знаю, что такое жизнь! — ликовал художник. — Это любовь! Это воодушевление прекрасным, восхищение красотой! То, что мои друзья называли жизнью и наслаждением, — всего лишь бренность, пузыри брожения, но не чистое, небесное вино, освящающее жизнь!

Мраморная глыба была извлечена из-под мусора, резец скульптора отсекал от нее большие куски; ее измерили, обозначили на ней точки и знаки. После грубой работы настал черед ваяния, и мало-помалу камень стал принимать формы живого тела, прекрасного образа, Психеи, дивной, как сам образ Божий в этой юной девушке. Тяжелый камень превратился в парящую, танцующую, воздушную, прелестную Психею; небесная чистота ее улыбки запечатлелась в сердце молодого ваятеля.

А звезда в румянном утреннем небе видела все это и понимала, что творилось в душе юноши, отчего вспыхивают

его щеки, сияют его глаза, когда он воплощал образ того, что создал Бог.

— Ты мастер, какие жили в Древней Греции! — говорили ему восхищенные друзья. — Скоро весь мир будет любоваться твоей Психеей!

— Моей Психеей! — повторил он. — Моей! Да, она и вправду моя! Я такой же художник, как те, великие, предшественники! Господь даровал мне талант, превознес меня, как знатного аристократа.

И он упал на колени, со слезами благодарил Бога, а потом вновь забыл о Нем ради нее, ее образа в мраморе, ради Психеи, словно вылепленной из снега и разрумяненной утренним солнцем.

Он должен был увидеть ее наяву, живую, воздушную; голос ее звучал для него как музыка. Он принесет в роскошный дворец известие о том, что мраморная Психея завершена. И вот он уже во дворце, прошел через дворик, где из чрева скульптурных дельфинов струилась в мраморную чашу вода, где цвели белокрыльнички и распускались свежие розы. Он вступил в просторный, высокий вестибюль; стены и потолок его были расписаны гербами и картинами. Разнаряженные слуги, гордые, с колокольчиками, будто лошади в упряжке, сновали по лестнице, а некоторые из них лениво, самоуверенно развалились на резных скамьях; казалось, что они и есть господа в доме. Художник сказал, зачем пришел, и его повели по сверкающей мраморной лестнице, усталной мягкими коврами. По обеим сторонам ее стояли статуи. Он шел через роскошные залы, украшенные картинами, и полы их поблескивали мозаикой. При виде всего этого великолепия у него захватило дух, но вскоре ему опять стало легко. Старый знатный господин принял его очень ласково, почти дружески и, поговорив с ним, предложил ему пройти к молодой синьорине — она тоже желала видеть художника. Слуги повели его по роскошным покоем и залам в ее комнату, где чудеснее и прекраснее всего была девушка.

Она заговорила с ним; никакое «Miserere»\*, никакое церковное песнопение не могли бы так растрогать сердце, так взволновать душу! Он схватил ее руку и прижал ее к своим губам; рука была нежнее лепестка розы, но от этого лепестка исходил огонь! Он воспламенил юношу, вдохновил его, и из уст его невольно полились слова. Разве знает кратер, что извергает пылающую лаву! Он признался ей в своей любви. Она стояла, пораженная, негодующая, горделивая, с выражением отвращения на лице, словно она внезапно дотронулась до скользкой лягушки; щеки ее горели огнем, губы побелели; черные, как ночь, глаза сверкали.

— Безумец! — воскликнула она. — Прочь! Прочь отсюда!

И она повернулась к нему спиной. Прекрасное лицо ее приняло выражение той самой, окаменелой, головы со змеями вместо волос.

Упавший духом, оцепеневший, он брел по улице, как лунатик. Очнулся только у себя дома и в приливе бешенства и отчаяния схватил свой молоток, замахнулся и хотел разбить прекрасную мраморную статую, но не заметил, что друг его Анджело стоял рядом и с силой схватил его за руку.

— Ты с ума сошел? Что с тобой?

Завязалась борьба. Анджело был сильнее, и юный художник, тяжело дыша, упал на стул.

— Что случилось? — спросил Анджело. — Возьми себя в руки! Говори!

Но он не мог говорить. Да и что он мог рассказать? Анджело так ничего и не добился от него и отступил.

— У тебя просто кровь сгустилась от вечных мечтаний! Будь же человеком, как все остальные, не живи одними идеалами, иначе не выдержишь! Выпей немного вина и отлично выпишься! Пусть доктором тебе будет красивая девушка! Девушки Кампанны восхитительны, как принцесса из мраморного палатца; они

---

\* Miserere — помилуй (лат.) Начало католической молитвы.

ведь все дочери Евы, в раю их не различишь! Следуй примеру своего друга Анджело! Я буду твоим ангелом-хранителем! Придет время, ты состаришься, тело одряхлеет, и в один прекрасный день, когда все кругом будет радоваться солнцу и ликовать, ты будешь лежать, как высохшая былинка, которой уже не цвести. Я не верю тому, что говорят священники, будто за гробом есть жизнь; это прекрасная фантазия, детская сказка, довольно приятная, если верить в нее. Но я живу не в мечтах, а в действительности. Пойдем со мной! Стань человеком!

И он увлек его за собой, ему посчастливилось: в крови молодого художника пылал огонь, в душе его все перевернулось, он испытывал потребность порвать со старым, со всем тем, к чему привык, освободиться от своего прежнего «Я»; и он последовал за Анджело.

На окраине Рима находился трактир, в нем любили бывать художники. Он приютился в развалинах старых терм; крупные золотые лимоны висели меж темной глянцевой листвы, скрывавшей часть древних красно-желтых стен. Трактир помещался под низким сводом, напоминая пещеру. Внутри перед образом Мадонны горела лампада. В очаге пылал огонь; здесь жарили, варили и пекли; снаружи, под сенью лимонных и лавровых деревьев, стояло несколько накрытых столов.

Друзья встретили обоих пришедших с радостью и ликованием; закусили немножко, а выпили изрядно — так веселее жить; потом принялись петь и играть на гитарах. Зазвучала сальтарелла, и начались танцы. Две молодые римлянки, натурщицы, вышли танцевать, закружились в пляске. Две прекрасные вакханки! Да, они не были похожи на Психею, это были не изящные, нежные розы, но свежие, сочные, пышные гвоздики.

Какая жара стояла в тот день! Она не спала даже на закате! Огонь в крови, огонь в воздухе, огонь в каждом взгляде! Воздух струился золотом и розами, жизнь наполнилась этим золотом и розами.

— Наконец-то ты теперь с нами! Отдайся же течению жизни в тебе и вокруг тебя!

— Никогда еще я не чувствовал себя таким бодрым и веселым! — сказал молодой художник. — Ты прав, вы все правы: я был глупцом, мечтателем, но человек должен жить, а не мечтать.

С песнями, играя на гитарах, молодые люди вышли из трактира и потянулись по переулкам; вечер был ясный, звездный. Обе пышные гвоздики, дочери Кампаньи, сопровождали их.

В комнате Анджело среди разбросанных эскизов, листков с красочными рисунками голоса звучали глуше, но не менее страстно. По полу были раскиданы рисунки; на них дочери Кампаньи представляли как живые, во всей своей многообразной и пышной красоте, но эти две все-таки были еще красивее. В подсвечнике ярко горело шесть свечей, при их свете человеческие образы казались божественными.

— Аполлон! Юпитер! Я возношусь к вам на небо! В моем сердце словно расцвел цветок жизни!

Да, он расцвел... и поблек, опал, оставив после себя одуряющие, ядовитые испарения; они слепили глаза, усыпляли мысли; фейерверк чувств погас, и наступила тьма.

Художник добрался до своего дома, присел на кровать, собрался с мыслями.

— Тьфу! — сорвалось с его уст, и возглас этот прозвучал из глубины его сердца. — Несчастный! Прочь! Вон!

И он горько вздохнул.

«Прочь! Вон!» — ее слова, слова живой Психеи, так и стучали в его сердце, срывались с уст. Он уронил голову на подушку, мысли его спутались, и он уснул.

На рассвете он проснулся и стал припоминать вчерашнее. Что произошло? Не во сне ли все это было? И ее слова, и пирушка, и вечер в обществе пунцовых гвоздик Кампаньи? Нет, все было в действительности, в жизни, которой он прежде не знал.

На алеющем небе светила яркая звезда; лучи ее упали на юношу и на мраморную Психею, и он затрепетал, взглянув на нетленный образ; ему показалось, что он оскорбил его своим взглядом. Он набросил на статую покров, потом опять было хотел снять его, но больше уже не посмел взирать на свое творение.

Тихий, угрюмый, уйдя в себя, просидел он весь этот длинный день, не сознавая, что творилось вокруг, и никто не знал, что происходило в этом человеческом сердце.

Шли дни, недели; особенно долго тянулись ночи. Однажды утром мерцающая звезда увидела, как он, бледный, дрожащий, словно в лихорадке, вскочил с постели, подбежал к мраморной статуе, сдернул с нее покров, посмотрел на свое творение скорбным, проникновенным взглядом, а потом, почти изнемогая под тяжестью статуи, перетащил ее в сад. Там был старый высохший колодезь, скорее, яма; в нее-то он и опустил Психею, забросал ее землей, а свежую могилу прикрыл хворостом и крапивой.

— Прочь! Вон! — коротка была надгробная речь.

Звезда видела все это с алеющего небосклона, и лучи ее задрожали в двух крупных слезах, скатившихся по бледным щекам молодого человека; он был болен, говорили даже — смертельно болен, когда он совсем занемог.

Монах, брат Игнатий, стал для него другом и врачом; он явился к нему со словами утешения, заговорил о мире и счастье, даруемых Церковью, о грехах человеческих, о милости Божией.

Слова его падали, словно теплые солнечные лучи на влажную, вспаханную почву; над ней поднимался пар, он превращался в облака — в мысленные образы, ставшие действительными; с этих воздушных островов и смотрел теперь юноша вниз, на жизнь человеческую: она была ошибкой, разочарованием — так он и жил прежде. Искусство околдовало и завлекло нас тщеславием, земными удовольствиями. Мы лжем са-

ним себе, лжем своим друзьям, лжем Творцу. Змей неустанно твердит в нашей душе: «Вкуси и ты уподобишься Богу!»

Только теперь юноша решил, что обрел путь истины и мира. Свет и чистота Божии пребывают в церкви, а в монашеской келье — покой, только там древо человеческой жизни сможет прорасти в вечность.

Брат Игнатий укреплял его в этих мыслях, и юноша принял решение: дитя света стало слугой Церкви, молодой художник отрекся от мира, ушел в монастырь.

Как сердечно, как радостно приветствовала его братия, как торжественно было посвящение! Ему казалось, что сам Господь присутствовал в солнечном свете, проникавшем в церковь, сиял в ликах святых и на кресте. А когда юноша вечером, на закате солнца, стоял у открытого окна в своей маленькой келье и смотрел на старый Рим, его разрушенные храмы, величественный, но мертвый Колизей — смотрел на город в весеннем уборе, на цветущие акации, свежую зелень барвинка, на множество роз, на золотистые лимоны и апельсины, веера пальм, — он ощутил в себе такую полноту блаженства, какой не знал прежде. Открытая, тихая долина Кампаньи простиралась до синеющих вдали гор, покрытых снегом, точно нарисованных на небе. Все сливалось воедино, дышало миром и красотой, такое воздушное, мечтающее, — все было мечтой!

Да, мир здесь казался мечтой, но мечта нам дается на часы, а жизнь в монастыре длится многие, долгие годы.

Ему пришлось признать, что душа человека — прибежище скверны! Что за пламя временами опаляет его? Что это за море зла, потопляющее его против его воли? Он истязал свою плоть, но зло исходило изнутри. Отчего в его душе завелась изворотливая змея и, свиваясь в кольцо, заползала вместе с его совестью под покров божественной любви и утешала: «Святые ведь молятся за нас, Божья мать тоже,

а Сам Иисус пролил свою кровь за нас». Наверное, из ребячества или юношеского легкомыслия отдавал себя молодой человек на милость неба и ощущал себя превознесенным над прочими людьми: именно он, и никто иной, отринул от себя мирскую суету, он стал сыном Церкви!

Однажды, спустя много лет, он встретил Анджело; тот узнал его.

— Господи! — сказал он. — Ты ли это! Что же, счастливы ты теперь? Ты согрешил против Бога, отказался от его дара, забыл свой путь в этом мире. Прочти притчу о зарытых в землю талантах! Учитель, рассказавший ее, принес в мир истину! Чего ты добился, что обрел? Разве ты не в мечтах живешь? Не придумал себе свою веру, как делают все монахи? А что, если все это лишь мечта, фантазия, прекрасные вымыслы?

— Изыди, сатана! — сказал монах и покинул Анджело. — Это дьявол, дьявол во плоти! Я видел его сегодня! — шептал монах. — Однажды я протянул ему палец, а он схватил всю мою руку!.. Нет! — вздохнул он. — Зло во мне самом, и в этом человеке тоже есть зло, но он не падает под его бременем, ходит с высоко поднятой головой, доволен жизнью... А я ищу утешения в вере!.. Что, если это всего лишь утешение? Что, если все здесь только обман, как и тот мир, который я оставил? Как обманчива красота розовых вечерних облаков, и синеющая волна далеких гор! Вблизи же все иначе! О вечность, ты — как великий, безграничный, мирный океан, ты манишь, зовешь к себе, наполняешь нашу душу предчувствиями, а когда мы шагнем к тебе, мы тонем, исчезаем, умираем... перестаем существовать!.. Обман! Прочь! Вон!

Без слез, углубившись в самого себя, он стоял, коленопреклоненный, на своем жестком ложе. Но перед кем хотел он преклонить колени? Перед распятием в каменной стене? Нет, только привычка заставила плоть склониться перед крестом.



Чем глубже заглядывал он в свою душу, тем чернее она ему казалась. «Ничего внутри! Ничего вокруг! Растратил свою жизнь!» И этот снежный ком мыслей катился все дальше, рос, давил его, стирал с лица земли.

«И никому я не смею поведать о змее, что гложет мою душу! Моя тайна — мой пленник; выпущу я ее — стану ее пленником!»

И сила божественного духа в нем продолжала страдать и бороться.

— Господи! Господи! — взывал он в отчаянии. — Будь милостив, верни мне мою веру!.. Я отринул от себя Твой дар, зарыл свой талант! У меня не хватило сил, Ты не дал их мне. Бессмертие, Психея в моей груди... Прочь, вон!.. И ее предадут земле, как ту Психею, свет моей жизни!.. Никогда не восстанет она из могилы!

Звезда сияла на румянном небе; но и она когда-нибудь потухнет, исчезнет без следа, а души живут и сияют вечно. Ее дрожащий луч упал на белую стену, но не начертал на ней ничего о величии Бога, о милосердии, о божественной любви — о том, что звучит в душе каждого верующего.

— Психея во мне никогда не умрет!.. Жить по разуму?.. Но разве не существует непостижимое? Да! Да! Непостижимое — мое «Я». Непостижим и Ты, Господи! Ведь мир твой непостижим; он чудо Твоей силы, величия и любви!..

Глаза его засияли и угасли. Последнее, что слышал усопший, — звон церковных колоколов. Он был предан земле, привезенной из Иерусалима и смешанной с прахом умерших праведников.

Через несколько лет скелет покойного выкопали, как и кости умерших прежде монахов, завернули его в коричневую рясу, вложили в руку четки и поставили его в нишу из человеческих костей, найденных в монастырском склепе. Туда проникал солнечный свет, доносилось благоухание ладана, там читались молитвы.

Шли годы. Скелеты рассыпались, кости перемешались друг с другом; черепа сложили в ряд, и они образовали собой целую ограду вокруг церкви. Под жгучими лучами солнца лежал тут и череп художника; много-много их было, и никто не знал, кому они принадлежали; не знали и его имени. Но взгляните! При свете солнца в глазных впадинах черепа мелькнуло что-то живое. Что это было? В пустой череп юркнула пестрая ящерица, она бегала между большими глазными впадинами. Жизнь снова забилась в этой голове, где когда-то рождались великие мысли, светлые мечты, любовь к искусству и к прекрасному, откуда катились жгучие слезы, где жила надежда на бессмертие. Ящерица выпрыгнула и исчезла; череп истлел, рассыпался в прах.

Прошли столетия. Яркая звезда светила по-прежнему, все такая же светлая, крупная, какой была и тысячелетия назад; небо окрашивалось в пурпур, свежий, как розы, алый, как кровь.

Там, где некогда находилась узенькая улочка с развалинами древнего храма, была теперь площадь, на ней стоял женский монастырь. В саду рыли могилу: умерла молодая монахиня, и в это утро ее хотели похоронить. Вдруг лопата наткнулась на камень, сверкавший ослепительной белизной. Это было белое мраморное плечо. Стали копать осторожнее, и из земли показалась женская голова, потом крылья бабочки. Из могилы, в которую собирались опустить тело юной монахини, подняли при свете розовой утренней зари дивную статую Психеи, изваянную из белого мрамора. «Как она прекрасна! Какое совершенство! Великолепное произведение искусства!» — говорили люди. Как же зовут мастера? Никто не знал, никто не видел его, кроме сияющей тысячелетия утренней звезды. Она знала его земную жизнь, его терзания, его слабости, его вечное: «О человек!» Но человек этот умер, превратился в прах, как и должно,

однако плод его лучших стремлений, прекраснейшее, божественное в нем самом — Психея — никогда не умрет; она затмит саму память о своем творце, будет сиять на земле. И вот ее нашли, увидели, оценили, подивились ей и полюбили ее.

Ясная утренняя звезда на румянном небе касалась своими лучами Психеи, освещая улыбку блаженства на устах зрителей, их глаза, созерцавшие душу, изваянную из мрамора.

Звезда, сияющая в бесконечности, знает, что все земное рассыпается в прах и забывается. Небесное же светит в посмертной памяти, а когда и она угасает, остается живой Психея.

---

## УЛИТКА И РОЗОВЫЙ КУСТ

**В**округ сада живой изгородью рос орешник, а за ней простирались поля и луга, где паслись коровы и овцы. Посреди сада цвел розовый куст, а под ним сидела улитка; она была горда собой, самодостаточна.

— Подождите, придет и мое время! — сказала она. — Я дам миру кое-что поважнее роз и орехов или молока от коров и овец.

— Я очень многого ожидаю от вас, — откликнулся розовый куст. — Позвольте узнать: когда наступит это время?

— Я не спешу, — ответила улитка. — А вот вы все топчитесь! Разве это приблизит ожидаемое?

На следующий год улитка сидела на том же месте, греясь на солнышке под розовым кустом, а он снова был усыпан бутонами; те распускались, и куст цвел все новыми, свежими розами. Улитка наполовину выползла из раковины, вытянула рожки, а потом опять спрятала их.

— Все то же, что и в прошлом году! Никакого прогресса! Розовый куст как был, так и остался со своими розами, на большее он не способен!

Прошло лето, прошла и осень. Розовый куст все был усыпан цветами, пока не выпал снег. Стало сыро, холодно, и розовый куст склонился к земле. Улитка же уползла в землю.

Опять настала весна, вновь зацвели розы, выползла и улитка.

— Вы уже состарились, — сказала она кусту, — пора вам увянуть. Вы дали миру все, что могли дать; а много ли — это вопрос, над которым мне некогда раздумывать. Но ясно, что вы ничего не сделали для своего внутреннего развития, иначе из вас вышло бы что-нибудь другое. Что скажете в свое оправдание? Скоро вы превратитесь в простой хворост! Понимаете, о чем я говорю?

— Вы меня пугаете, — сказал розовый куст. — Я никогда не задумывался об этом.

— Да, вы, пожалуй, даже не потрудились подумать о таких вещах! Вы когда-нибудь пробовали разобраться, отчего вы цветете, как это, собственно, происходит? Почему так, а не иначе?

— Нет! — признался розовый куст. — Я цвел, радуясь, потому что не умел иначе. Солнышко так пригревало, а воздух так освежал меня; япил чистую росу и капли дождя; я дышал, я жил! Из земли во мне поднимались силы, вливались в меня из воздуха, и счастье охватывало меня, всегда новое, всегда огромное. Поэтому я и цвел — в этом была моя жизнь, я не мог жить иначе!

— Жили без забот, что и говорить, — сказала улитка.

— Конечно, мне было дано так много! — ответил розовый куст. — Но вам дано еще больше! Вы глубокомыслящая, высокоодаренная натура, и вы удивите мир.

— У меня и в мыслях этого нет! — сказала улитка. — Дела мира меня не касаются! Какое мне до него дело? Мне довольно самой себя.

— Но разве не наш долг отдать другим лучшее, что в нас есть?! Одарить их чем можем!.. Да, я дал только розы!.. А вы? Вы получили так много, но что же вы дали миру? Какая от вас польза?

— Что я дала? Что я даю? Плевать мне на этот мир! Никуда он не годится! Мне нет до него дела. Дарите ему свои розы, он все равно не переменится! Пусть орешник дает ему

орехи! Пусть коровы и овцы приносят ему молоко! У каждого из них своя публика, а я — сама по себе! Я замыкаюсь в себе и таковой и остаюсь. Дела мира меня не касаются.

И улитка уползла в свою раковину и закрылась там.

— Как это грустно! — сказал розовый куст. — При всем желании я не могу уползти в себя, мне всегда нужно цвести, распускаться. Лепестки роз опадают, их уносит ветром! Но я видел, как одну розу положила в книгу псалмов мать семейства, другую приколола себе на грудь прелестная юная девушка, третью целовали радостно улыбающиеся губки ребенка. Я был счастлив, то было истинным благословением. Вот что я помню, вот в чем моя жизнь!

И розовый куст продолжал цвести во всей своей невинности, а улитка лениво дремала в своей раковине, ей не было дела до остального мира.

Шли годы.

Улитка стала землей в земле, розовый куст стал землей в земле; истлела в книге псалмов и роза воспоминаний... Но в саду цвели новые розовые кусты, в саду появлялись новые улитки; они заползали в свои раковины и плевали на мир, до которого им не было никакого дела.

Не прочитать ли нам эту историю заново? От этого она ничуть не изменится.

---

## «БЛУЖДАЮЩИЕ ОГОНЬКИ В ГОРОДЕ!»

**Ж**ил-был человек. Когда-то знал он много новых сказок, но теперь говорил, что они кончились. Сказка, которая приходила ему в голову сама собой, не приходила больше и не стучалась к нему в дверь. Почему? По правде сказать, этот человек давненько уже не думал о ней, не ждал, когда же она постучится, да ее поблизости и не было, ибо шла война и в стране царили горе и нужда, как всегда бывает во время войны.

Аисты и ласточки вернулись из дальних странствий. Они не думали об опасности, но когда прилетели, то оказалось, что гнезда их сгорели, выгорели начисто вместе с домами людей; вражеские кони топтали древние могилы. Тяжелые, мрачные времена! Но и им пришел конец.

Пришел им конец, а сказка и не думала стучаться в дверь; о ней по-прежнему не было слышно.

— Наверное, и сказка умерла, пришел ей конец, как и многому другому, — сказал сказочник.

Но сказка никогда не умрет!

Миновал год, и сказочник приуныл.

— Неужели сказка больше не придет, не постучится ко мне опять?

И она воскресла в его памяти, как живая, в разных образах, в которых являлась ему. То в образе прекрасной юной девушки,

воплощенной весны; в волосах у нее — веночек из ясенника, в руке она держит букую ветвь; ее глаза сияют, как глубокие лесные озера под лучами солнца. То в образе коробейника, который открывал свой короб, а оттуда вились шелковые ленты со стихами и старинными преданиями. Но милее всего был ему образ бабушки: волосы ее посеребрила седина, а глаза у нее были большие и мудрые. Она умела рассказывать о древних временах, куда древнее тех, когда принцессы пряли золотым веретеном, а драконы и змеи стерегли их под дверью. Рассказывала она так живо, что у слушателей от страха в глазах темнело, а на полу им виделись пятна крови. Страшно было ее слушать, но вместе с тем забавно: ведь все это было давным-давно!

— Неужели она больше не постучится?! — сказал сказочник, глядя на дверь так долго, что в глазах у него потемнело и на полу почудились черные пятна; он и сам не знал, что это — кровь или траурный креп тяжелых, мрачных дней.

Так он и сидел, как вдруг ему пришла мысль: что, если сказка спряталась подобно принцессе из настоящих старых сказок и ждет, когда ее отыщут? Найдут ее, и она засияет новой красотой, станет прекраснее прежнего.

— Кто знает, может быть, она спряталась в брошенной соломинке, что перекачивается на краю колодца? Тише! Тише! Может, она укрылась в засохшем цветке, который вложили в одну из этих толстых книг на полке?

Сказочник подошел к полке и открыл одну из самых новых книг. Но цветок в ней не оказался; книга повествовала о Хольгере Датчанине. И человек узнал из нее, что история эта выдумана и записана одним монахом из Франции, что это роман, который потом напечатали на датском языке; что Хольгера Датчанина и не существовало вовсе, а значит, он никогда не придет нам на помощь, о чем мы поем и чему охотно верим. Выходит, Хольгер Датчанин, как и Вильгельм Тель, лишь рассказы, верить которым нельзя: в книге это доказывалось со всей ученой строгостью.



— Теперь я еще больше укрепился в своей вере! — сказал человек. — Поистине, и подорожник не будет расти там, где нет дороги.

И он закрыл книгу, поставил ее на полку и подошел к живым цветам, стоявшим на подоконнике. Не здесь ли спряталась сказка? Может, она в красном тюльпане с золотистыми краями, или в свежей розе, или в яркой камелии? Но в их лепестках прятался только солнечный свет, а не сказка.

Цветы, стоявшие здесь в скорбное время, были куда красивее, но их срезали все до единого, сплели из них венки и положили в гроб, покрыв его флагом. Может, с теми цветами похоронили и сказку? Но цветы знали бы об этом, гроб и сама земля почувствовали бы это; каждая травинка, проросшая из земли, поведала бы об этом. Нет, сказка никогда не умрет!

Наверное, она приходила сюда, стучалась в дверь, но кто мог ее услышать, кто думал о ней? В то время даже на весеннее солнышко люди смотрели мрачно, угрюмо, их злили щебетание птиц и веселая зелень листвы. Язык тогда не поворачивался пропеть старинные народные песни: их схоронили вместе со многим другим, что было дорого сердцу! Сказка стучалась в дверь, но ее не слышали, не пригласили войти, и она ушла.

Отправляюсь-ка я на ее поиски  
Скорее за город! В лес, на берег моря!

\*

За городом есть старинная барская усадьба; дом — с красными стенами, зубцами на фронте и флагом на башне. Под бахромой буковых деревьев поет соловей, любясь на яблоневые цветы в саду и думая, что перед ним розы. Летом, когда пригревает солнце, здесь трудятся пчелы; они, жужжа, роятся вокруг своей королевы. Осенняя буря рассказывает о дикой охоте, о прошлых поколениях и опавшей листве в лесу. На Рождество поют в море дикие лебеди,

а в самом старом доме горит огонь в изразцовой печке, и приятно сидеть рядом и слушать старые баллады и предания.

Человек, искавший сказку, направился в нижнюю, старую часть сада, куда манил сумрак большой каштановой аллеи. Однажды ветер пел ему здесь о Вальдемаре До и его дочерях. Дриада, обитавшая в дереве — сама сказка, — поведала здесь ему о последнем сне старого дуба. Когда жива была бабушка, здесь росли подстриженные кусты, а теперь — только папоротник да крапива; они разрослись над лежащими тут же обломками старых каменных статуй. Глаза статуй поросли мхом, но видели они не хуже прежнего. Сказочник же так и не нашел сказку. Где она пряталась?

Высоко над его головой и над старыми деревьями кружили стаи ворон и каркали: «Про-рочь! Про-рочь!»

И он ушел из сада, пересек ров, окружавший усадьбу, и оказался в ольховой роще. Там стоял маленький шестиугольный домик, при котором был птичий двор. В домике сидела старуха, смотревшая за курами и утками: она вела счет каждому снесенному яйцу, каждому вылупившемуся цыпленку; но она не была сказкой, которую искал человек, и могла предоставить доказательства: свою метрику и свидетельство о прививке; оба документа хранились в ее комодe.

Неподалеку от домика возвышался холм, поросший боярышником и бобовником; здесь находилось старое надгробие, которое много лет тому назад было привезено сюда с городского кладбища и установлено в память об одном из уважаемых членов магистрата. Каменные фигуры изображали его самого, его жену и пять дочерей, все со сложенными на груди руками и в стоячих воротничках. Если долго созерцать этот памятник, он пробуждал мысли, а те, в свою очередь, вдохновляли камень, и он начинал рассказывать о былых временах. Так по крайней мере было с человеком, который искал сказку. Придя сюда, он увидел на каменном лбу члена магистрата живую бабочку. Она взмахнула крыльшками, полетала немного и снова опустилась

рядом с памятником, словно показывая, что там растет. А рос там четырехлистник, да не один, а целых семь. Уж если удача приходит, то не одна! Сказочник сорвал цветочки и положил их себе в карман. Удача не хуже наличных денег, но лучше всего было бы найти новую хорошую сказку, подумал сказочник, однако ее он там не нашел.

Солнце садилось, большое, красное; луг дымился — это болотная ведьма, болотница, варила пиво.

\*

Смеркалось. Сказочник стоял один в своей комнате и смотрел в окошко на сад, на луг, на болото и морской берег. Ярко светила луна, над лугом стоял такой туман, что тот казался большим озером. По преданию, на месте луга когда-то и было озеро, и теперь оно ожило в лунном свете. Сказочник вспомнил о том, что он прочитал в городе о Вильгельме Телле и Хольгере Датчанине, будто они никогда не существовали. Но в народных поверьях они жили, как и это озеро, призрак старинной легенды. Нет, Хольгер Датчанин вернется вновь.

Сказочник стоял и размышлял об этом, как вдруг что-то сильно стукнуло в окно. Может, это птица? Летучая мышь или сова? Нет уж, им не отворяют, если они стучатся в дом! Но тут окно распахнулось само собой, и в нем появилась старуха.

— Позвольте! — сказал сказочник. — Кто вы? Как вы заглянули в окно второго этажа? Вы что, на лестнице стоите?

— У вас в кармане лежит четырехлистник, — молвила старуха. — И даже целых семь, а один из цветков — шестилистник.

— Кто вы? — спросил человек.

— Болотница! — ответила она. — Ведьма, что варит пиво на болоте. Только я начала варить его, как один из маленьких болотных троллят расшалился, выдернул из бочки затычку да и бросил ее сюда на двор, прямо в окно. Теперь пиво так и бежит из бочки, а это никуда не годится.

— Скажите мне!.. — начал было сказочник.

— Нет, постойте! — прервала его болотница. — У меня сейчас есть дело поважнее!

И она исчезла.

Сказочник собрался закрыть окно, но старуха появилась снова.

— Теперь дело сделано! — сказала она. — Остальную половину пива я могу доварить завтра, если погода позволит. Так о чем вы хотели спросить меня? Я вернулась, потому что всегда держу слово, да к тому же у вас в кармане семь цветов четырехлистника, и один из них — шестилистник! Это внушает уважение, это как орденская колодка; растут они, правда, у дороги, но находит их не каждый. Так что вы хотели спросить? Да не стойте же как столб, мне надо побыстрее вернуться к своей бочке!

И тогда сказочник спросил о сказке, спросил, не встречала ли ее болотница.

— Клянусь своим пивом! — воскликнула старуха. — Разве вы еще не сыты сказками? Думаю, что многие ими давно насытились. Теперь у людей есть, чем заняться, появились дела поважнее. Даже дети и те переросли сказку. Теперь подавайте мальчикам сигары, а девочкам новые кринолины — вот что им больше по вкусу! А то сказки! Нет, есть чем заняться, есть дела поважнее!

— Что вы имеете в виду? — спросил человек. — И что вы знаете о мире? Вы ведь видите только лягушек да блуждающие огоньки на болоте!

— Да, остерегайтесь же этих огоньков! — заявила старуха. — Они на воле! Вырвались! О них-то мы с вами и поговорим! Приходите ко мне на болото, меня там дела ждут. Там я и расскажу вам обо всем. Но торопитесь, пока ваши семь четырехлистников, а из них — один шестилистник, не завяли и луна не зашла!

И болотница исчезла.

\*

Башенные часы пробили двенадцать, и прежде чем они пробили четверть первого, сказочник вышел во двор и, миновав сад, оказался на лугу. Туман улегся, значит, болотная ведьма кончила варить пиво.

— Долго же вы собирались! — сказала она. — Тролли куда проворнее людей, и я рада, что родилась ведьмой.

— Ну, что же вы мне скажете? — поинтересовалась сказочник. — Что-нибудь о сказке?

— А вы ни о чем другом и говорить не можете? — ответила вопросом на вопрос старуха.

— Значит, вы расскажете о поэзии будущего? — спросил сказочник.

— Только не торопитесь! — предупредила болотница. — Тогда я отвечу вам. Вы думаете об одной поэзии, вопрошаете о сказке, словно она госпожа всему миру! А она просто старше других, но вечно считается младшей. Я хорошо ее знаю! И я была молода, а это не то что детская болезнь. Когда-то я была хорошеньким эльфом и танцевала с другими эльфами при лунном свете, внимала пению соловья, бродила по лесу и встречала там девицу-сказку: она всегда скиталась по свету. То она заночует в полураспустившемся тюльпане или в купавке; то проскользнет в церковь и закутается там в траурный креп, ниспадающий с подсвечников в алтаре!

— Вы много знаете! — сказал сказочник.

— А мне положено знать не меньше вашего! — подтвердила болотница. — Сказка и поэзия — они одного поля ягоды, пусть идут себе на все четыре стороны. Все сочинения и речи можно подделать, и выйдет еще лучше, к тому же дешевле. Могу дать их вам задаром. У меня полный шкаф бутылок с поэзией. В них разлита эссенция, лучшее, что есть в самой поэзии; травы, как сладкие, так и горькие. В моих бутылках хранятся все виды поэзии, в которых нуждаются

люди, а по праздникам я лью несколько ароматных капель на носовой платок вместо духов.

— Удивительные вещи вы рассказываете, — поразился сказочник. — Вы храните поэзию в бутылках?

— У меня ее больше, чем вы сможете прочитать! — ответила старуха. — Вы, наверное, знаете историю о девочке, которая наступила на хлеб, чтобы не запачкать новых башмачков? Она и написана, и напечатана.

— Я сам рассказал ее, — ответил сказочник.

— Значит, вы ее знаете, — продолжала старуха. — И вам известно, что девочка провалилась сквозь землю, к болотнице, как раз когда в пивоварне гостила чертова бабушка. Она увидела девочку и выпросила ее себе на память о посещении пивоварни. Чертова прабабушка получила девочку, а мне сделала подарок, совершенно бесполезный: дорожную аптечку, целый шкаф, забитый бутылками с поэзией. Прабабушка сказала, где надо поставить шкаф, там он и стоит до сих пор. Взгляните! У вас ведь в кармане есть семь четырехлистников, и один из них — шестилистник, так что вам можно взглянуть.

И в самом деле, посреди болота лежало что-то вроде большого ольхового пня — то был прабабушкин шкаф. Как сказала ведьма, он был открыт для самой болотницы и для всякого во все времена, кто знал, как добиться цели и твердо шел к ней. Шкаф открывался и спереди, и сзади, и со всех сторон и углов; настоящее произведение искусства, а с виду просто трухлявый ольховый пень! Тут имелась в подделках поэзия всех стран, но больше всего — наша собственная. Вдохновение поэтов было выделено, раскритиковано, обновлено, сконцентрировано и закупорено в бутылки. Благодаря высокому инстинкту, как принято говорить, если не сказать — гениальности, чертова бабушка отыскивала в природе то, что напоминало о том или ином поэте, добавляла к нему капельку чертовщины и таким образом запасалась бутылкой его поэзии на будущее.

— Позвольте мне посмотреть! — попросил сказочник.

— Конечно, но вам надо услышать кое о чем поважнее! — возразила болотница.

— Да ведь мы как раз у шкафа! — сказал сказочник и заглянул внутрь. — Здесь бутылки всех размеров. Что в этой? А в той?

— В этой то, что вы зовете благоуханием мая, — ответила старуха. — Я еще не нюхала содержимое, но знаю, что если пролить из бутылки на пол всего лишь капельку, то сразу же перед вами возникнет прекрасное лесное озеро, поросшее лилиями, сусаками и дикой мятой. Стоит капнуть всего две капельки на старую тетрадку для сочинений, пусть даже ученика младших классов, и она превратится в такую душистую комедию, что хоть сейчас ставь ее на сцене и засыпай под нее, так сильно она благоухает! Вероятно, из уважения ко мне на бутылке написано: «Пиво болотницы».

А вот стоит бутылка со скандальной поэзией. Кажется, что в ней налита одна грязная вода. Так оно и есть, но к воде этой подмешан шипучий порошок из городских сплетен, три доли лжи и два грана истины, размешанные березовым прутом — не из розог, смоченных в рассоле, и не из шпидрутенгов, обрызганных кровью преступника, даже не из пучка школьных розог, — нет, просто-напросто из метлы, которой прочищали сточную канаву.

Вот бутылка с набожной поэзией, в духе псалмов. Каждая капля ее ударяет, словно захлопываются врата ада, и сделана эта поэзия из пота и крови грешников. Поговаривают, что это всего-навсего голубиная желчь; но голубь, как говорят люди, незнакомые с естествознанием, благочестивейшая из птиц, в нем и желчи-то нет.

А вон там стояла бутылка из бутылок! Она занимала добрую половину шкафа: бутылка с обыкновенными историями! Она была перевязана тесьмой из свиной кожи и обтянута мочевым пузырем, чтобы ее содержимое не утратило своей силы. Каждый народ мог добыть из нее свой собственный суп; все зависело от того, как повернуть и встряхнуть бутылку. В ней был и старинный

немецкий кровавый суп с разбойничьими фрикадельками, и жиденький датский супчик, сваренный из настоящих надворных советников вместо корней; на поверхности плавали философские блестки жира. Был там и английский гувернантский суп, и французский Potage a la Coque\*, сваренный из петушиной ноги и воробьиного яйца, по-датски называемый «суп-канкан». Лучшим же из супов был копенгагенский. Так говорят домочадцы.

В бутылке из-под шампанского хранилась трагедия; когда ее открывали, пробка вылетала с хлопком. Комедия же была похожа на мелкий изящный песочек, чтобы бросить его людям в глаза; такова изящная, высокая комедия. Более грубая, низкая была в другой бутылке, но состояла она из одних афиш будущего репертуара, где название пьесы было важнее всего. Там попадались замечательные названия, вроде этих: «А ну-ка, плюнь в морду!», «В харю», «Милая скотина», «Пьяна в дым!».

Сказочник погрузился в свои мысли, но болотница торопилась с рассказом, ей хотелось закончить его.

— Ну, теперь вы насмотрелись на эти богатства! — сказала она. — Знаете теперь, что тут есть. Но самого важного вы еще не узнали. Блуждающие огоньки в городе! Это важнее всякой поэзии и сказки. Нужно бы держать язык за зубами, но это, верно, высшая сила, судьба, нечто, что сильнее меня, и ведь не скажешь, что у меня язык без костей, но так рассказать хочется. Блуждающие огоньки в городе! Вырвались на волю! Берегитесь их, люди!

— Ни слова не понимаю! — изумился сказочник.

— Присядьте, пожалуйста, на шкаф! — сказала болотница. — Только не провалитесь в него и не раздавите бутылки. Вы ведь знаете, что в них. Я расскажу вам о великом событии. Случилось оно не далее как вчера, но происходило и раньше. Длиться ему еще триста шестьдесят четыре дня. Вы ведь знаете, сколько дней в году?

---

\* суп-пюре куриный (франц.).



\*

И болотная ведьма начала свой рассказ:

— Вчера в болоте была большая суета! Праздник в честь новорожденных! Родились двенадцать болотных духов из того помета, что могут по желанию принимать облик людей и действовать среди них, как настоящие сыны человеческие. Это великое событие в болоте, и потому все духи, и мужского, и женского пола, плясали на лугу и болоте, как блуждающие огоньки. О женском поле, впрочем, упоминать не будем. Я сидела на шкафу, держа на коленях все двенадцать огоньков-малюток; они светились, как светлячки, начинали уже прыгать и с каждой минутой становились все больше. Не прошло и четверти часа, как детки стали размером со своих папаш или дядюшек. По древнему закону, когда луна стоит в небе именно так, как вчера, а ветер дует так, как он дул вчера, родившиеся огоньки наделяются способностью принимать человеческий облик, и власть их действует целый год. Такой блуждающий огонек может обежать всю страну, даже весь мир, если только не побоится упасть в море или погаснуть в сильную бурю. Он может также вселиться в человека, говорить за него, заставляя его вести себя по своей воле. Болотный дух может принять любой образ, мужчины или женщины, действовать, точно это они сами, но всецело по своей злой воле, так что все происходит, согласно его желаниям. И за год он должен суметь толкнуть на худую дорожку триста шестьдесят пять человек, отвратить их от истинного пути. Тогда блуждающий огонек удостоивается высшей награды: он получает право бежать перед парадным экипажем черта в огненно-рыжей мантии, изрыгая пламя. Простой блуждающий огонек только облизывается, глядя на это зрелище. Но честолюбивый огонек должен играть свою роль осторожно, ведь его подстерегают опасность и уйма хлопот. Если человек раскроет обман и сумеет задуть огонек — тогда тот угаснет и вернется в свое болото. Если же блуждающий огонек соскучится по

родичам и изменит сам себе, прежде чем истечет год, то он тоже пропал: он не сможет гореть ярко, вскоре потухнет и больше никогда не загорится. Если огонек не успевает до конца года совратить с пути истинного триста шестьдесят пять человек, отучить их от добра, его заключают в трухлявое дерево: пусть лежит себе неподвижно да светит! Нет ужаснее наказания для шустрого блуждающего огонька! Я знала все и рассказала об этом двенадцати крохотным огонькам, которых держала на коленях, а они так и подпрыгивали от радости. Я сказала им, что спокойнее и удобнее всего отказаться от такой чести и ничего не делать, но маленькие огоньки не слушали меня: они уже видели себя в огненно-рыжей мантии изрыгающими пламя!

— Останьтесь дома! — советовали им некоторые из стариков.

— Подурачьте людей! — говорили другие. — Люди осушают наши болота! Что будет с нашими потомками?

— Мы хотим гореть пламенем! — заявили новорожденные огоньки; на том и порешили.

Сразу же устроили минутный бал — короче не бывает! Эльфы сделали по три тура со всеми гостями, чтобы не показаться гордячками; вообще-то они охотнее танцуют одни. Потом крестные начали дарить новорожденным подарки, «бросать камешки» — как это называется. Подарки летели над болотом, словно мелкая галька. Каждая из эльфов преподнесла новорожденным по лоскутку от своего покрывала.

— Возьмите их! — говорили они. — И вы тут же научитесь труднейшим танцам, поворотам и жестам, что пригодится вам в беде. У вас будет правильная осанка, так что вы сможете показаться в самом взыскательном обществе.

Козодой научил крохотных огоньков говорить «Браво! Браво!» — и говорить всегда кстати, а это большое искусство, которое дорогого стоит. Сова и аист тоже кое-что обрели в болото, но сказали, что о такой малости и говорить не стоит, поэтому мы и не упоминаем об этом. Как раз в то время над

болотом проносилась дикая охота короля Вальдемара. Услышав о пире, господа послали в подарок двух отличных собак, которые мчатся быстрее ветра и могут нести на спине целых три блуждающих огонька. Две старухи кошмарихи, промышляющие тем, что пугают людей, садясь им ночью на грудь, тоже были приглашены на пир; они обучили огоньки искусству пролезать в замочную скважину: теперь перед ними были открыты все двери. Они предложили затем отвезти молодые огоньки в город, где знали все ходы и выходы. Обычно кошмарихи летают по воздуху, сидя верхом на собственных длинных волосах; они связывают их узлом, чтобы сидеть надежнее. Теперь же они уселись верхом на диких охотничьих собак, взяв на руки маленькие огоньки, которые отправлялись в мир соблазнять и дурачить людей, — и вот их уже нет!

Все это было вчера ночью. Ныне блуждающие огоньки в городе, ныне они взялись за дело, но как и где, спрашивается? Впрочем, у меня большой палец на ноге чувствителен к погоде, он дает мне знать кое о чем.

— Да это целая сказка! — воскликнул сказочник.

— Нет, только присказка, а сказка впереди! — сказала болотница. — Не могли бы вы рассказать мне, где блуждают огоньки и что они делают, какие личины на себя надевают, чтобы сбить людей с пути?

— Думаю, что об этих огоньках можно написать целый роман в двенадцати частях, по одной о каждом, или даже фарс, — ответил сказочник.

— Так напишите! — предложила старуха. — Или, лучше, оставьте все это.

— Оно, пожалуй, удобнее и приятнее, — согласился сказочник. — По крайней мере не будут трепать в газетах, а это столь тяжело, все равно что блуждающему огоньку лежать в трухлявом дереве, светить да помалкивать.

— А мне все едино! — сказала старуха. — Пускай другие напишут — и те, кто может, и те, кто не может! Я дам

им старую втулку от своей бочки, и она откроет для них шкаф с поэзией, разлитой по бутылкам. Оттуда они почерпнут то, чего у них самих не хватает. Ну, а вы, милый человек, по-моему, довольно попачкали себе пальцы чернилами; ваш почтенный возраст уже не позволит вам каждый год гоняться за сказкой, теперь есть дела поважнее. Вы ведь поняли, что случилось?

— Блуждающие огоньки в городе! — воскликнул сказочник. — Я услышал и все понял! Но что мне, по-вашему, сделать? Меня засмеют, если я скажу людям: «Смотрите, вон идет блуждающий огонек во фраке!..»

— Они ходят и в юбках! — сказала болотница. — Блуждающий огонек может принимать любое обличье и являться повсюду. Ходит он и в церковь, но не ради Господа — надеется вселиться в пастора! Болотный дух произносит речь на выборах, но не ради страны и государства, а ради самого себя. Он мастер красок и театральности, но стоит ему получить власть — и искусству конец! Однако я все болтаю и болтаю, язык у меня так и чешется во вред моим родичам. Верно, быть мне спасительницей людей! Конечно же, не по доброй воле и не ради медали. Ну и глупостей я натворила — рассказала все поэту, а скоро об этом узнают и в городе!

— Городу все равно! — сказал человек. — Никто не встревожится, просто подумают, что я сочиняю сказку, если предупрежу их: «Болотница говорит, что блуждающие огоньки в городе! Берегитесь!»

---

## ВЕТРЯНАЯ МЕЛЬНИЦА

**Н** а пригорке стояла ветряная мельница; была она с виду очень горда.

— И вовсе я не горда! — говорила она. — Я просто весьма просвещенная — и снаружи, и внутри. Солнце и луну я использую для внешнего и внутреннего освещения, а еще у меня есть стеариновые свечи, лампы с ворванью и сальные свечки. Смею заметить поэтому, что я просвещена. Я существо мыслящее и так хорошо сложена, что просто загляденье. В груди у меня отличный жернов, а на голове, прямо под шляпкой, четыре крыла. У птиц-то всего два крыла, и они таскают их на спине! Я родом голландка, это видно по моей внешности; летучая голландка! Это феномен сверхъестественный, я знаю, и все же я самая обычная. Вокруг живота у меня галерея, а в нижней части — жилое помещение; там обитают мои мысли. Главная мысль, которая всем владеет и правит, зовется другими мыслями «хозяином мельницы». Он знает, чего хочет, он стоит выше муки и крупы, но есть у него ровня, и зовут ее «мамочкой». Она сама доброта, не дает себя провести и тоже знает, чего хочет и что умеет. Натура у нее нежная, как дуновение ветерка, но сильная, как ураган. Она осторожна и способна добиться своего. Она определяет мягкость моего нрава, а хозяин — суровость. Оба же они составляют единое целое и называют друг друга «своей поло-

виной». Есть у них и малыши: маленькие мысли, из которых может получиться что-то стоящее. Малыши эти здорово шалят! Недавно я, глубокомысленно рассудив, позволила хозяину и его подмастерью обследовать жернова и колеса в моей груди; мне хотелось узнать, что со мной случилось, ибо внутри творилось что-то неладное, надо же проверить, в чем дело! Так вот, малыши подняли тогда ужасную возню, а это портит репутацию тому, кто стоит высоко на пригорке, как я. Следует помнить, что стоишь на свету: чужое мнение — то же освещение! Но что я собиралась сказать? Да, ужасную возню устроили малышки! Самый младший забрался мне на шляпу и распелся так, что у меня защекотало внутри. Маленькие мысли могут расти, я это почувствовала, а извне приходят другие мысли, мне они чужды. Как далеко я ни смотрю, нигде не вижу себе подобной — я одна такая! Но и в бескрылых домах, где не слышно жерновов, тоже есть мысли; они встречаюся с моими мыслями и обручаются с ними, это у них так называется. Наверное, это удивительно, да, весьма удивительно. Что-то совершилось со мной или во мне; что-то изменилось в самом мельничном механизме, будто хозяин сменил свою половину, взял в жены более мягкую, более ласковую; она такая молодая и кроткая, но стала еще нежнее и ласковее с годами. Вся горечь исчезла без следа, и дело пошло на лад. Дни приходят и уходят, а жизнь идет вперед, ясная, счастливая, и вот, как об этом сказано и написано, наступит день, когда меня не станет, но я появлюсь опять! Я разрушусь, чтобы восстать вновь и стать еще лучше, чем прежде. Я прекращу существовать — и все-таки сохранюсь! Буду другой — и останусь той же самой! Мне трудно постичь это, как я ни просвещена солнцем, луной, стеарином, ворванью и салом! Мои старые бревна и камни восстанут из праха. Надеюсь, что я сохраню и свои старые мысли: хозяина мельницы, его мамочку, всех больших и малых, всю семью, как я их называю, всю компанию мыслей — без них мне

не обойтись! Я останусь сама собой — с жерновами в груди, крыльями на голове, галереей вокруг живота, — иначе мне не узнать себя, да и другие тоже не узнают меня и не скажут больше: «Вот на пригорке стоит наша мельница, с виду гордая, но сама-то она не горда!»

Так говорила мельница; говорила она еще много чего, но это самое важное.

А дни приходили и уходили, и один из них стал для нее последним.

На мельнице вспыхнул пожар. Пламя поднялось, бросилось наружу, внутрь, лизнуло балки и доски, а потом и пожрало их все. Мельница обрушилась, от нее осталась лишь кучка золы. Пожарище какое-то время дымилось, но потом ветер развеял дым.

С людьми на мельнице ничего не случилось, они только выиграли от этого происшествия. Семья мельника — одна душа, много мыслей, как одно целое, — приобрела новую, чудесную мельницу, точь-в-точь как та, прежняя. Люди говорили о ней: «Вон стоит на пригорке мельница, с виду такая гордая!» Но эта была устроена лучше, более современно — ведь все идет вперед. Старые же бревна, источенные червями, трухлявые, рассыпались в прах, стали золой; тело мельницы не восстало, как она думала. Она понимала все в буквальном смысле, но нельзя же все понимать буквально!

---

## СЕРЕБРЯНАЯ МОНЕТКА

**Ж**ила-была монетка; такая сверкающая, она выско-  
чила из монетного двора, подпрыгивая и звеня:  
«Ура! Теперь я погуляю по свету!»  
Так и вышло.

Ребенок держал ее в теплых ручонках, и скряга — холодны-  
ми, липкими пальцами; старики долго вертели монетку,  
не желая расставаться с ней, а молодежь тут же тратила ее.  
Монетка была серебряная, с ничтожной примесью меди,  
и целый год гуляла по свету, вернее, по той стране, где ее от-  
чеканили. Но вот монетка отправилась путешествовать за  
границу. Из всех местных монеток она осталась одна в ко-  
шельке путешественника, а он и не знал об этом, пока она не  
оказалась у него в руках.

— Да ведь это монетка из дома! — сказал он. — Что ж,  
будем путешествовать вместе!

И монетка зазвенела и запрыгала от радости, когда он сно-  
ва положил ее в кошелек. Теперь она лежала вместе со свои-  
ми иностранными товарищами, которые приходили и уходили;  
на их месте появлялись другие, и только отечественная монет-  
ка оставалась там, чем и отличалась от остальных.

Прошло много недель, монетка уже долго путешество-  
вала по свету, только не знала, где она. Соседки ее расска-  
зывали, что они французские и итальянские, и в каком го-



роде они сейчас находятся. Однако наша монетка не могла представить себе этих городов: из кошелька не увидишь мира. А именно так с ней и было. Однажды монетка заметила, что кошелек открыт; тогда она попыталась осторожно выглянуть наружу. Но ей не следовало этого делать, ведь любопытных ждет наказание. Она выскользнула из кошелька в карман брюк, а вечером, когда путешественник вынул кошелек, так и осталась в кармане; вместе с одеждой ее вынесли в коридор, выронили там на пол, и никто этого не заметил.

Утром одежду принесли в комнату, путешественник оделся и уехал, а монетка осталась. Ее нашли и положили рядом с тремя другими монетками, чтобы она вновь послужила людям.

«Как приятно посмотреть на мир! — подумала монетка. — Познакомиться с другими людьми, другими обычаями!»

— Что это за монета? — услышала она вдруг чей-то голос. — Это не наша монета! Она фальшивая! Она никуда не годится!

Здесь-то и начинается история монетки, которую она сама потом рассказывала.

— Фальшивая! Не годится! При этих словах я содрогнулась, — рассказывала монетка. — Я-то знала, что сделана из настоящего серебра, очень звонкая и отличной чеканки. Те люди, должно быть, ошибаются, они не могут так говорить обо мне, но именно так они и говорили! Они называли меня фальшивой, ни на что не годной!

— Надо подсунуть ее кому-нибудь в темноте! — сказал человек, у которого я оказалась. Так он и избавился от меня в потемках, а при свете дня меня снова поносили: «Фальшивая, негодная! Надо избавиться от нее поскорее!»

И монетка всякий раз дрожала в руках того, кто обманом пытался сбить ее, выдавая за местную монету.

Несчастливая я монетка! Не помогут мне теперь ни серебро, ни моя стоимость, ни чеканка! Для мира ты слывешь тем, кем

мир тебя считает! И как страшно, наверное, жить с нечистой совестью, встав на кривую дорожку, если я, ни в чем не повинная, страдаю уже оттого, что у меня обличье преступницы! Всякий раз, когда меня доставали из кошелька, я боялась, что меня начнут рассматривать. Я знала, что меня вернут обратно, швырнут на стол, будто я — сама ложь и обман.

Однажды я попала к бедной женщине: она получила меня в уплату за тяжелую поденную работу, и ей никак не удавалось сбить меня с рук. Никто не желал брать меня, я стала поистине несчастьем для нее.

— Придется мне кого-нибудь обмануть, — сказала она. — Я не так богата, чтобы хранить фальшивую монетку. Расплатись-ка я ею с булочником, он от этого не обеднеет... А все-таки я поступаю нечестно...

— Теперь я еще стану и пятном на совести бедной женщины! — вздохнула монетка. — Неужели я действительно так изменилась с возрастом?

И женщина отправилась к богатому булочнику, но тот отлично разбирался в деньгах. Он не положил меня в кассу, а швырнул прямо в лицо покупательнице. Ей не дали за меня хлеба, а я чувствовала себя просто огорошенной оттого, что меня отчеканили на горе людям, меня, которая в юные годы была такой смелой и уверенной в себе, так верила в свою ценность и отличную чеканку. И я загрустила, как может грустить только бедная монетка, которую никто не хочет брать. Но женщина снова взяла меня к себе домой и, бросив на меня внимательный, мягкий и дружелюбный взгляд, сказала:

— Нет, я не хочу никого обманывать. Я пробью в тебе дырочку — пусть все видят, что ты не настоящая... Пстой-ка, может, ты приносишь счастье? Думаю, ты счастливая монетка. Я пробью в тебе дырочку, продену через нее шнурок и повешу тебя на шею ребенку соседки — ты принесешь ему счастье.

И она пробила во мне дырочку. Конечно, неприятно, когда в тебе пробивают дырку, но если это делается с добрыми

намерениями, то можно вытерпеть многое. В дырочку проделали шнурок, и я стала похожа на медальон. Меня повесили на шею малышу; ребенок улыбался мне, целовал меня, и я всю ночь отдыхала на его теплой, невинной груди.

Утром мать ребенка повертела меня в руках, осмотрела, и я сразу поняла, что она что-то задумала. Достав ножницы, она разрежала шнурок.

— Счастливая монетка! — сказала она. — Надо это проверить!

И она положила меня в укус, так что я вся позеленела. Потом она замазала дырочку, слегка потерла меня и вышла в сумерках, чтобы купить на счастье лотерейный билет.

Как же я расстроилась! Во мне все сжалось, словно я вот-вот тресну. Я знала, что меня опять назовут фальшивой и отшвырнут прочь, и все это совершится на глазах у множества других монет, украшенных надписями и профилями, которыми можно гордиться. Но на этот раз я избежала позора. Покупателей собралось очень много, и продавец лотерейных билетов был так занят, что, не глядя, бросил меня в кассу вместе с другими монетами. Не знаю, выиграл ли мой лотерейный билет, но на следующий же день меня опять признали фальшивой и отложили в сторону, а потом снова принялись обманывать других за мой счет, вечно обманывать... Это невыносимо для честной монетки, а я была именно такой.

Долго переходила я из рук в руки, из дома в дом, и всюду меня ругали, всюду злобно рассматривали меня. Никто мне не верил, и я сама не верила ни себе, ни миру... Тяжелое было время!

Но однажды я попала в руки соплеменнику. Ему, конечно же, всучили меня, а он был доверчив и принял меня за местную монету. Но когда он собрался расплатиться мною, я тут же услышала крики:

— Не годится! Она фальшивая!

— Мне дали ее как настоящую, — сказал путешественник и внимательно взглянул на меня. Вдруг на его лице по-

явилась улыбка, а я так давно уже не видела улыбки у тех, кто смотрел на меня. — Не может быть! — сказал он. — Ведь это монета моей страны, славная, честная монетка из дома, а в ней пробит дырку и называют ее фальшивой! Забавно! Я сохраню тебя и отвезу домой!

Как я обрадовалась! Меня назвали славной, честной монеткой, и я вернусь домой, где все будут признавать меня и верить, что я из настоящего серебра и отличной чеканки. Мне хотелось заискриться от радости, но это не в моей природе: я ведь из серебра, а не из стали.

Меня завернули в тонкую белую бумагу, чтобы я не смешалась с другими монетами и не пропала. И только в праздник, когда к путешественнику пришли его соотечественники, меня показали им и похвалили. Они говорили, что я интересная. Забавно, что можно быть интересной, не вымолвив ни словечка!

И вот я дома! Все мои несчастья позади, ко мне вернулась радость. Я все-таки из настоящего серебра, отличной чеканки, и меня даже не обижает то, что во мне пробита дырка, словно в фальшивой монете. Это не важно, если ты на самом деле не фальшивая! Главное — терпение; рано или поздно справедливость торжествует! Я теперь верю в это! — так закончила монетка свой рассказ.

---

## ЕПИСКОП БЁРГЛУМСКИЙ И ЕГО РОДИЧ

**В**от мы и в Ютландии, севернее Дикого болота; здесь можно услышать, как воет морской прибой, ведь море совсем рядом. Но прямо перед нами высится большой песчаный холм; он виден издалека, и мы еще не доехали до него, медленно продвигаясь вперед по глубокому песку. На холме стоит большое старинное здание: это Бёрглумский монастырь; в его самом большом флигеле до сих пор церковь. Мы доберемся туда лишь поздно вечером, но погода ясная, ночи светлые, так что можно видеть далеко вокруг; с холма открывается вид на поля и болота, на Ольборгский фьорд, на вересковое пустоши и луга, до самого темно-синего моря.

И вот мы на холме, с грохотом катимся между гумном и овином, а потом поворачиваем и въезжаем в ворота старого замка. Вдоль его стен растут липы; они нашли здесь защиту от ветра и непогоды и разрослись так, что почти закрыли все окна.

Мы поднимаемся по каменной винтовой лестнице, проходим по длинным коридорам под балками потолка. Как странно гудит здесь ветер: не знаешь точно — снаружи или внутри... И потом, все эти рассказы... Да, рассказывают всякое и видят всякое, когда сами боятся или хотят напугать других. Говорят, что давно умершие монахи бесшумно скользят мимо нас в церковь, где служат мессу, и пение их доносится сквозь шум ветра.

Душой овладевают странные чувства, задумываешься о старине, да так, что невольно переносишься в былые времена.

\*

О берег разбился корабль; слуги епископа уже на берегу; они не щадят тех, кого пощадило море. Волны смывают алую кровь, струящуюся из проломленных черепов. Выброшенный морем груз принадлежит теперь епископу, а добра тут немало. На берег выкатываются бочки и бочонки поменьше, с дорогим вином. Все идет в монастырские погреба, и без того набитые бочками с пивом и медом. В кухне полным-полно убоины, колбас и окороков; в прудах плавают жирные лещи и лакомые караси. Епископ Бёрглумский — могущественный человек, велики его владения, но ему все мало! Все вокруг должно склониться перед Олуфом Глобом!

В Тю умер его богатый родич. «Родич родичу хуже врага» — справедливость этой пословицы пришлось признать вдове умершего. Муж ее владел всеми землями в этих краях, кроме монастырских; сын находился в чужой стране; еще мальчиком он был послан туда, чтобы познакомиться с местными нравами и обычаями, к чему так лежала его душа; но вот уже несколько лет от него не было вестей. Может, он лежит в могиле и никогда больше не вернется домой, хозяйничать там, где хозяйничает его мать.

— Разве женщине дано смыслить в хозяйстве? — сказал епископ и послал ей вызов на тинг. Но что толку? Ведь она никогда не преступала закона и право на ее стороне.

Епископ Олуф Бёрглумский, что замышляешь ты? Что пишешь на чистом пергаменте? Что запечатываешь печатью и перевязываешь шнуром? Что за тайное послание вручаешь ты всаднику и оруженосцу, с которым они поскачут далеко-далеко, в папскую столицу?

Пришло время листопада, настала осень, время кораблекрушений. И вот дохнула холодом зима.

Дважды приходила она, и на второй раз вернулись долгожданные гонец с оруженосцем. Они привезли из Рима домой папскую буллу с анафемой бедной вдове, осмелившейся оскорбить благочестивого епископа. «Да будет предана анафеме она сама и все, чем она владеет! Она отлучается от Церкви и прихода! Да не протянет ей никто руки помощи; да бегут от нее друзья и родные как от чумы и проказы!»

— Не гнется, так ломаем! — сказал епископ Берглумский.

Все отвернулись от вдовы; но она не отвернулась от Бога, Он был ей защитой и опорой.

Только одна служанка, старая дева, осталась ей верна. Они вместе ходили за плугом, и хлеб уродился, хотя земля была проклята Папой и епископом.

— Ах ты, исчадие ада! Все равно будет по-моему! — сказал епископ Бёрглумский. — С помощью Папы я привлеку тебя к суду!

Тогда вдова впрягла в телегу двух последних волов, которые у нее остались, села на нее со своей служанкой и поехала через пустошь прочь из датской земли; и оказалась она пришельцем в чужой стране, где иной язык, иные быт и нравы; далеко-далеко, где зеленеют склоны гор и зреет виноград. Там путешествуют купцы со своим товаром, они боязливо посматривают со своих нагруженных возов на дорогу, опасаясь нападения разбойников. Но бедные женщины на жалкой телеге, запряженной двумя черными волами, спокойно ехали по опасной дороге, через густые леса. Они очутились во Франции и встретили по пути знатного рыцаря в сопровождении двенадцати оруженосцев. Остановился он, завидев странную повозку, и спросил женщин, куда они едут и из какой страны они сами. Младшая из них назвала датский город Тю и поведала о своей горе. Но тут и конец ее бедам, Господь устроил ее судьбу! Чужеземный рыцарь оказался ее сыном! Он протягивает к ней руки, обнимает ее, и мать плачет от радости! Она не плакала много лет, только кусала себе губы до крови.

Наступила осень, время листопада, время кораблекрушений; море катит бочки с вином на берег, в погреб и на кухню к епископу. Там жарится на вертелах дичь, там тепло, а за дверью так и кусает мороз. Но вот разносится весть: Йенс Глоб из Тю вернулся домой вместе с матерью: Йенс Глоб вызывает епископа на суд Божий и суд людской!

— Это ему не поможет! — сказал епископ. — Лучше не ссорься со мной, рыцарь Йенс!

Снова пришла осень, время листопада, время кораблекрушений, дохнула холодом зима. Зароились белые пчелы, жалят в лицо, пока сами не растают.

«Холодно сегодня!» — говорят люди, побывав на дворе. Йенс Глоб стоит у огня, задумавшись, и прожигает на платье дыру.

— Так вот, епископ Бёрглумский! Я одолею тебя! Папская мантия скрывает тебя от закона, но ты не скроешься от Йенса Глоба!

И он пишет письмо свояку, господину Олуфу Хасе из Саллинга, просит прибыть его в сочельник к заутрене в Видбергскую церковь. Там будет служить епископ, ради этого он приедет из Бёрглума в Тюланд. Йенсу Глобу это известно.

Луга и болота покрыты льдом и снегом, так что по ним можно проехать лошадям со всадниками, целой процессии — то едет епископ с пасторами и слугами. Они скачут кратчайшей дорогой, среди хрупкого тростника; печально шумит в нем ветер.

Труби в свою медную трубу, музыкант в лисьей шубе! Звонко поет труба в ясном, морозном воздухе. Скачут они через пустоши и болота, где в жаркий летний день чудятся сады Фата-Морганы; едут они на юг, к Видбергской церкви.

Ветер дует в свою трубу все сильнее; поднялась буря, она становится все страшнее. Епископ едет к Божьему дому. А дом Божий стоит прочно, как ни свирепствует буря над полями и болотами, над фьордом и морем. Епископ Бёрглумский подъезжает к церкви, а Олуф Хасе вряд ли опередит его, хотя и гонит коня из последних сил. Он спешит со свои-



ми людьми на ту сторону фьорда, чтобы помочь Йенсу Глобу, чтобы вызвать епископа на суд Всевышнего.

Дом Божий — зал суда, алтарь — судейский стол; в тяжелых медных подсвечниках зажигаются свечи. Буря зачитает жалобу и приговор. Свершится суд, разнесется весть о нем по воздуху, над болотами, пустошами, над волнами морскими. Но нет переправы через фьорд в такую непогоду!

Олуф Хасе стоит у Отгесунна; он отпускает там своих людей, дарит им коней и латы, дает им охранные грамоты, чтобы вернуться домой, велит поклониться своей супруге. Один будет он искушать судьбу в бушующих водах, а слуги пусть засвидетельствуют, что не его вина, если Йенс Глоб окажется в Видбергской церкви без подкрепления. Но верные слуги не хотят оставить своего господина и бросаются вслед за ним в глубокие воды. Десятеро из них тонут, но сам Олуф Хасе и еще двое юношей доплывают до противоположного берега; им скакать еще четыре мили.

Прошла полночь, наступило Рождество. Ветер улегся; церковь освещена. Яркий свет льется сквозь окна на луг и пустошь. Заутрени отошла, в Божьем доме тихо; слышно, как капает воск со свечей на каменный пол. И вот появляется Олуф Хасе.

В притворе встречает его Йенс Глоб.

— Здравствуй! Я помирился с епископом!

— Вот как! — говорит Олуф. — Тогда ни ты, ни епископ не выйдете живыми из церкви!

Сверкнул меч из ножен, и Олуф Хасе нанес им удар, да так, что дверь расщепилась; только Енс Глоб успел ее захлопнуть между собой и свояком.

— Постой, дорогой родич, взгляни сначала на это примирение! Я убил епископа и всех его людей. Они больше не скажут ни слова в суде, да и я тоже не стану поминать о том, как несправедливо обошлись с моей матерью!

Свечи в алтаре горят красным пламенем, но еще алее свет разливается по полу. Там лежит в крови епископ с раздроб-

ленным черепом; убиты и все его люди. Тихо, безмолвно там в святую Рождественскую ночь.

Но на третий день после Рождества разнесся печальный вечерний звон из Бёрглумского монастыря. Убитый епископ и его слуги покоятся в церкви под черным балдахином; подсвечники вокруг увиты крепом. В парчовой ризе, с посохом в бессильной руке, лежит покойник, некогда могущественный властитель. Курится ладан, поют монахи. В их пении звучат жалоба, гнев и осуждение; ветер поет вместе с ними и разносит их звуки по всей стране. Ветер утихает на время, но не навеки; он вновь поднимается и поет свои песни, поет их и в наше время, поет здесь, на севере, о епископе Берглумском и его жестоком родиче. Песни слышны в ночной тьме, слышит их робкий крестьянин, едущий по крутой песчаной дороге мимо Берглумского монастыря; внемлет им и не спящий обитатель Берглума из-за толстых стен своих покоев. Вот почему слышен шелест в длинных гулких коридорах, ведущих к церкви, — вход в нее давно замурован, но не для суеверных очей. Им видится открытая дверь: горят свечи в паникадилах, курится ладан, церковь сияет прежним великолепием, монахи отпевают убитого епископа, а он лежит в парчовой ризе, с посохом в бессильной руке; на его бледном гордом челе зияет кровавая рана; она горит, как огонь, что выжигает мирские страсти и дурные желания.

Скройтесь в могиле, скройтесь во мраке забвения, страшные воспоминания былых времен!

\*

Прислушайся к порывам ветра, они заглушают шум моря! Разыгралась буря; многим людям она будет стоить жизни! И в новое время море все неизменно. Этой ночью оно словно всепоглощающая пасть, а завтра, может быть, станет ясным оком, в котором все отразится, как в зеркале. Так было и в старину, которую мы только что схоронили. Спи же спокойно, если уснешь!

Вот и утро.

Новое время светит в комнату вместе с лучами солнца! Ветер еще бушует. Приходит весть о кораблекрушении, как в старые времена.

Ночью возле Лёккена, маленького рыбацкого поселка с красными черепичными крышами — его видно отсюда из окон, — разбился корабль. Он сел на мель, но спасательная ракета перебросила мост между тонущим судном и сушей. Все, кто был на борту, спаслись; они выбрались на берег и нашли себе ночлег. Сегодня их пригласили в Бёрглумский монастырь. В уютных покоях их встретил радушный прием, их приветствуют на родном языке. Звучит клавесин, льются мелодии родного края, и не успевали они замереть, как зазвенела другая струна, безмолвная и все же столь звучная: мысленная весть летит к дому потерпевших крушение, в чужую землю, и родные узнают о спасении. Теперь на душе легко, теперь можно пуститься в пляс, пировать вечером в Бёрглумском замке. Мы будем танцевать вальс, споем песни о Дании и «храбром солдате» нового времени.

Будь же благословенно, новое время! Лети с потоками чистого воздуха, праздной приход лета! Пусть свет твоих лучей проникнет в мысли и сердца людей! На твоём светлом фоне поблекнут мрачные предания суровых, жестоких времен.

---

## В ДЕТСКОЙ

**О**тец и мать ушли с детьми в театр, дома остались только малышка Анна да ее крестный.  
— Мы с тобой тоже устроим спектакль! — сказал крестный. — Прямо сейчас!

— Но ведь у нас нету театра, — возразила малышка Анна, — и актеров нету. Моя старая кукла не годится, слишком неказистая, а новая может помять свое красивое платье.

— Актеры всегда найдутся, коли взять то, что под рукой, — отвечал крестный. — Перво-наперво соорудим театр. Поставим этак вот, наискосок, одну книжку, вторую, третью. И еще три, с другой стороны. Кулисы готовы. Старая коробка — водрузим ее на ребро, доньшком к себе, — будет задником. Сцена представляет комнату, это всякому ясно! Та-ак, теперь актеры. Давай-ка заглянем в ящик с игрушками. Что у нас тут есть? Сперва действующие лица, потом спектакль! Главное — начать, и все будет замечательно! Смотри: головка от курительной трубки да перчатка без пары — чем не отец с дочерью, а?

— Но их только двое! — сказала малышка Анна. — Тут еще старый братишкин жилет лежит. Может, и его возьмем?

— А что, вполне сгодится! — согласился крестный. — Будет женихом. В карманах у него пусто, и это уже прелюбопытно, жених у нас не больно-то удачливый!.. Ба! Гляди, сапожок от щелкунчика, со шпорой! Цок-цок, дзынь, мазур-

ка! Он мастер топать да важничать. Будет нежеланным поклонником, который барышне не по нраву. Какой спектакль сыграем? Трагедию или семейную комедию?

— Семейную комедию! — решила малышка Анна. — Их все любят. Ты знаешь хоть одну такую?

— Я сотни их знаю! Самые популярные — французские, но для маленьких девочек они не годятся. Тем не менее мы вполне можем представить очень миленькую вещицу, ведь, по сути, все семейные комедии похожи одна на другую. Итак, приступим! Фокус-покус, изменитесь, в обличье новом нам явитесь! Готово! Теперь слушай афишку. — Крестный взял газету и сделал вид, будто читает:

«ТРУБКОГЛАВ И УМНАЯ ГОЛОВА»

*Семейная комедия в одном акте*

**Действующие лица:**

*г-н ТРУБКОГЛАВ, отец.*

*БАРЫШНЯ ПЕРЧАТКА, дочь.*

*г-н ЖИЛЕТ, жених.*

*г-н ФОН САПОГ, поклонник.*

Начнем! Занавес поднимается. У нас его нет, он как бы уже поднят. Все персонажи на сцене, вот они. Сейчас я стану говорить за отца, господина Трубкаглава. Он нынче не в духе, так и пышет гневом: «Чушь! Вздор! Ересь! Я — хозяин в своем доме! И отец своей дочери! И пусть все слышат, что я скажу! Фон Сапог — блестящий кавалер, сафьяновый, со шпорой — дзынь-дзынь! Он и получит мою дочь в жены!»

Теперь смотри на Жилет, малышка Анна! — сказал крестный. — Его черед говорить. У него отложной воротничок, он весьма скромн, однако цену себе знает и вправе сказать то, что говорит: «Я безупречен! Добротность тоже штука важная. Ведь я из натурального шелка и вдобавок с позументом».

«Вас хватит разве что до свадьбы! Попадете в стирку, и вам конец! — Это Трубкаглав говорит. — Фон Сапог во-

ды не боится, кожей крепок, а при том куда как хорош собою, умеет скрипеть, звенеть шпорой и с виду чистый итальянец».

— Пусть они говорят стихами! — сказала малышка Анна. — Вот будет замечательно!

— Им это легче легкого! — воскликнул крестный. — Раз публика требует, будут стихи... Глянь-ка на барышню Перчатку, вон как она тянет пальчики:

Ах, лучше уж навсегда  
Остаться мне без жениха!  
О да!

Мне не выдержать, боюсь!  
От тоски я разорвусь!

Ересь, глупость, ерунда!

Это уже был отец, Трубкаглав. Теперь слово за Жилетом:

Перчатка, прочь тоску и грусть!  
Как рыцарь датский я клянусь:  
Будь хоть испанских ты кровей,  
Судьба велит тебе женою стать моей!

Фон Сапог яростно топает, звенит шпорой и опрокидывает три кулисы.

— Ой, как замечательно! — воскликнула малышка Анна.

— Тише, тише! — сказал крестный. — Безмолвное одобрение свидетельствует, что ты воспитанная публика из партера. Барышня Перчатка сейчас исполнит свою главную арию:

Больше сказать ничего не могу,  
Лишь крикну по-птичьи: кукареку!

А теперь, малышка Анна, самое захватывающее, самое важное во всей пьесе! Смотри, Жилет расстегивается, свои реплики он тебе прямо-таки швыряет, чтобы ты ловила их, хлопая в ладоши, но ты не хлопай, так будет благовоспитаннее! Слы-

пишь, как шуршит шелк: «Все, дальше некуда! Поберегитесь! Уж я для вас устрою бенефис! На Трубкаглава поумнее голова найдется! Раз-два — и нету вас!» Ты видела, милая Анна? Отличная сцена, отличный поворот в действии! — сказал крестный. — Господин Жилет схватил старика Трубкаглава и сунул в карман. Он лежит себе там, а Жилет говорит: «Вы у меня в кармане, в самой глубине! Оттуда вам не выйти, пока не обещаете отдать мне вашу дочь, Перчатку Левую! Я буду справа!»

— Ой, как замечательно! — воскликнула малышка Анна.

— А старик Трубкаглав отвечает:

В голове у меня кавардак!  
Раньше было совсем не так.  
Куда девалась бодрость духа?  
Мне очень не хватает полого чубука.  
Ах, доселе никогда  
Так не кружилась голова!

О, вынь Трубкаглава  
Вон из кармана!  
Я дочку милую мою  
Тебе в жены отдаю!

— Это все? Конец? — спросила малышка Анна.

— Боже упаси! — воскликнул крестный. — Все кончилось только для господина Сапога. Влюбленные становятся на колени, барышня поет: «Отец, отец мой!» А Жилет подхватывает:

Из кармана выходи,  
Детей своих благослови!

Они получают благословение, играют свадьбу, а мебель хором поет:

Кник-кнак, тили-бим,  
Всех мы вас благодарим!  
Спектакль окончен!

— Теперь можно и похлопать! — сказал крестный. — Вызовем всех на сцену, и мебель тоже! Она как-никак из красного дерева.

— По-твоему, наша комедия не хуже той, которую представляют сейчас в настоящем театре?

— Наша намного лучше! — отвечал крестный. — Она короче и показана на дому, даром, а теперь аккурат пора попить чайку!



---

## СОКРОВИЩЕ

**О**днажды жена барабанщика, войдя в церковь, увидела новый алтарь с писанными маслом образами и резными ангелами. Ах, какие они были красивые — и те, что в славе своей изображены красками на холсте, и те, что вырезаны из дерева, раскрашены и вызолочены. Волосы их сияли, как золото и солнечный свет, — глаз не оторвешь. Но Господень солнечный свет все ж таки краше, сияет чище и багрянее меж темных деревьев, когда солнце клонится к закату. Чудесно — смотреть в лицо Господа! И жена барабанщика смотрела на багряное солнце, а думала при этом о ребенке, которого принесет аист, и так радовалась, что все смотрела, смотрела, от души желая, чтобы ребенку досталась толика этого блеска, чтобы он хоть чуточку походил на одного из сияющих ангелов с алтарного убранства.

Когда же она в самом деле, взяв сынишку на руки, подняла его к отцу, младенец впрямь предстал будто ангел из церкви: волосы как червонное золото, в них словно сиял багрец закатного солнца.

— Мое сокровище, мое золотце, моё солнышко! — воскликнула мать, целуя блестящие кудри, и горница у барабанщика словно звенела музыкой и песнями — счастьем, жизнью, весельем. На радостях барабанщик выбил палочками ураганную дробь. Барабан так и грянул, громко, весело:

— Рыжий! Мальчонка рыжий! Верь барабану, а не материным словам! Трам-та-та-там, трам-та-та-там!

И городок повторял, что твердил барабан.

\*

Потом мальчика принесли в церковь, крестили. Имя он получил самое обыкновенное, Петером его нарекли. Весь городок, и барабан в том числе, звал его Петер, рыжий барабанщиков Петер, только мать, целуя его рыжие волосы, говорила: «Мое сокровище».

В овраге, на глинистом откосе подле дороги, многие выцарапывали на память свои имена.

— Известность никогда не мешает! — сказал барабанщик и тоже нацарапал там имена, свое и маленького сына.

Прилетели ласточки, в долгих странствиях им доводилось видеть куда более длинные надписи, высеченные в камне на стене индийского храма. Они гласили о великих подвигах могущественных царей, о бессмертных именах, таких древних, что ныне никто не умел ни прочесть их, ни произнести.

Имя! Слава!

Ласточки — они были из породы земляных — принялись строить в овраге гнезда: рыли в склоне норки. Дожди и морось размывали, стирали написанные там имена, в том числе имена барабанщика и его сынишки.

— Петерово все ж таки полтора года было целехонько! — сказал барабанщик.

«Дурачина!» — подумал барабан, но вслух сказал только:

— Бум-дум-дом! Дуболом!

А мальчонка, рыжий барабанщиков сынок, рос жизнерадостным да веселым. И голос у него был красивый, он умел петь и распевал как пташка в лесу — вроде бы мелодия, а вроде бы и нет.

— Надобно ему стать певчим! — говорила мать. — Петь в церковном хоре, стоять под прелестными золочеными ангелами, на которых он так похож!

— Хорек рыжий! — насмеялись городские остроловы. Барабан слышал это от сплетницы-соседки.

— Не ходи домой, Петер! — кричали уличные мальчишки. — Ляжешь спать на чердаке, мигом верхний этаж займется, а барабан забьет тревогу: пожар! пожар!

— Берегитесь барабанных палочек! — отвечал Петер.

И хоть был он маленький, смело пошел на обидчиков и двинул ближайшему кулаком прямо в живот, так что у того подкосились ноги, а остальные кинулись врассыпную.

Городской музыкант был человек тонкий, благородный, как-никак сын королевского буфетчика. Петер ему нравился, он приводил мальчика к себе домой и часами учил играть на скрипке. Мальчик усваивал науку с легкостью, словно в пору ему стать больше чем барабанщиком — городским музыкантом.

— Я буду солдатом! — говорил Петер, ведь он был еще совсем маленький и думал, что на свете нет ничего лучше, как носить ружье, знай себе маршировать — Ать-два! Ать-два! — да красоваться в мундире с саблей.

— Тогда учись слушаться барабана! Трам-та-та-там! Трам-трам! — сказал барабан.

— Н-да, вот бы ему выйти в генералы! — сказал отец. — Но для этого нужна война.

— Боже нас упаси от нее! — испугалась мать.

— Нам-то терять нечего! — возразил отец.

— А сынок? Мой сынок!

— Так ведь он вернется домой генералом!

— Без рук, без ног! — воскликнула мать. — Нет, я хочу сохранить мое сокровище целым-невредимым!

«Трам-та-та-там!» — грянул отцовский барабан, а с ним и все другие барабаны. Началась война. Солдаты выступили в поход, и барабанщиков сынок тоже.

— Золотце! Сокровище мое! — Мать плакала, отец мысленно видел сынка «знаменитым», а городской музыкант полагал, что на войне мальчугану делать нечего, лучше б дома остался, при музыке.

\*

«Рыжая голова!» — говорили солдаты, и Петер смеялся, но если кто говорил «Лисья шкура!», он сжимал зубы и отворачивался, на это обидное прозвище не откликался.

Мальчонка был шустрый, толковый. Храбрец, весельчак, а это для солдата важней всего, говорили старые вояки.

В дождь и морось, вымокший до нитки, он не раз ночь напролет стоял в дозоре под открытым небом, но никогда не унывал, не падал духом, барабанные палочки выстукивали: «Трам-та-та-том! Всем подъем!» Поистине он был прирожденный барабанщик!

Настал день сражения, солнце еще не поднялось, но уже рассвело, воздух был холодный, битва — жаркая. Все вокруг тонуло во мгле тумана и порохового дыма. Пули и гранаты так и свистели, разили головы и тела, однако ж солдаты шли вперед. То один, то другой падал на колени, с окровавленным виском, лицом белый как мел. Маленький барабанщик пока был жив-здоров, он весело следил за полковым псом, который скакал перед ним, искренне радуясь, словно все это была забава, словно пули свистели кругом, только чтобы с ним поиграть.

«Марш! Вперед! Марш!» — вот какой приказ отдавал барабан, и отменить этот приказ было невозможно, хотя нет, все-таки возможно, и даже весьма разумно. В конце концов действительно пришла команда: «Назад! Отходим!» Но маленький барабанщик грянул: «Вперед! Марш!» Он понял приказ именно так, и солдаты повиновались барабану. Отличная дробь, призыв к победе для тех, кто собирался отступить.

Битва шла не на жизнь, а на смерть. Гранаты рвут тело в кровавые клочья, поджигают кучу соломы, где схоронился раненый, чтобы одиноким, покинутым лежать там долгие часы, покинутым, быть может, навсегда в этой жизни. Что толку так думать?! А люди все равно думают, даже далеко от поля сражения, в мирном городке. Думали об этом и барабанщик с женою, ведь их Петер был на войне.

— Ох как надоело мне их нытьё! — ворчал старый отцовский барабан.

Был день сражения, солнце еще не поднялось, но уже рассвело. Барабанщик и жена его спали, заснули они только под утро, почти всю ночь говорили о сыне, ведь мальчуган был на войне — «в руке Божией». И отцу привиделось во сне, что война кончилась, солдаты вернулись домой и у Петера на груди блистал Серебряный крест; а матери снилось, будто она вошла в церковь, глянула на живописные образа, на резных ангелов с вызолоченными волосами и увидела меж ангелов своего любимого сыночка, свое сокровище. Он был в белых одеждах и пел так чудесно, как поют одни только ангелы, и вместе с ними вознесся ввысь в солнечном сиянье, ласково кивая матери.

— Мое сокровище! Мое золотце! — воскликнула она и тотчас проснулась. — Господь забрал его к себе! — Она молитвенно сплела руки, устремила взгляд на ситцевый кроватный полог и заплакала. — Где он лежит? Вместе с многими другими, в огромной могиле, что вырыта для погибших? А может, упокоился в глубокой топи? И никто не ведает, где его могила! Никто не прочел над ним слово Божие! — И мать произнесла про себя «Отче наш», поникла головою и от изнеможения впала в забытьё.

Дни бегут что наяву, что во сне!

Близился вечер, радуга мостом перекинулась над полем сражения — от опушки леса до глубокой топи. В народе истари существует поверье: в том месте, где радуга касается земли, зарыт клад, золотое сокровище. Вот и здесь тоже. Никто не думал о маленьком барабанщике, кроме родной матери, оттого и приснился ей такой сон.

А дни бегут, что наяву, что во сне!

Ни единого волоска не упало с его головы, ни единого золотого волоска. «Трам-та-ра-ром, трам-та-ра-ром, вот и он! Вот и он!» — наверняка сказал бы старый барабан или пропела мать, увидавши это наяву или во сне.

С песнями, с криками «ура!», в знак победы украсив штывы зеленью, шли солдаты домой — война кончилась, заключен мир. Полковой пес бежал впереди, широкими кругами, словно хотел втрое удлинить себе дорогу.

Шли недели, бежали дни, и вот Петер вошел в родительскую горницу, загорелый, ровно дикарь, ясноглазый, сияющий, будто солнышко. И мать заключила его в объятия, осыпала поцелуями губы, глаза, рыжие волосы. Сыночек вновь был с нею. Серебряного креста, который отец видел во сне, мальчик не сподобился, зато остался цел-невредим, что матери и не снилось. Как же они радовались — и смеялись, и плакали. А Петер обнял старый отцовский барабан:

— Ты по-прежнему здесь, дружище!

И отец выбил на нем ураганную дробь.

— Тут словно большущий пожар! — сказал барабан. — В горнице огонь, в сердцах огонь! Золотце-це-це-це-це!

\*

А потом? Что было потом? Давайте-ка спросим у городского музыканта.

— Петер вовсе превзошел барабан, скоро и меня превзойдет! — говорил музыкант, а ведь он как-никак был сыном королевского буфетчика, однако ж то, чему он выучился за всю свою жизнь, Петер усвоил за полгода.

Парнишка прямо весь лучился — смелостью, душевной добротой. Глаза сияли под стать волосам, правда-правда.

— Надо бы ему покрасить волосы, — посоветовала соседка. — Вон дочка полицейского покрасила, и мигом жених нашелся.

— Так волосы-то у ней сразу после помолвки позеленели, ровно ряска в пруду, приходится их все время перекрашивать!

— На это у нее денег хватает! — сказала соседка. — И у Петера хватит. Он вхож в дома самых важных персон, даже к бургомистру, учит барышню Лотту играть на фортепианах.

Да, играть он умел! Дивной красоты мелодии, еще не записанные в нотных листах, словно изливались из самого его сердца. Играл он и светлыми ночами, и темными. Мочи нет терпеть! — твердили соседи и старый пожарный барабан.

Петер играл, и помыслы его устремлялись ввысь, вскипали планами на будущее: известность! слава!

А бургомистрова Лотта сидела за фортепиано, тонкие ее пальчики танцевали по клавишам, и звуки эхом откликались у Петера в сердце, теснили грудь, и было так не однажды, а несчетно раз, и вот в один прекрасный день он схватил тонкие пальчики, схватил изящную ручку, поцеловал ее и заглянул девушке в большие карие глаза. Господь ведает, что он сказал, нам же позволено лишь догадываться. Лотта зарделась, даже плечи и шея вспыхнули как маков цвет, но не сказала ни слова, — в этот миг в комнату вошел гость, сынок статского советника; лоб у этого юноши был высокий, чистый, с большими зальсынами. И Петер долго сидел вместе с ними, а Лотта ласково смотрела на него.

Вечером, вернувшись домой, он говорил о большом мире и о сокровище, каким была для него скрипка.

Известность! Слава!

— Шум-гам-тарарам! — сказал отцовский барабан. — С Петером-то впрямь беда! Вроде как пожар в доме, сдается мне.

На другой день мать пошла на рыночную площадь, а вернувшись, сообщила:

— Новость-то какая, Петер! Замечательная новость! Бургомистрова Лотта обручилась вчера вечером с сынком статского советника!

— Не может быть! — воскликнул Петер, вскочив со стула.

Но мать сказала, что это правда, она узнала новость от жены цирюльника, а цирюльник — от самого бургомистра.

Петер побледнел как смерть и снова опустился на стул.

— Боже милостивый, тебе плохо, сынок? — всполошилась мать.

— Нет-нет, все хорошо! Только оставь меня в покое! — отвечал он, и слезы покатались у него по щекам.

— Сынок! Сокровище мое! — Мать тоже заплакала, а барабан пропел, но не вслух, а про себя:

«С Лоттой конец! С Лоттой конец!» Кончилась песня, допета!»

\*

Но песня не кончилась, в ней было еще много строф, длинных, дивно прекрасных, — сокровище целой жизни.

— Ишь, как она пыжится да цену себе набивает! — говорила соседка. — Все, видите ли, должны читать письма, которые она получает от своего сокровища, слушать, что пишут в газетах про него и про его скрипку. Деньги парнишка шлет, это верно, и они ей нужны, вдова ведь как-никак.

— Он играет императорам и королям! — говорил городской музыкант. — Мне такого не выпало, однако ж он мой ученик и не забывает своего старого учителя.

— Отец когда-то видел во сне, — говорила мать, — что Петер вернулся после войны с Серебряным крестом на мундире. На войне ему креста не досталось, там это ох как непросто. Зато теперь у него Рыцарский крест. Жаль, отец не дожил!

— Прославился он! — сказал старый барабан, и весь городок с ним согласился: сын барабанщика, рыжий Петер, который ребенком бегал в деревянных башмаках, был барабанщиком и играл на танцах, — Петер прославился!

— Сперва он играл для нас, а уж потом стал играть для королей! — объявила бургомистрова жена. — А по Лотте в ту пору как вздыхал! Всегда высоко метил! Но тогда это была невероятная дерзость! Муж мой очень смеялся, когда услышал про этот вздор! А теперь Лотта статская советница!

Бесценное сокровище было заложено в сердце и душе бедного мальчугана, который маленьким барабанщиком подал победный сигнал «марш! вперед!» тем, что собирались



отступить. Бесценное сокровище было заключено в его груди — безбрежный океан звуков. Бурным потоком лились они из скрипки, словно в ней прятался целый орган, словно по струнам плясали все эльфы летней ночи. В напевах слышались трели дрозда и полновзвучный голос человека, оттого-то и откликались они восторгом в других сердцах и всюду славили имя сына барабанщика. Да, это было как огромный пожар, пожар упоительного восторга.

— Он ведь такой красивый! — говорили молодые дамы, и старые дамы согласно кивали, а самая старая завела альбом для локонов знаменитостей, затем только, чтоб выпросить прядку из роскошной гривы молодого скрипача, памятку, сокровище.

И вот сын вошел в бедную горницу барабанщика, красивый, как принц, счастливый больше, чем король. Глаза ясные, лицо сияет. Он обнял мать, и она расцеловала его горячие губы и расплакалась, но были это сладкие слезы счастья. А сын кивнул каждой вещи в комнате — столу, стульям, комоду с чайными чашками и цветочными вазами, кивнул откидной лавке, на которой спал ребенком, старый же барабан поставил посреди горницы и сказал ему и матери:

— Отец наверняка захотел бы, чтобы нынче я выбил ураганную дробь! Так я и сделаю!

И барабан грянул поистине как гром и был так польщен, что тугая кожа не выдержала, разорвалась.

— Вот это удар так удар! — вскричал старый барабан. — Памятка мне от него на веки веков! От этакой радости за свое сокровище сердце у матери тоже, поди, может разорваться!

\*

Вот и вся история про сокровище.

---

## КАК БУРЯ ПЕРЕВЕСИЛА ВЫВЕСКИ

**Д**авным-давно, когда дедушка был маленьким мальчиком и носил красные брючки, красную курточку, широкий кушак да картуз с пером — в ту пору маленьких мальчиков наряжали именно так, — многое было по-другому, не как в наше время. На улицах частенько устраивали пышные празднества, нынче-то ничего подобного не увидишь, отменили, по причине их старомодности. Но слушать дедушкины рассказы очень весело.

Наверняка ведь занятно было смотреть, что творилось на улицах в тот раз, когда цех башмачников переезжал на новое место и переносил свою вывеску. Шелковое цеховое знамя с изображением сапога и двуглавого орла реяло на ветру; младшие подмастерья несли заздравный кубок и ларец с цеховыми регалиями, а на рукавах у них развевались красные и белые ленты; старшие подмастерья шагали с клинками наголо, нацепив на острия лимоны. Играла музыка, и самым замечательным из всех инструментов был бунчук (дедушка называл его «птица») — длинный шест с полумесяцем на верхушке, к которому подвешивали всевозможные звенящие штуковины. Настоящая турецкая музыка! Этот шест то скидывали вверх, то опускали, то наклоняли в разные стороны — звон, лязг, от блеска золота, серебра и меди слепило глаза!

Впереди шествия бежал арлекин в костюме из ярких разноцветных лоскутков, лицо вымазано сажей, на голове шапка с бубенцами, как на хомуте у лошади, запряженной в санки. Арлекин охаживал зевак своим шутовским жезлом, лупил вроде бы с размаху, но небольно, а народ все равно шарахался от него, передние напирали на задних, задние — на передних, так что толкотня была несусветная. Мальчишки и девочки спотыкались о собственные ноги и плюхались прямоком в сточную канаву, старые кумушки орудовали локтями, ворчали и бранились. Смех и гомон вокруг. Люди стояли на лестницах, высовывались из окон, иные даже на крыши залезали. Светило солнышко, временами и дождик накрапывал, да только крестьянам дождь нипочем, наоборот, пускай хоть до нитки промочит — для пашен-то сущая благодать!

Да, рассказывать дедушка был мастер! Ведь в детстве, маленьким мальчиком, он своими глазами видел этот чудесный праздник. Старший из цеховых подмастерьев взобрался на подмости, которые сколотили, чтоб повесить вывеску, и произнес речь, причем в стихах, сочиненных специально по этому случаю. Сочинителей было трое, и, чтобы стихи получились настоящие, они сперва осушили целую чашу пунша. Выслушав речь, народ грянул громкое «ура!», но куда больше восторженных «ура!» досталось арлекину, когда тот влез на подмости и принялся передразнивать стихоплета. Народ так и покатывался со смеху над его ужимками, а он попивал из водочных стопок мед и швырял эти стопки в толпу, а люди на лету их ловили. У дедушки сохранилась такая стопочка, один штукатур поймал ее и отдал ему. Да, праздник удался на славу! И вывеска, украшенная цветами и зелеными ветками, водворилась на новом месте.

Такой праздник запоминается на всю жизнь, говорил дедушка, и в самом деле он не забыл его, хотя позднее видел множество других пышных торжеств, о которых тоже рассказывал. Но самым занятным и веселым был все-таки рассказ про вывески большого города.

Ребенком дедушка ездил туда вместе с родителями и тогда-то впервые увидел самый большой город страны. Улицы кишмя кишели народом, и он было решил, что и здесь не иначе как собираются переносить вывески — несметное число разрисованных вывесок, они бы заполнили сотни комнат, если б их вешали не снаружи, а внутри домов. На портновских вывесках какого только платья не увидишь — в таких нарядах даже плюгавый человечико станет красавцем; на вывесках у табачников — прелестные мальчуганы с сигарами, будто бы курят взаправду. А сколько еще всякого понарисовано — сливочное масло и маринованная селедка, пасторские брыжи и гробы, — вдобавок письменные объявления и афиши. Хоть целый день ходи по улицам да любуйся в свое удовольствие, кстати и узнаешь, что за люди тут проживают, как-никак они сами развесили свои вывески. Ведь очень интересно и поучительно знать, кто живет в большом городе, говорил дедушка.

И вот поди ж ты — история с вывесками приключилась, аккуратно когда дедушка приехал в город. Он сам про это рассказывал, причем без обману, хоть мама и твердила, что он большой охотник поморочить мне голову. Нет, на сей раз он говорил чистую правду.

Дедушка только-только приехал в большой город, и в первую же ночь разыгралась ужасная буря — этакое ненастья ни в газетах никогда не описывали, ни старики не помнили. Черепица градом летела с крыш, ветхие дощатые заборы так и валялись, а одна тачка взяла да и покатила сама собой по улице — спастись-то надо. Все кругом ревет, завывает, грохочет — буря и впрямь была несусветная. Вода в каналах вышла из берегов, не знала, куда ей деваться. Ветер бушевал над городом, ломал печные трубы, не один гордый старинный церковный шпиль по неволе согнулся да с тех пор так и не распрявился.

Перед домом славного старого брандмейстера, который всегда являлся на пожар последним, стояла караульная сто-

рожка. Буря, понятно, не могла не напакостить брандмейстеру, сорвала сторожку с места и понесла прочь, но, как ни странно, вскоре аккуратненько поставила ее перед домом бедного плотницкого подмастерья, того самого, что на последнем пожаре спас троих людей. Правда, сторожка ни о чем таком ведать не ведала.

Вывеска цирюльника — большой латунный таз — очутилась в окне у советника юстиции. Прямо как нарочно, говорили потом соседи, ведь поголовно все они, в том числе ближайšie подруги, звали советникову жену Бритвой. Уж такая она была умница-разумница и про людей знала куда больше, чем они сами.

А вот вывеску с нарисованной вяленой треской буря повесила прямиком над дверью газетного издателя. Тут она пошутила не слишком удачно, не понимала, что с газетчиком шутить не стоит, в своей газете он царь и бог и признаёт лишь собственные суждения.

Флюгер-петушок перелетел на крышу дома напротив да там и остался — не иначе как назло, твердили соседи.

Бондарева бочка украсила собою модную лавку с дамскими нарядами.

Меню в тяжелой раме, что висело у дверей трактира, буря водрузила над подъездом театра, куда зрители давно забыли дорогу. Презанятная получилась «афиша»: «Хреновый суп и фаршированная капуста», — и народ валом повалил в театр.

Лисья шкурка, верой-правдой служившая скорняку вместо вывески, прицепилась к колокольчику на двери весьма неказистого молодого человека, который исправно ходил к ранней обедне, стремился к истине и, по словам его тетушки, мог быть примером для каждого.

Доска с надписью «Высшее учебное заведение» перекочевала на бильярдный клуб, само же учебное заведение получило другую вывеску: «Здесь детей приучают к бутылочке», а это ничуть не забавно, только невежливо. Однако ж буря что хочет, то и делает, ей никто не указ!

Да, ночка выдалась сумасшедшая, а к утру — можете себе представить? — почти все вывески в городе перекочевали на новое место, причем кое-где буря сотворила такое безобразие, что дедушка даже говорить о нем не хотел. Правда, он посмеивался в усы, я видел, верно, и впрямь много чего помнил.

Злополучных горожан, а особенно приезжих впору было пожалеть: никак им не удавалось попасть в нужное место, и не мудрено, коли они руководствовались вывесками. Идет человек, к примеру, на серьезное собрание солидных людей обсуждать вопросы первостепенной важности, а попадает в школу к мальчишкам, которые норовят перекричать друг друга и чуть что по столам не скачут.

Некоторые не сумели добраться до церкви и до театра — вот уж беда так беда!

В наши дни подобных бурь не бывало ни разу, одному лишь дедушке довелось повидать такое, да и то в детстве. Может, новая буря и приключится, только не на нашем веку, а при наших внуках-правнуках, и, паче чаяния, пока буря перевешивает вывески, они будут сидеть дома.

---

# ЧАЙНИК

**Ж**ил на свете чайник, и уж так он важничал, так гордился своим фарфором, и длинным носиком, и широкой ручкой! Еще бы, не у каждого есть такой носик и такая ручка, и он без конца ими бахвалился, но вот о крышке своей помалкивал, она была разбита и склеена, имела изъян, а о собственных изъянах никто говорить не любит, для этого другие охотники найдутся. Чашки, сливочник, сахарница да и вообще весь чайный сервиз так и норовят вспомнить подпорченную крышку и посудачить о ней, ни добротная ручка, ни отличный носик их не занимают, и чайник давно это уразумел.

«Знаю я их! — говорил он себе. — И изъян свой тоже знаю и вовсе от него не отпираюсь, смиренно и кротко несу свой крест. Изъянами никто не обойден, но и достоинства тоже имеются. У чашек есть ручка, у сахарницы — крышка, у меня же — и ручка, и крышка, и кое-что еще, чего у них никогда не будет! Носик — вот что у меня есть! Он делает меня королем чайного стола. Сахарнице и сливочнику назначено быть слугами приятного вкуса, тогда как я — даритель, владыка, я дарую жаждущему человечеству благодать. У меня внутри китайские листья преобразуются, соединившись с кипящей, безвкусной водой».

Все это чайник говорил во дни своей дерзкой юности. Он стоял посреди накрытого стола, и прелестнейшая рука подняла его,

да вот беда — рука эта оказалась неловкой, уронила чайник! Носик отбился, ручка тоже, о крышке даже говорить не стоит, ее и без того достаточно обсуждали. Чайник без памяти лежал на полу, изливаясь кипятком. Тяжкий удар настиг его, но хуже всего было, что смеялись над ним, а не над неловкой рукою.

«Никогда я этого не забуду! — говорил впоследствии чайник, когда рассказывал сам себе про свою жизнь. — Меня назвали калекой, сунули в угол, а на другой день отдали побирушке, которая выпрашивала хоть капельку топленого сала. Так я очутился в нищете, стоял молча, недвижно, однако ж так-то и началась моя новая, лучшая жизнь. Был одним, стал другим. Меня наполнили землей — для чайника это все равно что быть похороненным, — но в землю посадили цветочную луковицу. Кто ее посадил и откуда она взялась, я не знаю; так или иначе ее даровали мне взамен китайских листьев и кипятка взамен отбитой ручки и носика. Луковица лежала в земле, внутри меня, стала моим сердцем, живым сердцем, какого я прежде никогда не имел. Во мне была жизнь, сила, мощно бился пульс, луковица пустила ростки, мысли и чувства так и распирала ее и в конце концов цветком вырвались на волю. Я видел этот цветок, я взрастил его, себя забыл от этакой красоты, а ведь это и есть счастье — забыть себя ради других! Цветок не сказал мне спасибо и не думал обо мне — его осыпали похвалами и восторгами. Я очень радовался, а уж он-то сам, поди, еще больше! И однажды я услышал, как люди сказали, что цветок заслуживает горшка получше. Меня разбили надвое, больно было ужас как, зато цветок водворился в горшке получше, ну а меня выбросили во двор, тут я и лежу старым черепком, но с воспоминаниями, которых никто не отнимет!»



---

# ПТИЦА НАРОДНЫХ ПЕСЕН

ЛИРИЧЕСКИЙ ЭТЮД

**З**има. Земля укрыта снегами, словно одета белым горным мрамором; небо высокое, чистое; ветер колючий, острый, как меч, выкованный подземными карликами; деревья похожи на белые кораллы, на миндаль в цвету; воздух свежий, бодрящий, как на альпийских вершинах. Прекрасна и ночь с игрою северного сияния и мириадами мерцающих звезд.

Налетают бури, собираются тучи, сыплют лебяжьим пухом; вьюжные вихри мчат хлопья снега, заметают овраги и дома, широкие поля и тесные улицы. Но мы сидим в уютной комнате, у жарко натопленной изразцовой печи, и кто-нибудь рассказывает о стародавних временах. Мы слушаем предание...

У самого моря высился могильный курган, и в полуночный час являлся на его вершине призрак погребенного героя — древнего короля. На лбу у него сиял золотой венец, волосы развевались на ветру, доспехи блистали железом и сталью. Печально склонив голову, он сидел и горестно вздыхал, словно истерзанный тяжелой мукой.

Однажды проплывал мимо корабль. Моряки бросили якорь и сошли на берег. Поэт-скальд, который был среди них, подошел к венценосному призраку и спросил:

— Отчего ты печален? Что гложет тебя?

— Никто не воспел мои дела, они свершились и канули в безвестность. Молва о них не разнеслась в песнях по свету, не достигла людских сердец, оттого-то и не нахожу я ни покая, ни роздыху.

И поведал он о своих делах и великих подвигах, известных его современникам, но не воспетых, ибо не было тогда скальдов.

А старый песнопевец ударил по струнам арфы и запел о герое — о мужестве его юности, о силе зрелости, о величии добрых деяний. Мертвец просветлел лицом, точно облако, напоенное лунными лучами. В блеске и славе, ликующий и прекрасный вознесся призрак ввысь — и пропал, как сполох северного сияния. Остался только зеленый курган да камни, пустые, без надписей, без рун, а в вышине, в последних отзвуках арфы, словно ими и рожденная, порхала малая птичка, дивная певунья, чьи трели звонки, как посвист дрозда, преисполнены чувства, как сердце человека, как голос родины, внятный перелетным птицам. И полетела птичка над горами и долами, над полями и лесами, а была это бессмертная птица народных песен.

Мы слышим ее песню, слышим в своей комнате, сейчас, зимним вечером, когда за окном роятся снежные пчелы и свирепствует буря. Птица поет нам не только о подвигах героя, сладостно и нежно поет она о любви и верности на суровом Севере, и таких песен великое множество; напевами и словами рассказывает она о приключениях, ей, птице народных песен, подвластны и слово, и музыка, все, что рунами заложено под язык мертвеца, обретает голос, и внемлющий узнает свою родину.

В далекие времена язычников-викингов гнездом ей служила арфа песнопевца-барда. А в эпоху рыцарских замков, когда железный кулак владел весами правосудия, когда сила была единственным законом, а крестьянин имел не больше прав, чем собака, — где в ту пору находила убежище птица-песня? Жестокость и ничтожество о ней не помышляли. В башенной комнате, где жена владельца замка склонялась над пергамен-

том, записывала песни и предания, сидели на лавке то старушка из крытой дерном хибарки, то странствующий торговец-коробейник и вели рассказ, — вот там-то, у них над головою, порхала, щебетала и пела птица, которая не умрет, пока есть для нее на земле хоть малый приют. Птица народных песен.

Сейчас она поет для нас. За окном ночь и выюга; а птица кладет руны нам под язык, и мы узнаём свою родину. В напевах птицы народных песен Господь говорит с нами на родном нашем языке, оживает память о давних временах, поблекшие краски свежают, сказания и песни, как благотворный напиток, возвышают дух и мысли, и вечер оборачивается праздником Рождества. Кружат снежные вихри, потрескивает лед, буря правит бал, сила за нею, она — владыка, но не над нами.

Зима, ветер колючий, резкий, как меч, выкованный подземными карликами, кружат снежные вихри. Метель бушует, кажется, уже много дней и недель, весь город словно огромная снежная гора, — тяжкий сон зимней ночи. Все погребено, все исчезло, лишь золотой церковный крест, символ веры, поднимается над снежным курганом и блещет в синеве небес, на ярком солнце.

А над заснеженным городом летят небесные птицы, большие и малые, пищат, щебечут, поют как умеют, каждая на свой лад.

Перво-наперво является стая воробьев, они чирикают о всяких мелочах на улицах и в переулках, в гнездах и домах, им ведомы истории, что случались на крыльце и на задворках. «Мы знаем этот город, погребенный под снегом! — твердят они. — Тамошние жители сплошь сумасшедшие! Чив-чив!»

Черные вороны и вороны летят над белыми снегами. «Курган! Могильный курган! — кричат они. — Там внизу есть еще чем поживиться, есть добыча, вот что главное! Этак считает большинство там внизу, и это здор-рово, здор-рово!»

Дикие лебеди летят, шумя крылами, поют о прекрасном и великом, что возрастает еще в человеческих помыслах и сердцах там, в погребенном под снегом городе.

Это не смерть, жизнь кипит по-прежнему, мы слышим ее в звуках, что льются словно бы из церковного органа, завораживают нас подобно музыке из волшебного холма, подобно песням Оссиана, подобно шуму крыльев валькирий. Какая гармония! Она берет нас за душу, возвышает наши помыслы — мы слышим птицу народных песен! И вот сейчас, в этот миг, теплое дыхание Господа веет с высоты, по снежному холму бегут трещины, солнечные лучи проникают внутрь. Приходит весна, прилетают птицы, новые, другие птицы с теми же сокровенными песнями. Внемлите великой песне года: и владычество снежной бури, и тяжкий сон зимней ночи — все исчезает, все растворяется в дивных напевах бессмертной птицы народных песен.

---

## ЗЕЛЕННЫЕ МАЛЯВОЧКИ

**В** горшке на подоконнике рос пышный розовый куст, совсем недавно он был такой свежий, а теперь выглядел больным, занемог. На нем поселились квартиранты, которые грызли его плоть, хотя в остальном эти квартиранты в зеленых мундирах производили вполне благоприличное впечатление.

Я побеседовал с одним, от роду ему было всего три дня, но он уже успел стать прадедушкой. Знаешь, что он сказал? При том ведь ни словечка не соврал, чистую правду поведал о себе и обо всех прочих квартирантах.

— Мы — самая удивительная рать среди земных существ. В теплую пору у нас рождается живое потомство, погода-то стоит расчудесная, мы тотчас находим себе пару и сочетаемся браком. Когда же становится холодно, мы откладываем яички, обеспечиваем своим детишкам добрую защиту. Муравей, мудрейшее, скажу я вам, существо, которое мы очень уважаем, изучает нас и ценит. Он не сразу нас поедает, нет, он берет наши яички, переносит к себе в муравейник, на самый глубокий этаж, и умело, по порядку укладывает там, бочок к бочку, слой за слоем, так что каждый день может вылупиться новорожденный! Потом они переводят нас в стойло, защемляют задние ножки, доят нас, пока мы не померем, — ужас как приятно! Зовут они нас очень ласково:

«Сладкие дойные коровки!» Так нас зовут все, кто умом под стать муравьям, только люди — и нам это очень больно, впопору всю сладость потерять (может, напишете про это, призовете людей к порядку!), — только люди смотрят на нас как-то нехорошо, недобрый взглядом, потому что мы-де грызем розовый листик, а сами-то пожирают все живое, всякий зеленый росток! Нас они награждают мерзким, пренебрежительным именем, я даже повторить его не могу, брр, от злости все внутри переворачивается! Не могу я его повторить, мундир не позволяет, а с мундиром я не расстаюсь.

Родился я на листочке розового куста; и я, и вся наша рать живем этим кустом, а он продолжает свою жизнь в нас, ведь мы-то как существа куда повыше его! Люди терпеть нас не могут, убивают мыльной водой — ох и пакостное пойло! Я вроде бы чую его запах. Тому, кто не рожден для мытья, купанье в мыльной воде хуже всякой пытки!

Человек! Ты смотришь на меня суровыми мыльными глазами, а не мешало бы тебе задуматься о нашем месте в природе, о нашей удивительной способности то откладывать яйца, то рождать живое потомство! Нам заповедано: «Плодитесь и размножайтесь и распространяйтесь по земле!» Мы рождаемся в розах и умираем в розах, вся наша жизнь — поэзия. Не клейми нас именем, которое полагаешь самым что ни на есть мерзостным и гадким, — я его не произнесу, не повторю! Зови нас дойными коровами муравьев, ратью розового куста, зелеными малявочками!

И я, человек, стоял, глядя на куст и на зеленых малявочек, чье имя мне произносить нельзя, иначе квартиранты розового куста, вся их рать вкупе с яичками и живым потомством, обидятся. Мыльный раствор, который для них заготовил, — я вправду пришел с мыльным раствором и злым умыслом, — я теперь взобью в пышную пену, стану пускать мыльные пузыри и любоваться их красотой — вдруг они расскажут свою сказку?

Пузырь вышел на славу — большущий, разноцветный, весь в радужных переливах, а внизу, на доньшке, вроде как серебряная бусинка. Покачиваясь, он висел в воздухе, потом полетел, наткнулся на дверь и лопнул, а дверь распахнулась — на пороге стояла Матушка Сказочница собственной персоной.

— Вот она куда лучше меня расскажет про этих... имя я называть не стану... про зеленых малявочек.

— Про тлю, про листовую тлю! — громко и решительно сказала Матушка Сказочница. — Всякую вещь надо называть своим именем, а коли при всех боязно, то уж в сказке-то непременно расхрабришься.

---

## ДОМОВОЙ И ХОЗЯЙКА

**Д**омовой тебе знаком, а вот знакома ли хозяйка, садовникова жена? Она была особа начитанная, знала на память уйму стихов да и сама с легкостью их сочиняла, только рифмы, или «благозвучия», как она их называла, порой давались ей не без труда. Одаренная способностями к писательству и красноречию, она вполне могла бы стать если не пастором, то, по крайней мере, пасторской женой.

— Земля прелестна в праздничном уборе! — произнесла садовница, а поскольку во фразе чувствовались и стиль, и «благозвучие», она стала строчкою стихотворения, очень красивого и длинного.

Семинарист, г-н Киссеруп (фамилия его для нас никакого значения не имеет), доводился садовниковой жене племянником и как раз гостил у них. Стихотворение хозяйки очень ему понравилось, прямо-таки за душу взяло.

— У вас талант, сударыня! — воскликнул он.

— Вздор! — сказал садовник. — Не забивай ей голову всякой чепухой! В женщине главное — тело, вальяжное тело, а еще ей должно следить за горшками, чтоб каша не пригорала!

— Ну пригар-то я мигом ототру углем! — сказала садовница. — А досаду твою усмирю поцелуем. Можно подумать, у тебя самого на уме лишь капуста да картошка, а ведь ты любишь цветы! — И она поцеловала мужа. — Цветы — твой талант!



— Следи за горшками! — буркнул садовник и вышел в сад, который был его кухней и требовал присмотра.

Семинарист же остался в доме, беседуя с хозяйкой. По поводу фразы «Земля прелестна» он чуть не целую проповедь произнес, на свой лад.

— Земля прелестна, обладайте ею, так нам было заповедано, и мы стали владыками. Один владычествует благодаря духу, благодаря таланту, другой — благодаря телу, благодаря плоти. Один явился в мир как восклицательный знак удивления, другой — как этакое тире, невольное вызывающее вопрос: зачем оно здесь? Один становится епископом, другой — всего лишь бедным семинаристом, но во всем кроется своя мудрость. Земля прелестна, и она всегда в праздничном уборе! Ваше стихотворение, сударыня, наводит на раздумья, в нем столько чувства и любви к географии!

— У вас поистине талант! — воскликнула садовница. — Поверьте, большой талант! Беседуя с вами, лучше понимаешь самое себя.

Они продолжали разговор, столь же изысканный, сколь и приятный. Однако на кухне тоже кое-кто держал речь — домовый, маленький серый гном в красном колпачке, ты отлично его знаешь! Он, стало быть, сидел на кухне, приглядывал за горшками и держал речь, только никто его не слышал, кроме черной кошки, которая, по словам хозяйки, любила тайком полакомиться сливками.

Домовой был на хозяйку в обиде, потому что знал: она не верит в его существование. Конечно, она никогда его не видела, но ведь при этаконной начитанности не худо бы и уразуметь, что он существует, и выказать хоть чуточку внимания. Ей даже в голову не приходило в Сочельник выставить ему угощение, ложечку каши, какую получали все его предки, притом от хозяек, которые начитанностью не отличались, зато щедро сдабривали кашу маслом и сливками. Услышав об этом, кошка облизнулась, у нее прямо слюнки потекли.

— Она называет меня понятием! — воскликнул домовой. — Уму непостижимо! Она не признает меня! Я много раз это слышал, нынче вот тоже слышу: сидит шушукается с этим зубрилкой-семинаристом. Я совершенно согласен с хозяином: пусть следит за горшками! Да ей недосуг следить-то, а ну-ка, пособим каше убежать!

Домовой дунул в очаг, пламя ярко вспыхнуло, каша забурлила — буль-буль-буль! — и убежала.

— А теперь пойду продырявлю хозяину носки, — сказал домовой. — Проверчу большие дыры на пальцах и на пятке — пускай она берется за штопку, коли не приспичит ей кропать вирши! Служительница муз, носки заштопай мужу!

Тут кошка чихнула, она была простужена, хотя постоянно носила меховую шубку.

— Я открыл дверь в кладовку, — сказал ей домовой. — Там стоят кипяченые сливки, густые, словно молочная каша. Хочешь полакомиться? Если нет, я сам угощусь.

— Раз уж вина и колотушки все равно достанутся мне, — отозвалась кошка, — я тоже отведаю сливочек!

— Сперва сластушки, потом колотушки! — сказал домовой. — А я наведуясь в комнату семинариста, повешу его подтяжки на зеркало, носки же отправлю в умывальный таз! Он наверняка решит, что пунш был чересчур забористый и он здорово захмелел. Сегодня ночью я сидел на поленнице возле собачьей конуры — люблю подразнить цепного пса! Сидел, стало быть, и болтал ногами, а пес, как ни старался, не мог меня достать! Ох и злился он, прямо надсаживался от лая, а я сидел себе да болтал ногами — любо-дорого смотреть! Семинарист проснулся от шума, три раза вставал и выглядывал наружу, но меня не видал, хотя был в очках, он ведь и спит в них.

— Мяукни, если хозяйка придет! — попросила кошка. — Я слышу плохо, неможется мне сегодня.

— Тебе точно нужны сливки! — сказал домовой. — Поешь сливок — и всю хворь как рукой снимет! Только

умойся как следует, чтоб ни капли на мордочке не осталось! А я пойду послушаю.

Домовой подкрался к приоткрытой двери в комнату, где сидели хозяйка и семинарист. Они беседовали о том, чему семинарист дал весьма красивое название и что превыше всех кухонных горшков и сковородок, — о дарованиях.

— Господин Киссеруп, — сказала хозяйка, — коли уж речь зашла о дарованиях, я покажу вам нечто такое, чего никогда еще не показывала ни одной живой душе, тем более мужчине, — собрание моих коротких стихотворений, частью, правда, довольно длинных. Я назвала его «Стихи добропорядочной жены». Очень мне по душе наши исконные слова!

— Совершенно с вами согласен! — воскликнул семинарист. — Чужое, иноземное, в особенности немецкое, надобно в языке истреблять!

— Я так и делаю! — отвечала хозяйка. — Вы никогда не услышите от меня таких слов, как «бульон» или «филей». Я говорю «навар» и «вырезка».

И она достала из ящичка тетрадь в светло-зеленом переплете, с двумя чернильными кляксами.

— Книга глубоко серьезная! — сказала она. — Я вообще необычайно склонна к печали. Вот, например, «Вздых в ночи», «Моя заря вечерняя» и «Клемменсу», то есть моему мужу, его можно пропустить, хотя в нем много чувства и размышлений. «Обязанности хозяйки дома» — лучшее из стихотворений. Они все очень печальные, но такой уж у меня характер. Здесь только одно шутовское стихотворение, парочка веселых мыслей, которые порой всякого навещают! Вы только не смейтесь, я размышляю о том, что значит быть сочинительницей стихов. Ведь это известно лишь мне да ящичку стола, ну а теперь и вам, господин Киссеруп! Обожаю поэзию, она захватывает меня, дразнит, покоряет, властвует мною. Об этом я написала в стихотворении «Малютка-домовой». Вам ведь знакомо давнее крестьянское поверье, что в каждом доме живет домовая и устраивает всевоз-

можные проказы. И вот я представила себе, будто я сама — дом, а поэзия, чувства во мне — властвующий там дух, домовый, его-то силу и величие я и воспела в «Малютке-домовом». Но вы должны пообещать, что никогда словом не обмолвитесь об этом ни моему мужу, ни кому-либо другому. Читайте вслух, чтобы я убедилась, что вам понятен мой почерк.

Семинарист начал читать, а хозяйка слушала, и домовый тоже слушал, ты же знаешь, он притаился за дверью как раз в тот миг, когда г-н Киссеруп прочел заголовок: «Малютка домовый».

— Это же обо мне! — воскликнул домовый. — Интересно, что она там понаписала? Ну, несдобровать ей: щипков на нее не пожалею, цыплят и яйца буду таскать, теленку не дам жирок нагулять! Берегись, хозяйка!

И он стал слушать, наострил уши и даже рот открыл. Но когда услышал о силе и величии домового, о его власти над хозяйкой — она-то имела в виду поэзию, ты знаешь, однако домовый понимал все буквально, согласно заголовку. Рот у него расплылся в широкой улыбке, глаза заблестели от радости, в чертах словно бы проступило благородство, он поднялся на цыпочки, стал на целый дюйм выше прежнего — в такой восторг его привели стихи про малютку-домового.

— Хозяйка у нас страсть какая ученая и талантливая! Я был к ней очень несправедлив! Она вставила меня в свой стих, его напечатают и прочтут! Отныне сливок кошке не видать, я сам буду их пить. Один выпьет меньше, чем двое, все ж таки экономия, а я непременно стану экономить, из уважения к хозяйке.

— Сколько же в нем человеческого! — сказала старая кошка. — Стоит хозяйке разок ласково про него мяукнуть, и он тотчас готов переметнуться на ее сторону! Ох она и хитра, хозяйка-то наша!

Но хозяйку в хитрости не упрекнешь, просто домовый был, в точности как человек.

Коли тебе эта история непонятна, спроси — только не домового и не хозяйку.

---

## ПЕЙТЕР, ПЕТЕР И ПЕР

**П**росто невероятно, сколько всего знают нынешние дети! Не сразу и сообразишь, чего они не знают. В стародавнюю историю о том, что аист достал их, совсем крошечных, из колодца или там из мельничной заводи и отнес к отцу с матерью, они не верят, хотя все в ней чистая правда.

Но каким же образом младенцы попадают в мельничную заводь или в колодец? Тут сведущих немного, но все-таки они есть. Коли случалось тебе ясной звездной ночью смотреть на небо, ты наверняка видел падучие звезды, что стремительно проносились по небосклону и исчезали из глаз. Самый ученый человек не способен объяснить то, что ему неизвестно, а вот если знаешь, объяснение непременно найдется. С виду кажется, будто елочная свечка упала и погасла, по правде же это душа, искра Божия, летит на землю, но когда она попадает в плотный, густой воздух, блеск ее меркнет, и наш взгляд перестает ее различать, она ведь куда тоньше воздуха. Небесное дитя послано к нам, ангелочек, только без крыльев — ему предназначено стать человеком! Оно плавно снижается, и ветер опускает его в цветок — ночную фиалку, одуванчик, розу или гвоздику; там оно лежит себе и размышляет. Легонькое, невесомое, оно даже для мухи и для пчелы не груз; они по очереди навевываются в цветы за сладким

соком и если натыкаются там на воздушное дитя, то не выпихивают его, не смеют, а бережно кладут на солнышко, на лист водяной лилии, оттуда-то оно и сползает в воду, где спит и растет, пока аист не приметит его и не отнесет к людям, которым хочется обзавестись прелестным малышом. Впрочем, прелестным он будет или нет, зависит от того, пил ли младенец из чистого источника или в горлышко ему попали тина да ряска, весьма способствующие приземленности. Аист без разбору берет первого, кто попадет ему на глаза. Одного относит в хороший дом к превосходным родителям, другого — к людям суровым, без гроша за душою, так что лучше бы ему остаться в заводи.

Младенцы совершенно не помнят, о чем грезили под листом водяной лилии, где вечерами лягушки пели им: «Ква-ква! Ква-ква!» — что на людском языке означает: «Баю-бай, баю-бай, спи спокойно, засыпай!» Не помнят они и в каком цветке сперва очутились, какой у него был запах, и все же, когда они становятся взрослыми, что-то подсказывает каждому: «Этот цветок нравится мне больше всех!» — а цветок как раз тот самый, в какой он опустился, слетев с небес.

Аист живет долго и постоянно справляется, как там дела у младенцев, которых он принес, и как они себя ведут; он хотя и не может ничего для них сделать, не может изменить их обстоятельства — ему надо и о собственной семье заботиться, — однако ж всегда о них помнит.

Я знаком с одним старым, весьма почтенным аистом, он прекрасно в этом разбирается, потому что доставил к родителям множество младенцев и знает их историю, в которой непременно есть чуток тины да ряски из мельничной заводи. Я попросил его коротенько рассказать о жизни какого-нибудь из них, а в ответ он сказал, что вместо одного рассказа я услышу целых три, о ребятишках Пейтерсенов.

Пейтерсены — очень симпатичная семья; муж был одним из тридцати двух городских советников, а звание это куда

как почетно, он жил ради города, всего себя отдавал работе. И вот аист принес в эту семью младенца, которого назвали Пейтером. Через год аист прилетел снова с младенцем, которому дали имя Петер, а когда принес третьего, того нарекли Пером, ведь все три имени — Пейтер, Петер и Пер — заключены в фамилии Пейтерсен.

Итак, три брата, три падучие звездочки, сначала побывали каждый в своем цветке, потом под листом водяной лилии в мельничной заводи, а оттуда аист отнес их к Пейтерсенам, чей дом, как ты знаешь, стоит вон там, на углу.

Все трое росли телом и помыслами, и хотелось им стать кем-нибудь еще поважнее городских советников.

Пейтер объявил, что пойдет в разбойники. Он видел на театре комедию «Фра-Дьяволо» и решил, что разбойничий промысел — самое замечательное дело на свете.

Петер хотел стать музыкантом-трещоточником, а Пер — он был мальчик славный, послушный, пухленький и упитанный, одно плохо: ногти грыз, — Пер говорил, что будет как отец. Так каждый и отвечал, когда их спрашивали, кем они хотят быть.

И вот они пошли в школу. Один учился превосходно, другой — из рук вон плохо, третий — середка на половинку. Все равно они мальчики хорошие и умные, говорили родители, много повидавшие на своем веку, и были правы.

Все трое ходили на детские праздники, курили сигары, когда их никто не видел, набирались знаний и умений.

Пейтер с малолетства отличался строптивостью, как и положено разбойнику, — сущий неслух, иначе не скажешь. Все дело в том, что у него глисты, говорила мать; непослушные ребятишки всегда страдают глистами — тина в животе. И однажды Пейтерово упрямство и строптивость нанесли урон маменькину новому шелковому платью.

— Не толкай кофейный столик, лапонька! — сказала мать. — Не дай Бог, сливочник опрокинешь и новое платье мне зальешь!

А «лапонька» мигом схватил сливочник и вылил его прямо матери на колени. Она же только головой покачала.

— Ах, лапонька, какой ты неосторожный!

Однако настойчивости мальчику не занимать, подумала она. Настойчивость — свидетельство характера, а матери это обещает так много!

Он вполне бы мог стать разбойником, но не стал им в полном смысле слова, только выглядел как разбойник: мятая шляпа, длинные растрепанные волосы. Надумал он заделаться художником и перво-наперво завел артистический костюм, в котором очень походил на мальву, и все люди, которых он рисовал, тоже походили на мальвы — такие они были высокие да рослые. Очень ему нравился этот цветок, он ведь поначалу и обрелся в мальве, сказал аист.

Петеру выпал цветок лютика, блестящий, маслянисто-желтый, веселый. И у Петера уголки губ все время кривились в усмешке, а желтоватая кожа лоснилась — кажется, уколи его в щеку, и потечет масло. Он словно бы родился, чтобы торговать маслом и служить самому себе вывеской, но в глубине души был трещоточником, музыкантом; в семействе Пейтерсен он являл собою музыкальную часть, но, по мнению соседей, его одного хватало с лихвой! За одну неделю Петер сочинил семнадцать полек и составил из них целую оперу с трубами и трещотками — получилось превосходно!

Пер был весь бело-розовый, маленький и обыкновенный, ему ведь досталась маргаритка. Когда другие мальчишки кидались на него с кулаками, он сдачи не давал, говорил, что он тут самый благоразумный, а самый благоразумный всегда уступает. Сперва Пер собирал грифели, потом печатки и мало-помалу обзавелся небольшой естественнонаучной коллекцией, где имелись скелет колюшки, три заспиртованных слепых крысенка и чучело крота. Мальчик интересовался науками и понимал природу, что и родителей радовало, и самого Пера. Он охотней ходил в лес, чем в школу, предпочитал дисциплине



естественность. Братья его уже обручились, а он по-прежнему с увлечением пополнял свое собрание яиц водоплавающей птицы. И о животных знал куда больше, чем о людях, уверяя, что нам никак не сравниться с животными в том, что мы ставим превыше всего, — в любви. Рассказывал, что, когда самочка высиживает птенцов, соловей-отец всю ночь напролет сидит возле гнезда и поет ей песни: «Кви-вит! Фьюйть-фьюйть! Зинь-зинь!» Сам Пер никогда бы так не смог, никогда бы не пошел на этикие жертвы! Когда аистиха сидела с птенцами в гнезде, аист всю ночь на одной ноге стоял на коньке крыши — Пер-то и часу бы не выдержал. А в один прекрасный день, рассматривая паучьи тенета и пойманную в них живность, он совсем отказался от женитьбы. Паук плетет сети, чтобы ловить опрометчивых мух, молодых и старых, упитанных и высохших, он живет ради того, чтобы плести сети и кормить семью, а вот паучиха — суцая тунейдка, сидит у него на шее, и все тут. Вдобавок еще и съедает его, исключительно от любви, съедает сердце, и голову, и живот, только длинные тонкие ноги остаются в паутине, где он сидел в заботах о пропитании всей семьи. Такова чистая правда, прямиком из естественной истории. Пер видел это своими глазами и много размышлял. «Экая кровожадная любовь, коли жена съедает мужа. Нет, человек так далеко не заходит, да и стоит ли?»

Пер решил не жениться! Даже не целовать никого и не принимать поцелуев, ведь это первый шаг к браку. Но один поцелуй ему все ж таки достался, как и любому из нас, — крепкий, звонкий поцелуй смерти. Когда срок нашей жизни кончается, смерть получает приказ: «Поцелуй и заberi!» — и нет человека. Господь посылает солнечный взблеск, до того яркий, что у человека чернеет в глазах; душа, пришедшая в мир падучей звездой, снова оборачивается звездочкой, но не затем, чтоб почивать в цветке или грезить под листом водяной лилии, у нее есть дела поважнее, она летит в огромную Страну вечности, а какова эта страна и как там обстоит,

никому не ведомо. Никто туда не заглядывал, даже аисту не довелось, хотя он многое видит и многое знает. О Пере ему ничего больше неизвестно, не то что о Пейтере и Петере, однако ты тоже знаешь о них достаточно. Я поблагодарил аиста за рассказ, так он теперь требует за эту маленькую будничную историю трех лягушек да ужонка, взимает плату натурой! Хочешь заплатить? Я-то не стану. Нет у меня ни лягушек, ни ужонка.

---

## СОКРЫТО — НЕ ЗАБЫТО

**Д**авным-давно был на свете старый замок с заросшим ряской рвом и подъемным мостом, который редко когда опускали: не все гости приходят с добрыми намерениями. Под свесом кровли были устроены бойницы, чтобы стрелять и лить кипяток да расплавленный свинец на врага, коли тот подступит к стенам. Потолок внутри был накатный, высокий, и хорошо, что так, ведь камин, в котором горели большущие сырые поленья, сильно дымил. По стенам висели портреты закованных в броню мужей и горделивых дам в тяжелых платьях; самая статная из них жила сейчас хозяйкою в этом замке, и звалась она Метта Могенс.

И вот однажды под вечер явились разбойники, убили троих ее людей и цепного пса в придачу, госпожу Метту приковали цепью к собачьей конуре, а сами расселись в зале — пили вино из ее погребов и доброе пиво.

Госпожа Метта стояла прикованная цепью, и даже лаять ей было не дано.

Тут подошел к ней молодой разбойник, тихонько подкрался, тайком от других, иначе бы не сносить ему головы.

— Госпожа Метта Могенс! — сказал он. — Помнишь ли, как при твоём муже пытали моего отца на деревянной кобыле, ты просила за него, но тщетно, досталось ему терпеть пытку, пока не станет он калекой. А ты украдкой пришла, вот

как я теперь, своими руками подложила ему под ноги камешек, чтобы мог он найти роздых. Никто этого не видел, хотя, может, и видел, но представлялся, будто не видит. Ты была молода и добра душой! Так рассказывал мне отец, и я сохранил его рассказ, как говорится, сокрыл в памяти, но не забыл. И пришел освободить тебя, госпожа Метта Могенс!

Взяли они на конюшне лошадей, поскакали прочь, в дождь и ветер, за помощью. И друзья не оставили их в беде.

— Ты с лихвою воздал мне за малую услугу твоему батюшке! — сказала Метта Могенс.

— Сокрыто — не забыто! — отвечал юноша.

Разбойники были повешены.

\*

А этот старый замок стоит по сей день, и принадлежит он не Метте Могенс, а другому знатному роду.

И время другое — наше. Солнце озаряет золоченый башенный шпиль; лесистые островки у берега — словно букеты на воде, а вокруг них плавают дикие лебеди. В саду растут розы, и сама здешняя хозяйка точь-в-точь изящный розовый лепесток, так и светится радостью — радостью благого дела, но не напоказ, а в глубинах души: сокрыто — не забыто.

Она идет к домику, что стоит в поле, на отшибе. Там живет бедная служанка, скрюченная ревматизмом. Окно крохотной ее каморки смотрит на север, солнце никогда в него не заглядывает, и виден служанке лишь клочок поля да глубокая канава за ним. Однако ж нынче в комнате светло, солнце заливает ее своими яркими и жаркими лучами, что проникают в новое окно, пробитое в южной стене.

Больная сидит, греется на солнышке, видит лес и морской берег, мир сделался огромным и прекрасным — и все это благодаря одному-единственному слову доброй хозяйки.

— Слово — пустяк, и дело-то невеликое! — говорит хозяйка. — А радость от него безмерна и благословенна!

Оттого и совершает она так много благих дел, думает обо всех, что живут в бедных хижинах и в богатых домах, где тоже хватает несчастливцев. Беды спрятаны, сокрыты, но не забыты Господом.

\*

В большом, шумном городе стояла старинная усадьба. В доме было множество залов и покоев, но мы туда не пойдем, останемся на кухне. Здесь уютно и светло, чисто и красиво, медная утварь так и сияет, стол блестит, словно навощенный, раковина — будто новенькая ледянка. И все это трудами одной-единственной служанки, которая еще и приодеться успела, будто в церковь собралась. На чепце у нее бант, черный бант, знак скорби. Ведь заботиться ей не о ком — нет у нее ни отца, ни матери, ни родни, ни возлюбленного. Она всего-навсего бедная служанка. Когда-то она была помолвлена с одним бедным парнем, они крепко любили друг друга. И вот однажды пришел он к ней и сказал:

— У нас с тобой ничего нет! А богатая вдова из подвальчика ласково говорила со мной, сулила мне достаток, но сердце мое принадлежит тебе. Посоветуй, как быть!

— Может, и вправду там твое счастье! — сказала служанка. — Будь к ней добр и ласков, только помни: с той минуты, как мы расстанемся, нельзя нам видеть друг друга!

Минуло несколько лет, и как-то раз она повстречала на улице прежнего своего друга и возлюбленного. Выглядел он больным и несчастным, и она не могла не спросить:

— Как тебе живется?

— Хорошо и богато, во всех отношениях! — отвечал он. — Жена у меня славная, добрая, но сердце мое с тобою. Я бился изо всех сил, и битва скоро закончится! Теперь уж встретимся у Господа.

Прошла неделя, и нынче утром в газете напечатали, что он умер, потому-то служанка и в скорби. Скончался любимый

супруг и отчим троих детей, пишет газета; звучат эти слова надтреснуто, фальшиво, хотя говорят чистую правду.

Черный бант — знак печали, но еще печальней лицо служанки. Печаль сокрыта в сердце и никогда не забудется!

\*

Вот тебе три истории, три листочка на одном стебле. Хочешь еще? В книге сердца их много сокрыто, но не забыто.

---

## СЫН ПРИВРАТНИКА

**Г**енеральское семейство проживало во втором этаже, а привратниково — в подвале; большое расстояние разделяло их — целый этаж и табель о рангах, хотя жили они под одной крышей, а окна у тех и других смотрели на улицу и во двор. Во дворе, на травяной лужайке, росла большая акация, которая цвела каждое лето, и порою под ней сидела разряженная кормилица с еще более разряженным генеральским чадом, малышкой Эмилией. Перед ними отплясывал босоногий привратников сынишка, темноволосый, с большими карими глазами, и малышка улыбалась мальчику, тянула к нему ручки, а генерал, глядя на них в окно, кивал и приговаривал по-французски: «Прелестно! Прелестно!» Сама же генеральша — такая молоденькая, что вполне годилась генералу в дочери от прежнего брака, — никогда в окно не смотрела, только распорядилась, чтобы мальчик непременно развлекал малышку, но пальцем к ней не прикасался. Кормилица в точности исполняла приказ хозяйки.

А солнце заглядывало и к обитателям второго этажа, и к обитателям подвала, на акации распускались цветы, опадали и через год распускались вновь; дерево цвело, и привратников сынишка цвел — ни дать ни взять свежий тюльпан.

Генеральская дочка росла хрупкой и бледной, как нежно-розовый лепесток акации. Теперь она редко приходила под дерево, свежим воздухом дышала, катаясь в коляске. Выез-

жала с маменькой и в таких случаях кивала привратникову Георгу, даже посылала ему воздушный поцелуй, пока маменька не сказала ей, что она уже слишком большая для этого.

Однажды утром Георг пошел в генеральскую квартиру, понес им письма и газеты, которые спозаранку доставляли в привратническую. И вот, поднимаясь по лестнице, он услышал в кладовке с песком какой-то писк и подумал, что там цыпленок, а оказалось — генеральская дочка в кисее да кружевах.

— Не говори папеньке с маменькой, а то они рассердятся!

— Что случилось-то, барышня? — спросил Георг.

— Горит все! — отвечала она. — Огнем полыхает!

Георг поспешил в детскую комнатку, распахнул дверь: занавеска на окне сгорела почти дотла, карниз в огне. Георг бросился туда, сорвал карниз и занавеску, кликнул людей — если б не он, не миновать бы пожара.

Генерал с генеральшею учинили малютке Эмилиии допрос.

— Я всего одну спичку взяла, — сказала девочка. — Спичка сразу загорелась, и занавеска тоже. Я плевала, чтоб потушить, изо всех сил плевала, но слюней не хватило, тогда я убежала и спряталась, страшно стало, что папенька и маменька рассердятся.

— Плевала?! — воскликнул генерал. — Это что за слово? Ты когда-нибудь слышала такое от папы с мамой? Нет, внизу подхватила, не иначе!

Однако привратников сынишка получил четыре скиллинга. И не истратил их на булки, а положил в копилку, и скоро у него набралось достаточно монеток, чтобы купить ящик с красками и расцветить свои рисунки, а их у него было много. Они словно сами собой выходили из-под карандаша. Первые цветные рисунки он подарил малютке Эмилиии.

— Прелестно! — сказал по-французски генерал, а генеральша заметила:

— Сразу видно, что у мальчика было на уме! У него есть талант!



Эти слова привратникова жена принесла в подвал.

Генерал с женою — люди знатные, их карету украшали два герба, его и ее. У генеральши даже одежда вся была в гербах, и верхняя, и нижняя, и ночной чепец, и ночная сорочка; ее-то герб стоил дорого, батюшка ее заплатил за него звонкой монетой, ведь он не родился дворянином, да и она тоже пришла на свет за семь лет до герба; большинство людей наверняка помнили об этом, только не само семейство. Генералов герб был старинный, славный; один такой герб — нелегкая ноша, а уж два тем более, и генеральша чувствовала этот груз, когда разодетая в пух и прах отправлялась на придворные балы.

Генерал, старый, седой, отлично сидел в седле и, зная об этом, каждый день выезжал верхом, с грумом, который держался на почтительном расстоянии; когда генерал появлялся в свете, казалось, будто он въезжал в зал на коне, вдобавок вся грудь у него была в орденах — уму непостижимо, как можно удостоиться стольких наград! Но разве это его вина? В юности он служил в кавалерии, участвовал в больших осенних маневрах, что регулярно проводились в мирные дни. С той поры ему запомнилась единственная история, какую он мог рассказать. Его унтер-офицер сумел захватить одного из принцев, и тому, вместе с небольшим его отрядом, тоже взятым в плен, пришлось въехать в город следом за генералом. Об этом незабываемом событии генерал рассказывал из года в год, всякий раз в точности повторяя смиренные слова, с какими вернул принцу саблю: «Лишь мой унтер-офицер сумел взять в плен ваше высочество, но не я!» А принц отвечал: «Вам нет равного!» В настоящих битвах генералу сражаться не довелось; когда по стране бушевала война, он исполнял дипломатическую миссию при трех иностранных дворах. Он прекрасно говорил по-французски, чуть что не забыл родной язык, прекрасно танцевал, прекрасно ездил верхом, орденов на его мундире было не меряно не считано, и часовые тотчас делали ему «на караул». Познакомившись с одной из самых

красивых девушек, он женился на ней, и у них появилась прелестная малышка, чисто ангелочек небесный, и, сколько она помнила, привратников сынишка плясал для нее во дворе, дарил ей свои раскрашенные рисунки, а она рассматривала их, радовалась и — рвала на мелкие клочки. Прелесть, а не малышка, глаз не отведешь!

— Розочка моя! — говорила генеральша. — Ты рождена для принца!

Принц-то уже стоял за дверью, но никто об этом не догадывался. Люди редко выглядывают за порог.

— Сынишка наш на днях впрямь поделился с нею хлебом! — сказала жена привратника. — Без сыру, без мяса, а ей все равно пришлось по вкусу, не хуже ростбифа. Ох и скандал вышел бы, если б генерал с генеральшей увидели, что она ест, но они, слава Богу, не видали.

Георг поделился с малюткой Эмилией хлебом, он бы охотно и сердцем своим поделился, лишь бы ее повеселить. Он был добрый мальчик, смысленный и разумный, ходил в вечерние классы при Академии, по-настоящему учился рисовать. Малютка Эмилия тоже делала успехи в науках: говорила со своей бонной по-французски и брала уроки танцев.

\*

— У Георга конфирмация на Пасху! — сказала привратникова жена; вот так обстояло с Георгом.

— Лучше бы ему все ж таки пойти в ученье, — вздохнул отец. — Имел бы в руках хорошее ремесло! Да и от нас бы съехал.

— Ночевать-то ему все равно пришлось бы дома, — возразила мать. — Нелегко найти мастера, у которого есть место; одеть-обуть его мы тоже должны, а на еду средств хватит, ест мальчик немного, две-три вареные картошки — и сыт. А учится он даром. Пусть идет своей дорогой. Он нас еще порадует, так профессор говорил!

Костюм для конфирмации уже приготовили, мать сшила своими руками, но кроил его портной, занимавшийся починкой одежды, а он кроил превосходно. Окажись он в иных обстоятельствах и имей мастерскую с подмастерьями, говорила привратникова жена, вполне мог бы сделаться придворным портным.

Костюм был готов, конфирмант тоже. В день конфирмации Георг получил в подарок от крестного, старого подмастерья льноторговца, самого богатого из своих крестных, большие томпаковые часы, старые, заслуженные; они, правда, всегда спешили, но и то хорошо, что не отставали. Ценный подарок. От генеральского семейства конфирмант получил псалмы в сафьяновом переплете. Книгу прислала маленькая барышня, которой Георг дарил свои рисунки. На первой странице стояли имена, его и ее, а еще «от благосклонной покровительницы» — это было написано под диктовку генеральши. Генерал прочитал надпись и сказал по-французски: «Прелестно!»

— В самом деле большой знак внимания со стороны таких знатных господ, — сказала привратникова жена, а Георгу пришлось в парадном костюме и с книгой подняться наверх и поблагодарить.

Генеральша сидела вся укутанная, мучилась головной болью, которая всегда донимала ее, когда она скучала. Она очень приветливо посмотрела на Георга, пожелала ему всяческого благополучия и чтоб никогда не мучила его такая головная боль, как у нее. Генерал был в шлафроке, в феске с кисточкой и в русских сапогах с красными голенищами; он трижды прошелся по комнате, погруженный в свои мысли и воспоминания, потом остановился и сказал:

— Стало быть, теперь малыш Георг — взрослый христианин! Будь же порядочным, честным человеком и уважай начальников! Когда-нибудь, в старости, сможешь сказать, что этой мудрости тебя научил генерал!

Столь длинной речи генерал никогда прежде не произносил. Затем он снова замкнулся в себе и выглядел при этом

весьма аристократично. Однако ж из всего, что Георг видел и слышал наверху, наиболее отчетливо ему запомнилась маленькая барышня Эмилия — такая она была очаровательная, такая милая, такая воздушная, такая изящная! Если б нарисовать ее, то не иначе как в виде легонького мыльного пузыря. А какое благоухание шло от ее платья, от золотых кудрей — точно от свежераскрывшейся розы. И ведь когда-то он разделил с нею свой хлеб, она ела с большим аппетитом и, откусывая очередной кусочек, всякий раз кивала ему. Помнит ли она об этом? Да, конечно, ведь «на память» об этом и подарила ему красивую книгу. И вот в первое новолуние нового года Георг, запасшись хлебом и монеткой в один скиллинг, вышел на улицу и наугад открыл книгу. Какой же псалом выпал ему? Оказалось, хвалебный и благодарственный. Тогда он открыл книгу в другом месте — посмотреть, что выпадет малышке Эмилии; тут надо было соблюдать осторожность и не открыть ненароком страницы с погребальными псалмами, но, как он ни остерегался, книга все равно открылась на псалмах о смерти и могиле. Нет, разве можно в такое поверить?! Однако вскоре Георг не на шутку испугался: прелестная малышка захворала, и возле дома каждый полдень останавливалась карета доктора.

— Потеряют они ее! — сокрушенно твердила привратникова жена. — Господу ведомо, кого он хочет прибрать!

Но девочка осталась жива, и Георг рисовал картинки и посылал ей. Нарисовал царский дворец, древний московский Кремль, точь-в-точь как настоящий, с башнями и куполами, похожими на огромные, зеленые и позолоченные тыквы, по крайней мере на Георговом рисунке. Малышка Эмилия так обрадовалась, что на той же неделе Георг послал ей еще несколько рисунков — все они изображали здания, и можно было много чего представить себе внутри, за дверьми и окнами.

Он нарисовал китайский дом с курантами на всех шестнадцати ярусах; нарисовал два греческих храма со стройны-

ми мраморными колоннами и лестницами по всем четырем сторонам; нарисовал норвежскую церковь — сразу видно, что она целиком из бревен, обтесанных, резных и искусно подогнанных друг к другу, каждый ярус имел словно бы подвесные галереи; однако краше всех был нарисованный замок, который Георг назвал «замок Эмилии». Вот где ей пристало жить — он сам придумал этот замок, составив его из самых красивых деталей других построек. Там были резные балки, как в норвежской церкви, и мраморные колонны, как в греческом храме, и куранты на каждом этаже, а на самом верху — купола, зеленые и позолоченные, как в царском Кремле. Настоящий детский замок! А под каждым окошком было написано, для чего предназначен соответствующий зал или комната: «здесь Эмилия спит», «здесь Эмилия танцует», а здесь играет «в гости». Загляденье, а не рисунок, и его вправду рассматривали с большим вниманием.

— Прелестно! — сказал генерал, разумеется по-французски.

Но старый граф — он жил по соседству и был еще знатнее генерала, владел замком и большой усадьбой, — старый граф не сказал ни слова; он слышал, что все это придумал и нарисовал маленький сынишка привратника. Впрочем, не такой уж и маленький, конфирмацию-то прошел. Старый граф смотрел на рисунки и думал о своем.

И вот настал день — пасмурный, сырой, ненастный, но для Георга один из самых светлых и радостных. Профессор в Академии изящных искусств призвал его к себе.

— Послушай, друг мой, — сказал он, — давай-ка побеседуем! Господь щедро наделил тебя талантами и окружил добрыми людьми. Старый граф, что живет на углу, говорил со мною о тебе, видел я и твои рисунки, на них мы пока поставим крест, там много чего надобно исправить! Отныне ты можешь дважды в неделю посещать мои рисовальные классы, чтобы совершенствоваться в рисунке. Я думаю, в тебе больше таланта к архитектуре, чем к живописи, однако у те-

бя есть время хорошенько все обдумать. А вот старого графа навести сегодня же и благодари Господа, что Он послал тебе этого человека!

Большая усадьба стояла на углу, старинный дом с резными слонами и верблюдами вокруг окон, только вот старый граф превыше всего ценил не старину, а новое время и его блага, где бы они ни обнаруживались — в парадном зале, в подвале или в мансарде.

— По-моему, — сказала привратникова жена, — чем подлинно знатнее человек, тем меньше в нем спеси. Старый-то граф вон какой приятный да обходительный! И говорит, право слово, как мы с тобой! Не то что генеральское семейство. Георг вчера просто обомлел — так его восхитило графское гостеприимство, а нынче я сама говорила с этим могущественным человеком и тоже осталась от него без души. Хорошо все-таки, что мы не отдали Георга в ученье к ремесленнику. У мальчика талант!

— Но таланту нужна помощь со стороны! — заметил отец.

— И он ее получил, — отвечала мать. — Граф так и сказал, четко и ясно.

— Наверняка тут не обошлось без генеральского семейства, — сказал отец. — Надо их непременно поблагодарить.

— Отчего ж не поблагодарить, — отвечала мать, — только, по-моему, их благодарить особо не за что, я поблагодарю Господа Бога, в том числе и за выздоровление малышки Эмилии!

Девочка шла на поправку, и Георг делал успехи, за один год он получил сперва малую серебряную медаль, а потом и большую.

\*

— Лучше бы ему пойти в ученье к ремесленнику! — в слезах твердила жена привратника. — Тогда бы он остался при нас. Зачем ему ехать в Рим? Больше я его никогда не увижу, даже если он и вернется, только ведь он не вернется, милый мой сыночек!

— Да это же его счастье и почет! — воскликнул отец.

— Вот спасибо тебе, дружок! Болтаешь совсем не то, что думаешь! По правде-то на душе у тебя печаль, как и у меня.

Да, они печалились, потому что сынок их уезжал на чужбину. Большая удача для молодого человека, говорил народ.

Георг зашел попрощаться и к генеральскому семейству. Генеральша из своих комнат не вышла, ее опять мучила головная боль. Генерал на прощание рассказал свою единственную историю, повторил, что сам сказал принцу и что услышал от принца в ответ: «Вам нет равного!» — а потом протянул юноше руку, вялую, расслабленную.

Эмилия тоже попрощалась с Георгом за руку и выглядела прямо-таки печальной, но больше всех печалился сам Георг.

\*

Время идет — и когда чем-то занимаешься, и когда ничего не делаешь. Оно одинаково протяженностью, но не полезностью. Для Георга время было полезным и оттого шло быстро, если не считать тех минут, когда он думал об оставшихся дома. Как там дела, наверху и внизу? Конечно, они писали ему, а в письмо можно вложить так много — и яркий солнечный свет, и мрачные, тяжкие дни. Таким было письмо с известием о кончине отца. Мать осталась одна, и Эмилия стала для нее поистине ангелом-утешителем, пришла к ней в подвал, писала мать и добавила, что ей позволено сохранить за собой привратническое место.

\*

Генеральша вела дневник, писала там о каждом рауте, о каждом бале, на котором побывала, обо всех иноземных гостях. Страницы были украшены визитными карточками дипломатов и самых знатных особ. Генеральша очень гордилась своим дневником, начала она его давно и записи делала в разное время: когда скучала, когда мучилась головной бо-

лью, но иной раз и светлыми ночами, то бишь когда происходили придворные балы. Эмилия впервые побывала на придворном балу; маменька тогда надела светло-красное платье с черным кружевом — на испанский манер. Дочка была в белом, вся такая чистая, такая изысканная! Зеленые шелковые ленты, словно камышинки, трепетали в ее золотых кудрях, украшенных венком из белых водяных лилий. Глаза ясные, голубые, ротик прелестный, алый — вылитая русалочка, краше на всем свете не найдешь. Трое принцев танцевали с нею, то бишь сначала один, потом другой и третий; генеральша на целых восемь дней забыла о своих мигренях.

Но первый бал оказался, разумеется, не последним, и Эмилии это было невмоготу; хорошо, что настало лето с его отдохновением и свежим сельским воздухом. Семейство получило приглашение в замок старого графа.

При замке был сад, да какой! Одна часть совершенно как в старину — чопорные живые изгороди, похожие на зеленые ширмы, в которых тут и там проделаны окошки; самшит и тис, подстриженные в форме звезд и пирамид; большие, выложенные ракушками гроты, из которых струилась вода, и повсюду статуи из тяжелого прочного камня, что сразу видно по их одеждам и лицам; затейливые клумбы, все разные — то рыбы, то щиты с гербами, то вензеля. Настоящий французский сад. А как выйдешь из него, сразу попадаешь словно в привольный свежий лес, где кусты и деревья растут как вздумается, и оттого все они большие, пышные; трава зеленая, и по ней можно ходить. Однако ж и здесь все расчищено, подстрижено, ухожено, упорядочено, ведь это тоже сад, только английский.

— Старое время и новое время! — сказал граф. — Они так плавно перетекают здесь друг в друга! Через два года и дом тоже обретет должный вид, преобразится, станет красивее, лучше. Я покажу вам чертежи, и архитектора вы увидите, нынче он приглашен к обеду!



— Прелестно! — воскликнул генерал, конечно же, по-французски.

— Райское место! — сказала генеральша. — А там у вас рыцарский замок?!

— Это мой птичник! — отвечал граф. — В башне живут голуби, во втором этаже — индюшки, а внизу распоряжается старая Эльса, у нее там полным-полно постояльцев, и все устроено наилучшим образом: куры-несушки отдельно, квочки с цыплятами тоже, ну а для уток есть особый выход к воде.

— Прелестно! — повторил генерал.

И они все вместе отправились смотреть эту роскошь.

Старая Эльса стояла посреди нижнего зала, а подле нее — архитектор, Георг. Он и малышка Эмилия встретились после долгих лет, встретились в птичнике.

Да-да, Георг, собственной персоной, красавец хоть куда! Лицо открытое, решительное, волосы черные, блестящие, на губах улыбка, словно бы говорящая: меня на мякине не проведешь, я вас насквозь вижу. Старая Эльса скинула свои деревянные башмаки, осталась в одних чулках — из уважения к знатым гостям. Куры кудахтали, петух кукарекал, утки крякали наперебой. А хрупкая бледная девушка, подружка детских лет, дочь генерала, зарделась как маков цвет, бледности на щеках словно и не бывало, глаза широко открылись от изумления, рот тоже открылся, хотя не говорил ни слова, — ну может ли молодой человек желать большего от юной дамы, коли они не состоят в родстве и даже никогда прежде друг с другом не танцевали? Эмилия и архитектор в самом деле никогда друг с другом не танцевали.

Граф пожал юноше руку и представил его гостям:

— Наш юный друг, господин Георг, не вовсе вам незнаком, а?

Генеральша сделала книксен, дочка хотела было протянуть ему руку, но не решилась.

— Малыш Георг! — сказал генерал. — Наш давний сосед! Прелестно!

— Вы стали совершенно как итальянец! — воскликнула генеральша. — Наверное, и по-итальянски говорите не хуже тамошних жителей?

Генеральша пела на этом языке, но говорить на нем не умела, пояснил генерал.

За обедом Георг сидел справа от Эмилии. К столу она подошла об руку с генералом, а генеральша — об руку с графом.

Георг без умолку рассказывал, и рассказывал хорошо, он был поистине душою общества, хотя эту роль вполне мог бы сыграть старый граф. Эмилия притихла, вся обратившись в слух, глаза ее блеснули.

Но она ничего не говорила.

Потом они с Георгом стояли на веранде, среди цветов, под сенью пышных розовых кустов. Георг снова заговорил, снова первым взял слово.

— Спасибо вам за доброту к моей старушке-матери! — сказал он. — Я знаю, в ту ночь, когда умирал мой отец, вы пришли и оставались с нею, пока глаза его не закрылись навеки. Спасибо вам! — Он схватил руку Эмилии и поцеловал, благо повод для этого был самый подходящий.

Девушка залилась краской, однако сжала в ответ руку Георга и устремила на него взгляд своих прекрасных голубых глаз.

— Ваша матушка была добрая душа! А уж как она вас любила! Давала мне читать все ваши письма, я словно бы хорошо вас знаю. Вы так привечали меня, когда я была маленькая, дарили мне рисунки...

— Которые вы рвали на мелкие клочки! — докончил за нее Георг.

— Нет-нет, мой замок, тот, на рисунке, я храню до сих пор!

— Теперь я могу построить его на самом деле! — воскликнул Георг, и от этих слов его самого бросило в жар.

Генерал с генеральшей сидели в своих комнатах и говорили о сыне привратника. Да, молодой человек и двигался изящно, и мысли свои выражал умело, искусно.

— Он бы мог стать домашним учителем! — объявил генерал.

— Талант! — только и произнесла генеральша.

\*

В это чудесное лето Георг часто наезжал в графский замок. Если он не мог приехать, по нем скучали.

— Как щедро одарил вас Господь, не то что нас, бедных! — говорила ему Эмилия. — Вы это цените?

Георгу льстило, что красивая юная барышня восхищается им, ведь он считал ее необычайно одаренной.

А генерал все больше уверялся, что господин Георг уж никак не дитя подвала.

— Матушка его была очень славная женщина! — говорил он. — Я задолжал ей надгробный памятник.

\*

Лето миновало, настала зима, а разговоры о господине Георге не умолкали. Он всюду был желанным гостем, самые высокопоставленные круги оказывали ему благосклонный прием. Генерал встречал его на придворных балах.

Дома у генерала тоже готовился бал в честь малышки Эмилии. Не пригласить ли и господина Георга?

— Кого приглашает король, того и генералу пригласить не зазорно! — объявил генерал и, право слово, на целый дюйм поднялся над полом.

Георга пригласили, и он пришел; прибыли также принцы и графы — танцоры один лучше другого. Но Эмилия станцевала лишь первый танец, да вот беда, ненароком подвернула ножку, ничего опасного, однако ж болезненно, из осторожности пришлось ей отказаться от танцев и только смотреть на других. Она сидела и смотрела, а архитектор стоял рядом.

— Вы, глядишь, целый собор Святого Петра ей хотите преподнести? — мимоходом обронил генерал с необычайно доброжелательной улыбкой.

Тою же доброжелательной улыбкой он встретил господина Георга и несколько дней спустя. Молодой человек явно пришел поблагодарить за приглашение на бал. Разве могло его привести сюда что-то иное? Да-да, могло, и совсем иное, поразительное, ошеломляющее! Генерал своим ушам не поверил — какая дерзость! Неимоверное нахальство, невысказанное! Георг пришел просить руки малышки Эмилии.

— Послушайте! — Генерал кипел от возмущения. — Я совершенно вас не понимаю! Что вы такое говорите? Что вам нужно? Я вас не знаю! Сударь, да как вы смели явиться в мой дом? Мне остаться здесь или я могу уйти? — И он выпятился к себе в спальню и заперся на ключ, бросив юношу одного.

Георг постоял минуту-другую и пошел к выходу, а отворивши дверь, увидел в коридоре Эмилию.

— Папенька дал ответ?.. — дрожащим голосом спросила она.

Георг стиснул ее руку.

— Он убежал от меня... Ну да ничего, все уладится!

В глазах Эмилии блеснули слезы, в глазах юноши светилась уверенность и бодрость, а солнце озаряло их обоих, даряло им свое благословение.

Генерал у себя в комнате отнегодывал, то бишь еще немножко кипел, выпуская пары: «Сумасбродство! Привратничья чушь!..»

Часу не прошло, а генеральша из собственных уст генерала узнала обо всем и призвала к себе Эмилию, чтобы поговорить с глазу на глаз.

— Бедная деточка! Так оскорбить тебя! Оскорбить нас! У тебя слезы на глазах, но они тебе к лицу! В слезах ты очень похожа на меня в день моей свадьбы. Поплачь, дорогая!

— Я буду плакать, — сказала Эмилия, — раз ни ты, ни папенька не хотите сказать «да»!

— Дитя! — воскликнула генеральша. — Ты захворала! Ты бредишь! А у меня снова ужасно болит голова. Столько бед на нашу голову. Не дай матери умереть, Эмилия, другой у тебя не будет!

Глаза генеральши увлажнились, о своей смерти она не могла думать без слез.

\*

В газете под рубрикой «Назначения» было напечатано: господин Георг получил звание профессора, пятый класс под восьмым номером.

— Жаль, родителей его нет в живых, не могут они это прочесть, — говорили в семействе нового привратника, которое теперь занимало подвал в генеральском доме; они знали, что профессор родился и вырос в этих самых стенах.

— Теперь его включат в налоговый реестр! — заметил муж.

— Разве это мало для того, кто вырос в бедности! — вскричала жена.

— Восемнадцать ригсдалеров в год! Деньги и впрямь большие!

— Да я про высокое положение! — сказала жена. — Деньги эти для него чепуха, он их сколько хочешь заработает! Поди, и женится на богачке. Будь у нас дети, муженек, наш сынишка тоже мог бы стать архитектором и профессором.

В подвале о Георге говорили по-хорошему, как и на втором этаже — старый граф позаботился.

Поводом послужили Георговы детские рисунки. Но почему о них зашла речь? Сперва говорили о России, о Москве, тут-то и вспомнили Кремль, который маленький Георг некогда нарисовал для барышни Эмилии; он тогда много рисунков сделал, и один из них особенно запомнился графу: «замок ма-

льшки Эмилии», где она спала, танцевала и играла «в гости». Господин профессор был человек большого таланта и трудолюбия, наверняка он рассчитывал к старости дослужиться до действительного статского советника — и это вполне возможно, — а прежде вправду построить замок для столь юной сейчас дамы, почему бы и нет?

— На редкость веселый вечер! — заметила генеральша, когда граф отклонялся.

Генерал задумчиво покачал головой, а засим отправился на верховую прогулку — грум, как всегда, ехал следом, на почтительном расстоянии, — и сидел в седле горделивее прежнего.

Настал день рождения Эмилии — с раннего утра виновнице торжества несли цветы и книги, письма и визитные карточки. Генеральша поцеловала ее в губки, генерал — в лоб, они были любящие родители. И все семейство удостоилось визита высоких особ — двух принцев. Разговор шел о балах и театрах, о дипломатических миссиях, об иностранных державах и управлении страной. А еще — о талантливости и трудолюбии родного края. Вспомнили при этом и молодого профессора архитектуры.

— То, что он строит, обессмертит его имя! И определенно позволит ему войти в одну из самых знатных семей!

— В одну из самых знатных семей? Кто это может быть? — спросил позднее генерал у генеральши.

— Я знаю, на кого они намекали! — отвечала генеральша. — Но не скажу! Ни за что! Все в руке Божией, но тем не менее я удивляюсь.

— Я тоже не прочь удивиться, — сказал генерал. — Мне-то совершенно невдомек! — И он задумался в надежде, что догадка все же придет.

Сколько силы, неизреченной силы в высочайшей милости, в благорасположении двора, в благорасположении Господа, и вся эта милость была дарована Георгу. Но мы забыли о дне рождения.

Комната Эмилии наполнилась ароматом цветов, присланных друзьями и подругами, на столе лежали прелестные подарки и сувениры, только от Георга ничего, он не мог прийти, однако в этом и нужды не было — весь дом напоминал о нем. Даже из чулана с песком выглядывал цветочек воспоминания: там плакала Эмилия, когда горела занавеска, а Георг мигом потушил пожар. Глянешь в окно, и акация воскрешает память о детстве. Цветы и листья давно опали, посеребренное инеем дерево походило на огромный коралл, луна, яркая, большая, сияла меж ветвей, неизменная в своей изменчивости, как и в ту пору, когда Георг поделился хлебом с малышкой Эмилией.

Она достала из ящичка рисунки с царскими палатами, с ее собственным замком, давние подарки Георга. Рассматривала их, думала о них и еще о многом другом, вспоминала тот день, когда тайком от папеньки и маменьки спустилась в подвал к жене привратника, которая лежала на смертном одре, как сидела подле нее, держала за руку, как услышала ее последние слова: «Благослови Господь!.. Георг!» Мать думала о сыне. А Эмилия теперь истолковала эти слова по-своему. Георг побывал на дне ее рождения, в самом деле!

Наутро — так уж получилось — в доме опять праздновали день рождения, на сей раз генеральский. Генерал родился днем позже дочери, конечно за много лет до нее. Опять множество подарков, в том числе седло, красивое, удобное и дорогое, по карману разве что одному из принцев. От кого же оно? Генерал был очарован. К седлу прилагалась записочка. Если бы в ней стояло «Спасибо за вчерашний праздник!», мы бы легко угадали, кто прислал подарок, но там было написано: «Г-ну генералу от того, кого он не знает».

— Кого же это я не знаю?! — недоумевал генерал. — Я знаю всех! — Он перебрал все светское общество, и впрямь каждый там был ему знаком. — Это от моей жены! — решил он в конце концов. — Она подшутила надо мной! Прелестно!

Но генеральша никаких шуток не устраивала, те времена давно прошли.

\*

И снова праздник, только другой, не в генеральском семействе, — костюмированный бал-маскарад у одного из принцев.

Генерал нарядился Рубенсом, в испанский костюм с плоеным воротничком, на бедре шпага, выправка хоть куда. Генеральша оделась как мадам Рубенс — черное бархатное платье, закрытое до горла, ужасно теплое, с «мельничным жерновом», то бишь огромным плоеным воротником, точь-в-точь как на голландском портрете, принадлежавшем генералу; особенное восхищение вызывали на этом портрете руки — совершенно такие, как у генеральши.

Эмилия была Психеей, вся в кисее и кружевах. Она порхала словно лебяжье перышко, без всяких крыльев, они служили только для украшения, как знак Психеи.

Роскошь, великолепие, свет, цветы, богатство, изысканность — так много всего кругом, не налюбуешься, на руки мадам Рубенс смотреть недосуг.

Черное домино с цветком акации на шляпе танцевало с Психеей.

— Кто это? — спросила генеральша.

— Его королевское высочество, — отвечал генерал, — я совершенно уверен, я тотчас узнал его по рукопожатию!

Генеральша усомнилась.

Генерал Рубенс, нисколько не сомневаясь, подошел к черному домино и начертил на ладони королевский вензель. В ответ отрицательно покачали головой, однако подсказка все же была дана:

— Записка, приложенная к седлу! Тот, кого вы не знаете!

— Но я же вас знаю! — воскликнул генерал. — Вы прислали мне седло!



Домино взмахнуло рукой и исчезло в толпе гостей.

— Эмилия, кто этот человек в черном домино, с которым ты танцевала? — осведомилась генеральша.

— Я не спросила его имя! — ответила девушка.

— Потому что знала! Это профессор! Ваш протеже здесь, господин граф! — продолжала генеральша, обернувшись к графу, который стоял рядом. — Черное домино с цветком акации!

— Очень может быть, сударыня! — отозвался граф. — Но, между прочим, у одного из принцев такой же костюм!

— Я узнал рукопожатие! — сказал генерал. — Седло — подарок принца. Я совершенно уверен и потому хочу пригласить его к нам на обед.

— Конечно, пригласите! Если это принц, он безусловно примет приглашение!.. — сказал граф.

— А если другой, то не примет! — С этими словами генерал направился к черному домино, которое как раз беседовало с королем, и весьма почтительно пригласил прийти на обед и познакомиться поближе. Ничуть не сомневаясь, что приглашает принца, генерал уверенно улыбался и говорил громко и внятно.

Домино снимает маску — это Георг.

— Вы теперь возьмете свое приглашение обратно, господин генерал? — спросил он.

Генерал приосанился, словно бы на целый дюйм вырос, сделал два шага назад и один вперед, как в менюэте, а на его аристократическом лице отразились поистине генеральская серьезность и важность.

— Я никогда от своих слов не отказываюсь! Приглашение остается в силе, господин профессор! — И он поклонился, глядя на короля, который, конечно, все слышал.

\*

И вскоре в генеральском семействе состоялся обед, на который были приглашены только старый граф и его протеже.

— Погостить в семье, — сказал Георг, — значит заложить фундамент!

И фундамент действительно был заложен — в весьма торжественной обстановке, на этом обеде у генерала и генеральши.

Гость пришел и, насколько мог оценить генерал — а он то мог! — говорил совершенно как человек из хорошего общества, причем необычайно интересно, генерал поневоле неоднократно восклицал по-французски: «Прелестно! Прелестно!» Генеральша рассказала об этом обеде знакомым дамам, в том числе одной из фрейлин, особе весьма и весьма почтенной, которая тотчас попросила в следующий раз пригласить и ее тоже. Делать нечего, надо снова звать профессора в гости. Он принял приглашение, и пришел, и снова всех очаровал, ведь даже в шахматы, оказывается, умел играть.

— Нет, он не из подвала! — сказал генерал. — Вне всякого сомнения, в нем течет благородная кровь! Такое случается нередко, и молодой человек тут без вины.

Господин профессор был вхож к самому королю, а оттого, разумеется, его привечали и в генеральском доме, но о том, чтобы он мог там укорениться, речи у них вовсе не было, но в городе только об этом и судачили.

\*

Однако ж Георг и тут достиг успеха. Недаром был взыскан вышней милостью.

Стоит ли удивляться, что в конце концов Эмилия стала статскою советницей.

— Жизнь — это либо трагедия, либо комедия, — изрек генерал. — Трагедия кончается смертью, комедия — свадьбой.

Георг с Эмилией сыграли свадьбу. И родились у них трое крепких ребятишек, только, понятно, не сразу.

Когда гостили у дедушки с бабушкой, мальчуганы скакали по всем залам и комнатам на деревянных лошадках. И генерал тоже, следом за ними, «вместо грума при маленьких статских советниках», как он говорил.

Генеральша сидела на диване и улыбалась, даже если страдала от своей ужасной головной боли.

\*

Вот как преуспел Георг и сумел добиться еще многого, иначе какой бы вообще смысл рассказывать историю сына привратника?

---

## ДЕНЬ ПЕРЕЕЗДА

**Т**ы ведь помнишь башенного сторожа Оле? Я рассказывал про те два раза, когда ходил к нему в гости, а сейчас расскажу про третий, но, разумеется, не последний.

Обычно я навещаю его под Новый год, теперь же отправился в гости в день переезда, потому что на городских улицах очень уж неуютно — столько там всякого хлама, черепков и обломков, не говоря уж о старой матрасной соломе, которая прямо липнет к сапогам. Шагая по улице, я увидел, как ребяташки играют среди этого мусорного изобилия — так их туда и тянет! — спать понарошку укладываются в старой соломе, укрываясь вместо одеяла обрывком ветхих обоев, да еще и приговаривают: «Красота!» Для меня это оказалось чересчур, и я поспешил к Оле.

— Нынче день переезда! — сказал Оле. — Улицы и переулки служат заместо большущих мусорных ведер! Сам-то я мусорной повозкой обхожусь, чтоб вывезти хлам, и вывез уже, вскоре после Рождества. Вышел я тогда из дому — холодище, сырость, грязь, того гляди, простуду подхватишь! — а мусорщик аккурат подле меня и остановил свою повозку, полнехонькую, глядя на нее, можно легко представить себе копенгагенские улицы в день переезда. В глубине повозки виднелась елка, совсем еще зеленая, с мишурой на ветках, ее наряжали к Рождеству,

а теперь выкинули на улицу, мусорщик подобрал ее и бросил в кучу хлама на повозке. Забавное зрелище, а может, наоборот, печальное, смотря о чем думаешь. Я и сам кое о чем думал, и вещи в повозке наверняка тоже думали или могли бы думать, что в общем одно и то же. К примеру, там была рваная дамская перчатка — о чем она думала? Сказать? Она лежала и мизинчиком показывала аккуратно на елку. «Меня так трогает это деревце! — думала она. — Я тоже была на празднике с множеством сияющих люстр! Моя жизнь — одна бальная ночь, одно рукопожатие, и я порвалась. Тут мои воспоминания обрываются, незачем мне больше жить». Вот так думала перчатка или могла бы думать. «Какая пошлость эта история с елкой! — ворчали осколки горшка. Разбитая посуда все считает пошлостью. — Коли попал на мусорную повозку, нечего выкобениваться и рядиться в мишуру. Мы вот знаем, что принесли миру много пользы, куда больше, чем эта зеленая палка!» Что ж, этак тоже многие считают, а елка все равно выглядела красиво, толика поэзии среди мусора, а сколько этого мусора на улицах в день переезда! Дорога разом показалась мне тяжелой и утомительной — впору хоть сию же минуту вернуться в башню, сесть на самой верхотуре и в полном довольстве смотреть оттуда вниз.

Добрые люди играют в переезд! Таскают-ворочают вещи, а домовый сидит себе в ведре и тоже переезжает. Домашние хлопоты, семейные неприятности, заботы и огорчения перебираются со старой квартиры на новую, а что им и нам от этого выходит? Ну, про это давным-давно написано в добром старом стихе из «Адресной газеты»:

«Не забывай о смерти — о великом переезде!»

Мысль серьезная, только вам, поди, неприятно слышать такое. Смерть была и есть самый надежный чиновник, хотя дел у нее превеликое множество! Вы когда-нибудь задумывались об этом?

Смерть — кучер дилижанса, она выписывает подорожную, она скрепляет подписью нашу расчетную книжку, она дирек-





торствует в великом сберегательном банке жизни. Вам это понятно? Все дела нашей земной жизни, большие и малые, мы помещаем в этот «сберегательный банк», а когда является смерть со своим дилижансом и нам должно занять там место и отправиться в Страну Вечности, она, смерть, вручает нам у границы ту самую расчетную книжку — вместо паспорта и подорожной! «Суточные» на дорогу она достает из «сберегательного банка» — те или иные совершенные нами поступки, определившие нашу жизнь, как приятные, так и ужасные.

Никто еще не избежал этого дилижанса; впрочем, рассказывают об одном человеке, которому было отказано занять там место, — об иерусалимском башмачнике, — пришлось ему бежать вдогонку. Но если б его пустили в дилижанс, он бы не удостоился внимания поэтов. Попробуй-ка мысленно заглянуть в дилижанс великого переезда! До чего же пестрая компания! Рядом сидят король и нищий, гений и идиот; уезжают они без имущества и без золота, лишь с расчетною книжкой да суточными из сберегательного банка, но какое из своих деяний каждый получит в дорогу? Может, совсем крохотное, с горошину, хотя горошина способна пустить цветущий побег.

Бедной служанке, что ютилась на низкой скамеечке в углу и за все про все получала лишь тычки да брань, достанется на дорогу, быть может, та же старая скамейка, и станет эта скамейка паланкином, в котором бедняжка вступит в Страну Вечности, поднимется к престолу, сияющему, словно золото, прекрасному, словно цветущая беседка.

Тот, кто знай себе потягивал наливки удовольствий, чтоб забыть иные скверные свои поступки, получает в руки бочонок и должен пить из него всю дорогу, а питье это чистое как слеза, оно проясняет мысли, пробуждает добрые и благородные чувства, человек видит и воспринимает все, чего прежде видеть не желал или не мог, и кара ему — гложущий червь, век которого несказанно долог. Если на рюмках стояла надпись «забвение», то на бочонке написано: «Воспоминание».



Читая хорошую книгу, историческое сочинение, я всегда невольно думаю о том, что ожидало человека, о котором я читаю, в самом конце, когда он очутился в дилижансе смерти, какие его дела смерть извлекла из сберегательного банка, что дала ему на дорогу в Страну Вечности. Во Франции был некогда король, чье имя я запомнил — имена доброты люди порой забывают, и я тоже, но они вновь являются из тьмы забвения, — так вот этот король в годину неурожая и голода стал благодетелем своего народа, и в его честь народ воздвиг из снега монумент с надписью: «Быстрее, чем тает этот снег, пришла твоя подмога!» Мне представляется, что смерть, памятуя о монументе, дала ему одну-единственную снежинку, которая никогда не растает, и она белым мотыльком полетела над головою короля в Страну Бессмертия. А еще был Людовик Одиннадцатый — его имя я помню, зло всегда хорошо запоминается, — мне часто приходит на ум одно его лихое дело. Как бы я желал сказать, что это ложь. Но увы! Он повелел казнить своего коннетабля (по праву ли, нет ли, его воля!), а вдобавок приказал поставить на тот же эшафот невинных детей коннетабля — восьми и семи лет от роду, — окропить их горячей кровью отца, а потом отвезти в Бастилию и посадить в железную клетку, где даже одеяла нет, чтобы укрыться. И каждый восьмой день король Людовик посылал к ним палача с приказом выдернуть у обоих по зубу, чтоб не забывались, и старший мальчик сказал: «Маменька умерла бы от горя, если б знала, что младший мой братишка так страдает. Вырви лучше два зуба у меня, а его не трогай!» У палача слезы навернулись на глаза, но монаршая воля сильнее слез, и каждый восьмой день королю приносили на серебряном блюде два детских зуба — он требовал их и получал. Вот эти-то два зуба, думаю, смерть и достала из сбережений Людовиковой жизни и дала ему на дорогу в великую Страну Бессмертия, и летели эти два невинных детских зуба перед ним словно огненные искры, горели, жгли, кусали его.

Да, серьезная штука — поездка дилижансом в день великого переезда! Только вот когда придет ее время?

Серьезность в том, что дилижанса можно ожидать в любой день, в любой час, в любую минуту. Какое же из наших дел смерть вынет тогда из сберегательного банка и даст нам в дорогу? Не мешает об этом призадуматься! День переезда в календаре не отмечен.

---

## ПОДСНЕЖНИК

**З**има, холодно, ветер лютует, но под снегом тепло и уютно. Там, в земле, в своей луковке, жил цветок. Как-то раз прошел дождь, капли пробили снег, проникли в землю, постучали по луковке, сообщили, что наверху посветлело, а вскоре тоненький солнечный луч заглянул под снег и пощекотал луковку.

— Заходи! — сказал цветок.

— Не могу! — ответил солнечный луч. — Сил у меня пока маловато, чтоб зайти, я только к лету окрепну.

— А когда будет лето? — спросил цветок и повторял этот вопрос всякий раз, как к нему заглядывал новый лучик.

Но до лета было далеко, повсюду еще лежал снег, и вода по ночам покрывалась корочкой льда.

— Не могу я больше! Не могу! — сетовал цветок. — Все у меня болит да свербит! Так хочется вытянуться, открыться, выйти наружу! Сказать «доброе утро» лету, благословенной поре!

Цветок потягивался, ворочался под луковичной кожурой, размякшей от воды, согретой теплом земли, снежного одеяла и солнечных лучей, и выпустил под снегом светло-зеленый бутон на зеленой ножке, который заботливо укрывали узкие плотные листочки. Снег был холодный, но солнечный свет успел его разрыхлить, поэтому цветок без труда пробился на волю, навстречу веселым, ласковым, сильным лучам.

— Добро пожаловать! Добро пожаловать! — пели-звонили лучи, и цветок потянулся к свету, поднялся из снега. Лучи нежно гладили его, целовали, и он весь открылся им навстречу, белоснежный, с нарядными зелеными прожилками, и в радостном смирении склонил головку.

— Прелестный цветочек! — пели лучи. — Какой ты свежий и чистый! Самый первый, единственный! Мы так тебя любим! Ты возвещаешь о лете, о прекрасном лете, которое придет в города и веси! Снег растает, холодные ветры умчатся прочь! Настанет наша пора! Все зазеленеет, и у тебя появятся товарищи — сирень, ракитник, а там и розы, но ты — самый первый, такой нежный, такой чистый.

Ах, как замечательно! Сам воздух будто поет и звенит, а солнечные лучи насквозь пронизывают лепестки, листья и стебелек — цветочек стоял во всей своей юной красе, хрупкий, нежный и все же такой сильный, стоял в белом кафтанчике с зеленым позументом и славил лето. Однако до лета было еще далеко, солнце скрылось за тучами, вновь подул холодный ветер.

— Ты рановато пришел, — сказали ветер и ненастье. — Пока что мы тут хозяева, ты еще узнаешь нашу силу и запросишь пощады! Сидел бы лучше в тепле, незачем было вылезать раньше срока.

Захолодало. День за днем ни единого солнечного лучика — в такую погоду маленькому хрупкому цветку впору заколечеть. Да только он и сам не подозревал, сколько в нем силы! А шла эта сила от радости жизни и веры в лето, которое непременно настанет! Он так горячо верил в лето, и теплый солнечный свет подтверждал, что он прав. Вот так и стоял цветок, преисполненный веры и надежды, в белом наряде на белом снегу, склоняя головку, когда с неба густо падали тяжелые снежные хлопья и налетали ледяные ветры.

— Ты сломаешься! — твердили они. — Завянешь, замерзнешь! Зачем вылез на свет? Поманили тебя, а ты и рад! Так тебе и надо, сумасброд! Вестник лета нашелся!

— Сумасброд! — повторил цветок, когда настало морозное утро.

— Подснежник! Вестник лета! — весело закричали ребяташки, которые высыпали в сад. — Смотрите, какой красивый! Первый, единственный!

От этих слов, теплых, будто солнечные лучи, цветку стало чудо как хорошо. На радостях он даже не почувствовал, что его сорвали. Лежал на детской ладошке, детские губы целовали его, а потом он попал в теплую комнату, им любовались добрые глаза, и наконец его поставили в воду, такую бодрящую, животворную. Вот и решил подснежник, что впрямь в одночасье настало лето.

У хозяйской дочки, хорошенькой юной девушки, которая совсем недавно конфирмовалась, был дружок, он учился ремеслу и тоже недавно конфирмовался.

— А не вскружить ли ему голову?! — воскликнула девушка, взяла цветочек и положила в надушенную бумагу, на которой было написано стихотворение, а речь в нем шла о подснежнике. «Подснежник лето к нам приводит вновь» — такими словами начинались и кончались стихи. Но барышня еще и приписала: «А к нам с тобою, милый друг, пришла любовь!» Опять же посулила лето. Листок со стихами она свернула конвертиком и внутрь положила цветок. Он снова очутился в потемках, как раньше в луковичке. И отправился в путь, ехал в почтовом мешке, где его нещадно мяти и тискали, но, к счастью, всему бывает конец.

Кончилось и путешествие. Милый друг открыл письмецо и прочитал, да так обрадовался, что расцеловал цветочек, а потом вместе со стихами спрятал в ящик стола, где лежало еще много других чудесных писем, только без цветков, подснежник был первый, единственный, как говорили солнечные лучи, и думал он об этом с большим удовольствием.

А времени для раздумий у него оказалось более чем достаточно: прошло лето, минула долгая зима, вновь настало лето —

тогда только его извлекли на свет. Правда, на сей раз молодой человек вовсе не радовался, выхватил листки из ящичка, отшвырнул стишок, так что цветочек упал на пол. Он увял, сплюснулся, но ведь это не повод бросать его на пол, хотя на полу все ж таки лучше, чем в огне, куда угодили стихи и остальные письма. Что случилось? Да ничего особенного, самая обыкновенная вещь. Цветок оказался обманом, вскружил юноше голову, а обманщица барышня завела себе летом нового дружка.

Утром солнце осветило маленький сплюснутый подснежник, будто нарисованный на полу. Служанка, которая подметала комнату, подняла его и положила в одну из книг на столе — решила, что он ненароком выпал, когда она там прибирала. И цветочек вновь оказался среди стихов, напечатанных стихов, а они куда лучше написанных от руки, во всяком случае ценятся дороже.

Шли годы, книга стояла на полке, и вот ее достали, открыли и начали читать; книга-то была хорошая: стихи и песни датского поэта Амбросиуса Стуба, которые вполне залуживают, чтобы их знали. Человек, читавший книгу, перевернул страницу и воскликнул:

— Смотри-ка, подснежник! Первоцвет! Сумасброд! И положили его сюда не случайно. Бедный Амбросиус Стуб! Он был точь-в-точь как подснежник! Поэт-сумасброд! Он опередил свое время, пришел слишком рано, вот и терпел холод, слякоть да резкий ветер, скитался по усадьбам фюнских господ, как цветок из стакана с водой в письмо со стихами. Его считали сумасбродом, простодушным чудаком, а все-таки он был первым, единственным, вечно юным датским поэтом. Оставайся же в книге, милый подснежник! Ведь ты оказался здесь не случайно.

И цветок вернулся в книгу, ему было лестно и приятно, что лежит он среди чудесных стихов и что поэт, воспевавший его, тоже слыл чудаком и сумасбродом, тоже бросал вызов зиме. Цветок понял все на свой лад, но ведь и мы толкуем все на свой.

Такова история про подснежник.

---

## ТЕТУШКА

**Ж**аль, ты не знал тетушку! Она была просто прелесть! Не в смысле прелести внешней, которая обычно первым делом приходит на ум, а очень милая, ласковая, нравом веселая, — если охота поболтать да посмеяться над кем-нибудь, лучше собеседницы не сыскать. Словом, хоть сейчас вставляй ее в комедию, а все потому только, что она поистине жила Театром комедии и всем там происходящим. Тетушка была женщина целиком и полностью добропорядочная, но поверенный Хамм, которого она звала Хламм, твердил, что у нее театропомешательство, на почве комедий.

— Театр, — говорила она, — моя школа, источник моих знаний, он воскресил для меня библейскую историю — «Моисей», «Иосиф и его братья», теперь это оперы! Театр учит меня мировой истории и географии, учит разбираться в людях! Из французских пьес мне знакома и парижская жизнь, безнравственная, но очень интересная! Как я рыдала над «Семейством Рикбур», когда герой допивался до смерти, оттого что его любимая завела себе молодого дружка!.. Сколько слез пролила в пятидесятые годы, когда брала абонемент!

Тетушка знала каждую пьесу, каждую кулису, каждого актера, который участвует или участвовал в спектаклях. По настоящему она жила лишь девять месяцев театрального се-

зона. Летняя пора, когда спектаклей не играли, старила ее, тогда как всякий театральный вечер, затянувшийся за полночь, словно бы продлевал ей жизнь. Если обычно люди говорят: «Ну, вот и весна, аисты прилетели!.. В газете пишут, земляника поспела», — то она неизменно оповещала о наступлении осени: «Вы видели? Театральные ложи выставлены на аукцион, скоро начнутся спектакли!»

Стоимость жилья и его местоположение она оценивала по расстоянию до театра. И очень горевала, когда из переулка за театром пришлось переехать чуть подальше, на большую улицу, и поселиться в доме, где не было соседей напротив.

— Тамошнее мое окно прямо как ложа в театре! Незачем сидеть да копать в себе, можно и на людей посмотреть! А тут будто в ссылке, в пустыне какой. Чтобы увидеть людей, надо идти на кухню и садиться на судомойную плиту, оттуда только и видать соседей напротив. Нет, раньше, когда жила в своем переулке, я могла заглянуть напрямиком к торговцу льном, и до театра было всего три сотни шагов, теперь же — целых три тысячи, да не моих, а солдатских.

Иногда тетушка прихварывала, но никакая хворь не могла удержать ее в постели, она все равно шла в театр! Как-то раз доктор велел ей подержать вечером ноги в кислом тесте, и она выполнила предписание — поехала в театр и сидела там, держа ноги в кислом тесте. Доведись ей там умереть, она была бы счастлива. Кончину Торвальдсена, который умер в театре, она называла «блаженная смерть».

Даже в царстве небесном, как ей представлялось, непременно имеется театр; хоть нам его и не обещали, вполне можно предположить, что множеству блестящих актеров и актрис, которые некогда играли на сцене, по-прежнему дозволено заниматься лицедейством.

У тетушки был свой «электрический телеграф», соединявший ее комнату с театром, депеши приходили каждое воскресенье, к кофейному столу. Телеграф этот назывался «господин



Сивертсен», театральный машинист, по чьему сигналу выдвигали и убирали кулисы, поднимали и опускали занавес.

От него тетушка узнавала краткие и ясные отзывы о пьесах. Шекспировскую «Бурю» он называл «треклятый тарарам! Столько всего надо устанавливать, а в начале еще и воду подводи к первой кулисе!» — так далеко достигали волны прибоя. Если же на протяжении всех пяти актов сцена представляла одну и ту же комнату, он говорил, что пьеса разумная и написана хорошо, спокойная, идет себе и идет, без всяких перестановок.

В былые времена — так тетушка называла времена тридцатилетней примерно давности — и она, и означенный господин Сивертсен были моложе; он уже тогда состоял при машинах и, по ее словам, был ее «благодетелем». В ту пору на вечерних спектаклях единственного городского театра зрителей пускали на самый верхний, чердачный ярус, и каждый машинист имел в своем распоряжении одно или два места. Часто народу там набивалось — яблоку негде упасть, причем общество собиралось весьма изысканное, встречались якобы даже генеральши и коммерции советницы, ведь ужасно интересно заглянуть за кулисы и подсмотреть, что делается на сцене при опущенном занавесе.

Тетушка не раз там бывала, и на трагедиях, и на балетах, ведь спектакли, где участвовало больше всего артистов, куда интереснее смотреть с чердачного яруса. Зрители сидели в полумраке, большинство приносило с собой ужин; однажды три яблока и кусок хлеба с маслом и колбасой упали прямохонько в застенок Уголино, которого морили голодом, и публика захихикала. Этот-то бутерброд и стал одной из главных причин того, что дирекция запретила пускать зрителей на чердачный ярус.

— Но я успела побывать там тридцать семь раз, — говорила тетушка, — и этого я никогда господину Сивертсену не забуду.

В тот вечер, когда чердачный ярус был в последний раз открыт для публики, давали «Соломонов суд», тетушка точно запомнила. Через своего благодетеля, господина Сивертсена, она достала входной билет и для поверенного Хамма, хотя он этого не заслуживал, поскольку вечно насмеялся и подшучивал над театром. Но все же тетушка устроила ему место на верхотуре. Он хотел посмотреть комедию с изнанки, это его собственные слова, и они совершенно в его духе, заметила тетушка.

Господин Хамм, сидя наверху, смотрел «Соломонов суд» и заснул. Впору подумать, будто пришел он со званого обеда, где выпил не один бокал вина. Крепко заснул и оказался заперт на чердаке. Спал темной ночью на театральном чердаке, а когда проснулся, увидел кое-что интересное и после рассказал тетушке, но та ему не поверила. «Соломонов суд» кончился, рассказывал Хамм, все лампы и свечи погасли, люди разошлись, в партере и на ярусах ни души, и вот тут-то началась подлинная комедия, «эпилог», самый что ни на есть замечательный, как он выразился. Театр ожил! И играли вовсе не «Соломонов суд», нет, а «Страшный суд на театре», и поверенный Хамм имел дерзость внушать тетушке, что это чистая правда. Так он отблагодарил ее за то, что она провела его на чердак.

Слушать рассказ поверенного было весьма занятно, однако ж в нем сквозили скрытая злость и насмешка:

— Наверху царил кромешная тьма, а потом началась чертовщина, большое представление — «Страшный суд на театре». У дверей стояли капельдинеры, и каждый зритель должен был предъявить расчетную книжку своей души, только тогда его впускали в зал — со свободными руками или со связанными, в наморднике или без. Господ, пришедших с опозданием, когда спектакль уже начался, а также молодых людей, которые обычно не в ладу со временем, привязывали за дверь, нацепляли им войлочные подошвы, чтобы они тихонько вошли в зал к началу второго акта, и надевали намордники. И вот «Страшный суд на театре» начался.

— Злоба это все, неведомая Господу! — воскликнула тетушка.

Художнику, коли хотел он попасть на небо, нужно было подняться по лестнице, которую он изобразил, но по которой ни один человек взойти бы не сумел. Ведь это не лестница, а сущее издевательство над законами перспективы. Все растения и постройки, с таким трудом расставленные машинным мастером там, где им не место, ему же, бедняге, пришлось переправлять куда положено, да еще до первого петушиного крика — иначе не бывать ему на небе. Господину Хамму лучше бы озаботиться тем, как самому попасть в царство небесное! А что он рассказывал об актерах — и в трагедии, и в комедии, и в опере, и в балете, — одни только гадости! Нет, этот господин Хамм-Хламм совершенно не заслуживал приглашения на чердак. У тетушки язык не поворачивался повторять его слова. А он, Хламм-то, сказал, что у него все-все записано и пойдет в печать, но только после его смерти, не раньше, — боялся, что заключают его.

Лишь единственный раз тетушка испытала в театре, в этом храме счастья, страх и муку. Случилось это зимой, в один из тех мрачных дней, когда от темна до темна всего часа два. Холод, снегопад, но тетушка, конечно же, собралась в театр. Там давали «Германа фон Унна», а еще маленькую оперу и большой балет — пролог и эпилог, так что представление затянется до глубокой ночи. Тетушка твердо решила идти; жилец одолжил ей пару теплых сапог, меховых, пушистых внутри и снаружи, закрывавших икры.

Она пришла в театр, заняла свое место в ложе, а сапоги снимать не стала — очень в них тепло. Как вдруг закричали: «Пожар!» Из-за кулис и с чердака повалил дым — публика перепугалась, началась паника, люди сломя голову кинулись к выходу. Тетушка сидела в ложе дальше всех.

— Третий ярус, слева, оттуда декорации выглядят наилучшим образом, — рассказывала она. — Их всегда ставят

так, чтобы со стороны королевской ложи они представляли как можно красивее.

Конечно, тетушка тоже хотела выбраться из ложи, однако передние совсем потеряли голову от страха и захлопнули дверь. И бедняжка очутилась в западне: в коридор не выйти, в соседнюю ложу не перелезть — барьер чересчур высок. Криков ее никто не услышал, она посмотрела на нижний ярус — ни души, пусто, да и близко, рукой подать! С перепугу тетушка почувствовала в себе прямо-таки юношескую легкость и потому решила спрыгнуть вниз, перекинула одну ногу через барьер, другую оторвала от стула и уселась на барьере верхом, как на коне. Чисто амазонка, в нарядной цветастой юбке, одна стройная ножка за барьером, ножка в заемном меховом сапоге, — такое зрелище не каждый день увидишь! Вот тут-то ее и заметили, и услышали, и спасли от страшной участи сгореть заживо, потому что пожар в театре уже потушили.

Это был самый памятный вечер в ее жизни, говорила она, радуясь, что не могла видеть себя со стороны, а то бы сгорела со стыда.

Благодетель, театральный машинист господин Сивертсен, навещал ее каждое воскресенье, но от воскресенья до воскресенья проходит целая неделя, а это долгий срок. И со временем тетушка стала среди недели приглашать к себе «на остатки» одну девчушку из балета, иначе говоря, угощала ее остатками от обеда. Правда, девчушку впрямь не мешало подкормить. Она выступала на сцене и эльфом, и пажом, а самой трудной была роль задней лапы льва в «Волшебной флейте», однако она справилась и получила повышение — роль передней лапы; платили тут, впрочем, только три марки, тогда как задней лапе — целый ригсдалер, но зато и ходишь согнувшись в три погибели, и дышать нечем. Очень все это любопытно, говорила тетушка.

Она была вполне достойна жить, пока стоит театр, но такое, конечно же, оказалось ей не по силам; и умерла она не в театре,

а чинно-благородно, в своей постели. Последние ее слова, кстати, весьма примечательны. Она спросила: «Что играют завтра?»

После ее смерти осталось круглым счетом пятьсот ригсдалеров — судя по процентам, а они составляют двадцать ригсдалеров. Эти деньги тетушка отказала весьма достойной особе, одинокой старой деве, и на них следовало ежегодно абонировать место в ложе третьего яруса, на левой стороне, причем по субботам, поскольку именно тогда дают лучшие спектакли. Только одно-единственное условие поставила она своей наследнице: каждую субботу в театре вспоминать о ней.

Ведь театр был для тетушки религией.

---

## ЖАБЕНОК

**К**олодец был глубокий, веревка — длинная; чтобы вытащить ведро с водой, требовалась немалая сила — ворот поворачивался очень туго. Солнцу никогда не удавалось поглядеться в воду, сколь она ни была прозрачна, солнце видело только стенки колодца, каменные, поросшие мхом и лишайником.

Там обреталось жабе семейство, из пришлых, — сказать по правде, оно кубарем свалилось туда вместе со старой мамашей-жабой, которая еще была жива; зеленые лягушки, поселившиеся там гораздо раньше и плававшие в воде, признали жаб родней и называли «колодезными гостями». Однако ж гости и не помышляли менять место жительства, тут, на суше (так они называли сырые камни), им жилось куда как вольготно.

Мамаше-лягушке как-то раз довелось путешествовать: она угодила в ведро с водой и отправилась в нем наверх. Ох и светло же там — бедняжка едва не ослепла, но, по счастью, сумела выкарабкаться из ведра и со страшным шумом плюхнулась в воду; после ее целых три дня донимала боль в спине. Она мало что могла рассказать о верхнем мире, правда, и сама она, и остальные знали, что колодец еще не весь мир. Старой-то жабе, конечно, было что порассказать, но на расспросы она никогда не отвечала, вот никто и не спрашивал.

— Толстая она и безобразная, глупая и противная! — говорили молодые лягушки. — И потомство у нее такое же!

— Ну и пусть! — отвечала старая жаба. — Зато у одного из них самоцвет в голове, а может, и у меня самой.

Услышав такие слова, лягушки глаза вытаращили, но, поскольку им это не понравилось, скривили морды и нырнули на дно. А жабья молодежь надулась от гордости и вытянула задние лапы — каждый из них был уверен, что самоцвет у него; некоторое время они сидели не шевелясь, потом наконец спросили, чем они так гордятся, что это за самоцвет такой.

— Это вещь до того красивая и драгоценная, — отвечала старая жаба, — что я не в силах ее описать! Владелец носит ее для собственного удовольствия, а все остальные сгорают от злости. Больше никаких вопросов, я отвечать не стану!

— Ну, у меня самоцвета уж точно нет, — сказал самый маленький жабенок, до невозможности безобразный. — С какой бы стати мне обладать этакой драгоценностью? А коли другие из-за нее злятся, мне тоже радости мало! Нет, то ли дело выбраться разок на край колодца да посмотреть на мир — вот было бы замечательно!

— Лучше оставайся на месте! — одернула его старая жаба. — Тут тебе все привычно, все знакомо. Берегись ведра — зашибет, а угодишь внутрь — можешь выпасть. Заметь, не каждый падает так ловко, как я, не повредив ни лап, ни икринок.

— Квак! — сказал малыш, точь-в-точь как мы, люди, говорим «ах!».

Жабенку ужасно хотелось выбраться на край колодца, посмотреть на мир, увидеть зеленые деревья, и вот наутро, когда ведро с водой поднимали из колодца и оно случайно задержалось возле камня, на котором сидел жабенок, внутри у малыша так и затрепетало — он скакнул в ведро, в заманчивую воду. Ведро вытащили и опорожнили.

— Вот незадача! — воскликнул работник, заметив жабенка. — В жизни не видывал ничего противнее! — И он запустил в жабенка деревянным башмаком, едва не изувечил беднягу, но тот все же успел схорониться в высокой крапиве.

Сплошные стебли вокруг! Потом жабенок посмотрел вверх — солнце освещало листву, насквозь ее просвечивало, и чувствовал он себя примерно так же, как человек, очутившийся вдруг в огромном лесу, куда солнечный свет проникает через сплетение ветвей и листьев.

— Здесь намного красивее, чем в колодце! Так бы и остался на всю жизнь! — сказал жабенок, полежал часок и другой, потом задумался: «А что там, где заросли кончаются? Раз уж я сюда добрался, стоит продолжить путь!»

И он пополз, стараясь ползти как можно проворнее, и очутился на проселке, а пока маршировал через дорогу, спинку ему пекло солнце и запорашивала пыль.

— Вот уж поистине суша так суша, — сказал жабенок. — Вообще-то хорошенького лучше бы понемножку, мне уже вовсе не вмоготу.

Он добрался до канавы, заросшей незабудками и таволгой. По берегу ее тянулась живая изгородь из бузины и боярышника, увитая побегами белого вьюнка. Жабенок увидел яркие краски и даже порхающего мотылька, но принял его за цветок, который оторвался от стебля и отправился в широкий мир, — ведь это вполне естественно.

— Вот бы мне этакое проворство, — вздохнул жабенок. — Ква-квак! До чего же красиво!

Восемь дней и ночей провел он в канаве, благо еды там хватало, а на девятый день подумал: «Пора в путь!» Но вряд ли на свете отыщешь место краше! Разве что повстречаешь какого-нибудь жабенка или двух-трех зеленых лягушек. Минувшей ночью, когда дул ветер, ему послышались неподалеку голоса «родичей».



— Как хорошо жить на свете! Выбраться из колодца, лежать в крапиве, ползти по пыльной дороге и отдыхать в сырой канаве! Но пора в путь! Надо поискать лягушек или жабенка какого-нибудь, без компании никак не обойтись. Одной природы мало! — И жабенок продолжил свое странствие.

Долго ли, коротко ли, дополз он до поля, а на поле был пруд, заросший камышом, — туда он и нырнул.

— Для вас тут, поди, слишком мокро? — спросили лягушки. — Но мы вам рады, добро пожаловать! Вы кто — мальчик или девочка? Впрочем, это все равно! Добро пожаловать!

Потом они пригласили его на вечерний семейный концерт — огромный энтузиазм и жиденькие голоса, нам ли не знать! Угощения не подавали, только выпивка даровая, хоть весь пруд выпей, если сможешь.

— Ну что ж, мне пора! — сказал жабенок, который все время тянулся к лучшему.

Над головой он видел мерцанье звезд, крупных и ясных, видел сиянье новорожденной луны, видел, как солнце встает и поднимается все выше по небосклону.

«Нет, — думал он, — я по-прежнему в колодце, правда большущем, надо взобраться повыше! Меня гложут беспокойство и томление!»

Когда же луна выросла и стала совсем круглой, бедняга подумал: «Может, есть такое ведро, которое опустят вниз, и я смогу запрыгнуть в него, чтобы подняться повыше! Может, это ведро — солнце? Вон какое оно большое, сияющее, мы все там поместимся! Надо улучшить удобный случай! Ах, сколько света у меня в голове! Поди, и самоцвет ярче не светит! Только у меня его нет, да я по нем и не плачу. Нет! Ввысь, к блеску и радости! Я уверен в себе и все же боюсь, ведь сделать этот шаг так трудно! Но необходимо. Вперед, на проселок!»

И он сделал шаг, другой, третий, на свой жабий манер, конечно, и выбрался на большой тракт, возле которого жили люди, тянулись цветники и огороды. А когда устал, остановился отдохнуть возле капустных грядок.





— Сколько же тут всевозможных созданий, каких я никогда не видывал, и сколь же велик и благословен мир! Да, надо бы хорошенько оглядеться по сторонам, а не сидеть на одном месте! — С этими словами жабенок скакнул в капустные грядки. — Как зелено! Как красиво!

— А то я не знаю! — воскликнула гусеница, сидевшая на капустном листе. — Мой лист — самый большой! Он закрывает полмира, но уж это я как-нибудь переживу.

— Куд-кудах! — послышалось рядом. В огород пришли куры; та, что вышагивала впереди, отличалась дальновзоркостью; она углядела гусеницу на морщинистом листе и клюнула, но промахнулась, гусеница упала на землю и теперь корчилась там и извивалась. Курица посмотрела на нее сначала одним глазом, потом другим, потому что не могла взять в толк, к чему эти корчи приведут.

«Она поступает так не по доброй воле!» — подумала курица и подняла голову, чтобы клюнуть снова. Жабенок пришел в такой ужас, что со всех ног пополз к курице.

— Ба, да у нее и защитник нашелся! Гляньте на этого ползуна! — воскликнула курица и отвернулась. — Не очень-то мне и нужно это зеленое дрянцо, от него только в горле першит!

Остальные куры совершенно с нею согласились, и все они ушли прочь.

— Увернулась я от нее! — сказала гусеница. — Вот как важно сохранять присутствие духа, но самое трудное впереди: надо вернуться на капустный лист! Где он?

Жабенок подошел поближе и выразил ей сочувствие; он был очень рад, что своим безобразием сумел отпугнуть кур.

— Вы это о чем? — спросила гусеница. — Я же сама от них увернулась. А на вас смотреть весьма неприятно! Будьте любезны оставить меня одну! О, я чувю капусту! Вот он, мой лист, совсем близко! Что может быть лучше собственного имущества! Надо лишь заползти повыше!

— Да-да, повыше! — сказал жабенок. — Повыше! Мне тоже этого хочется, но сегодня я не в настроении, наверно, от

испуга. Нам всем охота забраться повыше! — И он устремил взгляд так высоко, как только мог.

В гнезде на крыше крестьянского дома сидел аист и трещал клювом, вместе с аистихой.

«Ох и высоко они живут! — подумал жабенок. — Вот бы попасть туда!»

В крестьянском доме жили два студента — поэт и натуралист; один радостно пел песни и писал обо всем творении Господнем и о том, как оно отражается в его сердце, пел в коротких, ясных, звучных стихах; второй исследовал материальное, сами вещи, даже вскрывал их при необходимости. Он относился ко всему сотворенному Господом как к большой математической задаче, вычитал, умножал, старался изучить вдоль и поперек и разумно об этом рассуждать. Здравомыслящий юноша, и рассуждал он обо всем с радостью и с умом. Словом, оба они были хорошие, жизнерадостные люди.

— Вон сидит отличный экземпляр жабьего племени! — воскликнул натуралист. — Надо его заспиртовать!

— У тебя уже есть два! — сказал поэт. — Оставь его, пусть сидит в свое удовольствие!

— Он такой замечательно безобразный! — возразил другой.

— Коли у него в голове нашелся бы самоцвет, — сказал поэт, — я бы и сам не прочь заняться вскрытием!

— Самоцвет! — вскричал натуралист. — Хорошо же ты знаешь зоологию!

— Но разве не замечательно, что в народном поверье именно жаба, самая безобразная тварь, часто таит в своей голове бесценный самоцвет? Ведь и с людьми происходит так же! Взять, к примеру, Эзопа или Сократа!..

Больше жабенок ничего не услышал, да и из услышанного половины не понял. Друзья ушли, и он благополучно избежал банки со спиртом.

— Вот и они тоже про самоцвет толковали! — сказал себе жабенок. — Хорошо, что у меня его нет, а то бы не миновать неприятностей.

Тут с крыши донесся треск клюва — папаша аист наставлял свое семейство, а оно искоса поглядывало на молодых людей среди капустных грядок.

— Люди — существа до крайности тщеславные! — провозгласил аист. — Только послушайте, как они тарыхтят! А ведь настоящего треска издать не могут. Кичатся своей речистостью, своим языком. Хорош язык, ничего не скажешь! Стоит им перебраться в другое место, на расстояние нашего дневного перелета, и тамошний язык им уже непонятен, один не понимает другого. Наш-то язык понятен повсюду — что в Дании, что в Египте. И летать люди не умеют. Ездят на этакой хитрой штуковине, которая у них зовется железной дорогой, и частенько ломают себе там шею. Меня мороз по клюву дерет при мысли об этом. Мир вполне может существовать без людей. Мы легко без них обойдемся! Были бы лягушки да дождевые червяки!

«Вот это речь так речь! — подумал жабенок. — Какой великий ум! А как высоко сидит, я еще никого так высоко не видал».

— Да еще и плавать умеет! — воскликнул он, потому что аист расправил крылья и полетел.

Аистиха в гнезде рассказывала про Египет, про нильскую воду и про бесподобный ил, какого в дальних краях полным-полно. Для жабенка все это было ново и ужасно интересно.

— Мне обязательно надо попасть в Египет! — сказал он. — Лишь бы аист или кто-нибудь из его отпрысков согласился взять меня с собой. Уж я отслужу им на свадьбе. Да, я непременно попаду в Египет, ведь я счастливчик! Во мне столько пылкого желания, и это куда лучше, чем самоцвет в голове.

А ведь это и был самоцвет — пылкое, неистребимое желание, стремление вперед, только вперед! Самоцвет горел внутри, светился радостью, лучился восторгом.

Тут аист к нему и подлетел — увидел жабенка в траве, ринулся вниз и сцапал, отнюдь не бережно. Клюв давит, ветер свистит — ужас как неуютно, но жабенок точно знал: путь-то он держит вперед, в Египет, — а потому глаза у него сверкали, из них словно искра вылетела.

— Ква-квак!

Жабенок умер, аист убил его. Но искра, вылетевшая из его глаз, с нею-то что случилось?

Солнечный луч подхватил ее, солнечный луч унес самоцвет жабенка. Куда?

Не спрашивай у натуралиста, спроси у поэта, и он расскажет тебе сказку — и про гусеницу там вспомнит, и про аистиное семейство. Ты вот подумай! Гусеница превращается в прелестного мотылька! Аистиное семейство улетает за горы, за моря в далекую Африку и все ж таки находит самый короткий путь домой, в Данию, на то же место, на ту же крышу! Да, вроде бы сущая сказка, и тем не менее, чистая правда! Если хочешь, спроси у натуралиста, он подтвердит, хотя ты и сам знаешь, потому что видел все собственными глазами.

Но самоцвет? Жабий самоцвет?

Ищи его на солнце! Высмотри, если сможешь!

Блеск там слишком ярк. Наши глаза пока не способны лицезреть творение Господне во всем его величии, но дайте срок — станет явью и эта чудесная сказка, самая чудесная на свете, потому что мы будем ее участниками.

---

## КНИГА КРЕСТНОГО

**К**рестный был большой мастер рассказывать истории и знал их великое множество, и длинных, и коротких; еще он умел вырезать да рисовать картинки и, когда близилось Рождество, доставал толстую тетрадь с чистыми белыми страницами и вклеивал туда картинки из книг и газет, а если для рассказа их не хватало, сам брался за карандаш. Ребенком я получил в подарок несколько таких тетрадей, и самой любопытной из всех, бесспорно, была та, где речь шла о «достопамятном годе, когда в Копенгагене вместо старых ворванных фонарей установили газовые», как сообщалось на первой странице.

— Эту книгу непременно надо поберечь, — решили тетушка и мама, — ее впору только по праздникам открывать.

Правда, на переплете крестный написал:

Книжку порвать — велика ли беда,  
Дети творили похуже дела.

Занятней всего бывало, когда крестный сам открывал книгу, читал стихи и прочие записи, а вдобавок еще много чего рассказывал, — вот тогда история получалась преувлекательная.

На первой странице он наклеил картинку, вырезанную из «Летучей почты» и изображавшую Копенгаген с Круглой башней и собором Пресвятой Богородицы. Картинка на со-



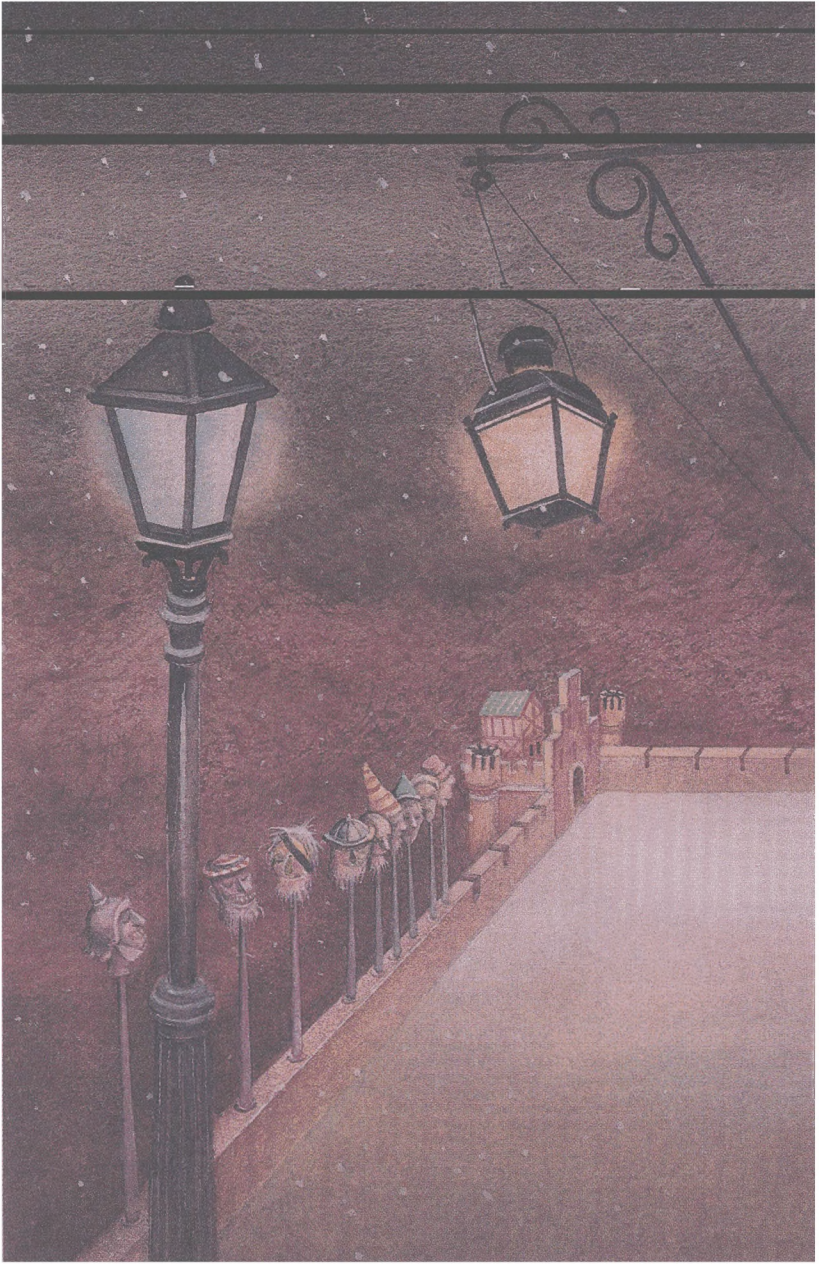
седней странице представляла старый фонарь, на котором виднелась надпись «ворвань», а справа от него — другой, с надписью «газ».

— Присмотрись хорошенько! — сказал крестный. — Здесь начало истории. Об этом можно бы разыграть целый спектакль под названием «Ворвань и газ, или Житье-бытье Копенгагена». Отличное название! А вот тут, в самом низу, есть еще одна маленькая картинка, не очень-то понятная, так что лучше я объясню: это — Адский Конь. Сперва я хотел поместить его в конце книги, однако он забежал наперед, чтобы сказать: ни начало, ни середина, ни конец никуда не годятся, уж он-то сделал бы все намного лучше, если б мог. Адский Конь, скажу я тебе, днем на привязи, в газете, бродит по так называемым рубрикам, но вечером удирает на волю — станет у дверей поэта и ржет: мол, скоро умрешь! Да только не умрет он, коли жив по-настоящему. Адский Конь почитай что всегда сущий горемыка, сам в себе разобраться не может, не знает, чем бы на жизнь заработать, вот и перебивается кое-как — шастает по округе да ржет. Я уверен, книга моя со всеми ее картинками совершенно ему не нравится, но, что ни говори, она стоит хотя бы той бумаги, на которой написана... Ну вот, стало быть, перед тобой первая, заглавная страница!

\*

В самый последний раз ворванные фонари зажгли тем вечером, когда весь город озарился газовыми огнями, которые совершенно затмили блеском тусклый свет своих старых товарищей.

— Я и сам в тот вечер дома не усидел, — рассказывал крестный. — Народ гулял по городу, любовался новым и старым освещением. Людей множество, прямо-таки море голов, а ног еще вдвое больше. Ночные сторожа вовсе приуныли, потому что не знали, когда им дадут отставку, как дали отставку старым фонарям. Сами же фонари между тем размышляли о прошлом — о будущем-то они думать не решались.





Несчетными тихими вечерами и темными ночами освещали они город, и воспоминаний им было не занимать. Я прислонился к такому фонарю, он шипел и потрескивал, и я услышал, о чем он рассказывает. Сейчас и ты об этом узнаешь.

«Мы сделали что смогли, — говорил фонарь. — В свое время нас хватало, мы светили и в радости, и в печали, повидали много удивительного, были, как говорится, ночными глазами Копенгагена. Ну что ж, пора уступить место новым огням, теперь их черед нести службу, а уж сколько годов им доведется светить и что освещать — время покажет! Конечно, они чуток поярче нас, стариков, и немудрено, коли они имеют по несколько горелок и все связаны меж собою. Трубки от них тянутся в разные стороны, и они могут черпать силу как в городе, так и за его пределами. Зато мы, ворванные фонари, светим каждый своими силами, а не семейными. Мы и наши предки с давних незапамятных времен освещали Копенгаген. И если уж нынче выпало нам светить в последний раз, вместе с вами, яркие наши товарищи, но вроде как во второй шеренге, мы не станем ни роптать, ни завидовать, нет-нет, будем веселы и добры. Нас, стариков-часовых, сменяет новый караул в красивых новеньких мундирах. И мы расскажем вам обо всем, что в далекие, давно минувшие времена повидало наше племя, — поведаем всю историю Копенгагена. А когда и вы отправитесь в отставку — увы, это неизбежно! — глядишь, у вас и у ваших потомков, вплоть до последнего газового фонаря, тоже найдется о чем порассказать, вы тоже повидаете на своем веку немало удивительного. Да, как ни жаль, отставка и вас не минует, люди наверняка придумают освещение получше газового. Я вот слышал, как один студент говорил, будто бы жечь станут морскую воду». При этих словах фонарь зашипел-затрещал, точно в него впрямь попала вода.

Крестный еще некоторое время прислушивался, а поразмыслив, решил, что старые фонари подали ему отличную

идею — в этот вечер перехода от ворвани к газу рассказать и показать всю историю Копенгагена.

— Хорошую идею упускать негоже, — сказал крестный, — и я сей же час поспешил домой и сделал для тебя эту самую книжку с картинками, которая заглядывает в прошлое еще дальше, чем фонари... Вот тебе книжка, вот тебе история: «Житье-бытье Копенгагена». Начинается все с кромешного мрака, с аспидно-черной страницы, с темных времен.

\*

— А теперь перевернем страницу! — сказал крестный. — Видишь картинку? Бурное море да неистовый норд-ост, холодный северо-восточный ветер! Он гонит тяжелые льдины, живности на них никакой, только огромные каменные глыбы, что далеко на севере рухнули на лед с норвежских круч. Норд-ост уносит льды прочь, хочет показать немецким горам, какие утесы есть в северных краях. Ледяной флот уже в проливе Эресунн, у побережья Зеландии, где ныне стоит Копенгаген, тогда-то Копенгагена еще не было. Под водой таились большие песчаные наносы, в один такой и уткнулись льдины с огромными каменными обломками — весь ледяной флот замер, ветер никак не мог сдвинуть его с места, а оттого изрядно рассвирепел и, осыпая песчаную отмель проклятиями (он называл ее «разбойничье логово»), твердил, что если она когда-нибудь поднимется над волнами, то станет прибежищем разбойников и лобным местом.

Однако меж тем как он яростно изрыгал проклятия, выглянуло солнце, а на лучах его качались-катались добрые, ясные дүхи, дети света. Они принялись танцевать на дышащих холодом льдинах, те растаяли, и огромные каменные глыбы опустились на песчаное дно.

«Солнечный сброд! — вскричал норд-ост. — Хорошенькое дружество и родство! Я вам это попомню, я вам отомщу! Проклинаю!»

«А мы благословляем! — пели дети света. — Песчаная отмель встанет из волн, и мы ее защитим! Здесь будут жить истина, добро и красота!»

«Вздор! Пустая болтовня!» — откликнулся ветер.

Об этом фонари никак не могли поведать, — заметил крестный, — зато я могу, ведь это очень важно для житья-бытья Копенгагена.

\*

— Давай-ка перевернем страницу! — сказал крестный. — Много-много лет прошло, песчаная отмель подросла, и однажды на самый большой камень, выступавший из воды, села морская птица. Вот она на картинке, видишь? И еще много-много лет миновало. Море выбрасывало на песок мертвую рыбу, цепкая, упорная трава-песчанка прорастала среди камней, увядала, гнила, истлевала; появилось много других трав и злаков — отмель стала зеленым островом. Викинги приставали к берегу. Островок возле Зеландии был хорошим местом для смертельных поединков и удобной якорной стоянкой. И вот зажглась первая плошка с ворванью. Я думаю, на ее огне жарили рыбу, а рыбы тут хватало с избытком. В проливе ходили громадные косяки сельди, и провести над ними суда было непросто, в воде будто зарницы сверкали, будто сполохи полярные играли. Да, рыбы в проливе впрямь хватало с избытком, оттого на зеландском берегу начали строить дома, с дубовыми стенами, крытые корой, ведь и деревья тут было сколько хочешь. В гавань заходили корабли; ворванный фонарь качался в снастях, а норд-ост свистал-завывал: «У-у-у-у!» Если на островке горел фонарь, то наверняка бандитский: контрабандисты и воры исправно навещали Разбойничий остров.

«Вижу, скверна-то растет, как я и хотел! — радовался норд-ост. — Скоро вырастет дерево, с которого я сниму урожай».

— Вот оно, дерево, — сказал крестный. — Гляди: это виселица на Разбойничьем острове. И висят на ней в желе-

зах разбойники и убийцы, в точности как висели тогда. Скелеты стучали костями на крепком ветру, но луна освещала их так же благосклонно, как и теперешний пикник в лесу. И солнце светило ласково, пробивалось меж качающихся скелетов, а на лучах пели дети света: «Мы знаем, мы знаем! В грядущие времена здесь станет красиво! Хорошо станет, замечательно!»

«Вздор! Чепуха!» — кричал норд-ост.

— А мы перевернем страницу! — сказал крестный.

\*

Колокола звонили в Роскилле, где жил епископ Абсалон; он и Библию свою читал, и мечом ловко бился, имел и власть, и решимость. Хотелось Абсалону дать защиту от набегов усердным зеландским рыбакам, чей поселок рос себе помаленьку и уже стал торговым очагом. И повелел Абсалон окропить нечестивую землю святой водою, отпустил грехи Разбойничьему острову. Каменщики и плотники взялись там за работу, по приказу епископа начали строить. Солнечные лучи целовали красные стены, а те поднимались все выше.

Так воздвиглась Акселева твердыня.

Замок гордый!  
 Башни, шпили,  
 Лестницы, мосты!  
 У-у! Ху-у! —  
 Норд-ост холодный  
 Дует с высоты.  
 Надувает щеки ветер,  
 Воеет и свистит,  
 Только замок не разрушить,  
 Крепко он стоит.

А перед замком был поселок Хаун, с пристанью, купеческой пристанью.

Русалок обитель с водами ясными  
Воздвиглась в дубраве зеленой.\*

Чужеземцы съезжались туда, скупали великое множество рыбы, строили торговые лавки и дома с окошками, затянутыми бычьим пузырем, стекло-то ценилось слишком дорого, строили пакгаузы с фронтонами и подъемниками. Видишь, в лавках сидят старики приказчики, жениться побоялись, вот и торгуют имбирем да перцем, старые бобыли!

Крепкий норд-ост гуляет по улицам и переулкам, гоняет пыль, а не то и соломенную крышу где-нибудь сорвет. В сточной канаве бродят коровы и свиньи.

«Буду всех угнетать-притеснять, — гудит ветер, — вихрем помчусь вокруг домов, вокруг Акселевой твердыни! Не могу я сплеховать! Даром, что ли, твердыню на Разбойничьем острове зовут замком казненных!»

И крестный показал картинку, которую нарисовал своей рукой. Вся стена утыкана кольями, а на кольях скалятся головы морских разбойников.

— Все это чистая правда, — сказал крестный, — и надобно знать ее и хорошенько уразуметь. Епископ Абсалон аккурат мылся в бане, когда сквозь тонкую стену услышал, что к берегу подошло пиратское судно. Он тотчас бросился вон из бани, в считанные минуты был на своем корабле и затрубил в рог. Матросы высыпали на палубу, стрелы градом полетели в спину разбойникам, которые повернули вспять и изо всех сил налегали на весла. Стрелы впивались гребцам в руки, но выдергивать их было недосуг. Епископ Абсалон всех до единого взял в плен и казнил, а головы приказал насадить на колья и выставить на стене замка. Норд-ост ярился, надувая щеки, нагонял непогоду.

---

\* Николай Фредерик Северин Грундтвиг. (Прим. автора)



«Отдохну-ка я тут, — сказал он себе, — прилягу да погляжу, что и как».

Отдыхал он час-другой, а дул сутками. Так шли годы.

\*

Дозорный вышел на башню, бросил взгляд на все четыре стороны света.

— Вот он на картинке, — сказал крестный, — видишь? А что он говорил, я сам тебе доложу.

От стен Акселевой твердыни далеко, до самой бухты Кёге, простирается открытое море, широкий пролив омывает берега Зеландии. В окрестностях Серритслева и Сольбьерга, на месте больших поселков, растет новый город — фахверковые дома со щипцом, целые улицы башмачников да кожевников, торговцев пряностями да пивоваров. Есть и рыночная площадь, и дом цеховых собраний, а возле берега, где прежде был островок, стоит великолепная церковь Святого Николая, с башней и шпилем, высоким-превыским, глядится в прозрачные воды! Неподалеку еще одна церковь — Пресвятой Богородицы; там служат мессы, поют псалмы, пахнет ладаном, горят свечи. Теперь Купеческая Гавань, то бишь Копенгаген, — город епископский, и правит здесь епископ из Роскилле.

Епископ Эрландсен сидит в Акселевой твердыне. На кухне жарят-парят, разливают по кубкам пиво и кларет, слышатся звуки скрипочки-фидлы и барабанов. Горят свечи и лампы, замок сияет огнями, будто всю страну осветить норовит. Норд-ост налетает на башни и стены, но они стоят как ни в чем не бывало; ветер мчится на запад, набрасывается на городские укрепления, на старый бревенчатый палисад, — он тоже держится прочно! А у ворот стоит датский король Кристофер I. Бунтовщики разбили его под Скельскёром, и он ищет приюта в епископском городе.

Ветер дует, повторяет за епископом: «Нет тебе входа! Ворота закрыты!»

\*

Смутное время, тяжкие дни; всяк норовит сам править-хозяйничать. Голштинский стяг реет на башне замка. Утраты и вздохи — непроглядная ночь страха; раздоры в стране да черная смерть. Кромешная тьма — и вот пришел Аттердаг.

Епископский город стал королевским. Есть там дома со щипцом и узкие улочки, есть стража и ратуша, а у Западных ворот — каменная виселица. Нездешних на ней не вешают, только горожанин вправе болтаться на этой виселице, да так высоко, что мог бы увидеть Кёге и тамошних кур.

«Хороша виселица! — радуется норд-ост. — Красоты прибывает!» И снова свищет-завывает.

Из Германии дохнуло враждою и бедствием.

— Ганзейцы явились, — сказал крестный, — явились из пакгаузов и от прилавок, богатые купцы из Ростoka, Любека, Бремена, захотели урвать побольше, мало им золотого гуса с Вальдемаровой башни. Власти у них в королевском городе было куда больше, чем у самого датского короля, и явились они на вооруженных кораблях. Застали горожан врасплох. Правда, король Эрик и не помышлял сражаться с немецкими родичами, столь многочисленными и сильными. Вместе со своими придворными он спешно покинул город через Западные ворота, бежал в Сорё, к тихому озеру, в зеленые леса, к любовным балладам и звону кубков.

Но остался в Копенгагене один человек с подлинно королевским сердцем и душою. Посмотри на картинку. Видишь молодую женщину, красивую, хрупкую, с льняными волосами и синими, как море, глазами? Это королева Дании Филиппа, английская принцесса. Она осталась в перепуганном городе с его улочками и переулками, крутыми лестницами, сараями и лавчонками, где кишмя кишит народ, знать не зная, как быть. У нее храброе сердце воина, она обращается к горожанам и крестьянам, ободряет их, внушает мужество.

И вот уже снаряжаются корабли, в блокгаузах размещаются защитники, щелкают кнуты возчиков; огонь и дым кругом, настроение приподнятое — Господь не оставит Данию! И солнце светит во все сердца, радостью победы горит в глазах. Благослови Господь Филиппу! Ее видят повсюду — и в хижинах, и в домах побогаче, и в королевском замке, где она ухаживает за ранеными и хворыми. Я вырезал веночек и примостил его вокруг этой картинки, — сказал крестный. — Благослови Господь королеву Филиппу!

\*

— Ну а теперь давай перенесемся подальше вперед! — сказал крестный. — И Копенгаген перенесется вместе с нами. Король Кристиан I побывал в Риме, получил папское благословение, и на долгом пути его встречали почестями и ликованием. В Копенгагене он строит кирпичное здание — здесь будет произрастать ученость, латинская ученость. Бедняцкие дети от сохи и ремесла тоже могут прийти сюда, испросить себе место, надеть длинное и просторное черное одеяние, петь у дверей горожан.

Рядышком с обителью учености, где кругом сплошь латынь, стоит маленький домик. В нем царят датские обычаи и датская речь. Завтракают здесь пивной похлебкой, а обедают в десять утра. Солнце заглядывает в оконца, освещает шкаф с провизией и шкаф с книгами. В нем-то и лежат письменные сокровища — Миккелевы «Дева Мария с четками» и возвышенные библейские стихи, «Лечебник» Хенрика Харпестренга и «Датская рифмованная хроника» брата Нильса из Сорё. Их должно знать каждому датчанину, говорит хозяин, а он-то как раз и может способствовать их известности. Ведь это датский первопечатник, голландец Готфред ван Гёмен. Ему подвластно загодочное и благословенное искусство — печатание книг.

И книги приходят в королевский замок и в дом простого бюргера. Притчи и песни обретают вечную жизнь. Обо всем,

что люди не решаются высказать в горе и в радости, поет птица народных песен, иносказательно и все же совершенно ясно; свободно стремится она свой полет, залетает и в людскую, и в покои знатных господ, соколом сидит и клеочет на руке благородной девицы, крохотной мышкой пробирается в убогую лачугу кабального крестьянина и тихонько пищит ему.

«Вздор! Чепуха!» — кричит неумный норд-ост.

«Весна на дворе! — говорят солнечные лучи. — Глянь, как все распускается!»

\*

— Перевернем еще несколько страниц! — сказал крестный.

Копенгаген полон блеска! Турниры, игры, роскошные процессии. Смотри, благородные рыцари в доспехах, знатные дамы в шелках и золоте. Король Ханс выдает свою дочь Элисабет за курфюрста Бранденбургского. Как она молода, как жизнерадостна! Ступает по бархатной дорожке, и все ее помыслы о грядущем — о счастливой семейной жизни. Рядом с нею — брат, его королевское высочество принц Кристиан, взгляд у него мрачный, горячая кровь кипит. Простой народ его любит, он знает тяготы простых людей, думает о будущем бедного человека.

Лишь Господь властен над счастьем!

\*

— Перевернем еще страницу! — говорит крестный. — Ветер лютует, поет об остром мече, о тяжком времени, о смуте.

Студеный день в середине апреля. Отчего столько народу толпится подле замка, у старой таможни, где стоит королевский корабль под парусами и флагом? У окон и на крышах виднеются люди. Скорбь и печаль в городе, надежда и страх. Все смотрят на замок — прежде в его золоченых залах плясали огни факелов, теперь там пусто и темно. Все смотрят на эркерное окно, откуда король

Кристиан так часто глядел на дворцовый мост и на узкую улочку, что ведет к его Голубке, девушке-голландке, которую он привез из города Бергена. Ставни закрыты. Все смотрят на замок — ворота открываются, опускается подъемный мост. Появляется король вместе с верной своей женою Элисабет, не желает она покинуть супруга и государя в годину жестоких испытаний.

Огонь горел в его крови, горел в его помыслах; он хотел порвать со старыми временами, сломать крестьянское ярмо, быть добрым для граждан, подрезать крылья «алчным ястребам», но тех было слишком много. И вот он покидает державу, чтобы искать друзей и родичей за ее пределами. Жена и верные люди сопровождают его; в час разлуки глаза у всех мокры от слез.

В песне времен сплетаются голоса «за» и «против» короля. Вот послушай голос знати, речи вельмож записаны и напечатаны: «Горе тебе, Кристиан Тиран! Кровь, пролитая на площадях Стокгольма, громко вопиет, призывая на тебя проклятия!»

И в голосе монахов тот же приговор: «Ты отринут Господом, отринут и нами! Ты призвал сюда Лютерово учение, отдал ему церковь и кафедру проповедника, позволил вести дьявольские речи. Горе тебе, Кристиан Тиран!»

Но крестьяне и бюргеры глубоко скорбели по нем: «Кристиан, любимец народа! Нельзя продавать крестьянина как скотину, нельзя выменивать его на охотничьего пса! Этот закон — главное свидетельство о тебе!» Но слова бедняка — что плевелы на ветру.

Корабль идет мимо замка, а горожане спешат на вал, чтобы оттуда еще раз увидеть королевскую ладью.

\*

Время тягуче, время бегуче, на друга и родню не уповай!  
Дядюшка Фридрих из Кильского замка дал согласие стать датским королем.

И вот король Фредерик обложил Копенгаген. Видишь эту картинку? «Стойкий Копенгаген». Вокруг сплошные черные тучи, ты только погляди! Картинка эта не простая, а звучащая, по сей день она звучит в сказаниях и песнях: тяжкое, скудное, горькое время в бескрайней череде годов.

Но как же король Кристиан, бесприютный скиталец? О нем пели птицы, а они летают далеко, над сушей и над морем. Ранней весной с юга, через германские земли, прилетел аист, он-то и видел все, о чем поведал ниже:

«Бежавшего короля Кристиана я видел на вересковой пустоши; он встретил там убогую конную повозку, в которой сидела женщина — его родная сестра, курфюрстина Бранденбургская. За верность лютеровскому учению муж прогнал ее из дома. На унылой пустоши встретились изгнанники — королевские дети\*. Время бегуче, время тягуче, на друга и родню не уповай!»

Печальную весть принесла ласточка из замка Сённерборг. «Короля Кристиана предали! Он заточен в башне, в глубоком подземелье. От тяжких его шагов тянется по каменному полу борозда, пальцы оставляют след в твердом мраморе стен».

О, неизбывна скорбь тех слов,  
Что бороздами камень сей изрыли\*\*.

Из привольных морских просторов прилетела скопа, и видела она на волнах проворное суденышко, а плыл на нем храбрец Сёрен Норбю с острова Фюн. Удача сопутствует ему, но она капризна, как ветер.

В Ютландии и на Фюне каркает воронье: «Мы готовы в поход! Все идет наилучшим образом! Вон сколько здесь

---

\* «Только подумать, что детям такого набожного, доброго и благородного монарха, как король Ханс, выпало на свете столь мало счастья». — *Арильд Витфельд. (Прим. автора)*

\*\* *Фредерик Палудан-Мюллер. (Прим. автора)*

мертвечины — и коней, и человеков». Смутное время, Графская распря. Крестьяне взялись за дубинки, горожане — за ножи, закричали: «Перебьем волков, ни одного волчонка в живых не оставим!» Дым клубится над горящими селениями.

Король Кристиан томится в замке Сённерборг, не выйти ему на волю, не увидеть Копенгаген в жестокой беде. На том месте, где некогда стоял отец, стоит теперь Кристиан III. Город охвачен страхом, там свирепствуют голод и повальные болезни.

Возле церковной стены сидит оборванная истощенная женщина. Она мертва. Но два младенца у нее на руках живы, сосут кровь из груди покойницы.

Люди пали духом, сопротивление слабеет. О стойкий Копенгаген!

\*

Гремят фанфары! Слышишь? Бьют барабаны, поют трубы! Разодетые в шелк и бархат, с пышным плюмажем на шляпах, гарцуют верхом знатные господа, кони их блещут золоченой сбруей. Направляются они к площади Гаммельторв. Что там — карусели или ристания по давнему обычаю? Горожане и сельские жители в праздничных нарядах спешают туда же. Что там происходит? Может, на площади сложили костер, чтобы спалить папские образа, или там стоит палач, как он стоял возле костра Слагхека? Его величество король Дании — лютеранин, и это надобно объявить во всеуслышание и признать.

Вельможные дамы и благородные девицы — все в платьях с высоким воротом, в шитых жемчугом головных уборах — сидят у открытых окон, любясь великолепным зрелищем. На застланном сукном помосте, под суконным же балдахином, восседает неподалеку от королевского трона Государственный совет, все в старинных одеждах. Король безмолвен. И вот на датском языке оглашают его волю, волю Государственного совета. Горожане и крестьяне внемлют суро-

вым речам, бичующим их непокорство высшей знати. Достоинство горожан попорано, крестьяне закабалены. Затем слова осуждения обрушиваются на датских епископов. Их власти пришел конец. Все имущество церкви и монастырей отходит королю и дворянству.

Гордыня и ненависть, роскошь и нищета.

Гольгѣба пешком ковыляет,  
С устатку хромает...  
Богачи в каретах катят,  
Верхом поспешают!..

Время перемен — время тяжелых туч, хотя нет-нет да и солнце выглядывает. Вот только что свет осиял обитель учености, студенческий приют; блеск тех имен не угас и поныне. Назовем Ханса Таусена, сына бедного фюнского кузнеца:

Из Биркенде был мальчуган тот родом,  
Чье имя в Дании передают из уст в уста.  
Сей датский Лютер вел сраженья словом  
И духом мощным покорил народные сердца\*.

Лучится светом и имя Петр Палладиус — это на латинский манер, а по-датски Педер Пладе, Роскильский епископ, тоже сын бедного кузнеца, только из Ютландии. Из знатных же имен ярко блещет Ханс Фриис, государственный канцлер. Он близко к сердцу принимал нужды студентов, всячески опекал их, а равно и учеников гимназий. Но славы и песен достоин прежде всего один:

Покуда в Акселевой гавани студент  
Пером и рифмою владеет,  
Он имя Кристиана короля всегда  
Прославить и воспеть сумеет\*\*.

\* Бернхард Северин Ингеман. (Прим. автора)

\*\* Поуль Мартин Мёллер. (Прим. автора)



Солнечные лучи пробивались-таки меж тяжелых туч во время перемен.

\*

Перевернем страницу.

Что это плещется и поет в Большом Бельте у берегов острова Самсё? Русалка с зелеными, как тина, волосами поднимается из морских волн, пророчествует крестьянам о рождении принца, которому назначено стать королем, великим и могущественным.

В поле, под цветущим боярышником, явился на свет другой датчанин. Ныне именем его расцвечены сказания и песни, его славят в рыцарских усадьбах и замках окрест. Воздвиглась Биржа с ее башнями и шпилями; встал Росенборг, глядящий далеко по-над валом; даже студенты обзавелись собственным домом, совсем рядом с которым тянется ввысь столп Урании — Круглая башня, что смотрит на Вен, на Ураниенборг. Золотые его купола сияли под луною, и русалки пели о человеке, который там трудился, которого навеждали короли и великие мыслители, о гении, что вышел из дворянства, — о Тихо Браге. Он вознес имя Дании в заоблачные выси, запечатлел средь звезд, возвеличив его в просвещенных странах всего мира. А Дания отринула своего сына.

Ища утешения в своей боли, он писал:

Небо есть везде и всюду —  
Чего же боле мне желать?

Стихи его живут как народные песни, как песнь русалки о Кристиане Четвертом.

\*

— А на эту страницу тебе надобно посмотреть очень внимательно! — сказал крестный. — Видишь? Картинка за картинкой, как в героической балладе строфа за строфой. У этой песни радостное начало и печальный конец.

Королевская дочка танцует в королевском замке — прелесть как она хороша! Леонора, любимая дочка Кристиана IV, сидит у отца на коленях. Подрастает, усваивает надлежащие манеры и женские добродетели. Благороднейшего вельможу из числа могущественной знати, Корфица Ульфельдта, прочат ей в мужья. Леонора еще ребенок, и строгая гофмейстерина порой угощает ее розгами; она жалуется жениху и совершенно права. Она и умна, и прекрасно воспитана, и начитанна, знает греческий и латынь, поет по-итальянски под лютню, умеет вести беседу о папстве и о Лютере.

Король Кристиан лежит в склепе Роскильского собора, на троне теперь брат Леоноры. Копенгагенский замок полон блеска и роскоши, красоты и талантов, и первое место принадлежит, разумеется, королеве — Софии Амалии Люнебургской. Кто так умело, как она, правит лошадью? Кто так царствен в танце, кто с таким умом и знанием дела ведет беседу, как королева Дании?

«Леонора Кристина Ульфельдт! — провозглашает французский посланник. — Красою и умом она превосходит всех».

Из воценого пола королевского бального зала проросли репы зависти. Колючие, цепкие, они проникают повсюду, опутывая все вокруг глумливой насмешкой: «Отродье любовницы! Ее карету не должно пускать через замковый мост. Там, где королева едет в карете, этой женщине надлежит ходить пешком!» Сплошь сплетни, наветы, ложь.

И однажды тихой ночью Ульфельдт берет жену за руку. У него есть ключи от городских ворот, и одни он тайком отпирает. Там ждут лошади. Оба скачут по берегу, а потом отплывают в шведский край.

\*

Перевернем страницу. Вот так же и удача перевернулась, изменила этим двоим.

Осень, дни коротки, ночи долги; пасмурно, сыро, холодный ветер все крепчает, шумит в кронах деревьев на валу. Листья

дождем сыплются во двор Педера Оксе; усадьба пуста, покинута хозяевами. Ветер мчится над Кристиансхауном, кружит по усадьбе Кая Люкке, где теперь каторжная тюрьма. Сам Кай Люкке с позором изгнан из страны, герб его расколот, на самой высокой виселице повешено его изображение — так он наказан за свои шуточные, легкомысленные слова о достославной датской королеве. Громко воя, мчится ветер через пустырь, где прежде стояла усадьба королевского гофмейстера, от которой остался один-единственный камень. «Я принес сюда на льдине этот обломок, — свищет ветер, — в незапамятные времена, когда проклятый мною Разбойничий остров еще не успел подняться из моря. Много-много позже очутился этот камень в усадьбе господина Ульфельдта, где красавица Леонора пела под звуки лютни, читала по-гречески и по-латыни да тешила свою гордыню. Ныне же лишь камень тешит свою гордыню, кичится надписью:

*«Изменнику Корфицу Ульфельдту  
на вечный позор, стыд и глумление».*

А где она теперь, благородная Леонора? У-у-у-у!» — пронзительно воеет ветер. В Синей башне позади королевского замка, где морские волны плещут об ослизлую стену, сидит она уже долгие годы. В узилище скорее дымно, чем тепло; крохотное оконце высоко, под самым потолком — наружу не выглянешь! Изнеженная дочка Кристиана IV, утонченная барышня и дама, — в каком убожестве она очутилась! Память облекает закопченные стены тюрьмы драпировками и шпалерами. Леонора вспоминает чудесное время детства, ласковый, светлый облик отца, вспоминает роскошный свадебный кортеж, вспоминает дни гордого величия и бедственные времена в Голландии, в Англии, на Борнхольме.

Для истинной любви все тяготы — ничто!

Но в ту пору они были вместе, теперь же она одна, навек одна! Неведомо ей, где его могила, как неведомо никому.

Супругу верность — вся ее вина.

Долгие-долгие годы провела Леонора в узилище, меж тем как за стенами продолжалась жизнь. Жизнь никогда не стоит на месте, а вот мы на мгновенье остановимся и поразмыслим над словами, что сказаны ею и песней:

Обет, супругу данный, верно я блюла,  
В невзгодах и злосчастии великом!

\*

— Видишь эту картинку? — спросил крестный.

Зима, мороз строит ледяной мост от Лолланна до Фюна, мост для Карла Густава, который неудержимо идет вперед. По всей стране мародерство, смертоубийство, страх и горе.

Шведы осаждают Копенгаген. Лютый холод, метель, но мужчины и женщины, верные своему королю и себе, готовы сражаться. Каждый крестьянин, каждый торговец, студент и магистр — все вышли на валы оборонять город. Никто не боится вражеских ядер. Король Фредерик поклялся умереть в родном гнезде. Верхом на коне он вместе с королевой объезжает валы, где властвуют мужество, и дисциплина, и патриотический дух. Пусть-ка шведы, закутавшись в белые саваны, подберутся по белому снегу поближе, пусть-ка попробуют пойти на штурм! На них обрушат бревна и камни, а женщины выплеснут на голову врагам кипящую смолу.

Этой ночью король и горожане — одна могучая сила. И приходит спасение, приходит победа. Звонят колокола, звучат благодарственные гимны. Простой народ, твоя заслуга в этом!

\*

Что же будет дальше? Посмотри на картинку.

Супруга епископа Сване едет в закрытой карете, а такое дозволено лишь могущественной высшей знати. Гордые аристократы разбивают карету на куски — пусть епископова жена идет домой пешком.

И это вся история? Очень скоро будет разрушено кое-что поважнее — владычество гордой аристократии.

Бургомистр Ханс Нансен и епископ Сване рукопожатием скрепляют свою решимость к деянию во имя Господа. Их речи умны, правдивы и находят отклик как в церквях, так и в домах бюргеров. Рукопожатие единомышленников — и вход в гавань перекрывают, ворота запирают, бьют в набат, всю власть вручают единолично королю, который в тяжкую годину не покинул свое гнездо. Так пусть же он правит, пусть властвует над большими и малыми!

Настала пора абсолютизма.

\*

Перевернем страницу и перейдем в другую эпоху.

«Улю-лю! Улю-лю!» Плуг лежит без дела, вереску дозволено расти на свободе, зато охота хороша. «Улю-лю! Улю-лю!» Слышишь звонкий рог и лай собак? Смотри, вот гурьба охотников, а вот и сам король, Кристиан V, молодой, жизнерадостный. В замке и в городе царит веселье. В залах горят восковые свечи, во дворе — факелы, на городских улицах появились фонари. Все блещет новизной! Бароны и графы — новое дворянство, призванное из Германии, — осыпаны милостями и дарами; ныне в чести титулы, звания и немецкий язык.

И тут раздается подлинно датский голос — голос сына ткача, а теперь епископа, голос Кинго, поющий чудесные псалмы.

А вот еще один горожанин, сын виночерпца, мысль его сообщает ясность законам и юриспруденции; его свод законов стал на все времена золотой основой, на которой блещет имя короля. Этот простолюдин, самый могущественный человек в стране, получает дворянское достоинство, а заодно и недругов, и вот уж Гриффенфельдт на эшафоте, палаческий меч занесен над его головой. Но казнь заменяют пожизненным

заклчением, высылают его на скалистый островок у тронхеймского побережья:

Мункхольм — Святой Елены остров для датчан.

А в замке по-прежнему веселье и балы, кругом блеск и роскошь, звучит прелестная музыка, придворные дамы и кавалеры танцуют.

\*

Настала эпоха Фредерика IV!

Видишь горделивые корабли в победных флагах? Видишь пенное море? Оно может поведать о великих подвигах, о чести Дании. Мы помним имена Сехестеда и Гюльденлёве, опьяненных победой. Помним Витфельдта, который, спасая датский флот, взорвал свой корабль и вознесся с Даннеброгом в небесные выси. Размышляя о тех военных годах, мы вспоминаем и героя, что с норвежских гор устремился на защиту Дании, — Петера Торденсьольда. По спокойному и гневному морю гремит его имя от берега до берега:

Огонь небес пронизал персть земную,  
Гром разорвал невнятный гул времен;  
Портняжка-ученик оставил мастерскую —  
От скал Норвегии челнок отплыл.  
И викингов воскрес на море пыл,  
Неся и меч, и юность удаюю\*.

От берегов Гренландии дохнуло ветерком, благоуханным, словно шел он из вифлеемской земли, и принес он весть о евангельском свете, что сияет в доме Ханса Эгедэ и его супруги.

Потому-то на половине страницы здесь золотой фон, а вторая половина — в знак печали — пепельно-серая, в черных крапинах, словно от искр огня, словно от заразы и хвори.

---

\* Карл Плуэг. (Прим. автора). Перевод В.Бакусева.

В Копенгагене свирепствует чума. Улицы безлюдны, двери закрыты, всюду мелом начертаны кресты: в доме болезнь! А где стоит черный крест, там все умерло.

Ночью покойников увозят, без колокольного звона, подбирают заодно и полумертвых. Громяхают похоронные дроги, полные трупов. Меж тем из питейных домов долетают нестройные песни пьяных и дикие вопли. Люди пьют, стараясь забыть ужасное бедствие, забыть — и точка, конец! Ведь всему приходит конец, вот и здесь страница кончается очередным бедствием и тяжким испытанием для Копенгагена.

Король Фредерик IV еще жив, хотя годы посеребрили ему голову сединой. Из окна замка он смотрит, как бушует ненастье. Год на исходе.

А в маленьком домишке у Западных ворот мальчуган играет мячом и ненароком забрасывает его на чердак. С салной свечкой малыш поднимается наверх поискать свой мяч и случайно учиняет в доме пожар, а скоро в огне уже вся улица. Зарево такое, что даже тучи светятся. Пламя все выше! Пищи для огня полным-полно: сено и солома, сало и деготь, поленицы дров, заготовленные на зиму. И все-все горит. Плач, крик, смятенье. В этой кутерьме — старый король на коне, отдает распоряжения, ободряет, приказывает. Пороховыми зарядами взрывают дома, а пожар перекинулся и на северную часть города, горят церкви — Святого Петра, Пресвятой Богородицы! Слышишь, напоследок звучит псалом: «Отврати гнев Твой, Боже милосердный!»

Уцелели только Крутая башня да королевский замок; все прочее окрест — дымное пожарище. Король Фредерик IV добр к своему народу, утешает его и кормит, он с народом, он друг бездомных. Благослови Господь Фредерика IV!

\*

Взгляни-ка теперь на эту страницу!

Золоченая карета, окруженная слугами, с вооруженными всадниками впереди и позади, выезжает из замка, перед которым протянута железная цепь, чтобы народ не подходил слишком близко. Простолюдинам и через площадь дозволяется ходить только с непокрытой головой, поэтому там мало кто появляется, лучше сделать крюк. Но как раз сейчас прохожий со шляпой в руке, потупив взор, шагает по площади — назовем же во весь голос этого славного человека:

Он вихрем могучим обрушил глагол,  
 Чтоб солнце назавтра сияло  
 И чистило слово от въевшихся зол,  
 Их, как саранчу, выметало\*.

Это гений и весельчак — Людвиг Хольберг. Датскую сцену, дворец его величия, закрыли, словно она гнездилище порока. Радость забыта; танцы, песни, музыка под запретом, в изгнании. В стране господствует христианское мракобесие.

\*

«Der Dänenprinz\*\*», как его звала мать, — пришло его время, солнечные дни с птичьим пением, радостью, весельем, полные датского духа: на троне король Фредерик V. Цепи с замковой площади убраны, и датская сцена открыта вновь, кругом смех, и забавы, и добрый настрой. Крестьяне празднуют приход лета. После сурового поста и уныния настала пора веселья. Прекрасное растет и развивается, цветет и приносит плоды — в напевах, красках, скульптурах. Слышишь музыку Гретри? Видишь игру Лондеманна? И королева Дании любит

\* Кристиан Вильстер. (Прим. автора). Перевод В.Бакусева.

\*\* Датский принц (нем.).



все датское, Луиза Английская, красивая, мягкая нравом, — благослови ее Господь! Солнечные лучи нежными голосами воспевают датских королей — Филиппу, Элисабет, Луизу.

\*

Земная плоть давно в могиле, но души живут, и имена тоже. Снова приезжает из Англии королевская невеста — Матильда, такая юная, но уже вскоре такая одинокая! О тебе, Матильда, поэты будут слагать стихи во все времена, о юном сердце, о године испытаний. А у стихов и песен большая сила, неизъяснимая власть над временами и народами. Видишь? Королевский замок, твердыня короля Кристиана V, охвачен пожаром. Люди пытаются спасти хоть малую толику достояния. Тащат корзину с серебряной утварью и прочими ценностями, огромное богатство, как вдруг за открытой дверью, в огне, замечают бюст короля Кристиана IV. И они бросают корзину — бюст короля им дороже серебра! Надо спасти его, сколь он ни тяжел. Так велико их почтение к этому королю, воспетому стихами Эвальда и прекрасной музыкой Хартманна. Большая власть у слова и песен, и когда-нибудь во всю мощь воспоют они о несчастной королеве Матильде.

\*

— Давай посмотрим, что было дальше.

На Ульфельдтовом пустыре стоял позорный камень — где еще на свете найдется такой? У Западных ворот воздвигнут столп — много ли на свете найдется подобных ему?

Солнечные лучи нежно целовали валун, постамент столпа Свободы. Звонили все церковные колокола, реяли флаги, народ ликовал, прославляя кронпринца Фредерика. У старых и малых в сердце и на устах имена Бернсторфа, Ревентлова, Кольбьёрнсена. С блеском в глазах и благодарностью в сердце читают люди благословенную надпись:

«По велению короля крепостная зависимость упраздняется, вступают в силу законы о крестьянском сословии: свободный крестьянин может стать безбоязненным и просвещенным, прилежным и добрым, честным и счастливым гражданином!»

Какой лучезарный день! Какое лето в городе!

Светлые духи пели: «Множится благое! Множится прекрасное! Скоро падет камень на Ульфельдтовом пустыре, но столп Свободы будет стоять осиянный солнцем, благословляемый Богом, королем и народом».

\*

Старинная дорога есть у нас,  
Ведет она до края света\*.

Открытое море, открытое другу и недругу, и недруг не заставил себя ждать. Могучий английский флот подошел к датским берегам; великая держава ополчилась против малой. Бились жестоко, но народ духом не падал:

Твердо стояли и непреклонно,  
Бились и смерти смотрели в лицо!\*\*

Эта стойкость восхищала неприятеля и вдохновляла датских поэтов. В честь битвы той, в честь датской славы мы флаги поднимаем ныне: апреля день второй, Страстной четверг, сражение на рейде.

\*

Шли годы. В Эресунне замечен флот. Кому угроза — России или Дании? Неизвестно. Даже на борту кораблей никто не знает.

---

\* Н.Ф.С.Грундтвиг. (Прим. автора)

\*\* В.Х.Ф.Абрахамсон. (Прим. автора)

В народе рассказывают, что тем утром в Эресунне, когда были сломаны печати и оглашен приказ захватить датский флот, один молодой капитан, благородный помыслами и делами сын Британии, шагнул вперед и сказал командующему: «Я присягал до самой смерти сражаться во имя английского флага, в открытом, честном бою, но не побеждать превосходящей силой». И с этими словами он бросился за борт, в море!

И флот на Копенгаген путь держал...  
Вдали от места будущего боя  
Безвестный капитан на дне лежал  
Под черною холодною волною.  
И в Стрёммен тело унесло водой,  
И шведы-рыбаки его подняли,  
Свезли на берег, темный и пустой,  
И в кости эполеты разыграли\*.

Неприятель стоял в виду Копенгагена; от зарева пожаров было светло как днем. Мы потеряли флот, но не утратили мужества и веры в Бога. Господь повергает в унижение, однако и возвышает вновь. Раны исцеляются как в битвах эйнхериев. В истории Копенгагена много утешного.

Наш верил издавна народ,  
Что Данию Господь спасет.  
Для стойких Он всегда оплот,  
И засияет вновь восход\*\*.

И скоро солнце озарило восставший из пепла город, тучные хлебные нивы, расцвет ума и талантов. И вот благословенным, мирным летним днем Поэзия явила в Эленшлегере свою дивную красу.

---

\* Карл Баггер. (Прим. автора) Перевод В.Бакусева.

\*\* Перевод В.Бакусева.

А в науке обнаружилось сокровище куда ценнее древнего золотого рога — поистине золотой мост:

...для молний мысли мост,  
Что свяжет навсегда народы\*.

Ханс Кристиан Эрстед напечатлел там свое имя.

Смотри! Неподалеку от королевского замка, ближе к дворцовой церкви, воздвигнуто большое здание; даже бедняки с радостью жертвовали на его постройку свои скудные гроши.

— Помнишь, в начале книги, — сказал крестный, — шла речь о древних каменных глыбах, что скатились с норвежских круч на лед и вместе с льдинами приплыли сюда. Так вот, они снова поднялись из донных песков и по воле Торвальдсена раскрыли свою мраморную красоту — глаз не отвести!

Помни же обо всем, что я тебе показал и рассказал. Песчаная отмель поднялась, стала островом, защитой для гавани, на ней стояли и Акселева твердыня, и епископская усадьба, и королевский замок, а ныне высится храм красоты. Проклятие развеялось, сбылись, стали явью радостные песни, что дети света пели о грядущих временах.

Много бурь промчалось над этим краем, может статься, они налетят вновь и вновь развеются. Истинное, доброе, прекрасное всегда побеждает.

Вот книга и подошла к концу, но история Копенгагена отнюдь не завершилась. Кто знает, что суждено изведать в жизни тебе самому.

Да, нередко сгущались черные тучи, налетали бури, но солнечному свету бури ничем, он вечен! А Господь еще сильнее самого сильного солнечного света! Не одним Копенгагеном властвует Господь, Его власть много больше.

---

\* Перевод В.Бакусева.

С этими словами крестный отдал мне книгу. Глаза его сияли непоколебимой уверенностью. И я принял от него книгу с тою же радостью, гордостью и благоговением, с какими впервые взял на руки маленькую сестренку.

А крестный добавил:

— Ты, разумеется, можешь показывать эту книгу другим людям и хвастать, что она целиком сделана, склеена и нарисована мною. Но самое-самое главное — сразу же объясни, где я почерпнул ее идею, ее замысел. Тебе это известно, вот и расскажи. Все началось со старых ворванных фонарей, ведь именно они в тот вечер, когда горели в последний раз, явили новым газовым фонарям картины минувшего — начиная с той поры, когда в гавани впервые зажегся огонь, и кончая тем вечером, когда Копенгаген освещался сразу и ворванью, и газом.

Показывай книгу кому угодно, то бишь людям с добрыми глазами и дружелюбным нравом, но коли придет Адский Конь — сей же час закрой Книгу крестного.

---

## ЛОСКУТЬЯ

**П**одле фабрики высоченными штабелями громоздились тюки тряпичных лоскутьев, собранных со всего света. У каждого — собственная история, каждый рассказывал свое, но ведь всех разом слушать невозможно. Иные лоскутья были здешние, иные — из чужих краев. Датский лоскут соседствовал с норвежским, да-да, исконно датский с исконно норвежским, то-то и занятно, как скажет любой здравомыслящий норвежец и датчанин.

Друг друга они признали по выговору, хоть лоскут-норвежец и твердил, что языки их разнятся не меньше, чем французский и древнееврейский:

— Мы поднимаемся в горы, чтоб язык наш сделался чист и прозрачен, датчане же варганят себе язык сюсюкающе пошлый, пресный, банальный.

Они разговаривали между собой, да ведь лоскут везде и всюду не более чем лоскут и кое-что значит разве только в тряпичном тюке.

— Я норвежец! — объявил норвежский лоскут. — И, по моему, этим все сказано! Я крепок волокнами, словно древние скалы Норвегии, страны, где есть конституция, как в свободной Америке! Дрожь меня пробирает, едва подумаю, кто я таков, и дам этой мысли гулом отозваться в граните слов!

— Зато у нас есть литература! — вставил лоскут-датчанин. — Вы хоть представляете себе, что это?

— А как же! — отвечал норвежец. — Равнинного жителя вроде вас надо поднять в горы да хорошенько просветить северным сиянием! Когда под лучами норвежского солнца тает лед, маленькие датские шхуны приходят к нам, привозят масло и сыр, то бишь весьма благородный груз, а датская литература у них заместо балласта. Мы в ней не нуждаемся! Кто станет пить худое, застоявшееся пиво, коли есть свежий источник, а у нас не просто источник, а суцьяя криница, притом нерукотворная, не бахвалящаяся европейской газетной известностью, кумовством да поездками автора за границу. Я вот говорю на свободном дыхании, а вам, датчанину, придется привыкать к свободным звукам, и никуда вы от этого не денетесь при вашей-то скандинавской привязанности к нашему гордому скалистому краю, первооснове мира!

— Датский лоскут никогда бы не стал так разговаривать! — сказал лоскут-датчанин. — Это чуждо нашей природе. Я ведь знаю себя, а все наши лоскутья точь-в-точь как я, добродушные да скромные, уверенности в себе у нас маловато, оттого-то ни на что особо рассчитывать не приходится, но меня это вполне устраивает — на мой взгляд, так очень даже хорошо! Кстати, смею вас уверить, я отлично сознаю свою добротность, однако ж не хвастаюсь ею, в этаким изъяне меня не упрекнешь. Я мягкий, послушный, все терплю, никому не завидую, ни о ком худого не скажу, хоть и мало найдется таких, что вправду заслуживают доброго слова, ну да хватит об этом! По-моему, всегда лучше посмеяться, вот таковский у меня характер!

— Не говори со мной на этой дурацкой равнинной тарбарщине, меня тошнит от нее! — вскричал лоскут-норвежец, отцепился на ветру от своего тюка и пристал к другому.

Оба они стали бумагой, и по воле случая лоскут-норвежец превратился в тот самый лист, на котором юноша-норвежец

написал письмо, где клялся в любви датской девушке, а лоскут-датчанин — в рукопись датской оды во славу мощи и величия Норвегии.

Из лоскутьев, стало быть, вполне способно выйти кое-что хорошее: когда их извлекут из тюка и свершится превращение в истину и красоту, они блещут добрым согласием, а что может быть лучше?

Вот и вся история, весьма занятная и ни для кого не обидная — кроме лоскутьев.



---

## ВЕН И ГЛЕН

**У** берегов Зеландии, против замка Хольстейнбург, некогда лежали два лесистых островка с селами и усадьбами — Вен и Глен; находились они очень близко от Зеландии и очень близко друг от друга, а потом один исчез.

Как-то ночью разыгралась страшная непогода: море поднялось так высоко, как на людской памяти ни разу не бывало, буря лютовала с сокрушительной яростью — сущее светопреставление, все вокруг грохотало, будто земная твердь раскалывалась, церковные колокола качались и звонили сами собою, без звонаря.

Той ночью и канул Вен в морскую пучину, как его и не было. Но в иные летние ночи, когда воды спокойны и прозрачны, рыбаки, укрепив на носу лодки фонарь, выходили ловить утря и видели тогда внизу остров Вен, белую колокольню и высокую стену тамошней церкви. «Вен ждет Глена!» — говорили в народе. Рыбаки, что видели потонувший остров, якобы слышали под водою и звон церковных колоколов, но тут они ошибались; скорей всего, слышали они диких лебедей, которые частенько во множестве собираются в здешних бухточках, их тоскливые, жалобные клики похожи на далекий колокольный звон.

В свое время многие гленские старики прекрасно помнили и злосчастную штормовую ночь, и свое детство, когда

в отлив переезжали с одного острова на другой, как ныне с Зеландии переезжают на Глен, — вода-то лишь до ступицы колеса достает. «Вен ждет Глена», — говорили в народе и верили, что так оно и есть.

Бурными ночами иные мальчишки и девочки, лежа в постели, думали: вдруг нынче Вен придет за Гленом? Изнывая от страха, они читали «Отче наш», крепко засыпали и видели сладкие сны, а наутро Глен со своими лесами и хлебными нивами, уютными крестьянскими домишками и хмельниками находился на прежнем месте. По-прежнему пели птицы, резвились лани, и крот, сколько ни копал, нигде не чуял морской воды.

И все же дни Глена сочтены — нельзя в точности сказать, сколько времени отпущено острову, но дни его сочтены, однажды утром он исчезнет.

Возможно, еще вчера ты стоял на берегу, видел, как дикие лебеди отдыхают в проливе меж Зеландией и Гленом, как лодка на всех парусах скользит мимо лесных зарослей; сам-то ты ехал вброд, по мелководью, иначе там не проедешь, лошади ступали по воде, волны плескались о колеса.

Потом ты покинешь эти места, возможно, отправишься в путешествие, посмотреть широкий мир, а через год-другой воротиться и увидишь окаймленный лесом, огромный зеленый луг, красивые крестьянские домики и стога душистого сена подле них. Куда ты попал? Замок Хольстейнбург по-прежнему здесь, блещет золоченым шпилем на башне, только стоит он почему-то не у берега, а далеко от воды. Ты идешь через лес, через поля, вот и море — но где же Глен? Никакого лесистого островка нет и в помине, перед тобою лишь морской простор. Неужто впрямь урочный час пробил и Вен забрал Глена? Когда разыгралась ночная буря, когда случилось могучее землетрясение, отодвинувшее старинный замок Хольстейнбург так далеко от берега?

Не было никакой ночной бури, все происходило среди бела дня, при ярком солнечном свете. Человеческий разум возвел дамбы, осушил пролив, присоединил Глен к зеландским землям. Пролит стал лугом с буйными, пышными травами, Глен прирос к Зеландии. Старинный замок стоит там, где стоял от веку. Не Вен пришел за Гленом, а Зеландия длинными руками-дамбами привлекла его к себе, осушила разделявшие их воды, устами насосов прочла волшебные заклинания, слова брачного обета, и Зеландия получила в дар много земли. Такова правда, записанная в документах, и ты воочию видишь: остров Глен исчез.

---

## КТО САМАЯ СЧАСТЛИВАЯ?

**К**акие чудесные розы! — воскликнул солнечный свет. — И ведь каждый бутон распустится и станет таким же красивым. Это мои дети! Я дал им жизнь своими поцелуями!  
— Это мои дети! — возразила роса. — Я вспоила их своими слезами.

— Думаю, все-таки я — их мать! — заметил розовый куст. — А вы им только отцы и ваши отцовские дары принесли от собственных щедрот и по доброй воле.

— Мои чудесные дети-розы! — сказали все трое и пожелали каждому цветку самого большого счастья, однако ж самым счастливым мог стать лишь один из них, равно как и наименее счастливым тоже выпадет быть лишь одному, — но которому?

— Уж я разузнаю! — вскричал ветер. — Я летаю далеко, в самые узкие щелки забираюсь, мне все видно, что внутри, что снаружи.

Каждая расцветшая роза, каждый набухающий бутон слышали сказанное.

А в это время шла по саду печальная любящая мать, одетая в траур, и сорвала она одну из роз, полураскрытую, свежую, пышную, — видно, сочла ее самой красивой. Цветок она принесла в тихую, безмолвную комнату, где всего несколько дней назад весело резвилась и играла ее дочка, которая теперь,

словно мраморное изваяние, спала вечным сном в черном гробу. Мать поцеловала умершую, потом поцеловала полураскрытую розу и положила девочке на грудь, словно от свежести цветка и материнского поцелуя сердце ее могло забиться вновь.

Казалось, роза распускается на глазах, каждый ее лепесток радостно трепетал, ведь она думала: «Мне выпало счастье ступить на стезю любви! Как человеческое дитя, я приемлю поцелуй матери, приемлю слова благословения и уйду в неведомый край, грезя на груди усопшей! Поистине я — счастливейшая из всех сестер!»

Между тем в сад, где цвел розовый куст, пришла полольщица. Она тоже остановилась полюбоваться цветением, и взгляд ее привлекла самая большая, пышная, раскрывшаяся роза. Еще одна росинка, еще один жаркий день — и лепестки опадут. Вот женщина и решила, что цветок отдал свою дань красоте, пускай теперь принесет пользу. Она сорвала его и завернула в газету, чтобы отнести домой, к другим облетевшим розам. Из подсушенных лепестков получится душистая смесь, если добавить к ним синей мелкоты под названием лаванда и забальзамировать с солью. Тут надобно сказать, что бальзамируют только розы да королей.

— Я удостоилась величайшей чести! — сказала роза, когда полольщица сорвала ее. — Я самая счастливая! Меня забальзамируют.

Потом в сад пришли два молодых человека — художник и поэт, и каждый сорвал одну розу, особенно ему приглянувшуюся.

Художник изобразил цветущую розу на холсте, да с такой точностью, что ей казалось, она глядится в зеркало.

— Вот так, — сказал художник, — она будет жить долгие-долгие годы, за этот срок увянут и умрут многие миллионы живых роз!

— Мне посчастливилось больше всех! — воскликнула роза. — Я самая счастливая!

Поэт любовался своею розой и сочинил о ней стихи, целую мистерию о том, что вычитал в ее лепестках. Его «Книга любви» стала бессмертным творением.

— И я бессмертна в его стихах! — молвила роза. — Я — самая счастливая!

Однако ж среди цветочного великолепия была одна роза, которая как бы пряталась за другими; волею случая, может статься к счастью, у нее имелся изъян: она косо сидела на стебельке, и лепестки с одного боку оказались короче. Мало того, из самой серединки цветка торчал сморщенный зеленый листочек — такое с розами тоже бывает!

— Бедное дитя! — вздохнул ветер, целуя ее в щечку.

Это знак привета, подумала роза, знак почтения; она догадывалась, что не совсем такая, как другие сестры, а то, что в серединке у нее зеленый листочек, полагала отличием. Мотылек спорхнул на нее, поцеловал лепестки — влюбленный кавалер; она не стала его удерживать — пусть себе летит. Потом явился большущий кузнечик; правда, сел он на соседнюю розу и энергично потер ножку, у кузнечиков это первый признак влюбленности; но роза, на которой он сидел, ничего не поняла, не в пример той другой, с отличием, со сморщенным зеленым листочком, ведь смотрел-то кузнечик на нее, и глаза его говорили: «Так бы и съел тебя, от любви!» — а уж большей любви, думается, и быть не может: один растворяется в другом! Но розе вовсе не хотелось растворяться в этом прыгуне. Соловей так дивно пел звездной ночью.

— Он поет только для меня! — воскликнула роза с изъяном или с отличием. — Отчего суждено мне вот так во всем отличаться от других моих сестер? Отчего дарована мне эта исключительность, которая и делает меня самой счастливой?

Тут в саду появились двое господ, они курили сигары и рассуждали о розах и о табаке: розы якобы не терпят дыма, меняют цвет, зеленеют, надо бы это проверить. Взять одну из безупречных роз они не решились, сорвали ту, что с изъяном.

— Сызнова меня отличили! — воскликнула она. — Я невероятно счастливая! Самая счастливая из всех!

И она позеленела — от сознания собственной исключительности и от табачного дыма.

Одна из роз, еще почти бутон, может стать самая красивая на кусте, заняла почетное место в искусном букете садовника. Она попала к молодому хозяину усадьбы, который и распорядился составить букет, и вместе с ним поехала куда-то в карете, красуясь среди других цветов и прелестной зелени, и очутилась среди праздничного блеска: мужчины и женщины сидели в волшебном сиянии тысяч огней, звучала музыка — театр, море света. А когда под бурные овации на сцену выпорхнула прославленная молодая танцовщица, букеты один за другим цветочным дождем полетели к ее ногам. Упал на сцену и тот, где алмазом блистала прекрасная роза; на лету ее захлестнуло ощущение несказанного счастья, почета и блеска, и, коснувшись пола, она тоже начала танцевать, подпрыгнула, скользнула по доскам и в падении отломилась от стебля. В руки виновницы торжества она не попала, закатилась за кулисы, где ее поднял механик сцены и увидел, как она красива, как благоуханна, хоть и без стебля. Он положил розу в карман, а вечером, придя домой, поместил в рюмку с водой, там она и провела ночь. Рано утром ее поставили возле кресла бабушки, старенькой и немощной. Старушка радовалась, глядя на прекрасный цветок и вдыхая его аромат.

— Да, ты не попала на стол к богатой знатной барышне, очутилась у бедной старушки. Но здесь ты вроде как целый розовый куст. Ах, как ты хороша! — И бабушка с детской радостью любовалась цветком, наверно, вспоминая свою давно ушедшую юность.

— Окно было щелястое, и я легко проник внутрь, — сказал ветер, — увидал молодой блеск в глазах старой женщины и прекрасную головку розы в рюмке с водой. Она — самая счастливая из всех! Я знаю! И всем расскажу!

У каждой из роз, что расцвели в саду на кусте, была своя история. Каждая твердо верила, что именно она самая счастливая, а вера дарит блаженство. Однако последняя роза считала себя самой-самой счастливой.

— Я пережила их всех! Я последняя, единственная! Любимое дитя маменьки!

— А маменька им — это я! — воскликнул розовый куст.

— Нет, я! — возразил солнечный свет.

— И я тоже! — сказал ветер. — Каждый из нас внес свою долю, и каждый получил свою долю! — Ветер стряхнул розовые лепестки на живую изгородь, обсыпанную каплями росы, озаренную солнцем. — И я свою долю получил! Узнал истории всех роз и поведаю их миру! Так скажите же мне, кто из них самая счастливая! Скажите — я-то сказал достаточно!



---

## ДРИАДА

**М**ы едем в Париж, на выставку.  
И вот мы уже на месте! Не поездка, а сущий полет, и без всякого волшебства — сперва паромом, потом по железной дороге.

Наше время поистине время сказок.

Поселились мы в центре Парижа, в большой гостинице. Лестница там вся в цветах, ступеньки выстланы мягкими коврами.

Комната у нас уютная, дверь балкона открыта настежь и глядит на просторную площадь. Внизу весна, в Париж она пришла вместе с нами, явилась в облике рослого молодого каштана, только-только развернувшего резные листья. В своем вешнем уборе он краше всех деревьев на площади. Одно из них уже приказало долго жить — лежит на земле вырванное с корнем. Его место и займет молодой каштан.

Пока что он стоит высоко на ломовой телеге, которая нынче утром доставила его в Париж, за много миль, из сельских краев. Там он долгие годы рос бок о бок с могучим дубом, а под этим дубом частенько сиживал старый добряк-священник, беседовал с ребятишками, рассказывал им разные истории. И молодой каштан слушал вместе с ними. Дриада, обитавшая в нем, была совсем дитя и хорошо помнила то время, когда ее деревце едва поднималось над вы-





сокими травами и папоротниками. Травы и папоротники выше не стали, а вот деревце год от году подрастало, наслаждалось воздухом и солнечным светом, умывалось росой и дождем, единоборствовало с крепкими ветрами, без этого в воспитании тоже не обойтись.

Дриада радовалась своему житью-бытью, солнечному свету и птичьему щебету, но более всего тешили ее голоса людей, потому что их язык она понимала не хуже, чем язык животных.

Мотыльки, стрекозы и мухи — в общем, все летучие создания заглядывали с визитом, и все без умолку болтали: рассказывали про деревни и села, про виноградники и леса, про старинный замок с парком, каналами и прудами, где тоже обитали живые существа, на свой лад перелетавшие под водою с места на место, — существа глубокомысленные и во многом сведущие, даром что молчаливые, но ведь молчаливость — свидетельство недюжинного ума.

А крачка, которой довелось нырять в воду, рассказывала о красивых золотых рыбках, о жирных лещах, глупых линиях и старых замшелых карасях. Крачка превосходно все описывала, хотя и добавляла, что лучше глянуть собственными глазами, но дриаде-то никогда этих существ не увидеть! Ей должно довольствоваться малым — любоваться прелестным ландшафтом да внимать шуму хлопотливой человеческой суеты.

Как это было замечательно! Однако ж более всего дриада любила слушать старика-священника, когда он, стоя под дубом, рассказывал о Франции, о славных подвигах мужей и жен, чьи имена во веки веков будут произносить с восхищением.

Дриада услышала о пастушке Жанне д'Арк, о Шарlotte Корде, услышала о незапамятной древности, и о временах Генриха Четвертого и Наполеона Первого, и о новом времени с его талантами и славой. Много имен узнала она, и каждое гордо откликалось в сердце народа: Франция — мировая держава, земля великих дарований, родник свободы!

Деревенские ребятишки затаив дыхание слушали священника, и дриада тоже. Она училась вместе с детьми, а в проплывающих облаках ей виделись образы услышанного.

Облачное небо было для нее книгой с картинками.

Дриада чувствовала себя в прекрасной Франции совершенно счастливой, но порою ей мнилось, что птицам и вообще всем летунам судьба благоволит куда больше, нежели ей самой. Муха и та видела окрест много дальше ее, дриады.

Франция так огромна, так прекрасна, а дриада видела лишь маленький ее клочок, ведь страна с ее виноградниками, лесами и большими городами, из которых Париж самый прекрасный, самый великий, простирается далеко-далеко. Птицы могут долететь до Парижа, но ей до него никогда не добраться.

Среди деревенских ребятишек была одна девочка, оборванная, нищая, однако ж на редкость пригожая; она всегда пела и смеялась, вплетая алые цветы в свои черные волосы.

— Не ездь в Париж! — говорил девочке старый священник. — Бедное дитя! Ты там погибнешь!

И все-таки она отправилась в Париж.

Дриада часто о ней думала, ведь обе они одинаково горячо мечтали об этом великом городе, одинаково туда стремились.

Пришла весна, за нею лето, осень, зима; минуло несколько лет.

На дриадином каштане расцвели первые свечки, птицы щебетали в его листве, купаясь в прекрасном солнечном свете. И тут по дороге промчался нарядный экипаж, запряженный красивыми резвыми лошадками, правила ими важная дама, а маленький разодетый грум сидел позади. Дриада узнала даму, старый священник тоже узнал ее и, покачав головою, сокрушенно промолвил:

— Ты все же поехала в Париж! На свое несчастье и гибель, бедняжка Мари!

«Это она-то бедняжка?! — подумала дриада. — Ах, какое превращение! Одеты что твоя герцогиня! Вот какая она

стала в городе волшебства. Если б и мне очутиться среди тамошнего блеска и роскоши! Посмотришь ночью в ту сторону, где лежит город, так там даже облака светятся».

Да, в ту сторону дриада смотрела каждый вечер, каждую ночь. Вглядывалась в сияющую дымку на горизонте, которой ей очень не доставало светлыми лунными ночами, как не доставало и летучих облаков, что являли перед нею картины города и истории.

Ребенок тянется к книжке с картинками, дриада же тянулась к облачным стаям, к книге своих мыслей.

Безоблачное летнее небо было для нее пустой страницей, и вот уж несколько дней она видела только эту пустую страницу.

Стояло лето, жаркие солнечные дни без единого дуновения ветерка — все словно погрузилось в дремоту: и листья, и цветы, и люди.

А потом собрались тучи, причем в той стороне, где ночами сияющая дымка возвещала: здесь Париж!

Тучи собрались, воздвиглись огромными горами, расплзлись по небу, накрыли всю округу — куда дриада ни устремляла свой взор, повсюду была их темная пелена.

Словно мощные иссиня-черные каменные глыбы громоздились в вышине. По ним пробегали зигзаги молний, ведь, как говорил старик-священник, «они тоже служат Господу». И вот ослепительно синяя стрела, вспышка яркая, будто само солнце, взломала глыбы туч, ударила в землю и до самых корней расщепила могучий старый дуб. Крона и ствол распались надвое, дерево рухнуло, словно раскрыв объятия посланцам света.

Оглушительный рык орудийного салюта, гремящего в честь рождения королевского отпрыска, даже в сравнение не идет с громовыми раскатами, что грянули над поверженным старым дубом. Хлынул дождь, свежий ветер разогнал духоту, и вот уж ненастье миновало — словно праздник наступил. Вся деревня столпилась возле расколотого великана;

старик-священник произнес торжественную речь, а некий художник зарисовал дерево на вечную память.

— Все уходит! — вздохнула дриада. — Уходит прочь, ровно облако, и никогда не возвращается!

Старый священник больше не приходил на это место — школьная крыша рухнула, учительской кафедры нет. И дети не приходили. А вот осень пришла, и зима тоже, и весна; времена года сменялись, а дриада все смотрела в ту сторону, где вечерами и ночами далеко на горизонте опаловой дымкой сиял Париж. Один за другим оттуда мчались паровозы, мчались поезда, один за другим, один за другим, с шумом и грохотом, причем во всякое время, — вечером и в полночь, утром и средь бела дня шли поезда, привозили и увозили неслучных людей со всех концов Земли, которых влекло в Париж новое чудо света.

Что же это было за чудо?

— Роскошный цветок ремесел и промышленности, — говорили одни, — расцвел на голом песке Марсова поля; исполинский подсолнечник, чьи лепестки знакомят с географией, статистикой, старинными ремеслами, просвещают в искусстве и поэзии, рассказывают о величии и славе разных стран.

— Сказочный цветок, — говорили другие, — многоцветный лотос, чьи зеленые листья бархатным ковром раскинулись на песке, взошел здесь ранней весной, лето узрит его во всей красе, а осенние бури умчат прочь, ни листика, ни корешка не останется.

Перед Военной школой простирается арена, предназначенная для «войн» мирного времени, поле без единой травинки, голая песчаная земля, этакий кусочек африканской пустыни, где миражи являют глазу свои диковинные воздушные замки и висячие сады, — теперь же эти миражи на Марсовом поле выглядели еще великолепнее, еще удивительнее, ибо человеческий гений воплотил их в жизнь.

— Воздвигся современный дворец Аладдина! — восхищался народ. — С каждым днем, с каждым часом все больше раскрывает он свою пышную красу. Мрамором и разноцветьем красок блещут несчетные палаты. В огромном кольцевом зале, где помещены машины, ворочает своими стальными и чугунными членами Мастер Механизм. Произведения искусства, воплощенные в металле, в камне, в ткани, гласят о жизни духа повсюду на свете; картины, скульптуры, великолепие живых цветов и вообще все, что разум и руки способны создать в ремесленных мастерских, выставлено здесь на обозрение; даже реликвии далеких незапамятных времен явились сюда из старинных замков и торфяных болот.

Ошеломляюще огромное, пестрое зрелище не объять взглядом, не описать во всей полноте — для этого его бы должно многократно уменьшить, сжать до размеров игрушки.

Рождественским чудом раскинулся на Марсовом поле волшебный чертог промышленности и ремесел, а вокруг него — всевозможные диковины, какими славятся те или иные страны. У каждой нации была здесь памятка о родине.

Вот дворец египетских царей, а вот караван-сарай из жарких пустынных краев; вот мчитя на верблюде бедуин, видно, скачет напрямик из своей солнечной страны; вот русская конюшня с великолепными горячими степными рысакми; вот стоит под сенью Даннеброга крытый соломой домишко датского крестьянина, а рядом — изукрашенный резьбою деревянный далекарлийский дом Густава Васы; американские хижины, английские коттеджи, французские павильоны, киоски, церкви и театры прихотливо разбросаны окрест, и повсюду свежая зелень травяных лужаек, прозрачные струи ручьев, цветущие кусты, редкостные деревья, оранжереи, где человек словно бы попадает в тропические джунгли. Целые розовые сады привезены из Дамаска и размещены под крышей — какие краски, какой аромат!



Сталактитовые пещеры, искусно устроенные вокруг пресных и соленых водоемов, позволяли заглянуть в рыбе царство — посетитель как бы стоял на дне морском среди рыб и полипов.

Все это, говорили люди, выставлено сейчас на Марсовом поле будто на огромном праздничном столе, и по этому изобильному столу, точно хлопотливые муравьи, снуют толпы народу, кто пешком, кто теснясь в небольших экипажах, ведь не всякие ноги выдерживают столь утомительную прогулку.

С раннего утра и до позднего вечера не затихает там людская суета. Переполненные пароходы один за другим скользят по Сене, экипажей все прибавляется, как прибавляется пешеходов и конных; омнибусы и трамваи не просто битком набиты пассажирами, на подножках и задках тоже гроздьями висят люди, и вся эта человеческая масса стремится к одной цели — к Парижской выставке! У каждого входа красуется французский флаг, а возле международного торгового павильона реют стяги всех наций. Гул доносится из машинного зала, куранты на башнях вызывают свои мелодии, в церквях играют органы, к их звукам примешивается хриплое гортанное пение из восточных кофеен. Суций Вавилон, вавилонское смешение языков, чудо света.

Конечно, так оно и было, так рассказывали очевидцы, а кто не слышал их рассказов? Дриада знала все, что сказано здесь о новом чуде, явившемся в великом городе.

— Летите, птицы! Летите туда, все рассмотрите, а потом возвращайтесь и расскажите об увиденном! — просила она.

Мечта обернулась горячим желанием, стала главным помыслом ее жизни — и вот однажды в безмолвии тихой ночи, при полной луне, дриада увидела, как с лунного диска яркой падучей звездой слетела искра и подле ее дерева, ветви которого содрогнулись будто от порыва штормового ветра, возникло огромное светящееся существо. Речь его звучала мощно и певуче, словно труба Судного дня, воскрешающая к жизни и призывающая на суд:

— Ты отправишься в город волшебства,пустишь корни, будешь пить живительный ветер, свежий воздух и солнечный свет. Но срок жизни твоей убавится, череда лет, ожидавших тебя здесь, на воле, сократится там до малого числа. Бедная дриада, ты обрекаешь себя на гибель! Твоя заветная мечта будет расти, заявлять о себе все требовательнее, все громче! Родное дерево станет тебе тюрьмой, ты захочешь покинуть свое убежище, покинуть собственное естество, улететь прочь, смешаться с людской толпой, и тогда годы твои сожмутся до половины срока, отпущенного поденке, — до одной-единственной ночи. Затем твоя жизнь угаснет, листья каштана увянут, опадут и никогда уже не распустятся.

Напевный голос умолк, свет угас, но не угасла в дриаде пылкая заветная мечта; вся она трепетала от томительного ожидания, от неумной горячки предвкушения.

— Я отправлюсь в великий город! — ликовала она. — Жизнь только начинается, растет словно облако, о котором никто не ведает, куда оно плывет.

\*

На рассвете, когда луна побледнела, а облака зардели, пробил час свершения, пророчество сбылось.

Пришли люди с лопатами и жердями, вырыли вокруг каштана глубокую узкую канаву, подкопали его снизу. Потом подогнали ломовую телегу, бережно выгнали дерево из ямы, вместе с корнями и комом земли, обернули корни рогожей — для тепла, — воздрузили на телегу и крепко привязали. Каштану предстояла дальняя дорога, до самого Парижа, где его снова посадят в землю и будет он расти в великом городе французской славы.

Лошади тронулись, ветви и листья каштана вздрогнули от движения, вздрогнула и дриада — от сладостного ожидания.

«В путь! В путь!» — стучало сердце. «В путь! В путь!» — трепетало-звенело все вокруг. Дриада забыла попрощаться

с родными местами, с нежными травинками и невинными маргаритками, которые благоговейно смотрели на нее как на важную даму в Господнем саду, юную принцессу, что здесь, на воле, играла в пастушку.

Каштан в телеге кивал ветвями — то ли говорил «прощай!», то ли «в путь!», дриада не знала. Ее помыслы были заняты другим, она грезила о чудесном, новом и все же очень знакомом, ожидающем ее в скором времени. Ни дерзкое сердце в наивной радости, ни кровь, кипящая чувственным восторгом, не наполнились такими чаяниями, какие обуревали дриаду с первых минут путешествия в Париж.

Печальное «прощай!» обернулось нетерпеливым «в путь!».

Тележные колеса вертелись, далекое приближалось и отступало назад, местность менялась, как меняются облака; новые виноградники, селенья, виллы и сады вырастали на горизонте, придвигались, уходили вдалеку. Каштан держал путь вперед, а вместе с ним и дриада. Один за другим мчались мимо паровозы, разбегались в разные стороны, выпускали причудливые облака пара, в которых представляли образы Парижа, города, откуда шли поезда и куда направлялась дриада.

Все вокруг знало, не могло не знать, куда лежит ее путь; ей чудилось, будто каждое дерево на обочине тянет к ней ветви, просит: «Возьми меня с собой! Возьми меня с собой!» Ведь внутри каждого дерева тоже была дриада, полная горячих мечтаний.

Какие перемены! Какая стремительная езда — сущий полет! Дома будто сами собой вырастали из-под земли, их становилось все больше, и стояли они все гуще, все теснее. Печные трубы на крышах, как цветочные горшки, громоздились одна на другую, одна впритирку к другой; повсюду огромные вывески с большими буквами, рисунки на стенах — от земли до верхнего карниза.

«Где же начинается Париж? Когда я буду там?» — спрашивала себя дриада. Людей кругом все больше, шум и суета

нарастают с каждой минутой. Экипажи, пешеходы, всадники кишмя кишат на мостовой, а по сторонам сплошь модные лавки, музыка, пение, крики, разговоры.

Дриада, укрытая внутри каштана, очутилась в центре Парижа.

Тяжелая ломовая телега остановилась на небольшой площади, обсаженной деревьями, окруженной высокими домами с множеством балконов. Там сидели люди, глядели на молодой, свежий каштан, который привезен сюда и будет посажен взамен погибшего дерева, что сейчас лежит на земле. Народ на площади притих, с доброй улыбкой любуясь вешней зеленью; старые деревья, еще не раскрывшие своих почек, приветно шумели ветвями: «Добро пожаловать! Добро пожаловать!», а фонтан, чьи струи взлетали ввысь и с плеском падали в широкую чашу, позволил ветру окропить брызгами вновь прибывшее дерево, словно в знак радушной встречи.

Дриада почувствовала, как дерево сняли с телеги и установили в том месте, где ему отныне предстояло расти. Корни засыпали землей, сверху укрыли свежим дерном, посадили рядом цветущие кусты, расставили горшки с цветами — целый садик возник посреди площади. Мертвое дерево, погибшее от светильного газа, кухонных испарений и всей городской атмосферы, злойредной для растений, погрузили на телегу и увезли. Толпа проводила его взглядом; ребяташки и старики сидели на лавочке среди зелени и глядели сквозь листву в небо. А мы, ведущие этот рассказ, стояли на балконе, смотрели на юную свежесть сельской весны и повторяли те же слова, какие сказал бы старый священник: «Бедная дриада!»

— Я счастлива! Счастлива! — воскликнула дриада. — И, однако же, не могу толком осмыслить и выразить то, что чувствую. Все совершенно так, как я себе представляла! И одновременно иначе!

Дома вокруг были такие высокие, стояли так близко; солнце могло осветить лишь одну стену, обклеенную афиша-

ми и объявлениями, возле которых толпился народ. Мимо мчались телеги, легкие и ломовые, катили омнибусы, эти переполненные дома на колесах, гарцевали всадники. Тележки и прогулочные экипажи не желали уступать друг другу дорогу. Быть может, думала дриада, высокие дома, что теснятся стена к стене, тоже вот-вот снимутся с места, изменят свой облик, как меняют его небесные облака, расступятся, и тогда перед нею откроется весь Париж. Она увидит и Нотр-Дам, и Вандомскую колонну, и те чудеса, что влекли и влекут сюда столько приезжих.

Но дома с места не двигались.

Еще не стемнело, когда зажглись фонари; газовый свет витрин, озаривший тротуары, сквозил в кронах деревьев — точь-в-точь как летнее солнце. По небу рассыпались звезды, те же, какие дриада видела в родных краях, и ей почудилось дуновение тамошнего ветерка, чистого, ласкового. Она ощутила волнение и твердую уверенность, каждым листком дерева ощутила взгляды, ощутила каждый корень до самого его кончика. Да, она в живом человеческом мире, на нее смотрят ласковые глаза, вокруг шум и гомон, краски и свет.

С боковой улицы доносились духовая музыка и веселый плясовой наигрыш шарманок. Ну-ка, в пляс! В пляс! Давайте радоваться и наслаждаться жизнью!

От этакой музыки и люди, и даже лошади, экипажи, деревья, дома непременно пошли бы в пляс, если б могли. В груди у дриады вскипела упоительная радость.

— Какое блаженство! Какая красота! — ликовала она. — Я в Париже!

\*

Наступивший день, и следующая ночь, и следующие сутки являли глазу ту же картину, то же движение на мостовой, ту же суматоху, переменчивую и все-таки одинаковую.

— Я уже знаю каждое дерево на площади и каждый цветок! Знаю каждый дом, балкон и модную лавку на этом огороженном клочке земли, который скрывает от меня огромный великий город. Где триумфальные арки, бульвары и чудо света? Я их не вижу! Стою как в клетке среди высоких домов! Я уже наизусть их выучила со всеми вывесками, афишами, надписями, со всей этой прилипчивой мазней, которая мне теперь совершенно не по вкусу. Где же, где все то, о чем я слышала, о чем знаю и мечтаю, ради чего так сюда стремилась? Что я получила? что выиграла? что нашла? Я по-прежнему мечтаю, я чувую жизнь, меня тянет к ней, влечет в самую ее гущу! Я должна быть среди живых, бродить в толпе, летать как птицы, видеть и чувствовать, по-настоящему стать человеком, прожить одну ночь полной жизнью, вместо того чтоб долгие годы прозябать в утомительной скуке будней, ведь от нее я зачахну, истаяю, развеюсь как туман на лужайке и исчезну. Мне хочется сиять подобно облаку, сиять в лучах солнца жизни, подобно облаку видеть все с высоты, плыть по небу неведомо куда!

Дриада вздохнула, и с уст ее слетела мольба:

— Возьми годы моей жизни, дай мне половину срока, отпущенного поденке! Выпусти меня из тюрьмы, даруй человеческую жизнь, человеческое счастье, пусть на краткий миг, пусть на одну лишь эту ночь, если нельзя иначе! Я приму кару за дерзкую радость жизни, за пылкую мечту! Истреби меня, и пусть мое убежище, свежее юное дерево, увянет, падет, обратится в прах, развеется по ветру!

Шорох пробежал по ветвям дерева, каждый листок затрепетал словно от щекотки, словно по ним или от них пробежала искра. Крона каштана всколыхнулась как от штормового ветра, и посреди нее явилась женская фигура — сама дриада. В тот же миг она очутилась под озаренными газовым светом, пышнолистными ветвями, юная и прекрасная, как бед-

няжка Мари, которой было сказано: «В великом городе тебя ждет гибель!»

\*

Дриада сидела у подножия каштана, у дверей своего дома, который заперла на замок, а ключ выбросила. Такая юная, такая прекрасная! Мерцающие звезды увидели ее, сияющие газовые фонари увидели ее и приветно ей кивнули. Как же она хрупка и как решительна, дитя и все-таки взрослая девушка. Одежды на ней были из тончайшего шелка, зеленые, точно свежераспустившаяся листва, в ореховых волосах белел полураскрытый цветок каштана — вылитая богиня весны.

Всего лишь краткий миг она сидела не шевелясь, потом вскочила и, словно легконогая газель, устремилась прочь, исчезла за углом. Бежала вприпрыжку, как рожденный зеркалом солнечный зайчик, который при всяком движении скачет туда-сюда. И если бы кто-нибудь присмотрелся и сумел проследить за происходящим, у него бы дух захватило от изумления, ведь стоило ей на миг приостановиться, как и наряд ее, и весь облик преобразались — под стать окружению, под стать дому, чья лампа ее освещала.

Вот и бульвар — целое море света от газовых огней в фонарях, модных лавках и кофейнях. Шпалеры деревьев, молодых, стройных, прячущих своих дриад от ярких лучей искусственных солнц. Бесконечный тротуар напоминал грандиозный парадный зал: тут и там виднелись столы с всевозможными закусками, прохладительными напитками, шампанским, шартрёзом, кофе и пивом. Сплошная выставка цветов, картин, скульптур, книг и пестрых тканей.

Из людской толчеи возле высоких домов смотрела дриада за деревья, на ужасающий поток телег, кабриолетов, карет, омнибусов, дрожек, всадников, марширующих солдат. Перейти на другой берег этой бурной реки можно только с ри-

ском для жизни. Свет поглубел — газовые фонари одержали верх; неожиданно взлетела в воздух ракета — откуда и куда?

В самом деле, здесь пролегал большой проезжий тракт великого города!

Здесь звучали и нежные итальянские мелодии, и испанские напевы под дробный перестук кастаньет, однако ж все перекрывали громкие модные наигрыши, трескучие канканы, которых ни Орфей знать не знал, ни прекрасная Елена не слыхивала, но музыка эта была до того зажигательная, что даже тачка пустилась бы в пляс на своем единственном колесе, если б умела. Дриада танцевала, порхала, летела, переливаясь красками точно колибри на солнце, всякий дом с его внутренним мирком отражался в ее облике.

Как бурное течение реки уносит оторвавшийся от стебля дивный лотос, так дриаду кружило по городу, и всюду, где она останавливалась, облик ее менялся, оттого-то никто не мог уследить за нею, узнать ее и рассмотреть.

Облачными картинками все скользило мимо нее, множество лиц, но сплошь незнакомые, никого из родных краев она не приметила. Но мысленно видела перед собою блестящие глаза, думала о Мари, бедняжке Мари, веселой оборванной девчушке с алым цветком в черных волосах. Ведь Мари наверняка здесь, в этом великом городе, богатая, ослепительно красивая, как в тот день, когда промчалась в карете мимо дома священника, дриада каштана и старого дуба.

Конечно же она где-то здесь, в этом оглушительном шуме, может статься, вот только что выпорхнула из роскошной кареты, шикарные-то выезды с кучерами в позументах и лакеями в шелковых чулках так и подкатывают один за другим, высаживают знатных седоков — в пух и прах разодетых дам. Дамы входят в распахнутые кованые ворота, поднимаются по широкой лестнице к зданию с беломраморной колоннадой. Уж не это ли и есть чудо света? Мари, конечно же, там!



«Sancta Maria! Пресвятая Мария!» — пели в беломраморном чертоге. Благовонный дым клубами плыл к высоким расписным и вызолоченным сводам, где дремал сумрак.

Это была церковь Мадлен.

Все в черном, в платьях из бесценных тканей, сшитых по последней моде, шествовали по блестящему полу благородные светские дамы. Серебряные застежки на бархатных переплетах молитвенников украшены гербами, гербы вышиты и на тонких, крепко надушенных платочках, отделанных дорогими брюссельскими кружевами. Одни дамы в безмолвной молитве преклоняли колена у алтарей, другие направлялись к исповедальням.

Дриаду охватило беспокойство, опасение, что она очутилась в таком месте, где ей находиться не след. Здесь была обитель безмолвия, чертог тайн, которые поверяли шепотом, а то и вовсе беззвучно.

Обликом дриада — в шелках и под вуалью — нисколько не отличалась от прочих богатых и высокородных дам, но разве хоть одна из них была подобно ей дочерью мечты?

Откуда-то донесся вздох, горестный, глубокий, — то ли из исповедален, то ли из груди дриады? Она плотнее закуталась в вуаль. Здесь нет чистого воздуха, только дым курений. Здесь не место ее мечте.

В путь! В полет без отдыха! Поденке не дано отдыхать, полет для нее — сама жизнь.

\*

И вот она снова на улице, под сияющими газовыми фонарями, у великолепных фонтанов. «Никаким потокам воды не смочь пролитую здесь невинную кровь».

Вот какие слова услышала дриада.

Здесь собралось множество приезжего народу, все говорили громко и оживленно — в высоком чертоге тайн, откуда пришла дриада, никто бы этак не посмел.

Большую каменную плиту повернули и подняли. Дриада недоумевала — там открылся спуск в земную глубь, ступени вели вниз, прочь от чистого звездного неба, от ярких солнц газовых фонарей, от живой бурлящей жизни.

— Я боюсь! — сказала одна из женщин. — И вниз не пойду! Вовсе меня не интересуют тамошние красоты. Оставайся со мной!

— Уехать домой, — возразил ей муж, — покинуть Париж, не увидев самого замечательного — подлинного чуда современности, созданного разумом и волей человека!

— Я вниз не пойду! — вот и весь сказ.

«Чудо современности» — так было сказано. Услышав это, дриада поняла: она достигла цели, отыскала свою великую мечту, осталось только спуститься в глубину, в подземный Париж. Она о таком и не помышляла, но теперь услышала и, увидев, как приезжие спускаются в глубину, последовала за ними.

Лестница была чугунная, винтовая, широкая и удобная. Внизу виднелась зажженная лампа, дальше — еще одна.

Они очутились в лабиринте бесконечных пересекающихся ходов и сводчатых коридоров: все парижские улицы и переулочки представляли здесь как бы в тусклом зеркальном отражении, но со своими названиями, всякий верхний дом и здесь был обозначен номером, проникал своими корнями под безлюдные, мощенные щебнем дорожки, лепившиеся по берегам широкого канала, где медленно текла густая жижа. Выше тянулись к сводам водопроводные трубы, а еще выше виднелась сетка газовых труб и телеграфного кабеля. Тут и там горели лампы, опять-таки словно отблески великого верхнего города. Временами сверху доносилось гроыхание — над головой проезжали ломовые телеги.

Куда же попала дриада?

Ты, конечно, слышал про катакомбы, но они составляли всего лишь ничтожно малую часть этого нового подземного

мира, современного чуда света, имя которому — парижские клоаки. Вот куда попала дриада, а не на всемирную выставку на Марсовом поле.

Она слышала возгласы удивления, восторга и уважения.

— Отсюда, снизу, — так было сказано, — произрастают здоровье и долголетие тысяч и тысяч людей наверху! Наше время — время прогресса со всеми его благами.

Так думали и говорили люди, однако ж совершенно иного мнения были те создания, что строили здесь норы, жили, рождались и умирали, — крысы. Они верещали из пролома в старой стене, громко, отчетливо и для дриады вполне вразумительно.

Большая старая крыса с куцым хвостом пронзительным писком выражала свои чувства, свою тревогу и единственно верное суждение, а родня хором поддакивала каждому ее слову.

— Мне отвратительно это мяуканье, человеческое мяуканье, болтовня невежд! Да уж, вон как тут нынче красиво, с газом да с керосином! Только мне этакое не по нутру! Чисто, светло — впору себя устыдиться, причем невесть отчего. Во времена сальных-то свечек жилось куда вольготней, и было это в недалеком прошлом! В романтическую эпоху, как принято говорить.

— О чем ты? — спросила дриада. — Я тебя никогда прежде не видела. О чем ты рассказываешь?

— О добрых старых временах! — отвечала крыса. — О чудесных временах наших крысиных прапрадедов, когда под землю почем зря лазать боялись. Здесь было крысиное гнездо поболее всего Парижа! Здесь, внизу, жила Матушка Чума, губившая людей, но не крыс. Разбойники да контрабандисты, не опасаясь поимки, отсиживались в этом прибежище, где собирались прелюбопытные персоны, каких теперь увидишь разве что в оперных театрах. Увы, романтические времена миновали и у нас, в крысином гнезде, даже сюда добрались свежий воздух и керосин.

Вот так верещала крыса — хулила новое время, восхваляла стародавнее, с Матушкой Чумой.

Подъехала повозка, этакий открытый омнибус, запряженный маленькими резвыми лошадками. Экскурсанты расселись по местам и отправились в путь — к Севастопольскому бульвару, подземному, над которым проходила знаменитая многолюдная улица.

Повозка пропала в сумраке, пропала и дриада, поднялась на вольный воздух, в сияние газовых фонарей, ведь именно там, а не в духоте сводчатых подземелий, наверное и находится то чудо, чудо света, которое она так желала отыскать за краткую ночь своей человеческой жизни. Оно уж точно сияет ярче всех газовых фонарей, ярче луны, что как раз выплыла на небосклон.

И в самом деле! Впереди засиял приветно мерцающий, призывный свет, яркий, словно Утренняя звезда.

\*

Дриада увидела нарядные ворота, распахнутые в небольшой сад, полный света и танцевальной музыки. Газовые огни окаймляли тихие озера и пруды с рукотворными водяными растениями, искусно сделанными из металла и раскрашенными; они живописно поблескивали на свету, и из каждого цветка били вверх струи воды. Прелестные плакучие ивы, настоящие весенние ивы сквозистым и все же укромным шатром склоняли долу свои свежие ветви. А среди кустов горел костер, и алые его отсветы играли на тихих полутемных беседках, пронизанных звуками музыки, ласкающей слух, пленительной, призывной, волнующей кровью.

Увидела она и молодых женщин, изящных, расфранченных, доверчиво улыбающихся, полных легкомысленной юношеской веселости, — этаких Мари с розами в волосах, только без кареты и грума. Как они изгибались, как кружились в бешеном танце — сущий вихрь! Никакого удержу нет,

прыгают, скачут, ровно тарангул их покусал, хохочут, улыбаются, готовые в блаженной радости обнять весь мир.

Танец увлек за собой и дриаду. Ее прелестные ножки обулись в шелковые туфельки каштанового цвета, и лента в волосах была каштановая, ниспадавшая на обнаженное плечо. Зеленый шелк платья клубился пышными складками, но не скрывал стройных ножек, которые так и рвались выводить вензеля чуть что не под носом у кавалера.

Она что же, в волшебном саду Армиды? Как зовется это место?

Название светилось над входом в лучах газовых фонарей:  
«Мабиль».

Звуки музыки и аплодисменты, свист ракет и плеск воды перемешивались с хлопками шампанского; танцоры кружились в безумной вакхической пляске, а над всем этим плыла луна, надо сказать слегка недовольная. На небе ни облачка, воздух чистый, прозрачный, словно бы из сада «Мабиль» заглядываешь в самую глубь небес.

Упоительная, всепоглощающая радость жизни нахлынула на дриаду, будто опийный дурман.

Глаза ее говорили, и уста говорили, но слов было не различить — слишком громко играли флейты и скрипки. Кавалер что-то нашептывал ей на ушко, слова наплывали волнами, в ритме канкана, она их не понимала, и мы не понимаем. Он протянул к ней руки, обнял, но заключил в объятия лишь прозрачный, пропахший газом воздух.

Дриада летела в воздушном потоке, как подхваченный ветром розовый лепесток. Впереди, в вышине, она увидела свет, мерцающий огонь на верхушке башни. Этот огонь сиял там, где была цель ее стремлений, — сиял на красной башне маяка среди «миражей» Марсова поля. Туда-то и мчал дриаду вешний ветер. Она закружилась вокруг башни, а тамошние работники решили, что это мотылек, умирая, падает наземь, ибо явился слишком рано.

\*

Светила луна, газовые лампы и фонари светили в просторных павильонах и многочисленных национальных заведениях, светили на естественные травянистые пригорки и рукотворные скалы, с которых силою Мастера Механизма низвергались водопады. Здесь отверзались каверны морской пучины и пресноводные омуты, открывалось царство рыб — в водолазном колоколе человек попадал на дно глубокого пруда и в морскую бездну. Со всех сторон и сверху на толстое стекло давила вода. Цепкие щупальца полипов, длинные, гибкие, извивающиеся, как угри, трепещущие, живые, искали опору, тянулись вверх, прирастали ко дну.

Большая камбала задумчиво лежала поблизости, расплалась со всем удобством; краб, словно гигантский паук, карабкался через нее, а вокруг торопливо шныряли юркие креветки — ни дать ни взять морские бабочки да моль.

В пресной воде росли водяные лилии, камыш, ситовник. Золотые рыбки выстроились шеренгой, ни дать ни взять солдаты в красных мундирах на плацу, головами в одну сторону, чтобы поймать ртом течение. Глупые жирные линии пялили глаза на стеклянные стены. Рыбы знали, что они на Парижской выставке, помнили весьма утомительное путешествие в бочках с водой и сухопутную болезнь, которая одолевала их на железной дороге, подобно тому как людей на корабле одолевает болезнь морская. Они приехали посмотреть выставку и видели ее из собственных пресноводных или морских «лож», видели толпы народа, с утра до вечера тянувшиеся мимо. Все страны мира прислали сюда и выставили на обозрение своих людей, чтобы старые линии и лещи, юркие окуни и обомшелые карпы увидели этих созданий и высказали свои соображения насчет их природы.

— Это пресмыкающиеся! — объявила перепачканная илом плотичка. — Они меняют кожу два-три раза на дню,

а ртом издают звуки, которые зовут речью. Мы вот не лияем и изъясняемся более простым способом — шевелим уголками рта и сверкаем глазами! Людям до нас ой как далеко!

— Однако ж плавать они научились, — сказала какая-то пресноводная рыбешка. — Я родом из большого озера, так вот в жаркую погоду люди, предварительно скинув шкурку, заходят в воду и плавают. У лягушек научились: толчок задними лапами и гребок передними, — правда, хватает их ненадолго. Хотят походить на нас, но куда там! Бедные людишки!

Рыбы упорно таращили глаза, думая, что люди, толпившиеся тут при ярком свете дня, никуда не ушли. Вдобавок они ничуть не сомневались, что перед ними те же самые существа, которые, так сказать, первыми затронули нервы их восприятия.

Один окунек, с красивым тигровым узором на бочках и завидно круглой спинкой, уверял, что «человечья тина» вправду еще здесь, он ее видит.

— И я вижу, совершенно отчетливо! — вскричал изжелта-золотой линь. — Отчетливо вижу прелестное, стройное человеческое существо, «длинноногую женщину», вроде бы так ее называли, рот и глаза у нее в точности как у нас, два шара сзади, да сложенный зонтик впереди, да большущий хвост из ряски, да всякие побрякушки. Ей бы скинуть все это с себя, двигаться как мы, по воле творения, тогда бы она выглядела наподобие честного линия, насколько это возможно для человека.

— А куда подевался тот, которого тащили на леске?

— Он ездил в шарабане, сидел там с бумагой, пером и чернилами да все-все записывал. Кто он такой? Его называли писателем.

— Так он по-прежнему тут! — заметила обомшелая девица-карасиха, чье горло мир подверг жестокому испытанию, от которого она охрипла; когда-то она проглотила рыболов-

ный крючок и по сей день плавала с этой железкой в глотке. — Писатель — слово вполне рыбье, вполне понятное, среди людей он вроде чернильной каракатицы.

Вот так по-своему рассуждали рыбы. А посреди рукотворного подводного грота слышался стук молотков и песни рабочих, которым приходилось трудиться и по ночам, чтобы сделать все к сроку. Их песни звенели во сне летней дриадной ночи, да и сама дриада была здесь, чтоб вскоре улететь, исчезнуть без следа.

— Ой, золотые рыбки! — воскликнула она, приветливо им кивая. — Все ж таки довелось мне вас увидеть! Я вправду вас знаю. Причем с давних пор. Крачка в родном краю рассказывала. Какие вы красивые, блестящие, прелесть да и только! Так бы и расцеловала вас всех! И другие мне тоже знакомы. Это вот не иначе как толстяк-карась, а это красавец-лещ и старые обомшелые карпы. Я вас всех знаю. А вы меня нет!

Рыбы таращили глаза, не понимая ни слова, смотрели в угасающий свет.

А дриада была уже далеко, стояла на вольном воздухе, где цветок «чуда света» благоухал ароматами разных земель — и той страны, где пекут ржаной хлеб, и той, где вялят треску, и той, где кожевники делают юфть, и той, где выпускают кельнскую воду, и восточных краев с их розовым маслом.

\*

Когда полусонный возвращаешься домой после ночного бала, в ушах еще отчетливо звучат его мелодии, и можно напеть любую из них. И глаза убитого хранят до поры до времени фотографический образ того, что он видел в последний миг. Вот и здесь словно бы ночами продолжалась блестящая суета дневной жизни, не затихала, не гасла; дриада чувствовала ее и знала: так будет и завтра.



\*

Дриада очутилась среди душистых роз, которые казались ей знакомыми, родными. Розами из господского парка и из сада священника. Приметила она тут и алый цветок граната — в точности такой украшал смоляные волосы Мари.

Воспоминания о детстве, о родном сельском крае звездами мерцали в ее мыслях; глаза жадно впитывали окружающие картины, все естество дрожало в лихорадочном беспокойстве, которое увлекало ее по чудесным залам.

\*

Дриада почувствовала, что силы оставляют ее, и эта усталость нарастала с каждой минутой. Ее так и тянуло отдохнуть на мягких восточных коврах и подушках в какой-нибудь гостеприимной беседке или вместе с плакучей ивой склониться к чистому водоему, окунуться в его воды.

Однако поденке отдыхать не дано. Считанные минуты — и отпущенный ей срок придет к концу.

И помыслы ее, и все существо охватил трепет, она опустилась на траву у журчащего родничка.

— Ты струишься из-под земли, в тебе столько жизни! — воскликнула она. — Увлажни мой язык, освежи меня и ободри!

— Я не живая! — отвечала вода. — Мною движет машина.

— Поделись со мною своей свежестью, зеленая травка, — попросила дриада. — Подари мне хоть один душистый цветок!

— Мы умрем, если нас сорвут! — отвечали былинки и цветы.

— Поцелуй меня, свежий ветерок! Дай мне один-единственный поцелуй жизни!

— Скоро облака зардеют от поцелуев солнца! — отвечал ветер. — А ты умрешь, покинешь этот мир, как еще до конца года канет в вечность вся здешняя красота, и я вновь стану играть легким сыпучим песком на плацу, гонять пыль

по земле, поднимать ее в воздух! Пыль и прах! Все на свете только прах!

Дриада испугалась — так пугается женщина, которая, лежа в ванне, вскрыла себе вены и истекает кровью, но все еще хочет жить. Она встала, сделала несколько шагов и снова опустилась наземь перед маленькой церквушкой. Двери храма были открыты, свечи горели на алтаре, звучал орган.

Ах, что за музыка! Никогда дриада не слышала таких напевов, и все же ей чудились в этих звуках знакомые голоса. Голоса из самых глубин души всего сущего. Ей словно бы слышался шелест старого дуба, и рассказы старика-священника о великих делах, о славных именах, о том, что тварь Божия способна принести в дар грядущему и непременно должна принести, дабы взамен обрести вечную жизнь.

Звуки органа летели ввысь, и песня их говорила:

— Твоя горячая мечта, твоя жажда оторвала тебя от назначенного Богом места. Тебе на погибель, бедняжка дриада!

Звуки органа, нежные, мягкие, казалось, рыдали и замирали в рыдании.

На небе зардели облака. Пробежал ветер, пропел:

— Уходите прочь, умершие, восходит солнце!

Первый луч упал на дриаду, и сей же час она вспыхнула переливами красок, словно мыльный пузырь в тот миг, когда он, лопнув, исчезает, становится каплей влаги, слезой, что падает наземь и тоже исчезает.

Бедная дриада! Росинка, что слезой скатилась и пропала!

\*

Солнце сияло над «миражами» Марсова поля, сияло над огромным Парижем, над маленькой площадью с деревьями и плещущим фонтаном, с высокими домами вокруг, — той самой площадью, где стоял каштан. Но ветви дерева поникли, листья увяли, а ведь еще вчера оно было живым и све-

жим, как весна. Каштан погиб, сказали люди, дриада погибла, улетела прочь, словно облачко, неведомо куда.

Увядший, сломанный цветок каштана валялся на земле, даже святая вода не смогла бы вернуть его к жизни. И скоро люди затоптали его...

\*

Все это случилось на самом деле.

Мы сами все видели, на Парижской выставке в 1867 году, в наши дни, в великое, удивительное время сказок.

---

## ПРЕДКИ ПТИЧНИЦЫ ГРЕТЫ

**П**тичница Грета была единственным человеком, кто жил в богатых новых хоромах, поставленных для кур и уток во дворе поместья, раскинувшегося там, где в рыцарские времена красовалась старая усадьба с башней и щипцом, рвом и подъемным мостом. Вокруг птичника стеной теснились кусты да деревья, остатки сада, спускавшегося до безбрежного некогда озера, теперь ставшего болотом. Огромные полчища грачей, ворон и галок с криком и гомоном носились в кронах старых деревьев, никогда не убывая: люди постреливали птиц, но те плодились быстрее. И вечно была слышна их шумная возня прямо за стенами курятника, где коротала дни Птичница Грета, а через ее обутые в деревянные башмаки ноги переползали желторотые цыплята. Она помнила наперечет каждого утенка, каждого цыпленка с той секунды, как они вылупились из яйца, и гордилась своими курами и утками, и великолепным жилищем, построенным для них. Чисто и опрятно было у нее в доме, как того требовала и госпожа хозяйка, владелица курятника, она приводила сюда своих высоких гостей показать им «курино-утиную казарму», как она его называла.

Здесь стоял шифоньер, кресло, мало того, еще и комод, на котором сияла начищенная до блеска медная дощечка с выгравированным на ней словом «Груббе», именем того знатного

рода, чья усадьба возвышалась тут прежде. Дощечку нашли, когда стали закладывать основание под новый дом, но дьячок сказал, что поднос интересен исключительно как память о прошлом, а другой ценности собой не представляет. А уж дьячок доподлинно знал всю здешнюю историю и географию, он черпал свою мудрость из книг, ящик его стола ломился от выписок из толстенных томов. Так что в истории минувшего дьячок был всеведущ, больше него знала, вероятно, одна только Старая ворона, она кричала, кричала об этом на своем вороньем языке, да дьячок при всем своем уме по-вороньи не разумел.

К исходу жаркого летнего дня от болота начинал подниматься пар, и казалось, что за деревьями, в которых носятся грачи, галки и вороны, раскинулось безбрежное озеро, все выглядело точно как во времена его сиятельства рыцаря Груббе, когда здесь стояла усадьба, обнесенная стеной красного кирпича, но цепной дворовый пес бегал и далеко за воротами. Тогда из башни человек попадал в мощный камнем коридор, ведущий в залы; окна были узкими, а стекольца маленькими даже и в большом зале, где устраивали танцы, и хотя на закате дней рода Груббе о танцах уже никто не вспоминал, но и тогда по-прежнему оставался в зале огромный барабан, часть бывшего оркестра. В замке имелся шкаф, украшенный искусной резьбой, а в нем хранились луковицы диковинных цветов, ибо госпожа Груббе жить не могла без растений и всей душой любила травы и деревья, ее же супруг любил прищипывать коня и пуститься охотой на волков или кабанов, и всегда след в след за ним скакала его дочурка, малышка Мария. В пять лет она горделиво восседала на лошади и храбро глядела вокруг своими большими черными глазами. Ей нравилось огреть кнутом свору охотничьих собак, а вот отца бы больше позабавило, хлестни она крестьянских мальчишек, собиравшихся поглазеть на господ.

В земляной избушке рядом со старой усадьбой жил крестьянин, у него был сын по имени Сёрен, ровесник высоко-





родной барышни, этот мальчишка отлично лазил по деревьям, и Мария все время гоняла его доставать для нее птичьи гнезда, отчего грачи, вороны и галки поднимали страшный гвалт, а одна, самая большая, птица раз клюнула мальчишку в бровь, хлестнула кровь и все уже решили, что парень потерял глаз, но обошлось. Мария Груббе называла его своим Сёренем, это была великая милость и большая удача для папаши мальчика, голодранца Йона: однажды он совершил проступок, и в наказание получил круг на деревянной кобыле. Та стояла посреди двора — четыре балки вместо ног и узкая поставленная ребром доска вместо спины, и вот на ней должен был проскакать Йон, а чтоб ему сиделось еще больнее, к ногам привязали тяжелые кирпичи; лицо Йона исказилось страданием, Сёрен зарыдал и бросился в ноги малышке Марии, она потребовала немедленно отпустить папашу Сёрена, а когда ее не послушались, топнула ногой по каменному мосту и так дернула отца за рукав камзола, что вовсе оторвала его. Если она чего хотела, то добивалась своего, вот и в тот раз так вышло — папашу Сёрена отпустили.

Госпожа Груббе, тоже спустившаяся во двор, погладила дочку по волосам и посмотрела на нее добро и ласково, а почему, Мария не поняла.

Ее тянуло на псарню, а не гулять с матерью, которая садом спустилась к озеру, здесь цвели кувшинки и водяные лилии, а в камышах покачивались сусак и палочник. «Какая благодать!» — умилилась госпожа при виде этого буйства и свежести. В саду росло одно редкое по тем временам растение, она собственными руками посадила его, красный бук называлось это дерево, со своими темно-коричневыми листьями казавшееся среди всеобщей зелени арапом; оно все время должно было купаться в лучах солнца, а в тени его листья сделались бы обычного зеленого цвета, и бук потерял бы свою примечательность. Повсюду в высоких каштанах, в кустах, везде кругом было много-много птичьих гнезд, словно



бы птицы чувствовали, что здесь они хранимы, здесь никто не посмеет пойти на них с ружьем.

И вот сюда малышка Мария привела своего Сёрена, того, что умел, как мы помним, отлично лазить по деревьям, и он натаскал из гнезд насиженных яиц и неоперившихся еще птенчиков. В страхе и ужасе кружили вокруг птицы, и большие кружили, и маленькие. И чибисы луговые, и грачи, и галки, и вороны кричали, надрываясь, в высоких деревьях, и крик этот передается у птиц из рода в род и донныне.

— Что вы натворили, дети? — причитала добрая госпожа. — Это не по-божески!

Сёрен потупил голову, и маленькая высокородная барынька тоже отвела было глаза в сторону, но тут же заявила коротко и жестко: «Отцу нравится».

«Прочь отсюда! Прочь!» — заплакали большие черные птицы и улетели, но на другой день вернулись, их дом был здесь.

Милостивая, тихая госпожа, напротив, не долго прожила тут, Господь призвал ее к себе, в его чертогах она чувствовала себя больше дома, чем в усадьбе; когда тело покойной везли в церковь, то торжественно и величаво звонили церковные колокола, а у бедняков наворачивались слезы на глаза, потому что госпожа всегда бывала добра с ними ...

После ее ухода никто не ухаживал за растениями, и сад захирел.

Господин Груббе, по рассказам, был человеком жестким, но дочь, несмотря на юный возраст, умела обуздать его: она заставляла его смеяться, и все выходило по ее. Теперь девице сравнялось двенадцать, она была не по годам высокой, смотрела людям прямо в глаза своими черными очами, скакала на лошади как мужчина и стреляла из ружья, точно искусный охотник.

И тут в поместье пожаловали высокие гости, что ни на есть наивысочайшие, сам молодой король и его сводный брат и товарищ господин Ульрик Фредерик Гюльденлёве; они приехали поохотиться на кабанов и почтить владения Груббе однодневным постоем.

За ужином Гюльденлёве сидел рядом с Марией, он погладил ее по голове и поцеловал, как если б они были в родстве, а она в ответ шлепнула его по губам и заявила, что он ей противен, и весь стол долго потешался над ее выходкой, словно находя в ней много удовольствия.

И видно запало удовольствие в душу, ибо пятью годами позже, когда Марии сравнялось семнадцать, прибыл гонец с письмом: господин Гюльденлёве просил руки высокородной барышни. Вот это была неожиданность!

— Он самый знатный и самый галантный кавалер во всем Отечестве, — сказал господин Груббе. — Тут не откажешься.

— Я о нем невысокого мнения, — ответила на это Мария Груббе, но не отвергла самого знатного кавалера Отечества, сидящего одесную короля.

Серебро, а также льняное и шерстяное полотно и прочее приданое отправили в Копенгаген морем, а Мария в карете за десять дней пересекла всю страну из конца в конец. Груз задержал в пути не то встречный ветер, не то безветрие, только прибыл он на место лишь через четыре месяца, а тогда госпожи Гюльденлеве в столице уже и след простыл.

— Лучше я буду спать на холстине, чем на шелках в его постели, — сказала она, — и лучше я буду ходить босая, чем ездить в карете с ним!

Как-то поздним ноябрьским вечером в Орхус въехали верхом две женщины, это были госпожа Гюльденлёве и ее служанка, прискакавшие из Виля, куда они добрались из Копенгагена на корабле. Они продолжили путь дальше, в обнесенную каменной стеной усадьбу господина Груббе. Их появление его не обрадовало, он набросился на них с поношениями. Все же комната для Марии нашлась, как и похлебка из пива с хлебом, но не добрые слова к ней; отец предстал перед Марией злым и жестоким, к чему она не привыкла, да и сама кротостью не отличалась, огрызалась на всякое понукание и тут за словом в карман не полезла, а с ненавистью и ожес-

точением стала срамить своего супруга господина Гюльденлёве и заявила, что не станет с ним дольше жить — этого не позволяют ей честь и воспитание.

Прошел год, и прошел безрадостно. И отец, и дочь грешили грубостью, а делать этого не след. Недобрые слова приносят недобрые плоды. Чем-то это кончится?

— Нам не ужиться под одной крышей, — сказал, наконец, отец, — уезжай и живи в старой усадьбе. И лучше тебе сразу откусить себе язык, чем распускать вокруг доммысли.

Пути их разошлись; Мария со служанкой переехали в старую усадьбу, где она появилась на свет и росла, и где покоилась в церковном склепе ее мать, тихая и благочестивая госпожа Груббе, а жил лишь один старик, ходивший прежде за скотом. Комнаты были затянута паутиной, провисшей от пыли, сад одичал и зарос, хмель и повелика сетью заплелись промеж кустов и деревьев, цыкута и сныть пошли в рост и силу. Красный бук ютился в тени, забитый другими деревьями, его листья стали такими же зелеными, как у всех растений, и ни что не напоминало о его незаурядности. Огромные полчища грачей, ворон да галок с криком и гомоном носились в кронах высоких каштанов, словно торопясь поделиться с другими важной вестью: она вернулась, меньшая госпожа, с чьего повеления у нас украли птенчиков и яйца; сам вор, чьих рук это дело, теперь лазает по сухим стволам, сидит в вороньем гнезде на высокой мачте и за всякую провинность отведывает горяченьких.

Все это рассказал нам дьячок, он вычитал это в книгах и хрониках, выписал и собрал, и оно вкуче со многими другими историями хранится в ящике его стола.

«Жизнь катит то в гору, то под гору, — говорил нам дьячок. — Слушать — и то удивительно!» А нам не терпелось узнать, чем кончила Мария Груббе и как там Птичница Грета, коротающая дни в добротном домике в усадьбе, где жила задолго до нее Мария Груббе, только на душе у Марии не было того покоя, что у старой птичницы.

Прошла зима, весна и лето, и снова наступила осень с ее холодным и мокрым туманом с моря. Одинокой была жизнь на хуторе, и скучной.

Мария Груббе пристрастилась к охоте, она часто уходила в вересковые пустоши и то, бывало, подстрелит зайца, то лису, то какую птицу. Не раз встречался ей на тропе охотник Палле Дюре из Нёрребэка, он тоже бродил по пустошам с ружьем и собакой. Он был здоровый, сильный, и вечно бахвалился этим в разговорах с Марией. Не стыдился даже сравнивать себя с покойным господином Брокенхусом из Эгескова на Фюне, о чьей силе до сих пор ходят легенды. По его примеру Палле натянул в воротах железную цепь с охотничьим рогом, так что прискакав к дому, он сперва подтягивался, отрывая от земли и себя, и коня, и так трубил в рог.

«Милости просим, госпожа Мария, — зазывал он, — в Нерребэке всегда погодка что надо!»

Когда она перебралась в его усадьбу, в книгах не отмечено, но на подсвечниках в тамошней церкви выгравировано, что это дар от Палле Дюре и Марии Груббе из Нёрребэка.

Здоровуцим был Палле Дюре как зверь, дюжий, спиртное поглощал, как губка, как бочка бездонная, храпел точно стадо свиней и ходил вечно опухший, красный.

«Он бесцеремонный, как боров, да еще грубит, язва», — говорила про него госпожа Палле Дюре, урожденная Груббе. Такая жизнь быстро приелась ей, что дела не улучшило.

Как-то накрыли на стол, а еда простыла без пользы: господин охотился на лис, госпожу не нашли. Палле Дюре возвратился к полуночи, госпожа не объявилась ни тогда, ни утром: она удрала из Нерребэка, ускакала восвояси, не сказав ни прости, ни прощай.

Погода стояла сырая, мрачная, дул холодный ветер, над Марией с криком кружила стая черных птиц, даже им, в отличие от нее, было, где голову приклонить.

Сперва она подалась на юг, добралась почти до немецкой границы, выручила денег, продав пару золотых колечек с драгоценными камешками, повернула на восток, оттуда на запад. Она скакала куда глаза глядят и злилась на весь белый свет, даже на Бога всемилостивого, поскольку ум ее сделался больным; вслед за ним занедужило и тело, так что Марии не под силу стало уже шевельнуться. Чибис вспорхнул с кочки, когда Мария упала, запнувшись за нее; с вышины он завел свою обычную песню, «Воровка! Воровка!» кричал он, хотя Мария никогда ни у одного человека ничего не своровала, разве что девчонкой заставляла Сёрена таскать у чибисов яйца и птенцов, вспомнила она.

С того места, где Мария лежала, ей видны были дюны, значит, где-то там рыбаки, но так далеко ей, немощной и обесилевшей, не добраться. Огромные белые чайки выписывали над ней круги и кричали так же точно, как грачи, вороны и галки кричали в саду дома. Птицы носились совсем близко от нее, под конец ей показалось, что они посерели, потом почернели, но это она, Мария Груббе, провалилась в черноту.

Когда она вновь разлепила веки, ее нес на плечах высокий рыжий парень, его бородатое лицо было у нее совсем близко перед глазами, она видела шрам над глазом, рассекавший бровь надвое; парень дотащил ее (Мария была совсем плоха) до корабля, за что получил разнос от капитана.

На другой день корабль уплыл. Уплыл вместе с Марией Груббе, она не сошла на берег. Вернулась ли она назад? Вернулась, но когда вернулась и куда, неизвестно.

Обо всем этом рассказал дьячок, при том он не сам сочинил историю, а вычитал обо всей причудливой цепи событий в старинной книге, которую мы, буде желание, сами можем взять в руки и прочитать. Датский историограф Людвиг Хольберг, автор множества стоящих прочтения книг и смешных комедий, по которым мы можем изучать нравы его современников и их самих, описывает в своих письмах, где

и при каких обстоятельствах встречался с Марией Груббе он сам; вам, конечно, тоже хочется послушать эти истории, но они не уведут нас от Птичницы Греты, которая в неге и радости коротает дни в великолепном курятнике.

Мы прервались на том, что корабль взял на борт Марию Груббе.

Прошло много лет.

Настал год 1711, в Копенгагене свирепствовала чума. Королева Дании отбыла на свою немецкую родину, король покинул столицу государства, всякий, кто только мог, спасся бегством. Пустились наутек даже бедные студенты, у которых в городе был бесплатный стол и кров. Один такой юноша уходил из города последним из квартирантов так называемой «коллегии Борка», что соседствует со студенческим домом Регентс. В два часа пополуночи он шагал по улице с ранцем за плечами, в котором лежали в основном не одежда, а книги и письменные принадлежности. Город придавил мокрый, вязкий туман, на улице, по которой шел юноша, не было ни души, повсюду на дверях и воротах щерились кресты, означавшие, что в доме или болеют чумой, или все уже умерли. Никого не было видать и на широкой, извилистой Кёбмагергаде, как она называлась на отрезке от Круглой башни до Королевского дворца. Вдруг мимо прогрохотали похоронные дроги, кучер стеганул лошадей, они рванули в галоп; дроги были полны мертвых тел. Юноша закрыл лицо руками и понюхал губку, пропитанную спиртом, он носил ее с собой в медной ладанке. Из кабачка где-то в переулках доносились громкие песни и непристойный смех людей, ночи напролет искавших в браге забвения того, что чума караулит у порога и мечтает увидеть и их тела на покойничьих дрогах. Студент поспешил к дворцовому мосту, у которого стояла на приколе пара утлых суденышек, последняя надежда чающих выбраться из города-заложника.

— Если Господь сохранит нам жизнь и дарует попутный ветер, мы отправимся в Грёнсунд, на остров Фальстер, —

сказал капитан и спросил студента, попросившегося плыть с ними, как его зовут.

— Людвиг Хольберг, — ответил студент, и это имя, ныне одно из самых прославленных в датской истории, прозвучало заурядно, как любое другое, потому как и сам он был тогда еще зеленым безвестным школяром.

Судно миновало Дворец, и еще утро не развиднелось, как оно вышло в открытое море. Налетел легкий бриз, раздул парус, студент, пренебрегая благоразумностью, сел лицом к свежему ветру и заснул.

А на третье утро судно уже отшвартовалось у Фальстера.

— Не знаете ли вы кого-нибудь в округе, кто мог бы сдать мне угол за небольшие деньги? — спросил Хольберг капитана.

— Думаю, не прогадаете, если загляните к паромщице у переправы, — ответил капитан. — Если вам захочется быть очень галантным, можете звать хозяйку не Теткой Сёрен, а Сёренсен Мёллер. Только не переусердствуйте с любезностями, она от них звереет. Мужа ее посадили за преступление, она сама управляет переправой, и кулачищи у нее еще те.

Студент подхватил свой ранец и зашагал к дому паромщика. Дверь оказалась не заперта, щеколда подалась, и он вошел в мощеную комнату, большую часть которой занимала откидная скамья, покрытая кожаным одеялом. К скамье была привязана белая курица, рядом копошились цыплята, они опрокинули поилку, вода разлилась по полу. Ни в этой комнате, ни в спальне за ней не было никого, за исключением младенца в люльке. Показалась лодка перевозчика, но кто сидел на веслах, мужчина или женщина, издали было не разобрать. Одет человек был в широкое пальто, на голове меховая шапка, завязанная под подбородком как чепец. Лодка причалила.

Паромщиком оказалась женщина, вскоре она зашла в дом. Держалась она с глубоким достоинством, спину несла прямо, глаза глядели из-под черных бровей горделиво. Это

и была Тетка Сёрен, хотя грачи, вороны и галки прокричали бы другое ее имя, более нам знакомое.

В общении угрюмая, малословная, она все же выдавила из себя несколько фраз, их хватило, чтобы студент сторговал себе стол и угол на неопределенный срок — пока в Копенгагене все не успокоится.

Пара достопочтенных граждан ближайшего городка имела обыкновение частенько навещать в дом паромщика. Франк Ножовщик и Сиверт Таможенник приходили выпить по кружке пива и поговорить со студентом, он был сметливый юноша, понимавший толк в своем, как они говорили, деле: знал и латынь, и греческий, разбирался в мудреных вещах.

— Чем меньше человек знает, тем меньше он мучается, — говорила на это Тетка Сёрен.

— Достается вам, — сказал как-то Хольберг, глядя, как она кипятит белье в едком щелоке, для чего ей сперва пришлось еще собственноручно нарубить дров.

— Не ваша печаль, — ответила она.

— И так вам приходилось надрываться с детства? — спросил студент.

— Посмотрите на мои руки, — ответила она и протянула ему миниатюрные, но натруженные и сильные руки с обломанными ногтями. — С вашей ученостью вы и сами все поймете.

Под Рождество разыгралась снежная буря, затрещали морозы, ветер обдирали лицо. Тетку Сёрен непогода не испугала, она только плотнее запахивала пальто и туже завязывала шапку. В доме делалось темно очень рано, тогда она клала в очаг дров или торфа и усаживалась штопать свои чулки, и эту работу никто бы за нее не сделал. Как-то ближе к вечеру она, против своего обыкновения, разговорилась и рассказала студенту о своем муже.

— Он по неосторожности убил шкипера из Драгёра, и теперь ему три года таскать кандалы на каторге Хольмена. Он же был простым матросом, к таким закон неумолим.



— Закон и для знати тот же, — ответил Хольберг.

— Вы думаете? — сказала Тетка Сёрен и уставилась в огонь, но погода заговорила опять. «Вы слышали о Кае Люкке, который приказал сравнять с землей одну из церквей на своих землях, а когда пастор Мадс в проповеди обрушился на него с порицанием, Кай Люкке велел заковать священника в кандалы, устроил суд и добился своего: пастор заплатился за свои «преступные» речи головой; в этом убийстве о неосторожности говорить не приходится, и при всем при том Кай Люкке остался на свободе, вольный, как птица».

— По законам того времени он был в своем праве, — ответил Хольберг. — Но мы от этого давно ушли.

— Это вы олухам рассказываете! — буркнула Тетка Сёрен и закрылась в каморке у Малóй, как она звала малышку, перепеленала ее и укачала, а потом постелила кровать для студента; кожаное одеяло она тоже отдала ему, он, даром что родился в Норвегии, мерз сильнее, чем она.

В новогоднее утро ярко светило солнце, подморозило так сильно, что поземка превратилась в прочный наст. В городе звонили колокола, сзывая в церкви, и студент Хольберг надел на себя свое шерстяное пальто и собрался в город.

Над хижиной паромщика с криком носились грачи, вороны да галки, они галдели так, что заглушали колокольный звон. Тетка Сёрен у дома набивала снегом медный чан, чтоб натопить над очагом питьевой воды, она смотрела на птичий переполох, и что-то он ей напоминал.

Студент Хольберг отправился в церковь, по дороге туда, а потом и обратно, он проходил мимо дома Сиверта Таможенника, что около городских ворот, и его пригласили зайти на кружку горячего пива с сиропом и имбирем; разговор зашел о Тетке Сёрен, но Таможеннику, как впрочем, и всем, мало что было о ней известно: родом она не из Фальстера, когда-то была, похоже, при деньгах, муж у нее простой матрос, дикого норова, он убил шкипера из Драгёра. Он и жену бил, а она теперь защищает его.

— Я б не позволила так с собою обращаться, — заявила жена Таможенника. — Ну да я и происхождением повыше, мой отец был королевским чулочником!

— Поэтому и супругой вы стали королевского чиновника, — заметил на это Хольберг и раскланялся с Сивертом Таможенником и его женой.

Вечером в день трех царей Тетка Сёрен зажгла для Хольберга трехсвечник, вернее говоря, три свечки, которые она сама намакала в сале.

— По свечке за каждого мужа! — сказал Хольберг.

— За каждого мужа? — переспросила женщина, оторопело глядя на него.

— За каждого волхва, пришедшего к младенцу Иисусу, — пояснил Хольберг.

— Ах, в этом смысле, — ответила она и надолго замолчала. Но все же в этот вечер ему суждено было узнать много больше того, что было известно ему прежде.

— Вы с любовью относитесь к своему супругу, — сказал Хольберг. — А люди говорят, он обижал вас чуть не всякий день.

— Это касается только меня! — ответила она. — В детстве эти побои принесли бы мне пользу. Теперь же я получаю их в расплату за мои грехи! Муж сделал мне добро, и я помню его. Когда я валялась на вересковой пустоши, не нужная никому, кроме галок, ворон да грачей, слетевшихся заклевать меня, он вынес меня оттуда на своих плечах, и претерпел поношения за то, что явился на корабль с таким довеском. Я так устроена, что не могу долго недужить, и я выкарабкалась, поднялась на ноги. У всех свои недостатки, но зачем же судить о лошади по недоуздку? Жизнь с Сёреном была мне больше в радость, чем с тем, кого называют самым галантным и благородным кавалером среди всех подданных датской короны. Я побыла супругой наместника Гюльденлёве, сводного брата короля, потом вышла за Палле Дюре, это один черт, каждый плох на свой

лад, а я на свой. Целую речь сказала я вам, зато теперь вы все знаете!» И с тем она вышла из комнаты.

Это была Мария Груббе! Так удивительно летали вверх-вниз качели ее счастья. Немного еще праздников трех царей пришлось на ее жизнь; в июне 1716 года она умерла, пишет Хольберг, но не упоминает при этом, поскольку не знает, что пока тело умершей Тетки Сёрен, как она звалась, лежало в хижине у переправы, туда слетелись полчища больших черных птиц, они не кричали, словно знали, что похоронам приличествует тишина. Едва тело предали земле, как птицы исчезли, но вечером того же дня в Ютландии, над старой усадьбой, собралось несметное количество грачей, ворон и галок, они кричали все разом, точно спеша поделиться новостями, то ли о мальчишке, беднячком сыне, что тогда разорил их гнезда, украв яйца и неоперившихся птенцов, а теперь таскает железные кандалы на королевском Хольмене, то ли о высокородной девчонке, окончившей свои дни паромщицей в Грёнсунде. «Бра-во! Бра-во!» — кричали птицы.

И также кричали птицы «Бра-во! Бра-во!», когда ломали старую усадьбу. «Хотя что им теперь-то кричать?» — вопрошал дьячок и рассказывал, что род Груббе пресекся, поместье разрушилось, на его месте и стоит нарядный курятник с золочеными ставнями и старой Птичницей Гретой, которая не нарадуется своему чудесному жилищу. Не поселись она тут, вековать бы ей в богодельне.

Над ее головой воркуют голуби, вокруг нее кулдычут индюки и крикают утки.

— Чья она, никто не знает, — говорят они. — Родни у нее нет. Это просто милость небес, что она оказалась тут. Разве папа у нее селезень? Или мама наседка? И выводка своего нет у нее.

Хотя была родня и у нее, но про то не знала ни она сама, ни дьячок, набивший выписками из мудреных книг полный ящик стола, а знала одна только Старая ворона, она-то все

и рассказала. От своих матери и бабки слыхала она о матери Птичницы-Греты и ее бабке, которую мы помним сперва девчушкой, скачущей по подъемному мосту и глядящей на всех так горделиво, точно ей принадлежит весь мир и все птичьи гнезда в нем, потом мы помним ее лежащей в беспамятстве на вересковой пустоши у скал, а под конец в хижине у переправы. Внучка, на которой закончился род Груббе, вернулась домой, туда, где стояла старая усадьба, где кричали черные лесные птицы, и где теперь сидит она, среди своих ручных птиц, которых знает наперечет и которые ее не боятся. И нет у нее никаких желаний, кроме как помереть, она уж стара, зажилась.

— Хор-ронить, хор-ронить! — кричали вороны.

И Птичница обрела хорошую могилу, где она, никто не знает, кроме Старой вороны, если только и та не померла.

Вот тебе и вся история старой усадьбы, старинного рода Птичницы Греты и ее предков.

---

## ИСТОРИЯ ЧЕРТОПОЛОХА

**В** одном богатом поместье был сад дивной красоты, здесь росли диковинные цветы и деревья; заезжие гости восторгались великолепием сада; жители окрестных городов и деревень являлись по воскресеньям и в праздники и просили позволения осмотреть чудо; целыми школами привозили детей.

По ту сторону окружавшего сад забора, при дороге, рос огромный чертополох. Весь он, начиная с могучего, в несколько ответвлений, корня был таким большим и раскидистым, что его следовало бы величать кустом чертополоха. Однако никто не обращал на него внимания, за исключением старого осла, что таскал тележку молочницы. Этот изо всех сил тянул шею к кусту, приговаривая: «Какой ты красивый! Так бы тебя и съел!» Но вот беда, чересчур короткая веревка не давала ему полакомиться чертополохом.

Однажды в поместье устроили пышный праздник, самые прекрасные, самые высокородные столичные барышни почтили его своим присутствием. Была среди них гостья издалека, из заморской Шотландии; наследницу знатного рода, богатого и замками, и золотом, ее считали завидной невестой многие молодые люди, не говоря уж об их матушках.

Молодежь собралась на лужайке и затеяла игру в «крокет»: они гуляли меж цветников, и каждая девушка должна

была выбрать понравившийся цветок и вставить его в петлицу одному из юношей; шотландка все смотрела, смотрела по сторонам, но не находилось цветка, чтобы порадовал ее душу, тогда она заглянула за забор, где рос огромный чертополох, увидела его крупные лиловые цветки, улыбнулась и попросила сына хозяев поместья сорвать ей такой.

— Это цветок Шотландии, — сказала она. — Он украшает собой наш герб. Сорвите его мне!

Юноша отломил для нее самый пышный цветок, исколов себе пальцы, словно это был не чертополох, а шиповник.

Девушка засунула цветок ему в петлицу, и молодой человек считал это за великую честь, к зависти остальных юношей, любой из которых с радостью променял бы цветок у себя в петлице на этот, полученный из прекрасных рук юной шотландки. И уж если хозяйский сын чувствовал себя польщенным, то что говорить о чертополохе, он был на седьмом небе от блаженства, словно его напоили росой и обласкали солнцем.

«Как я себя недооценивал, оказывается! — сказал он. — На самом деле место мое, несомненно, по ту сторону забора, в саду. Удивительно, куда только судьба по ошибке иной раз нас не забросит! Но ничего, часть меня уже перебралась за забор, и даже выше того, в петлицу хозяйского сына!»

С тех пор не успевал на чертополохе проклюнуться новый бутон, как куст первым делом рассказывал ему эту историю, а довольно скоро к ней добавилась еще одна — чертополох узнал, не из разговоров людей и не из птичьего гомона, а из самого воздуха, что повсюду, от заповедных тропок сада до гостиных господского дома, где двери и окна стоят нараспашку, вбирает в себя все звуки и несет их дальше, вот воздух и нашептал чертополоху, что прекрасная шотландка, своей рукой вставившая его цветок в петлицу хозяйскому сыну, теперь отдала ему и руку, и сердце в придачу. Молодые были чудесной парой, как принято говорить, прекрасной партией.

— Это моя заслуга! — твердил чертополох, вспоминая, как выглядел тот цветок, который он отрядил в петлицу. И куст вновь и вновь рассказывал об этом событии всем без исключения распускаясь на нем бутонам.

— Наверняка меня пересадят в сад, — предрекал чертополох, — или в горшок даже, он тесный, правда, зато какой почет.

И чертополох так живо представил себе, как все будет, что заявлял без тени сомнения: «Меня пересадят в горшок!»

Это обещание чертополох давал каждому новому своему цветочку: он непременно будет жить в горшке, нет, бери выше, он попадет в петлицу. Хотя время шло, а ни в горшок, ни выше того, в петлицу, цветки чертополоха не попадали, бутон за бутонем насыщались светом и воздухом, они впитывали солнечное тепло днем и росу ночью, расцветали, распускались, и тогда к ним слетались пчелы и шмели, но их интересовало только приданное лиловых головок, сладкий мед, они выкачивали его и улетали, а цветки оставались вековать, и чертополох бушевал и называл пчел и шмелей скопищем воругов. «Как бы я хотел исколоть их, — жаловался он. — Да вот не могу!»

Цветки свешивали головки, хирели, но на смену им распускались новые.

— Вовремя вы появились, — встречал их чертополох. — С минуты на минуту я ожидаю, что нас пересадят в сад.

Несколько неприметных маргариток и подорожников, росших поодаль, внимали его речам с глубоким восхищением, они верили каждому его слову.

Старый осел, таскавший тележку молочницы, по-прежнему зарился на раскинувшийся на обочине куст, но короткая веревка не дотягивалась туда.

В своем ожидании наш чертополох так часто думал о чертополохе шотландском, в родню к которому он себя записал, что под конец искренне уверился в том, что сам он родом из Шотландии, а на гербе ее изображены именно его родители.

Так высоко возносился он в своих мечтах. Но большому чертополоху и мечты пристали большие.

— Когда происходишь из рода слишком знатного, иной раз и думать об этом боишься, — сказала росшая тут же крапива, которая тоже жила со смутным подозрением, что при надлежащем уходе и она могла бы оказаться «орхидеей».

Кончилось лето, прошла осень, с деревьев опали листья, цветы пахли уже не так сильно, зато окрасились в более густые и яркие тона. Ученик садовника распевал в саду за забором:

То вверх на горку,  
То вниз под горку,  
Вот и прошел еще год.

Молодые елочки в лесу жили ожиданием Рождества, хотя до него было еще далеко.

— А я так все тут и стою, — сетовал чертополох. — Никто и думать обо мне не думает, хоть это я свел их вместе, они обручились, а теперь уж и свадьбу сыграли, восьмого дня. Не попаду я в сад, не сойти мне с этого места.

Прошли еще несколько недель, и вот на кусте чертополоха остался один-единственный последний цветок в большой, мясистой чашечке. Он утнезвился у самого корня, от холодного ветра краски его поблекли, красота померкла и обнажилась сама большая, как стручок, чашечка, похожая на посеребренный подсолнух.

И тут в сад вышла юная пара, теперь муж и жена. Они брели вдоль забора, и вдруг молодая женщина заглянула за него и вскрикнула: «Смотри-ка, огромный чертополох все еще стоит! Только без цветов».

— Нет, гляди, видишь, там остатки последнего цветка, — ответил юноша, показывая на серебристую чашечку.

— И тоже красиво! — воскликнула молодая женщина. — Надо украсить этим цветком раму свадебного портрета!

Пришлось молодому человеку вновь перелезть через забор, чтобы отломать серебристую чашечку. Он исколол юно-



ше пальцы — обиделся, что тот обозвал его «остатками». А потом цветок попал за забор, в сад, оттуда в дом, и вот его внесли в зал, где стояла картина «Новобрачные». У жениха в петлице красовался цветок чертополоха. И разговор в зале зашел о нем и о серебристом репейнике, оставив последнего цветка, принесенном молодыми, которым решено было украсить раму картины.

И воздух унес разговоры с собой наружу.

— Чего только не доведется пережить на своем веку, — сказал куст чертополоха. — Мой первенец дошел до петлицы, мой последний украсил собой раму. Где-то окончу свои дни я?

А старый осел косил на него глазом и звал:

— Иди ко мне, дружок мой аппетитный! Не могу я до тебя дотянуться. Веревка не пускает.

Но чертополох не отвечал, он думал. Чем больше он думал, тем задумчивее становился, так продолжалось до Рождества, когда чертополох наконец высказался:

— Если дети хорошо устроены, то родитель и местом под забором довольствоваться будет!

— Какое благородство! — восхитился луч солнца. — Знать, найдется достойное место и вам!

— В горшке или на раме картины? — спросил чертополох.

— В сказке! — ответил луч солнца.

И вот — сказка перед вами!

---

## ЧЕГО ТОЛЬКО ЛЮДИ НЕ ПРИДУМАЮТ

**Б**ыл однажды молодой человек, который учился сочинительству и к Пасхе рассчитывал стать писателем: обзавестись женой и жить литературным трудом, то бишь придумывать что-нибудь эдакое, но как назло ничего путного не придумывалось. Родился он слишком поздно, ко времени его появления на свет все стоящее давно уже было придумано и написано.

— Повезло тем, кто родился тысячу лет назад, — говорил он. — Им легко было создавать бессмертные творения! Даже и сто лет назад еще можно было найти, о чем писать. Но теперь все написано-переписано, и как мне быть?

До того, бедолага, извелся, выискивая подходящий сюжет, что заболел и слег, и ни один доктор не в силах был ему помочь, вся надежда оставалась на старую ведунью. Она жила в крошечном домишке подле дорожной заставы и открывала заграду конным и экипажам; по правде сказать, и многое другое было ею открыто, потому как она была куда искуснее сановного доктора, разъезжавшего в собственной коляске и платившего налоги согласно рангу.

«Мне надо к ней!» — решил молодой человек.

Домик старухи был мал, ухожен, но на вид прозаичен, ни деревца не росло перед ним, ни цветочка, зато — да здравствует рачительность! — стоял улей, кустилось неболь-

шое картофельное поле и тянулись шпалерники терновника, он отцвел и синел ягодами, правда, есть их можно только после первого мороза, до того они ужасно вяжут рот.

— Вот она — воплощенная приземленность нашего времени, — сказал молодой человек; эта пусть и не ахти какая, но все же мысль, проблеск воображения, посетила его уже на подходе к дому ведуньи.

— Запиши ее, — велела старуха, — крошка — тоже хлеб. Я знаю, зачем ты явился: ты не можешь ничего сочинить, а собрался стать писателем к Пасхе!

— Обо всем уже написано! — пожаловался он. — Это вам не то, что в стародавние времена.

— Совсем не то, — возразила старуха. — В стародавние времена таких, как я, сжигали на костре, а поэты ходили голодные, сверкая продранными локтями. Времена сейчас отличные, лучше не бывает, но у тебя нет зоркости взгляда, ты не заострил свой слух и наверняка никогда не читаешь на ночь «Отче наш». Да тут кругом сюжеты, знай записывай и рассказывай, если умеешь. Плоды земли поделятся с тобой историями, ты сможешь черпать их из проточной и стоячей воды, но ты должен овладеть этим искусством, уразуметь, что ты ловишь солнечный лучик. Надень вот мои очки, возьми мою слуховую трубку, помолись Господу и перестань думать о себе!

Последнее было труднее всего, это уж старуха потребовала слишком многого.

И вот, с очками ведуньи и ее слуховой трубкой, он стоит на картофельной гряде и держит в руках большую картофелину, а из нее доносится песня — десять куплетов, а и десяти строф было б довольно — история картофеля, безыскусная, но захватывающе интересная.

О чем пела картофелина?

О себе и своей семье: как ее предков привезли в Европу, а здесь они пришлись людям не по нраву, оттого претерпева-

ли, но не сдавались и добились всеобщей любви, так что теперь считаются бóльшим благословением, чем золотая жила.

— По королевскому велению нас раздавали людям в городских ратушах по всей стране; им рассказывали, какие мы полезные, но они не верили, им не хватало ума хотя бы посадить нас как надо. Один вырыл яму и скинул в нее всю меру картофеля, второй посадил картофелинку тут, картофелинку там и стал ждать, когда у него вырастут картофельные деревья, с которых он натрясет урожай. И вот, правда, выросли кусты, на них появились цветы, водянистые плоды, а потом все завяло. Никому и в голову не приходило подумать о зарытом под кустом благословенном даре — о картошке! Да уж, пришлось нам пройти через страдания и испытания, вернее, предкам нашим, но и нам, значит, мы одна семья! Вот такая история.

— Довольно пока, — сказала старуха, — послушай теперь терновник!

— И наш род, — заговорили кусты, — ведет свою историю из той же страны, что и картофель, только наши предки росли ближе к северу. Однажды появились норвежцы, в шторм, в тумане они отклонились от курса и попали в неведомую страну, где среди льда и снега обнаружили растительность, зеленые кусты с винными темно-синими ягодами: терновник. Кусты стояли под морозом и мерзли, давая дозреть ягодам, так же поступаем и мы. И страна получила название винной, зеленой и терновой: Винландия, Гренландия, Тернландия.

— Воистину романтическая история! — восхитился молодой человек.

— Пойдем, пойдем, — потянула его старуха и подвела к улью. Юноша заглянул внутрь. Какое бурление жизни! Повсюду гудели пчелы, они махали крыльшками, создавая на огромной фабрике здоровый сквозняк, это была их работа, но вот вернулись в улей другие пчелы, рожденные с бочонками на лапках, в них они несли цветочную пыльцу, ее вытрясли, перебрали и поставили вызреть в мед и воск; рабочие пчелки снова-

ли взад-вперед, глядя на них, пчеле-королеве тоже захотелось полетать, но тогда всем бы пришлось сопровождать ее, а времени на это нет, однако королева капризничала и упорствовала, так пришлось трудолюбивым подданным откусить ее высочеству крылышки, и она, ничего не попишешь, осталась в улье.

— Теперь перелезай через канаву, — велела старуха, — выбирайся на большую дорогу и погляди, сколько там честного народа!

— Нет, — воскликнул молодой человек. — Здесь такое изобилие, история на истории, все бурлит и клокочет! Я останусь тут!

— Э нет, — сказала мудрая ведунья, — иди вперед, в людскую сутолоку, имей глаза, чтобы видеть, уши, чтобы слышать, и сердце, конечно, и тогда ты скоро придумаешь, о чем писать. Но прежде, чем уйти, верни-ка мне очки и слуховую трубку, — сказала она и взяла и то, и другое.

— Так я ничего не вижу, — вскрикнул молодой человек. — И не слышу тоже!

— Что ж, тогда ты не станешь к Пасхе писателем, — ответила вещая старуха.

— А когда стану? — спросил молодой человек.

— Ты не станешь им ни к Пасхе, ни к Троице. Ты никогда не научишься сочинять.

— Значит, литературным трудом мне не жить?

— Отчего же, это ты можешь устроить себе хоть к масленице. Лупи по писателям, как по бочке. Целься в их творения: разбить их в пух и прах — все равно, что покончить с самими сочинителями. Не застывай в нерешительности, бей что есть силы, и у тебя всегда будет жирный блин и сладкая булка — и себя прокормишь, и жену.

— Чего только люди не придумают! — восхитился молодой человек и принялся, коль скоро сам не сумел стать сочинителем, вышибать душу изо всех писателей через одного. Нам поведала о том мудрая ведунья, а уж она знает, что люди горазды придумать.

---

## СВОЕ СЧАСТЬЕ МОЖНО НАЙТИ ХОТЬ В ОБЛОМКЕ ДЕРЕВА

**Т**еперь я расскажу вам историю о счастье. Все мы испытывали его: одни купаются в нем годы напролет, другим выпадает несколько счастливых лет, а некоторым достается один-единственный миг счастья за всю их жизнь, но как бы то ни было, а что такое счастье, каждый из нас знает.

Мне нет нужды рассказывать, ибо это известно всякому: Господь посылает нам детей, приводит их в материнские объятия — будь то во дворце, в стенах богатого дома или в чистом поле, продуваемом ледяным ветром; но не все знают, хотя это такая же истина, что, посылая нам ребенка, Господь отмеряет ему счастья, вот только оно не прилагается к ребенку, а скрыто в мире, и часто там, где человек менее всего рассчитывает его найти, но где-то каждого человека его счастье ждет, вот что отраднo. Оно может таиться в яблоке, как было с ученым по фамилии Ньютон: яблоко упало, и он нашел свое счастье. Если ты не знаешь этой истории, попроси тех, кто слышан о ней, рассказать тебе, а меня ждет другая история, о груше.

Жил на свете один горемыка, он и родился в нищете, и рос так, и в жены взял тоже голь перекатную. К слову сказать, был он токарем и точил рукояти и кольца для зонтов, но все равно едва сводил концы с концами.

— Никогда мне счастья не сыскать! — говорил он. И вот с ним случилась эта взаправдашняя история, я мог бы назвать имя бедняка, и страну, где он жил, да к чему?

Самым дорогим украшением сада и дома была горькая красная рябина. Правда, в саду росла еще и груша, только она сроду урожая не давала, однако ж несмотря на то в груше и ее невидимых плодах как раз и крылось чье-то счастье.

Однажды ночью поднялся страшный ураган; как писали газеты, порывом ветра большой дилижанс подняло с дороги и понесло как тряпку. Что же удивляться, что от грушевого дерева отломился толстый сук?

Его снесли в мастерскую, и этот бедный человек шутки ради вырезал из обломка большую деревянную грушу, затем еще одну тоже крупную, следом одну поменьше и несколько груш-невеличек.

— В первый раз с нашей груши плоды, — пошутил бедный человек и отдал деревянные груши детям, играть.

Зонтик, как ни крути, относится к вещам, без которых невозможно обойтись в дождливой стране. В лачуге токаря на всех был один зонтик; если ветер дул слишком сильно, зонтик заворачивался наверх и пару раз ломался из-за этого, но токарь быстро чинил его, но самым досадным было то, что все время то отскакивала пуговица, которая не давала расправиться сложенному зонтику, то трескалось кольцо, которое на нее надевалось.

В какой-то день пуговица вновь отлетела, и, шаря по полу в поисках ее, мастеровой наткнулся на деревянную грушу, что отдал детям, на самую мелкую.

— Пуговица потерялась, — вздохнул токарь. — Но эта вещица, пожалуй, тоже сгодится. Подумав, он прокрутил в груше дырку, продел в нее шнурок, и маленькая груша точно вошла в треснувшее кольцо. Честно говоря, это была самая лучшая застежка из всех, что перебивали на зонтике.

Когда на другой год пришла пора отправлять в столицу рукояти на продажу, токарь послал несколько таких груш

с половинками колец и попросил испробовать их; так они попали в Америку. Там быстро сообразили, что маленькие груши куда лучше пуговиц, и стали требовать от торговца, чтобы отныне на всех зонтиках были только такие застёжки.

Тут же посыпались заказы! Тысячи деревянных груш! Токарь трудился не покладая рук, вытачивая груши для зонтиков. На них ушло все грушевое дерево. А в доме появились и скилинги, и далеры.

— В этой груше таилось мое счастье, — повторял с тех пор тот человек, превратившийся в хозяина крупной мастерской с подмастерьем и мальчиком на побегушках. Теперь он неизменно пребывал в добром расположении духа и без усталости твердил, что «Счастье можно найти хоть в обломке дерева!»

Это повторю за ним и я, рассказчик сей истории.

Иногда слышишь: «Возьми в зубы белую палочку и станешь невидимкой». Но палочка должна быть не любая, а та, которую Господь при рождении дает нам на счастье. И меня он одарил такой, отчего я точно как тот токарь могу добывать настоящее золото, блестящее, самой высокой пробы, то золото, что звенит в детских голосах и блестит в глазенках детей, равно как их отцов и матерей. Они читают мои истории, а я стою посреди гостиной, но я невидимка, ибо во рту у меня белая палочка; и когда я вижу, что мои истории доставляют людям радость, то повторяю и я тоже: «Счастье можно найти хоть в деревяшке!»



---

## КОМЕТА

**И** вот комета показалась в небе — сияя огненным телом и грозя бедой; побросав дела, за ней следили обитатели и богатого дворца, и бедной лачуги, и путник, что замер в одиночестве на вересковой пустоши, и прохожий, что застыл посреди уличной толчеи; никто не остался к ней равнодушен.

— Идите, смотрите, это знак с небес! Не пропустите чудо! — неслось со всех сторон, и народ валом валил на улицу, поглядеть.

Но один маленький мальчик и его мать замешкались в доме; у них горела свеча, и матери казалось, что нагар на ней закручивается в стружку, а это означало, считала она, что мальчик ее скоро умрет, завиток ведь изгибался в его сторону.

Так говорила старинная примета, и женщина верила в нее.

Хотя маленькому мальчику суждено было прожить еще много лет и даже второй раз увидеть комету, когда она вернулась шестьдесят лет спустя.

В тот вечер он не замечал завитков на свече и не думал о комете, впервые на его веку воссиявшей на небе. Перед ним стояла склеенная полоскательница, в ней была взбита мыльная пена, куда мальчик погрузил головку глиняной трубки, зажал мундштук во рту и принялся выдувать пузыри, большие и маленькие, они переливались всеми цветами радуги, от желтого

до красного, лилового и синего, а потом делались изумрудными как листва в лесу, когда солнце пробивается сквозь нее.

— Да пошлет Господь тебе столько же лет на земле, сколько выдуется у тебя пузырей!

— Так много?! — ответил малыш. — Гляди, сколько тут пены!

И он принялся выдувать пузырь за пузырем.

— Вот полетел еще один год! — кричал он всякий раз, когда пузырь отрывался от трубки и улетал. — Полетел, полетел! Смотри, как они летают!

Несколько пузырей попали ему в глаза, они жгли, щипали, у него заслезились глаза. В каждом пузыре виделось ему будущее, радужное и счастливое.

— Комета уже видна! — кричали с улицы соседи. — Что вы сидите дома?! Идите сюда скорее!

Мама взяла мальчика за руку и увлекла на улицу, ему пришлось бросить игру с пузырями, отложить трубку; как же — прилетела комета.

И малыш увидел огненное тело и сияющий хвост; некоторые говорили, что он был три сажени в длину, а другие — миллион саженей, так по-разному люди все видят.

— И дети наши, и внуки умрут прежде, чем комета покажется в следующий раз, — говорили в толпе.

И вправду, к тому дню, как комета появилась снова, почти все, видевшие ее в прошлый раз, давно перешли в лучший мир, но мальчик, в чью сторону загибался завиток нагара, заставляя его мать опасаться, что малыш скоро умрет, — он как раз был жив, хотя стал и стар, и сед. Пословица называет седину цветком старости, у него, теперь старого учителя, составилась их пышный букет.

Школьники считали учителя человеком образованным, мудрым, знатоком истории, географии и небесных тел.

— Все повторяется, — говорил он. — Возьмите любое историческое лицо, любое событие и вы увидите, что оно всегда встречается еще раз, в других условиях и в другой стране.

Например, учитель рассказывал о Вильгельме Телле, которого заставили сбить яблоко с головы родного сына, но прежде, чем выпустить стрелу по яблоку, он припрятал на груди еще одну, чтобы всадить ее в сердце злокозненного герцога Геслера. Эта история произошла в Швейцарии, но задолго до того подобное случилось в Дании с Пальнатоки: и его принудили сбить яблоко с головы собственного сына и он, как и Телль, еще одну стрелу припрятал, чтобы потом отомстить, а еще тысячей лет раньше то же самое приключилось в Египте; в жизни все повторяется, как явления комет: они пролетают, исчезают, а потом возвращаются вновь.

И учитель ссыался на ту комету, которую все ждали, а он уже видел однажды, мальчишкой. Учитель знал о небесных телах все, интересовался ими, но не запускал по этой причине ни историю, ни географию.

Палисадник его дома представлял собой своего рода карту Дании. Здесь он высадил самые характерные для разных частей страны цветы и растения. «Принеси-ка мне гороху!» — просил учитель, и ученик шел за ним к грядке, изображавшей Лолланн. За гречихой ему следовало отправиться на Лангеланн, чудесные синие горечавки и восковник представляли Скаген, а роскошный терновник — Силькеборг. Города были помечены памятниками. Так, Святой Кнуд, попирающий дракона, обозначал Оденсе, Абсалон с епископским жезлом — Сорё, а маленький кораблик с веслами был знаком города Орхуса. Из этого сада дети выходили, отлично ориентируясь по карте Дании — но до того, к их вконец удовольствию, учитель долго занимался с ними здесь.

Теперь, когда вновь ожидалась комета, он рассказывал о ней и о том, что говорили и примечали люди в прошлый раз.

— Год появления кометы — винный год. Вино можно хоть водой разбавлять, никто и не заметит. Виноторговцам от кометы прибыток.

Четырнадцать дней подряд небо затягивали облака, комета была близко-близко, но увидеть ее никто не мог.

Старый учитель сидел в своей каморке при школе. Напольные часы из родительского дома стояли в углу, свинцовое гири не поднимались и не опускались, маятник не раскачивался, маленькая кукушка, что прежде выскакивала прокуковать время, вот уже несколько лет не показывалась из-за закрытой дверцы; все в часах молчало и не двигалось, они не шли. Но в старых, тоже из родительского дома, клавикордах жизнь еще теплилась. Их струны по-прежнему издавали звучание, инструмент, пусть не очень благозвучно, мог исполнить мелодии целой человеческой жизни. Под их звуки старику вспомнилось много разного, и радостного, и печального, что случилось с того дня, когда он в детстве увидел комету, и доньине. Он снова услышал, что говорила ему мама, глядя на оплывавшую свечу, и вспомнил, какие прекрасные пузыри выдувались у него в тот день, переливающиеся, разноцветные, и как он кричал, что каждый пузырек — год его жизни. Они сулили что-то радужное и лучезарное: забавы детства, влечения юности, лежащий у его ног огромный мир, залитый солнцем. Это были мыльные пузыри будущего. Теперь, стариком, он слышал в дребезжании расстроенных клавикордов воспоминания о былом, это были мыльные пузыри прошлого, окрашенные в цвета минувшего, они звучали как песенка, которую напевала за вязанием его бабушка:

Самый первый в мире чулок  
Связала не амазонка,

как колыбельная, которой укачивала его старая служанка:

Многие невзгоды  
Предстоят тому,  
Кто молод и не смыслит,  
Что в мире да к чему.

Вот зазвучала музыка его первого бала, менуэт и полонез, затем раздалась мягкие, печальные напевы, на глаза старика навернулись слезы, потом грянули военные марши, следом

послышались псалмы, затем веселые песенки, пузырь за пузырем, точь-в-точь как в тот день, когда маленький мальчик выдувал их из мыльной воды.

Он поднял глаза на окно — облака разошлись, и на ясном небосводе старик увидел комету, ее огненное тело, ее сияющий хвост. Только вчера, казалось ему, он был свидетелем этого зрелища, и вот с тех пор прошла целая человеческая жизнь, богатая событиями: в тот день в детстве он различал в мыльных пузырях будущее, теперь в них отражалось прожитое. И он по-детски радовался и восторгался, глаза у него сияли, но вдруг голова упала на клавиши — и раздался звук, как если бы в клавикордах лопнула струна.

— Идите на улицу! — кричали соседи. — Небо очистилось, комету прекрасно видно!

Но старый учитель не ответил, он отправился туда, откуда видно лучше и дальше, душа его вознеслась в более высокие эмпирии, в пространство безмернее того, где летает комета. За ней же, побросав дела, вновь следили и обитатели богатого дворца, и бедной лачуги, и путник, что замер в одиночестве на вересковой пустоши, и прохожий, что застыл посреди уличной толчеи. А душу учителя призвал пред свои очи Господь и призрели дорогие сердцу старика усопшие, в разлуке с которыми он так тосковал.

---

## ДНИ НЕДЕЛИ

**Д**ни недели мечтали взять выходной все разом, собраться своей компанией, погулять, повеселиться. Но поскольку год у них был целиком расписан и времени свободного не оставалось, то для встречи своим цехом им требовался добавочный день, и он, представьте, выпадал им каждый четвертый год — в високос его прибавляют к февралю, чтобы выправить погрешности в исчислении времени.

Дни недели предвкушали, как сойдутся в этот день своим кругом, а коль скоро в феврале играют масленицу, то, прикидывали они, и мы нарядимся в карнавальные костюмы, каждый по своему вкусу и разумению, выпьем от души, поедим на славу, произнесем здравицы и на правах старых друзей обменяемся колкостями и комплиментами. Были времена, когда на пирах великаны непременно швыряли друг другу в головы обглоданные кости, но дни недели не собирались осыпать товарищей по гильдии ничем, кроме искрометных острот и скабресных шуток, как то и положено на масленицу.

Наконец наступило двадцать девятое февраля, и все дни недели собрались вместе.

Воскресенье, их староста, явился в черном шелковом плаще. Люди благочестивые наверняка приняли бы его за пастора, облачившегося к церковной службе, а прожигатели жизни решили бы, что на нем домино, что он собрался выйти в свет, и в петлице у не-

го вовсе не гвоздика алеет, а мигает маленький театральный фонарик: «Все билеты распроданы, ужю теперь веселитесь на славу!»

Понедельник, молодой человек, вылепленный из одного с Воскресеньем теста и страсть охочий до развлечений, следовал за ним по пятам. Он сказал, что закрывает свою лавочку строго с боем часов к разводу караула.

— Я не создан сидеть взаперти, без музыки Оффенбаха мне не жизнь, я чувствую ее не головой, не сердцем, а ногами, меня неудержимо тянет поплясать, попить, пополуночить, подраться, а работа подождет и до завтра. С меня неделя только начинается!

Вторник — день Тюра, бога силы.

— Это точно, я такой! — согласился Вторник. — Я беру работу за рога, как быка: сапоги людей торговых превращаю в сапоги-скороходы, забочусь о том, чтобы на фабриках всякое колесико было смазано и крутилось исправно, чтобы портной шил за столом, а трамбовщик булыжника работал на мостовой — каждому волю своя упряжка! Ничто не ускользает от моих глаз, поэтому я называю себя днем-надсмотрщиком и сегодня на мне полицейская форма. А если вам мои аллегории кажутся плоскими, милости прошу, придумайте лучше!

— Теперь моя очередь, — сказала Среда. — Мое место посередке недели. Немцы так и зовут меня госпожа Mittwoch. Я торчу у всех на виду, как ученик приказчика посреди магазина, как цветок в середине букета, составленного из благородных дней недели. Если мы вытянемся вереницей, то трое будут шагать впереди меня, а трое позади — чем не почетный караул? Как тут не думать, что я самая заметная из нас?!

Четверг явился одетый как медник, с молотком и медным котлом в знак своего благородного происхождения.

— Я из божественного языческого рода, — начал он, — в северных странах меня называют в честь Тора, в южных — в честь Юпитера. Оба они умели метать гром и молнии, эта способность передается у нас в семье по наследству.

И он грохнул в медный котел, показывая, какого он роду-племени.

Пятница нарядилась молоденькой девушкой по имени Фрейя, или, как говорят в других странах, Венера.

— Так-то я характера робкого, мягкого, — сказала Пятница, — но сегодня я свободна и неотразима. Двадцать девятое февраля — день женской свободы, когда, согласно старинному обычаю, девушка может посвататься сама, а не ждать, пока ее просватают.

Суббота нарядилась старой служанкой, с веником и тряпкой в руках. Ее хлебом насущным была затируха на пиве, она не стала настаивать, чтоб всех в этом праздничном застолье потчевали такой простой едой, но для себя попросила, ею и отобедала.

И вот дни недели уселись за стол.

Художник запечатлел всю семерку, так что можете срисовывать их для своих домашних спектаклей, а там уж насколько хватит вашего воображения, настолько смешными они и предстанут, мы же изобразили их тут как февральский фарс, как шутку единственного месяца, которому добавляют иногда лишний день.



---

## ИСТОРИИ СОЛНЕЧНОГО СВЕТА

**Т**еперь моя очередь рассказывать! — заявил Ветер.

— Нет, позвольте, — возразил Дождь, — рассказывать буду я. — Вы и так рта не закрываете, стоите на углу и все завываете, завываете что есть мочи.

— И это благодарность за то, — сказал Ветер, — что я, радея о вас, переломал кучу зонтиков, изодрал их в наказание за людскую к вам неприязнь?!

— Рассказываю я! — заявил Солнечный свет. — Тихо!

Сказано это было с такой непреложностью и властью, что Ветер тут же улегся, но Дождь растолкал его и стал нашептывать ему: «Неужели мы это стерпим? Наша очередь рассказывать! Этот господин Солнечный свет вечно лезет поперед нас. Не будем его слушать. Ничего он интересного не расскажет».

Солнечный свет заговорил:

— Над бурным морем летел лебедь, каждое его перышко переливалось как золото, и одно из них упало на торговый корабль, что на всех парусах шел по морю, перышко попало в курчавую шевелюру юноши, смотревшего за товаром. Перо птицы счастья коснулось его лба, потом стало его писчим пером, и вскоре он уже был богатым купцом, который купил себе золотые шпоры, сменить золотые горы на дворянский щит, и в нем, — сказал Солнечный свет, — сиял я!





— Лебедь полетел дальше, над зеленым лугом, где прятался в тени единственного старого дерева маленький пастушок, мальчишка лет семи. Лебедь поцеловал листок на дереве, он упал мальчугану в руки, и этот лист превратился в три листа, потом в десять, наконец, в целую книгу, из которой мальчик узнал об устройстве природы, о родной речи, о вере и знании. На ночь он клал книгу под голову, чтоб не забыть прочитанного днем, и эта книга привела его за школьную парту, к ступеням знаний. Я встречал его имя среди имен ученых! — сказал Солнечный свет.

Лебедь залетел в лесную чащу, опустилсЯ отдохнуть на тихое, темное озеро, где цветут водяные лилии, по берегам растут дикие яблони и водятся кукушки и горлицы.

В ту пору бедная женщина искала здесь хворост топить печь, она подобрала упавшие ветки, привязала их за спину и пошла домой, держа у груди младенца. И вдруг увидела, как золотой лебедь, птица счастья, поднялся в воздух с поросшего камышом берега. Но что это там блеснуло? Золотое яичко! Она прижала его к груди и почувствовала тепло, в яйце теплилась жизнь. Из него доносился стук, но женщина решила, что это бьется ее сердце.

Дома в своей бедной лачуге она достало яичко. Оно отстукивало «тик-так» как дорогие часы, в яйце билась живая жизнь. Яйцо треснуло, и маленький лебеденок, покрытый пушком, словно золотом, высунул наружу головку; на шейке у него сверкали четыре кольца, и четыре сына было у бедной женщины — малыш, которого она брала с собой в лес, и еще трое, — вот она и смекнула, что каждому из них полагается по колечку, взяла их, и лебеденок тотчас улетел».

Женщина поцеловала по очереди все колечки, потом дала каждому сыну поцеловать одно кольцо, приложила его ребенку к сердцу и надела на пальчик.

— Я видел это, — сказал Солнечный свет, — и видел, что из этого вышло!

Один из мальчиков пошел в глиняный карьер, взял кусок глины, помял его в руках, и получилась фигура Ясона, похитителя золотого руна.

Второй бегом бросился на луг, поросший цветами всех мыслимых оттенков, он набрал полную горсть цветов и сжал их так, что брызнул сок, попал ему в глаза, намочил кольцо, руки чесались, его обуревали какие-то непонятные какое-то непонятные порывы и надежды, но годы спустя столица заговорила о великом художнике.

А третий мальчик так сильно сжал кольцо зубами, что оно звякнуло, отозвалось эхом из глубины сердца; чувства и мысли вылились в звук, зазвенели на тон выше, вытянулись, как поющие лебеди, и погрузились как они в глубину, нырнули в бездонное море мыслей; из мальчика вырос композитор, любая страна мечтала бы считать его своим сыном.

А на четвертого, малыша, сыпались все шишки; вот пискля, надо бы отпотчевать его перчеными да масляными, как ледащего цыпленка, так говорили про него, намекая, что неплохо бы задать ему перца. И в самом деле, ему доставалось на орехи, но от меня ему перепадали единственно солнечные поцелуи, — сказал Солнечный свет, — по десять штук за каждый тумак. Он был натурой поэтической, вот его тузили и целовали. Но от птицы счастья, золотого лебедя, досталось ему золотое кольцо, и мысли его порхал точно золотые бабочки, символы бессмертия».

— Какая предлинная история, — буркнул Ветер.

— И прескучная! — поддакнул Дождь. — Дуньте на меня, чтоб я проснулся.

Ветер дунул, и Солнечный свет заговорил снова:

— Лебедь счастья летел над глубоким морским заливом, где рыбаки тянули сети. Самый бедный рыбак подумывал о женитьбе и вскоре женился.

Ему лебедь принес кусок янтаря; этот камень обладает притягательной силой, он притягивает сердца к дому. И из не-

го получается восхитительное воскурение, оно пахнет, как в церкви, божественно. И рыбак с его женой чувствовали, что в их доме поселилось счастье, они довольствовались скромным достатком, и жизнь их прошла как один солнечный день.

— Давайте прервем его, наконец, — сказал Ветер. — Сколько можно болтать. Мне скучно!

— И мне! — поддакнул Дождь.

А что скажем мы, мы ведь тоже слушали эти истории?

— Все истории кончились! — вот что скажем мы.

---

## ПРАДЕДУШКА

**П**радедущка был человеком замечательным, мудрым, добрым, все мы боготворили его. Сперва, сколько я себя помню, его звали дедушкой, но когда наша семья пополнилась сынишкой моего брата Фредерика, старика возвели в прадеды, выше уж некуда. Он любил всех нас, не то что новые времена, о которых говорил так: «Вот раньше было хорошо! Все было солидно, разумно. А теперь жизнь несется галопом, все кувырком. Зеленые юнцы держат речи и задевают даже самого короля, словно он им ровня. Любой человек без роду, без племени может извозить тряпку в луже и полить дворянина грязью!»

Когда прадед заводил такие речи, лицо у него наливалось краской, но тут же смягчалось улыбкой, и он говорил: «Может, я, конечно, и ошибаюсь, просто остался в старых временах, а к нынешним не знаю, как и подступиться, Господь да руководит и направляет их!»

Рассказы Прадеда о былом словно бы переносили меня в минувшие времена: я представлял себе, что еду в золоченной карете с гайдуками на запятках; мимо тянется процессия, мастеровые идут с музыкой, знаменами, штандартами гильдий; а потом я участвую в веселых рождественских карнавалах с игрой в фанты и переодеваниями. Никто не спорит, в те времена происходило много плохого, даже омерзительного: все эти ко-

лесования, виселицы, четвертования, но даже в этих зверствах чувствовалось что-то завораживающее. Меня притягивало величие прошлого, я думал о датском дворянстве, подарившем крестьянам свободу, и о датском кронпринце, отменившем работорговлю. Мы слушали рассказы прадеда о его молодости как сказки, хотя самым чудесным, блистательным и славным казалось нам время, когда еще и он не родился.

— Да дикость сплошная царила! Слава Богу, все это осталось в прошлом! — заявил вдруг мой брат Фредерик прямо Прадеду в глаза. Меня поразила его неучтивость, тем более что я привык почтительно смотреть на Фредерика снизу вверх: он был много старше, чуть не в отцы мне годился, как он сам острил. Он вообще был горазд на шутки, вдобавок блестящий студент и так хорошо зарекомендовал себя в отцовской конторе, что вот-вот должен был войти в дело. Его общество Прадед предпочитал всем нам, хотя по любому поводу они неизменно спорили. Эти двое никогда друг друга не поймут, говорили домашние, но как ни мал я был, а все же быстро заметил, что и друг без друга обойтись они не могут.

Когда Фредерик принимался рассказывать или читать вслух о научных открытиях, об использовании природных сил, об удивительных изобретениях наших дней, Прадед слушал его с горящими глазами.

— Люди становятся просвещеннее, но не лучше, — говорил он тогда. — Они создали ужасное оружие, чтобы уничтожать себе подобных!

— Зато войны будут быстрее заканчиваться, — отвечал Фредерик, — и не придется по семь лет ждать благословенного мира. Цивилизация страдает полнокровием, изредка отворить кровь ей только полезно, даже необходимо!

Однажды Фредерик рассказал деду подлинную историю, не так давно случившуюся в маленьком городишке. Прежде все здесь сверяли время по бургомистровым часам, большим часам на Ратуше, сроду не грешившим точностью. Но теперь к город-



ку проложили железную дорогу, она встроена в общую систему железных дорог, и, значит, время надо знать абсолютно точно, иначе поезда столкнутся. Поэтому на вокзале появились собственные солнечные часы, они, в отличие от бургомистровых, идут секунда в секунду, и весь город отныне живет по ним.

История показалась мне потешной, я залился хохотом, но старик не засмеялся, а посерьезнел.

— Истинный смысл твоей истории очень глубок, — сказал Прадед. — Я понимаю, что ты рассказал ее мне не без задней мысли. У этой басни о часах есть мораль. Но меня она заставила вспомнить еще об одних часах, простых напольных часах со свинцовым грузом, стоявших в доме моих родителей, что отсчитывали время всей их жизни и моего детства; шли часы не Бог весть как точно, но шли, а мы смотрели на стрелки и верили, что они показывают время правильно, и никогда не тревожились, а не заедают ли внутри колесики. Точно также крутилась прежде и государственная машина: человек смотрел на нее в спокойной уверенности и верил показаниям стрелок. А теперь она стала часами из стекла, и всякий может заглянуть в механизм, он видит, как вертятся колесики, как они скрипят, цепляются, и он боится, как бы механизм не вышел из строя; а правильное ли на часах время, тревожусь я теперь и не верю стрелкам, как верил в детстве. В этом уязвимость дня сегодняшнего!

Прадед разгорячился, осерчал. Они с Фредериком не могли ни вместе, ни поврозь — «точно как прошлое и настоящее!». Это и сами они поняли, и все в семье осознали, когда Фредерику пришлось уехать очень далеко, в Америку. Речь шла о семейном деле. Расставание далось Прадеду страшно тяжело, тем более Фредерик уезжал так далеко, на другую сторону земли. За океан.

— Каждый четырнадцатый день ты будешь получать от меня письмо! — пообещал Фредерик. — Но еще быстрее доберутся до тебя весточки обо мне по телеграфным проводам. И дни покажутся часами, а часы — минутами!

Телеграф молниеносно принес нам привет от Фредерика из Англии, где он сел на пароход. Быстрее письма, как если бы письмоносами были сами облака, прилетела и весточка из Америки: Фредерик сошел на берег, мы узнали об этом уже через считанные часы.

— Это промысел Божий, — сказал Прадед, — благословение человечества, подарок нашему времени!

— Фредерик говорил мне, что это явление было впервые замечено, открыто и использовано на практике в нашей стране.

— Да! — сказал Прадед и поцеловал меня. — Более того, я заглядывал в глаза того, кто первым открыл это явление. Они лучились, как глаза ребенка, точно, как твои. Я пожал ему руку!

И Прадед еще раз поцеловал меня.

По прошествии месяца с лишним от Фредерика пришло письмо с сообщением, что он обручился с прелестной девушкой, которая без сомнения придется всем нам по сердцу. Вложенная в письмо фотография изучалась нами и так просто, и через лупу, потому что у этих фотографий есть одно диковинное свойство: их можно рассматривать в самое сильное увеличительное стекло, при этом сходства с оригиналом становится еще больше. Такого не удавалось добиться в своих портретах никому из старых мастеров, даже самым великим.

— Если бы это изобретение появилось пораньше! — сокрушался Прадед. — Тогда сейчас мы могли бы воочию увидеть лица героев и выдающихся мужей прошлого! Но до чего же доброе и милое лицо у этой девушки на фотографии, — продолжал дед, вглядываясь в него через лупу. — Теперь я сразу узнаю ее, едва она войдет в дом.

Случилось же так, что беда едва не похоронила надежду на встречу. К счастью, мы узнали о катастрофе не раньше, чем все было позади.

Молодожены в добром здравии и радостном настроении добрались до Англии. Здесь они сели на корабль до Копенгагена. Вот уже показался датский берег, белые песчаные дюны

Западной Ютландии, но тут поднялся шторм, судно село на отмель, огромные волны накатывали на корабль, грозя разнести его в щепы, невозможно было спустить на воду ни одну шлюпку; наступила ночь, но вдруг во тьме над кораблем как яркая молния пронесится пущенная с берега ракета, и с нее на получивший пробоину корабль падает конец каната. Связь между терпящими бедствие и берегом установлена, и вот уже в спасательной корзине сидит очаровательная молодая женщина, над бурным штормящим морем ее переправляют на сушу, а вскоре к ее бесконечному счастью и радости здесь же оказывается ее муж. Еще до рассвета все, находившиеся на борту судна, были спасены.

А мы спали себе сладким сном в Копенгагене, не зная ни горя, ни беспокойства. Когда за утренним кофе пришло сообщение телеграфного агентства, что у западного побережья потерпел крушение английский корабль, у нас зашло сердце от страха. Но в тот же миг принесли телеграмму от дорогих путешественников, от спасенных Фредерика и его жены, что они вот-вот будут дома.

Все заплакали, и я плакал со всеми вместе, и Прадед, плача, воздел руки и благословил, наконец, новые времена.

И в тот же день Прадед пожертвовал двести ригсдалеров на памятник Хансу Кристиану Эрстеду.

Узнав об этом, вернувшийся домой с молодой женой Фредерик сказал:

— Дед, это ты правильно сделал. Давай я прочитаю тебе, что Эрстед много-много лет назад написал о старых и новых временах!

— Видимо, он разделял твое мнение? — предположил дед.

— Разделял, как ты догадываешься, — ответил Фредерик. — Но теперь и ты в нашем стане, раз уж ты дал денег на памятник Эрстеду.

---

## ДВЕ СВЕЧИ

**Б**ыла однажды большая восковая свеча, которая много о себе понимала.

— Я из чистого воска и отлита в форме, — говорила она, — я свечу ярче и горю дольше, чем другие свечи, меня ждет место в парадной люстре или серебряном канделябре.

— Что за восхитительная, должно быть, судьба, — отвечала сальная свеча. — Я-то всего лишь из сала, обычная маканая свечка, но я утешаюсь тем, что по сравнению с грошовой свечкой тоже не так проста; ее окунают в сало только два раза, а меня восемь, чтоб я набрала приличествующую мне толщину. Так что я довольна. Конечно, куда благороднее и удачнее родиться свечой литой да восковой, а не сальной, но не мы выбираем свой жребий. Вы будете сиять в стеклянной люстре в гостиной, а я стану освещать кухню, тоже отличное место, здесь готовят пищу и кормят весь дом.

— Есть вещи поважнее еды, — сказала восковая свеча. — Общество! Сиять среди знатных особ, блистать в их кругу! Сегодня господа дают бал, так что скоро меня и моих родичей унесут отсюда.

Не успела она проговорить это, как за восковыми свечами пришли, но вкупе с ними прихватили и сальную свечку. Сама

госпожа хозяйка взяла ее в свои холеные руки и отнесла на кухню. Там стоял маленький мальчик, он держал корзинку, и добрая госпожа наполнила ее картошкой, а сверху положила бедному ребенку несколько яблок.

— Вот тебе, дружок, еще и свечка, — сказала она. — Твоя мама работает далеко за полночь, свечка ей пригодится.

Ее маленькая дочка стояла тут же и, услышав слова «далеко за полночь», с нескрываемой радостью выпалила: «И я не буду спать далеко за полночь. У нас сегодня бал, и мне повяжут огромные красные банты!»

Как сияло ее личико! Какой светилось радостью! Ни одна восковая свеча не горит так ярко, как ребячьи глаза!

— Счастье, что мне довелось увидеть ее радость, — подумала сальная свечка. — Я никогда не забуду этого зрелища, и никогда больше не увижу ничего подобного.

За сим свечку положили в корзину, накрыли крышкой, и мальчик отправился восвояси.

— Куда меня несут? — думала свечка. — К беднякам каким-то, там небось для меня даже медного подсвечника не найдется. А восковая свеча красуется сейчас себе в серебре и созерцает благороднейшую публику. Насколько должно быть приятнее светить знатным особам! А мне вот выпал жребий родиться из сала, а не из воска.

Но вот свечу принесли в бедное жилище, в низкую избу прямо напротив господского дома, в дом вдовы с тремя детьми.

— Храни Господь добрую госпожу за все ее подарки, — восхитилась бедная вдова. — И какая чудесная свечка, она будет гореть далеко за полночь!

Свечку зажгли.

— Фу, гадость, — скривилась она. — До чего разит серой от ее спичек! Вряд ли восковую свечу в господском доме запалили от таких же вонючих!

А там тоже зажгли огни, свет их лился на улицу, кареты с разряженными гостями подъезжали к подъезду, играла музыка.

— Начинается у них веселье, — прикидывала сальная свечка и вспоминала сияющее личико господской дочурки, что горело ярче всех восковых свечей. — Такого зрелища я больше не увижу.

Тут в комнату вошла младшая дочка вдовы, малышка обняла брата и сестру за шею и притянула их к себе, чтобы рассказать потрясающую новость, ее можно было лишь прошептать: «Сегодня у нас на ужин — вы не поверите — горячая картошка!»

И лицо ее засияло восторгом, оно светилось, оно горело таким же счастьем и радостью, как лицо девочки из богатого дома, щебетавшей:

— И я не буду спать далеко за полночь. У нас сегодня бал и мне повяжут огромные красные банты!

Неужто горячая картошка может быть таким счастьем? — диву давалась сальная свечка. — А смотри-ка, и эти малыши тоже на верху блаженства». На этих словах она чихнула, вернее сказать, зашипела, на большее сальным свечам не сподобиться.

И вот стол накрыт, и картошка подана. На вкус она оказалась божественной, получился настоящий праздник. А потом каждому из детей еще досталось по яблоку, и младшая девочка прочитала маленький стишок:

Добрый Боже, спасибо тебе,  
Снова послал ты пищу мне.  
Аминь.

— Здорово я сочинила, да, мама? — обрадовалась малышка.

— Этим не хвалятся, — урезонила ее мать. — Про себя благодаря доброго Бога, дающего тебе пищу.

Малыши улеглись, мама поцеловала их на ночь, и они тут же уснули, а она сидела и шила далеко за полночь, зарабатывая на хлеб насущный себе и детям. Из господского дома

струился свет и гремела музыка. И над всеми домами, и богатыми, и бедными, одинаково ясно и благодатно сияли звезды.

— Славный вечер получился, — рассуждала сальная свечка. — Неужто восковая свеча в серебряном подсвечнике провела его еще лучше? Хотелось бы мне узнать это, прежде чем я прогорю до конца.

И она вспомнила о двух счастливых девчушках, одной светила восковая свеча, а другой сальная.

Вот и конец моей истории.

---

## О САМОМ НЕВЕРОЯТНОМ

**Т**ому, кто сделает самое невероятное, достанется в жены принцесса и полкоролевства в придачу. Потому-то все, от мала до велика, напрягали кто мозги, кто мускулы, кто желудки; двое до смерти обожрались, а один упился, стремясь достичь самого невероятного, по их разумению, результата — но речь шла о другом. На всех улицах мальчишки пытались плюнуть себе в спину, что на их взгляд было верхом невероятного. Но речь шла и не об этом тоже.

В назначенный день каждый должен был показать, на что горазд. Выбрали судей, возрастом от трех лет и до девяности. Каких только немыслимых вещей не представили на их суд, но все сошлись на том, что самыми диковинными были большие часы в окладе, поражающие воображение и видом, и искусным механизмом. Каждый час с боем часов в них разыгрывалась живая картина, олицетворявшая это число, всего было двенадцать разных представлений, в которых фигуры двигались, пели и разговаривали.

— Ничего подобного мы никогда не видели! — восторгался народ.

Часы пробили один час, и нам предстал Моисей на горе, он писал на скрижалях первую заповедь:

«Я Господь, Бог твой».



Часы пробили два, и появился Эдемский сад, в нем бродили счастливые и блаженные Адам и Ева, ничего у них не было, даже комода для одежды, вовсе им пока не нужного.

С третьим ударом часов показывались трое волхвов, один черный как сажа, но с этим он был бессилен бороться, солнце поработало над его кожей; они несли с собой дары: смирену, золото и ладан.

Вслед за четвертым ударом выходили четыре времени года. Весна с кукушкой на зазеленевшей ветке бука; Лето с кузнечиками в снопе налившихся колосьев; Осень с опустевшим аистинным гнездом — птицы улетели; Зима со старой вороной, она плетет свои истории и воспоминания в углу за раскаленной печкой.

На пяти появлялись пять органов чувств: Зрение было одето оптиком, Слух гравером по меди, Обоняние торговкой фиалками и смолкой, Осязание поваром, а Эмоция была одета плакальщицей, до пят укутанной в траурную накидку.

Часы пробили шесть — игрок выкинул кость, она легла самым большим числом вверх — шестеркой.

Следом вышли то ли семь дней недели, то ли семь смертных грехов, единого мнения у народа не было, ибо они тесно связаны, сразу и не отделишь одно от другого.

Потом хор монахов исполнил октаву.

На девятый удар вышли девять муз, одна из них покровительствовала астрономии, другая отвечала за исторические архивы, остальные принадлежали театру.

В десять появился Моисей со скрижалями в руках; на них были высечены божьи заповеди, числом десять.

Часы пробили снова, и вперед высыпали мальчики и девочки, они играли и пели присказку:

Очки с мостом пошли играть,  
Бьют часы один-на-дцать.





На двенадцатом ударе показался стражник в меховой шапке, он сжимал в руке посох с утыканным шипами набалдашником и пел старинную песню городской стражи:

Спаситель родился  
Ровно в двенадцать.

И пока он пел, вокруг расцвели розы, они превратились в головки ангелов, крылья их расцвелились во все цвета радуги.

Народ слушал с почтением и смотрел с восторгом. Это несравненный шедевр, говорили все, ничего подобного мы никогда не видели.

Создателем часов был молодой человек, добрый сердцем, любящий детей, верный друг и заботливый сын своим беднякам-родителям; он без сомнения заслужил принцессу и полкоролевства в придачу.

Наступил день оглашения вердикта. Все жители города принарядились, принцесса восседала на троне, по такому случаю на него положили новую подушку из конского волоса, отчего трон не стал ни удобнее, ни мягче. Судьи многозначительно поглядывали на будущего победителя, и сам он был в ней уверен и не скрывал радости: свое счастье он честно заработал, он сделал то, что и помыслить невозможно.

— Шалишь, самую неслыханную вещь сделаю я, — прокричал вдруг костлявый ражий верзила. — Я выиграл!

И с этими словами он запустил в чудо-часы тяжелым топором.

— Бух, бах, шмяк — и в секунду все разбито, колесики и пружинки разлетелись, конец часам!

— Видали, что я сделал! — крикнул верзила. — Вот это невероятно! Я обошел и его, и всех вас вместе взятых!

— Уничтожить такое произведение искусства! — ахнули судьи. — Это невероятно!

И толпа загудела то же самое, и по всему выходило, что принцесса и полкоролевства должны были теперь достаться

этому верзиле, а что сделаешь — закон есть закон, несмотря ни на какие обстоятельства.

И вот протрубили со всех городских стен и башен: «Играть свадьбу!» Принцесса хоть и была ничуть не рада, но выглядела чудесно, и платье на ней было великолепное. Церковь сияла всеми огнями, в вечерних сумерках она, как всегда, казалась особенно торжественной и величественной. Самые знатные девушки города с песнями вели к алтарю невесту, а благородные кавалеры сопровождали жениха, он шел надутый и важный, всем своим видом говоря, что никогда не найдетсЯ на него управы.

Вот смолкли песнопения, и стало так тихо, что слышно было даже упавшую на пол иголку, и в этой тишине вдруг с грохотом и скрежетом распахнулась дверь и в церковь вошли давешние часы, клацая «бдум-бдум» они прошли по проходу и остановились между женихом и невестой. Мертвому человеку не дано вновь встать и пойти, это все мы отлично знаем, но искусно сделанные вещи возрождаются к жизни, пусть они покорежены, разбиты, в них продолжает жить душа художника, а с ней шутки плохи.

И вот теперь часы стояли перед алтарем и удивляли так же, как пока их не разбили и не сломали. Они стали отбивать время, от первого часа до двенадцатого, и в такт ударам появлялись фигуры. Первым Моисей с как будто огненным нимбом вокруг головы, он уронил тяжелые каменные скрижали завета на ноги жениху, припечатав его к полу.

— Я не могу поднять их, — сказал Моисей, — ты сломал мне руки. Теперь стой, где стоишь!

Затем выступили вперед Адам с Евой, трое волхвов и четыре времени года, и все без обиняков говорили ему одно: «Стыдись!»

Но он и не думал стыдиться.

Так одна за другой из часов выходили все фигуры и становились гигантского размера, живым людям едва осталось место. Но когда с двенадцатым ударом появился стражник

в шапке и с посохом, толпа отпрянула. Стражник подошел к жениху и своим посохом с шипами ударил его в лоб.

— Вот тебе ! — сказал он. — Око за око! Теперь и мы отомщены, и мастер, создавший нас. Мы исчезаем!

И чудесные часы растворились в воздухе, а сияние свечей в храме разрослось в огромные снопы света, позолотило звезды под сводом, и от них протянулись яркие ясные лучи, а орган заиграл сам по себе. Это самое невероятное, что мы когда-нибудь видели, говорили все в один голос.

— Признайте наконец истину! — сказала принцесса. — Мастеру, создавшему эти несравненные часы, надлежит стать моим мужем и господином!

Вот он стоит у алтаря, шафером у него весь народ, все радуются, благословляют его, и ни одна душа не исходит завистью. Вот ведь что самое невероятное!

---

## ЧТО ГОВОРИЛИ В СЕМЬЕ ВСЕ

**Х**очешь знать, что говорили все в семье? Послушай сначала, что твердила малышка Мария. Был день ее рождения, самый замечательный день, какой она только знала. Все ее маленькие друзья и подружки придут к ней в гости поиграть, она будет красоваться сегодня в нарядном платье, подарке бабушки, она теперь ушла к доброму Боженьке, но прежде чем переселиться на светозарные, райские небеса бабушка сама скроила и сшила это платье для Марии. Стол в комнате именинницы завален сказочными подарками: тут тебе и восхитительная игрушечная кухня со всем, что должно быть на настоящей кухне; и кукла, которая, если нажать ей на живот, открывает глаза и говорит «агу»; и книга с картинками и захватывающими историями, отрада умеющего читать! Но куда более захватывающим, чем все истории из книжки, кажется Марии то, что ей предстоит отпраздновать еще много-много дней рождения!

— Как чудесно жить! — говорит Мария. А крестный добавляет, что жизнь — волшебнейшая из сказок.

В большой соседней комнате хозяйничают старшие братья Марии, они уже взрослые, одному девять, другому и вовсе одиннадцать. Им тоже кажется, что жизнь — отличная штука, конечно не когда ты такой несмышленьки, как Мария, но уже стал самостоятельным школьником с «отлично» по всем предме-

там, и у тебя свои радости: помутузиться с товарищами к общему удовольствию, зимой погонять на коньках, а летом на велосипеде, глотать книги о рыцарских замках, подвесных мостах и узниках в темницах и знать все об экспедициях в сердце Африки. Правда, для одного из братьев это постоянный источник расстройства — он боится, что пока он вырастет, все в Африке уже откроют, что ж, тогда его ждут просто приключения и путешествия. Правильно крестный говорит, что жизнь — волшебнейшая из сказок, особенно если человек сам герой этой сказки.

Выше, на втором этаже, жила другая ветвь той же семьи, здесь тоже были дети, но уже выросшие и вылетевшие из гнезда: одному минуло семнадцать, другому двадцать, а третьему, совсем старому, как говорила Мария, сравнялось двадцать пять, он был обручен. Счастье улыбалось им, они были облаканы родителями, умны, способны, красиво одеты и мечтали, понятно, только об одном: «Вперед и ввысь! Долой все препоны и преграды! Хотим видеть весь волшебный мир как на ладони. Прав крестный, жизнь — сладчайшая из сказок».

Их мать с отцом, люди более зрелого возраста — понятно, что они старше своих детей — только посмеивались, с улыбкой в глазах и на устах приговаривая: «Молодо зелено! Жизнь идет не так, как вы себе рисуете, но идет. Жизнь — она особенная сказка, волшебная».

Над ними, ближе к небу, как принято говорить об обитателях чердаков, жил крестный. Он был стар годами, но молод душой и всегда в добром расположении духа, а еще он любил рассказывать длинные истории, знал их много. Он объездил весь свет, его гостиная полна была диковинных штук из разных стран. Стены от пола до потолка были завешены картинами, а в некоторые окна были вставлены красные и желтые стекла, так что за ними всегда сияла солнечная погода, даже если на самом деле небо хмурилось. В огромном стеклянном ящике кустились зеленые растения, а еще там был выгорожен отсек, где плавали золотые рыбки, они смотрели на вас так, словно не ви-



дели смысла делиться с вами своей мудростью. Все здесь дышало ароматом цветов, даже и зимой, когда в камине похлал огонь и было так восхитительно сидеть, смотреть на него и слушать, как он трещит и гудит. «Огонь рассказывает мне истории о былом», — говорил крестный, и малышка Мария тоже видела в пламени картинку за картинкой.

В шкафу подле камина выстроились бесценные книги, одну из них крестный часто читал и называл ее Книгой книг, то была Библия. В ней показана вся история мира и человечества, рассказывается о сотворении, потопе, царях и Царе царей.

— Здесь написано обо всем, что свершилось и свершится, — говорил крестный. — Как бесконечно много уместилось в одной единственной книге! Подумать только! Все, о чем человек мог бы попросить, уже перечислено в немногих словах молитвы «Отче наш». Это капля милости, жемчужина утешения, дарованная нам Господом. Она кладется как дар в каждую колыбельку, поближе к детскому сердцу. Смотри, малышка, храни ее, не теряй! Какой бы взрослой ты не стала, она будет светить в тебе, и ты не пропадешь, не останешься в одиночестве на перепутье!

И глаза крестного сияли, горели радостью. Когда-то в юности их застилали слезы, и «это тоже было ко благу», говорил старик, то было «время испытаний, и все представлялось мне в черном цвете. А теперь во мне и вокруг ярко светит солнце. Чем старше человек, тем яснее видит он и в скорби, и в радости, что Господь всегда с нами, а жизнь — волшебнейшая из сказок, только Он мог даровать нам ее, и она продолжается вечно!»

— Как прекрасно жить! — сказала малышка Мария.

И ей вторили мальчики, и младшие, и старшие, и мать с отцом, вся семья, но первым — крестный, он был старше всех, умудреннее, он много пережил, знал все сказки и все-все истории и он говорил эти слова, шедшие из сердца: «Жизнь — волшебнейшая из всех сказок».

---

## НУ-КА, КУКЛА, ПОПЛЯШИ!

**Ч**то ты, что ты, — отбивалась тетушка Малле, — это песенка для совсем маленьких детей, где мне ее запомнить, стара я для этой «Ну-ка, кукла, попляши!». Зато малышка Амалия распевала песенку, но ей и было-то всего три года, она играла в куклы и воспитывала их так, чтобы они выросли столь же умными, как тетушка Малле.

В доме часто бывал господин студент, он приходил заниматься со старшими братьями малышки Амалии и любил поговорить с ней и ее куклами, он беседовал с девочкой иначе, чем прочие взрослые, ее это очень забавляло, хотя тетушка Малле и ворчала, что студент ничего не смыслит в обращении с детьми, разве такой маленькой головке вместить всю его болтовню? Но в Амалиной головке все прекрасно уложилось, она разучила с господином студентом наизусть всю песенку «Ну-ка, кукла, попляши!» и теперь пела ее трем своим куклам, две были совсем новые, одна девочка, второй мальчик, ну а третья как раз старая Лиза. Но ее тоже взяли в песню и позволяли слушать ее.

Ну-ка, кукла, попляши!  
Оба, право, хороши —  
Барышня и кавалер.  
Он при шляпе, например,

Белы брючки, синий фрак,  
И плясать большой мастак.  
Оба в танце хороши —  
Ну-ка, кукла, попляши!

Старой Лизе наш привет,  
Ей уже немало лет.  
Мы кудельки ей завьем,  
Лобик маслицем протрем —  
Снова кукла молода.  
Эй, дружок, иди сюда.  
Мы такой устроим пляс —  
Брать бы деньги за показ.

Ну-ка, кукла, попляши!  
Только с чувством, от души,  
Выше ножку, стан — прямой.  
Вот красотка, ей-же-ей!  
Приседай, кружись, скачи —  
Хвори танцами лечи.  
Все вы, трое, хороши!  
Ну-ка, кукла, попляши.

Куклам все в песенке было понятно, как и малышке Амалии, и тем более господину студенту; ведь он сам сочинил песенку и говорил, что получилось чудесно. Одна только тетушка Малле не видела в песенке смысла, она переросла детские забавы. «Баловство это», — ворчала тетушка Малле, а Амалия не ворчала, она распевала во все горло: «Ну-ка, кукла, попляши!» От нее мы песенку и узнали.

---

## БОЛЬШОЙ МОРСКОЙ ЗМЕЙ

**Ж**ила-была одна морская рыбешка из семейства благородного, хотя имени его я не помню, пусть ученые назовут. У нашей рыбки-малявки было восемнадцать сотен сестер и братьев одного с ней возраста; родителей своих они не знали, с рождения плавали одни и должны были сами о себе заботиться, но ведь это сплошное удовольствие! Воды напиться было у них в избытке, весь мировой океан, о пище они не думали, она находилась сама; жили рыбки как хотели, оттого судьбы их сложились по-разному, но они и об этом не задумывались.

Солнце проливалось в воду и освещало рыбку-малявку, ее сестер, братьев и все вокруг, целый мир, населенный престранными существами, некоторые чудовищных размеров, с огромными пастьми, они запросто могли проглотить все восемнадцать сотен наших рыбешек, о чем те тоже не задумывались, ибо пока еще ни на кого из них не нападали.

Рыбешки держались все вместе, как ходят косяками сельди или скумбрии. Вот раз плывут они себе, ни о чем не печальсь, как вдруг сверху прямо в середину их скопища начинает опускаться какой-то длинный тяжелый предмет, он разматывается с мерзким скрежетом и напористо тянется вперед и дальше, давя или насмерть калеча всякую попавшую под него рыбку. Рыбья братия, от мелюзги до больших,

солидных рыбин, от дна моря и до поверхности воды, заматалась в страхе, а этот ужасающий тяжеленный предмет опускался все глубже и протягивался все дальше, на десятки миль, прорезая весь океан.

Рыбы и морские гады, все, что плавает, ползает или перекатывается течением, ополоумели из-за этого страшного и безжалостного неизвестно чего, какого-то морского угря, внезапно обрушившегося им на головы.

Что же это была за штукавина? Ну, мы-то с тобой знаем ответ — речь о длинном, растянувшемся на многие мили телеграфном кабеле, проложенном людьми от Европы до Америки.

Ужас и паника охватили законных обитателей моря при виде кабеля. Летучие рыбы взлетели над водой так высоко, как только могли подняться, рыба-петух прыгнула над водой на расстояние выстрела, это она умела, а всем остальным пришлось искать спасения на дне морском, они с завидной скоростью ушли на глубину и достигли придонных вод задолго до появления здесь первых признаков приближения кабеля, немало озадачив своей суетой камбал и крупную треску, мирно и спокойно пожиравших здесь себе подобных.

Пара морских огурцов со страху выпростали животы наружу, но не погибли, такие штуки им нипочем. Многие омары да крабы сбежали, побросав свои домики.

Среди всего этого кошмара и сумятицы восемнадцать сотен сестер и братьев растеряли друг друга и больше уже не встретились, или не узнали друг дружку; не больше десятка рыбешек удержались вместе, и когда через пару часов, проведенных ими в полном оцепенении, первый страх прошел, в них проснулось любопытство.

Они стали вглядываться в толщу воды, таращиться вверх и вниз в поисках этого ужасного страшилища, так перепугавшего всех, от мала до велика. Оно отыскалось на дне. Оно тянулось вдаль, насколько хватало глаз, и казалось довольно тонким, но никто знал, ни до какой толщины оно в состоянии

раздуться, ни сколько в нем силы. Лежало оно совершенно неподвижно, видимо, усыпляя их бдительность, догадались они.

— Пусть себе лежит, не надо его трогать, — сказала самая осторожная рыбешка, — не нашего ума это дело.

Но самая мелкая из всех рыбешек не желала упускать шанс разузнать, что это за штука такая; раз она свалилась на них сверху, значит, наверху и надо искать ее следы, решила она и поплыла наверх, благо на море стоял штиль.

Там им повстречался дельфин, это такой попрыгун-ветрогон, он знай утجوит море и выделявает разные кульбиты; как он есть зрячий, то должен был бы увидеть все в подробностях, но будучи целиком поглощен собой и своими пируэтами, он ничего не заметил и рыбешкам не отвечал, только молчал и нос задира.

Тогда они обратились к тюленю, он только что нырнул в воду; этот зверь оказался повежливее, правда, мелкой рыбешкой не брезговал, но сегодня был уже сыт. Тюлень знал побольше прыгуна-дельфина.

— Много ночей пролежал я на мокром камне, вглядываясь в землю; она отсюда далеко, за десятки миль, там обитают коварные существа — люди, как они называют себя на своем языке, они охотятся на нас, но обычно, убедился я со временем, нам удастся ускользнуть от них, как посчастливилось и мне, и тому морскому угрю, о котором вы спрашиваете. Он попался им, видно, давно и долго, с незапамятных времен, томился в их власти, пока они не надумали перетащить его на корабль, чтобы везти в другую, далекую страну. Я видел, каких трудов стоило им одолеть его, но угорь ослаб за годы плена на суше, так что под конец они его все-таки усмирили, скрутили — я слышал, как он хрустел и скрипел, когда они сматывали его в бухту, а угорь все же вырвался от них, сбежал. Они тянули его изо всех сил, в десятки рук, но он выскользнул и нырнул на дно, где и отлеживается пока, думаю я.

— Больно он тонкий! — сказали рыбешки.

— Люди же его голодом морили! — объяснил тюлень. — Но ничего, скоро он отъестся, станет как положено, важным и толстым. Думается мне, это тот самый Змей морской, которого люди так ненавидят, они непрестанно о нем говорят. Сам я прежде его не видал и считал выдумкой, а теперь думаю — это он и есть, — закончил тюлень и уплыл на глубину.

— Сколько же он всего знает! — восхитились маленькие рыбки. — И как многое он нам поведал! Теперь нам известно вдесятеро больше прежнего — если только он не наврал.

— Можно сплавать вниз, — предложила рыбка-малявка, — пока спускаться будем, разузнаем, что о чудище говорят.

— Станем мы ради этого плавники трепать! — ответили ей остальные рыбки.

— Я сплаваю! — вызвалась рыбка-малявка и устремилась в толщу моря; но она оказалась далеко от того места, где лежала «эта длинная рухнувшая штуковина», и теперь рыбешка металась во все стороны, меж тем опускаясь все ниже на глубину.

Никогда еще родной водный мир не казался ей таким необъятным. Плотными косяками шла сельдь, блестя точно огромный серебристый корабль, еще более шикарно выглядела плывшая следом скумбрия. Рыбы всех размеров и цветов радуги проплывали мимо, медузы, точно полупрозрачные цветки, качались в струях, и течение несло их. Дно поросло пышной растительностью: здесь стояла трава по грудь и похожие на пальмы деревья с бахромой из блестящих моллюсков на каждом листе.

Наконец рыбка-малявка углядела на дне длинную темную полосу и устремилась к ней, но это оказалась и не рыба, и не кабель, а борт большого затонувшего корабля, раздавленного морем. Рыбка-малявка нырнула внутрь: останки множества людей, что нашли здесь свою погибель, давно унесло течением, оно не потревожило только молодую женщину с ребенком на руках. Вода колыхала их тела, словно баюкала. Они казались спящими, и рыбка страшно перепугалась: что они никогда не проснутся, она не знала. Водная растительность кущами

свисала с поручня, затеняя тела красивой женщины и пригожего ребенка. Было тихо, одиноко. Рыбка-малявка что есть мочи заспешила прочь, туда, где вода не так черна и где встречаются морские обитатели. Не успела она уплыть далеко, как и правда увидала молодого кита, ужас какого громадного.

— Не глотай меня! — взмолилась рыбка-малявка. — Ты такую мелюзгу, как я, даже и не распробуешь, а мне жить — радость!

— Ты зачем здесь? Твои родичи на такую глубину не заплывают? — спросил кит.

И рыбка-малявка рассказала ему о странном угре, или кто он там на самом деле есть, обрушившемся на головы обитателям моря и напугавшем до смерти самых отважных из них.

— У-уф! — вздохнул кит и с такой силой втянул в себя воду, что когда он в следующий раз вынырнул наружу перевести дух, то выпустил, должно быть, целый фонтан. — У-уф, — повторил он, — так вот что щекотало мне спину, когда я ворочался. А я-то решил, что это корабельная мачта, еще хотел подобрать ее и сделать чесалку для спины. Только задела меня эта штука не здесь, а далеко отсюда. Делать мне все равно нечего, сплаваю-ка я да рассмотрю ее.

И он пустился в путь, а маленькая рыбка поплыла следом, правда, ей приходилось держаться на некотором отдалении, потому что за хвостом набравшего скорость кита вспенивался бурный поток.

Дорогой им встретились акула и старуха рыба-пила, слухи о странном морском змее, ужасно длинном и тонком, до них уже дошли, а взглянуть на него они еще не успели, но были не прочь.

Потом появилась зубатка.

— Я с вами, — сказала она, примкнув к экспедиции. — Если этот ваш змей не толще якорной цепи, я его одним укусом переполовиню, — заявила зубатка и разинула пасть с шестью рядами зубиц. — Раз я могу якорь покарябать, эта тростиночка мне по зубам и подавно!



— Вот он! — закричал кит, считавший себе самым остроглазым. — Я его вижу! Гляньте, как он крутится, извивается, выгибается горбом и волну пускает.

Но это плыл курсом на них гигантский морской угорь, размером с нескольких обычных.

— Его я давно знаю, — сказала старуха рыба-пила, — он в жизни не устраивал переполохов и сроду никого не пугал.

Теперь и ему рассказали о его названном родственнике и спросили, не хочет ли он присоединиться к экспедиции.

— Если этот тип длиннее меня, — сказал гигантский угорь, — пусть пеняет на себя!

— Вот именно, — отозвалась вся компания, — нас много, мы найдем на него управу!

И они поспешили вперед.

Но дороге им преградило огромное, странное чудище, больше всех их, вместе взятых.

Оно походило на плавучий остров, ушедший под воду. И оказалось старым-престарым китом. Голова его поросла водорослями, на спине обосновались морские гады и полчища устриц и мидий, отчего черная шкура кита смотрелась белесой.

— Старик, поплыли с нами, — позвали они кита. — У нас тут в море завелась новая рыбина, надо поставить ее на место.

— Нет уж, лучше мне лежать, где лежу, — прохрипел старый кит. — Оставьте меня в покое. Дайте отдохнуть. Ох-хо-хох, я тяжело болен. Одно только и приносит облегчение — высунуть спину из воды, тогда прилетают эти славные большие морские птицы и чистят ее, о, как же это приятно, лишь бы только они не очень глубоко ковыряли, а то ведь все время раздирают кожу аж до жира. Вот, полюбуйтесь — таскаю в спине скелет птицы! Она так глубоко вцепилась в меня когтями, что не сумела отцепиться, когда я нырнул. Рыбья мелочь объела все до костей. Взгляните, что у нее теперь за вид! А у меня? Да, да, я болен!

— Что за выдумки, — фыркнул молодой кит. — Я никогда ничем не болею. У рыб болезней не бывает!

— Извините, — отозвался старый кит, — морские угри покрыты паршой, карпы щербаты, знать, от оспы, и у всех нас, рыб, — глисты!

— Чушь! — буркнул молодой кит, он не собирався слушать дальше, как, впрочем, и остальные, их ждало важное дело.

Наконец они увидели телеграфный кабель. Он пролегал через все море, протянулся от Европы до Америки по песчаным отмелям и иловым наростам, среди подводных скал, зарослей водорослей и коралловых джунглей, отчего подводные течения изменили направление, сместились пласты вод и рыбы устремились вперед, сбившись в косяки, числом превосходящие все те бесчисленные птичьи стаи, что доводится видеть людям в сезон перелетов. Все в толще моря движется, плещется, бурлит и грохочет, отголоски этого шума можно услышать, если приложить к уху большую раковину.

Так вот, рыбы добрались до кабеля.

— Вон лежит, зверюга, — сказали большие рыбы, а рыбка-малютка повторила следом за ними. Они видели кабель, но и конец его, и начало терялись вдали.

Морские губки, полипы, медузы перекачивались по дну, всплывали и опускались, то закрывая кабель, то вновь обнажая его. Морские ежи, улитки и змеи копошились возле, гигантские пауки, неся на спине целые команды рачков и прочих, важно расхаживали вдоль него. Темно-синие морские огурцы (или, как они там называются — словом, те, что питаются, как червяки) лежали и словно бы принюхивались к новому зверю, поселившемуся на дне морском. Камбала и треска крутились волчком, норовя уловить звуки со всех сторон. Морская звезда, имеющая обыкновение с головой закопаться в тину, выставив наружу лишь два глаза на длинных ниточках, замерла, не моргая, боясь пропустить развязку.

Телеграфный кабель не шевелился. Но внутри него пульсировали жизнь и разум: по нему текли человеческие мысли.

— Хитрая бестия, — сказал кит. — Она может хлестнуть меня по животу, а он — мое самое уязвимое место.

— Давайте пощупаем его, — предложил полип. — У меня длинные руки и проворные пальцы. Я уже дотрагивался до него, но теперь схвачу посылнее.

И он обвил кабель своими длиннющими проворными пальцами.

— Ой, он голый — ни чешуи, ни шкуры, — сказал полип. — И похоже, икру не мечет, детенышей не рождает.

Морской угорь лег рядом с кабелем и вытянулся в струнку во всю свою длину.

— Ну надо же, он длиннее меня! — изумился угорь. — Да только одной длины маловато будет, нужны еще шкурка да брюшко да юркость.

Кит — мы говорим о молодом и сильном — изловчился, пригнулся насколько смог к кабелю и спросил:

— Ты рыба или ты растение? — спросил он. — Или вообще штучка сверху, с суши, и у нас под водой тебе жизни нет?

Но кабель ничего не ответил, он так устроен. Зато по нему перемещаются человеческие мысли, преодолевая за секунду сотни миль от материка до материка.

— Ну, перекусить тебя? Или будешь отвечать? — спросила прожорливая акула, а следом за ней и все большие рыбы повторили то же самое: «Порвать тебя? Или будешь отвечать?»

Кабель не шелохнулся, у него был свой расчет, это позволено тем, кто полон мыслей.

— Ну порвете вы меня — люди поднимут и починят, так уже бывало с моими родичами в других морях.

Ободренный этой мыслью, кабель не стал отвечать рыбам, не досуг ему было болтать, он ведь передавал телеграммы, нес законную службу, лежа на морском дне.

А над водой садилось солнце, как называют его люди, небо озарилось багрянцем, облака горели огнем, одно краше другого.

— Сейчас вода осветится красным, — сказали полипы, — тогда его можно будет получше рассмотреть, если надо, конечно.

— Нападем на него! Нападем! — крикнула зубатка и ощерилась, показав все зубы.

— Нападем на него! Нападем! — подхватили рыба-меч, кит и морской угорь.

Предводительствуемые зубаткой, они ринулись вперед, но в пылу и неразберихе атаки рыба-пила попала своей пилой зубатке по заду, это была роковая ошибка, помешавшая зубатке укунить кабель изо всех сил.

В клубах ила на дне колготилась куча-мала. Большие рыбы и мелкие рыбешки, морские огурцы и улитки бились, давились и пожирали друг друга. Один только телеграфный кабель лежал спокойно и нес свою службу.

Наступила темная ночь, но в толще воды светились миллиарды и мириады мелких существ. Например, крошечные, размером не больше игольного ушка, крабы. Хотите верить, хотите нет.

Морские обитатели таращились на телеграфный кабель.

— Что же это такое, вот в чем вопрос?

Да, это был вопрос вопросов.

И тут появилась старая водная шутиха. Люди делят их на русалок и водяных, так то была русалка, обладательница хвоста, двух коротких ручек, которыми она сучила по воде, и отвислой груди. В волосах у нее было полно водорослей и пиявок, чем она очень гордилась.

— Вы хотите узнать правду? — спросила русалка. — Кроме меня, никто вам ее не откроет. Но за это я требую, чтобы мне и моим родичам позволено было беспрепятственно и спокойно пастись на всех пастбищах на дне морском. Я та-

кая же рыба, как вы, а стоит мне поупражняться, так и за гада морского сойду. Я самая просвещенная в море, знаю все обо всех, кто обретается в воде и на суше. Та вещь, над которой вы ломаете головы, родом оттуда, сверху, а что падает на дно морское сверху, то или уже бездыханное, или вот-вот обессилит и умрет. Оставьте ее валяться, это всего-навсего очередная выдумка человека!

— А по-моему, это нечто большее, — возразила рыбка-малявка.

— Попридержи язык, килька! — оборвала ее русалка.

— Цыц! Молчи! — зашикали кругом, что было уж совсем обидно.

И русалка растолковала рыбам, что виновник переполоха (так и не издавший, кстати говоря, ни ползвучка) — всего-навсего изобретение Большой суши. А затем прочла собранию небольшую лекцию о человеческой подлости.

— Им лишь бы переловить нас, — вещала русалка, — в этом они видят смысл своей жизни. Закинуть сеть, нанизать на крючки наживку, приманить нас. Эта длинная штука на дне — нечто вроде очень большого крючка, на который мы должны, по их мнению, попасться. Не на таких напали, дурни. Но эту их дурацкую приманку главное не трогать, пусть себе гниет тут, превращается в прах и грязь. Что сваливается к нам сверху, всегда ущербное, битое, с гнильцой, ни на что не годное.

— Ни на что не годное, — хором подхватили обитатели моря, сочтя за благо разделить мнение русалки, раз своего не составить не смогли.

Одна только рыбка-малявка осталась при своем убеждении. «Эта длиннющая тощая змея, должно быть, самое удивительное творение в нашем море. Я чувствую это!

— Наверняка самое удивительное, — со знанием дела и убежденностью скажем и мы, люди.

Огромный морской змей, о котором от века слагали рассказы и песни, — вот кто он такой.

Порождение человеческого гения, им придуманный, созданный и положенный на дно океана, протянувшийся от восточного полушария в западное и доставляющий новости на другой край света за ту же долю секунду, что луч солнца достигает земли.

Он растет, год за годом прирастает длиной и мощностью, опоясывает землю, тянется через все моря, лежит под толщей воды и в шторм, и в штиль, когда вода чиста и прозрачна настолько, что моряк глянет вниз и подумает вдруг, что плывет по воздуху, а под ними — словно разноцветный фейерверк мельтешат мириады рыб.

На сказочной глубине растянулась это чудище, эта благодать, этот змей Мидгарда, которому удалось обернуться вокруг земного шара и укусить-таки себя за хвост. Как бы рыбы и морские гады не ломали головы, им не постичь, что за штука свалилась к ним сверху: вместивший мысли всего человечества, всем языкам открытый и все же безмолвный кабель познания, для добра и для зла, величайшее из морских чудес, большой морской змей нашей эпохи.

---

## САДОВНИК И ГОСПОДА

**В** миле от города стоит старинное поместье с крепкими каменными стенами, башенками и щипцом. Богатые господа, из самых знатных, жили здесь с весны до осени. Поместье это было лучшим из их владений. И таким красивым! И снаружи господский дом выглядел с иголочки — а уж каким уютным и удобным был он внутри! Над воротами красовался мраморный герб, чей щит и висевший над ним фонарь обвивали прекрасные розы; из сада выплескивался за стены настоящий травяной ковер: был здесь и белый шиповник, и красный, и редчайшие цветы росли не только в оранжерее, но и тут, под открытым небом.

Недаром господа держали умелого и знающего садовника — цветник, и сад, и огород радовали взор. А на позадках поместья сохранился кусочек старинного сада: кусты самшита, подстриженные в форме пирамид и корон, и за этой живой изгородью возвышались два громадных вековых дерева; деревья стояли почти нагие, и бросив взгляд на их сухие ветви, можно было подумать, что недавно над садом пронесся ураган и закидал деревья комьями грязи, — но то были не комья грязи, а птичьи гнезда.

С незапамятных времен на деревьях хозяйничала крикливая стая грачей и ворон: то был настоящий птичий город, где птицы чувствовали себя господами, — эта земля принадле-

жала им, они были родовой знатью, получившей ее в свое вечное владение, — кто, как не они, были истинными хозяевами поместья? До людишек внизу птицам и дела не было. Они лишь снисходительно терпели их присутствие, — хотя те иногда постреливали из ружья, и у птиц дрожь пробегала по спине, а вся стая с воплем «Сброд! Сброд!» испуганно взмывала в воздух.

Садовник все твердил господам: надо бы старые деревья срубить, они только портят вид сада, если же их свалить, то и от птичьего грая можно избавиться, — птицы подадутся в какое-нибудь другое место и больше не станут докучать. Но господа не хотели расставаться ни с деревьями, ни с птицами: разве можно такое позволить, эти деревья и птицы были в поместье спокон веков, они часть его, и расстаться с ними немислимо.

— Милый Ларсен! Эти деревья достались птицам по наследству, — пусть себе живут, где жили!

Ларсеном звали садовника, хотя это и не важно для нашего рассказа.

— Разве мало вам места и мало забот? У вас и цветник, и оранжерея, и фруктовые деревья, огород, наконец!

Все было именно так, и он сажал и сажал растения, выращивал их, непрестанно о них заботился, с ревностью и усердием, — господа это признавали, хоть и не скрывали от садовника, что нередко в гостях они лакомились фруктами и любовались цветами, которые намного превосходили те, что росли у них в саду, и это печалило садовника, он ведь желал, как лучше, и делал для этого все. У него было доброе сердце и добрые руки, и он был настоящим садовником.

Однажды господа позвали садовника к себе и сказали ему, — очень мягко, но не забывая о своей власти, — что накануне одни знатные друзья угощали их совершенно особенными яблоками и грушами: таких сочных, таких вкусных фруктов никто из гостей, сидевших за столом, никогда не пробовал, все были просто в восхищении. Видимо, их



привезли из-за границы, но эти сорта надо бы развести и здесь — вдруг климат позволит. А покупали их в лучшей в городе фруктовой лавке, и пусть садовник отправляется туда и выяснит, откуда взялись эти яблоки и груши, и как выписать их черенки для прививки — их обязательно надо привить в нашем саду.

Садовник хорошо знал торговца фруктами — как раз ему, заручившись согласием господ, он продавал излишки из их сада.

И вот садовник отправился в город и спросил торговца, откуда у него эти наделавшие шума яблоки и груши.

— Да из вашего сада! — удивился тот и показал на груши и яблоки, в которых садовник сразу же признал выращенные им плоды.

Надо ли говорить, как он обрадовался и поспешил к господам поделиться с ними вестью, что и яблоки, и груши — из их собственного сада.

Но господа не приняли его слов на веру.

— Нет, Ларсен! Мы не поверим вам, пока вы не принесете расписку от торговца!

Что ж, он принес расписку от торговца.

— Нет, ну надо же! — воскликнули господа.

Теперь каждый день на господском столе появлялись огромные вазы с несравненными яблоками и грушами — только подумать, из их же собственного сада! Целые корзинки, а то и ящики с этими фруктами господа посылали знакомым: и в город, и в сельские поместья, и даже за границу. Что ни говори, а это было приятно! Но при том господа не забывали напоминать: уже второе лето подряд во всех садах в Дании вызревают на редкость вкусные фрукты, да-да!

Прошло время. Как-то господа были приглашены на придворный обед. На следующий день они призвали к себе садовника: у Их Величества им подавали дыни из королевских теплиц — уж такие сочные, такие вкусные.

— Милый Ларсен, сейчас же отправляйтесь к придворному садовнику и выпросите у него семена этих дынь, им просто цены нет!

— Так ведь придворный садовник берет семена у нас! — с торжеством даже сказал Ларсен.

— Что ж, он, видно, знает, как выращивать из семян дыни, — пожалы плечами господа, — вчерашние были просто несравненны!

— Выходит, я могу ими гордиться! — ответил садовник. — Должен сказать: в этом году королевскому садовнику дыни не удалось, так что когда он узнал, как хороши и вкусны наши дыни, он попросил у меня целых три для дворцовой кухни!

— Ларсен!!! Уж не воображаете ли вы, что эти дыни были из нашего сада?!

— Именно так! — ответил Ларсен и отправился в замок, где королевский садовник дал ему письменное подтверждение: дыни, которые подавались на королевском обеде, были выращены в господском саду.

Это был настоящий сюрприз для господ, но они не стали держать историю в секрете, напротив, показывали всем свидетельство, выданное королевским садовником, и рассылали по городам и весям семена дынь, как прежде черенки яблок и груш.

Что до этих черенков, то стали приходить известия, что они повсеместно приживались и давали чудесные плоды, сорт этот получил название в честь господского поместья, так что оно зазвучало теперь и по-английски, и по-немецки, и по-французски тоже.

Кто бы мог подумать!

— Только бы садовник не возомнил о себе невесть что! — покачали головами господа.

Он же воспринял все это иначе: отныне он стремился только к тому, чтобы удержать за собой славу одного из лучших садовников во всей стране, и каждый год пытался вы-

растить новую диковинку, всегда с успехом; но со временем ему все чаще доводилось слышать, что самые первые выведенные им фрукты, те самые груши и яблоки, были потрясающе хороши, а вот последующие сорта им все же уступали; его дыни действительно хороши, но есть множество других замечательных сортов дынь; его клубника — превосходна, но уж не настолько она лучше, чем та, что выращена другими садовниками... А уж когда однажды у него не уродилась редька, все только о том и говорили, забывая о всех прочих выращенных им плодах.

Господа как будто даже почувствовали облегчение от того, что могли сказать:

— Редька у вас, милый Ларсен, в этом году совсем не удалась! — Они были почти счастливы: — Не уродилась у вас редька-то!

Дважды в неделю садовник приносил в гостиную свежие цветы и составлял из них прекрасные букеты; каждый цветок был так удачно подобран к другому, что они оттеняли красоту друг друга.

— Вам не откажешь во вкусе, Ларсен, — говорили господа. — Но это дар Божий, Ларсен, дар, а не искусство!

Однажды садовник вошел в гостиную с большой хрустальной чашей, в которой плавал лист водяной лилии, а на нем лежал, длинным, толстым стеблем уходя в воду, великолепный голубой цветок, размером с подсолнух.

— Индийский лотос! — воскликнули господа.

Подобного цветка они никогда не видели; днем его выставляли на свет, а в сумерках освещали лампой. Все только и говорили: «Какая красота! Просто редкость!» — да, да, именно так выразилась о нем наипервейшая из юных дам королевства, сама принцесса, а она была умницей, и у нее было доброе сердце.

И когда принцесса стала собираться назад во дворец, господа сочли за честь преподнести ей редкостный цветок.

Господа вышли в сад, чтобы сорвать там точно такой же — вдруг хоть один еще остался. Они обошли весь сад, но ничего похожего на голубой цветок им не встретилось. Тогда они позвали садовника и спросили, где же он выращивает голубые лотосы:

— Мы уже весь цветник осмотрели, даже в теплицы заглядывали!

— Что вы! Вы же совсем не там искали! — ответил садовник. — Эти цветы — они растут на овощных грядках! Но при этом они так красивы! Кажется, будто это голубой цветок кактуса. Кто бы подумал, что так цветет артишок!

— Что же вы сразу об этом не сказали! — рассердились господа. — Мы-то думали, это какой-то редкий цветок, растущий за границей! Боже, а что подумает о нас принцесса! Она была у нас, увидела цветок, сказала: «Какая красота...» Она же не знала, что это всего-навсего артишок! Принцесса прекрасно разбирается в ботанике, но ведь наука не занимается вульгарными овощами! Любезный Ларсен, Ларсен, что вы наделали! Надо ж было — поставить артишок в гостиную! Да нас на смех все поднимут!

И прекрасному голубому цветку раз и навсегда было отказано в праве появляться в доме. А господа поспешили принести извинения принцессе и признаться, что приглянувшийся ей цветок — обычный овощ, который садовнику взбрело на ум поставить в комнату, но теперь ему строжайшим образом указано, что так делать не подобает.

— Не грешите! — напустилась на них принцесса. — Это несправедливо: садовник открыл нам глаза на то, сколь великолепен этот цветок! Сами мы не замечали его красоты, а садовник помог нам увидеть прекрасное там, где нам и в голову не приходило его искать! А теперь — теперь королевский садовник каждый день, пока цветут артишоки, будет приносить их мне в гостиную.

Так и повелось.

А господа, вернувшись в поместье, позвали садовника и сказали, что цветы артишока, пожалуй, все же можно ставить в доме.

— Что ни говори, в сущности, они красивы, — объявили господа, — они до того своеобразны!

Похвалили так садовника.

— Что делать... — вздохнули господа. — Ларсен — он, как избалованный ребенок! Приходится его хвалить...

Осенью случилась ужасная буря; она бушевала всю ночь напролет, выворотила с корнем множество деревьев на опушке леса, и, к великому горю господ (скорби, как они говорили) и искреннейшей радости садовника, буря свалила и два вековых дерева со всеми гнездами. Даже сквозь завывания бури было слышно, какой переполох вызвало это у грачей и ворон — те подняли страшный гвалт, даже в окна билась, — так рассказывали потом очевидцы.

— Ну вот, Ларсен, радуйтесь! — говорили господа. — Буря повалила деревья, птицы улетели в лес. Нет больше памяти о прошлом — ни намека, ни следа не осталось! Как жаль!

Садовник ничего не сказал в ответ, а просто подумал — сколько лет он думал об этом! — что пришла пора переустроить эту часть сада, где так много света. Раньше ему это не разрешали, а теперь — теперь он сделает этот уголок настоящим украшением сада, истинной радостью для своих господ.

Громадные деревья, падая, переломали и искорежили кусты самшита с фигурной стрижкой. На их месте садовник посадил простые, незамысловатые растения, которые можно встретить в лесу да в поле.

На такое не решался еще ни один садовник — подумать только, растить все это в господском саду! Но Ларсен позаботился о каждом растении наилучшим образом — те, которые любят свет, он посадил там, где щедро пригревало солнце, а те, которым солнечный свет не нужен, росли в тени. Каждая былинка росла так, как ей предназначено от века. Он сажал с любовью — и они выросли в великолепии.

Можжевельник, что растет на ютландских пустошах, поднялся здесь во весь рост, формой и цветом напоминая итальянские кипарисы; а как радовал глаз колючий остролист, сверкающий зеленью и в зимнюю стужу, и в летнюю жару! Рядом с остролистом были высажены папоротники — и тот, который похож на маленькие пальмы, и совсем древний вид, от которого пошли прелестные «Венерины кудри», как мы их называем, так красивы и живописны! На возвышенности, где посуше, рос скромный репейник, цветы которого так красивы, что могут украсить собой любой букет. А во влажной низине пустил вверх свои треугольные стрелы простой щавель — но и его длинные, мощные листья, казалось, были нарисованы искусным художником. И тут же стоял выкопанный на поле коровяк, высокий, весь усыпанный цветами, отчего он походил на огромный, на много-много свечей канделябр. Здесь же росли таволга, первоцвет, лесные колокольчики, дикий ирис, заячья капуста. Смотреть на это было одно удовольствие.

На первом плане, подвязав их тоненькими проволочками, Ларсен посадил карликовые груши, чья родина — Франция; здесь у них было вдоволь солнца и прекрасный уход, и вскоре они уже приносили крупные, сочные плоды, совсем как в родной стране.

Вместо сваленных бурей старых голых деревьев Ларсен установил две высокие мачты: на одной из них все время развевался на ветру датский флаг, а другую летом и осенью обвивал зеленый хмель, чьи ароматные цветы так похожи на маленькие шишки, зимой же на ее вершину привязывали сноп необмолоченного овса, чтобы птицы небесные тоже полакомились на Рождество.

— Да, постарел наш Ларсен! — качали головой господа. — И стал под старость сентиментален... Но не гнать же его, когда он нам так предан.

Под Новый год в столичном журнале появилась гравюра. Художник изобразил на ней старый господский сад — каким

он стал теперь: можно было видеть мачту, а на ней сноп овса, рождественского угощения для птиц небесных. В тексте рядом с гравюрой говорилось о том, как хорошо, когда чтят старинные обычаи, вот как в этом господском поместье.

— Удивительно! Что ни сделает Ларсен — об этом тут же начинают трубить на всех углах! — усмехались господа. — Ну не счастливчик ли?! Если так пойдет, нам еще нужно будет гордиться, что он на нас работает!

Но гордости они при этом не испытывали. Они чувствовали себя господами, которые вполне могли рассчитать старика-садовника, но они этого не делали, они ведь были неплохие люди, — много таких, как они, среди господ — и в этом счастье всех Ларсенов.

Вот и вся история о садовнике и господах.

Поразмысли как-нибудь над ней!

---

## БЛОХА И ПРОФЕССОР

**Ж**ил на свете один воздухоплаватель, но ему не повезло, шар лопнул в полете и упал, воздухоплаватель разбился насмерть. Но сына за пару минут до падения он успел выбросить с парашютом. И тому повезло одно слово. Остался он цел и невредим, а уж о воздушных шарах знал столько, что мог бы сам стать воздухоплавателем, вот только своего шара у него не было, как не было и денег на его покупку.

А жить на что-то было надо, и овладел парень искусством показывать фокусы и говорить, не шевеля губами, то есть заниматься чревовещанием. Был он молод и собою пригож, так что, когда отпустил усы и стал являться на людях одетый с иголки, вполне мог сойти за графского отпрыска. Дамы находили его весьма даже интересным мужчиной, а одну девицу так увлекли его обходительность и фокусы, что она взяла да и сбежала с ним. Стали они вместе разъезжать по заграничным городам и всяем; он теперь называл себя не иначе как «профессор» — на меньшее он был не согласен.

Но не давала ему покоя мысль о воздушном шаре — вот бы посадить в корзину женушку, сесть самому да подняться в самую высь! Денег только на это не было...

— Деньги появятся! — твердил он.

— Если соизволят... — соглашалась на это жена.



— Эээ, у нас еще вся жизнь впереди! А я уже профессор! Птичка по зернышку клюет...

Жена старалась во всем помогать мужу: она сидела у дверей и продавала билеты на представления даже в зимнем холоде. Помогала она и во время представления: Профессор сажал жену в очень большой ящик; она перебиралась в потайное отделение, а когда ящик открывали, казалось, что в нем пусто, хотя это был просто обман зрения.

Но однажды вечером Профессор выдвинул ящик и обнаружил, что жена по-настоящему исчезла: ее не было ни в ящике, ни в потайном отделении, ни дома — ни слуху, ни духу. Такой она выкинула фокус. Исчезла — и все. Видно, наскучила ей такая жизнь, но и Профессор без жены поскуцнел, утратил свой веселый нрав, перестал смеяться и отпускать шутки. А едва он перестал отпускать шутки, публика перестала ходить на его представления. Сборы уменьшились, одежда пообветшала. В конце концов осталась у него только большая блоха, полученная в наследство от жены. Блоха эта была ему как память о ней, и поэтому он так ее любил. Выдрессировал он эту блоху, научил ее всяким трюкам: брать ружье на караул и стрелять из пушечки, игрушечной такой.

Профессор гордился своей блохой, а она — самой собою! Стала она теперь ученая, с людьми, можно сказать, наравне, во всех столицах побывала, даже принцы и принцессы на нее смотрели и хлопали в ладоши. Во всяком случае, так писали и в газетах, и на афишах. И она знала, что стала знаменитостью и может прокормить Профессора, — да что там, Профессора, — целую семью!

Но как ни гордилась она собой, как ни была знаменита, а все же, когда профессор и блоха ездили со своими представлениями, они всегда брали железнодорожные билеты в четвертый класс. А что тут такого — хоть в первом классе поезжай, хоть в четвертом — поезд-то один и тот же,

быстрей не приедешь. У профессора с блохой был молчаливый уговор: они никогда не расстанутся, и ни за что не женятся; блоха останется незамужней, а Профессор вдовым. Так на так и выходило.

— Нельзя сорвать успех дважды в одном и том же месте, — повторял Профессор. Профессор был знаток жизни и людей, а сия наука не каждому дается.

Так что в конце концов они с блохой объездили все страны, кроме Страны Дикарей, ну и надумали они ехать туда. Дикари известны тем, что добрых христиан они едят, это правда, но настоящий ли он христианин — а блоха, та даже и ненастоящий человек... Так что, все прикинув, решили они поехать к дикарям и заработать на этом целое состояние.

В Страну Дикарей надо было плыть на пароходе, а потом еще — на лодке под парусом; блоха всю дорогу развлекали матросов своими трюками, так что денег за проезд с них не взяли. Но вот добрались они до Дикарей.

А всеми делами в Стране Дикарей заправляла маленькая принцесса. Ей было восемь лет от роду, но это не мешало ей править: она отобрала власть у отца и матери, потому что умела вертеть ими, как ей хочется, и к тому же была невообразимо очаровательна и шаловлива.

Едва блоха взяла ружье на караул и выстрелила из своей пушечки, принцесса так пленилась ею, что заявила: «Блоха и только блоха!» Она просто ошалела от любви, хотя и без того была вполне шалая.

— Милое дитя! Умное-разумное ты мое, — вмешался отец, — для начала неплохо бы было сделать из этой блохи человека!

— Отвяжись, старик! — топнула ножкой принцесса...

Вы скажете, что маленькие принцессы не позволяют себе таких слов? Но ведь наша маленькая принцесса была слегка шалая....

Она посадила блоху себе на ладошку.

— Теперь ты — человек и будешь править вместе со мной; но только ты будешь выполнять все мои прихоти, а не то я забуду тебя до смерти, а Профессора — съем.

Профессора поселили в большой зале со стенами из сахарного тростника, которые сочлились сахаром — слизывай, сколько хочешь, только вот Профессор к сладкому был равнодушен. А еще Профессору выделили гамак вместо постели. Гамак напоминал Профессору корзину воздушного шара, — он так и мечтал о нем, так и думал все время.

А блоха неотступно находилась при принцессе: сидела у нее на ладошке, или на нежной шейке. Принцесса уделила Профессору волосок со своей головы, и Профессор одним концом привязал его к лапке блохи, а другим — к кораллу, что висел у принцессы в ухе.

В общем, принцесса радовалась, блоха — радовалась (так, во всяком случае, считала принцесса); что до Профессора, он чувствовал себя не в своей тарелке, он ведь привык путешествовать, все время переезжать из города в город, читать в газетах о своем хитроумии, своем долготерпении — как бы иначе выучил он блоху подражать человеку? Дни напролет профессор лежал в гамаке. Кормили его замечательно: свежайшие птичьи яйца, глаза слона, седло жирафа. А что вы хотите — дикари питаются не одной человечесиной, та считается деликатесом. «Плечико младенца под острым соусом — что может быть нежнее!» — причмокивала мамаша принцессы.

Профессору совсем наскучила такая жизнь. Он охотно покинул бы Страну Дикарей, но не мог же он уехать один, без блохи, — она была его творением, его надеждой и опорой. Вызволить бы блоху... Но как это сделать — задача нелегкая.

Денно и ночью он ломал над этим голову и вот однажды воскликнул: «Я знаю, знаю, как это сделать!»

— Отец принцессы! Дай мне соизволение заняться чем-нибудь, например, обучить жителей страны брать ружье на караул — в цивилизованном мире это называют образованием!

— Чему ты можешь научить меня?! — спросил в ответ отец принцессы.

— Величайшая из моих премудростей, — отвечал Профессор, — есть такая пальба из пушки, что земля начинает дрожать, а самые вкусные птицы небесные падают на землю уже жареными. Вот это выстрел так выстрел!

— Дать ему пушку! — приказал отец принцессы.

Но во всей стране не нашлось ни одной пушки кроме пушечки блохи, однако блошинная пушка не годилась, потому что была совсем уж крохотной.

— Я сам готов отлить большую пушку, были б средства, — сказал Профессор. — Дайте мне тонкий шелк, иголку с ниткой, веревки, канаты и желудочные капли для воздушных шаров: вообще-то они помогают раздуть шар и поднять его в воздух, но я залью их в брюхо пушки, чтобы был громче грохот.

Дали ему все, что он просил.

Поглазеть на большую пушку собрались все жители страны. Но Профессор хранил свои приготовления в тайне и никого не пускал смотреть, чем он таким занят, покуда воздушный шар не был готов, осталось только надуть его и взлететь.

И вот шар наполнился горячим воздухом, поднялся над землей и рвался в небо, так что его еле удерживали. Блоха сидела на ладошке принцессы и смотрела на происходящее

— Отливка завершена, теперь надо подняться повыше, чтобы пушка остыла, — сказал Профессор и забрался в корзину своего воздушного шара. — Однако в одиночку мне с этим не справиться, тут нужен опытный помощник. Дайте-ка мне блоху, кроме нее мне никто не поможет.

— Что ж, возьми, хоть мне это и не по нраву! — сказала принцесса и передала блоху Профессору, а он посадил ее на ладонь и скомандовал:

— Отпустить канаты! Монгольфьер — вверх!

Дикари же вместо слова «монгольфьер» услышали: «лафет», и подумали, что вот сейчас появится перед ними пушка.

Шар тем временем взмыл в воздух — и поднимался все выше, выше, покуда не поднялся за облака, улетая прочь из Страны Дикарей.

А маленькая принцесса, вместе с отцом и матерью, а с ними вместе — и весь народ все стояли и ждали, когда же раздается выстрел. Они до сих пор ждут: если приехать в Страну Дикарей, каждый ребенок расскажет вам о Профессоре и блохе, о том, что они вернутся, когда пушка остынет, и вот тогда... Но блоха и Профессор в Страну Дикарей не вернутся — они, наконец, дома, они на родине. Теперь они разъезжают по железной дороге только в первом классе, и не ниже: у них хороший заработок и большой воздушный шар. И никто не спрашивает, как они его раздобыли, откуда он у них, ведь блоха и Профессор — почтенные, всеми уважаемые господа.

---

## О ЧЕМ РАССКАЗЫВАЛА СТАРАЯ ЙОХАННА

**В**етер шумит в листве старой ивы!  
Шум этот подобен песне. Ветер поет ее, а дерево повторяет вслед. Если же ты не понимаешь песню, спроси старую Йоханну из богадельни, она все знает, она ведь родилась в этом приходе.

Много лет назад, когда здесь пролегла королевская дорога, ива была уже большим, раскидистым деревом. Стояла она на том же месте, возле беленого фахверкового домика портного, близ пруда, который в прошлом был так велик, что сюда пригоняли на водопой скот, а жарким летом в нем плескались голышом крестьянские ребяташки. Под самой ивой был установлен тесаный камень: он служил верстовым столбом. Теперь он просто валяется на земле, зарастая кустиками ежевики.

Новую королевскую дорогу проложили по ту сторону богатой крестьянской усадьбы, а прежняя стала полевой, пруд же превратился в покрытую ряской лужицу. Плюхнется в нее лягушка — разойдется зеленая ряска и покажется черная вода. А вокруг все поросло рогозом, трилистником и желтыми ирисами.

Домик портного покосился от старости, крыша поросла мхом и диким чесноком. Голубятня обрушилась, в ней свил себе гнездо скворец. Ласточкины гнезда лепились под крышей дома, словно он — обитель счастья.

Когда-то так и было, теперь же в нем поселились одиночество и тишина. Да и остался-то здесь лишь дурачок Расмус, как его прозвали. Он родился в этом доме, играл тут ребенком, лазил через изгородь, плескался в пруду, взбирался на старую иву.

Она и теперь простирает свои пышные, прекрасные большие ветви, но буря изогнула ствол дерева, время проделало в нем щель, и ветер занес туда землю, а потому из нее растут трава, зелень и даже маленькая рябинка.

Когда весной возвращаются ласточки, они летают вокруг дерева, кружат над крышей дома, чинят свои старые гнезда. Только у дурачка Расмуса ветшает его гнездо, не чинит он его, не следит за ним. «Какой в этом прок?» — вот какая у него была отговорка, унаследованная от отца.

Так он и жил в своем доме, а ласточки улетали и возвращались вновь — верные птички! Прилетал и скворец, насвистывая свою песенку. Когда-то и Расмус умел свистеть не хуже скворца, но теперь позабыл он про свист и про песни.

Ветер шумит в листве старой ивы, и шум этот подобен песне. Ветер поет ее, а дерево повторяет вслед. Если же ты не понимаешь песню, спроси старую Йоханну из богадельни, она все знает, ей ведома старина, да и сама она словно летопись, хранящая память о былом.

Дом был новым и прочным, когда в нем поселились сельский портной Ивар Эльсе с женой Марен, люди честные, работающие. Старая Йоханна, дочка башмачника, последнего бедняка в приходе, была в то время еще ребенком. Частенько перепедал девочке от Марен кусок хлеба с маслом, ведь у той-то еды было вдоволь. Жена портного ладила с помещицей, всегда была улыбчива и весела, никогда не унывала, болтала без умолку, но и трудилась не покладая рук. Иголкой она работала так же быстро, как и языком, а кроме того, ей приходилось следить за домом и детьми. Их у нее была почти дюжина — целых одиннадцать. Двенадцатый так и не появился.

— У бедняков вечно полно гнездо птенцов! — ворчал помещик. — Топить бы их, как котят, да оставлять одного-двух из тех, что покрепче, тогда знали бы меньше горя!

— Господи помилуй! — говорила жена портного. — Дети — благословение Божье, они радость в доме. За каждого ребенка еще раз прочтешь «Отче наш»! А если туго приходится, когда надо кормить столько ртов, то стоит поднапрячься и с честью найдешь выход! Господь не забудет нас, коли мы Его не забываем!

Помещица была согласна с Марен, ласково кивала ей в ответ и часто трепала ее по щеке. Иногда она даже целовала ее, но это бывало прежде, когда сама госпожа была маленькой девочкой, а Марен — ее нянькой. Обе они любили друг друга и сохраняли добрые отношения.

Каждый год, к Рождеству, из господской усадьбы перекочевывал в домик портного запас провизии на зиму: бочка муки, свиная туша, два гуся, четверть масла, сыр и яблоки. Все это было не лишнее в кладовой. Ивар Эльсе глядел тогда веселее, но вскоре опять приговаривал: «Какой в этом прок?»

В доме у портного было чисто и уютно, на окнах висели занавески, подоконники были украшены цветами: стояли тут и гвоздики, и бальзамины. На стене в раскрашенной рамке висел кусок ткани с вышитыми на ней именами, а рядом — стихотворение, сочиненное Марен Эльсе. Она сама умела подбирать рифмы и даже гордилась тем, что ее фамилия, Эльсе — единственное слово в датском языке, которое рифмуется с колбасой.

— Уж в этом-то с нами никто не сравнится! — смеялась она.

Она всегда была в духе, ни разу не повторила вслед за мужем: «Какой в этом прок?» У нее была своя поговорка: «Надейся на Бога и сам не плошай!» Так она и делала, и на ней держался весь дом. Дети подрастали, выросли и набирались разума, им становилось тесно в родном гнезде. Расмус был младшим и таким прелестным ребенком, что один из лучших



живописцев в городе написал с него портрет, изобразив мальчугана голеньким, в чем мать родила. Портрет этот висел теперь в королевском дворце, помещица видела его и тотчас признала маленького Расмуса, хотя тот и был без одежды.

Но вот настало тяжелое время. У портного разболелись руки, покрылись шишковатыми узлами. Ни один доктор не мог помочь ему, даже гадалка Стина, которая занималась и «врачеванием».

— Не нужно унывать! — сказала Марен. — Ни к чему вешать нос! Отцовские руки нам теперь не помощники, зато мои будут работать проворнее. Да и малыш Расмус умеет держать иголку!

А мальчик уже сидел на столе и насвистывал песенку — такой он был весельчак!

Но целыми днями ему не стоило сидеть за шитьем, говорила мать, грех это перед ребенком. Надо дать ему побегать и поиграть.

Дочка башмачника Йоханна стала его лучшим товарищем по играм. Она была из более бедной семьи, чем Расмус. Красотой она не отличалась, ходила босой и в лохмотьях, — некому было о ней позаботиться, а сама она не догадывалась починить свое платье. Она была еще ребенок и радовалась, как птичка, Божьему солнышку.

Расмус и Йоханна обычно играли у каменного столба, под раскидистой ивой.

Мальчик лелеял гордые мысли: однажды он станет отличным портным и поселится в городе, где живут такие мастера, что держат по десять подмастерьев, — он сам слышал это от отца. А в городе он собирался сделаться подмастерьем, а потом и мастером, и тогда Йоханна приедет к нему в гости. А если она научится стряпать, то останется у них и будет готовить им еду, ей даже отведут просторную комнатку.

Йоханна не смела верить его словам, но Расмус не сомневался, что все сбудется.

Так и сидели они вместе под старым деревом, и ветер шумел в его листве, словно пел песню, а ива пересказывала ее.

Осенью листья опали, с голых ветвей закапал дождь.

— Придет время, и они снова зазеленеют! — говорила матушка Эльсе.

— Какой в этом прок? — откликнулся муж. — Новый год — новые заботы о пропитании!

— В кладовой хватает еды! — напоминала ему жена. — Спасибо за это нашей доброй госпоже! Я здорова, сил мне не занимать — грех нам жаловаться!

Рождество семья помещика праздновала в усадьбе, но через неделю после Нового года отправлялась в город, где в веселье и развлечениях проводила зиму, бывая даже на балу у самого короля.

Как-то госпожа получила из Франции два дорогих платья, из такой материи, такого покроя и шитья, что Марен-портниха сроду не видывала подобного великолепия. Она испросила у госпожи разрешения привести в усадьбу своего мужа, чтобы и он мог взглянуть на платья.

— Ни один сельский портной не видел ничего лучше! — воскликнула она.

Муж ее посмотрел на платья, но не вымолвил ни словечка, пока не вернулся к себе домой, а там он сказал лишь то, что говорил всегда: «Какой в этом прок?» На этот раз его слова оказались сущей правдой.

Господа переехали в город, начались балы и развлечения, как вдруг старый помещик умер прямо в разгар веселья, и жена его даже не успела пощеголять в роскошных платьях. Она очень горевала, оделась с ног до головы в траур. На черном ее наряде не выделялось ни единой белой ленточки. Все слуги тоже носили траур, даже парадную карету обили тонкой черной тканью.

Была морозная ночь, блестел снежный покров, а в небе сияли звезды. Тяжелый катафалк с телом помещика приехал из города и остановился возле усадебной церкви. Здесь покойни-

ку было уготовано место в фамильном склепе. Управляющий и сельский староста, оба верхом, с факелами в руках, встретили гроб у калитки кладбища. Церковь была освещена, в дверях уже поджидал священник. Гроб внесли на хоры, его сопровождал весь приход. Произнес речь священник, затем пропели псалом. Госпожа тоже находилась в церкви. Она приехала в парадной траурной карете, обитой черной тканью и внутри, и снаружи, — такого в здешних краях сроду не видывали.

Всю зиму толковали об этом траурном великолепии. Да, поистине господские похороны!

— Сразу видно, какой важный был человек! — говорили прихожане. — Родился в почете и погребен с почетом!

— Какой в этом прок? — повторял портной. — Нет у него теперь ни жизни, ни имения. У нас-то хоть жизнь осталась!

— Не произноси таких слов! — внушала ему Марен. — Он обрел вечную жизнь в Царствии Небесном!

— Кто тебе это сказал? — возразил портной. — Покойник все равно что славное удобрение! А этот человек слишком знатен для того, чтобы принести земле пользу, — так и будет лежать в своем склепе!

— Не богохульствуй! — воскликнула Марен. — Говорю тебе: он обрел вечную жизнь!

— Кто сказал тебе это, Марен? — повторил портной.

Но жена набросила свой передник на голову маленького Расмуса — тому не следовало слушать подобные речи.

Увела она мальчика в торфяной сарай и там расплакалась.

— Те слова, что ты слышал, малыш Расмус, говорил не твой отец, а злой дух. Забрался он в комнату и овладел отцовским голосом! Прочти «Отче наш»! Прочтем молитву вместе!

И она сложила ручки ребенка.

— Прямо душе полегчало! — сказала она. — Надейся на Бога и сам не плошай!

Скорбный год приближался к концу, вдова ходила уже в полутрауре, и в сердце ее воцарилась радость.

Поговаривали о том, что к ней посватались, что скоро быть свадьбе. Марен знала кое-что об этом, а священник и того больше.

В Вербное воскресенье, после проповеди, должно было совершиться оглашение предстоящего бракосочетания вдовы и ее жениха. Он был то ли каменотесом, то ли ваятелем — никто в точности не знал, как называется его занятие. В те времена Торвальдсен и его искусство еще не были знакомы народу. Новый помещик был не знатного рода, но имел важный вид. И занимался он чем-то таким, чего никто не разумел, но говорили, что он ваяет скульптуры, что он мастер своего дела да к тому же молод и красив.

— Какой в этом прок? — приговаривал портной Эльсе.

И вот в Вербное воскресенье после проповеди состоялось оглашение, затем пропели псалмы и причастились. Портной с женой и маленьким Расмусом были в церкви. Родители подошли к причастию, а Расмус остался сидеть на скамье — он был еще не конфирмован. В последнее время в доме портного стало не хватать одежды: старая вся износилась, ее уже не раз латали и перешивали. Но сегодня все трое были в новых платьях из черной материи, словно оделись на похороны: им пригодилась траурная обивка кареты. Мужу вышел сюртук и штаны, Марен — платье с глухим воротничком, а Расмусу — полный костюм, да еще на вырост, как раз к конфирмации. На одежду пошла и наружная, и внутренняя обивка траурной кареты. Никому не было нужды знать, откуда взялась эта ткань, но люди быстро сообразили, что к чему, и умная Стина да еще парочка таких же умниц, которые, впрочем, не жили своим умом, заявили, что одежда эта принесет в дом несчастье: «Негоже одеваться в обивку траурной кареты — сам отпавишься в могилу!»

Дочка башмачника Йоханна заплакала, услышав такие речи. И когда случилось, что с того самого дня портной совсем расхворался, то оставалось только ждать, к кому придет беда. И она пришла.

В первое же воскресенье после Троицы портной Эльсе умер, и Марен осталась одна, тянуть дом и детей. Она и тянула, надеялась на Бога и сама не плошала.

Год спустя Расмус подготовился к конфирмации. Пришла пора отдать его в город на учение к настоящему портному, хотя у того и было не двенадцать подмастерьев, а всего один. Расмуса можно было считать за половину. Расмус нарадоваться не мог, а Йоханна плакала. Она любила его больше, чем сама догадывалась об этом. Вдова портного осталась в старом доме и продолжала заниматься своим ремеслом.

В те времена проложили новую королевскую дорогу. Старая, что шла мимо ивы и дома портного, стала полевой, пруд зарос, и ряска подернула жалкую лужицу. Верстовой столб свалился, ему незачем больше было стоять, но дерево по-прежнему высилось к небу, крепкое и прекрасное, и ветер шумел в его листве.

Ласточки улетели, улетел и скворец, но весной все они вернулись, и когда пришло время им прилететь в четвертый раз, вернулся домой и Расмус. Он выучился на подмастерье, стал привлекательным, хотя и тщедушным парнем. Хотел он было отправиться в странствие, поглядеть на чужие страны, да мать удержала — дома лучше! Все остальные дети разлетелись из гнезда кто куда, он же был младшим, дом должен достаться ему. Работы и здесь хватает, пусть станет бродячим портным, ходит себе по окрестностям, пару недель обшивает один двор, пару недель — другой. Чем не странствие? И Расмус последовал материнскому совету.

Он опять спал под крышей родного дома, опять сидел под старой ивой и слушал, как шумит ее листва.

Был он пригожим, насвистывал, как птица, распевал и новые, и старые песни. Его охотно встречали в больших зажиточных домах, особенно у Клауса Хансена, чуть ли не самого богатого в приходе.

Дочь Клауса, Эльса, походила на нежный цветок. Смех ее звенел непрерывно. Но находились злые люди, которые

утверждали, что она смеется только для того, чтобы показать свои красивые зубки. Такой уж она была смешливой, вечно готовой шутить, и все ей шло.

Она полюбила Расмуса, а он полюбил ее, но никто из них не проронил о том ни слова.

Расмус ходил теперь мрачный, характером он напоминал скорее отца, а не мать. Радовался он только в присутствии Эльсы. Тогда оба они смеялись, шутили и веселились, и хотя при этом представлялся удобный случай, Расмус так и не сказал ей о своей любви. «Какой в этом прок? — думал он. — Родители подыскивают ей богатого жениха, а у меня ничего нет. Лучше расстаться с ней!» Но он был не в силах порвать с этим домом, Эльса как будто держала его на привязи, он стал для нее ручной птичкой, пел и насвистывал по ее желанию.

Йоханна, дочь башмачника, батрачила на богача: ездила в поле на телеге для молока и доила с другими батрачками коров, возила навоз. Она не входила в хозяйский дом и нечасто видела Расмуса с Эльсой, но слышала, что они чуть ли не помолвлены.

— Расмус теперь разбогатеет! — говорила она. — Желаю ему счастья! — И ее глаза наполнялись слезами, хотя плакать-то было не о чем!

В городе устроили ярмарку. Клаус Хансен отправился туда, а с ним и Расмус: он сидел рядом с Эльсой всю дорогу, и туда, и обратно. Сердце его наполняла любовь, но он ни словом не обмолвился об этом.

«Должен же он объясниться со мной! — думала Эльса, и она была права. — Не заговорит, так я его напугаю!»

И вскоре дома прошел слух, что к Эльсе посватался самый богатый крестьянин в округе. Так-то оно так, но никто не знал, каков был дан ответ.

У Расмуса голова загудела от тяжких мыслей.

Однажды вечером Эльса надела на пальчик золотое кольцо и спросила у Расмуса, что оно означает.

— Обручение! — ответил он.

— А с кем, как ты думаешь? — снова спросила она.

— С тем богачом!

— Угадал! — сказала она и, кивнув ему, убежала.

Убежал и он, пришел домой к матери и в отчаянии стал за-вязывать свою котомку. Он желал поскорее пуститься в путь, прочь отсюда. Не помогли и слезы матери.

Он вырезал себе палку из ветви старой ивы, да так насвистывал при этом, словно у него весело на душе. Теперь-то он посмотрит на белый свет!

— Для меня это большое горе! — сказала мать. — Но тебе-то лучше всего уехать, придется мне с этим смириться. Надейся на Бога и сам не плошай, тогда я обниму тебя снова!

Он пошел по новой дороге и увидел Йоханну, которая везла на телеге навоз. Она не успела заметить его, а он не хотел этого и потому спрятался, присев за изгородью у канавы. Йоханна проехала мимо.

\*

Расмус отправился бродить по свету, но никто не знал, где он. Мать его думала, что он вернется домой до конца года. «Пусть он увидит столько нового, будет над чем поразмыслить, но все равно вернется к старому, — а его-то ничем не вытравить. Конечно, мальчик унаследовал отцовский характер, лучше бы он был в меня, бедное дитяtko! Но он все-таки вернется, — не может же он бросить и меня, и дом!»

Мать собиралась ждать год. Эльса прождала только месяц, а потом отправилась тайком к мудрой Стине Мадсдаттер — та и «врачевала», и гадала на картах и кофейной гуще, — в общем, знала еще кое-что, кроме «Отче наш». Она сразу же поняла, где находится Расмус, — прочла по кофейной гуще. Был он в чужом городе, но названия его она не смогла прочесть. В том городе обреталось много солдат и прелестных девушек. Взять в руки мушкет или жениться — таковы были его намерения.

Эльсе невыносимо было слушать подобные речи. Она охотно отдала бы все свои накопленные денежки, только чтобы вернуть Расмуса, но никто не должен об этом знать.

И старуха Стина пообещала, что он вернется. Она знала одно средство, опасное для него и действенное, так что прибегать к нему следовало только в крайнем случае. Надо было кипятить на огне котелок, и Расмусу, где бы он ни был, придется вернуться домой, где кипит котелок и ждет его возлюбленная. Правда, пройдут месяцы, прежде чем это случится, но вернуться он должен, если, конечно, жив.

Он устремится домой без оглядки, не зная отдыха, будет идти день и ночь, переправляться через моря и горы, даже в непогоду, не ведая усталости. Он пойдет домой, он вернется.

Была первая четверть луны — как раз то, что нужно для ворожбы, как сказала Стина. Разыгралась буря, старая ива так и скрипела. Стина срезала с нее веточку и завязала ее узлом, — это должно было помочь притянуть Расмуса домой, к матери. Затем она собрала с крыши мох и дикий чеснок, положила все в котелок и поставила его на огонь. Эльсе надо было вырвать листок из книги псалмов, и она случайно вырвала самый последний, с опечатками.

— Пусть будет так! — сказала Стина и бросила листок в кипяток.

Много еще всякой всячины следовало бросить в эту кашу, которая должна кипеть не переставая, пока Расмус не вернется домой. Черному петуху старой Стины пришлось расстаться со своим красным гребешком — тот был брошен в варево. За ним отправилось и толстое золотое кольцо Эльсы: обратно она его не получит, Стина заранее предупредила об этом. Ну и умна же была эта Стина! Не перечислить всех вещей, которые попали в котелок, кипевший то на огне, то на тлеющих углях, то на горячей золе. Знали о том лишь Стина да Эльса.

Луна нарождалась и вновь убывала, а Эльса все приходила к Стине с вопросом: «Что, не видать его?»



— Много я знаю, — говорила Стина. — Многое вижу, но сколько еще остается ему пройти — не могу сказать. Вот он уже перешел через первые горы! Сейчас он в бурных водах моря! Ему еще долго шагать через дремучие леса, ноги его покрылись волдырями, тело бьет лихорадка, но ему не остановиться.

— Ах, нет! Нет! — восклицала Эльса. — Мне так жаль его!

— Теперь-то уж его нельзя остановить! Если остановим — упадет мертвым прямо на дороге!

Прошел год. Светила полная луна, ветер шелестел листво́й старой ивы, а в небе вдруг показалась радуга.

— Это хороший знак! — молвила Стина. — Расмус возвращается домой.

Но он все не приходил.

— Ожидание всегда тянется долго! — говорила Стина.

— Мне надоело ждать! — заявила ей Эльса.

И она реже стала заходить к Стине, перестала приносить ей подарки.

На душе у Эльсы становилось все легче, и в одно прекрасное утро все узнали, что она согласилась выйти за богача крестьянина.

Она отправилась взглянуть на его двор и земли, скот, обстановку дома. Все оказалось в превосходном состоянии, так что незачем было откладывать свадьбу.

И устроили тогда большой пир, три дня праздновали. Плясали под звуки кларнета и скрипок. Никого в приходе не забыли позвать. Была на свадьбе и матушка Эльсе, а когда веселье закончилось, шаферы поблагодарили гостей за честь и трубы протрубили для них в последний раз, она пошла домой, набрав себе остатков от свадебного угощения.

Дверь дома она, уходя, закрыла на кольшпек, но теперь его вынули, дверь была распахнута настежь, и в комнате сидел Расмус. Он вернулся домой, вернулся в этот самый час. Но, Боже, как он выглядел! Кожа да кости, весь пожелтевший, исхудавший!

— Расмус! — воскликнула мать. — Тебя ли я вижу? Жалость берет, глядя на тебя! Как я рада, что ты снова со мной!

И она угостила его вкусными кушаньями, принесенными с пира: кусочками жаркого и свадебного торта.

А он сказал, что в последнее время часто вспоминал свою мать, и дом, и старую иву. Даже странно, как часто снились ему это дерево и босоногая Йоханна!

Об Эльсе он даже не упомянул. Он был болен и слег в постель, но мы-то не верим, что в этом была виновата каша, что она имела над ним какую-то власть. Так думали лишь старая Стина да Эльса, но они помалкивали.

Расмуса била лихорадка. Болезнь была заразна, и никто не заглядывал в домик портного, кроме Йоханны, дочери башмачника. Она горько плакала, глядя на бедного Расмуса.

Доктор прописал ему лекарства, но он не хотел принимать их.

— Какой в этом прок? — говорил он.

— Да нет же, ты поправишься! — возражала ему мать. — Надейся на Бога и сам не плошай! Я бы жизнь отдала за то, чтобы вновь увидеть тебя здоровым, услышать твой свист и пение!

И Расмус избавился от болезни, но передал ее матери, так что Господь призвал к себе ее, а не его.

Пусто стало в доме, хозяйство пришло в упадок.

— Плох он! — говорили о Расмусе соседи. — Дурачком стал!

Бурную жизнь он вел во время своих странствий — вот что сгубило его, лишило сил, а вовсе не черный котелок, кипевший на огне. Волосы его поредели и поседели, трудиться в полную силу он уже не мог. «Какой в этом прок?» — приговаривал он. И охотнее заглядывал в кабака, чем в церковь.

Однажды ненастным осенним вечером он медленно брел по раскисшей дороге из кабака к себе домой. Матери давно уже не было в живых, ласточки и скворец улетели. Оставалась верна ему лишь Йоханна, дочь башмачника. Она догнала его и пошла рядом с ним.

— Возьми себя в руки, Расмус! — сказала ему она.

— Какой в этом прок? — откликнулся он.

— Дурная у тебя поговорка! — продолжала она. — Вспомни лучше слова матери: «Надейся на Бога и сам не плошай!» Ты этого не делаешь, Расмус, а надо! Никогда не говори, что все без толку. Так ты загубишь любое дело!

Она проводила его до дверей дома и ушла. Но он не вошел в дом, а опустил на поваленный верстовой столб, под старой ивой.

Ветер шумел в ветвях дерева, — то звучала песня, а может быть, речь. Расмус отвечал на нее, он громко заговорил, но никто не услышал его, кроме дерева да шумящего ветра.

— Как же мне холодно! Верно, пора в постель! Надо уснуть! Уснуть!

И он побрел, но не в дом, а к пруду, там споткнулся и упал. Дождь так и лил, дул ледяной ветер, — он ничего не чувствовал. Когда же взошло солнце и над тростником закружили вороны, Расмус очнулся, но тело его почти окоченело. Упав он головой туда, где теперь лежали его ноги, не встать бы ему вовеки, и зеленая ряска стала бы ему саваном.

Днем в дом портного зашла Йоханна. Не будь ее, остался бы Расмус без всякой помощи. Она отвезла его в больницу.

— Мы знаем друг друга с детства! — сказала она. — Твоя мать поила и кормила меня, как же мне не отблагодарить ее за это! Ты поправишься и снова станешь человеком!

И Господу было угодно, чтобы Расмус остался в живых. Но со здоровьем его и с рассудком стало совсем неладно.

Ласточки и скворец по-прежнему прилетали и улетали, потом возвращались вновь. Расмус состарился преждевременно. Один как перст сидел он в своем доме, который ветшал все больше и больше. Совсем обнищал Расмус, стал беднее Йоханны.

— У тебя нет веры! — говорила она. — А если у нас нет веры в Бога, то что же у нас есть? Тебе следует подойти к причастию! Ты ведь не причащался с самой конфирмации.

— Какой в этом прок? — повторял он.

— Коли ты так рассуждаешь, то лучше и не ходи! Незваного гостя Господь не захочет видеть за своим столом. Но вспомни свою мать, свое детство! Ты был тогда добрым, набожным мальчиком. Хочешь, я прочту тебе псалом?

— Какой в этом прок? — возразил он.

— Псалмы всегда приносят мне утешение! — сказала она.

— Йоханна, да ты прямо святая! — произнес он и посмотрел на нее тусклым, усталым взглядом.

И Йоханна прочла псалом, но не по книге — у нее не было сборника псалмов, — а по памяти.

— Дивные слова! — отозвался Расмус. — Но я никак не могу вникнуть в них. Голова у меня такая тяжелая!

Расмус стал стариком, да и Эльса уже была немолода — если вспомнить о ней, — Расмус-то никогда о ней не упоминал. Она была уже бабушкой, и ее внучка, маленькая и неугомонная девчушка, играла с другими деревенскими детьми. Расмус подошел к ребятишкам, опираясь на палку, молча остановился возле них и с улыбкой стал смотреть на их игру, — в памяти его просияло бывшее. Но внучка Эльсы показала на него пальчиком и закричала: «Дурачок Расмус!» Другие девочки последовали ее примеру и подхватили: «Дурачок Расмус!» С криками пустились они преследовать старика.

То был тяжелый, пасмурный день, за ним потянулись такие же, но после тяжелых и пасмурных дней наконец наступают солнечные.

Пришло прекрасное утро Троицы, церковь была украшена зелеными березовыми веточками, пахло точно в лесу, и солнышко светило прямо на скамьи для прихожан. Горели большие алтарные свечи, люди стали подходить к причастию. Йоханна была среди тех, кто преклонил колени, но Расмуса там не было. Как раз в это утро Господь призвал его к себе.

Господь благ и милостив.

С тех пор прошло много лет. Дом портного все еще стоит, но в нем никто не живет, ведь он развалится в первую же ночную бурю. Пруд весь зарос тростником и трилистником. Ветер шумит в кроне старого дерева, шум этот подобен песне. Ветер поет ее, а ива пересказывает за ним. Если же ты не понимаешь песню, спроси старую Йоханну из богадельни.

Она живет там, поет свой псалом, который она пела Расмусу, вспоминает о нем, молит о нем Господа — верная душа! Она сможет рассказать о былых временах, о памятном прошлом, что шумит в листве старого дерева.

---

## КЛЮЧ ОТ ВОРОТ

**У** каждого ключа своя история, и самих-то ключей много: есть камергерские ключи, есть ключи от часов, есть ключи святого Петра... Мы могли бы рассказать обо всех, но расскажем сейчас только о ключе надворного советника, и ключ этот был от ворот. Смастерил его слесарь, но ключ-то охотнее верил, что побывал в руках кузнеца — так уж его ковали да обтачивали. Ключ был слишком велик для брючных карманов, приходилось носить его в кармане сюртука. Там он часто полеживал в потемках. Обычное же его место было на стене, рядом с портретом советника в детском возрасте: лицо дитяти напоминало лепешку в обрамлении кудряшек.

Говорят, что в характере и поведении каждого человека есть что-то от знака зодиака, под которым он родился, — от созвездия Тельца, Девы, Скорпиона, как они называются в календаре. Но советница не ссылалась ни на одно из них, а говорила обычно, что ее муж рожден «под созвездием Тачки», — вечно его надо было подталкивать.

Отец толкнул его на службу, мать подтолкнула жениться, а жена протолкнула его наверх, до чина надворного советника, о чем, впрочем, никогда не рассказывала — она ведь была рассудительной, честной женщиной, умела промолчать в нужном месте, а потом заговорить да и протолкнуть, куда надо.

Советник был теперь уж в годах, «хорошо сложенным», как он выражался, человеком начитанным, добродушным и к тому же знавшим толк в ключах, — мы вскоре поймем, что означают последние слова. Он всегда был в духе, любил людей и охотно заводил с ними беседу. Если уж, бывало, выйдет в город, так трудно было залучить его опять домой, разве что жена подтолкнет его назад. Любил он остановиться и поговорить с каждым встречным. Знакомых у него была пропасть, и он вечно запаздывал к обеду.

Советница караулила мужа у окна.

— Вот он идет! — говорила она служанке. — Ставь кастрюльку на огонь!.. Нет, он остановился и разговаривает с кем-то, сними суп, не то переварится!.. Ну вот, теперь идет! Подогревай снова!

Но советник все не шел.

Он был способен стоять прямо под окнами своего дома и уже кивать жене, но едва мимо проходил знакомый, как не мог не перекинуться с ним словечком-другим. А случись ему в это самое время завидеть второго знакомого, он брал за петлицу первого, протягивал руку второму и уже окликал проходящего мимо третьего!

Так он испытывал терпение советницы.

— Советник! Советник! — кричала она. — Нет, этот человек родился под созвездием Тачки: сам не может дойти, вечно надо его подталкивать до дому!

Советник очень любил заходить в книжные лавки, листать там книги и журналы. Он даже приплачивал своему знакомому книгопродавцу небольшую сумму за право читать дома новые книги, разрезая их вдоль, а не поперек, иначе их нельзя было бы потом продать. Сам он был поистине ходячей газетой: знал обо всех помолвках, свадьбах и похоронах, о книжных новинках, городских сплетнях, и даже таинственно намекал на что-то такое, чего никто не ведал. Ему же было известно обо всем этом от ключа.

Советник с советницей, поживившись в юности, жили в собственном доме, и с тех времен у них был один и тот же ключ, но тогда они и не подозревали о его чудесной силе, — о ней узнали гораздо позже. То было время правления короля Фредерика VI. Копенгаген не имел еще газового освещения, повсюду стояли фонари с ворванью, не было ни «Тиволи», ни «Казино», ни дилижансов, ни железных дорог. В сравнении с теперешним днем, развлечений было мало. По воскресеньям горожане совершали прогулку за город, на кладбище, читали надгробные надписи, рассаживались прямо на траве, доставали из корзинок съестные припасы, выпивали водочки. Или же отправлялись во Фредериксберг, где на дворцовой площади играл полковой оркестр и собирался народ — посмотреть, как королевская семья катается на лодке по узким каналам. Сам старый король сидел на веслах, и они с королевой приветствовали людей, невзирая на чины и сословия. Сюда стекались состоятельные горожане и распивали по вечерам чай. Кипяток можно было получить в крестьянском домике, что стоял в поле, за садом, но чайники приходилось приносить свои.

В один погожий воскресный день советник с женой отправились во Фредериксберг. Служанка шла впереди, неся чайник и корзинку со съестным и водкой «Спендрупс».

— Захвати с собой ключ от ворот! — сказала советница мужу. — Иначе в дом не попадем, когда будем возвращаться. Ты же знаешь, ворота запираются, как только стемнеет, а колокольчик оторвался сегодня утром!.. Вернемся-то мы поздно! Из Фредериксберга нам надо успеть в театр Касорти на Вестербро, на пантомиму «Арлекин, старшина молитильщиков». Там будут спускаться на сцену в облаке, и стоит это две марки с человека!

И они отправились во Фредериксберг, послушали музыку, посмотрели на королевские лодки с развевающимися флагами, на старого короля, на белых лебедей. Напившись чаю,



советник с советницей заторопились в театр, но все-таки опоздали к началу.

Хождение по канату закончилось, пляска на ходулях тоже, и началась пантомима. Вечно они опаздывают, и все по вине советника: он то и дело останавливался на дороге поболтать со знакомыми. В театре он тоже встретил добрых друзей, и когда представление закончилось, ему с женой пришлось принять приглашение одного семейства, жившего неподалеку, и зайти к ним на стаканчик пунша. Заглянули всего на десять минут, а просидели целый час. Говорили без умолку. Особенно занимательным был один шведский барон — а может, немецкий, — советник не запомнил, но он навсегда сохранил в памяти те фокусы, которые барон проделывал с ключом и которым он научил и его. Это было необычайно увлекательно! Барон умел заставить ключ отвечать на любые вопросы, даже самые деликатные.

Тут как раз и пригодился ключ советника, ибо у него была тяжелая борода. Ключ должен был быть повернут бородашкой вниз. Барон надевал колечко ключа на указательный палец правой руки, и тот свисал легко и свободно. Малейшее биение пульса могло привести ключ в движение, и он поворачивался. Если же этого не происходило, барон умел незаметно заставить его повернуться, куда нужно. Каждый поворот означал букву — от «А» и до конца алфавита. Называли первую букву — и ключ поворачивался в обратную сторону. Затем отгадывали следующую, и так складывались целые слова, потом целые предложения, — короче, ответы на вопросы. Конечно, все это был обман, но выходило забавно. Так сперва решил советник, но потом переменил мнение и всецело увлекся фокусами с ключом.

— Муж, а муж! — воскликнула вдруг советница. — Западные ворота запираются в двенадцать ночи! Мы не успеем в город, у нас осталась лишь четверть часа!

Пришлось поторопиться. По дороге их то и дело обгоняли другие пешеходы тоже спешившие попасть в город. Наконец они добрались до крайней сторожевой будки, и в эту минуту

пробило двенадцать, ворота захлопнулись. Целая толпа людей осталась снаружи, и среди них — советник с советницей и служанкой, которая держала в руках чайник и пустую корзину. Некоторые опешили, другие рассердились: каждый отнесся к случившемуся по-своему. Что же было делать?

К счастью, в последнее время распорядились оставлять незапертыми одни из городских ворот — Северные: через них-то пешеходы и могли попасть в город, минуя сторожевую будку.

Дорога была неблизкой, но погода стояла хорошая, в небе сияли звезды, были даже видны падающие звездочки, а в канавах и прудах квакали лягушки. Путники и сами начали петь, песню за песней, однако советник не пел, не любовался на звезды, даже себе под ноги не смотрел, вот и растянулся во весь рост на краю канавы, — можно было подумать, что он выпил лишнего, но дело было вовсе не в пунше, а в ключе, мысль о котором засела у него в голове да и вертелась там.

Наконец добрались они до сторожевой будки Северных ворот, перешли через мост и оказались в городе.

— Ну, теперь все в порядке! — с облегчением вздохнула советница. — Вот и наши ворота!

— А где же ключ от них? — спросил советник.

Ключа не нашлось ни в заднем кармане, ни в боковых.

— Боже милостивый! — воскликнула советница. — У тебя нет ключа? Ты потерял его из-за этих баронских фокусов! Как же мы попадем домой? Колокольчик оборван с сегодняшнего утра, ты ведь знаешь, а у сторожа нет ключей. Вот несчастье-то!

Служанка принялась хныкать, один советник сохранял спокойствие.

— Надо выбить окно в подвале колбасника! — решил он. — Пусть он нам откроет!

И он выбил одно стекло, потом другое, просунул туда ручку зонтика и позвал: «Петерсен!» Из подвала послышался крик дочери колбасника. Отец ее распахнул двери своей лав-

ки и завопил:»Сторож, сюда!» И прежде чем колбасник успел хорошенько рассмотреть семейство советника, узнать их и впустить во двор, сторож уже дал свисток, ему откликнулся другой сторож, с соседней улицы. В окнах замаячили любопытные. «Где пожар? Где скандал?» — спрашивали они и все продолжали спрашивать, когда советник уже был у себя дома, снял сюртук и... обнаружил в нем ключ от ворот, но не в кармане, а в подкладке: ключ провалился вниз через дырку, которой вовсе не полагалось там находиться.

С того вечера ключ от ворот стал предметом особого внимания, и не только когда советник с женой уходили вечером прогуляться, но и когда они сидели дома и советник показывал свою изобретательность, заставляя ключ отвечать на всяческие вопросы.

Он обдумывал наиболее подходящий ответ и затем заставлял ключ давать его, а под конец и сам уверовал в собственные фокусы. Между тем один молодой человек, аптекарь и близкий родственник советницы, ничему этому не верил.

Большого ума был этот аптекарь, можно сказать, критического ума. Еще со школьной скамьи он занимался писанием рецензий на книги и театральные представления, причем не подписывался своим именем — так выглядело внушительнее. Он имел то, что называется вкус, дух прекрасного, но сам не верил ни в каких духов, тем более тех, что обитают в ключах.

— Впрочем, нет, я верю! — говорил он. — Верю, милейший господин советник, в ваш ключ от ворот и во всех духов ключей, — так же твердо, как я верю в новую науку, которая становится все популярнее, благодаря столоверчению и духам старой и новой мебели. Вы не слышали об этом? А я слышал! Сначала я сомневался, — вы ведь знаете, что я скептик по натуре, — но теперь и я уверовал, прочитав в одной уважаемой иностранной газете ужасную историю. Господин советник! Вы только представьте себе, что это за история! Двое смысленных

детей видели, как их родители вызывали духов большого обеденного стола. Оставшись одни, детки захотели попробовать вызвать дух старого комода. Тот ожил, пробудился, но дух его не послушался ребятишек и восстал: комод заскрипел, дух выдвинул его ящики и уложил туда детей, а потом комод выбежал в открытую дверь, спустился по лестнице на улицу, прямо к каналу, да и утопился в нем вместе с детьми. Тела их предали христианскому погребению, комод же отправили в ратушу и осудили за убийство детей, — его живьем сожгли на площади. Вот что я вычитал! — закончил аптекарь свой рассказ. — Вычитал в иностранной газете, ничего не выдумав от себя. Все правда, ключ меня побори! Клянусь!

Советник нашел, что слова аптекаря — грубая шутка. Не следовало даже и заговаривать с ним о ключе. Аптекарь совершенно не разбирался в подобных вещах.

Сам же советник все больше проникался мудростью ключа. Тот стал его забавой и наставником.

Однажды вечером советник уже собирался лечь в постель и стоял полураздетый, как вдруг в дверь постучали. Это был колбасник из подвальной лавки. Поздний гость пожаловал тоже полураздетым, он объявил, что ему внезапно пришла в голову важная мысль и он побоялся, что за ночь ее забудет.

— Хочу поговорить с вами о моей дочке, Лотте-Лене. Она девушка красивая, была допущена к конфирмации, и мне хотелось бы устроить ее будущее.

— Да ведь я еще не вдовец! — усмехнулся советник. — И у меня нет сына, за которого я мог бы ее посватать!

— Вы поймете меня, господин советник! — сказал колбасник. — Она умеет играть на пианино, петь — поди, слышно по всему дому! Но вы еще не знаете всего, на что способна моя девочка. Она умеет подражать разговору и походке других людей. Она просто создана для комедии, а театр — правильный выбор для приятных девушек из хороших

семей, они даже могут выйти за графа, хотя об этом ни я, ни Лотта-Лена пока не думаем. Так вот, она поет, играет на пианино! На днях пошел я с дочкой в школу пения. Она спела, но оказалось, что у нее нет того, чего я называю пивным басом; нет у нее и канареечного визга, что нынче требуют от певиц, и потому девочке отсоветовали петь. Что же, подумал я, не пойдет в певицы, так может стать актрисой, для этого нужно только уметь говорить. И сегодня я побеседовал с режиссером, как он у них называется.

— А она начитана? — спросил он.

— Нет, — отвечаю я, — совсем нет!

— Для актрисы необходима начитанность! — заявил он мне.

Отправился я домой, решив, что начитанность-то она сможет приобрести. Пусть запишется в платную библиотеку и читает себе все подряд. А сегодня вечером укладываюсь спать, и вдруг меня осеняет: зачем же платить за книги, когда их можно позаимствовать? У господина советника куча книг, пусть он позволит Лотте-Лене почитать их. Ей это чтение обойдется даром!

— Лотта-Лена — славная девушка! — молвил советник. — Прелестная девушка! Пускай читает мои книги. Но есть ли у нее то, что называют темпераментом, талантом, гениальностью? И еще, очень важное: везет ли ей вообще?

— Она дважды выигрывала в вещевую лотерею! — произнес колбасник. — Один раз выиграла платяной шкаф, а второй — полдюжины простынь. Так что она везучая.

— Спрошу насчет этого ключ! — сказал советник.

И он надел ключ на указательный палец правой руки, себе и колбаснику. Ключ завертелся, указывая букву за буквой.

— Победа и успех! — изрек ключ, и будущее Лотты-Лены было решено.

Советник тотчас же дал ей две книги для чтения: «Дювек» и «Обхождение с людьми» Книгге.

С того вечера между Лоттой-Леной и семейством советника завязалось более близкое знакомство. Она стала бывать у них дома, и советник находил, что девушка смыслена, а кроме того, верила ему и ключу. Советница же видела что-то детское, наивное в той искренности, с которой Лотта-Лена проявляла свое глубокое невежество. Оба по-своему любили девушку, а она их.

— Как чудесно пахнет сегодня в доме! — сказала как-то Лотта-Лена.

В прихожей стоял яблочный аромат, ибо советница поставила там целую бочку зелено-желтых яблок. В комнатах же благоухало розами и лавандой.

— Восхитительно! — воскликнула Лотта-Лена. Глаза ее засияли при виде множества прекрасных цветов, — они всегда водились у советницы. Прямо средь зимы здесь цвели сирень и веточка вишни. Срезанные ветки без листьев ставились в воду и вскоре зацветали в домашнем тепле.

— Можно было подумать, что жизнь замерла в этих голых ветвях, но вот они взяли да и восстали из мертвых! — заметил советник.

— Мне никогда это в голову не приходило! — сказала Лотта-Лена. — Как чудесна природа!

И советник позволил ей посмотреть свою «Книгу высказываний ключа», где были записаны все примечательные изречения ключа. Тут был упомянут даже кусок яблочного пирога, исчезнувший из шкафа как раз в тот вечер, когда служанка принимала у себя жениха.

Советник спросил тогда у ключа:

— Кто съел яблочный пирог — кошка или жених?

— Жених! — ответил ключ.

Советник, конечно же, догадался о том прежде, чем задал свой вопрос, но служанке пришлось признать: проклятый ключ знал абсолютно все!

— Разве это не удивительно! — воскликнул советник. — Ключ, о ключ! Он сказал Лотте-Лене: «Победа и успех!» — вот мы и посмотрим! Я отвечаю за это!

— Восхитительно! — умилилась Лотта-Лена.

Супруга советника была не столь доверчива, но она не стала высказывать свои сомнения в присутствии мужа, а поведала потом Лотте-Лене, что советник в юные лета страстно увлекался театром. И если бы тогда кто-нибудь подтолкнул его к этому, он точно сделался бы актером. Впрочем, семья толкала его в другую сторону. А он грезил о сцене и для того написал комедию.

— Я доверяю вам большую тайну, милая Лотта-Лена. Комедия была вовсе не плоха, ее приняли к постановке в Королевском театре, но публика освистала ее, и с тех пор о сем произведении не слышали, чему я весьма рада. Я ведь его жена и хорошо знаю своего мужа. Теперь вот и вы собираетесь идти тем же путем. Желаю счастья, но я не верю, что вам повезет. Я не верю в ключ!

Однако Лотта-Лена верила его словам, и эта вера объединяла ее с советником. Их сердца внимали друг другу.

Девушка, кроме всего прочего, обладала многими достоинствами, которые ценила советница. Лотта-Лена знала толк в приготовлении крахмала из картофеля, умела шить перчатки из старых шелковых чулок, чинить свои шелковые бальные туфельки, хотя у нее были деньги купить себе новую ткань. По словам колбасника, у нее водились скиллинги в ящичке стола да облигации в шкафчике. Стоящая жена для аптекаря, думала советница, но помалкивала, не позволяя ключу заговорить об этом. Аптекарь вскоре должен был открыть собственное дело, причем в каком-нибудь крупном провинциальном городе.

Лотта-Лена без конца перечитывала «Дюевеке» и «Обхождение с людьми» Книгте. Книги эти она продержала два года, зато одну из них — «Дюевеке» — выучила назубок,

знала все роли, но жаждала выступить в главной — в роли Дюеке, — только не на столичной сцене, где сплошь завистники и куда ее не принимают. Она мечтала начать свой творческий, как говорил советник, путь в каком-нибудь крупном провинциальном городе.

И произошло странное совпадение: в том же городе наш юный аптекарь открыл свое дело. Он оказался тут самым молодым, если не единственным владельцем аптеки.

Наконец настал великий, долгожданный вечер, когда Лотте-Лене предстояло выйти на сцену и завоевать победу и успех, как предрекал ей ключ. Советник не мог присутствовать при этом, он занемог и лежал в постели, а советница ухаживала за ним: ставила ему горячие припарки, поила чаем из ромашки — припарки на живот, чай — в желудок.

Супруги, таким образом, не были на представлении «Дюеке», зато там побывал аптекарь, написав о нем своей родственнице советнице.

«Лучшее, что там было, — это воротничок у Дюеке! — писал он. — Будь у меня в кармане ключ советника, я вытащил бы его и засвистел. Этого заслуживали и Лотта-Лена, и сам ключ, бессовестно напороочивший ей победу и успех!»

Советник прочел письмо и заявил, что все это одна злоба, одна ненависть к ключу, которая и вылилась на неповинную девушку.

Оправившись от болезни и встав с постели, он отправил аптекарю краткое, но ядовитое послание. Тот ответил, но так, будто принял письмо советника за веселую шутку.

Он благодарил советника за настоящее, а также за каждое будущее благосклонное разъяснение непревзойденного значения и важности ключа, уверял, что и сам в свободное от аптекарских занятий время пишет большой роман о ключах. Все действующие лица в нем — ключи, сплошь одни ключи, а главный герой, разумеется, ключ от ворот. Прообразом послужил собственный



советников ключ, наделенный даром прозорливости и пророчества. Вокруг этого героя вертелись все остальные ключи: и старый камергерский ключ, который знал придворный блеск и празднества; и часовой ключик, маленький, изящный и благородный, он стоит четыре скиллинга в скобяной лавке; и ключ от церковной кафедры, который всегда находился у пастора, но однажды, оставшись на ночь в замочной скважине, увидел духов; и ключи от чулана, дровяного сарая, винного погреба — все они, появившись, склонялись перед ключом от ворот и вертелись вокруг него. Солнечные лучи серебрили его, ветер, этот дух мира, забирался в него и свистел. Этот ключ был всем ключам ключ. Прежде — советников ключ от ворот, а теперь — ключ от врат неба, папский ключ, который «непогрешим»!

— Сколько злобы! — произнес советник. — Злобы до небес!

Больше он с аптекарем не виделся... до самых похорон советницы.

Она умерла первая.

В доме царили траур и скорбь. Даже срезанные веточки вишни, уже пустившие свежие побеги и зацветшие, увяли от горя. О них позабыли, хозяйка больше не ухаживала за ними.

Советник с аптекарем шли за ее гробом, бок о бок, как близкие родственники, — здесь было не место для раздоров.

Лотта-Лена обвязала шляпу советника траурным крепом. Не завоевав ни победы, ни успеха на своем творческом пути, она давно вернулась назад. Но все еще могло измениться. У Лотты-Лены было будущее. Так предсказал ей ключ, так предсказал ей советник.

Она навещала вдовца. Оба беседовали об умершей, оплакивали ее, и Лотта-Лена выказывала мягкость. Говорили они и об искусстве, и тут Лотта-Лена проявляла твердость.

— Театральная жизнь греховна! — утверждала она. — Сколько в ней суеты и зависти! Лучше уж я пойду своей дорогой. Сперва надо о себе подумать, а потом об искусстве!

Она убедилась, что Книжке писал правду в своей главе об актерах, а ключ лгал ей, но не сказала об этом советнику — она любила его.

Ведь ключ служил ему в этот траурный год утешением и радостью. Он задавал ему вопросы, и тот отвечал. Когда же истек год и советник в один достопамятный вечер сидел вместе с Лотой-Леной, он спросил у ключа:

— Женюсь ли я, и если да, то на ком?

На этот раз некому было подталкивать советника, он сам подталкивал ключ, и тот ответил: «На Лотте-Лене!»

Так и случилось, что Лотта-Лена сделалась советницей.

— Победа и успех! — эти слова были сказаны раньше, ей предсказал это ключ от ворот.

---

## УБОГОНЬКИЙ

**В** одном старом поместье жили чудесные молодые господа. Небо наделило их богатством и удачей, жили они в свое удовольствие и творили добро, ведь им хотелось, чтобы все вокруг были так же счастливы, как они.

На Рождество в старинной рыцарской зале наряжали великолепную елку. Висевшие по стенам портреты украшали еловыми ветками, в камине потрескивал огонь. В зале собирались хозяева и гости, пели и танцевали.

А пораньше вечером Рождество отмечали в людской. Здесь тоже ставили большую елку, украшали ее свечками из белого и красного воска, гирляндами, датскими флагами, вырезанными из цветной бумаги лебедями, а еще сеточками, в которых лежали рождественские подарки. В людской собирались бедные детишки, что жили в этом приходе, каждый приходил со своей мамой. Матери, правда, не столько любовались на елку, сколько косились на праздничный стол, где были разложены для них подарки: шерстяные вещи, постельное белье, платья и брюки. Да-да, именно туда смотрели матери и те из детей, кто постарше, покуда малыши тянули ручки к свечкам, мишуре и гирляндам из флажков.

Праздник для бедняков всегда устраивали в середине дня; каждый гость получал рождественскую кашу и кусочек жареного гуся с красной капустой. А когда гости вдоволь налюбуются на елку и будут розданы все подарки, всем подносили по кружечке пунша и по пончику с яблочною начинкой.

Бедняки расходились по домам, по своим убогим лачугам, и только и говорили, что о «роскошной жизни», то есть вспоминали все, что были съедено на празднике. А уж сколько раз пересматривались подарки!

И вот жили в том приходе Огородница Кирстен и Оле-Огородник. Были они мужем и женой и добывали хлеб свой насущный тем, что пропалывали да окапывали господский сад: за то имели они кров и стол. Каждое Рождество Кирстен и Оле получали свою долю подарков; было у них пятеро детишек, так всех пятерых господа одевали.

— Господа наши много добра делают! — говаривали, бывало, Кирстен и Оле. — Да и то: у них ведь есть для этого денежки! А уж довольны-то собою небось как!

— Ну вот, видишь — четверем нашим чадушкам и перепало хорошей одежки... — сказал Оле-Огородник, рассматривая подарки. — Только почему для Убогонького ничего не нашлось? Трудно, что ли, о нем было вспомнить, разве он виноват, что не мог прийти на праздник?

Убогоньким в семье звали старшего, хотя при крещении дали ему имя Ханс.

Когда Ханс был совсем малыш, он был живой и подвижный ребенок, но вдруг случилось ему заболеть, и стал он, как называли это в семье, «слаб на ноги»: не мог ни ходить, ни стоять и уже пять лет лежал в постели.

— Да нет же, я и для него кое-что получила, — засуетилась Кирстен. — Не Бог вещь что, правда — книжку одну. Ну, да пусть читает.

— Н-да. Читением сыт не будешь, — покачал головой отец.

Но Ханс — Ханс был так рад! Мальчик он был смысленый, и чтение было ему в охотку, но и хоть какую пользу домашним он старался все же приносить.

Это можно даже лежать в постели. Ходить он не мог — но парень был рукастый, вязал шерстяные чулки и даже покрывала; хозяйка имения хвалила его работу и охотно покупала связанные им вещи.

А подарили Хансу книгу сказок: там было что почитать и над чем подумать.

— Да, пользы от этой книжки в хозяйстве — никакой! — решили родители. — Ну, да пусть себе читает, не все же ему носки вязать.

Настала весна; цветы и травы пошли в рост, а с ними вместе и сорняки, — это о них так поэтично сказано в псалме:

И короли, во славе их,  
Пред полевой травой  
Бессильны, ибо ей расти  
По воле Всеблагой.

В саду было невпроворот работы — не только для садовника и его учеников, но и для Огородницы Кирстен и Оле-Огородника.

— Работенка наша — на износ, — жаловались они. — Только-только выполем все сорняки на дорожках, приведем в порядок тропинки в саду, как опять все затопчут. В усадьбе-то гости не переводятся! Ох, недешево господам это обходится! Но они — люди богатые!

— Странно устроен этот мир! — покачал головой Оле. — Вот, пастор говорит: «Все мы — дети Господни». Почему же тогда одним все, а другим — ничего?

— Как почему? Да из-за грехопадения! — ответила Кирстен.

Все разговоры крутились вокруг этого и вечером, покуда Ханс — Убогонький — лежал и читал свои сказки.

Бедность, работа на износ — от такой доли у Кирстен и Оле загрубели не только руки, но и мысли; родители никак не могли разобраться, что к чему, роптали все больше — и все дерзновеннее.

— У одних — богатство и счастье, а у других — одна нищета! Почему мы должны расплачиваться за грех прародителей и их любопытство?! Всему виною их послушание да сведавшее их любопытство! Нет, мы бы никогда не поступили так, как они!

— Поступили бы! — отозвался лежащий в постели Убогонький. — Вот и в книге этой о том же говорится!

— Что говорится?

Тогда Убогонький прочел родителям старинную сказку о дровосеке и его жене, они тоже кляли Адама и Еву за то, что те ослушались Бога и съели яблоко, вот теперь и мучается род людской. Но случилось так, что проезжал мимо король той страны да и услышал этот разговор.

— Следуйте за мной, — приказал он, — отныне будете жить в роскоши, как я сам: и вам будут подавать обед из семи блюд, чтобы утолить голод, и еще восьмое блюдо — особое. Блюдо это — в накрытой чаше, и касаться его нельзя, такой я кладу запрет.

— Что же там такое, в этой чаше? — спросила жена.

— Эээ, не нашего это ума дело! — отвечал ей муж.

— Я же не из праздного любопытства, — пожалала плечами женщина, — просто я хочу знать, почему нельзя заглянуть под крышку? Видно, что-то такое особенное в этой чаше!

— Особенное, это уж точно! — откликнулся муж. — Какой-нибудь механизм спрятан, вроде пистолета — сдвинешь крышку, а он выстрелит и всех переполошит.

— Ладно... — согласилась жена и не стала ничего трогать.

Только приснилось ей ночью, будто крышка над чашей сама приподнялась, а из-под нее разлился запах вкуснейшего пунша, который и пьют-то только на свадьбах да поминках. И лежал в чаше большой серебряный скилинг с надписью: «Пригубите этого пунша и станете самыми богатыми в мире, а все остальные станут нищими!» Тут жена проснулась и рассказала свой сон мужу.

— Слишком много ты об этом думаешь! — пробурчал он.

— Но можно же осторожно приподнять крышку! — не сдавалась жена.

— Только — осторожно! — предостерег ее муж.

Женщина чуть-чуть приподняла крышку... А из-под нее тут же метнулись две юркие мышки. Метнулись — и пропали в мышиной норке.

— Что ж, прощайте, — сказал им король. — Отправляйтесь теперь домой и живите, как знаете. И не кляните впредь Адама и Еву — в вас самих та же тяга к ослушанию и неблагодарность!

— Откуда эта история? — спросил Оле-Огородник. — Как будто про нас. Есть тут над чем подумать!

На следующий день они опять работали в саду; солнце немилосердно палило, а потом они до нитки вымокли под дождем; в душе их поднимался ропот, в голове ворочались все те же невеселые мысли.

И вот, вечером того дня, сидели они дома, похлебав на ужин молочного киселя.

— Прочти-ка нам еще разок эту историю про дровосека! — сказал Оле своему старшему.

— Но в книжке множество других чудесных историй! — отозвался Ханс. — И все их я раньше не знал!

— Что мне до них! Мне только одна понравилась — та, которую я уже слышал.

И вот он и жена выслушали всю сказку вновь.

И потом еще не раз вечерами они возвращались к истории про дровосека.

— Все же не скажу, что мне все понятно до конца! — пробормотал как-то Оле-Огородник. — Жизнь сворачивается, как молоко: одним людям суждено стать простоквашей, а другим — творогом! Иным и везет во всем, они как сыр в масле катаются, а другие знают только скорбь и печаль!

Услышал Ханс-Убогонький эти его слова — а Ханс, хотя и был слаб ногами, зато головой силен. И прочел им он сказку из своей книжки, прочел про «Человека, что жил без скорбей да печалей». Да уж, стоило ему это сделать — сказка-то вот про что.

Жил-был некий король. Только напала на него хворь, единственное средство от которой — натянуть на себя рубашку, что носил да поистрепал человек, который мог бы взаправду сказать о себе, что в жизни не знал он ни скорби, ни печали.

Послал тогда король гонцов во все королевства, во все замки да поместья, ко всем, кто был богат и счастлив. Повыпросили гонцы всех богатых и знатных — и выходило, что каждому довелось спознаться со скорбью и печалью.

— А я вот ни о чем не скорблю да не печалюсь! — заявил сидевший у придорожной канавы свинопас. Рассмеялся да запел: — В мире нет меня счастливей!

— Дай же скорее нам свою рубашку, — получишь за нее полкоролевства!

Да только выяснилось, что у него даже рубашки нет. И этот человек называл себя счастливецем из счастливецев!

— Вот так парень! — воскликнул Оле-Огородник, и они с женой расхохотались, как не смеялись уже много лет.

Мимо как раз шел учитель.

— Что тут за веселье у вас? — поинтересовался он. — Счастье привалило? В лотерею выиграли?



— Да нет! — отмахнулся Оле-Огородник. — Это все Ханс, прочел он нам сказочку из своей книжки про человека, который жил без скорбей и печалей, так этому парню нечем было даже тело прикрыть. Смешно до слез, когда такое слышишь, а это ведь в книжке напечатано! Всяк тянет свой воз, у каждого забот полно — разве это не утешение?

— А что за книжка-то? — спросил учитель школы.

— Да книжка, что Ханс получил на прошлое Рождество в подарок. Господа подарили. Они знают, что он охоч до чтения, вот и порадовали убогого. Мы тогда еще сокрушались, мол, лучше бы он получил пару полотняных рубах. А книжка оказалась замечательная, о чем ни задумаешься — в ней ответ!

Учитель взял книгу и принялся ее листать.

— Давайте-ка еще разок послушаем ту историю! — сказал Оле-Огородник. — Я что-то не до конца в ней разобрался. Пускай Ханс прочтет нам и вторую сказку, про дровосека!

Этих двух историй Оле хватало с лихвой. Две сказки — они были как два солнечных лучика, что проникали в бедную каморку и отгоняли мысли, которые отравляли им жизнь и заставляли роптать.

Ханс прочел всю книжку — много раз, от корки до корки. Сказки были для мальчика окошком в мир, а иначе он был для него закрыт — ведь Ханс даже не мог выйти из дома: ноги-то не слушались.

Учитель присел рядом с постелью Ханса; они разговорились, и обоим эта беседа оказалась в радость.

С той поры учитель часто навещался к Хансу, когда родителей не было дома. Для мальчика каждый его приход был настоящим праздником. Он жадно слушал, как старик рассказывает о необъятности земли, о других странах,

о том, что солнце в миллион раз больше нашей планеты и страшно далеко от нее — так далеко, что пушечное ядро будет лететь от Солнца до земли целых двадцать пять лет, а свету нужно для этого всего восемь минут.

Сегодня это знает каждый прилежный школьник, но Хансу это все было внове и так удивительно — никакая сказка с этим не сравнится!

Несколько раз в год учитель обедал у хозяев усадьбы, и вот как-то довелось ему во время обеда рассказать им, как много значат сказки в жизни обитателей бедной лачуги — всего-то две истории из подаренной на Рождество книжки, но они стали благословением для всей семьи! У них в семье мальчик-калека, но мальчик очень способный, и вот он читал родителям вслух и заставил их задуматься, а там — и радоваться жизни.

Когда учитель уже собрался домой, хозяйка остановила его и дала два серебряных далера для маленького Ханса.

— Отдайте эти деньги отцу с матерью! — сказал Ханс учителю.

А Оле-Огородник и Огородница Кирстен сказали:

— Видно, в Убогоньком наше благословение!

Прошло несколько дней. Родители как раз работали в господском саду, когда у их хижины остановился экипаж из поместья — это приехала добросердечная молодая хозяйка. Она была несказанно рада, что ее рождественский подарок оказался таким утешением и радостью для мальчика и его родителей.

Госпожа привезла с собой ситный хлеб, фрукты, бутылку сока; но еще замечательнее было то, что она привезла в подарок Хансу птичку в позолоченной клетке: маленькую пташку, которая умела петь чудесные песни. Клетку с птичкой водрузили на обшарпанный комод, стоявший недалеко от постели Убогонького, так что мальчик мог смотреть на

птичку и слушать ее песни. Даже на деревенской улочке слышно было пение этой птахи.

Оле-Огородник и Огородница Кирстен пришли домой, когда дама уже уехала; они видели: сын был так рад этому визиту. Но про себя они подумали, что от привезенного подарка — одно беспокойство:

— О чем только думают эти богатеи! — ворчали родители. — Теперь еще и о птичке заботься! Убогонький-то за ней ухаживать не будет. Да кошка, того гляди, придушит ее — и все!

Прошло восемь дней, потом еще восемь; кошка за это время не раз заглядывала в комнату, но на птичку вроде бы не обращала никакого внимания и не пыталась ее сцапать. А потом все и случилось. Дело было после обеда, когда все, кроме Ханса, работали в господском саду. Ханс лежал в постели и читал сказку про жену рыбака — про то, как все, что она захочет, тут же исполнялось: захотела она стать королевой — пожалуйста, захотела быть императрицей — пожалуйста, но когда она захотела стать вровень с Богом — как тут же снова очутилась на самом дне, с чего и началась эта история.

В сказке и намеком не поминалась ни птица, ни кошка, но когда все случилось, именно эту сказку читал Ханс, поэтому сказка навсегда врезалась ему в память.

Клетка стояла на комодe, а кошка сидела на полу и плотоядно смотрела на птицу своими зелеными глазами. Всем своим видом кошка словно бы говорила: «Сейчас я тебя съем, милочка моя!»

Ханс испугался — кошка смотрела на птичку так, что все было ясно без слов.

— Брысь! — шикнул он на кошку. — А ну, кыш отсюда!

Но кошка только подобралась, как пружина.

Что было делать Хансу? У него не было ничего под рукой, чтобы запустить в кошку... Разве что любимая книж-

ка — сказки. Он размахнулся и кинул книжку, корешок ее порвался, переплет полетел в одну сторону, книжка — в другую... Кошка лишь отступила на шаг и так посмотрела на Ханса, словно хотела сказать:

«Эээ... не вмешивайся в это дело, Ханс. Я могу бегать, я могу прыгать, а ты что?!»

Ханс не сводил с кошки глаз, на душе у него стало совсем тревожно; забеспокоилась и пичуга. Позвать на помощь? Дома никого не было, и кошка, похоже, это знала. Она вновь подобралась для прыжка. Ханс стал размахивать своим одеялом, руки-то у него были сильные, кошка и ухом не повела; тогда одеяло полетело в кошку — та вспрыгнула на стул, со стула — на подоконник, и теперь до птички было совсем близко.

Ханс чувствовал, как горячо бьется кровь в жилах, но думал совсем не об этом, а о птичке и кошке; без посторонней помощи он не мог встать с постели, не мог подняться на ноги, не говоря о том, чтобы пройти хоть шаг. У него сердце зашлось, когда он увидел, что кошка с подоконника перепрыгнула на комод и опрокинула клетку. Птичка бесильно билась о прутья.

Ханс закричал, судорожно дернулся — и, не помня себя, выпрыгнул из постели, метнулся к комоду, смел кошку на пол и вцепился в клетку, где в ужасе металась птичка. Сжав клетку в руках, он выбежал за дверь — прямо на улицу.

Струящиеся по лицу слезы слепили его; он ликовал, он захлебывался криком:

— Я иду! Я иду!

Он опять мог ходить; порой случается, что расслабленный встает и ходит!

Учитель жил по соседству; к нему-то и вбежал Ханс — вбежал босой, в одной только рубашке и курточке, сжимая в руках клетку с птицей.

— Я хожу! — кричал он. — Господи, Боже мой! — и он разрыдался от счастья.

Вот радости-то было в доме Оле-Огородника и Огородницы Кирстен!

— Дня, счастливей, чем этот, нам уже не видать! — твердили они.

Ханса позвали к себе сами хозяева усадьбы. Дорога в поместье — он и не помнил, сколько лет он по ней не ходил. Казалось, деревья и заросли кустов лещины вдоль дороги кивают ему, говоря: «Добрый день, Ханс! Как мы рады тебя видеть!» Солнечные зайчики плясали у Ханса на лице, плясали у Ханса в сердце.

Господа, добросердечные молодые господа усадили его вместе с собой за стол. Они были так рады, так счастливы, — словно он был их собственным сыном.

Но больше всех радовалась госпожа, которая подарила ему книжку со сказками и принесла ему птичку. Птичка, правда, не выдержала пережитого, умерла, но помогла мальчику снова обрести здоровье. Что до книжки — та вернула ему и родителям веру в жизнь; но мальчик не расстался с нею, он книжкой дорожил и собирался хранить ее до старости. Еще он хотел бы выучиться ремеслу... Вот бы стать переплетчиком: «Тогда я буду читать все-все новые книжки...».

Под вечер госпожа позвала в усадьбу родителей Ханса. Госпожа и ее муж — они говорили с о Хансе: он благочестивый и смысленый парнишка, прилежный и к наукам тянется. А в добром деле Господь всегда поможет.

Родители Ханса вернулись из усадьбы счастливые и радостные — особенно Кирстен, хотя на следующий день, провожая Ханса, она и всплакнула. Он уезжал — в новом, хорошем костюме; и сам он был мальчик хороший. Но теперь ему предстояло уехать далеко-далеко, за море, и жить там в школе, и учить латынь. Так что пройдет много лет, прежде чем они увидят своего Ханса.

Книжку сказок он оставил дома — родителям захотелось сохранить ее на память. Отец частенько в нее заглядывал, и тех двух историй никогда не пропускал — да и то, он ведь знал их наизусть.

Родители получали от Ханса письма, одно лучше другого. Его приютили добрые люди, он сыт и ухожен. А какая радость ходить в школу — там столько можно научиться; он хотел бы дожить до ста лет и учителем хотел бы стать.

— Вот бы успеть увидеть! — вздохнули родители и сложили руки, словно шли за причастием.

— Нет, ну надо же, как все вышло с Хансом! — бормотал Оле. — Господь печется и о бедных детях! Ханс — тому доказательство. На Убогоньком Господь свою благость и явил. Можно подумать, эта история не с нами приключилась, а мы ее в Хансовой книжке сказок вычитали.

---

## ТЕТУШКА ЗУБНАЯ БОЛЬ

**О**ткуда мы взяли эту историю?  
Хочешь знать?  
Из бочки, набитой старыми бумагами.  
Много хороших и редких книг попадает к колбаснику и бакалейщику, но не для чтения, а как предмет первой необходимости. Им ведь надо завертывать в бумагу крахмал, кофейные бобы, селедку, масло и сыр. Годятся для этого и рукописи.

Да, частенько идет в бочку то, что для нее не предназначено.

Я знаком с приказчиком из бакалейной лавки, сам он к тому же сын колбасника и сумел подняться из подвала в лавку на первом этаже. Человек он начитанный, у него есть целая бочка всякого чтения, и печатного, и рукописного. Интересным собранием он обладает, в том числе важными документами из корзины для бумаг того или иного не в меру рассеянного чиновника, а также кое-какими откровенными письмами от приятельниц к приятельницам, содержащими такие скандальные сведения, что их нельзя передавать или кому-нибудь пересказывать. Он — настоящий спаситель для многих литературных произведений, и поле его деятельности поистине велико, ибо в его распоряжении находятся бочки отцовской и хозяйской лавок, где он спас множество книг и даже отдельных книжных страничек, заслуживающих перечитывания.

Как-то он показал мне свое собрание печатных и рукописных произведений, извлеченных из бочек: самый богатый улов был из колбасной лавки. Попались мне там несколько страниц из большой тетради. Необычайно красивый и четкий почерк сразу привлек мое внимание.

— Это писал студент! — сказал мой знакомый. — Студент, что жил прямо напротив и умер месяц тому назад. Он, как видно, сильно страдал от зубной боли. Занятное чтение! Тут осталось совсем немного, а была целая тетрадь. Родители мои дали за нее квартирной хозяйке студента полфунта зеленого мыла. Вот все, что мне удалось сохранить.

Я взял почитать эти странички и теперь привожу их здесь. Заглавие гласило:

*«Тетушка Зубная боль»*

I

— Когда я был маленький, тетушка только и делала, что пичкала меня сладостями. Зубы мои выдержали, даже не испортились. Теперь я вырос, стал студентом, но она по-прежнему угощает меня сладким — говорит, что я поэт.

Во мне есть кое-какие поэтические задатки, но не более того. Часто, когда я брожу по городским улицам, мне кажется, что я в огромной библиотеке: дома — это книжные шкафы, а каждый этаж — полка с книгами. Тут стоит обыкновенная история, а там — добрая старая комедия, есть еще научные сочинения по всем отраслям, бульварные книжонки, серьезные произведения. О каждом из них я могу пофантазировать, о каждом пуститься в философские рассуждения!

Да, есть во мне поэтические задатки, но я не поэт. Многие люди не менее талантливы, но не носить же им бляху или ошейник с надписью «поэт»!



И им, и мне дан Божий дар, благословение, однако дар этот велик для одного человека и вместе с тем маловат, чтобы делиться им с другими. Талант подобен солнечному лучу, он озаряет душу и ум, напоен благоуханием цветов, звучит мелодией, которая вроде бы знакома, только трудно вспомнить, откуда она.

Недавно вечером я сидел в своей каморке, мечтая что-нибудь почитать, но у меня не было книг, ни единой странички, и вдруг ветерок занес ко мне в окно лист — свежий, зеленый листочек липы.

Я принялся рассматривать бесчисленные разветвления прожилок. По ним ползала маленькая букашка, словно желая основательно изучить поверхность листа. А я задумался о человеческой мудрости: все мы тоже ползаем по отдельному листику, знаем только его, но сразу беремся толковать о дереве в целом, о его корнях, стволе и вершине. О великом древе — о Боге, мире и бессмертии, зная всего лишь ничтожный листок!

Так я размышлял, но тут ко мне в гости пришла тетушка Милле.

Я показал ей листик с букашкой, поведав о своих мыслях, и глаза у тетушки загорелись.

— Да ты поэт! — воскликнула она. — Пожалуй, величайший из ныне живущих! Дожить бы мне до твоей славы, и я без сожаления сойду в могилу! Ты всегда, с самых похорон пивовара Расмуссена, поражал меня своей могучей фантазией!

С этими словами тетушка расцеловала меня.

Кто же такая была тетушка Милле и кто — пивовар Расмуссен?

## II

Мы, дети, звали тетушкой тетку нашей матери — иного имени ее мы не знали.

Она угощала нас вареньем и сахарком, хотя это было очень вредно для зубов, но она питала большую слабость к милым деткам, как сама о том говорила. Жестоко отказывать им в сладких кусочках, ведь они их так любят.

Вот почему мы так любили и нашу тетушку.

Она была старой девой, и все в том же возрасте с тех пор как я ее помню! Годы были над ней не властны.

В прежние лета тетушка много страдала от зубной боли и без конца рассказывала об этом, так что ее друг, пивовар Расмуссен, остроумно прозвал ее «тетушка Зубная боль».

В последние годы он уже не варил пиво, живя на ренту и часто навещая тетушку, а был он старше нее. Зубов у него вообще не осталось, во рту торчало лишь несколько почерневших пеньков.

В детстве он ел слишком много сахара, как он нам, детям, рассказывал, и вот к чему это привело!

Тетушка, наверное, сахара в детстве не ела, — ведь у нее были ослепительно белые зубы.

— Бережет их, даже ночью с ними не спит! — говорил пивовар Расмуссен.

Мы, дети, чувствовали в его словах какой-то злой умысел, но тетушка уверяла нас, что все это чепуха.

Однажды за завтраком она рассказала, что ей приснился дурной сон: будто у нее выпал зуб!

— Это означает, — прибавила она, — что я потеряю истинного друга или подругу!

— А если это фальшивый зуб? — усмехнулся пивовар. — Тогда, значит, вы потеряете фальшивого друга!

— Вы невежа, мой господин! — сердито произнесла тетушка, и я никогда не видел ее такой, ни прежде, ни после.

Потом она объяснила нам, что ее старейший друг просто пошутил, что он благороднейший человек на свете и, когда умрет, станет Божьим ангелочком на небе.

Я долго думал об этом превращении и о том, смогу ли я узнать пивовара в новом образе.

Когда они с тетушкой были молоды, он сватался к ней. Но она слишком долго размышляла над его предложением, да так и осталась сидеть в девках, хотя сохранила с пивоваром верную дружбу.

И вот Расмуссен умер.

Его везли на кладбище на самом дорогом катафалке, и многие пришли проводить покойника: были даже господа в орденах и мундирах!

Тетушка, вся в трауре, стояла у окна вместе с нами, детьми, — отсутствовал лишь младший братец, которого неделю назад принес к нам домой аист.

Похоронная процессия скрылась из виду, улица опустела, и тетушка собралась уходить, но я все стоял у окна — ждал ангелочка, пивовара Расмуссена: ведь он превратился в ангелочка с крыльшками и должен нам показаться!

— Тетушка! — позвал я. — Как ты думаешь, он появится? Или мы увидим его тогда, когда аист снова принесет нам братца, а заодно и ангелочка Расмуссена?

Тетушка была ошеломлена моей фантазией и воскликнула:

— Из этого ребенка выйдет великий поэт!

Она повторяла эти слова все время, пока я ходил в школу, даже после моей конфирмации и теперь, когда я уже стал студентом.

Тетушка принимала и продолжает принимать во мне самое дружеское участие — как в поэтических, так и в зубных страданиях. А одолевают меня и те, и другие.

— Главное — записывай все свои мысли! — повторяла она. — И складывай бумаги в ящик стола! Именно так поступал Жан Поль, он стал великим поэтом, пусть я его и не люблю, мне он не интересен! А ты должен интересоваться других! И будешь!

Всю ночь после этого разговора я провел в тоске и метаниях, страстно желая сделаться тем самым великим поэтом,

которого видела и угадывала во мне тетушка. Меня одолел поэтический недуг! Но есть еще худший недуг — зубная боль! Она терзала и мучила меня! Я был похож на извивающегося червя, хоть и лежал весь обложенный припарками и шпанскими мушками.

— Мне это знакомо! — говорила тетушка.

На губах ее появлялась печальная улыбка, а зубы так и сверкали белизной.

\*

Но теперь я начинаю новую главу в описании моей и тетушкиной жизни.

### III

Я переехал на новую квартиру и прожил в ней уже месяц. Вот как я повествовал о том тетушке:

— Живу я в тихом семействе — обо мне и не вспоминают, даже если я звоню у дверей трижды. Можно сказать, у нас стоит настоящий гвалт: шумят люди, воет ветер. Я поселился прямо над воротами, и едва мимо проезжает телега, как на стенах качается мазня, называемая картинами. С грохотом хлопают ворота, производя в доме землетрясение. Лежу я в постели — так толчки эти отдаются во всем теле; однако это укрепляет нервы. Дует ли ветер — а он вечно здесь задувает, — раскачиваются и бьют о стену длинные оконные скобы. При каждом порыве ветра звенит колокольчик на соседнем дворе.

Жильцы в нашем доме возвращаются поодиночке, кто поздно вечером, а кто и ночью. Постоялец, что живет надо мной, целый день ходит по урокам, обучая игре на тромбоне, домой же возвращается позже всех и ни за что не ляжет, прежде чем не совершит маленькую полуночную прогулку по комнате, так что до меня доносится грохот его кованых сапог.

В доме нет двойных рам, зато имеется окно с выбитым стеклом, которое хозяйка просто заклеила бумагой. Ветер все равно задувает в щели и гудит, будто овод. Вот такая колыбельная песня. Но когда я наконец засыпаю под нее, меня вскоре будит петушиный крик — куры и петухи из крошечного курятника, что завел себе лавочник из подвала, возвещают о скором наступлении утра. Маленькие норвежские пони — стояла у них, конечно же, нет, — привязаны в чуланчике под лестницей. Они лягаются, стуча в дверь копытами, чтобы хоть немного подвигаться.

Светает. Привратник, ночующий со своей семьей в мансарде, тяжело ступая, спускается по лестнице: деревянные башмаки его грохочут, ворота хлопают, дом так и трясется. Едва все стихает, как постоялец надо мной начинает свои гимнастические упражнения: выжимает то одной, то другой рукой тяжелую гирию, но удержать ее он не в силах, и она падает на пол. В это же время детвора с криками носится по дому, собираясь в школу. Я подхожу к окну и распахиваю его, чтобы глотнуть свежего воздуха, — он так восстанавливает силы! Но разве можно вздохнуть полной грудью, когда девица из заднего флигеля стирает перчатки в жидкости для выведения пятен — этим занятием она зарабатывает себе на жизнь! А в остальном дом очень мил, и живу я поистине в тихом семействе.

Так вкратце я описывал тетушке свою квартиру. В действительности же мое описание было еще живее, ибо устная речь всегда более свежая, чем письменная!

— Ты поэт! — воскликнула тетушка. — Запиши все сказанное тобой, и получится не хуже, чем у Диккенса! Да что там, ты интереснее! Ты прямо живописуешь словами! Описываешь дом, и он предстает передо мной как наяву! Даже мурашки по коже бегают! Продолжай же творить! Вводи в свои описания и живых лиц, лучше всего несчастных людей!

И я записал свой рассказ о доме, со всем его шумом и гамом, но вывел из людей лишь себя самого, да и то без всякого действия. Оно появится позже!

## IV

Дело было зимой, поздно вечером, по окончании комедии в театре. Погода стояла ужасная, — такая метель, что невозможно было идти.

Тетушка возвращалась из театра, и я побывал там вместе с ней, чтобы затем проводить ее домой. Однако мне самому было трудно продвигаться, не говоря уж о том, чтобы сопровождать других. Все экипажи были заняты, а тетушка жила на окраине города, тогда как мое жилище находилось вблизи от театра, и если бы не это счастливое обстоятельство, нам с ней пришлось бы переждать непогоду в караульной будке!

Мы с трудом брели по глубокому снегу, в лицо нам летели снежные хлопья. Я поднимал тетушку, поддерживал ее, подталкивал вперед. Мы оба упали лишь два раза, но не ушиблись.

Наконец мы добрались до моих ворот и стряхнули с себя снег. На лестнице опять отряхнулись, но все равно засыпали снегом весь пол в передней.

Затем мы сняли с себя и верхнее, и нижнее платье — все, что только можно было снять. Хозяйка одолжила моей тетушке сухие чулки и чепчик — самое необходимое, по ее словам. При этом она справедливо заметила, что тетушке нечего и думать добираться домой в такую-то ночь, и предложила ей переночевать в гостиной, где ей постелят на диване, рядом с запертой дверью в мою комнатенку.

Так и сделали.

В печке развели огонь, на столе появился чайник, и в маленькой комнатке стало уютно, хотя и не так, как у тетушки. У нее зимой двери и окна были завешены плотными гардинами, полы устланы двойными коврами, под которыми подложен еще тройной слой толстой бумаги. Сидишь, словно в закупоренной бутылке, наполненной теплым воздухом. Но и у меня, как уже было сказано, стало очень уютно. За окном завывал ветер.

Тетушка говорила без умолку, снова и снова возвращаясь к своей юности, пивовару, старым воспоминаниям.

Она даже помнила, когда у меня прорезался первый зубик и как вся семья радовалась этому событию.

Первый зуб! Зуб невинности, блестящий, как молочная капелька, молочный зуб!

Прорезался один, за ним другие, целый ряд, сверху и снизу, — восхитительные детские зубки, но это еще авангард, не постоянная армия, которая будет служить нам всю жизнь.

Но вот появляется и она, а за ней зубы мудрости, фланговые в ряду остальных, рожденные в муках и тяготах.

Потом они выбывают из строя, все до единого! Выбывают, не отслужив своего срока. Вас покидает последний зуб, и это уже не праздник, а день печали.

Вот ты и старик, даже если молод душой.

Не очень-то весело думать и говорить о таких вещах, но мы все же заговорили о них, вернулись к годам детства, и все продолжали беседовать, пока не приблизилась полночь и тетушка не улеглась наконец спать в соседней комнате.

— Спокойной ночи, дитя мое! — крикнула она мне из-за двери. — Лежу я тут будто в собственном комодѣ!

И она уснула. Но покоя не было ни в доме, ни снаружи. Буря стучала в окна, гремела длинными железными скобами, звонила в дверной колокольчик соседей на заднем дворе. Вернулся домой верхний жилец. Походив туда-сюда перед сном, он швырнул на пол свои сапоги и улегся да захрапел так, что слышно было через потолок.

Сон все не шел, я никак не мог успокоиться; не успокаивалась и погода, она слишком уж оживилась. Ветер выл и шумел на свой лад, но тут оживились и мои зубы — начали ныть на свой лад. Все предвещало сильную зубную боль.

От окна тянуло холодом. Лунный свет падал на пол, становясь то ярче, то тусклее, потому что буря гнала по небу тучи. В этих тенях и свете чудилось какое-то волнение, и в конце кон-

цов одна тень на полу обрела определенные очертания. Я следил за ее движениями и ощутил вдруг порыв ледящего ветра.

На полу сидело некое создание, тощее и длинное, вроде тех, что рисует ребенок грифелем на доске. Напоминало оно человеческую фигуру: одна тонкая линия изображает тело, две другие — руки, по одной линии — на ноги, а голова — в виде многоугольника.

Вскоре это создание проступило из темноты еще отчетливее: обнаружилось что-то вроде одеяния, очень тонкого, прозрачного, но указывающего на особу женского пола.

Я услышал гул. Она ли это гудела или ветер, что бился, как овод в оконной щели?

Нет, гудела она, госпожа Зубная боль! Это ее кошмарное *satania infernalis\**, да сохранил и помилует нас Господь от ее визитов!

— Как тут славно! — гудела она. — Отличная квартир-ка! Почва под домом болотистая, сырая. Здесь водились комары, у них яд в жалах. Теперь и у меня есть жало. Надо бы отточить его о человеческие зубы! Вон как блестят белые зубки у того, в постели! Они устояли против сладкого и кислого, горячего и холодного, против орехов и сливовых косточек! Но я-то расшатаю их, раскачаю, наполню корни сквозняком, пусть в них потянет холодом!

Ужасные речи, ужасная гостья!

— Так значит, ты поэт! — заговорила она вновь. — Что же, я научу тебя всем стихотворным размерам боли! Тело твое ощутит прикосновение каленого железа, во все твои нервы будут продернуты веревки!

В челюсть мне будто вонзили раскаленное шило, и я скорчился от боли.

— Великолепные зубки! — сказала она. — Можно играть на них, как на органе! Прямо-таки концерт для губной

---

\* Адское сатанинство (лат.).



гармоники, да какой грандиозный, с литаврами и трубами, с флейтой пикколо, а тромбон пусть гудит себе в зубе мудрости! Великому поэту — великая музыка!

И она заиграла! Вид у нее был ужасный, даже если я видел одну лишь ее руку, призрачно-серую, ледяную, с длинными, тощими, как шило, пальцами. Каждый из них был орудием пытки: большой и указательный служили клещами и винтом, средний палец заканчивался острым шилом, безымянный был сверлом, а мизинец — шприцем с комариным ядом.

— Я научу тебя стихотворным размерам! — продолжала она. — Большому поэту — большая боль, а маленькому поэту — маленькая!

— О, пусть я буду маленьким! — взмолился я. — Пусть вообще не буду поэтом! Да я и не поэт, у меня просто случаются приступы сочинительства, наподобие приступов зубной боли! Уйди же! Уйди!

— Так ты признаешь, что я могущественнее поэзии, философии, математики и любой музыки? — спросила она. — Могущественнее всех человеческих чувств, выраженных в красках и мраморе? Я старше их всех. Я родилась у самых врат Райского сада, где снаружи дул ветер и росли от сырости поганки. Я заставила Еву одеться в холодную погоду, да и Адама тоже. Поверь, первая зубная боль имела силу!

— Вижу! — воскликнул я. — Только уйди! Уйди!

— Хорошо, я оставляю тебя, если только ты откажешься от желания быть поэтом, никогда больше не будешь записывать стихов на бумаге, грифельной доске или на чем-то другом! Начнешь сочинять — я вернусь к тебе снова!

— Клянусь! — подтвердил я. — Только бы мне никогда больше не видеть, не чувствовать тебя!

— Видеть-то ты меня будешь, но в более реальном, более дорогом для тебя образе, чем теперь! Ты увидишь меня в тетушке Милле, и я буду говорить тебе: «Сочиняй, милый мальчик! Ты великий поэт, может, величайший из ныне живущих!»

Но если ты поверишь мне и начнешь сочинять, я положу стихи на музыку и сыграю ее на твоей губной гармошке! Так-то, дитя мое! Помни же обо мне, когда видишь тетушку Милле!

И она исчезла.

На прощание я получил в челюсть еще один укол раскаленным шилом. Но вот боль утихла, я словно скользил по поверхности воды, видел, как качаясь, погружались подо мной белые кувшинки с широкими зелеными листьями. Они увядали, рассыпались в прах, и я погружался вместе с ними, растворяясь в тишине и покое...

— Умереть, растаять, как снег! — пело и звучало вокруг меня из воды. — Испариться, превратившись в облако, растаять, как облако!..

В толще воды подо мной сияли великие имена, надписи на развевающихся победных знаменах, патент на бессмертие, начертанный на крылышках мухи-однодневки.

Я погрузился в глубокий сон без сновидений. Не слышал ни воя ветра, ни хлопанья ворот, ни звона соседского колокольчика, ни гимнастики верхнего жильца. Блаженство!

Вдруг налетел такой порыв ветра, что запертая дверь в комнату, где спала тетушка, распахнулась. Тетушка вскочила, надела башмаки, накинула на себя платье и вошла ко мне.

Я спал, словно ангел Божий, как сказала она мне потом, так и не решившись разбудить меня.

Я проснулся сам, открыл глаза, начисто позабыв о том, что тетушка ночевала тут, в доме, но вскоре припомнил все, вспомнил и видение Зубной боли. Сон и явь смешались друг с другом.

— Не писал ли ты вчера вечером, когда мы попрощались? — спросила тетушка. — Если бы написал что-нибудь! Ты ведь у меня поэт и останешься поэтом!

Мне показалось, что она лукаво улыбнулась. Теперь я и не знал, кто передо мной — благородная ли тетушка Милле, любившая меня, или ужасное ночное видение, которому я обещал оставить сочинительство.

— Ты написал что-нибудь, дитя мое?

— Нет, нет! — воскликнул я. — А ты тетушка Милле?

— Кто же еще? — удивилась она. Это была настоящая тетушка Милле.

Она поцеловала меня, взяла извозчика и уехала домой.

А я записал все, что тут теперь написано. Это ведь не стихи и никогда не будет напечатано...

\*

На этом рукопись обрывалась.

Мой юный друг, будущий приказчик бакалейной лавки, так и не смог раздобыть недостающей части: она пошла гулять по свету в виде обертки для селедки, масла и зеленого мыла. Она выполнила свое назначение!

Пивовар умер, тетушка умерла, умер и сам студент, и искорки его мыслей угодили в бочку. Таков конец истории — истории о тетушке Зубной боли.

---

# ПОТОНУВШИЙ МОНАСТЫРЬ

ПО МОТИВАМ

НЕМЕЦКОЙ НАРОДНОЙ СКАЗКИ ГОТШАЛЬКА

**Н**еподалеку от городка Нойенкирх, посреди темного леса, есть уединенная прогалина, а на ней озерцо; люди забредают туда редко, и место это мало кому знакомо. Печалью и каким-то безотчетным ужасом веет от черных елей вокруг, которые словно набрасывают таинственный покров на эту околицу, где не щебечут птицы и солнечные лучи едва пробиваются сквозь гущу ветвей. Озеро же несказанно глубокое, и это лишний повод опасаться его.

Много сотен лет назад здесь стоял женский монастырь с высокими башнями и красной стеной, изукрашенной резными картинами.

Однажды темной, ненастной зимней ночью подошел к монастырю одинокий бедный старик. Больной, выбившийся из сил, он хотел попросить приюта и ночлега, вот и постучал в ворота, но привратница была женщина ленивая и бессердечная; слишком холодно да хлопотно показалось ей идти к воротам, отпирать замки и засовы, поэтому она коротко и сердито крикнула, чтобы он искал себе ночлег в другом месте. Однако старик так устал и замерз, что не мог сделать ни шагу. Снова и снова просил он впустить его, сетовал, плакал — все напрасно: ни настоятельницу, ни других монахинь его беда не тронула. Только одна-единственная послушница, еще не принесшая орденского обета, не осталась глуха к его мольбам

и просила за него, но монахини смеялись над нею, потешались над ее добрыми чувствами и не впустили старика.

Ненастье меж тем разбушевалось пуще прежнего. Старик коснулся стены своим посохом — и в тот же миг гордый монастырь канул в земную глубь. Дым и пламя вырвались из страшной бездны, а немного погодя она заполнилась водой. Когда поутру непогода утихла, на том месте, где днем раньше сверкал в солнечных лучах золотой крест на высокой звоннице, теперь было озеро.

Та добросердечная послушница, которая одна только и пожалела старика, — та послушница искренне, всей душою любила одного из самых благородных здешних рыцарей; оттого-то монастырь был ей тюрьмой. Но не раз в ночные часы рыцарь тайком пробирался по лесу к уединенной обители. И когда все вокруг спало, влюбленные беседовали через решетку кельи и частенько расставались уже на рассвете.

Рыцарь пришел на свидание и в эту ненастную ночь. И как же затрепетало его сердце от страха и боли, когда не увидел он монастыря, только услышал, как в густом дыму шумит и клокочет вода. Ломая руки, он рыдал и звал по имени свою возлюбленную, так что, несмотря на бурю, голос его разносился далеко окрест.

— Один только раз, один-единственный, — с тоскою твердил он, — вернись в мои объятия!

И вдруг из бездны, где озеро вздымало высокие пенные волны, послышался голос:

— Завтра ночью, в одиннадцать часов, приходи на это место! На поверхности воды ты увидишь алую, как кровь, шелковую нить, возьми ее и потяни к себе!

Голос умолк. В горькой тоске и печали рыцарь пошел домой, не ведая, какая судьба ожидает его. Однако в назначенный час вернулся к озеру и сделал все, как велел ему голос.

Дрожащей рукой схватил он алую, как кровь, нить, потянул — и тотчас перед ним явилась возлюбленная.

— Неисповедимый рок, унесший меня, невинную, в бездну вместе с виновными, позволил мне каждую ночь, с одиннадцати до двенадцати, говорить с тобою, и нарушать этот срок мне никак нельзя — случись такое, ты никогда больше меня не увидишь. И никто другой, кроме тебя, не должен меня видеть, иначе незримая рука обрежет нить моей жизни.

Долго, очень долго приходил рыцарь по ночам к озеру, и стоило ему потянуть за алуку, как кровь, нить, возлюбленная его всегда поднималась из синих волн. Оба они были счастливы своими тайными свиданиями и ничуть не боялись, что кто-нибудь застанет их в этом уединенном месте, которого все страшилось. Но зависть и злоба подглядели, куда ходит рыцарь, и чужой человек увидел, как он об руку с возлюбленной прогуливается по берегу озера. И на следующую ночь, когда рыцарь в ярком лунном свете приблизился к милому озеру, вода в нем была, как кровь. Весь дрожа, рыцарь схватился за нить — та побелела и была обрезана.

В слезах метался рыцарь по берегу, ломая руки и призывая свою любимую. Но никто ему не ответил. Тогда безутешный юноша бросился в озеро, и воды сомкнулись над ним.

---

## БЕДНАЯ ЖЕНЩИНА И МАЛЕНЬКАЯ КАНАРЕЙКА

**Ж**ила некогда одна несчастная бедная женщина, не было у горемычной ни еды, ни питья, а муж ее скончался, надобно похоронить покойника в сырой земле, да только при этакой бедности даже гроб купить не на что, а помочь ей никто не хотел, ни один человек, вот бедняжка и плакала, умоляя Господа о помощи, ведь Он так милостив ко всем нам. Как вдруг в открытое окно влетела маленькая птичка — канарейка; она упорхнула из своей клетки, долго летела над крышами, а теперь, очутившись в горнице бедной женщины, села у изголовья ее усопшего мужа и запела так чудесно, словно хотела сказать женщине: не горюй, разве ты не слышишь, как мне весело!

Тогда бедняжка насыпала себе на ладонь немножко хлебных крошек, поманила птичку, и та села ей на руку да принялась клевать — загляденье, право слово! Внезапно в дверь постучали, вошла другая женщина, увидела маленькую канарейку, которая влетела в окно, и сказала, что об этой самой птичке наверное и писали нынче в газете, она-де улетела от неких людей с этой улицы.

Бедная женщина взяла птичку и пошла к тем людям, а они очень обрадовались, снова увидев свою канарейку, и спросили, где женщина ее отыскала. Та рассказала им, что птичка залетела к ней в окно, села у изголовья ее усопшего мужа

и запела так чудесно, что она даже плакать перестала, хотя бедность вконец ее замучила, ведь и гроб для мужа купить не на что, и есть тоже нечего.

Услышав это, хозяева канарейки очень огорчились; они были хорошие, добрые люди и на радостях, что птичка опять с ними, купили гроб для усопшего, а бедной женщине наказали приходить к ним каждый день: они и накормят ее, и напоят. Она же необычайно обрадовалась и возблагодарила милостивого Господа за то, что прелестная маленькая канарейка этак вот залетела к ней, когда она была в большой горести.



---

# КОРОТКИЕ ИСТОРИИ

(ИЗ НЕМЕЦКОГО)

## 1. БАСНЯ-ТО НА ТЕБЯ НАМЕКАЕТ!

**М**удрецы древности придумали хитроумный способ говорить людям правду и при том не грубить прямо в лицо. Как бы давали им заглянуть в особенное зеркало, где являлись всевозможные животные и диковинные вещи, представляя столь же забавные, сколь и поучительные сцены. Назвали такие сцены баснями, а глупые или дельные поступки животных люди невольно примеряли к себе и думали: басня-то на тебя намекает! Вот никому и не было обидно. Давайте приведем пример.

Были на свете две высокие горы, и на каждой, на самой вершине, стоял замок. Внизу же, в долине, сновала собака, обнюхивала землю, будто мышей да белок искала, чтобы утолить голод. Как вдруг наверху, в одном из замков, заиграла труба, возвещая, что там садятся за трапезу. Собака сию минуту побежала в гору — ну как и ей перепадет чуток съестного! — однако уже на полпути тамошняя труба умолкла, зато запела другая, во втором замке. «Пока я доберусь доверху, здесь успеют отобедать, а на второй горе только собираются сесть за стол», — подумала собака, опрометью спустилась вниз и помчалась на другую гору. Но тут труба на первой горе запела опять, а на второй, напротив, умолкла. Собака сызнава побежала вниз и сызнава вверх — так и металась, пока трубы в конце концов вовсе не умолкли и трапеза в обоих замках не закончилась.

Ну-ка, догадайтесь, что мудрецы древности хотели сказать этой басней и кто же тот дуралей, что знай до изнеможения бестолково снует туда-сюда!

## 2. ТАЛИСМАН

Жили когда-то принц и принцесса, они недавно поженились, медовый месяц был в разгаре. Оба чувствовали себя на верху блаженства, и только одна мысль не давала им покоя: «Как бы нам всю жизнь оставаться такими же счастливыми, как теперь!» Потому-то и желали они завести талисман, который уберезет их от любых семейных неурядиц. А надо сказать, им не раз доводилось слышать о некоем человеке, что жил в лесу и своею мудростью снискал у всех немалое уважение, ведь в любой беде и затруднении он умел дать добрый совет. Принц и принцесса отправились к нему и рассказали, что их тревожит. Мудрец выслушал их и отвечал так:

— Отправляйтесь-ка в путь-дорогу, объездите все на свете страны и, когда отыщете чету вполне довольных супругов, попросите у каждого лоскуток от нательной сорочки, а коли получите, всегда носите лоскутки при себе. Средство это самое что ни на есть действенное.

Принц и принцесса тотчас снарядились в дорогу и скоро услышали о некоем рыцаре, который якобы жил со своею женой в совершенном счастье. Поехали они в замок и спросили у супругов, вправду ли те так счастливы и довольны своим браком, как говорит молва.

— Еще бы! Одно только плохо: нет у нас детей! — отвечали рыцарь и его жена.

Стало быть, здесь талисмана не найти, и принц с принцессой, хочешь не хочешь, отправились дальше, искать вполне довольных супругов.

Долго ли, коротко ли, приехали они в город, где, по слухам, некий добропорядочный человек жил-поживал в вели-

чайшем ладу и довольстве со своею женой. Принц и принцесса пошли прямо к нему и тоже спросили, вправду ли он так счастлив в браке, как говорит молва.

— Да, я счастлив! — отвечал горожанин. — Мы с женой живем душа в душу, только вот детей у нас много, а от них полным-полно забот и огорчений.

Выходит, и здесь талисман не раздобыть, так что принц с принцессой отправились дальше, выспрашивая повсюду о счастливых и довольных супругах, но таких не находилось.

И вот однажды ехали они лугами-полями и заметили не-далеке от дороги пастуха, который весело играл на свирели. А еще они увидели, что к нему идет женщина с двумя ребятами: один сидит у нее на руках, второй же, по-старше, бежит рядом. Пастух как увидел ее, поспешил навстречу, поздоровался, подхватил младшего, расцеловал, приласкал. Собака пастуха подбежала к старшему мальчику, лизнула ему ручку, залаяла и принялась скакать от радости. Женщина между тем развернула горшочек, который принесла с собою, и сказала:

— Отец, иди-ка поешь!

Мужчина сел и приступил к трапезе, однако ж первый кусочек отдал младшему сынишке, а второй разделил со старшим мальчиком и собакой.

Принц и принцесса, видя и слыша все это, подошли поближе, поздоровались и спросили:

— Вас-то наверно можно назвать счастливыми и довольными супругами?

— Что правда, то правда! — отвечал пастух. — Слава Богу, никакие принцы с принцессами не могут быть счастливее нас!

— Послушайте-ка, — молвил принц, — окажите нам услугу, и вы не пожалеете. Дайте нам по лоскутку от своих нательных сорочек!

Услышав такие слова, пастух как-то странно переглянулся с женой и наконец сказал:

— Видит Бог, мы бы с радостью отдали вам не по лоскутку, а по целой сорочке, если б имели, да вот нет у нас ничего такого!

Пришлось принцу и принцессе ехать дальше ни с чем. В конце концов они наскучили долгими бесплодными странствиями, повернули домой и, проезжая мимо хижины мудреца, выбрали его за то, что он дал им такой никудышный совет. Всю историю своих странствий ему поведали.

А мудрец усмехнулся и сказал:

— Вправду ли ваши странствия оказались так уж бесплодны? Ведь в дороге вы набрались опыта, много чего узнали, верно?

— Да, я узнал, что счастье и довольство — редкие гости на этом свете! — отвечал принц.

— А я, — сказала принцесса, — поняла, что для счастья и довольства нужно только одно — просто быть счастливым и довольным!

Засим принц и принцесса взялись за руки, глядя друг на друга с величайшей любовью, а мудрец благословил их и напутствовал такими словами:

— Истинный талисман вы нашли в своих сердцах! Берегите его как зеницу ока, и злой дух недовольства никогда не будет иметь власти над вами!

### 3. СТАРЫЙ-ТО БОГ ЖИВ ЕЩЕ!

Тем воскресным утром солнце ярко и жарко светило в комнату, ласковый свежий воздух струился в открытое окно, а под синим Божиим небом цвели-зеленели поля и луга, звенел ликующий птичий хор. Повсюду на свете царили веселье и радость, только в доме обитали печаль и горе. Даже хозяйка, которая никогда не унывала, сидела в тот день за завтраком, сокрушенно понурив голову. В конце концов она встала, так и не притронувшись к еде, утерла глаза и пошла к двери.

Казалось, на этом доме, и правда, лежит проклятие. В стране дороговизна, прокормиться трудно, налоги совсем задавили, никакого житья от них нету, хозяйство с каждым годом все больше приходило в упадок, и надеяться не на что — впереди ждут лишь нищета и горе. Все это с давних пор тяготило хозяйкина мужа, который вообще-то был человеком прилежным и работающим, но теперь при мысли о будущем горемыку охватывало безысходное отчаяние, и он даже поговаривал, что наложит на себя руки и покончит со своей убогой безотрадной жизнью. Ни увещевания неунывающей жены, ни житейские и нравственные доводы друзей, пытавшихся утешить его, — ничто не помогало, он только становился все молчаливее и печальнее. Оттого-то легко понять, что в конце концов и бедная его жена волей-неволей тоже пала духом. Правда, ее печаль, как мы вскоре узнаем, была совершенно иного свойства.

Увидев, что жена тоже опечалена и хочет выйти из комнаты, муж остановил ее и говорит:

— Не отпущу, пока не скажешь мне, что с тобой!

Она помолчала еще немного, глубоко вздохнула и ответила:

— Ах, милый муженек, приснилось мне нынешней ночью, будто старый Бог умер и все ангелы провожали его к могиле!

— Как ты только можешь принимать на веру этакие глупости! — вскричал муж. — Разве не знаешь, что Бог умереть не может, никогда!

Тут лицо доброй женщины озарилось радостью, она ласково сжала обе мужнины руки и воскликнула:

— Значит, старый-то Бог жив еще!

— Конечно! — отвечал муж. — Кто же станет в этом сомневаться.

Она обняла его и, не сводя с него своих прекрасных глаз, которые сияли доверием, покоем и радостью, сказала:

— Ой, милый муженек, коли старый Бог жив еще, отчего бы нам не положиться на Него! Им сочтены все волосы

у нас на голове, ни один не упадет против Его воли, Он одевает землю лилиями, дает пищу воробьям и добычу вóронам!

От этих слов у мужа точно пелена спала с глаз и на сердце разом полегчало. Впервые за долгое время он улыбнулся и поблагодарил свою набожную, милую жену за хитроумную уловку, которой она воскресила в нем умершую веру в Господа и вернула надежду. Тут солнце еще приветливее осветило комнату и умиротворенные лица людей, ветерок еще сладостнее обвеял улыбку на их устах, а птицы еще громче воспели сердечную хвалу Господу.

---

## [ТЕМПЕРАМЕНТЫ]

### I

— Сейчас земля содрогнется! — объявил крот. — Гляньте, как я умею! — И он плюхнулся прямо на кучку рыхлой земли, которую сам же и нагреб.

А был это Кротовый Король, да-да, самый настоящий король, причем наследственный.

— Вот как я устроился! — сказал он. — Можно встать, можно и спуститься. Но сидеть-то мне так хорошо, так удобно!

И он не сдвинулся с места, потому что был ленивый и вялый, иначе говоря флегматичный, сидел себе и жмурился, так как вышел из темноты, а почему вышел, сам не знал.

— Ух, как здесь ветрено! Хорошо, что я в шубке, но все равно могу простудиться и, чего доброго, умереть... так уж оно заведено! — рассуждал он, однако встать не встал.

Плюх-шлеп, послышалось неподалеку, и тотчас взору предстал старый господин в длинном просторном одеянии, которое насквозь было пропитано водой, но на ветру быстро высыхало. Шляпу старика обвивала траурная повязка, свисавшая чуть не до земли, а лицо видом своим вызывало удивление — очень уж походило на рыбе! И не просто походило, вправду было рыбьим, как и полагается старому Сельдевому Королю. Он вел за руку маленькую дочку, тоже с траурной повязкой на голове. Оба только что поднялись из морских глубин, а поскольку Крот

оказался первым живым существом, которое попало им на встречу, они спросили у него дорогу в город.

Крот видел очень плохо, вернее сказать, не видел вовсе, потому и хотел спросить, кто такие эти незнакомцы, однако не спросил, ведь, как уже упомянуто, он был флегматиком. Но Сельдевый Король, будучи в трауре и отличаясь чрезмерной мечтательностью, решил, что Крот тоже в трауре, и сам назвал свое имя и сан. Вместе со всем своим двором и всем своим народом он без конца странствовал — то у одних берегов, то у других, на земле это зовут кочевой жизнью, — однако ничто его не радовало, ведь он овдовел, остался с маленькой Сельдевой Принцессой на руках, которую как-никак надо воспитывать. Ради принцессы, взяв ее с собою, он и выбрался на сушу: вдруг удастся сыскать подлинно хорошую гувернантку, на морском-то дне подходящей не нашлось. И Сельдевый Король заплакал соленой морской водой, и маленькая Сельдевая Принцесса тоже заплакала, а Крот сидел себе да слушал, ведь так удобнее всего.

Тут, откуда ни возьмись, прилетел редкостной красоты мотылек; едва коснувшись земли, он оказался в точности похож на человека, не меньше, чем знакомые нам короли — Кротовый и Сельдевый. И крылья его были вовсе не крылья, а прелестнейший плащ-крылатка из шотландской шерсти, развевавшийся на ветру, — Король Мотыльков явился сюда собственной персоной.

— Да-с, я намерен хорошенько позабавиться! — пропел он. — Целоваться-обниматься! Оп-ля, тра-ля-ля!

Кто-кто, а он умел веселиться, умел сказать тюльпанам да розам не просто «здравствуйте» и «прощайте», он владел даром красноречия, даже Крот заслушался, а Сельдевый Король поневоле разрыдался, сам-то он красноречием не обладал.

Король Мотыльков тотчас смекнул, кто его собеседники, и, обращаясь к ним, называл каждого братцем, потому что, как он сказал, особы королевской крови, даже исповедующие разную веру, состоят меж собою в родстве.



— Я живу в воздухе, и натура у меня, как говорят ученые, сангвиническая, то бишь наполовину влажная, наполовину сухая, самая что ни на есть сообразная этому миру. У вас, ваше морское величество Сельдевый Король, темперамент иной, меланхолический, но я никак не ставлю вам это в укор, недаром же вы всегда находитесь в водной стихии. Братец Земляной Король, — так он назвал Крота, — страдает от загустения телесной мокроты, иначе от флегмы. Она перешла ему в кровь и характер, а причиной тому сидячий образ жизни и вечная тьма под землей. Пойдемте-ка со мною, уж я расшевелю вас обоих, вам это пойдет на пользу, и малышку с собой возьмите, пусть посмотрит, каков мир, ни одна гувернантка не научит ее лучше!

Однако старый Сельдевый Король разрыдался пуще прежнего, оттого что нервничал, а Кротовый Король только глазами хлопал — ни на что другое охоты не было.

— Ладно, коли так, надо кликнуть четвертого братца! Он у нас холерик, пылкий, огневой. Если и он не сумеет расшевелить-разогреть, то ничего хорошего не жди.

Король Мотыльков достал зажигательное зеркальце, чтобы поймать солнечный луч и послать его за братцем, но напрасно — солнце-то не светило. Тогда он вынул из кармана огниво, сталь ударила по кремню — раз-два! — брызнули искры, и одним пыхом возникло перед ними алое пламя — братец Король Огонь. По правде говоря, повелителем всего огня он не был, хотя имел над ним достаточно власти, как Сельдевый Король — над морем, Крот — над землей, а Король Мотыльков — над воздухом. Всего лишь блуждающий Дух Огня, Огневик, он зато умел вспыхивать сам собою, а это качество заслуживало премногого уважения. Прибытие его сопровождалось изрядным треском, и шел треск у него изнутри.

— Химия! — воскликнул он, потому что до тонкости знал, из чего слагаются и он сам, и окружающий мир, как

дóлжно соединяться частям и как не дóлжно. — В химии я разбираюсь и себя знаю, известно мне, откуда я прихожу и куда ухожу, — все дело в пылкости темперамента! Мы четверо — одна семья, близкие родичи, я — тот, кто соединяет, прихожу из земли, парю над водой, из них-то обеих и состоит болото. Воздух, ветер зажигает мой огонек, я горю и танцую и все же сам себе хозяин! Я — Король Огня в малом, пых-пых! Весь мир — пыл и порыв! пыл и порыв!

И он принялся скакать среди них, пробежал по груди Сельдевого Короля, перепрыгнул на голову Крота — увы, толку чуть. Тогда Огневик предложил им обменяться кольцами, ведь тем самым каждый получит малую толику природы другого, и все придет в равновесие. Крот получил пылающее кольцо Огневика и оживился, сам же Огневик немного успокоился. Король Мотыльков, сангвиник, обменялся кольцом с меланхолическим Сельдевым Королем, которому это в особенности помогло. Потом они решили сообща наведаться в город.

— Один-то разок не грех и повеселиться, — сказал Крот.

— Пойдемте вчетвером на поиски приключений! — беспечно воскликнул Король Мотыльков.

Огневик всегда вмиг загорался, а Сельдевый Король надеялся-таки подыскать хорошую гувернантку для маленькой принцессы.

— Выдам-ка я себя за водолаза! — решил он. — И в стихии своей останусь, и не проговорюсь!

— Ну а я представляюсь продавцом серных спичек, — сказал Огневик, — даром, что ли, разбираюсь в химии и тому подобных штуках!

— А я назовусь воздухоплавателем, летуном на воздушных шарах, — объявил Король Мотыльков.

— Но кем же сказаться мне? — спросил Крот.

— Будь в здешнем краю рудники, вы могли бы назваться рудокопом, но их тут нет, а в должности смотрителя погребов недостает глубины.

— Пусть он будет странствующим рудокопом, — предложил Сельдевый Король.

— А что, хорошая мысль! — согласился Крот, который не любил многословия. — Буду странствующим рудокопом.

— Как придем в город, — сказал Сельдевый Король, — перво-наперво навестим цирюльника, надо соскоблить чешую! — Он имел в виду бороду; остальные возражать не стали, и все вместе они зашагали в город, к цирюльнику.

## II. ЦИРЮЛЬНЯ

Древние греки, которых школьники по сей день прилежно изучают на уроках, обыкновенно прогуливались под аркадами на площади и беседовали о том о сем — о событиях на суше и на море, о происшествиях по соседству. Мы же, напротив, идем в кондитерскую или к цирюльнику — там-то и есть наша площадь. Ходят туда все сословия — священник и мясник, крестьянин и камер-юнкер, конечно, когда цирюльня изысканная, а эта была как раз из таких; впрочем, намыливали всех одинаково, только благородным господам давали чистые полотенца, тем же, кто попроще, — грязноватые, ведь, хотя цена для всех одна, умеючи можно провести различия. Тут и газеты разложены, иные люди часами читают, и надобно знать, что им любопытно. В цирюльне тепло, посетителей много.

Знаете ли, что все говорят? Я сам слышал: цирюльня — это живая газета.

Будет поучительно заметить, что...

---

## КАРТОШКА

**Х**орошее рано или поздно непременно достигает почета и уважения! — сказала бабушка. — Взять, к примеру, картошку, она бы много чего поведала, если б умела говорить!

В самом деле, было время, когда картошку ни в грош не ставили. Священникам и тем не удавалось убедить народ, сколько бы они ни твердили с церковных кафедр, что она всем на пользу и на радость; короли самолично раздавали клубни, чтобы люди сажали их в землю, но разве уследишь, вправду ли посадят. Достаточно упомянуть славного прусского короля, прозванного Старый Фриц. Этот король-солдат тоже старался ввести картошку в обиход, даровал одному из городов своего королевства целый воз и повелел бить в барабаны, чтобы собрать на площади все население. Сам бургомистр показал собравшимся новый плод, после чего огласили, как надо его сажать, растить и готовить в пищу. Однако ж народ пропустил все это мимо ушей, не уразумел сказанного и принялся грызть картошку сырым. «Фу, какая гадость!» — закричали все и побросали картошку в сточную канаву, приметив, что собаки и те не стали их есть.

Правда, нашлись и такие, кому захотелось попытать счастья, — одни посадили свои картофелины в землю и ожидали, что вырастет дерево, с которого можно будет стряхивать

плоды; другие свалили всю картошку в большую яму, где она слежалась и проросла.

На следующий год пришлось королю начинать сызнова, и лишь мало-помалу, очень нескоро люди наконец поняли, что к чему.

— Вот видите, сколько несправедливости выпало на долю самого замечательного из дарованных нам плодов! — сказала бабушка. — Теперь-то картошка крепко стоит на ногах. Теперь ее все признали. Хорошее-то рано или поздно достигает почета и уважения!

И когда бы я позднее ни сталкивался с разными вещами, которыми мир, думается, незаслуженно пренебрегал, мне всегда вспоминались картошка и бабушкины слова.

---

## УРБАН

**Ж**ил некогда в одном монастыре молодой монах по имени Урбан, юноша набожный и прилежный, ему были доверены ключи от монастырской библиотеки, и он заботливо берег эти сокровища, переписал много превосходных книг и о многом доведася из других книг и из Священного Писания. И однажды нашел он у апостола Павла библейское изречение: «Пред очами Господа тысяча лет, как один день, когда он прошел, и как стража в ночи». Молодому монаху это показалось совершенно невозможным, не в силах он был в это поверить и, размышляя, терзался сомнениями.

И вот как-то утром случилось Урбану спуститься из сумрачной библиотеки в монастырский сад, красивый, залитый солнцем, и увидал он там пеструю лесную пташку. Она поклевала зернышек, вспорхнула на ветку и запела, да так чудесно, что впору заслушаться. Пташка ничуть не робела, подпустила молодого монаха совсем близко, и он потянулся к ней, хотел изловить, но не тут-то было — пташка перелетала с дерева на дерево, Урбан шел следом, а она без умолку распевала прелестным чистым голоском, однако ж в руки не давалась, хотя молодой монах, преследуя ее, давно покинул монастырский сад и забрался в глубь леса. В конце концов он оставил погоню и воротился к монастырю, но все вокруг

словно бы переменялось. Все стало больше, просторнее, краше — и постройки, и сад, а на месте низенькой ветхой монастырской церквушки стоял теперь величавый собор о трех башнях. Монаху это показалось диковинным, едва ли не чародейским. Когда же он подошел к воротам и нерешительно потянул за веревку колокола, навстречу ему вышел совершенно незнакомый привратник, который при виде его изумленно отпрянул.

Урбан зашагал через монастырский погост и увидел там множество могильных камней, которых, как ему помнилось, прежде не было. Затем он приблизился к монастырской братии, и монахи испуганно расступились перед ним. Только настоятель, но не его настоятель, другой, моложе годами, остался на месте, простер к нему руку с распятием и воскликнул:

— Во имя Распятого! Кто ты, злосчастный дух, восставший из гроба? Что надобно тебе среди нас, живых?!

Дрожь прошла по телу Урбана, он пошатнулся, как пошатываются старики, и опустил глаза. Смотрит, а у него серебряная борода, длинная, ниже пояса, и на поясе по-прежнему висит связка ключей от запертых шкафов с книгами. Монахи, видевшие в нем диковинного незнакомца, с почтительной робостью сопровождали его в покои к настоятелю. Настоятель вручил одному из молодых монахов ключи от библиотеки, тот отомкнул дверь и принес рукописную книгу — летопись, в которой черным по белому стояло, что триста лет назад монах по имени Урбан внезапно исчез без следа, никто знать не знал, сбежал он или погиб по причине несчастного случая.

— О, лесная пташка, все дело в твоей песне! — со вздохом сказал незнакомец. — Три краткие минуты я шел за тобою, внимая твоей песне, а между тем минуло триста лет. Ты пела мне песню о вечности, которую я не мог постичь. Теперь я постиг ее и во прахе преклоняюсь пред Господом, ибо я и сам крупица праха! — Молвив эти слова, он склонил голову, и плоть его рассыпалась прахом.

---

## ЯБЛОКО

**Д**алеко за морем, в Англии, двое детей — мальчик и девочка — играли яблоком, встряхивали его и слушали, как внутри шуршат зернышки. Потом они разрезали яблоко, поделили пополам и все зернышки тоже поделили и съели, кроме одного.

— Посадим его в землю, — сказал мальчик, ведь он был очень смьшлен. — Сама увидишь, что получится. Тебе такое и не снилось! Из зернышка вырастет целая яблоня, только не сразу!

И они посадили зернышко в цветочный горшок, очень старательно и аккуратно: мальчик вырыл пальцем ямку, девочка положила туда зернышко, и они укрыли его землей.

— Только не вздумай завтра выкопать его, чтобы поглядеть, не появились ли корешки, — предупредил мальчик. — Так делать нельзя. Я вот в прошлом году проделал это со своими цветами, всего-то два разочка, хотел посмотреть, дуралей этакий, растут они или нет, и погубил цветы!

Горшок с зернышком остался в комнате у девочки. Всю зиму она каждое утро подбегала к окну проверить, но видела одну лишь черную землю. Когда же наконец пришла весна и пригрело солнышко, в горшке проклюнулись два крохотных зеленых листочка.

— Какая прелесть! — ликовала девочка. — Чудо — яблонька растет!



С каждым днем, с каждой неделей росток увеличивался, становился крепче и превратился в настоящее деревце, подраставшее год от года, но девочка не увидела, как оно расцвело, — Господь призвал ее к себе. Мальчик был жив-здоров, только ведь деревце стояло не у него, да он и запомнил начисто о яблоке и об игре, когда они посадили в цветочный горшок яблочное зернышко, чтобы выросло из него такое, что девочке и не снилось. Сам мальчик покинул родительский дом, пошел в школу — без ученья-то никем не станешь! — и с огромным удовольствием читал, учился, набирался знаний. Он забыл свои игры и, конечно, вовсе не думал о яблочном зернышке и о том, что могло из него получиться. А оно ведь уже превратилось в деревце, которое вполне можно было высадить в саду. Так и сделали — яблонька тоже отправилась в широкий мир, пусть и из нее кое-что получится. Теперь она стояла на свежем воздухе, умывалась росой, грелась на солнышке, набиралась сил, чтобы выдержать зиму, а весной, после суровых зимних невзгод, словно бы от радости расцвела, и по осени на ней вправду поспели несколько яблок. Шло время, могила девочки заросла травой, а из школы год за годом выходил мужчина — с верою в сердце, с дерзкими помыслами в голове. Когда-нибудь, думал он, его имя непременно назовут в числе великих мыслителей мира. О своей яблоне он и не вспоминал, забыл, как в детстве играл вместе с девочкой яблоком, как они поделили его и даже зернышки съели, все, кроме одного, которое посадили в землю, чтобы девочка увидела то, что ей и не снилось.

За долгие годы дом, где некогда играли дети, видел тяжкие дни, изведал немало испытаний. Родители девочки обеднели, дом и усадьбу продали, новые хозяева все перестраивали-перекапывали, угол старого сада пересекла проезжая дорога, и яблоня оказалась у ее обочины, но, как прежде, грелась на солнышке и, как прежде, умывалась росой, по весне пышно цвела, а по осени склоняла ветви под тяжестью изобильных

плодов, и частенько их обламывали, дерево-то росло у дороги, где кто только не ездил, росло-стояло там много лет — дерево у дороги, с него срывали цветы, не сказавши спасибо, крали плоды да еще и ветки обламывали почем зря. Поистине можно бы сказать: яблоне такое и во сне не снилось, если позволительно говорить о дереве как о человеке. Ее история началась так красиво, и что же вышло? Зброшенное и забытое садовое дерево стояло в придорожной канаве без всякой защиты. Растрепанное, корявое, в трещинах, оно не засохло, нет, но цветов на нем с годами становилось все меньше, яблок тоже — кому от него прок? И однажды осенью созрело лишь три яблока, висели они рядышком, на одной ветке, точь-в-точь как в тот далекий год, когда юная яблонька радовалась первым своим плодам, их тогда было тоже три или четыре, но теперешние оказались последними. И вот упало одно, потом второе, на ветке осталось самое последнее, а когда и оно упало, история дерева закончилась.

Может статься, тут сыграли свою роль помыслы, занимавшие пожилого человека, который, шагая по дороге, остановился в раздумье и устремил пристальный взгляд на последнее яблоко на дереве, — пожалуй, такое вполне возможно, ведь не кто иной, как этот самый человек когда-то, ребенком, посадил яблочное зернышко, но не видел, как оно росло, не видел, что из него вышло. Он и не догадывался, что Господь проник взором в его помыслы, а размышлял он в этот миг о взаимосвязи всего сущего, хотел постичь намерения Господни, то, что мы зовем силами природы, хотел раскрыть загадку бытия, — легкое дуновение тронуло листву дерева, ибо Дух Божий витал и витает над всем, яблоко упало с ветки, закон тяготения сделал свое дело. Тот человек был Исаак Ньютон.

---

## «ГОВОРЯТ...»!

«Говорят» — и в одном этом слове можно [ ]  
что же именно говорят? Говорят одно, а имеют [ ]  
в ви[ ]  
говорят так много, а в виду имеют так мало, что [ ]  
Говорят и говорят, даже при[ ]  
Злые слова, но и невинные вещи, серьезные [ ]  
можно выкроить из полотна общественной жизни, [ ]  
надпись на ширме [ ]  
думать, что́ говорят.

Говорят, время чудес миновало, а ведь говорят-то неправду, время чудес, время дивных дел живет и теперь, в собственной нашей душе. В ней являются откровения! В ней, когда мир мнится иссохшим и унылым, Господь отверзает источник милости, велит жизни цвести и зеленеть, в ней возникает вдохновение; через музыку, через поэзию, через науку распахивает Господь перед нами чудеса до последних дней бытия.

Говорят, наши чувства и мысли рождаются от колебаний и движения нервов; то восторг звучит, то радость, то боль — каждый из нас всего лишь музыка струн! Да-да, конечно! Но кто щиплет эти струны? Кто заставляет их колебаться и трепетать? Дух, невидимый Господь.

Говорят забавные вещи, а частенько и толику зловредности заодно подпускают. Говорят, одной женщине приснилось,

будто выпали у нее все зубы и сказала она: «Ну вот, друга потеряла!» Но друг-то был не иначе как фальшивый, ведь все зубы у ней были фальшивые!

Говорят, престарелая библейская Сара не имела потомства, пока не побывала в гареме царя филистимлян Авимелеха, и сказала она своему мужу: «Нашего сына мы назовем Исаак», ведь на их языке это означало: «Они будут смеяться!» Старая Сара знала людей, знала, как они судят-рядят, и с времен Сары ничего не изменилось.

Говорят, далеко на севере, у самого моря, был похоронен под огромным курганом могущественный князь. Каждую ночь покойник вставал из гроба [и неприкаянным призраком сидел на] кургане. Однажды проплывал мимо корабль, [со скальдом-поэтом на] борту, увидел скальд неприкаянного призрака и спросил: «[Что может дать] тебе мир и покой?» — «[ ], — отвечал тот. — Мир и покой я обрету [ ], только если дела мои] здесь, на земле, будут жить в памяти потомков». И [скальд] заиграл на арфе и воспел его деяния, и мертвец канул [...] Туман уходит при свете солнца, мир и покой [ ] над дерновым покровом, мир и покой повсюду, где скальдовы [ ] из уст в уста.

Говорят — и, пожалуй, это чистая правда, — некогда стоял на берегу моря один взыскательный ценитель искусства и смотрел на волны прибоя. «Изумительно, — сказал он, — изумительно и безупречно, поистине безупречно». И Господь наш, сняв шляпу, молвил: «Спасибо, господин профессор!»

Говорят, в старину под большинством церквей живьем закапывали коня, и призрак его, ковыляя на трех ногах, еженощно бродил по округе и останавливался у каждого дома, где кому-то из обитателей предстояло умереть. «Там побывал Адский Конь!» — говорят в народе; мы не верим в этого Адского Коня и все ж таки верим, что он есть. Под великим храмом поэзии таится точь-в-точь такой вот призрак — Адский Конь словесности; вечерней порой он ковыляет к театру комедии, приговаривая: «Ну вот, сейчас умрет такой-то

поэт, такой-то актер или актриса», — но они не умирают, потому что конь ржет. Дайте ему пощипать травку в газетах, погулять призраком по бумажным лугам, хотя призрак из него зачастую никудышный. Бедный Адский Конь, нередко он попросту молодой человек, не умеющий разобраться в себе самом и оттого обернувшийся Адским Конем — конечно, не чета звонарю, а, как говорят, еще куда хуже!

Говорят, да-да, наверняка говорят, что, пожалуй, уже хватит. Ладно, на том и закончим, на сегодня!

---

## НАШ СТАРЫЙ ШКОЛЬНЫЙ УЧИТЕЛЬ

**Н**аш старый школьный учитель был так умен, знал так много, особенно из географии и истории, да еще и умел сделать все это легким и понятным для нас, детей. Учителев сад был устроен как географическая карта всей Дании, и росли там травы и цветы, какие чаще всего встречаются в тех или иных частях страны.

— Принесите-ка мне гороху! — говорил учитель.

И мы шли к грядке, представлявшей Лолланн.

— Принесите гречиху!

И мы шли к грядке, что изображала Фюн.

Душистую смолку мы рвали на Лангеланне, а прелестную синюю горечавку находили, конечно же, под Скагеном. Были там обозначены и города — скульптурами на постаментах. Например, св. Кнут Датский с драконом обозначал Оденсе, Абсалон с епископским посохом — Сорё, лодочка с веслами сообщала: здесь Орхус; таким вот образом мы превосходно усваивали географию Дании. Историю, сколь она ни пространна, учитель тоже объяснял доходчиво, так что мы все запоминали.

Персонажи и события истории всегда возвращаются, говорил школьный учитель, могут пройти и сто лет, и несколько веков, а все-таки мы снова видим тех же персонажей, только в ином обличье, в иное время. Изнутри люди во все времена сходны друг с другом, подобно тому как животные,

каждое в своем роде, имеют одинаковую окраску и наружность от сотворения мира и до наших дней.

Еще школьный учитель рассказывал историю тысячелетней давности о крестьянине и его сыне, которые отправились в город продавать своего осла; сперва на осле ехал старик, а мальчик шел пешком, и народ говорил: ишь, сам едет, а бедный мальчонка пешком идет! Тогда отец слез с осла, посадил сына ему на спину, однако ж народ и этого не одобрил: вот дурень, сам на старости лет идет пешком, а мальчишка верхом едет, хотя ноги у него молодые! В конце концов старый и малый оба уселись на осла, но и тут народ нашел, что сказать: вот ужас! Бедная скотина, каково-то ей тащить обоих! Тогда отец и сын слезли с осла и повели его в поводу, а народ смеялся: вот болваны, идут пешком, хотя вполне могли бы ехать на осле! «Нет, людям угодить невозможно! — сказал старый крестьянин. — Как ни поступи, они всегда найдут, к чему придраться!» Эту басню поведал индийский брамин Бидпай больше тысячи лет назад, а она по-прежнему соответствует истине, и так будет во все времена!

Рассказывал учитель и о Вильгельме Телле: его принудили сбить стрелой яблоко с головы родного сына, но, прежде чем выпустить стрелу, он спрятал за пазухой еще одну, чтобы выстрелить в сердце злодею Гесслеру, который потребовал от него, отца, столь рискованного деяния. Случилось это в Швейцарии, однако намного раньше в точности такая история произошла в Дании, с Пальнатоке: ему тоже пришлось сбивать яблоко с головы своего сына и он тоже спрятал на груди вторую стрелу, чтобы отомстить. А более тысячи лет назад, в седой древности, была описана та же история, случившаяся в Египте. Три истории в одной, все повторяется. Примечательные события, совершающиеся на нашем веку, повторяются вновь через сто лет, через тысячу; старое обрывается новым, повторяется, только в другом месте, в другом народе, в других обстоятельствах, но сути своей не

меняет. Запомнишь одно, вспомнишь другое, так что мировую историю все равно знать будешь.

К примеру, говорил учитель, ты помнишь притчу о богатом человеке, который взял у бедного человека единственную овечку; эту притчу поведали царю Давиду, и указывала она тогда на него, а позднее — на других, в будущем же укажет на третьих. Для памяти это как бы ниточка-помощница, чтоб нанизывать на нее события, разные и все же одинаковые. Появляется возможность сочинять, опережая время. Так я поступил недавно — думал о библейском Самсоне, который жил в незапамятные времена, и о Самсоне поэтическом, который, быть может, придет когда-нибудь, унесет на своих плечах ворота, сразится со львом и добудет мед, побьет обывателей-филистимлян их же челюстью. Но явится новая Далила, барышня Мода, очарует его, пленит, обстрижет его силу, выколет глаза, и придется ему влачить жалкое существование под насмешки все тех же обывателей, пока не сокрушит он и их, и себя самого.

Говорят, музыка грядущего скучна, а повести грядущего, глядишь, еще скучнее, потому-то, дети, больше я рассказывать не стану — на сегодня хватит!

Такими вот словами он отпустил нас тогда, и я тоже отпускаю тебя, любезный читатель! И от тебя зависит, будет ли продолжение.



---

## ВЕЛЬМОЖНЫЕ КАРТЫ

**Д**о чего же красивые вещи можно вырезать и склеить из бумаги! К примеру, замок, большущий, во весь стол, искусно раскрашенный, будто и впрямь сложенный из красного кирпича! Была у него блестящая медная кровля, и башни, и подъемный мост, а вода в каналах — словно зеркало, потому что и сделана из настоящего зеркала. На самой высокой башне стоял дозорный стражник, деревянный, с трубой в руках, чтоб подать сигнал, но необходимости в этом не возникало.

Принадлежало все это мальчугану по имени Уильям, он сам поднимал и опускал подъемный мост, водил по нему отряды оловянных солдатиков, открывал двери и заглядывал в большой парадный зал, где на стенах, точь-в-точь как портреты в настоящих парадных залах, висели в рамах старшие, вельможные карты из игральной колоды, червонные, бубновые, трефовые и пиковые, — короли в коронах и со скипетрами, дамы в ниспадающих на плечи покрывалах, с цветком или веером в руке, валеты с алебардами и пышными плюмажами.

Однажды вечером мальчуган лежал, глядя в открытые двери замка на карты-портреты в парадном зале, и почудилось ему, будто короли отсалютовали скипетрами, дама пик легонько взмахнула золотым тьюльпаном, который держала в руке, а дама червей приподняла веер; все четыре королевы благо-





склонно подали знак, что заметили его. Он придвинулся, чтобы лучше видеть, и ненароком толкнул замок головой, так что вся постройка задрожала. И тут все четыре рыцаря-валета — трефовый, пиковый, бубновый и червонный — наставили на него свои алебарды, предупреждая, что этак напирать негоже.

Мальчуган все понял и кивнул самым дружеским образом, потом кивнул еще раз и попросил:

— Скажите что-нибудь, а?

Но карты молчали. Когда же он кивнул в третий раз, червонному валету, тот спрыгнул с карточного листа и стал по середине зала.

— Как тебя зовут? — спросил он у мальчугана. — У тебя ясные глаза и хорошие зубы, только вот руки ты моешь не слишком часто! — Не очень-то вежливое замечание, что правда, то правда.

— Зовут меня Уильям! — ответил мальчуган. — И замок этот мой, а ты — мой рыцарь, мой червонный валет!

— Я служу моему королю и моей королеве, а не тебе, — возразил червонный валет. — Я могу сойти с карточного листа и выпрыгнуть из рамы, но и знатные господа так умеют, еще лучше меня. Мы вполне могли бы отправиться в широкий мир, только очень уж он утомительный; куда спокойнее оставаться на месте и быть самими собой!

— А правда, что раньше вы все были людьми? — полюбопытствовал мальчуган.

— Да, были, — отвечал червонный валет, — однако не такими хорошими, как надо бы. Загни-ка передо мною свечку, лучше всего красную, ведь это цвет моих господ и мой собственный, и я поведаю тебе, владельцу замка — ты же сам говорил, что замок твой, — всю нашу историю. Только не перебивай меня! Коли уж рассказывать, так по порядку!.. Видишь, вот он, мой король, червонный, старший из четверых, потому что родился первым, прямо в золотой короне и с золотою державой. И сразу начал править. Королева его

явилась на свет с золотым веером, он и сейчас у нее в руке. Жилось им с малых лет превосходно, в школу ходить не надо, день-деньской можно забавляться — строить и сносить замки, ломать оловянных солдатиков и играть в куклы. Потребуют бутербродов — извольте! Каждый ломтик с обеих сторон намазан маслом, а сверху посыпан сахарной пудрой. То было доброе старое время, Золотой век, как говорится, однако ж им это наскучило, и мне тоже. Ну вот, а потом пришел бубновый король.

Валет умолк, ни словечка больше не вымолвил. Минуту-другую мальчуган ждал продолжения рассказа и в конце концов спросил:

— Что же потом было?

Червонный валет не ответил, стоял навытяжку, не шевельясь, устремив недвижный взгляд на свою горящую свечу. Мальчуган кивнул, раз и другой, но ответа так и не получил. Тогда он повернулся к бубновому валету, и, когда на третий раз кивнул ему, тот спрыгнул с карты, стал во фронт и произнес одно-единственное слово: «Свечу!» Уильям поспешно зажег красную свечку и поставил перед ним. Валет бубен отсалютовал своею алебардой и сказал:

— Итак, пришел бубновый король! Король со стеклянным оконцем на груди, и у королевы его было такое же, заглянешь — и сразу видишь: изнутри они точь-в-точь как другие люди. На радостях им даже памятник соорудили, и простоял он целых семь лет, хотя воздвигнут был на века. — Валет бубен снова отсалютовал и устремил взгляд на свою красную свечку.

Уильям даже кивнуть не успел, как вперед твердой, размеренной походкой, ровно аист, вышагивающий по полю, выступил тrefовый валет. Черный трилистник с карточного уголка птицей полетел за ним, повис над головою и воротился на старое место. А тrefовый валет заговорил, причем, не в пример другим, не попросил для начала зажечь свечу:

— Не всем подавали бутерброды, с обеих сторон намазанные маслом да посыпанные сахаром! Мои король с королевою такого не едали, им пришлось ходить в школу, учиться всему, чему их предшественники не учились. На груди у них тоже было оконце, только всяк, кто туда заглядывал, непременно пенял им постыдными изъянами в механизме. Уж мне ли не знать! Много лет я служил моим господам и посейчас службу, волю их исполняю. А они желают, чтобы нынче я ничего более не говорил, оттого-то я умолкаю и беру на караул!

Уильям все-таки зажег свечку и ему, белую как снег.

Вжик! Быстрее, чем зажглась свеча, посреди парадного зала очутился пиковый валет, во весь дух бежал, но заметно прихрамывал, словно нога у него болела, и салютовать не стал. Внутри у бедняги трещало и скрипело, он был весь помят-переломан, много чего испытал.

— Каждый, — заговорил он, — получил по свечке, и я тоже получу свою, я знаю. Но раз уж нам, оруженосцам-валетам, подносят такие подарки, то господам нашим причитается втрое больше. Моему пиковому королю и даме-королеве подобает иметь четыре свечи! В их истории и испытаниях столько печали, недаром они ходят в черном и на гербе у них могильный заступ. Да и у меня жизнь была не лучше, в карточной колоде надо мной насмеваются, дураком зовут, неудачником, но это еще куда ни шло, есть у меня прозвища и похуже, которые вслух сказать стыдно. — И он прошептал: — Матс-говнюк, вот как меня обзывают! А ведь когда-то я был у пикового короля первым рыцарем, теперь же стал последним. Я не буду рассказывать историю моих господ, они этого не желают. Ты, хозяин замка, можешь сам представить себе что угодно, но только печальное! Дело плохо и лучше не станет, пока не унесет нас красный конь в заоблачные выси!

И маленький Уильям зажег по три свечки перед каждым королем и каждою королевою, а их пиковым величествам досталось каждому по четыре. Парадный зал осветился, да так

ярко — ни дать ни взять дворец богатейшего из императоров, и вельможные господа благосклонно и милостиво приветствовали мальчугана: червонная дама чуть опустила золотой веер, а пиковая так взмахнула своим золотым тюльпаном, что из него полыхнуло огнем. Вельможные пары покинули портретные рамы и в менюэте прошлись по залу, раз и другой, все, и вальсы тоже, танцевали в огне, ведь мнилось, будто зал целиком охвачен пламенем, треск и шипенье, огненные языки вырывались из окон и стен, — весь замок пылал. Уильям в испуге отбежал в сторону, криком призывая родителей:

— Замок горит!

Летели искры, гудело пламя, а сквозь шум пожара слышалось пение:

— Несет нас красный конь в заоблачные выси! Как и пристало благородным рыцарям и дамам! А вы, вальсы, следуйте за нами!

Вот так и пришел конец Уильямову замку и вельможным старшим картам. Уильям жив по сей день и не забывает мыть-умывать руки: не виноват он, что замок сгорел.

---

## «КВАК»

**С**обрались однажды птицы лесные, расселись по веткам деревьев среди листьев, которых там было не счесть, и все ж таки решили они, что им непременно нужен еще один первосортный листок, критический, — у людей таких листков великое множество, и половины бы вполне хватило. Певчие птицы желали музыкальной критики — в удовольствие себе и в укор тем, кого есть в чем укорить. Только вот беда — никак не могли они найти в своем кругу нелюбимых критиков.

— Это непременно должна быть птица, — сказала сова, избранная председателем собрания и слывающая символом мудрости. — Вряд ли стоит искать в другом животном царстве, ну, разве что в морском, рыбы-то иной раз летают по воздуху, будто птицы, но сходство тем и исчерпывается. Ведь меж рыбами и птицами тьма-тьмушая всяких существ.

За нею слово взял аист, бойко затрепал клювом:

— Есть среди тех, что меж рыбами и птицами, вполне подходящие существа — лягушки, дети болотной воды, вот за них я и голосую. Они в высшей степени музыкальны, хором поют, ни дать ни взять церковные колокола в лесном уединении. От их песен меня тотчас тянет в дальние страны, под крыльями так и щекочет!



— Я тоже за лягушек, — подхватила цапля, — они хотя не птицы и не рыбы, однако живут вместе с рыбами и поют, как птицы.

— Ну ладно, — сказала сова, — музыка музыкой, но листок должен сообщать обо всем, что есть в лесу прекрасного, а стало быть, не обойтись без сотрудников. Давайте-ка помозгуем да поищем среди своих сородичей.

Тут крошка-жаворонок взял да и прощелбетал, весело, звонко:

— Не бывать лягушке начальницей в листке, это место для соловья!

— Не шуми! — прикрикнула сова. — Давайте соблюдать порядок. Я соловья знаю, мы оба — птицы ночные, и всяк из нас поет на свой лад, только ни его, ни меня выбирать не след, а то, глядишь, под руководством высоких умов станет наш листок аристократическим или философским, даже оперно-бравурным, тогда как ему должно быть интересным и для простого сословия.

Долго не было согласия и в том, как назвать листок — «Утренний квак», «Вечерний квак» либо попросту «Квак». В конце концов сошлись на последнем варианте.

Теперь настал черед подобрать прилежных сотрудников или хоть таких, что слывут прилежными.

Пчела, муравей и крот посулили писать о промышленно-сти и инженерном деле, благо, в этом они знали толк.

Кукушке доверили писать о природе. Певчие птицы были о ней невысокого мнения, зато простой народ очень ее уважал.

— Она вечно выхваляется, самая тщеславная из всех птиц, а до чего ж невзрачная, — заметил павлин.

Тут прилетели к редактору в лес синие мясные мухи и ну жужжать:

— Разодолжим! Окажем услугу! Да-с, знавали мы среди людей и газетных редакторов, и критиков! Сядешь на све-

жее мясо, отложишь яички, а назавтра оно уже насквозь тухлое. Только скажите, мы враз любой талант прикончим. Ну а ежели к партии какой-нибудь пристроиться, то листок в большую силу войти может, когда и дерзость не заказана, — потеряем одного подписчика, так вместо него десяток новых прибежит. Действуйте дерзко, с нахрапом, не жалейте бранных прозвищ, глумитесь, освистывайте, как юнцы из молодежного союза, и получите в государстве немалую власть.

— Ишь, бродяга перелетный! — укорила лягушка аиста. — В детстве я вправду смотрела на него снизу вверх и замирала от благоговейного трепета, а когда он расхаживал по болоту и толковал про Египет, кругозор у меня расширился — я прямо воочию видела дальние чудесные страны. Но больше он меня не воодушевляет, от прежнего остались лишь смутные воспоминания, я поумнела, стала размышлять, приобрела вес, пишу в «Кваке» критические статьи. Недаром в датском языке даже буква есть — *лягушка* называется! В человеческом мире таких тоже хватает. Я об этом целый подвал в листке напечатала!

---

## [ПИСАРЬ]

**О**дин чиновник служил на должности, где, кроме всего прочего, требовалось красиво писать. Службу свою он исправлял достойно, только вот красивых букв вывести не мог, потому и поместил в газете объявление, чтобы найти такого, кто пишет красиво, и откликнулось на это объявление столько народу, что хоть пруд пруди. Но чиновнику достаточно было одного, и он взял наугад первого попавшегося, правда и у того почерк был безупречный, словно он и не человек вовсе, а прирожденная каллиграфическая машина. Чиновник имел талант к писанинам, а поскольку теперь буквы стояли по струнке, ловкие да пригожие, весь народ твердил: прекрасно написано!

— Это моя заслуга, — сказал писарь.

По правде-то, он гроша ломаного не стоил, но, целую неделю слыша похвалы, возгордился и надумал сам стать чиновником. Он вполне мог бы заделаться хорошим учителем чистописания и как таковой отлично бы выглядел при белом галстуке, в обществе за чайным столом, однако ж ему загорелось прописать ижицу всем остальным писателям, и он принялся строчить про живописцев и ваятелей, про поэтов и сочинителей музыки и кропал ужасающий вздор, а ежели вконец завирался, то наутро писал, что-де там закралась опечатка. Что бы он ни писал, все было одной сплошной опечаткой, и красивый почерк

в напечатанном, увы, не разглядишь, а как раз в почерке и заключался его талант. «Могу растоптать, могу возвысить, я — страшный человек, хоть и не Господь Бог, но власть у меня большая!» Суцая белиберда, конечно, она его и сгубила, и сказывали... Скучная повесть, в самый раз для его приятеля, который умел писать сказки и мог навести на нее красоту, но, как он ни старался, сказка из этой истории — снип-снап-снуп! — получилась плохая.

---

## ДАТСКИЕ НАРОДНЫЕ ЛЕГЕНДЫ

**Н**е счесть в Дании старинных легенд об исторических личностях, церквах и усадьбах, о холмах, полях и бездонных топях, не счесть повестей-былей о днях великой чумы, о временах войны и мира. Эти повести живут в книгах и в устах людей, разлетаются повсюду, далеко-далеко, будто стая птиц, и все-таки не похожи одна на другую, как дрозд не похож на сову, а лесной голубь на чайку. Вот послушайте, я расскажу вам несколько историй.

В стародавние времена, когда враг разорял датскую землю, случилась однажды вечером битва, и датчане одержали верх, а на поле брани осталось много убитых и раненых. И был среди раненых врагов один, которому ядром оторвало обе ноги. Датский солдат, стоявший поблизости, только-только выгащил бутылку с пивом и уже понес ее ко рту, как тяжелораненый попросил у него напиться. Солдат нагнулся, протягивая бутылку, а тот взял да и выстрелил по нем из пистолета, но промазал. Датчанин, не выпуская бутылки из рук, выпрямился, спокойно выпил половину, а остаток отдал врагу, с такими словами: «Ах ты, мерзавец! Вот и получишь теперь только половину».

Прослышав об этом, король впоследствии возвел солдата и его потомков в дворянское достоинство и даровал герб, на котором в память о том деянии была изображена полупустая бутылка.

Стоит рассказать и красивое предание о фарумском церковном колоколе. Пасторский дом стоял возле самой церкви.

И вот однажды темной осенней ночью — зима была уже не за горами — священник засиделся допоздна, подготавливая субботнюю проповедь, и вдруг услышал невнятный, странный гул — вроде как от большого церковного колокола. Ветра не было, и необъяснимый звук озадачил его. Он встал, взял ключи и пошел в церковь, но едва переступил порог, все разом стихло, только сверху донесся тихий вздох.

— Кто здесь? Кто нарушает мирный покой церкви? — громко спросил священник.

На колокольне послышались шаги, и скоро в проходе появился ребенок, маленький мальчик.

— Не сердчайте! — сказал мальчик. — Я пробрался сюда, когда звонили к вечерне, матушка моя тяжело хворает! — Больше он не мог вымолвить ни слова, от слез перехватило горло.

Священник погладил его по щеке: дескать, не бойся, рассказывай все без утайки.

— Они говорят, что моя матушка... моя милая, добрая матушка умирает, но я знаю, смертельно больной может поправиться и жить дальше, если в полночь кто-нибудь дерзнет пойти в церковь и соскоблить с большого колокола немножко ржавчины — это оберег против смерти. Вот я и пришел сюда и спрятался, дожидаясь, когда пробьет полночь. Мне было так страшно! Я только и думал что о покойниках и о том, как они являются в церковь. Даже по сторонам глянуть не смел, молился Господу и все-таки соскабливал ржавчину с колокола.

— Ну что ты, малыш, — сказал священник, — Господь не оставит ни тебя, ни твою матушку.

И они вместе отправились в бедный домишко, где лежала больная женщина. Она спала, спокойно и крепко. Господь даровал ей жизнь, и милость Его осияла мать и сына.

Или вот легенда о бедном юноше по имени Поуль Вендельбо, который достиг славы и почета. Родился он в Ютландии, с огромным старанием учился, успешно сдавал любой экзамен, однако день ото дня крепло в нем желание заделаться

солдатом и побывать в чужих краях. Как-то раз он с двумя приятелями, у которых, кстати, водились деньги, гулял по копенгагенским крепостным валам и рассказывал им об этом своем желании. Внезапно он остановился, глядя на окно профессорского дома, а у этого окна сидела юная девушка, чья красота поразила и Поуля, и двух других. Видя, как он зарделся, приятели стали над ним подтрунивать:

— Поднимись к ней, Поуль! И коли сумеешь получить от нее добровольный поцелуй, прямо у окна, чтоб мы видели, дадим мы тебе денег на путешествия, поедешь за границу, поглядишь, будет ли фортуна там благосклоннее к тебе, чем дома.

Поуль Вендельбо вошел в дом и постучал в дверь гостиной.

— Батюшка мой в отлучке, — молвила девушка.

— Не сердитесь на меня! — воскликнул юноша, и кровь бросилась ему в лицо. — Я пришел не к вашему батюшке!

И он открыто, не таясь, поведал ей о своем желании повидать мир и достичь славы, поведал о двух своих приятелях, что стояли на улице и обещали ему денег на путешествия, коли она по собственной доброй воле поцелует его прямо у распахнутого окна, и лицо у него было такое открытое, честное, искреннее, что досада ее тотчас прошла.

— Негоже вам говорить этакие слова простодушной девушке, — сказала она, — однако вы кажетесь вполне честным человеком, и я не стану помехой вашей удаче! — Засим она подвела его к окну и поцеловала.

Приятели сдержали слово и снабдили Поуля деньгами. Он поступил на службу к царю, сражался под Полтавой и достиг славы и почестей. Позднее, когда родина призвала его, он вернулся в Данию и стал важной персоной, приобрел огромное влияние в армии и в Королевском совете. И вот однажды он снова пришел в скромное профессорское жилище, желая и на сей раз увидеть не столько профессора, сколько его дочь, Ингеборг Виндинг, которая подарила ему поцелуй и тем решила его судьбу. Две недели

спустя Поуль Вендельбо Лёвенёрн, то бишь Лев-Орел, отпраздновал свадьбу.

Некогда враг совершил жестокий набег на датский остров Фюн. Уцелел один-единственный поселок, да и то ненадолго, в скором времени его тоже разграбили и сожгли. На окраине этого поселка жили в низеньком домишке двое бедняков. И вот темным зимним вечером, с тревогой ожидая прихода вражеских солдат, взяли они книгу псалмов и наугад открыли ее, чтобы посмотреть, не дарует ли им случайно найденный псалом подмогу и утешение. Книга открылась на псалме «Господь крепость моя». Преисполненные твердости, они запели его, а укрепившись в вере, отошли ко сну и спали спокойно — под защиту Господа. Утром, когда они проснулись, в комнате было совершенно темно, дневной свет не проникал внутрь, они подошли к двери, но открыть ее не смогли. Тогда оба поднялись на чердак, с трудом отворили люк и увидели, что на дворе белый день, а за ночь выпал глубокий снег, засыпал весь дом и укрыл его от врагов, которые ночью разграбили и сожгли поселок. В душевной благодарности бедняки молитвенно сплели ладони и повторили псалом «Господь крепость моя». Бог хранил обоих и воздвиг вокруг них защиту.

На севере Зеландии случилось мрачное происшествие, по сей день будоражащее людские помыслы. Рёрвигская церковь расположена на отшибе, неподалеку от песчаных дюн на берегу бурного Каттегата. Однажды вечером там бросил якорь большой парусник, предположительно российский военный корабль. Ночью в калитку пасторской усадьбы постучали, и несколько вооруженных мужчин в масках приказали священнику надеть служебное облачение и пойти с ними в церковь. Они сулили ему хорошую плату, но грозили скверными последствиями, если он откажется. Священник пошел с ними. Церковь была освещена, и в глубоком молчании там стояли ка-



кие-то незнакомые люди. У алтаря ждали невеста и жених, оба в роскошных нарядах, словно знатные вельможи, но невеста была бледна как смерть. Когда венчание закончилось, грянул выстрел, и невеста бездыханной упала у алтаря. Незнакомцы подняли тело и унесли прочь. Наутро корабль снялся с якоря. Доныне никто так и не смог объяснить происшедшее.

Священник, участвовавший в этой истории, записал все в семейной Библии, которая передается из поколения в поколение. Старинная церковь по-прежнему стоит в дюнах возле буйного Каттегата, а повесть о том случае живет в книгах и в памяти.

Надобно рассказать вам еще одну церковную легенду. Жила некогда в Дании, на острове Фальстер, богатая знатная дама, детей у нее не было, и род ее грозил угаснуть. Вот и надумала она потратить часть своего богатства и построила великолепный храм. Когда строительство было завершено и на алтаре зажгли свечи, дама поднялась к престолу и на коленях вознесла молитву Господу, чтобы за смиренный ее дар Он позволил ей жить на земле столько, сколько стоит ее церковь. Шли годы. Родичи ее умерли, давние друзья и знакомые тоже, и все старые слуги в усадьбе отдали Богу душу, только она, высказавшая столь греховное желание, не умирала. Поколения, все более ей чуждые, сменяли друг друга, она ни с кем не зналась, и с нею тоже никто не знался. Так и чахла она в старческом слабоумии, всеми заброшенная, одинокая. Чувства ее притупились, она словно бы спала, но на мертвую была не похожа. Каждый сочельник ненадолго оживала и вновь обретала голос. Тогда она приказывала слугам положить ее в дубовый гроб, поставить его в церкви, там, где хоронят усопших, и пусть, мол, в рождественскую ночь придет к ней священник, чтобы выслушать ее распоряжения. Затем ее клали в гроб и несли в церковь. Как и велено, священник каждую рождественскую ночь проходил по хорам, при-

ближался ко гробу, где, не ведая покоя, лежала дряхлая, измученная дама, и поднимал крышку.

— Стоит ли еще моя церковь? — дрожащим голосом спросила дама и, услышав в ответ, что церковь стоит, как прежде, с глубоким вздохом падала на подушки.

Священник опускал крышку и приходил на следующее Рождество, и еще через год, через два, через три... Ныне от той церкви камня на камне не осталось, нет и следа от некогда погребенных. Огромный боярышник растет там в чистом поле, пышно расцветая по весне, словно в знак вечного возвращения к жизни. Говорят, вырос он на том самом месте, где некогда стоял гроб знатной дамы, где прах ее возвратился в прах земли.

Издrevле говорят в народе, что Господь, изгоняя падших ангелов, сбросил некоторых из них на высокие холмы, где они живут по сей день и зовутся горным племенем, или троллями. Они всегда пугаются и убегают, когда гремит гром, ведь для них это глас небесный. Другие угодили в ольховые болота, их зовут эльфами, и женщины из их числа очень хороши собою, но доверять им никак нельзя; опять же и спины у них с выемкой, вроде квашни. Третьи попали в старинные усадьбы и дома — эти сделались домовыми да гномами. Они не прочь иной раз свести знакомство с людьми, и великое множество историй, что рассказывают о них, звучит весьма необычно.

Давным-давно жил в Ютландии в большущем холме такой вот тролль вместе с уймой соплеменников. Одна из его дочерей вышла замуж за деревенского кузнеца. Кузнец был плохим человеком и поколачивал свою жену. В конце концов ей это надоело, и однажды, когда муж сызнова надумал пустить в ход кулаки, она схватила подкову и изломала об него. При ее исполинской силе она бы с легкостью и его самого в куски искрошила. Кузнец призадумался и больше жену не бил. Однако в округе пошли разговоры, и сельский народ потерял к ней уважение и стал называть троллевским отродьем. Во всем приходе никто не же-

лал с нею знаться. Отец ее, тролль, просльшшал об этом, и как-то в воскресенье, когда кузнец с женой и другие прихожане, стоя на кладбище, поджидали священника, кузнецова жена глянула на бухту, где поднимался туман, и сказала:

— Батюшка идет, и очень он сердчает.

Тролль и впрямь был очень сердит.

— Ну как, будешь бросать их мне или лучше ловить? — спросил он, алчно глядя на прихожан.

— Ловить! — отвечала она, так как прекрасно понимала, что ловить-то он стал бы отнюдь не бережно.

Тролль принялся хватать прихожан и одного за другим швырять через крышу церкви, а на той стороне дочь его бережно их ловила. После этого случая отношения с прихожанами у нее наладились: тролль ужасно всех напугал, а в здешнем краю таких, как он, полным-полно. Распри с ним затевать ни к чему, лучше повернуть знакомство себе на пользу. Народ хорошо знал, что у троллей есть большущие котлы, битком набитые золотыми монетами, и, само собой, никому бы не помешало разжиться горсткой-другой, однако ж тут требовались хитрость и изобретательность, каких с избытком хватало у крестьянина, о котором я вам расскажу, и у его работника, ловкача еще почище хозяина.

На поле у этого крестьянина был холм, и он начал его распахивать — не пропадать же земле впустую! Тролль, живший под холмом, немедля выскочил наружу и закричал:

— Как ты смеешь распахивать мою крышу?

— Я знать не знал, что она твоя, — отвечал крестьянин. — Только ведь нам обоим невыгодно оставлять этакий кусок земли в запустении. Позволь мне пахать и сеять, тогда на первый год ты получишь вершки, я же — корешки. А на следующий год поменяемся.

На том и порешили. В первый год крестьянин посеял морковь, а во второй — пшеницу. Тролля достались вершки моркови и корешки пшеницы. И жили соседи в полном согласии.

Потом случилось так, что в доме крестьянина пришла пора устроить крестины. Тут-то крестьянин и призадумался: как быть с троллем? Не пригласить его нельзя, ведь живут они в добром согласии, но если тролль примет приглашение, и священник, и вся здешняя паства наверняка знаться с ним, с крестьянином, больше не захотят. Хитрости крестьянину обычно было не занимать, да только на сей раз не мог он ничего придумать. Вот и решил посоветоваться с мальчишкой-свинопасом, который был еще похитрее его самого.

— Я тебе помогу! — сказал мальчишка, взял большую торбу, пошел к холму, где жил тролль, и постучал. Его впустили, и он сказал, что принес приглашение на крестины. Тролль приглашение принял и обещал быть.

— На крестины-то нужно сделать подарок, верно?

— Верно, так оно полагается, — отвечал мальчишка и развязал торбу, а тролль насыпал туда денег.

— Этого достаточно?

Мальчишка приподнял торбу.

— Большинство людей аккурат столько же дарят!

После этих слов все денежки из большущего котла пересыпались в торбу.

— Подарка поболее уж точно никто не принесет — разве что помене.

— А скажи-ка мне, каких важных гостей вы ожидаете, — полюбопытствовал тролль.

— Трех священников и одного епископа, — ответил мальчишка.

— Хорошо, только ведь таким господам, кроме еды да питья, ничего не нужно, до меня им и дела нет. Еще-то кто будет?

— Марию, Матерь Божию, ожидаем!

— Хм-хм! Вот это да! Но столь досточтимые гости обыкновенно приходят поздно и уходят рано. Поэтому, когда они явятся, я потихоньку улизну на время. А какая у вас будет музыка?

— Барабанная! — сказал мальчишка. — Господь наш заказал могучий гром, под него и будем танцевать! Под барабанную музыку!

— Н-да, вот незадача! — вскричал тролль. — Поблагодари своего хозяина за приглашение, но я, пожалуй, останусь дома. Он, выходит, не знал, что гром да барабаны для меня и всего нашего племени хуже всякой казни! Давным-давно, когда я был куда моложе, вышел я прогуляться, а тут гром — ка-ак загремит, и одна колотушка жახнула мне по ноге, бедро сломала. Больше я такой музыки не желаю! Передай хозяину мою благодарность и поклон.

Мальчишка взвалил торбу на плечо и отнес хозяину баснословные богатства и добрые троллевы пожелания.

У нас премного этаких легенд, однако ж на сегодня хватит и тех, что я рассказал.

---

## Содержание

*Перевод с датского Т.Чесноковой*

- ДОЧЬ БОЛОТНОГО КОРОЛЯ 5  
СКОРОХОДЫ 46  
КОЛОКОЛЬНАЯ БЕЗДНА 50

*Перевод с датского Н.Федоровой*

- ЗЛОЙ ПРАВИТЕЛЬ (*Легенда*) 56  
ВЕТЕР РАССКАЗЫВАЕТ О ВАЛЬДЕМАРЕ ДО И ЕГО ДОЧЕРЯХ 59  
ДЕВОЧКА, КОТОРАЯ НАСТУПИЛА НА ХЛЕБ 73  
БАШЕННЫЙ СТОРОЖ ОЛЕ 84  
АННА ЛИСБЕТ 91  
РЕБЯЧЬЯ БОЛТОВНЯ 105  
ЖЕМЧУЖНАЯ НИТОЧКА 108  
ПЕРО И ЧЕРНИЛЬНИЦА 115  
У МОГИЛЫ РЕБЕНКА 118  
ДВОРОВЫЙ ПЕТУХ И  
ПЕТУХ-ФЛЮГЕР 123  
«ПРЕЛЕСТЫ» 126  
ИСТОРИЯ, СЛУЧИВШАЯСЯ В ДЮНАХ 134  
КУКОЛЬНИК 173  
ДВА БРАТА 178  
СТАРЫЙ ЦЕРКОВНЫЙ КОЛОКОЛ 181  
ДВЕНАДЦАТЬ ИЗ ПОЧТОВОЙ КАРЕТЫ 186

*Перевод с датского Т.Чесноковой*

- НАВОЗНЫЙ ЖУК 191  
ЧТО МУЖЕНЕК НИ СДЕЛАЕТ, ТО И ХОРОШО 201

---

СНЕГОВИК	206
НА УТИНОМ ДВОРЕ	212
МУЗА НОВОГО ВЕКА	219
ЛЕДЯНАЯ ДЕВА	226
МОТЫЛЕК	282
ПСИХЕЯ	285
УЛИТКА И РОЗОВЫЙ КУСТ	299
«БЛУЖДАЮЩИЕ ОГОНЬКИ В ГОРОДЕ!»	302
ВЕТРЯНАЯ МЕЛЬНИЦА	316
СЕРЕБРЯНАЯ МОНЕТКА	319
ЕПИСКОП БЕРГЛУМСКИЙ И ЕГО РОДИЧ	324

*Перевод с датского Н. Федоровой*

В ДЕТСКОЙ	331
СОКРОВИЩЕ	336
КАК БУРЯ ПЕРЕВЕСИЛА ВЫВЕСКИ	345
ЧАЙНИК	350
ПТИЦА НАРОДНЫХ ПЕСЕН	352
ЗЕЛЕННЫЕ МАЛЯВОЧКИ	356
ДОМОВОЙ И ХОЗЯЙКА	359
ПЕЙТЕР, ПЕТЕР И ПЕР	364
СОКРЫТО — НЕ ЗАБЫТО	370
СЫН ПРИВРАТНИКА	374
ДЕНЬ ПЕРЕЕЗДА	395
ПОДСНЕЖНИК	402
ТЕТУШКА	406
ЖАБЕНОК	413
КНИГА КРЕСТНОГО	423
ЛОСКУТЬЯ	453
ВЕН И ГЛЕН	456
КТО САМАЯ СЧАСТЛИВАЯ?	459
ДРИАДА	464

*Перевод с датского О. Дробот*

ПРЕДКИ ПТИЧНИЦЫ ГРЕТЫ	491
ИСТОРИЯ ЧЕРТОПОЛОХА	508
ЧЕГО ТОЛЬКО ЛЮДИ НЕ ПРИДУМАЮТ	513
СВОЕ СЧАСТЬЕ МОЖНО НАЙТИ ХОТЬ В ОБЛОМКЕ ДЕРЕВА	517
КОМЕТА	520
ДНИ НЕДЕЛИ	525

---

ИСТОРИИ СОЛНЕЧНОГО СВЕТА	528
ПРАДЕДУШКА	534
ДВЕ СВЕЧИ	539
О САМОМ НЕВЕРОЯТНОМ	543
ЧТО ГОВОРИЛИ В СЕМЬЕ ВСЕ	550
НУ-КА, КУКЛА, ПОПЛЯШИ!	553
БОЛЬШОЙ МОРСКОЙ ЗМЕЙ	555
<i>Перевод с датского А.Нестерова</i>	
САДОВНИК И ГОСПОДА	566
БЛОХА И ПРОФЕССОР	575
<i>Перевод с датского Т.Чесноковой</i>	
О ЧЕМ РАССКАЗЫВАЛА СТАРАЯ ЙОХАННА	581
КЛЮЧ ОТ ВОРОТ	597
<i>Перевод с датского А.Нестерова</i>	
УБОГОНЬКИЙ	610
<i>Перевод с датского Т.Чесноковой</i>	
ТЕТУШКА ЗУБНАЯ БОЛЬ	622
<i>Перевод с датского Н.Федоровой</i>	
ПОТОНУВШИЙ МОНАСТЫРЬ	635
БЕДНАЯ ЖЕНЩИНА И МАЛЕНЬКАЯ КАНАРЕЙКА	638
КОРОТКИЕ ИСТОРИИ	640
[ТЕМПЕРАМЕНТЫ]	646
КАРТОШКА	651
УРБАН	653
ЯБЛОКО	655
«ГОВОРЯТ...»!	658
НАШ СТАРЫЙ ШКОЛЬНЫЙ УЧИТЕЛЬ	661
ВЕЛЬМОЖНЫЕ КАРТЫ	664
«КВАК»	671
[ПИСАРЬ]	674
ДАТСКИЕ НАРОДНЫЕ ЛЕГЕНДЫ ( <i>Перевод с английского</i> )	676



---

Литературно-художественное издание

**АНДЕРСЕН**  
**Ханс Кристиан**  
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ  
В ЧЕТЫРЕХ ТОМАХ

ТОМ ВТОРОЙ  
СКАЗКИ И ИСТОРИИ

Редактор  
А.Г.Николаевская  
Младший редактор  
Ю.Р.Камалова

Художественный редактор  
Т.Н.Костерина

Оператор компьютерной верстки  
А.В.Кузьмин

Оператор компьютерной верстки  
переплета и блока иллюстраций  
В.М.Драновский

Корректоры  
Н.В.Семенова, С.В.Цыганова

Подписано в печать 25.08.2005  
Формат 60х90/16  
Тираж 7 000 экз.  
Заказ № 1595.

ЗАО «Вагриус»  
107150, Москва, ул. Ивanteeвская, д.4, корп.1

Отпечатано в полном соответствии с качеством  
предоставленных диапозитивов в ОАО «Тульская типография».  
300600, г. Тула, пр. Ленина,109 .

В А Г Р И У С

ISBN 5-9697-0028-2



9 785969 700284